

СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ



СИМВОЛЫ

ВРЕМЕНИ

ИРИНА КНОРРИНГ

ИРИНА КНОРРИНГ

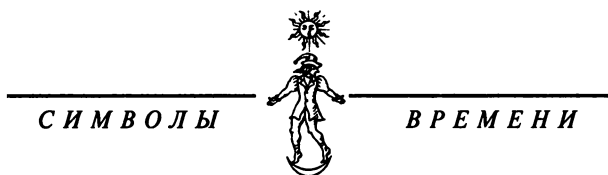


ПОВЕСТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ ДНЕВНИК





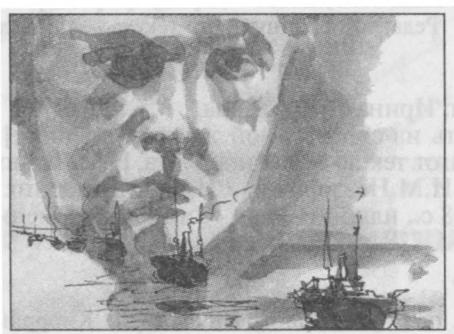
Ирина Кнорринг.
Сфаят, 11 ноября 1924 г.
Архив Софиевых-Кноррингов



СИМВОЛЫ

ВРЕМЕНИ

Ирина Кнорринг



ПОВЕСТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ

Дневник

АГРАФ
Москва
2009

УДК 821.161.1-312.6Кнорринг И.Н.+821.161.1(093.3)(092)
Кнорринг И.Н.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Кнорринг И.Н.
К53

Оформление серии *З.Буттаева*

**Издано при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России»**

Печатается по машинописным копиям, выполненным

Н.Н.Кноррингом

Подготовка текста *Н.М.Черновой*

Вступительная статья, комментарии *И.М.Невзоровой*

Научный консультант — д.ф.н., профессор *Т.В.Саськова*

Редактор французского текста — *А.А.Бессонова*

Кнорринг, Ирина Николаевна.

К53 Повесть из собственной жизни: [дневник]: в 2-х томах, том 1. Подгот. текста Н.Н.Кнорринга, Н.М.Черновой; вступ. ст., коммент. И.М.Невзоровой / Ирина Кнорринг. — М.: Аграф, 2009. — 608 с., илл. — (Серия «Символы времени»). — ISBN 978-5-7784-0366-6

Дневник поэтессы Ирины Николаевны Кнорринг (1906–1943), названный ею «Повесть из собственной жизни», публикуется впервые. Первый том Дневника охватывает период с 1917-го по 1926 год и отражает ключевые события российской истории XX века, увиденные глазами «самой интимной и камерной поэтессы русского зарубежья». Дневник погружает читателя в атмосферу полунищей, но творчески богатой жизни русских беженцев; открывает неизвестную лакуну культурной жизни русской эмиграции — хронику дней Морского корпуса в Бизерте, будни русских поэтов и писателей в Париже и многое другое.

УДК 821.161.1-312.6Кнорринг И.Н.+
821.161.1(093.3)(092) Кнорринг И.Н.
ББК 83.3(2Рос=Рус)6-8Кнорринг И.Н.

ISBN 978-5-7784-0366-6

©И.Ю.Софиев и наследники, 2009

©Н.М.Чернова, архив. Материалы, подгот. текста, 2009

©И.М.Невзорова вступ. ст., коммент., А.Ю.Невзоров, комментарии, 2009

©Издательство «Аграф», 2009

ДНЕВНИК

Том 1

26 августа 1917—14 сентября 1926

«Глубокая мысль моей души...»

«Моя жизнь, мой символ — *черный крест*... Мне стоило колоссальных усилий вдуматься в свои мысли, заглянуть в свою душу и разобраться, что во мне — правда, что — ложь. О, как много оказалось лжи!.. Глупая, пустая жизнь!.. Нужна победа над собой, нужна борьба... Слабохарактерности, слякоти я жертва... Неужели уже поздно, и моя искривленная душа не может бороться!?!»

Автору этих строк, Ирине Кнорринг, четырнадцать лет. Но сколько уже пережито, сколько крови, несправедливости, грубости видела эта девочка-подросток, играла в куклы предпочитающая эпистолярные «игры» — стихи, сказки, диалоги с феями, девичьи клятвы. Главной же ее тайной, другом, заботой, свидетелем «исправления» ее «искривленной души» стал Дневник, который она вела с 1917 по 1940 год. Дневник связывал И.Кнорринг с миром детства, с галереей любимых образов, уносимых войной, тифом, голодом, репрессиями; с любимым Харьковом, с Россией — в долгие годы эмиграции. А эмиграция И.Кнорринг началась в четырнадцатилетнем возрасте и продолжилась до конца ее недолгой жизни (поэтесса умерла в возрасте 37 лет от диабета). Читая Дневник, вспоминаешь поэтические строки, искренние и интимные, как все стихи И.Кнорринг:

Зачем меня девочкой глупой
От страшной, родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли?!

Развитие письменного творчества в те годы среди русских эмигрантов было необычайное. Русский язык был для изгнанников ариадниной нитью, связывающей их с элениумом русской культуры. Дневниковая проза, в отличие от всех прочих эпистолярных жанров, максимально приближает нас к описываемым событиям — как в фактическом, так и в эмоциональном смысле, помогая

ощутить пульс давно ушедших дней. Что касается Дневника И.Кнорринг, он покажет нам то «тесто», из которого «выпекаются» стихи, стихи «самого минорного поэта русской эмиграции». В отличие от воспоминаний, от автобиографии — Дневник берет на себя, кроме прочих, исповедальную функцию. За дневник часто садятся, когда хотят привести в порядок чувства и мысли. Поэтому информация выкладывается на бумагу в необработанном виде, снабжена сиюминутными, интуитивными оценками, которые порой — самые точные.

«Повесть из собственной жизни» — так назвала свой Дневник И.Кнорринг — имеет внутреннюю драматургию, продиктованную самой жизнью; Дневник является индикатором и душевных состояний поэтессы, образующих замысловатую траекторию. Прежде чем обратиться к анализу Дневника, расскажем кратко об истории семьи И.Кнорринг, столь много значащей в ее жизни — о том немногом, что удалось узнать и суммировать, и о том, что осталось за гранью Дневника.

Ирина Николаевна Кнорринг родилась 21 апреля (4 мая) 1906 г. в селе Елшанка Самарской губернии, в родовом поместье семьи Кноррингов. Родители Ирины — дворянин Николай Николаевич Кнорринг и дочь статского советника Мария Владимировна Щепетильникова.

Елшанка находится на красивейшей нагорной стороне Волги, она сохранила свое название до наших дней. В Дневнике много внимания уделено этому волжскому уголку. И.Кнорринг вспоминала о нем всю жизнь как о потерянном рае.

Кнорринги происходят из поволжских немцев, выходцев из Баварии. В 1845 г. Кнорринги были включены в дворянскую книгу Симбирской губернии, затем семья деда Н.Н.Кнорринга переезжает в Елшанку (Самарской губернии), с этого времени начинается история родового поместья. По настоянию Анастасии Яковлевны Кнорринг, бабки Н.Н.Кнорринга, к 1917 г. дворянский род Кноррингов был переведен в Самарскую родословную книгу «вместе с тремя детьми», христианского вероисповедания — Петром, Елизаветой и Николаем — будущим дедом Ирины Кнорринг. Отец Ирины, Н.Н.Кнорринг, много внимания уделял изучению своего рода и края, истории немецких переселенцев; читал лекции о Екатерининской эпохе: 4 декабря 1762 г. Екатерина II подписала Манифест о позволении иностранцам селиться в России; в 1764—1773 гг. происходит массовое образование немецких колоний, в том числе в Симбирской и Саратовской губерниях. С 1765—1766 гг. начинается история села Гусарен (названной по причисленным к колонии гусарам), в 1868 г. переименованного в Елшанку.

В детстве Ирина прекрасно владела немецким языком, бонна-немка учила ее и сопровождала, когда семья в каникулярное время наезжала в Елшанку (Кнорринги к тому времени уже переехали в Харьков). Но бонну-немку пришлось «отпустить» еще прежде, чем Ирина научилась читать. В будущем немецкий язык, на котором говорили ее предки, будет забыт Ириной совершенно, по ее же признанию.

Щепетильниковы также имеют волжские, точнее, камские, корни. Бабушка Ирины Кнорринг, Евгения, и ее младшая сестра Ольга родились в селе Змиево Чистопольского уезда Казанской губернии, и будучи «незаконнорожденными детьми Анны Павловой Вавилиной, дочери вольноотпущенного дворового человека», были «усыновлены» чистопольским купцом Карлом Федоровичем Розентрером, который дал им свою фамилию, отчество и возможность получить образование. Сестры окончили Казанскую женскую гимназию (и педагогический класс ее), работали учителями.

Евгения Карловна Розентрер и ее будущий муж, статский советник Владимир Александрович Щепетильников (дед Ирины Кнорринг), познакомились в Феодосийской гимназии, где оба преподавали. Там же в Феодосии состоялось их венчание. Непростая судьба уготована была Евгении Карловне. В возрасте 35-ти лет умирает от туберкулеза ее муж; вдова остается с пятью дочерьми: Надеждой, Ниной, Марией, Еленой и Верой. Потеряв кормильца, семья переехала на родину в Нижний Новгород, откуда происходил купеческий род Щепетильниковых. Ситуация, описанная в драме А.Н.Островского «Бесприданница», была иным образом разрешена Е.К.Розентрер. В одной из работ, анализирующих природу имен собственных в пьесах Островского, подчеркивается: имя матери Ларисы — Харита Игнатьевна — означает «незнающая», «не ведающая», попросту — «игнорирующая» трагедию своих дочерей. В отличие от Хариты Игнатьевны, Евгения Карловна не хотела быть причастной к их гибели. Она продавала не дочерей, а свой труд. Чтобы прокормить семью, Е.К.Розентрер занялась журналистикой. Согласно семейному преданию, она ставила перед собой коробку конфет и, поглощая их, ожесточенно писала тексты. В эти годы (1890-е) она знакомится с Максимом Горьким, публиковавшим свои обозрения и фельетоны в «Волжском вестнике», «Самарской газете», «Нижегородском листке». Как и молодой М.Горький, Евгения Карловна — а с годами и ее дочери — прошла этап страстного увлечения революционными идеями; участвовали в работе марксистских кружков, которых немало было в рабочих районах Нижнего Новгорода и Сормова. Добавим, что именно к этому периоду творчества М.Горького относятся его самые яркие и динамичные, лишенные внутреннего ценза произведения: «Челкаш», «Старуха

Изергиль», «Песнь о Соколе», роман «Фома Гордеев», «Песня о Буревестнике», пьесы «Мещане», «На дне», «Дачники», «Дети солнца».

В поисках средств существования Евгения Карловна Розентрер (именно под этой фамилией вошла она в семейные легенды) сдавала комнаты. Среди ее постояльцев были Борис и Николай Кнорринги. Так состоялась судьбоносная встреча двух фамилий. Две дочери Щепетильниковых — Нина и Мария — вышли замуж за братьев Кноррингов. Таким образом семьи породнились дважды.

Когда родилась Ирина, ее родители были студентами: Мария Владимировна, окончившая Казанскую Ксенинскую гимназию, училась (с перерывами) на Высших женских курсах в Москве; Николай Николаевич — на историко-филологическом факультете Московского университета. Первые годы Ирина росла в семье дяди и тети, дом которых находился рядом с их домом в Елшанке. Из воспоминаний Н.Н.Кнорринга:

«Осенью <1906 г.> я поехал в Москву, в университет, а жена поступила учительницей в нашу сельскую школу. Школьные постройки были расположены тут же, на берегу озера, где и наша усадьба, саженях в пятидесяти от дома. Когда жена была в школе и давала уроки, то, в случае какой-либо надобности, в окне вывешивались определенные знаки, вроде платка, обозначающие, что в доме требуется ее присутствие. В школе уже знали это, и иногда, среди урока, мальчики, увидев соответствующий знак, кричали: “Мария Владимировна, вас зовут!”»

После окончания университета Н.Н.Кнорринг был направлен в Харьков в качестве директора гимназии. Вскоре туда переехала и его семья, но каждое лето семья приезжала на каникулы в Елшанку. Брат Ирины, Глебушка, умер в возрасте одного года, и она считала родными своих двоюродных братьев и сестер — Игоря, Гали, Нину и Олега, с которыми вместе провела в Елшанке незабываемые детские годы, воскрешенные ею на страницах Дневника. «Мой воздушный замок — семейный очаг, — повторяет Ирина, — ключ от замка — Елшанка». «Племянники звали меня “дядя Коля”, — поясняет Н.Н.Кнорринг, — и, очевидно, не без влияния этой словесной конструкции Ирина стала звать меня “папа Коля”, и так осталось на всю жизнь». Читатель Дневника заметит, что И.Кнорринг, даже при перечислении официальных лиц, включает неизменно нежное «Папа-Коля». «Папа-Коля» и «Мамочка» автор пишет только с заглавной буквы, причем даже в самых «сложных» обстоятельствах, когда конфликт «отцов и детей» достигает условного максимума.

И в годы эмиграции в записях Ирины звучат отголоски тревог о судьбе близких людей, оставшихся в советской России, из писем

«тети Нины из Иркутска» (проходящих через двойные руки цензуры) она пытается угадать, что там происходит и как живут ее близкие. Судьба разметала семью «тети Нины». Б.Н.Кнорринг ушел из семьи, и она в Елшанке одна воспитывала четверых детей (по некоторым сведениям, несколько лет она играла в театре, гастролируя по городам России). После революции и разорения Елшанки бежала на восток с младшими детьми.

Третья сестра Щепетильникова, Елена Владимировна, вышла замуж за Алексея Яковлевича Шмаринова («дядя Лёша»). С их детьми — Дёмой (будущим известным художником Дементием Алексеевичем Шмариновым) и Наташей — Ирину Кнорринг связывают летние месяцы, проведенные в одном из имений под Киевом запечатленные на страницах ее Дневника; и в годы эмиграции автор возвращается с ностальгией к ним всякий раз, когда приходит письмо от Дёмы. А Наташа Шмаринова вышла замуж за Олега Кнорринга (будущего корреспондента «Огонька»). Таким образом, семьи Шмариновых и Кноррингов еще раз породнились (см. Аннотированный указатель имен во II томе).

Когда Ирине было четыре года, учившийся в первом классе гимназии и живший в их семье кузен Игорь научил ее читать и писать. Книжки с рисованными картинками — ее первые творческие опыты; в восемь лет она начала писать стихи.

В 1914 г. Ирина поступила в приготовительный класс женской гимназии Покровской и Ильяшевой. В те же годы она брала уроки игры на рояле и уроки танцев «у одного видного местного балетмейстера». Родители старались дать дочери музыкальное образование; сам Н.Н.Кнорринг прекрасно играл на скрипке, музыка станет ему утешением в годы эмиграции (в Париже он играл в камерном оркестре вместе с П.Н.Милюковым — музыка скрепила их дружбу; участвовал в камерных вечерах).

Наступил октябрь 1917-го. Запись о первой большой драме в своей жизни Ирина делает в апреле 1919 г.: «Нашу гимназию реквизировали, и мы после Пасхи будем заниматься в реальном училище Буракова, во второй смене». Осенняя запись говорит о том, что закрылась и Вознесенская женская гимназия (где училась ее подруга), и все классы объединены в гимназию «Общества учителей и родителей». В этой гимназии Ирина училась недолго: 20 ноября (старого стиля) 1919 г. она с матерью уезжает в Ростов-на-Дону — их убеждают в необходимости покинуть Харьков; позднее к ним присоединился Н.Н.Кнорринг, эвакуированный в составе Харьковского учебного округа.

Страшные годы гражданской войны, огромная нагрузка, взваленная на плечи подростка (как ни старались родители уберечь свое чадо), определяют быстрое взросление Ирины. Ей приходится

пропускать через себя информацию «взрослых»: многократная смена властей, слухи, опасения, продуктовая проблема, чай без сахара, переселение и уплотнение, перечисление лидеров и группировок; немцы, зеленые, красные, белые... Всё зыбко. «И всё это на фоне заслонившего всё вопроса: Что будет с Россией? Кто спасет Россию?» Нерушимой остается только «вторая» — дневниковая — жизнь.

Вопросы, которые она задает себе, не надуманы — их задает эпоха: «Сегодня ночью, когда я спала, мне пришла в голову такая мысль: что такое герой? И совершенно машинально, в полудремоте, не думая и не сознавая, я изрекла такую мысль: “Кто в такое время, среди мошенников, злодеев, жуликов ничем не запятнает своей совести, кто в самых ужасных условиях, в мучениях и бедствиях сумеет остаться честным — тот герой”. Этой-то истины я и буду придерживаться», — заключает она.

В 1919 г. только еще начинался процесс, названный Михаилом Булгаковым кратким и емким словом — «Бег». Контур его отражен в Дневнике И.Кнорринг и снабжен ее характеристикой: «Веру я оставила в Ростове, надежду — в Туапсе, а любовь — в Керчи. В Симферополе я стала определенно ненавидеть людей».

Несмотря на такую категоричность, в Симферополе в период «затишья» у Ирины появились широкие возможности культурного плана — новые впечатления от театров, кино, книжных новинок и т.д. Н.Н.Кнорринг был членом Общества философских, исторических и социальных наук при Таврическом университете, выступал с лекциями, писал научные статьи, работал в университетской библиотеке; и впоследствии вспоминал это время, богатое в интеллектуальном смысле, как счастливую передышку в их скитальческой жизни. Напомним, что в Крыму и в годы гражданской войны продолжала действовать Таврическая ученая архивная комиссия (ТУАК) — организация, занимающаяся вопросами крымского краеведения, этнографии, литературы, археологии, истории, спасения архивов и памятников старины; имевшая также экскурсионную и школьную образовательную программы; работали археологические музеи в Керчи и Феодосии, о посещении которых пишет И.Кнорринг. Кроме того, в Крыму находились писатели, ученые, другие представители интеллигенции, целые кинематографические и театральные труппы, искавшие укрытие от голода, террора и бандитизма. Крым, как точка русского «исхода», стал последним очагом культуры Серебряного века на юге России, сосредоточившем в себе в эти страшные годы огромный творческий потенциал.

Приход Красной армии в Крым (последние рубежи Добровольческой армии — Перекоп и Турецкий вал — были взяты ею к

9 ноября 1920 г.) сопровождался приказом Ф.Э.Дзержинского: «...Из Крыма не должен быть пропускаем никто», и постановлением Крымского ревкома «...О регистрации военнослужащих армии Врангеля и работников в учреждениях Добровольческой армии» (на полуострове оставалось около 20 тысяч человек, служивших в армии Врангеля). Им была гарантирована «жизнь и неприкосновенность», что оказалось ложью.

11 ноября (29 октября по старому стилю, Добровольческая армия жила по старому стилю) 1920 г. главнокомандующий Русской армией генерал П.Н.Врангель отдает приказ об эвакуации «всех, кто разделял с армией ее крестный путь, семей военнослужащих, чинов гражданского ведомства с их семьями и отдельных лиц, которым могла бы грозить опасность в случаях прихода врага...» (но масштаба «опасности» никто не мог предположить). Подчеркнем, что из Туапсе в Крым Н.Н.Кнорринг эвакуировался в качестве секретаря газеты «Земля», органа генерального штаба армии Врангеля (хотя к осени 1920 г. газета и прекратила существование), — беженцам крайне желательно было иметь «официальный статус», иначе невозможно было достать даже билеты на поезд.

К этому времени семья Кноррингов жила в Севастополе, Николай Николаевич только-только устроился штатным преподавателем истории в Морской корпус. Таким образом, дальнейший путь в изгнание был предопределен.

13-16 ноября из портов Севастополя, Феодосии, Евпатории, Керчи отошли суда Черноморского флота. Командующим флотом в сентябре 1920 г. генерал П.Н.Врангель назначил вице-адмирала М.А.Кедрова, сыгравшего немалую роль в успехе эвакуации. Кнорринги покинули Россию 13 ноября 1920 г. на броненосце «Генерал Алексеев», «вобравшем в свое огромное, мрачное нутро весь Морской корпус». Корабли взяли курс на Константинополь.

Одно из стихотворений, написанных Ириной на борту линкора, снабжено пометкой: «17 ноября 1920. “Генерал Алексеев”, 20-й кубрик. Темнота. Духота. Сырость. Крысы пищат». Этих крыс вспоминает и Н.Н.Кнорринг, каждую ночь сгонявший их со спящей дочери. На пароходе произошла весома пропажа. «У нас украли чемодан, а в нем мои стихи», — запись Ирины.

Всего на 132 транспортах из Крыма эвакуировалось около 136 тысяч человек, из них 70 тысяч — офицеры и солдаты Русской армии генерала П.Н.Врангеля (в различных источниках цифры разнятся, здесь приведены данные из книги В.Берга «Последние гардемарины»). К боевым кораблям русского флота присоединились затребованные в Севастополь французские транспорты, частные пароходы «Русского Общества Пароходства и Торговли» и «Российского Транспортного Общества». В Константинополе высадилась

большая часть пассажиров, другая часть была «пересортирована». В частности, гражданские лица (жены и дети сотрудников Морского корпуса, в их числе М.В. и Ирина Кнорринги) были переведены с линкора «Генерал Алексеев» на пассажирский транспорт «Константин». После демобилизации пароходов, сокращения их количества, роспуска вспомогательных служб и т.д., Черноморский флот приказом Командующего №11 от 21 ноября 1920 г. был переименован в Русскую эскадру.

«Это и был тот Священный Ковчег, которому было суждено спасти остатки Великой России», — констатирует участник событий, автор книги воспоминаний «Узники Бизерты», капитан II ранга Владимир Берг. Зимой 1920—1921 гг. в Бизерту пришли 33 корабля Русской эскадры, их имена выгравированы на мемориальной доске, установленной на правой стене храма-памятника Русской эскадре в Бизерте. Надпись гласит: «В память русских кораблей, пришедших в Бизерту в 1920 г.». На одной из фотографий, вошедших в книгу воспоминаний другого участника событий, Анастасии Александровны Ширинской (урожденной Манштейн), надпись: «Бизерта: Последняя стоянка», ее автор, любимая всеми учительница Бизерты, свидетель того времени, запечатлена у этой самой доски... На палубах «Константина», по пути из Константинополя в Бизерту, наверняка встречались две девочки — тринадцатилетняя Ира Кнорринг и шестилетняя Настя Манштейн (плывшая на том же корабле). Встречались и взглядами, но остались «неузнанными». Возможно, Ирина возилась с шестилетней Настей. Она так любила малышей! И они, чувствуя это, испытывали к ней любовь и доверие; это следует и из записей И.Кнорринг, вечно окруженной кадетами 10-й (младшей) роты.

В Дневнике автор передает тяжелое дыхание того времени, из мозаики беженских дней, часов и даже минут вырастает пугающая картина... Особенно пугают детали, к которым беженцы почти привыкли: на мешках, на шинелях — всюду, всюду «насекомые» (так именуют вшей). Иным ее зарисовкам, как и самой жизни, свойственен полуплач-полусмех. Вот на горизонте показались Принцевы острова, Ирина замечает: «...Куда турки свозят бродячих собак (Коран запрещает их убивать) и обрекают их на голодную смерть. И куда теперь увозят беженцев...» (беженцы до последнего часа не знали, что «плывут» в Бизерту).

Наконец стало ясно: «“Константин” едет в Бизерту, следом за “Алексеевым”, и где “Алексеев” остановится, там и “Константин” будет стоять» (напомню, что после Константинополя на линкоре «Генерал Алексеев» был размещен весь состав Морского корпуса, включая штатских преподавателей мужского пола, на «Константине» — члены семей: женщины и дети). Вот основные причины,

определившие Бизерту (город-порт в Тунисе) как место стоянки русского флота: 1. Тунис в 1920 г. был протекторатом Франции, а Франция — единственной страной, признающей правительство Юга России; 2. Французское правительство, планируя получить корабли в качестве платы за их содержание и находящихся на них беженцев, не хотело пускать такое большое количество кораблей в свои порты во избежание лишних проблем на своей территории (в том числе — социально-политических); 3. Бизерта, будучи французской военной базой, была оборудована специальными помещениями, фортами, бункерами и т.д., пригодными для размещения кораблей, а также матросов и офицеров (пусть разоруженных) и их семей; 4. Бизерта находилась недалеко от Франции; 5. и, наконец, русские корабли, вставшие на якорь во внутреннем бизертинском озере, соединенном трехкилометровым каналом с Черным морем, были совершенно скрыты как от наблюдателей стран Антанты, так и от прочих любопытных глаз.

...Вот как И.Кнорринг пишет о прибытии крейсера «Генерал Алексеев» в бухту Бизерты:

«Шел он очень гордо (мы были уверены, что “Илья Муромец” потащит его на буксире), должно быть, собрал все силы, все пары, чтобы не осрамиться перед французами. По дороге толкнул какой-то французский миноносец, так что у того что-то сломалось, и вошел в озеро».

Интересны исторические подробности, дополненные... пророчеством поэта:

«Французы разделили всех русских на четыре категории. 1) Кто хочет жить на свои средства во всех городах Европы, у кого есть валюта и паспорт. 2) Те, кто хочет жить на свои средства в Бизерте. 3) Кто не может жить на свои средства. 4) Желаящие возвратиться в Совдепию... И я уверена, что четвертая категория будет самая большая. Все мы в конце концов вернемся, даже в Совдепию. Это уже так!»

И дальше — недетские мысли, отголоски «взрослых» разговоров:

«А какая ирония судьбы: бежали от коммунистов, а сами живем на коммунистических началах: все равны, все на койке, ни у кого нет денег, все казенное, своего ничего нет, все общее. Чем ни коммуна? Глупо все делается на свете».

По прибытии в Бизерту вице-адмирал М.А.Кедров отбыл в Париж для скорейшего решения вопроса о дальнейшей судьбе русских кораблей и русских беженцев, и командование Русской эскадры принял на себя контр-адмирал М.А.Беренс (согласно приказу Командующего от 21 ноября 1920 г.). Начальником штаба флота

назначен контр-адмирал Н.Н.Машуков, председателем Комиссии по делам русских граждан в Северной Африке — адвокат, генерал Л.Д.Твердый.

Префект Бизерты, не дожидаясь распоряжений из Парижа, предоставил на выбор Корпусу один из лагерей и фортов береговой обороны, находящихся вблизи Бизерты. После осмотра мест комиссия во главе с капитаном II ранга Н.Н.Александровым оставила свой выбор на форте «Джебел Кебир» (там будет базироваться Морской корпус) и лагере «Сфаят» (там будут жить гражданские лица и обслуживающий персонал корпуса).

Ирина с родителями разместилась в Сфаяте, Н.Н.Кнорринг преподавал в Морском корпусе «Историю русской культуры» (позднее он был и представителем бизертинского отделения Русского Исторического Архива в Праге). Ирину же решено было отдать в пансион при монастыре Сионской Божьей Матери, имевший свое отделение в Бизерте, где она получила бы образование и выучила французский язык. Ирина пробыла там недолго, заявив, что к монахиням больше не вернется. Дневник расскажет — почему. И ее образование продолжилось среди кадет, в школе Морского корпуса, расположенной на броненосце «Георгий Победоносец».

Поскольку в Дневнике много строк посвящено «гардам», «корпусным дамам» и «адмиралам», скажем несколько слов о Морском корпусе.

Открытие Морского корпуса в Севастополе должно было восполнить нехватку военно-морских кадров в Русском Императорском флоте. Первый набор кадетов в Морской корпус был произведен в 1916 г. После февральской революции учащиеся (кадеты) были распущены на каникулы на неопределенное время. Однако 17 октября 1919 г. состоялось торжественное открытие Севастопольского Морского кадетского корпуса. Директором корпуса был назначен контр-адмирал С.Н.Ворожейкин. Обучение продолжалось один год. В начале ноября 1920 г. кадеты и преподаватели Морского корпуса вместе с участниками Белой армии и их семьями покинули родную землю. Одна из рот Морского корпуса в Бизерте была сформирована из кадет, прибывших весной 1920 г. из Владивостока в Севастополь под руководством капитана Китицына (Владивостокская рота). Заметим, что после очередного выпуска роты Морского корпуса перенумеровывались; поэтому данные им неформальные названия весьма актуальны. Ирина училась с 3-ей, потом с 4-ой ротой. Она не только на уроках общалась с кадетами, они заходили вечером, дружили не только с ней, но и с Марией Владимировной. И в Бизерте продолжались кадетские традиции, так называемые усыновления. Дружбы перетекали во влюбленности и наоборот. Описанные — подробно и искренне — на страни-

цах Дневника моменты «взросления» — Ирины и ее собеседников — интересны как сами по себе, так и в качестве пособий для родителей: Ирина постоянно пересказывает суждения «старших» и свои разговоры с родителями. Природное отвращение ко лжи (солгать для нее — значит, совершить насилие над собой), конечно, не помогает ей в жизни, делая любую ситуацию еще более напряженной.

Много любопытного и неожиданного мы узнаем о деталях бирзертского быта — работа «корпусных дам» в пошивочной мастерской, муштра дорвавшихся до власти новоиспеченных офицеров (вчерашних кадет), радость от переезда в новую «кабинку» (так называли часть пространства в бараках с легкими перегородками вместо стен), способы ухаживания кадет за барышнями и т.д. Ирина пела в хоре, большую радость находила в долгих прогулках — пеших и велосипедных, она научилась кататься на велосипеде в Сфаяте в 1924 г. Много было травм при учении, но и здесь сказался ее настойчивый характер: «Как нога заживет, опять пойдем...» Позднее они с мужем, Юрием Софиевым, объезжают много уголков Франции на велосипедах, с палаткой (в 1935 г. Юрий наконец подарит жене велосипед, и в их жизни начнется «новая эра»).

Дамы часто устраивали «чашки чая», были и танцы, и вечеринки. Однако быт был весьма однообразен, и «спать ложились рано». Зато взгляд обострялся, и в Дневник писала Ирина почти каждый день, что стало «сфаятской привычкой». Эту традицию она тщетно пыталась возобновить позднее, в Париже.

Между тем положение молодежи в странах эмиграции внушало все большее опасение, что чувствуется и в записях Ирины. Наблюдалось глобальное нравственное падение кадет: нежелание служить в эскадре, пьянство, наркомания, череда попыток самоубийств и т.д. Тревогу по этому поводу ощущали многие научные, общественные и культурные организации, формировавшиеся в эти годы за рубежом. Обострение положения русских в Тунисе связано и с объективными факторами: постоянное сокращение эмигрантских пайков, отсутствие рабочих мест, чуждый климат и т.д. Что касается судьбы молодежи, то лишь в Чехии и Югославии правительства создавали условия, возможные для учебы русской молодежи (заметим, что будущий муж И.Кнорринг — Юрий Софиев, перебравшийся в Сербию, учился в Белградском университете).

Несколько слов об историческом и международном контексте дальнейших событий, вплетенных в повествование И.Кнорринг тонкой нитью, но являющихся важными для понимания судьбы и характера автора.

Уже осенью 1921 г. Союз русских студентов в Тунисе и Союз русских студентов в Северной Африке (вскоре они слились в один Союз), под председательством Н.Антипова, стали проводить учет и

анкетирование студентов в Тунисе, т.к. в октябре 1921 г. Чехословакия «открыла двери» русским студентам. В результате в Прагу было отправлено 40 студентов из Туниса. В сентябре 1922 г. по инициативе Русского Национального Комитета под председательством М.М.Федорова и отдела Русского Национального Союза во Франции под председательством А.В.Карташева был сформирован «Центральный комитет по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей» (далее — *Комитет*). Благодаря его деятельности многим молодым людям удалось выехать из Туниса в Европу. Информация об отъезде очередной группы кадет, окончивших Морской корпус, для продолжения обучения — встречается у И.Кнорринг постоянно. Она с грустью пишет о том, что приходится расставаться, но и рада за отъезжающих.

Итак, на II съезде Союза русских академических организаций (Прага, 9-15 октября 1922 г.) рассматривалась проблема высшего образования среди молодежи. В результате были созданы Русский институт в Праге и Русский юридический факультет в Париже. К тунисским беженцам проявляли особое внимание; профессор Сорбонны Н.М.Могилевский в ноябре 1922 г. так характеризует картину «сегодняшнего» момента, в частности в Тунисе:

«...*Комитет* возбудил ходатайства перед муниципалитетами городов Лиона, Безансона, Гренобля, Тулузы, Монпелье, Пуатье, Нанси... И всюду ходатайства эти встречены сочувственно. В ближайшее время небольшие группы студентов направляются уже в Пуатье и Лион... *Комитет* надеется, что ему удастся при содействии правительственных органов и университетов разместить во Франции несколько сот русских студентов. *Комитет* [...] обращает особое внимание на то, чтобы в первую очередь устроить находящихся в Северо-Африканских колониях несколько сот русских студентов, ибо последние находятся в очень тяжелых моральных и материальных условиях».

Для решения вопросов, связанных с положением бизертинцев, в Париж был направлен сотрудник О.К., капитан I ранга В.И.Дмитриев, исполняющий обязанности военно-морского агента в Париже. Он участвовал в судьбе бывших моряков, давая им рекомендательные письма, помогая с работой и т.д. (в ряде случаев его работу признавали неудовлетворительной, примером чего является и случай семьи Кноррингов: им не были обеспечены обещанные льготные — «половинные» — билеты на поезд по прибытию из Туниса в Марсель, что для неимущих эмигрантов было «смерти подобно»).

...Это был период (1922—1925 гг.), когда вера на возвращение в Россию, столь сильно согревавшая первые годы изгнания, поти-

хоньку иссякла, а необходимость ассимиляции в странах изгнания русскими людьми еще не была осознана. Выпускники-гардемарины занимались поиском своих путей — как бежать из Бизерты, как «выйти в люди». Дневник отражает хронику таяния русской колонии в Тунисе. Постепенно все новые государства официально признали советскую Россию. 28 октября 1924 г. были установлены дипломатические отношения между советской Россией и Францией. 20 октября / 6 ноября 1924 г. Русская эскадра прекратила свое существование (по согласованию с местными властями Морскому корпусу была дана возможность завершить обучение кадет выпуска 1925 г.)

Судя по записям, Ирина постоянно переживала за «Папу-Колу», заранее принимая во всем его сторону (отношение же русских эмигрантов к Н.Н.Кноррингу распространялось и на всю его семью). Волнения ее касались не только травли отца, происходившей из-за его антимонархических взглядов, но и его педагогической деятельности. Пример: Н.Н.Кнорринг возражал против «среднего арифметического» балла в аттестате (речь идет об экзаменационных оценках кадет), ему возразили: «Так всегда было в старом Корпусе». Мнение Н.Н.Кнорринга — «Морской Корпус в учебном отношении всегда пользовался дурной репутацией, тогда как сухопутные корпуса были обставлены превосходно» — разумеется, не могло рассчитывать на поддержку среди педагогов-офицеров. В этом видели «оскорбление себе, Корпусу, строевой части, флоту, морякам». И количество недругов у Кноррингов увеличивалось. Ирина жила мечтой вырваться из Бизерты.

В конце августа 1923 г. Н.Н.Кнорринг осуществил специальную поездку в Париж с целью изучения обстановки (возможности учебы и работы). Желая учиться в Сорбонне на филологическом факультете, Ирина также писала в Комитет (позднее отец Юрия Софиева лично ходил к М.М.Федорову, ходатайствуя за невестку); но ни тогда, ни позднее получить студенческую стипендию Ирине не удалось (хотя ей была организована небольшая материальная помощь по болезни от Союза русских студентов во Франции).

В 1924 г. семья Кноррингов планирует выехать в Чехию. Предполагалась, что Николай Николаевич будет преподавать в Русской гимназии Земгора в Праге, а Ирина сможет там учиться (возрастной ценз русских гимназистов в те годы был весьма широк). Земгор утвердил кандидатуру Кнорринга, но по причине визовых неурядиц в Прагу Кноррингам выехать не удалось.

Летом 1924 г. Ирина сдала в Морском корпусе экзамены на аттестат зрелости. Сохранилась копия свидетельства об окончании ею «среднего мужского учебного заведения», текст которого приведен ниже:

СВИДЕТЕЛЬСТВО

Дано сие Ирине Николаевне Кнорринг, православного вероисповедания, из потомственных дворян, родившейся 21 апреля 1906 года в селе Елшанка Самарского уезда, обучавшейся первоначально в женской гимназии г-жи Покровской и «Общества учителей и родителей» в Харькове, женской гимназии в Туапсе, Первой женской гимназии в Симферополе и женской гимназии г-жи Подлесной в Севастополе, в том, что по предъявлении ею удостоверения за 4 класса, выданного ей 11 октября 1920 года за №306 из Первой женской гимназии г. Симферополя, она подверглась в Морском корпусе в течение 1923—1924 учебного года испытанию зрелости за курс средних мужских учебных заведений и показала следующие успехи (по двенадцатибалльной системе):

Закон Божий	12 (двенадцать)
Русский язык	12 (двенадцать)
Логика	12 (двенадцать)
Психология	12 (двенадцать)
История	12 (двенадцать)
Космография	11 (одиннадцать)
Алгебра	11 (одиннадцать)
Геометрия	10 (десять)
Тригонометрия	11 (одиннадцать)
Физика	10 (десять)
Французский язык	10 (десять)

На основании чего и выдано Ирине Кнорринг сие свидетельство, предоставляющее ей права лиц, окончивших среднее мужское учебное заведение (§130 Высочайше утвержденного 30 июля 1871 г. Устава гимназий и прогимназий).

Директор Морского Корпуса Вице-Адмирал Герасимов

Вр<еменный> помощник директора по Инспекторской части флота Генерал-Майор Завалишин

Помощник Инспектора Классов К<адетского> К<орпуса>
Капитан Насонов

<Печать Морского Корпуса>

№54

19 сентября 1924 года

г. Бизерта

Настоящая копия с подлинным свидетельством верна. —

Адъютант Морского корпуса, Лейтенант Леммлейн.

20 февраля 1925 г.

<Печать Морского Корпуса>

В мае 1925 г. состоялся переезд семьи Кноррингов во Францию. Ирина, как и ожидала, сразу оказалась в водовороте бурной парижской жизни. Но к такому повороту событий она не была го-

това: «Я думала, что, может быть, трудно работать; но никогда не думала, что так трудно искать работу...» Им с матерью пришлось сменить не одну мастерскую — швейную, вышивальную, кукольную. Не в лучшем положении оказался и Н.Н.Кнорринг. (О, записные книжки поэтов-эмигрантов, в которых поэтические строки чередуются со словами отчаяния и расчетами: сколько франков за вышивание сумочки с тем или иным рисунком можно получить, у кого занять и перезанять деньги для терма или взять напрокат платье, шляпку, перчатки...)

Кнорринги живут крайне бедно. Николай Николаевич работает в Тургеневской библиотеке, читает лекции в Русском народном университете, публикуется в газете «Последние новости». М.В.Кнорринг, после неудачного опыта работы на парфюмерной фабрике «Убиган», вместе с дочерью зарабатывает деньги в качестве вышивальщицы, берет работу на дом в кукольных мастерских, вяжет. Часто мать и дочь работали по ночам, а Н.Н.Кнорринг читал им вслух.

А днем Ирина посещает курсы французского языка при Сорбонне, лекции — в Русском народном университете и на Русском историко-филологическом отделении при Сорбонне; училась во Франко-русском институте социальных и общественных наук; ходила на собрания Союза молодых поэтов и писателей в Париже (о нем — чуть ниже), писала стихи... А также кружила головы поклонникам в поисках единственного друга на всю жизнь. Сил своих она не берегла.

Осенью 1926 г. Ирина познакомилась с Юрием Софиевым, и постепенно их отношения, начавшиеся с чтения стихов, становятся серьезными. Весной 1927 г. Ирина, давно страдавшая постоянной жаждой, недомоганием и сонливостью, наконец обратилась к врачу. И врач, Мария Дельбари, поставила страшный диагноз: «сахарная болезнь». Когда Ю.Софиев делал предложение Ирине, он уже знал, какую ответственность берет на себя.

Венчание состоялось 20 января 1928 г. Таинство совершал о. Георгий Спасский, основатель и настоятель первой русской православной церкви в Бизерте — Церкви Святого Павла Исповедника, созданной им «в пещерном каземате» на горе Кебир, знавший Ирину со времен Сфаята. Отец Георгий окормлял всю русскую колонию Туниса. Он был не только духовным наставником Ирины, но и наставником ее поэтического творчества (та давала ему на прочтение свои стихи). Интересы бизертинцев о. Георгий отстаивал и позднее, уже после роспуска Русской эскадры, проживая во Франции. Удивительны его слова, сказанные при венчании:

«У Ирины... очень поэтическая душа. Но всегда очень грустна ее муза. От вас, Юрий Борисович, зависит, чтобы на ее лире зазвучали другие ноты».

Новые ноты зазвучали — о материнстве, о высшем предназначении — но муза ее осталась столь же печальной. По заказу о. Георгия в Сфаяте была написана специальная икона Божией Матери «Светлая Обитель странников бездомных» (ее называли «Радость Станным»), которой он составил Акафист, имевший хождение в эмигрантской среде. С иконы было сделано множество списков. Такой семейной иконой, написанной гардемаринком, родители благословили Ирину и Юрия в день их венчания. Характерна запись, сделанная Ириной в первые дни замужества: «Мне бы хотелось спокойно и подробно, день за днем, записывать мою маленькую женскую жизнь». После заключения брака Ирина взяла фамилию мужа, но стихи подписывала по-прежнему «Ирина Кнорринг».

В то время диабетикам категорически не рекомендовали иметь детей. Но совершилось чудо: 19 апреля 1929 г. родился сын; мальчику дали имя Игорь — в честь горячо любимого кузена Ирины, пропавшего в огне гражданской войны (так считали тогда). Игоря называли «чудо доктора Ляббе» — по имени врача, спасшего жизнь матери. «Если хотите увидеть счастливого человека, посмотрите на Ирину», — говорила Мария Владимировна. Жизнь Ирины приобрела новый смысл и заботы. Кроме того, она приспособилась к ежедневным уколам, пробам на сахар, ограничениям в питании, режиму дня... Но иногда «срывалась» и делала об этом хвастливую запись в Дневнике, добавляя: «Будь, что будет». Но это внешняя сторона ее жизни, была и тайная — «тетрадная», душевная, с трагедиями, надеждами, стихами и «воображаемыми романами». Несмотря на болезнь, все обычные житейские проблемы — начиная от ревностей и влюбленностей, заканчивая ссорами и скандалами — не обходили стороной семью Ирины Кнорринг. Среди множества материнских забот выделим одну, волнующую Ирину по мере взросления ее сына:

«Много говорится у нас, в эмиграции, о денационализации, о смене и т.д., и никто не догадался составить хороший букварь, понятный эмигрантским детям, растущим в Париже».

Если первую часть Дневника можно назвать «девичий дневник», настолько он трогателен, целомудрен и невинен (включая настойчивое желание Ирины — согрешить: позволить поцеловать себя кадету, попробовать кокаин и т.д.), то по мере того, как происходит взросление поэтессы, меняется и характер Дневника. На-

стал момент вспомнить о том, что Поэзия, а также Проза — женского рода. Женственность И.Кнорринг уходит корнями не только в XIX век (к «прабабушкам томным»), но во времена древней Руси, к Ярославне. В этом убеждаешься, читая о ее долготерпимости, преданности и особенно о ее «плачах»; неважно — в переносном или в прямом смысле. Это — плач Души, имеющий универсальный характер, выражающий всякую женскую эмоцию (протест, бессилие, страдание, радость, всепрощение), избавляющий поэтессу от Вскриков, помогающий хранить Молчание перед грозной Судьбой. Характерна ремарка Саши Черного, приведенная Ириной в Дневнике (увы, не распознавшего природу и тайну «плача»). «И сколько же ей лет, что она все ноет и ноет?» — поинтересовался он после первого же знакомства.

Женственность проецируется и на творчество Ирины Кнорринг. Но она не имеет ничего общего с «манерностью», которая часто присуща женскому творчеству, порой заслоняет другие особенности авторского почерка и даже сам преподносимый материал. Женственность И.Кнорринг — в мелодичности, сдержанности, целомудренности, простоте и «кротости» — как ее стихов, так и прозы. Уже в Сфаят, среди кадет и гардемарин, Ирина страдает от недооценки окружающими ее женственности. «...Это окончательно подорвало мою веру в себя и в мое будущее», — глобальный вывод по мелочному поводу. Позднее она будет страдать от недооценки «собратьями по цеху» ее стихов. О чем мечтает юная девушка? «По традиции пишу мои желания на этот год: 1. Успех в стихах. 2. Успех у мужчин», — запись о двух женских ипостасях, двух Божественных началах (сделана Ириной в день 18-летия). Почву для рассуждений о взаимоотношении полов, о браке дают каждодневные наблюдения: «Свою мораль навязывают чуждые русскому человеку окружающие его в Тунисе арабские традиции, — записывает она, — пусть и с французской прививкой [...] Французы так прямо и говорят, что женщине образования не нужно, она должна знать только хозяйство». И приходит к выводу:

«Я поняла, что этот страшный вопрос — уважения к женщине — важнее политических убеждений, важнее взглядов на штатских и военных, [...] на поэзию. [...] Это есть вопрос первой важности».

Вернемся в 1925 год, год встречи И.Кнорринг с поэтами, год начала ее «литературной жизни». Будучи в Тунисе, Ирина посылает свои стихи в различные журналы и имеет первый опыт публикаций. Напомним, что при жизни стихи И.Кнорринг были напечатаны на страницах эмигрантских газет и журналов: «Годы», «Грани», «Звено», «Новое русское слово», «Новый журнал», «Перезвоны», «Последние новости», «Россия и славянство», «Русские

записки», «Своими путями», «Студенческие годы», «Эос»; включены в поэтическую антологию «Якорь». Кроме честолюбия, был еще один, более значимый повод беспокоиться о печатании стихов — надежда на получение гонорара, пусть скромного (семья постоянно нуждалась, в рационе: «суп и картофель», выработалась привычка жить «без масла»). Весной того же 1925 года Клуб молодых литераторов был преобразован в Союз молодых поэтов и писателей в Париже (далее — Союз, так его называет и Ирина), на него поэтесса возлагает большие надежды: «Мне ясно теперь, что я стою в тупике, что нужно искать чего-то нового. Даст ли мне это “Союз”? [...] Или придется опять ползать в темноте и из одного тупика лезть в другой?»

Как же «старики» и «среднее поколение» отнеслись в созданию Союза, призванного морально поддерживать начинающих литераторов? Юрий Софиев записал впечатление первого председателя Союза — Юрия Терапиано:

«Принципиально отказался вступать в какой бы то ни было контакт с “молодыми” Ив<ан> Шмелев. И.А.Бунин тоже отнесся высокомерно и враждебно. Позднее он сменил гнев на милость [...] Писатели среднего “поколения” отнеслись к “Союзу” благожелательно и посещали эти вечера. Приходили Вл<адислав> Ходасевич, М.И.Цветаева с С.Я.Эфроном (он бывал в ту пору проездом в Париже, так как жил в Праге), Г.Адамович — поэт и ведущий критик “Последних Новостей” и “Звена”, Г.Иванов и И.Одоевцева. Мережковский и Гиппиус держались в стороне, но посылали поэта В.Злобина, своего личного секретаря. Бывали Н.А.Тэффи, М.Н.Алданов, М.Цетлин — поэт Амари, один из редакторов и издателей “Современных Записок”, он же критик, Н.Берберова, Марк Слоним, один из редакторов и критик “Воли России”».

Позднее, в 1929 г., председателем Союза станет Юрий Софиев. «За период с 1929 по 1932 год нам удалось выпустить четыре коллективных сборника стихов членов Союза, — пишет Ю.Софиев (имея в виду период своего правления, всего же вышло пять сборников Союза), — и критика о нас заговорила».

Итак, И.Кнорринг примкнула к Союзу практически с момента его создания. Дебютировала она милым полушутливым стихотворением «Мысли вслух» (см. раздел Комментарии). Ирина имеет постоянный успех на литературных собраниях. Но звон «медных труб» исчезает, не оставляя следа: «И вот на этом самом последнем вечере, когда мне столько хлопали... в этот вечер я почти не проронила ни слова, а после окончания мне стало так грустно, что я почти бегом побежала к метро... мне нечего было говорить, и не о чем».

Молодые поэты часто ездили в Медон, где жил их друг, поэт Юрий Мамченко; устраивали в Медонском лесу пикники, рыбалки, «медонские споры о материализме» (выражение Ю.Софиева).

Собрания Союза были построены таким образом, что первая часть посвящена выступлению именитого писателя или поэта, а во второй части молодые литераторы читали свои стихи и рассказы. События, связанные с «мероприятиями» Союза и критикой своих стихов, Ирина фиксирует достаточно подробно, разумеется, под собственным углом зрения (тем интереснее обнаружить расхождение или полное совпадение с «канонами»). Излишне будет перечислять длинный ряд имен поэтов и писателей, критиков, завсегдаев поэтических собраний — они представлены в Указателе имен (см. том II). Вот первые яркие впечатления Ирины: доклад Бориса Зайцева об Александре Блоке, чтение Тэффи своих юмористических стихов («Намалеванная, стриженная, рыжая баба... Но... я пришла в восторг, и стихи сами по себе хороши, и читала она действительно прекрасно»), Георгий Адамович, «повторивший в своем докладе все мои положения» (тот читал доклад на тему «Обман в поэзии»); и, конечно, Марина Цветаева — поэтический оппонент И.Кнорринг: «Что она со мной сделала, чем так поразила — даже и не знаю. Чтением? Жизнерадостностью? Простотой своей? Всем этим, вероятно. Я чувствовала, что ее стихи задевают меня, как-то глубоко входят... А голос, голос... И окончательно она обезоружила меня стихотворением, посвященным Ахматовой, строками: “Чернокосынька моя, чернокнижница!”». Тень Анны Ахматовой, постоянно сопровождающая ее, порой выбивает из колеи: «Адамович сказал, что нет больше “перчаток с левой руки”, но для утешения поклонников, есть “несметное количество девиц, подобравших эти ахматовские обноски”. Неужели же и я из их числа?.. Уж лучше совсем не писать».

Почему в статье о дневниковой прозе мы вновь возвращаемся к разговору о стихах? Это неизбежно. Дневник станет для читателя ключом к поэзии И.Кнорринг. В детстве она восклицала: «Мелодекламация — моя идея, моя мечта». Мелодекламация — чтение под музыку. Музыка в доме звучала постоянно: отец играл на скрипке, мать мелодекламирала (сидела за роялем, читала стихи под собственный аккомпанемент). Музыка — волшебная и грустная — звучала в представлении Ирины, когда она писала стихи — сдержанные по форме и содержанию (аскетичные). Вероятно, они предназначались для мелодекламации. Дневник полон размышлений о поэзии («Я ничего не люблю, кроме стихов, вплоть до самой косности их»). «Пригодна» ли она (автор Дневника) для поэзии? В 14 лет Ирина решает отказаться от писания стихов: «Это не долго, одно короткое мгновение, так же, как [...] гуляя на молу, броситься в море. Стоит

только пересилить себя и [...] жизнь переменится [...] Это лучше, чем впоследствии писать тысячи таких, какие пишутся теперь, особенно женщинами». В 14 лет она узнала: «Все хорошо только глубоко в душе, а на бумаге [...] фальшиво и пошло. “Мысль изреченная есть ложь!”» Тем не менее только стихи были для И.Кнорринг утешением, смыслом жизни, гордостью: «Гордость таилась где-то там, в глубине души, когда я одна наслаждалась моими, еще никому не известными стихами». Зная, что рано уйдет из жизни, в 1940 г. она оформляет отдельной тетрадкой стихи к сыну: «Стихи о тебе и для тебя». Заметим, что далеко не все поэтические строки И.Кнорринг, присутствующие в тексте Дневника, удалось идентифицировать, т.к. большая часть ее стихов еще не издана.

В 1931 г. вышел первый поэтический сборник И.Кнорринг «Стихи о себе». После этого важного для поэта события Ирина освободилась от литературной суевы и излишней щепетильности по отношению к своему творчеству (это отмечает и ее отец в «Книге о моей дочери»). Имела ли она литературные задачи — запечатлеть трепет дней в стихах и прозе. «Трепета» ей не занимать («...светлое настроение... моментально сменяется тупым, безрассудным отчаянием...»). По признанию Ирины, стихи были для нее способом самоутверждения, утверждения в данном моменте бытия. «Какая я счастливая, и именно потому, что нет у меня никакого душевного равновесия, а, наоборот, какие-то душевные движения, а когда их нет, мне скучно». Мнения критиков о «недоделанности» своих стихов, об их «детскости», «наивности», поэтесса не опровергала, но оставляла без внимания. Так, на критику Б.К.Зайцева — почему И.Кнорринг дала неуместное слово — та отвечает про себя: «откровенно — для рифмы» (как в детской песенке). «В поэзии хочу добиться одного: передать движение», — говорила она. Иными словами: остановить, запечатлеть мгновение. Ей был важен факт «движения» — по временной оси или по тетрадной или нотной строке. Ей был важен факт преодоления времени; а вновь пережить момент (как и переделать написанные строки) — она считала невозможной ложью (как пришло, так и легло на страницу). Галина Кузнецова сказала как-то о стихах Ирины: «ведь это — дневник»; Михаил Цетлин высказался более точно: «дневник женской души». Стихи И.Кнорринг — дневник, данный рифмованными аккордами, делающими его мелодичным. По поводу «метода» стихосложения Ирины Кнорринг (работа без черновиков; записывание стихов, складывающихся в уме, набело) К.Бальмонт высказал мнение: «Это ни хорошо, ни плохо», а является «свойством дарования». Поскольку стихи были сущностью Ирины, поиск простых форм и ясного содержания она проецирует и на другие области бытия. Вот ее приговор Константину Баль-

монту: «В то время, когда литература, да и жизнь, стремится к реализму и к простоте, он вдруг заговорил на таком страшном языке, который не всякий поймет. Зачем он корчит из себя полубога? Уж не хочет ли он создать вокруг себя такую темноту, в которой люди будут бродить и не узнавать, и не понимать друг друга?»

В 1931 г. Союз реорганизован в Объединение; выпустив несколько сборников, он выполнил свою задачу и исчерпал себя. Подобное будущее можно было предвидеть: поэты были объединены, фактически, лишь территориальным признаком — проживанием в Париже. Ирина, будучи во всем искренна, а порой и наивна, очень огорчалась, когда на глазах разваливался Союз.

В те годы, кроме собраний Союза, она посещала встречи поэтов в кафе «Болле», обстановку в котором она называет не просто «Богемой», а «игрой в Богему». Прочитав на одном из собраний короткое стихотворение, она многое узнает о своих стихах. Подчеркнем, что к критике она относилась с любопытством и олимпийским спокойствием. В данном случае ее заключение такое: «Ни одно стихотворение не вызвало столько прений, как мои восемь строчек».

Общество поэтов Ирине Кнорринг было необходимо, несмотря на все их разногласия: «Все-таки там, у поэтов, при всей моей отчужденности — отдыхаешь. Там хоть меня за человека считают». Но и там, в Союзе она чувствовала себя «не в своей тарелки». «Я задавала себе вопрос — почему? Если причина кроется во мне самой, в моем характере, застенчивости и неуменье подходить к людям — так почему же в нашей группе на курсах французского мне так легко и просто?» Причина, вероятно, в том, что стихи имеют свою тайную жизнь; будучи написаны, они уже отчуждены от поэта. А интимные стихи (каковыми были стихи И.Кнорринг), предъявленные «собранию», — фарс. Была и другая причина: Ирина не признавала поводырей. В Дневнике ее нередки фразы: «Она взяла по отношению ко мне какой-то покровительственный тон». Фраза, повторяемая за Пушкиным: «Поэзия должна быть, прости Господи, глуповата», — подразумевает, что вера и интуиция движут ею, а не умствования. Именно ими — верой и интуицией — и руководствуется И.Кнорринг, и иных поводырей не признает. С другой стороны, Ирина всегда страдала от «иронически-снисходительного» отношения к ней, от репутации «девочки, пишущей стихи». Отчасти желание изменить отношение к себе заставляло ее «участвовать в литературной жизни»; сама она не терпела позерства, лицемерия, игры (в женской среде выделяла презируемую ею породу — «ломучек»).

В 1930-е годы Ирина вовсе отошла от «литературно-общественной жизни». Почему? Вот свидетельство ее сына Игоря (которому следует верить):

«И обида, и болезнь сыграли свою роль в ее добровольном отчуждении, как бы уходе от литературной жизни. Ушла она, скорей, не от литературы, а от литературных сборищ, порой чересчур шумных, со своими интригами и склоками, отнюдь не только творческими, но и чисто житейскими. Мать была очень ранимым и замкнутым человеком, и такая бурлящая общественная жизнь была ей не по нутру. Отец мой, напротив, был светским львом, пользовался [...] большим успехом у женщин, любил шумные литературные и политические собрания, в которых принимал самое активное участие [...] Уход ее от общественной жизни произошел в значительной степени из-за отца. Мать, кроме личных обид, нанесенных им, не смогла стерпеть давление, оказываемое на нее вольно или невольно отцом в присутствии посторонних. Она, в противоположность отцу, как-то не умела блистать в обществе и всегда держалась очень скромно и сдержанно».

Сама Ирина писала в 1938 г.: «Одна из важнейших мудростей жизни — уметь вовремя замолчать, вовремя уйти. Я слишком болтлива. В каждом моем новом стихотворении Юрий умудряется найти какой-то повод, чтобы расстроиться или замрачить. Чтобы этого больше не было, нужно перестать писать стихи...»

Впрочем, иногда И.Кнорринг все же выступала (на значимых для нее вечерах). Так, последнее публичное чтение ею стихов состоялось 10 июня 1939 г. Это было на поэтическом вечере ее друга, Николая Станюковича. Сбор с вечера пошел в пользу Морского отряда русских скаутов (Ирина вступила в ряды герл-скаутов еще в Харькове и в свое время очень гордилась этим).

Как заметил Игорь Софиев, Ирина охладела «к литературной жизни», к шумным собраниям, но не к стихам, не к литературе (отдав дань монпарнассским кафе, она им посвятила поэтические строки). Стихи Ирина писала до последних месяцев своей жизни.

Читатель Дневника узнает И.Кнорринг как критика, прозаика, журналиста, а также редактора и корректора. Став женой Ю.Софиева, она будет помогать мужу (в то время — председателю Союза) в организации первого поэтического сборника Союза, Ирина «держит корректуру».

Критика Ирины Кнорринг, как и все ее творчество, лаконична, проста по форме, понятна брату-поэту. В Дневнике — отзывы о стихах М.Цветаевой, В.Ходасевича и многих других поэтов. Автор Дневника сетует, что поэтам недостает «ахматовской черты» — краткости. В другой раз с юмором замечает: «Мне хлопали больше всех, да и не удивительно: за краткость».

Дневник раскрывает И.Кнорринг как замечательного рассказчика, автора новелл. Вот довод Ирины (не умеющей врать!) в пользу написания рассказов: «Рассказы интереснее писать, чем

только воспоминания, как “Пережитое”. Очень уж там (в воспоминаниях. — *И.Н.*) боишься увлечься и приврать. В рассказах я тоже, конечно, держусь ближе к истине, но тут удобнее “разворачиваться”: можно и прикрасить разнообразными эпизодами, а в основу положить факты. Потом интересно выводить различные типы людей и смотреть на вещи с их точки зрения». В Ирине постоянно дремлет рассказчик. Стоит подбросить жизни малый повод, и рассказ уже готов. Еще в детстве она любила повторять за няней сказки, свое рассказывать — языком простым, народным, вплетая всё диковинное, услышанное. Недаром она обожает Алексея Михайловича Ремизова (в книге представлено именное приглашение, нарисованное для Ирины председателем «Обезьяньей палаты»). «Говоря о детских годах Ирины, нельзя не упомянуть про ее няню, крестьянку нашего села Фроловну (Дарья Шишова), — вспоминал ее отец. — По виду она была очень невзрачна, с обезображенным от болезни лицом, прихрамывала. Но эти недостатки покрывались у нее необыкновенно трогательной любовью к ребенку. Она знала много песен и всяких прибауток, которые и распевала у колыбели. Ирина прекрасно знала весь ее репертуар, и когда, качая кроватку, няня сама задремывала, то Ирина, баюкая сама себя, подсказывала слова песни. [...] “Пошел по водичку, нашел молодичку” [...] Когда ей было года три-четыре, можно было в детской наблюдать такую картину: Иринка, окруженная детьми, что-то рассказывает с увлечением, фантазируя, и ее внимательно слушают не только дети, но и другая няня (детей брата) — Никоновна».

Критику стихов поэтессы, спор о «безответственности» в поэзии и т.д. уместнее отложить до поэтического сборника И.Кнорринг, однако Дневник не дает забыть, что перед тобой поэт «парижской ноты», представленный прозой. Борис Поплавский дал название этому поэтическому направлению («парижская нота»); Г.Адамович объяснил, каким должно быть мировоззрение поэтов этой «ноты» и как его выразить; теоретик и историк литературы Альфред Бем суммировал основные признаки этой «ноты». Что касается Ирины Кнорринг, она была тем поэтом (одушевленным «материалом» для критика), на которого можно было бы сделать «ставку» при изучении вопроса: удалась ли парижская нота. Она изначально, по природе своей обладала — как этим мировоззрением, так и способом выражения его, чему подтверждение — сдержанность, приглушенные интонации, простота языка ее стихов. Но главное — их тональность. «Отказ от надежды» для Ирины означает поиск счастья в «настоящем», раскрытие богатства (и богатство страдания!), которое несет «сия минута».

На этой «ноте» перейдем к вопросу о литературной преемственности И.Кнорринг. В первую очередь речь может идти об

А.П.Чехове. Достаточно выбрать некоторые категории из словаря автора Дневника и проанализировать их взаимосвязь: счастье, труд, тоска, страдание, служение России. Приведем два фрагмента из Дневника.

«Я благословляю мою теперешнюю жизнь, когда я, как эмигрантка, унижена, когда я живу в тяжелых условиях, когда приходится заниматься черной работой. Если бы я сейчас опять попала в прежние условия, мне было бы стыдно; стыдно своего привилегированного положения; стыдно, что на меня кто-то бы работал, кто-то бы за меня думал. Все это было раньше так гадко, так низко, так стыдно! И теперь мне хочется никогда в будущем не бросать черной работы, чтобы ни от кого не зависеть и ни над кем не возвышаться. А ведь раньше никому и в голову не приходило, что надо самому себе стирать белье, самому за собой убирать. Это даже казалось чем-то унижительным, это должен был делать кто-то другой...»

«Сегодня я счастлива; во-первых, потому, что наконец кончила и подала Домничу сочинение; во-вторых, взяла новый том Чехова; в-третьих, я свободна настолько, насколько мне этого надо, и могу делать, что хочу; в-четвертых, я читала весь вечер и могу читать много, много, всю библиотеку; в-пятых, моя мысль неограниченна, и я могу думать, думать без конца! Как мало надо для короткого счастья! И странно, что я чувствую его именно тогда, когда в нашей кабинке бывало тяжелое, подавленное настроение. У нас нет ни одного сантима, у Мамочки нет работы, Папа-Коля получает в месяц 34 фр<анка>, и у нас уже долгу в кооперативе около 25 фр<анков>».

К А.П.Чехову Ирина обращается не раз — за поддержкой, советом; вспоминает его утверждение о том, что умственный труд более важная вещь, чем физический. «Чеховская» эстетика не была писателем «придуманна», а лишь выявлена в природе людской; она органически свойственна Ирине Кнорринг. Само название Дневника — «Повесть из собственной жизни» — перекликается с чеховской сентенцией о том, что жизнь человека есть лишь сюжет (т.е. стержень) для небольшого рассказа. В то же время И.Кнорринг, трансформируя рассказ в повесть, наполняет сюжет (стержень) — «собственными» днями. Вот несколько свойств Дневника, убеждающих, что А.П.Чехов был главным ориентиром в творчестве И.Кнорринг:

— многочисленные повторы, «чеховский безнадежный круг»: «Прошло много времени, но мало интересного. Все так же скучно, как и этот мокрый день. Дни проходят однообразно. Определенной работы никакой нет...», «Боюсь, что в работе над собой пройдет вся жизнь... Больше всего боюсь в будущем бесполезной, пустой и ненужной жизни...»;

- нет четкой границы между добром и злом, плохим и хорошим человеком, неуверенность в самих категориях; у автора Дневника нередко такая форма: «Не знаю, очень ли мне это нравится или очень не нравится...»;
- сдержанность в эмоциях и проявлениях: «Единственный мой новый плюс, приобретенный в последнее время, это то, что я стала сдержанней и суше. Больше нет трагических жестов и патетических выкриков. Пафос сменился иронией»;
- как чеховские сестры повторяют «В Москву, в Москву», творя самообман, И.Кнорринг повторяет «Харьков»: «Если мы вернемся в Харьков...»;
- привязанность к коротким формам (о ней уже шла речь).

Дневник поэта, безусловно, отличается от дневника, скажем, политика, священника, даже — писателя. Тем более, дневник женщины-поэта. Совершенно иные акценты и свойства: внимание к деталям, делающим погоду всей жизни (ибо жизнь для поэта — это сиюминутное состояние Души). Автора волнуют мелочи, которые она старательно анализирует, при этом мимоходом упоминая события, ключевые для политолога или литературоведа. «Была на вечере молодых поэтов. Что мне там понравилось — отремонтированное помещение и мое отношение к некоторым из них». Как не вспомнить подобный аргумент М.Цветаевой: «Пристрастие мое к Шопену объясняется моей польской кровью, воспоминаниями детства и любовью к нему Жорж Санд».

И.Кнорринг — лирический мемуарист, ей скучно «описывать» события (к досаде историков). Пристрастна она и в чтении. Вот любопытный пример: она читает «Чертов мост» М.Алданова. Произведение это, по мнению Г.В.Адамовича, и романом-то назвать трудно — столь самостоятельны главы; есть лишь тоненькая связующая ниточка — любовная составляющая и «слабенький герой» Шталь. Именно эта «ниточка» — Любовь, тянущаяся через главы и через жизнь героини Дневника, интересна Ирине: «Шталь любил по Карамзину», — повторяет она за М.Алдановым.

«Я люблю мою тоску», — проговаривается однажды автор Дневника, обнажая тем самым движущую силу своего творчества и свой духовный Эверест: «Меня не удовлетворяет мое писание... Да и надо ли отвлекаться, надо ли убивать червячка, когда я люблю мою тоску, потому что это — единственное, что есть во мне живого, что еще может чувствовать». Именно Господнюю тоску — скорбь по утраченному раю — имеют в виду поэты: О.Мандельштам — «Что весь соблазн и все богатства Креза / Пред лезвием Твоей тоски, Господь?», А.Ахматова — «Прости, что я жила скорбю / И солнцу радовалась мало». Приведенные строки Анны Ахматовой удивительным

образом определяют тональность Дневника. Здесь же можно говорить и о формуле Бетховена, близкой И.Кнорринг — «Через страдание — к радости». «Зачем ты стараешься причинять себе страдания?» — говорит ей мать. «Она не понимает ту мысль, которая для меня так ясна, — удивляется Ирина, — что счастья можно добиться только страданием: после страданий всегда бывает счастье. И чем сильнее они, тем больше награда. Говорить эту мысль Мамочке я не хочу, отчасти из самолюбия, боясь, что она покажется ей наивной и суеверной. А посмеяться над моими мыслями, над тем, во что я глубоко верю, я не позволю! Это моя религия, моя святыня, это *глубокая мысль моей души*» (курсив мой. — И.Н.).

Тот факт, что Ирина «увезла с собой Россию», сказывается на языке ее дневниковых записей; русский язык для нее «замер» на 1920-ом: построение предложений, их синтаксис — знаки препинания автор ставит по слуху (впрочем, как и в своих стихах), излишнее употребление наречий и местоимений (или напротив — их непривычное отсутствие). Иные выражения имеют не общепринятое значение. Например, добавляя к характеристике персоналии «какая-нибудь», автор не желает придать ей уничижительный оттенок. Или не раз встречающееся выражение: «если бы можно было так выразиться» (вместо «нашего» краткого: «если можно так выразиться»). Иные слова имеют вышедшее из употребления написание: «зало» (вместо «зал»). Есть отклонения от современных правил в склонении фамилий. В тексте множество русизмов: пикюр (угол), алерта (обстрел). И множество иных особенностей, которые отметит читатель.

Объясняя свой характер, И.Кнорринг приводит строки Тютчева:

Лишь жить в самом себе умей,
Есть целый мир в душе твоей.

И далее пишет: «Я никогда не делюсь ни с кем впечатлениями, чувствами, мыслями. Прежде чем сказать что-нибудь, надо подумать: а интересно ли это слушать другому и надо ли ему это знать? Надо бояться обременять других своей откровенностью. Надо молчать. Надо “уметь жить только в самом себе”. В этом и есть задача жизни». Понимаешь, что за «видимыми» категориями — угрюмостью, молчаливостью, замкнутостью, нелюдимостью — стоят «невидимые»: гордость, деликатность, неуверенность в себе, неумение фальшивить, лгать и пустословить. Но время от времени Ирина забывает о честолюбии, «перечеркивая» саму себя: «Пересматриваю свои стихи, и все мне показалось дрянью».

В Дневнике, вопреки мнению, что Ирина была мрачным, безрадостным, скучным человеком, находим множество фактов, опровергающих это: «После чая пошли в Гефсиманский Сад, играли,

бегали, дурили», «Мы играли в карты, очень дурили», «Страшно дурили и смеялись», «Мы дурили и смеялись, как можно только в кругу молодежи и притом — живущей не в общем бараке». Эти записи не расходятся и с мнением современников о «наивности» и «детскости» И.Кнорринг (в жизни и в литературе). Каким бывает ребенок? Разным. Открытый и замкнутый, искренний и скрытный. Всё зависит от того, как он ощущает себя в пространстве. Но ребенок этот весьма прозорлив: «Ведь это так скоро надоест, так скоро станет невозможным». А отзывы об Ирине людей, любящих ее!? — «Там, где Кнорринг, там всегда весело». Почему? Именно потому, что Ирина считала — все ее горести принадлежат ей, ею рождены, ей и претерпевать их. Она Дневнику и стихам адресует «охи» и «ахи». В жизни их быть не должно!

«Я смотрю на жизнь, как на интересную книгу. Все, что сейчас приходится переживать, все это мне кажется; только читаю с большим интересом и увлечением. Меня нет в жизни, есть только героиня какой-то повести. Ведь в книге интересно читать и про радость, и про горе. А разве жизнь не интересна, разве не хочется знать, что ж будет дальше?! Все нужно пережить! Я не ропщу. Перетерпевший до конца — спасен будет!»

Порой кажется, что не найти более слабого человека, чем Ирина. Но лишь до той поры, пока рядом не оказался «более слабый»: она утешает своего друга, т.к. «он быстро унывает и теряет надежду», «если на него смотреть свысока, если его унижат, то он уже перестает быть человеком: он дорожит чужим мнением». Ирина убеждена, что «человеку дороже всего чувство своей правоты и удовлетворения самим собой; самый униженный, самый жалкий человек может быть самым гордым и самым счастливым».

Но поэта, как и не-поэта, касаются эмигрантские реалии: бедность эмигрантов «в жизни» грустнее, чем философии о бедности: «Французы смотрят на русских как на маленьких детей, которых привели в игрушечный магазин: все-то им хочется, все они осматривают, а купить можно только на пятак». 8 ноября 1923 г. сделана лишь одна запись: «Нищета безобразна, нечеловечна, больше — нищета унижительна!» Ирина рада и малому заработку, особенно, если он приятен (к таковым относится работа в библиотеке Народного университета, но работа, к сожалению, не постоянна).

Дневник является произведением как литературным, так и историческим; в частности, живым свидетелем «политических стычек» в среде русской эмиграции. Не интересуясь политикой как таковой, автор Дневника, конечно, не может избежать пересказа «взрослых» разговоров. Впрочем, Игорь Софиев отмечает особенность эмиграции той поры: «Несмотря на разноречивость в политических

взглядах, даже иногда кардинально противоположных, в силу своего все же высокого культурного уровня и сознания принадлежности к единой русской культуре, что особенно резко ощущается на чужбине, в эмигрантской среде бытовала большая терпимость друг к другу». И приводит случай, когда на елке Тургеневской библиотеки, куда его привел дед, Н.Н.Кнорринг, к ним подошла дама с подносом, где были разложены (для продажи) ленты двух видов — желтые с двуглавым орлом (эмблемой царского престола) и трехцветные (цвета русского национального флага). Н.Н.Кнорринг купил, не раздумывая, вторую; начался было спор, но «всё это больше походило на игру, чем на непримиримую вражду двух противоположных политических точек зрения».

Но от «политики» спрятаться не удастся. Особую натянутость и неясность обретают записи И.Кнорринг, когда речь заходит о новых друзьях ее мужа — Тверетинове, Эфроне и др., и связанной с ними неведомой стороне жизни Ю.Софиева. Вот она восторгается путешествием, но добавляет: «Но насколько было бы лучше, если бы мы не заезжали в Эрувиль! Юрий сам это понимает, хотя я ему никогда об этом не говорила. Юрия выдал его голос» (запись от 30 сентября 1936 г.). Эрувиль — место сбора одной из групп, входящих в Союз возвращения на родину. Судя по фактам, Ю.Софиеву, как человеку много путешествующему, была поручена вполне невинная работа: пропаганда среди русского и французского населения счастливого образа жизни в СССР; а также, возможно, курьерская служба. К 1936 г. он вступил в члены общества «Amis de la Nature» («Друзья природы»), созданного ФКП. Это членство, кроме всего прочего, обеспечивало дешевый ночлег в Auberge de la Jeunesse (молодежные туристические базы), когда супруги пускались в ближние и дальние путешествия на велосипедах (поэтому членом общества была и Ирина; сохранилась ее «Carte de Campeur» — «Карта туриста» — за 1939 г.) Известно, что платного агента из поэта Ю.Софиева сделать не решились, поскольку он обладал мешающими в данном случае качествами — искренностью, мощным темпераментом и достаточным умом. А в Испанию не послали из-за тяжелого семейного положения (болезни жены), о чем он не раз впоследствии сожалел.

В 1940 г. кончилась мирная жизнь во Франции, предчувствие катастрофы задолго до начала войны ощущается на страницах Дневника; мы узнаем о «реалиях» жизни апатридов; им, оказывается, в отличие от граждан Франции, не полагалось иметь противогаз; им приходилось испытывать множество других унижений. С годами меняется категоричное мнение И.Кнорринг о том, стоит ли натурализоваться (когда-то в Тунисе она осуждала за это Нестора Монастырева и других). Да, Игорь должен быть гражданином стра-

ны, а не апатридом. Но — какой страны. Уже в предвоенное время в семье (как и во всей русской эмиграции) идут споры о возможности возвращения в Россию. С началом бомбежек решено было отправить Игоря в Розере (предместье Шартра) к подруге Ирины — Лили Раковской (Герст); но вскоре та была арестована вместе с мужем-коммунистом (Лилия была отпущена, ее муж расстрелян). Юрия Софиева мобилизовали во Французскую армию, после ее капитуляции он вернулся в Париж, став активным членом движения Сопротивления, укрывал у себя евреев и бежавших из фашистских концлагерей советских людей.

Игорь Софиев помнит, как однажды Борис Вильде, в прошлом поэт и участник монпарнасских чтений, а ныне — соратник Юрия Софиева по борьбе с фашистами (движения «Сопротивление» будет организовано позднее), придя в их дом, принес для его матери, лежавшей в госпитале в тяжелом состоянии, кусок вяленого мяса (немыслимого в оккупированном Париже). Зная любовь Игоря к палеонтологии, Вильде предлагал ему после окончания средней школы непременно поступить в школу при «Музее Человека», где он работал и где в то время был эпицентр движения Сопротивления — редакция газеты с названием, давшим имя движению — «Résistance». 26 марта 1941 г. Вильде был арестован и год провел в тюрьме, написав там «Тюремный дневник» (расстрелян 23 февраля 1942 г.). Игорь Софиев дает и последний штрих к портрету матери: «Увидев меня, она как-то оживилась и указательным пальцем провела по моему лицу — ото лба до кончика носа, на котором как бы поставила точку».

Ирина Кнорринг умерла 23 января 1943 г. Отпевание происходило в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы при женской обители, организованной матерью Марией (77, rue de Lougmel), там не раз бывал Игорь с родными. Церемонию совершал настоятель церкви о. Дмитрий Клепинин. «После панихиды, — пишет Игорь, — мать Мария подошла ко мне. Отец предложил ей сигарету, которую она тотчас же закурила. Потом, разговаривая с ним, она подошла ко мне сзади, положила свои мозолистые, красные от холода руки мне на плечи и тут же, как-то очень нежно погладила меня по голове. Это было в конце января 1943 г. Меньше чем через месяц ее арестовали» (гестапо нагрянет на рю Лурмель 10 февраля 1943 г., арестует мать Марию, закроет объединение «Православное дело», основанное ею). Похоронили Ирину Кнорринг на кладбище Иври, под Парижем.

Примерно за два с половиной года до смерти Ирина перестала вести Дневник. Почему? Ирине было известно, что максимальный срок, отведенный диабетикам, — 13 лет, она прожила 15. Причем последние два года пришлось на голодное военное время,

когда о диете и режиме и говорить не приходилось. Думается, И.Кнорринг оберегала будущих читателей и свое имя — поэта, автора «Розы Иерихона»:

Вдруг стало ясно: жизнь полна
Непоправимою угрозой,
Что у меня судьба одна
С моей Иерихонской розой.

Вот с той, что столько долгих дней
Стоит в воде, не расцветая,
В унылой комнате моей,
Безжизненная, неживая...

...

Но словно в огненном бреду
С упрямой безрассудной верой
День ото дня я жадно жду,
Что зацветет комочек серый...

...

И вот с безжизненной тоской
Склоняюсь грустно и влюбленно
Над неудачливой сестрой,
Над розою Иерихона.

Поэт есть символ Времени. Смерть Ирины Кнорринг «вписывается» в длинную череду убийств и самоубийств русских поэтов (как в России, так и в эмиграции); она разделила их судьбу. «Попробуйте меня от века оторвать...» — автор этих строк Осип Мандельштам, как и его однофамилец, Юрий Мандельштам, были уничтожены, ибо пришлось Веку не по вкусу.

Ирина Бек-Софиева (Кнорринг) унаследовала от родителей внутреннюю собранность, внешнее спокойствие, умение терпеть и молчать; успела впитать и увезти в изгнание русскую речь, главный ключ к океану русской культуры. Но ей было свойственно то, что отличает поэта от не-поэта: сила сердечного трепета и желание воплотить его в слове; тем самым задержать время и воскресить его через века... Ее Дневник не просто свидетельство тех далеких событий, это — живая душа Ирины Кнорринг, вобравшая в себя запахи и вкус эпохи. После его прочтения вновь хочется открыть ее стихи, полные тайной грусти и величия.

О том, что было «после всего».

...Война всё не кончалась. Юрия Софиева в 1943 г. отправили на принудительные работы в Германию. В 1945 г. он вернулся во

Францию, был сотрудником газеты «Русские новости» (в 1945–1955 гг.). После победы Красной армии наблюдался огромный патриотический подъем среди русских эмигрантов. Советские паспорта получили муж, сын и родители Ирины Кнорринг. Однако посол СССР во Франции А.Е.Богомолов в личной беседе не рекомендовал спешить с возвращением на родину, объяснив грустные перспективы этого решения. «Вид на жительство в СССР», первоначально выданный в 1946 г., затем неоднократно «возобновлялся» вплоть до 1955 г. — в этом году Игорь Софиев с женой и сыном, Юрий Софиев и Н.Н.Кнорринг приехали в СССР (именно в такой последовательности родные Ирины приехали в Алма-Ату). Мария Владимировна умерла в 1954 г. в Париже.

7 декабря 1965 г. состоялось перенесение праха Ирины Кнорринг с кладбища Иври на русский участок кладбища Сент-Женевьев де Буа. Церемония была организована братом Ю.Софиева — Львом Оскаровичем Бек-Софиевым. Там же им была устроена символическая могила третьего брата Бек-Софиева — Максимилиана Оскаровича, погибшего в сталинских лагерях на Колыме в 1945 г.

Н.Н.Кнорринг издал в Париже в 1949 г. третий, посмертный, сборник стихов дочери — «После всего». И.Кнорринг мечтала вернуться в Россию, но вернуться — стихами: «Сама я в Россию не поеду, но Игоря отдам отцу. М.б., там ему будет лучше [...] В тот же день, когда он уедет, я кончу самоубийством» (запись от 5 декабря 1938 г.).

Вернувшись на родину, Н.Н.Кнорринг пишет книгу воспоминаний «Книга о моей дочери», итоговый «документ», полный отцовской любви и предчувствия надвигающейся трагедии, основанный на Дневнике Ирины, ее стихах и своих воспоминаниях о жизни в изгнании. Завершает рукопись в 1959 г., однако попытки издать ее окончились ничем.

После завершения «Книги о своей дочери» Н.Н.Кнорринг едет в Москву и через Наталью Ивановну Столярову передает Анне Ахматовой три книжки стихов Ирины. Несмотря на то что Анна Андреевна была очень больна, она захотела его принять, сказав, что если бы стихи не произвели на нее глубокого впечатления, она бы «не стала тревожить приглашением» (свидетельствует Ю.Софиев). Из письма Н.И.Столяровой к Анне Ахматовой следует, что Н.Н.Кнорринг просил Анну Андреевну написать вступление к предполагаемой публикации стихов И.Кнорринг в алма-атинском журнале «Простор». Анна Андреевна дала лишь отзыв в несколько строк (он был передан Н.Н.Кноррингу через Н.И.Столярову). Хотя текст его известен читателю (он предшествовал публикации), воспроизведем его:

«По своему высокому качеству и мастерству, даже неожиданно в поэте, оторванном от стихии языка, стихи Ирины Кнорринг заслуживают увидеть свет. Она находит слова, которым нельзя не верить. Ей душно, скучно на Западе. Для нее судьба поэта тесно связана с судьбой родины, далекой и даже, может быть, не совсем понятной. Это простые, хорошие и честные стихи.

Анна Ахматова

18 февраля 1962, Комарово».

В журнале «Простор» (Алма-Ата, 1962, № 6) было напечатано семь стихотворений И.Кнорринг. Благодаря усилиям А.Л.Жовтиса в 1967 г. был издан маленький сборник стихов поэтессы — «Новые стихи». В те же 1960-е годы Н.Н.Кнорринг подготовил к изданию Дневник своей дочери, в течение нескольких лет перепечатывая на машинке ее рукописные тетради. Но в свое время издание осуществлено не было. Однако были публикации — Н.Н.Кнорринга, Ю.Б.Софиева, И.Ю.Софиева, Н.М.Черновой, В.Г.Тюриной (см. Библиографию), воспроизводящие фрагменты Дневника.

И вот спустя сорок лет инициативу по изданию Дневника взяла на себя Надежда Михайловна Чернова — жена (ныне — вдова) Игоря Софиева, хранительница семейного архива. Подчеркнем, что «Книга о моей дочери» была напечатана впервые в 1993 г. в журнале «Простор», где отдел прозы возглавляла Н.М.Чернова, благодаря которой десять лет спустя книга вышла отдельным изданием.

Перечислим некоторые особенности настоящего издания.

Дневник воспроизведен по машинописным копиям, выполненным Н.Н.Кноррингом. Тексты печатаются по нормам современной орфографии. Опечатки и ошибки исправлены, но сохранены синтаксические особенности повествования автора.

Н.Н.Кнорринг разделил Дневник на главы («Тетради») соответствующие их естественному расположению. Третья и четвертая тетради Ирина Кнорринг сшила в одну, они оформлены как одна глава. Автор Дневника выделяет особо свои произведения — стихи, рассказы, сценарии; а также события, заслуживающие внимания, с ее точки зрения: «Вечер», «Поход», «Собрание».

Вечный вопрос — полностью ли печатать Дневник — был решен в положительном смысле, т.к. в противном случае исчезли бы основные достоинства Дневника: естественная расстановка авторских акцентов, документальность, целостная картина мироощущения Ирины Кнорринг.

В отдельных случаях (если Н.Н.Кнорринг не смог прочесть по черк дочери и проверка по рукописи не дала результатов) публи-

каторы вынуждены были исключить фрагмент текста или дать его с пропуском 1-2 слов (помечено <нрзб>). Заметим, что почерк у И.Кнорринг — «бисерный», намек на букву, но содержащий ее основной признак (в чем-то перекликается со стихами поэтессы). Кроме того, наблюдается «вольная» пунктуация автора («казнить, нельзя, помиловать»), приводящая к возможности неоднозначной трактовки текста.

В угловых скобках дана: расшифровка сокращенного текста, в круглых — комментарии по тексту. Исправлены без комментариев: опiski И.Кнорринг, ее ошибки во французском тексте, разночтения в написании ею фамилий (Майер-Мейер, Монашев-Монашов и др.). В ряде случаев к фамилиям, имеющим разночтения, даны сноски в указателе имен.

Порой у издателей возникало желание «поправить» фразы И.Кнорринг, т.к. в них, наряду с русизмами, присутствует некоторая «шероховатость», свойственная людям, живущим в иноязычной среде («по-русски так не говорят»). Но вспомнился описанный Ниной Берберовой спор: «Так по-русски не говорят», — утверждал Владислав Ходасевич. «Где не говорят?» — восклицал Довид Кнут. «В Москве!». «А в Кишиневе — говорят!» В Русском Зарубежье так говорят.

Надо заметить, что И.Кнорринг, писавшая без черновиков стихи, так же писала и Дневник (без помарок и правки). Если изменение хода мысли требовало изменить текст (хотя бы согласовать падежи), автор двигался дальше, не останавливаясь на мелочах. Подобные фрагменты были исправлены при подготовке машинописных текстов Н.Н.Кноррингом.

Несколько слов о справочном аппарате, основная часть которого — «Аннотированный указатель имен», «Библиография», «Сокращения» — вошла во II том Дневника.

Перечень материалов, использованных при составлении вступительной статьи, комментариев и аннотированного указателя имен, приведен в разделе «Библиография».

«Сокращения» — это список основных сокращений, сделанных И.Кнорринг в тексте Дневника и автором справочного аппарата.

Особенности составления «Аннотированного указателя имен» даны в предисловии к нему. Указатель включает в себя более тысячи персоналий — как видных деятелей русской эмиграции, так и рядовых кадет и гардемарин, студентов, друзей автора по Сорбонне, Франко-русскому институту и, разумеется, собратьев по перу. При формировании справочного аппарата особое внимание было уделено персоналиям, героям Дневника, справки о которых

отсутствуют в общедоступной литературе. При составлении справ-
вок на известных деятелей акцент делался на те фрагменты их
творческой биографии, которые представляют интерес в связи с
судьбой Ирины Кнорринг и русских эмигрантов ее поколения —
«незамеченного поколения».

В отдельных случаях (при имеющихся в справочном аппарате
разночтениях) дана ссылка на источник информации.

Все замечания по тексту Дневника вынесены в раздел «Ком-
ментарии». Туда же вынесены выходные данные упоминаемых в
Дневнике публикаций И. Кнорринг и тексты стихов. Однако мно-
гие стихи поэтессы (как и ее рассказы) не опубликованы. Было
принято решение не приводить их тексты (иначе объем книги уве-
личился бы вдвое); кроме того, работа по их расшифровке еще не
завершена. Факт отсутствия публикации в каждом отдельном слу-
чае дополнительно не оговаривается.

Основную часть иллюстративного материала представляют фо-
тографии из архива Софиевых-Кноррингов, публикуемые впервые.

В заключение хочется выразить глубокую благодарность за по-
мощь в работе над книгой: научному консультанту издания — док-
тору филологических наук, профессору Татьяне Викторовне Сась-
ковой; редактору французского текста — Анне Алексеевне Бессо-
новой; референту Общественного фонда А.И. Солженицына —
Мунире Уразовой; техническим координаторам проекта — Денису
Олеговичу Новожилову и Павлу Юрьевичу Невзорову; помощни-
кам в комментировании текста и составлении справочного аппа-
рата к книге — Алексею Юрьевичу Невзорову, директору Цент-
ральной научной библиотеки Союза театральных деятелей РФ —
Вячеславу Петровичу Нечаеву, директору Научной библиотеки Кер-
ченского Историко-Культурного Заповедника — Нине Дмитриевне
Шестаковой, кандидату исторических наук Марине Анатольевне
Пановой (Тунис), профессору, барону Владимиру Игоревичу Кно-
рингу, Гали Дмитриевне Мышецкой (дочери Гали Борисовны Кно-
ринг), Наталии Евгеньевне Лаштовичковой-Куфтиной; иссле-
дователю творчества И. Кнорринг — Вере Геннадьевне Тюриной,
Линаине Павловне Черновой, супругам Любви Константинов-
не Шашковой и Марату Сатышевичу Крыкбаеву, сотруднику До-
ма Марины Цветаевой — Марине Юрьевне Мелковой, Надежде
Геннадьевне и Леониду Николаевичу Борисовым — за помощь в
организации издания и моральную поддержку, а также авторам
книг и статей, приведенных в разделе «Библиография», незримо
участвующих в подготовке справочного аппарата к книге.

И.М. Невзорова

В эту тетрадь я буду писать все, что только можно выразить чернилами и пером. Из отдельных дней у меня выйдет целая повесть, моя собственная повесть обо мне. Подробно буду я описывать дни, откровенно буду высказывать свои чувства и не буду забывать каждый день писать сюда все возможное.

<Ирина Кнорринг>

Метраж I

Все, на чем печать непоправимого,
Белый лебедь в этой песне слил!

Бальмонт

*Начата 26 августа 1917 г. — кончена 30 апреля 1920 г.
11 лет, 4 месяца, 5 дней — 14 лет, 1 неделя, 2 дня*

26 августа 1917. Воскресенье

Сегодня с утра я одна пила кофе, я его сама себе сварила. Потом занималась разными пустяками. Потом, когда Мамочка пришла со службы, я только причесывалась. Потом я занималась одним русским, а французским поленилась, у меня так много дела до 1-го! Кончить гербарий, выписать «героев» из книги. Беда! Мамочка говорит, что теперь у меня нет «подруги». Если правда, то я здесь сделаю себе подругу. Скоро придет Леля Х<воростанская>, и Таня Г<ливенко> перестанет со мной играть. Но я все-таки думаю, что нет. Таня об Леле не спрашивает, да и здесь у нее много друзей. Соня сегодня за Тигриком не поехала. Очень жаль. Когда я брала ноты, чтобы играть, поглядела на Мамочкины мелодекламации и... только вздохнула. Мелодекламация — моя идея, моя любимая мечта, вместе с Елшанкой. Я беру, чтобы их разобрать, а когда выбираю по мне, то все про себя читаю «с душевным чувством». Я хочу написать какую-нибудь «потрясающую драму» или «трагический роман», и напишу.

30 августа 1917. Четверг

Я умею кувыраться назад на месте, вперед не умею. Я плела сегодня коврики. Самарин сказал, что если я хочу хорошо писать стихи, то должна чаще писать. Послезавтра в гимназию, а я еще не все выучила. Сегодня постараюсь написать русский, завтра — засушить цветок и сделать немецкий, а после молебна — французский.

12 сентября 1917. Среда

Я строю воздушные замки. Мой воздушный замок прекрасен. Мой воздушный замок — семейный очаг. К нему длинная, трудовая дорога ведет, и ключ от замка — Елшанка. Я буду жить среди добрых, веселых людей, буду писать романы и стихи, буду безгранично счастлива. Таков мой воздушный замок. Моя подруга — Трусик (Валя Бондарева), Отшельник (Мила Павленко) и Цапка (Мила Вальх), а сама я Хвостик-Брин-ле. Мои подруги такие славные.

Я довольно хорошо рисую. Сегодня я не ходила по случаю насморка. Рисовала наших предков и черта. Когда я на него посмотрела, мне вдруг захотелось написать про него стихотворение.

У нас в гимназии была история. Я ею сразу заинтересовалась. А вот география мне показалась такая скучная. И сам учитель Игорь Иванович, великан или просто Ходули, — дурак. С ним так скучно заниматься. «Мелодекламация — моя идея, моя любимая мечта, вместе с Воздушным замком», и это правда.

Как же я буду спать с таким насморком? Надо положить под подушку штук 10 книг, чтобы голова была на высоте. Только так и можно.

Спокойной ночи!

Что за ерунда!

Когда я проснулась, погода была плохая, и опять я не пошла в гимназию! Очень боюсь, что сегодня была история. Потом я вспомнила, что у меня сегодня урок музыки. Мамочка ушла. Я причесалась и стала рисовать. Потом пришла Юлия Ивановна. Я все время смотрела, когда она идет, хотела опять рисовать, чтобы она вошла и сказала: «А где же Ирочка?», вошла бы в кабинет и увидела бы меня, и я бы похвасталась ей рисованием. Но вышло не так.

Дочь солнца

Это было во времена чудес. На свете жила прекрасная женщина-царица. Ее дворец находится на западе, против востока. Он был сделан из чистого хрусталя.

Четыре духа

Давно-давно жил на свете царь Кабир. С 16-ти лет он правил страной. Жил он во дворце из слоновой кости. В его саду пели райские птицы, а в каждой комнате были зеркальные полы.

В те времена учились только знатные люди. Стали и Кабира учить. Приходит к нему учитель, бритый, как и все ученые, худой. Сел за стол, а Кабира нет. Он сидел у ручья призадумавшись. Крикнул учитель слуг и велел его высочество Кабира позвать. Но слуги пришли с ответом: «Кабир сказал, что не хочет учиться».

Жил у Кабира раб, негритенок Китко. И часто он разговаривал с Кабиром о мудрецах. Однажды вечером сидели Кабир и Китко во дворце. «Знаешь, господин, — сказал Китко, — в твоём царстве за горой есть развалины замка, и в них живут духи». Китко это хорошо знает. Кто из этого замка уйдет — мудрецом станет. Вот ведь как! «А что если нам туда пойти, Китко», и Кабир задумался. Это предложение не понравилось Китко, так как он был не из храбрых.

«Господин, — сказал он, — к ним надо идти с подарком. Брось от чистого сердца золотое кольцо в развалины. Тогда можно». — «Идем сейчас же, я брошу, идем!»

Была тёмная ночь, тускло светила луна. Кабир и Китко подошли к развалинам. Кабир держал в руке кольцо. Вот он остановился, взглянул на кольцо, поднял руку и бросил его в развалины. Ярко блеснуло кольцо при лучах месяца. Вот оно ясно видно на темном фоне неба, перевернулось три раза в воздухе и... упало. Боже, как обрадовались духи, как они завизжали, так что стены замка задрожали. Сильно струсил здесь бедный Китко.

Вошли они в замок. «Тук, тук, тук!» — глухо раздаются их шаги. «Тук, тук, тук», — повторяет вокруг них множество голосов. «Духи!» — крикнул громко Кабир. «Хи-хи-хи», — повторили голоса. Вдруг пол под Кабиром провалился, и он стал медленно опускаться вниз, оставив наверху мир и негритенка. Наконец Кабир спустился вниз в подземелье к духам. Очутился он среди безобразных чудовищ. Вышел из них один высокий с большими глазами и сказал: «Ты пришел к нам учиться. Тебя будут учить 4 духа, а 2 подарят тебе самое дорогое на свете. Первый я тебя буду учить».

Они поднялись на воздух и полетели на север. Много нового увидел Кабир. Наконец они прилетели к океану. Тут дух сказал: «Здесь моя родина. Здесь я и останусь. Возьми от меня в подарок небо».

Очутился Кабир сразу в развалинах замка. Духи сразу приступили к нему с расспросами: «Где ты был? Что делал? Поумнел хоть немного?» «О, я теперь совсем умный». «Умный, умный, умный, умный», — на разных языках повторяли духи и при этом строили такие гримасы, что трудно было удержаться от смеха.

Тогда дух юга подхватил Кабира и полетел с ним к Черному морю. Опять много нового увидал, много нового, интересного.

Вечер

Я лежу, но не сплю. На дворе уж темно.
Только лужи большие мне видно в окно.
За окном, на дворе буря грозно ревет.

Колыбельную песню мне ветер поет:
Засыпай, засыпай...

Где-то поезд идет, по дороге шумит,
И вдали где-то грустно, протяжно гудит,
И куда-то далеко, далеко зовет.
Колыбельную песню мне ветер поёт:
Засыпай, засыпай...

Я лежу, чуть не сплю. На дворе уж темно,
Только лужи блестят — мне их видно в окно.
За окном, на дворе, буря громче ревет.
Колыбельную песню мне ветер поет:
Засыпай... Засыпай...

И на небе большая, золотая луна
В эту темную ночь из-за туч не видна.
Лишь горят фонари, дождик в окна к нам бьет.
Колыбельную песню мне ветер поет:
Засыпай... Засыпай...

Я и сплю и не сплю. На дворе так темно!
Только лужи блестят. Не гляжу я в окно.
Хорошо мне, а буря свистит и ревет.
Колыбельную песню мне ветер поет:
Засыпай... Засыпай!

15 октября 1917. Понедельник

Невеста ветра

Давным-давно жила на свете одна царица, и звали ее Василиса Премудрая. Она была такая красивая, что все юноши к ней сватались. И вышла она замуж за одного юношу — Симеона.

Жил тогда в заморских странах, на высоких горах, в своих темных ущельях Буйный Ветер. Жил он всегда один, и было ему скучно. Не было у него верного друга — жены. И задумал он, Буйный Ветер, выбрать себе в жены красавицу земную.

В это время родилось у Василисы Премудрой дитя — девочка, да такая красивая, что во много раз красивее матери. И назвали ее Екатерина Красавица. Мать ее любила больше всего, и отец также.

Однажды Василиса вынесла колыбель с малюткой в сад, строго приказав мамкам и нянькам охранять дитя. А Ветер Буйный скрывался в это время на тенистом дереве. И надулся тут он, выхватил Екатерину Красавицу из колыбели и понес ее в заморские страны, на высокие горы, в темные ущелья. А горы те были такие

крутые, что взобраться туда было невозможно. Только и мог туда взобраться один Буйный Ветер.

Няньки и мамки в это время побежали вдогонку Ветру и поймали голубое одеяльце Екатерины Прекрасной. Узнали об этом Василиса и Симеон и горько печалились. И спрятали они голубое одеяльце на память о своей Екатерине Красавице. А Ветер, примчавшись в заморские страны, на высокие горы, в темные ущелья, сказал Екатерине Красавице: «Екатерина, теперь ты моя! Через десять лет ты будешь моей невестой, а через одиннадцать — моей женой. А тогда же, конечно, и царицей мира, всего мира!»

Прошло 10 лет. На земле, в стране Василисы Премудрой умер царь и не было им ни наследника, ни наследницы. И объявила тут Василиса Премудрая храбрым рыцарям: «Кто из вас отнимет мою дочь Красавицу Екатерину от Буйного Ветра, тот возьмет ее себе в жены и будет наследником престола».

Один храбрый рыцарь, Олег, пошел на розыски Красавицы. Шел он почти год и наконец зашел в заморские страны, к темным горам. Подошел и думает: «Как же я заберусь в такую высь?» Вдруг слышит шум, свист, радостный рев, завыванье: то Ветер прилетел домой, в страну заморскую, в свои темные ущелья. В глубине пещеры сидела девочка и плакала. «Что так плачешь, красавица? — ласково обратился к ней Ветер, — скоро ты будешь моей женой и царицей мира». «На земле я нашла бы себе жениха лучше тебя!» — сквозь рыдания ответила девушка. «Забудь это! Ты волей или неволей будешь моей женой. А теперь прощай!» — и Ветер улетел. Оставшись одна, красавица подошла к краю горы и подумала: «Для чего мне жизнь, если я буду женой такого злодея, как Ветер? Лучше брошусь вниз!» И она, закрыв глаза, прыгнула. Но упала она на сильные руки Олега. «Идем теперь к твоей матери, — ласково проговорил Олег. — Теперь ты будешь моей женой и царицей одной только страны. Согласна?» «Согласна, — радостно... *(Не дописано. — И.Н.)* На свадьбе, во время свадебного пира... *(Не дописано. — И.Н.)*

2 ноября 1917. Пятница

Сегодня — великий день для меня. Я и Таня Г<ливенко> — герль-скауты. Мы на третьей поляне просветляли друг друга!!! Это!!! величайшая!!! тайна!!! Сегодня я со спокойной совестью помолилась, как герль-скаут, и спокойно засну.

9 ноября 1917. Пятница

Сегодня я лежу. У меня кашель, насморк, и очень болит голова. Я думаю:

Скажи мне, ветка Палестины,
Где ты росла, где ты цвела?..

...
Прозрачный сумрак, луч лампы, —
Кивот и крест, символ святой...

Кивот! Жеребятниково. Как это мило, родно! Помню старый дом снаружи, помню старый сад, старые ели. Помню мезонин, где мы жили, пока Папа-Коля был в Москве. Как там было хорошо! Помню Владимира Федоровича, Марию Владимировну, Тоню, Лялю... Да Лизу, няню. Пирожки с капустой. Как там было хорошо! Мирно, беззаботно жили мы там! Какие хорошие воспоминания о Жеребятникове. Теперь там, вероятно, погром. Вот когда встают воспоминания у меня — лес на горе, хохлик... О, если бы мне всю жизнь представлялось это так ясно! Никогда больше там не буду, никогда не увижу того, что так радовало меня, и счастливы мои воспоминания, не увижу больше никогда, никогда. Но что это? Я плачу. О чем! О прошлом. Но к чему расстраивать себя? Оно все равно не вернется. А я еще дитя. Что ждет меня впереди? Может быть, слава, гениальность. Может быть, сбудутся мои мечты. Не знаю.

11 ноября 1917. Воскресенье

Цветком полевым на опушке цвела я,
Порой разговоры с цветами вела я,

Меня по ночам освежала роса,
А днем улыбались мне небеса.

Сестрички, росли там и жили мы дружно.
Так весело жили, что вяннуть не нужно.

Нас девушки утром, с зарею, не рвали,
И, бегая по лесу, нас не топтали.

И дождик поил нас порой благодатный,
И ветер в жару обдувал нас прохладный.

Зефиры над нами все лето играли,
И мир, и свободу, и жизнь восхваляли.

Нам солнце с небес улыбалось с лаской,
И жизнь нам казалась волшебною сказкой.

Но красное лето к концу подходило,
И яркое солнце бледнее светило.

Холодные, серые дни уж настали.
Зефиры умчались, и листья опали.

С мольбою в сердцах мы, дрожа, увядали,
Счастливую жизнь навсегда покидали...

Русалки

По реке, в час ночной, по долине
Мальчик с кладью тяжелою шел.
Уходя с каждым шагом все дальше,
В темный бор наконец он пришел.

И, усевшись под деревом, тихо,
Перед быстрой широкой рекой,
Он сомкнул свои сонные глазки,
Освещенный прекрасной луной.

Он заснул. В это время из речки,
Вереницей, одна за другой,
Выплывали на берег русалки,
Освещенные полной луной.

Собрались они в хороводы
И запели про чудный дворец,
И про синие, быстрые волны.
Про чудесный волшебный ларец.

Мальчик спал и не видел русалок,
Только слышал таинственный хор...
А на небе луна улыбалась,
И шумел, и стонал темный бор.

И кружились и пели русалки,
Звезды сыпали им небеса.
Вдруг заметили мальчика. Злобой
Засверкали их злые глаза.

«Ты проснися, проснися, малютка,
Опустись к нам скорее на дно.
Там ты встретишь приветы и ласки.
Поджидают тебя там давно...»

И проснулся, проснулся, бедняжка,
И, наслушавшись ласковых слов,
Он готов прыгнуть в бурную воду,
Он на дно опуститься готов.

«На земле тебе плохо живется,
Посмотри — набегающий вал
Тебя к счастью умчит»... И малютка,
Опьяненный надеждой, упал.

21 ноября 1917

О печаль! Ты опять навестила меня
И тебя я узнала опять!
Ты от мирного сна пробудила меня
И уселась ко мне на кровать.

Наклонилась ко мне, говоришь и поешь
Все печальные песни одни.
Но зачем же, печаль, ты тревожишь меня
В мои ясные, детские дни?

О, вы, светлые Феи веселья и грёз,
Прогоните отсюда печаль.
И умчите меня вы от горя и слёз
В голубую прекрасную даль.

И умчалась я с Феями весело в даль,
Где играет мерцание дня...
Уж ко мне не приходит Печаль. И Мечта
От нее охраняет меня.

11 декабря 1917. (Вторник. — И.Н.)

Ох, ох, ох. Нас (в гимназии), кажется, распускают 20-го, когда некоторых — 9-го, а остальных — 10-го! Ужас! Ох, ох, ох.

12 декабря 1917. (Среда. — И.Н.)

Писать весь день
Мне очень лень.

Нас распускают 15-го. О-о-о-чень хорошо.

Я себе отморозила ноги! Ух, как это противно. Я, Т<аня> и Л<еля> писали стихотворение на Р<ожество> Х<ристово>. У всех вышло плохо. Я написала, но переправлю и подарю Мамочке или Папе-Коле! Подарки у меня еще не готовы. Беда!

Рождество Христово

Была чудная ночь. Все заснуло кругом.
В той пещере, где спали овечьи стада,
У Марии родился младенец Христос.
И зажглася святая звезда.

Пастухи увидали звезду, и лучом
Поманила она их куда-то вперед.

Удивились тогда пастухи: для чего
В эту ночь та звезда их зовет?

И явился к ним Ангел с великих небес,
Тихо пел и прекрасную арфу он нес.
Он сказал пастухам: «В эту тихую ночь
В Иудее родился Христос.

Поклонитесь ему. И звезда приведет
Вас к Тому, Кто родился в спокойную дрёму».
Удивились тому пастухи и пошли
Поклониться младенцу святому.

20 декабря 1917. (Четверг. — И.Н.)

Какая Леля Хворостанская ябеда. Какая Леля Хворостанская сплетница и врунья. Сегодня я и Таня Г<ливенко> убрали у нее стол и нашли письмо, которое Леля написала Тане еще летом, когда мы жили вместе с Х<воростанской> на даче. Таня дала мне его прочесть, но просила никому не показывать. Вот что там было написано Лелиным почерком: «Милая Таня! Ирина такая противная девчонка, собрала штук 5 мальчишек, таких же дураков, как и она! Наконец-то я прочла ее дневник, он написан на листочках такой формы <><><><>

1. Мое имя Андерлида (правда, писала).

2. Я царица неведомой Бурлании (писала).

3. Мой друг Володя Шварц (это один мальчик с нашей улицы). Конечно, я этого не писала! Потом написала, будто я написала В<олоде> Ш<варцу> письмо, где признавалась, что я его люблю и т.д. И попросила в письме Таню его разорвать! Ну, это ли не гадость?!?!?!? — у, гадость. И как же ее ненавижу! И не только я, но и Таня Г<ливенко>, и Тося Д<убнер>, и Тина. Не только за вранье, а и за сплетни! Дрянь!

У Сарры Мойсеевны висит карточка одного латыша, который ее любит. Я написала про него стихотворение:

Латыш. Он оперся рукою
О бритую свою под первый номер tête*.
Он так задумался страдальчески, бедняжка,
И верно, Саррочке готовит он привет.

* Голова (фр.).

А, может быть, грустит, от Сары уезжая?
Ее уж не увидит долго-долго он.
И кажется ему, что видит он в тумане
Любимой Саррочки глаза, как небосклон.

Желанное письмо в редакцию

Милостивый Государь, г. Редактор!

Покорнейше просим Вас принять в Ваш журнал стихи от двух
одиннадцатилетних гимназисток. Пишем мы под псевдонимами
«Ундина» и «Русалка». Очень, очень просим принять эти стихи.

Ундина. Русалка.

Наш адрес: Харьков, Чайковская ул<ица>, д<ом> 16, кв<ар-
тира> 7. Ирине Николаевне Кнорринг.

Если хотите, пришлем других стихов.

У<ндина>. Р<усалка>.

Рыцарь

Давно, в былые времена,
Была волшебная страна,
Где было много гор.
И правил ею мудрый князь,
Имел одну он дочь, Ядась.
И жил там рыцарь Тор.

Он много делал на войне
И много помогал стране —
За это мудрый князь
«Что хочешь» — сделать обещал!
И горы золота давал,
Но тот просил Ядась.

В стране была гора Юдок.
Никто туда войти не мог:
Вошел — и в камень он
Вмиг превращался в тех горах
(Испытывая страшный страх)
Волшебницей Нарон.

Ядась была горда и зла
И выйти замуж не могла
За рыцаря того.
И вот, когда взошла луна,
За ночь придумала она
Злу пытку для него.

Вот Тор приходит к ней. Она
Его встречает чуть бледна:
«Ах, милый мой цветок!
Я выйду замуж за тебя,
Коль ты достанешь для меня
Из речки башмачок».

Тогда мой Тор коня седлает,
Его кнутом всё погоняет,
И скрылся уж вдали...
Женитьбы хочет он добиться
И для Ядась к реке он мчится
В кой тонут корабли...

Но вот проходит год. Невесте
Никто о нем не скажет вести,
И весела Ядась.
«А жаль его, он не вернется,
А замуж выйти все ж придется!» —
Промолвил старый князь.

Но он вернулся к ней.
Она стоит бледнее полотна:
«Достал мой башмачок!?»...

«В горах большой цветок растет,
Он много счастья принесет —
Достань мне тот цветок».

И снова Тор коня седлает,
Опять в галоп его пускает
И мчится в горы он.
Но только к ним он подъезжает,
Как из ущелья выползает
Волшебница Нарон.

Жезлом коня остановила
И в камень Тора обратила.
И серым камнем Тор стоит
Среди ущелий, среди гор.
Очами мертвыми глядит...
Так ты погиб, несчастный Тор!

23 дек <абря> 1917

*Дневник на 1918 год
Герль-скаута и Феи Кафайа
И<рины> К<норринг>*

4 января 1918. Пятница

Я уже не прежняя Ирина! Во мне пробудились новые чувства, новые мысли! Я вспоминаю о детстве, когда я носилась в светлом облике и ничего не видела, кроме него — светлого, ясного, безмятежного... Тогда я была всегда счастлива, но я не умела ценить его... А теперь!? Теперь я никогда не бываю счастлива.

В минуты горя и ненастья
Нас вдаль манят с собой мечты, —
То — отблеск истинного счастья,
То — отблеск дивной красоты.

Само же счастье — безгранично,
Живет оно на всей земле,
Но никогда нейдет вторично,
Кому являлося во мгле.

Оно живет виденьем бледным,
Там, где страдает человек.
И покрывает вас нетленным
Своим сиянием навек.

Его улыбка — месяц ясный,
На темно-синих небесах.
И рой волшебных звезд прекрасных
Горит всегда в его глазах.

И в кудрях Счастья золотистых
Играет солнца луч златой,
А голос спорит с нежным, чистым
И легким ветерком весной.

Оно прекрасно, величаво!
Уйдет от нас — тогда мечты
Нам посылает, как забаву,
Как память прошлой красоты.

23 января 1918. (Среда. — И.Н.)

Рождество Христово

Пришло время родиться обещанному Иисусу Христу. В это время император Август сделал перепись всей страны. Все должны были

записаться в том городе, откуда происходил их род. А Иосиф и Мария пошли из Назарета в Вифлеем. Пришли они ночью. Все гостиницы были заняты, и им пришлось ночевать в скотной пещере. И тут родился Иисус Христос. Мария запеленала его и положила в ясли. В это время в поле пастухи пасли стада. И явился к ним с неба Ангел и возвестил о рождении Христа. И появилось много Ангелов, все говорили о рождении Спасителя и пели: «Слава в вышних Богу». Удивились пастухи и пошли в пещеру поклониться светлому Младенцу.

Два друга

Наступило время летних каникул. В гимназии мальчиков отпустили рано. Счастливый возвращался в этот день домой Гриша Лешев. Радостно было у него на душе: каникулы... Он первым учеником перешел в 3-й класс... Завтра — в деревню. Скоро он обнимет свою старую няню, увидит родные поля, рощи, скоро он будет бродить по лесам, купаться в реке, лазить по оврагам, и за ним с радостным лаем будет бегать его любимый Дружок.

В поезде шумно. Уже зажгли фонари. Гриша едет к себе в родную деревню. Он сидит, облокотившись на столик, и сладко дремлет. Но его разбудил голос отца: «Вставай, Гришука, приехали!» Гриша лениво зевнул, но мысль о деревне заставила его быстро вскочить. Вышли из вагона, сели в экипаж и поехали по бесконечным лугам.

Уткнувшись в угол экипажа, он смотрит на безграничную синеву небес, всю усеянную яркими звездами. Глядит и вспоминает Дружка: ведь он спас ему жизнь. Когда Гриша был совсем маленьким, сидел он на берегу речки и играл песочком. А день был ветренный, по реке ходили большие волны, и было холодно. Вдруг он поскользнулся и упал в воду, и понесло его волной на середину реки. Испугалась нянька, засуетилась, заохала, а между тем Дружок бросился в воду и спас Гришу.

Но лошади встали; слышны крики и громкий, радостный лай Дружка. Приехали! Быстро и весело потекло время. Гриша целыми днями бегал по лугам и рощам, лазил по горам и купался с товарищами и Дружком. Но не забывал и уроки. Каждый день утром Гриша сидел в своей комнате за книгой. Дружок лежал у его ног и дремал. Но Гриша кончил урок, закрыл книгу и крикнул: «Дружок, купаться!», и выпрыгнул в окно. Дружок за ним. Стрелой мчатся они к реке, бросаются в реку и долго купаются. Весело, быстро пролетело время!

Но вот каникулы пришли к концу. Через три дня — в город. Грустный ходил Гриша, грустный был Дружок. Наступил день отъезда. С утра погода была плохая, дул ветер и пошел дождь. Подали экипаж. Попрощавшись со всеми, Гриша подзывает к себе Дружка и, дав ему на прощание кусочек ветчины, чмокнул его в носик. Сели в

экипажи, поехали на станцию. Всю дорогу за ними бежал Дружок. Когда Гриша сел в поезд, он хотел было тоже полезть в вагон, но его туда не пустили. Тогда он сел на платформе против окна. Сел Гриша в вагон, снял пальто и подошел к окну. На платформе стоял Дружок. Поезд тронулся. Дружок попробовал было бежать за поездом, но, не догнав, грустный побрел домой. Пришел в комнату, где спал и занимался Гриша, сел у Гришиного стула и жалобно завыл.

Не грусти, Дружок! Пройдет зима со своими суровыми метелями. Вновь распустятся цветы, зазеленеют рощи и к тебе вернется твой друг!

31 января 1918. Четверг

Условия:

1. Писать дневник и сочинения каждый день.
2. Не ставить кляксы.

Я наконец могу писать в дневнике по своим правилам и порядкам. Я буду писать ежедневно сюда в минуты горя и радости, ничего не скрывать от своего дневника и писать все, все, все. Я не буду забывать, что я Фея и Герль-скаут. Я, как Фея, выйду на землю в цветке кашки на лесной поляне.

У нас в гимназии умерла одна гимназистка из первого класса. Мы так боялись, что ее понесут в большой зал при нас. А ведь чего бояться? И я когда-нибудь умру. Не страшно!

Цайято, сын Зара-Гама

Вечерело. В комнате сидел старик седой Авизар. Он сидел, задумавшись и поглаживая свои белые волосы... В окне слышался стук... Старик встрепнулся!

«Кто там?» — крикнул он громким голосом.

«Пусти переночевать».

Дверь отворилась, и в комнату вошел высокий юноша. На нем был пестрый халат, воротник из горностая и высокий колпак со звездами. Видно — рыцарский гонец!

Далеко за морем
Есть страна большая,
Ею правит мудрый Зара-Гам.

Во дворце прекрасном
Он живет. А ночью
Духов, ветров буйных он к себе зовет.

Северный и южный,
Западный, восточный —
Ветры-ураганы — братья меж собой.

Зара-Гам внимает
Ветрам, тайнам мира.
Ходит сильный ветер над его землей.

Сиротская доля

Тяжело жилось бедной маленькой Акулине! Она была круглая сирота и жила из милости у скотницы Домны. Акулину все обижали — и Домна, и ребятишки...

С раннего утра и до позднего вечера она пасла гусей в лесу. Сначала ей было тяжело и страшно проводить время далеко от деревни в темном лесу. С тайной завистью и грустью смотрела она на беззаботных ребятишек. Но мало-помалу обжилась Акулина со своей тяжелой долей. Она полюбила одиночество, полюбила природу. Только в лесу она была веселая и чувствовала себя на свободе. Но когда она вечером возвращалась домой, то забивалась в угол, словно боялась обратить на себя внимание. Вообще, при людях она росла скрытной, одинокой девочкой. Акулину никто не любил, никто о ней не заботился. Она была одинока, как в чистом поле росла молодая одинокая верба.

Праздник у Феи

Уж луна сияет
В синеве небес,
Уж заснули люди,
Оживился лес.

Уж проснулись ивы
На берегу реки
И в траве зажглись
Крошки: светляки.

От цветов разлился
Тонкий аромат.
И на праздник леса
Феи все спешат.

Все в нарядах бальных,
В тонких паутинках,
В жемчугах, алмазах:
В капельках, росинках.

Были тут и мошки,
Эльфы, светляки.
И пришли русалки
Из большой реки.

Домовые, ведьмы —
Все на бал идут
И царицу Фею
Для открытия ждут.

Фея прилетела,
На грибочек села,
Радостно запела:

Царица Фея — Голубой Глазок
Я царица леса,
Также и полей.
Праздник начинаем
Мы среди друзей.

1-я Фея
Я живу далеко
В красненьком цветочке,
И сюда примчалась
К Синему Глазочку.
И царице дар несу
Вот — из цветиков пыльцу.

2-я Фея
Я царице дар несу —
Благодатную росу,
Да из ландыша цветочка,
Да для Синего Глазочка.

Царица Фея — Голубой Глазок
Я вас всех благодарю
И дары себе беру.

Светлячок
Я, малютка светлячок,
Засветил свой огонек
И пришел сюда к царице,
Чтоб царице поклониться.

Русалка
Я люблю родные воды
И родные берега.
Мне любимы все русалки,
Как родимая река.
Но царевна Синеглазка
Мне подружек всех милей,
Под водой живу я сказкой,
Чтобы рядом быть, при ней.

Домовой
Ты милее тараканов
И пыли запечной.
Ты прекрасней всех красавиц,
Ты мой друг сердечный!

Собралися в хороводы,
Феи стали танцевать,
Но пришлось им поневоле
Чудный праздник завершать:
Зорька заалела
На краю небес.
Уж проснулись люди,
Засыпает лес.

26 февраля 1918. Вторник

Я вижу странные, но между тем и страшные сны. Вчера я видела во сне, будто меня и одну девочку зарезал кинжалом один солдат. А сегодня и того хуже. С месяц тому назад я видала, как торжественно, с флагами несли три открытых гроба, наяву. В первом из них я видела лицо. А сегодня я видела во сне, будто я одна во всей квартире, и вдруг вижу то же самое шествие с тремя открытыми гробами. В первом гробу я вижу саму себя, во втором — Папу-Колу, а в третьем — Мамочку. Ужасно я себя чувствовала, но, к счастью, проснулась.

Я — Фея, и мой домик — полевая кашка на лесной поляне. Таня — ландыш в лесу. Наша царица — Василек. Сейчас мы живем под землей. Мы еще не видели царицу. Она живет отдельно, под землей. Я слышала про царицу Фей, про эльфов, и как они живут — от Эльфика, фарфорового слоника, и от Феи-собачки. В ночь с 24 на 25-е марта все феи и царица покажутся на свет Божий. Значит, и я, и Таня. С этих пор мы будем жить на земле, в цветочках. В ночь на 25-е марта будет большой праздник для фей и будет он называться: «Преобразование» или проще, на языке фей «Вебраллей». Надо сказать об этом Тане.

27 февраля 1918. Среда

У нас нет прислуги. Сегодня я сама мыла посуду. Вчера вечером была у Тани. Она мне показывала свой дневник. Там она пишет про одну девочку из 5-го класса, что та очень хорошо поет и очень хорошая девочка. А про кого мне писать? Не знаю. Конечно, моя самая лучшая подруга Таня. Но она больше любит Таню Аксенову. А я, по правде, больше всех из девочек люблю Нину Кнорринг, Нюсенку. Но с Таней я очень дружна.

4 марта 1918. Понедельник

Какая Таня Гливенко милая, но легкомысленное дитя! Она очень хорошенькая, прямо красавица. У нее такой хорошенький носик, немного кверху, лукавые, зеленые глазенки, каштановые, вечно растрепанные волосы до колен. Сама она невысокая, худенькая, но с хорошей мордочкой. Дуся, куколка и только. Но она глупа, многое не понимает. Сгибнет, моя милая маленькая куколка, пропадет! И зачем это она так много мечтает? Засохнет она, как цветок в бурьяне.

Что может быть с человеком, для которого мечта все: и радость жизни, и дело ее? Я решила, как надо с ней поступать. Легкомысленная! Она думает, что можно плавать под звуки сирены и ходить в театр на грабежи и убийства! Жаль мне тебя, куколка моя милая, царица неведомой страны (забыла, как она называется), Фея Ландыш Лофайа!

О, Муза, Муза! вдохновеньем
Мне душу осветила ты,
В минуту тихого забвенья
Дарю тебе сии листы.
В них много горя, много муки,
Но много счастья и любви.
Писала это я от скуки.
Дарю тебе листы сии.

5 марта 1918. Вторник

Цветок

Цветок вчерашнего букета.
Цветок печальный, без ответа.

Склонил он нежный венчик свой
На стебель тонкий и сухой.

Он на окне, в пыли лежал
И тихо, тихо увядал.

Он в поле рос среди привета,
Он в поле с бабочкой играл...

Он на окне, в пыли лежал,
Цветок увядший из букета.

5 марта 1918

Мне долина приснилася вдруг, —
Все приветливо, тихо вокруг.

Там повсюду летали мечты
И разбросаны всюду цветы.

Мне приснился зеленый покров
Тех далеких, родимых лугов.

Мне приснился простор, небеса
И вдали дорогие леса.

Мне приснилася черная даль.
Там повсюду лежала печаль.

Травы сохли под небом грозы.
Не видать благодатной росы.

И срывались с деревьев листы,
Ветер злой разгонял все мечты.

Все удушено было тоской.
Все окрашено было слезой.

6 марта 1918. Среда

На память от Тани Г<ливенко>. Не забывай меня и помни,
Ф<ея> У<ндина>. Понимаешь? Люблю тебя, Ириночка. Не забудь,
Ф<ея> К<афайа>. А я не забуду Кадеточку.

Твоя Т<аня>

Пасхальный звон

Тихо ночь спустилась
На луга и лес.
И луна глядится
С синевы небес.

Мир заснул. Какая
Всюду тишина,
Только шепчет ветер
Да поет волна.

Венчики склонили
Цветики ко сну
И, качаясь, хвалят
Светлую весну.

Розы золотеют
С дальней стороны
Под сияньем млечным
Сказочной луны.
Навевают тихо
Сладостные сны!

«Секрет» (журнал)

0. Хроника
1. Дуэль
2. Воспоминания
3. Харьковцы

Из жизни

4. Ундина
5. Бела
6. Новый педагогический совет
7. Ответы

Хроника

Жизнь сотрудников «Секрета»

- А, здравствуйте, г<осподин> казначей!
- Здравствуйте, г<осподин> редактор.
- Ну, как поживаете?
- Плохо, г<осподин> редактор.
- А что?
- Да у меня голова болит, ноги, руки, все, что хотите.
- Да отчего же?
- Да с гимназией неприятности.
- А что?
- История!
- А, понимаю. Желаю, чтобы вас не вызывали. До свиданья!
- До свиданья!

- Вы уже из гимназии идете, г<осподин> редактор? Как ваш журнал?
- А черт с ним, с журналом.
- А что такое?
- Не буду я его издавать.
- Почему? Рассказ неудачен?
- Да нет.
- Может быть, ваш переписчик отказался переписывать?
- Нет.
- Ну, что же?
- Замечанье в дневнике.

Вступительное слово

М<илостивые> Г<осударе>

Целью нашей газеты «Секрет». *(Не дописано. — И.Н.)*

Сотрудников нас — трое, все — лентяи. Газета, предполагалось, будет выходить на свет Божий каждый праздник. Но, сами знаете, это дело сотрудников. Газета, по их вине, будет очень невелика. Если же сотрудники будут и впредь такими же лентяями, как были по сию пору, то газета и совсем остановится. Если же это случится (хотя я уверена, что этого не будет), прошу г<оспод> читателей не обвинять ни в чем не повинного редактора.

Редактор

Лес

Люблю я лес. Люблю его покой и тишину, его высокие дубы, кудрявую березку и чистые липы. Люблю я в самой чаще леса по целым часам лежать в уютной, высокой траве и думать, думать без конца. И слушать. Как птички поют, перелетая с ветки на ветку, как пчелки жужжат, как шепчут верхушки деревьев. Кругом все тихо, таинственно. Я вглядываюсь в молодой клён, гляжу и что же? Его уже нет — там сидит страшное чудовище с распростертыми руками и даже качает головой. Вглядываюсь, вижу два страшных глаза. Теперь уже нет сомнения, что это самое настоящее чудовище из какой-нибудь сказочной страны. Мне хочется его поближе разглядеть, и страшно. Приподнимаюсь. Чудовище пропало. Но куда же могло пропасть? Оно, вероятно, спряталось за какое-нибудь дерево. Оно с кем-то говорит, я слышу. Но нет, это шепчут травы. Вот взошла золотая луна, смолкли веселые пташки, перестали порхать пестрые бабочки, зажглись в траве малютки-светлячки. Лес спит, но чуть на востоке заалела зорька, снова оживился лес. Цветочки подняли к небу свои нежные венчики, снова щебечут птички, порхают бабочки, и тихо шепчутся деревья. Но меня зовут домой. Жаль мне покидать тенистый лес, где живут невиданные чудовища. Но надо идти домой. И так приятно.

29 марта 1918. Пятница

Объявление

День первого выпуска «Секрета».

Самосуд

29 марта в гимназии Покровской поссорились два закадычных друга, я и М.Павленко. Случилось это так: перед уроком русского языка я дала учительнице альбом со стихами. М.Павленко очень

рассердилась и выругала меня. Я пересела от нее к Бондаревой. За уроком она прислала мне письмо: «Ты очень нехорошая девочка. Я в тебе очень разочаровалась. Ты очень глупа». И получила ответ: «Это мнение не новость. Я знаю, что я не такая хорошая девочка, как ты!» На перемене мы сцепились. Около нас собралась группа друзей и совершила над нами самосуд. Во главе суда была В.Бондарева. Нас хотели помирить, но это не удалось. Тогда нам объявили бойкот до следующей перемены.

30 марта в гимназии Покровской был спор между редактором и Леонтовской. Спор решили покончить ручной дуэлью. В большом зале до прихода учительницы была назначена дуэль. Но г<оспожа> Леонтовская сильно уклонялась от нее под разными предложениями и в конце концов постыдно сдалась. Победа на стороне г<осподина> редактора.

Из жизни сотрудников «Секрета»

- Вы в гимназию, г<осподин> редактор? Ну, как ваш журнал?
- Ничего. А еще не поздно? А то я в гимназию опоздаю.
- О, что вы — еще очень рано.
- Но что же я никого из учениц не вижу. Вы меня не надуете?
- Да я не знаю. Для меня еще очень рано — я ко второму уроку...

24 марта в квартире г. редактора происходило празднество по поводу выхода первого № газеты. Были гости. В честь нашей газеты были сбиты сливки, которые мы не без удовольствия съели.

Н.Гливенко

Если б крылья я имела,
Крылья легкие свои,
То далеко б улетела
И высоко от земли.

Улетела б в край прелестный,
В высь лазурную взвилась,
В край далекий, неизвестный
Я б на крыльях понеслась.

Бестелесным сновиденьем
Я б хотела полетать
И большим, большим виденьем
Сны повсюду навевать.

Долго с детства я мечтала
Крылья легкие иметь,
И на крыльях я желала
В край далекий улететь.

И сбылись мои желанья,
И сбылись мои мечты,
Подарили мне мечтанье
Крылья пышной красоты.

Дни счастливые настали,
Распустились цветы,
Всюду мы с мечтой летали,
Окружали нас мечты.

Под луной всю ночь летала
Я, как пташка, мчалась в даль,
В счастье горя я не знала,
Но пришла ко мне печаль.

Крылья легкие сломила,
Все развеяла мечты,
От меня не отходила
И помяла все цветы.

Уж пропали эти крылья,
Крылья сладостной мечты,
Не вернутся дни былые,
Не возрастут опять цветы.

Почему же крыльев нежных
Не могу я прикрепить?
Дней прекрасных, безмятежных
Невозможно воротить!?

9 апреля 1918

Дни в моей жизни великие и на всю мою жизнь незабудные
(незабвенные. — *ред<актор>*).

9 апреля 1918. Вторник

Вчера пришли в Харьков немцы. Всю ночь мы слышали пушечные выстрелы. И на Холодной горе видели огонь. Утром я слышала канонаду, но пошла в гимназию. С двух уроков за мной пришел Папа-Коля с Валиным отцом. И я, Валя и Галя Запорожец ушли домой. А днем уже пришли немцы.

Без боя, без жертв сдали город. Когда я глянула с полянки на город — передо мной разостлался дивный вид. Город был залит солнцем. Блестели кресты на церквах. И так все было мило и дорого мне, насколько я привыкла к милой Чайковской. И страшно подумать, что все это немецкое. Мы за границей. Прощай, Нюсенька,

прощайте все. Мы уже не в России. Вечером немцы убрали, вычистили вокзал до неузнаваемости. На Павловской площади раскинули палатки, сама я не видела. Так говорили. Что будет дальше — никому неизвестно. Будет ли когда-нибудь Харьков русским городом?

12 апреля 1918. Пятница

Для газеты

Г<осподин> Неизвестный! Я даю вам добрый совет. Не осмивайте вы несчастных сотрудников. Если это делает Бела (как вы написали в 9 номере), то не берите с нее пример. Бела — девочка глупая, если смеется над сотрудниками, своими же товарищами, а также и над собой. Не берите с нее пример и не смейтесь над ней. Это нехорошо! Что же касается гимназии и уроков, то этот грех есть и за вами, г<осподин> Неизвестный. Если Бела избегает понедельника, то вы четверга. И этому всему вы, конечно, научились от Белы. Повторяю вам мой добрый совет: не берите вы пример с Белы, Неизвестный друг.

Бела старательно пишет для газеты статьи. Прибегают Ундина и Зарема: «Что это ты делаешь?» — спросили они. «Пишу статью для газеты». «Вот еще. Охота была! После напишем. Идем лучше в классы попрыгаем». Забыта и статья, и тема, и через одну минуту Бела уже весело прыгала с сотрудниками, не думая о газете.

14 апреля 1918. Воскресенье

Почему меня так не любят? Таня и Леля смеются надо мной, не разговаривают со мной. За что? Что я им сделала? Сегодня мы решили переписывать газету, а Леля еще ничего не дала для газеты, хотя и написала, обещала дать вчера... А сегодня уже не хочет. Ну, это пустяки. Этого от Лели можно ждать. Мы с Таней бы могли одержать над Лелей победу. Но вся беда в том, что Таня мне больше не подруга. Они с Лелей взяли от меня бумагу для газеты к себе на хранение и уже заподозрили меня, что я истратила один лист. Что за недоверие ко мне! Я больше не могу этого терпеть. Мне тяжело, мне грустно! Хоть бы скорее в гимназию. Там я поделюсь всем с Валею Бондаревой. Может быть, это глупо и грешно писать такие вещи одиннадцатилетней девочке? Но это правда! Они меня не любят! Таня мне изменила!

Дневник, ты меня не предашь! Ты не изменишь мне в дружбе, как Таня? Тебе одному я говорю тайны моего сердца. Пусть никто не знает об том, что мне так тяжело, так больно и грустно.

14 июля 1918. Воскресенье

В темном небе ночью порою
Догорела звезда золотая.
Переполнена тайной тоскою,
Где-то жизнь отлетела молодая.

Отлетела от хмурой земли,
От далекого, грустного края,
Быстро скрылася в темной дали
И предстала пред аркою рая...

На земле же, под липой густой
Одинокaя дева сидела.
И о чем-то вздыхала порой,
И на небо со скорбью глядела.

И одною, одной лишь слезой
Помянула ту жизнь молодую,
Отлетевшую с ранней звездой,
Заглядевшись на даль голубую.

14 июля 1918. Пуща-Водица

Легенда

Это было много, много лет тому назад. Был тогда на земле один прекрасный сад, который называли раем. В нем были чудные цветы. Рано утром, с восходом приветливого солнца, цветы открывали свои нежные венчики и, стряхнув с себя росу, разливали повсюду аромат. И цвели они там вечно, круглый год, потому что там была только одна молодая весна. И никогда они не увядали. Росли там стройные, вечнозеленые кипарисы и другие прекрасные деревья. В них пели дивные птички с пестрыми крыльями и цветистыми хохолками, которые жили в том прекрасном саду, наслаждаясь жизнью. И жили там добрые бессмертные люди. Они не рвали прекрасных цветов и не ломали стройных деревьев. Утром они напивались благодатной росой, а днем ели сочные плоды, которые им сыпали горделивые ветви деревьев. В кудрях этих бессмертных людей играли золотые лучи солнца, в глазах их отражалось вечно-голубое райское небо. И вот однажды появился в Раю смуглый грубый человек из далекой неизвестной страны. Он был угрюм. В глазах его отражалось вечно-серое небо его далекой стороны, в черных кудрях его спала черная непроглядная ночь. Он был мрачнее тучи. Его не радовала райская красота. Он принес с собой в Рай несчастье, болезни и смерть. Тех, кого он касался своей рукой, вскоре умирали. Наконец в Раю осталось очень мало добрых людей, да и те стали бледные и унылые. Наконец бедные райские

люди в одно хмурое утро прицепили к себе легкие крылья, собрались в хороводы и улетели на далекие розовые острова, оставив злых людей в Раю.

Прошло много лет. На земле жили люди такие же, как и теперь, знающие и горести и заботы. Однажды ночью под окном одной бедной хижины послышалось чудесное пенье. То пела маленькая, серая птичка на кустике черемухи. Это был соловей. Он пел о былом, о том, что было некогда и уже не вернется. Люди слушали его, и слезы текли из их глаз. Они плакали уже о потерянном и невозвращенном Рае.

Ночь

Кротко луна озаряла
Светом листочки дерев.
По небу тучка летала,
Тихая речка плескала,
Спал очарованный лес.

Тихо цветочки шептали
Между собой с светляком.
Эльфы и феи летали,
Сны на людей навевали
Нежным своим голоском.

Плещутся волны, играя,
Звезды мерцают с небес,
Шепчет камыш, засыпая,
Светит луна золотая
На очарованный лес.

24 июля 1918. Пуща-Водица

1-е. Что выделяют при танцах.

2-е. То, что составляют множество леса, деревьев и кустов.

3-е. То, что встречается в болотах!

Целое — название страны.

1-е. То, что вбивают по концам крокетной площадки.

2-е. Местоимение личное множ^{ественного} числа.

3-е. Местоимение личное единст^{венного} числа.

Целое — поселение в чужой стране.

24 июля 1918. Среда

По вечерам на меня нападает тоска. Я вспоминаю Харьков. Мне кого-то жалко. Только теперь я почувствовала, что люблю его. И привыкла к Харькову. Сколько счастливых и тяжелых минут я

там пережила. Я чувствую, что Киев мне чужд. Я знаю, что в Киеве я не найду такого счастья, которое я пережила в Харькове среди милых друзей. Мне жалко, что я сейчас не в Харькове, но вместе с тем я боюсь его! Я плачу, не знаю о чем, но мне кажется, что о Харькове.

Розы

Отчего благоухают розы
Пробуждающе утренней порой!
Отчего они роняют слёзы
С лепестков своих над мокрою травой?

Тихо всходит солнце и блистает,
Первый пышный луч бросает в сад,
А уж розы там опять благоухают,
Разливая тонкий аромат.

Все они так нежны и красивы,
В лепестках жемчужных много слез.
Но зачем все розы горделивы,
Отчего нет кроткой между роз?

1 августа 1818. Пуца-Водица

5 августа 1918. (Понедельник. — И.Н.) Киев. Пуца-Водица

Сегодня я получила от Тани письмо. Она пишет, что скучает, Леля не поддерживает ее интересы. Это мне вполне понятно. Леля такая, Таня пишет, что хотела бы со мной увидеться. А я как хочу ее видеть, прямо сказать нельзя! Среди здешних удовольствий, среди Дёмы и Наташи я не так чувствовала ее отсутствие, как теперь, когда я получила ее письмо. Боже, как я обрадовалась! Я уже отчаивалась получить от нее письмо. Прочитав его, на меня так повеяло Харьковом, что я не знаю! Письмо для меня было так задушевно, приятно, прямо прелесть. По приезде в Харьков я там буду Тане много рассказывать! О-о! Буду записывать прогулки, чтобы подольше запечатлеть.

1-я прогулка (в Межигорье). Число не помню. Июль

Однажды мы сделали большую прогулку. Встали мы в 7 часов, напились чаю (дети — молока), взяли еды и питья и отправились в Межигорский монастырь.

Взяли мы с собой огромные завтраки, воды, молока и сахару для чая, и в 8 часов отправились в путь. День был пасмурный, но дождя не было. Шли мы сначала Пуще-Водицей, потом краем деревеньки, немного полем и, наконец, бором. Дорога в Межигорский монастырь шла по телеграфным столбам. В бору я, Дёма и Наташа

шли впереди и разыскивали столбы. Бором мы шли долго. Наконец мы вышли в огромное поле. Пройдя через один ручей, под одинокой яблоней мы сделали привал. Разложили завтраки и стали закусывать. Набрали из ручья воды и вскипятили на костре чай. Закусили и стали любоваться видом. Отдохнув, мы отправились дальше. Видели цапель. Ах, как они красивы и как их было много! Потом видели окопы двух сортов. Одни длинные и извилистые, и в них по краям плетень. А другие вроде землянок перед окопами — интересно. Потом шли самой неприятной дорогой — селом. И оно, как назло, было огромное. Наконец мы пришли в монастырь. Этот монастырь на берегу Днепра. Дядя Алеша, Папа-Коля и Дёма купались, я им очень завидовала, конечно. Потом в монастыре пообедали и пошли гулять. Я осмотрела Днепр. Он довольно широк, но там ужасные мели. Даже видно. Потом в монастыре стали звонить к вечерне. Ах, какой это был прекрасный звон! Он был такой легкий и приятный, прямо прелесть. Мы пошли в собор. Ну, там мне ужасно понравилось! На иконных рамах сделаны листы и виноград — золотые (или позолоченные), а на верху рам по амурчику раскрашенному. И монашки в черном, в своих шапках. И везде такой покой, молчание. Пойду в монашки. Потом я с Папой-Колей пошла купаться. Я была ужасно рада. Купалась, и довольно много. Но плавать в Днепре совершенно невозможно. Я иду, иду, иду, все дальше и дальше, а мне все по колено. Потом стали надвигаться огромные тучи. Мы поспешили к гостинице.

Едва мы успели напиться чаю, как полил такой ливень, что трудно себе представить. Мы спрятались на террасе гостиницы. Потом мы собрались ехать на пароходе в Киев. Пошли на пристань, купили билеты, стали ждать парохода. Наконец он подошел. Тут случился курьезный случай. Папа-Коля стал матросом. С парохода бросили на пристань канат. Публика расступилась. Канат упал на пол и стал скользить в воду. Дядя Алеша придержал его, Папа-Коля взял его в руки и кричит на пароход: «Что же мне с ним делать?». Ему отвечают: «Тяните за привязку». Нечего делать, пришлось Папе-Коле притянуть пароход и привязать его. Мы сели, и тут пошел дождь. Мы проехали довольно красивые места. Проезжали под железнодорожным мостом и наконец пристали к Киеву. Там сели на трамвай и приехали домой очень поздно. Мы все были очень довольны прогулкой.

7 августа 1918. Среда

2-ая прогулка. О Кирилловской церкви. 7 августа 1918.

Эта Церковь находится за г. Киевом. Мимо нее проходит трамвай в Пушу. При этой церкви есть больница (чуть ли не для полоумных и опасных больных; там часто умирали, и при нас туда ввозили много гробов, это было неприятно). В этой церкви рисовал известный художник Врубель. Он когда нарисовал картины, сошел с ума и кончил жизнь в больнице, при церкви. Его картины

очень хорошо нарисованы, но лики святых отличаются тем, что глаза у них какие-то дикие, сумасшедшие, но не все. Мне очень понравились три картины у входной двери. 1-я — скрежет зубов, там нарисованы мучения ада (на всех трех), головы и зубы, — как будто скребут зубами; 2-я — червь не усыпляемый, опять головы, из рта, из носа, из головы ползут черви; и 3-я — огонь неугасаемый, головы в огне. Но эта церковь мне не очень понравилась, там очень темно и мрачно. На службе, говорят, бывает очень мало народу.

Воспоминанья дней былых
Наводит сладкое молчанье.
В кругу родных, друзей моих
Привольно мне. Воспоминанья

Теснятся светлою гурьбой,
Вокруг меня и надо мной —
Давно знакомые картины.
Я вижу ряд веселых дней...
Вокруг — леса, холмы, долины...

Воспоминанье прежних дней —
Отрада мне. В кругу друзей
Оно приходит, как желанье.
О детских светлых днях расскажет,
Навеет на меня мечтанье,
Картины радости покажет...
Ко мне, ко мне, воспоминанье!..

7 авг<уста> 1918. Пуща-Водица

9 августа 1918. (Пятница. — И.Н.)

Вчера мы (Дёма и Наташа), можно сказать, сбесились. Мы искусственно смеялись и наконец стали такие веселые, что прямо ужас. Мы пели «отца Феофила» и «Нюра-Дура». Потом под нами оборвался гамак. Мы так смеялись.

Дёма и Наташа очень интересуются тем, что написано в загнутых уголках. Они дразнятся, что там написано “Ирина и Володя”! Как это глупо! Дёма пристаёт, чтобы я ему показала дневник. Я ему показала почти все, конечно, мельком. Дело дошло до уголков. Они пристают, покажи! Ну, уж это дудки! С маслом! А Наташка говорит, что она подглядывала ко мне в дневник. Дурная! Она только меня навела на мысль, что надо прятать от нее дневник. Но куда? На окно, под книги.

(Сентябрь 1918. — И.Н.)

Договор № 1

Ирины К<норринг> и Тани Г<ливенко>

Ирина и Таня обещали не церемониться, бывая друг у друга.
При сем прилагаются подписи
Таня Г<ливенко>. Ирина К<норринг>.

Договор № 2

Ирины К<норринг> и Тани Г<ливенко>

Ирина и Таня обещали говорить правду, оценивая свои произведения друг друга.

При сем прилагаются подписи

Таня Г<ливенко>. Ирина К<норринг>.

1. Хороший тон

- 1) Держать все вещи аккуратно.
- 2) Опрятно одеваться.
- 3) Держать хорошо свои руки и ногти.
- 4) Свои работы делать аккуратно.
- 5) Чистить зубы с порошком.

2. Правила

- 1) Вставать рано и не валяться в постели.
- 2) Делать свои обязанности.
- 3) Хороший тон.

Спиридоноушкино царство

Глава I

Как просыпается великий царь Спиридон Спиридонович

Полдень. Давно уже светит солнце в окно к царю Спиридону Спиридоновичу. Царь проснулся. Он спал на огромной кровати в добрую сажень шириной, в три длиной (царь был так объемист, что не уместился бы на более маленькой кровати). Над кроватью был сделан кисейный полог, а на нем все ленточки, ленточки. Из стены выходило к кровати несколько труб. (Эти трубы проходили через стены в комнату к слугам; каждая труба — к особому слуге). Царь дунул в одну из них, да так крикнул, что слуги слышали бы и без труб. И тотчас перед ним явились два слуги. Входя, чтобы не потревожить короля, они сняли свои сапоги да еще с таким грохотом, что могли бы разбудить и мертвого. На них были темно-синие балахоны такой длины, что они в них путались, на голове остроконечные шляпы с кисточкой. Вошли и поклонились. Один из них подошел к стене и нажал едва заметную кнопку (с кулак), и тотчас в коридоре показалось странное шествие. Впереди нес слуга корону, украшенную битым кирпичом, за ним несли мантию и одежду короля. За

ним шли слуги, чтобы одевать короля. Долго шли мелкие слуги, которые несли всякую ерунду, как, например, на золотом подносе — носовой платок царя. Несколько слуг бросились к постели короля и поставили его на ноги. Царь облокотился локтями на стол и крикнул: «Эй, подушку. Не на стол же мне облокотиться». Короля стали одевать. Церемония одевания началась.

Глава II

Царь одевается

Царь облокотился локтем на стол. Стол был жесткий, царю стало больно. Он крикнул: «Эй, подушку! Не буду же я...» «...облокачиваться на жесткий стол», — повторили какие-то неведомые голоса. Чтобы облегчить царю труд говорить, в стены сажали слуг, которые через трубы договаривали за царя начатые фразы. Тотчас под локтем царя появилась бархатная зеленая подушка. Царя одевали множество слуг. Царь был низенького роста, но необыкновенной толщины. Лицо у него было совершенно круглое, нос лепешкой, глаза как щели и рыжая борода. Он всегда носил красную рубаху и синие штаны. Мантию же он менял постоянно. Наконец церемония кончилась. Царя повели чай пить.

Лето

Это лето я провела очень хорошо. Начало лета я была в Харькове. Целые дни я с подругой гуляла в Технологическом саду, занималась мало.

Но в июне мы поехали в Киев, к тете на дачу. Ехали мы до Киева недолго. Приехали мы туда очень неудачно. Был сильный ливень, и улицы в Киеве, можно сказать, затопило. Так как город гористый, то там во всю ширину улиц текли лужи глубиной по колено. Вода вливалась даже в подъезды. Еле добрались мы до квартиры тети, усталые, голодные, с промоченными ногами. Но, к несчастью, там никого не оказалось, все были на даче. Напрасно мы звонили и стучали, пока наконец не сломали звонок. Отдали вещи швейцару и решили ехать на дачу. Но каким трамваем ехать (туда ходит трамвай) — мы не знали. Долго мы ждали первого трамвая, второго еще дольше. Наконец мы выехали за город. Ехали мы туда, на дачу. Там, на даче, я должна была увидеть двоюродных брата и сестру, которых я не видела с четырех или с шести лет. Я думала о них и, удобно устроившись на скамье, дремала после бессонной ночи, проведенной на поезде...

14 сентября 1918. Суббота

О Боже! У нас в гимназии теперь вместо дусеньки Марии Сергеевны по-русскому какая-то «Чучело». Мне так жалко. Я так

любила М.С. По географии уже тоже не Игорь Иванович, а кажется, кто-то другой. Боже! Валя Бондарева уехала в Новочеркасск и никогда не вернется. Никогда. Хоть плачь. Дуси М.С., И.И., В.Б.

В последний раз мои страницы
Сим именам я посвящаю.

И.И., М.С., В.Б.

Жаль! Да, жаль! И все это наделала гимназия. Но, несмотря на это, меня что-то тянет к гимназии, зовет... Что?... Прощайте, дорогие имена И.И, М.С., В.Б. Я вас уже не увижу н и к о г д а.

18 сентября 1918. Среда

* * *

Люблю тебя, заката луч прощальный,
Предвестника вечерней тишины,
Люблю твой алый цвет, стыдливый и печальный,
Как первые цветы молодой весны.

Но скоро от реки потянутся туманы
И на цветах заблещет чистая слеза,
Умчится луч в неведомые страны,
Последний раз взглянув на небеса.

(Живые картины. — И.И.)

Ирина К<норринг> — Шиповник, Береза.

Ирина С<адовская> — Ландыш.

Леля Х<воростанская> — Фиалка, Ведьма.

Таня Г<ливенко> — Василек.

Тося Д<убнер> — Мотылек.

Лена П<лохотниченко> — Бабочка.

Кепха Ч. — Колокольчик.

Люба Р<етивова> — Гриб.

Тина Д. — Жук.

Режиссер — Мария Владимировна.

Музыкантша — Галя Хворостанская.

Художник — Нина Гливенко.

Театр — кв<артира> № 7.

Живые картины

Ангел и молящаяся девочка — Ирина К<норринг> и девочка Кеша.

Ангел и спящая девочка — Ирина К<норринг> и девочка Кеша.

Ангел и девочка под ёлкой — Ирина К<норринг> и девочка Кеша.

Дед Мороз – Леля Х<воростанская>.
Весна – Лена П<лохотниченко>.
Осень – Тина Д.
Лето – Тося Д<убнер>.
Зима – Ирина С<адовская>.
Боярышня – Таня Г<ливенко>.
Хор – все из Гуселек.
Шествие с концом.

Ночь

Мне вспомнились тихие, зимние ночи
И снег, освещенный одним фонарем.
И серое, точно свинцовое, небо,
Нависшие тучи над снежным ковром.

Кого-то ждала я. В окошко глядела.
И лампа большая безмолвно горела.

Выл ветер, порою никем невидим.
Склонясь на окошко, я тихо дремала.
Вдруг издали, словно один за другим,
Послышались сладкие звуки рояля.

Сильней и сильней трепетали они,
То громко, тревожно, то вновь замирая.
На улице медленно гаснут огни –
На них я гляжу, на окне засыпая.

И снится мне даль, безызвестная даль.
Там море красою своею блистает,
Меня греет солнце и нежно ласкает.

Но тайно на душу ложится печаль,
И море, и пальмы, и все исчезает...

И снится мне снова... Широкое поле
И я, одинокая в поле стою.
Кругом же безлюдье. Одна я на поле,
Одна, как безумная, песню пою.

Вдруг фея спускается, легкая, нежная.
Эфирная фея спустилась ко мне.
Я стала веселая и безмятежная.
И вдруг поняла я, что это – во сне...

Проснулась я. Месяц уж на небе всплыл,
Лучом из-за тучи холмы осветил.

И снег стал огнями цветными блистать.
На улицу нашу гляжу я опять.

И снова я вижу там снег неглубокий
И им заметенный фонарь одинокий.

Приступ

План

- 1) Перед приступом.
- 2) Приступ.
- 3) Расправа Пугачева.

Заключение

- 4) Освобождение Гринева.

Белгородская крепость готовилась к бою с Пугачевым. На валу была прикреплена единственная пушка, комендант осматривал оружие. Все жители крепости собрались на вал и смотрели на степь, где уже показывались казаки и башкирцы. Из крепости дали залп, и степь опустела. В это время на вал пришла Маша, дочь коменданта, с матерью. Они простились с комендантом, зная, что его скоро не будет в живых. Тот благословил дочь, и внимание его было отвлечено степью. Там снова показались враги, среди которых на белом коне ехал сам Пугачев. От них отделились четыре человека. Один из них держал над головой письмо, другой на копье окровавленную голову Юлая, которую он перебросил в крепость к ногам коменданта. Из мятежников кричали: «Не стреляйте, выходите к государю!» Но комендант выстрелил, и казак, державший письмо, упал замертво. Иван Кузьмич прочел его и разорвал в клочки. «За мной, ребята, — кричал он, — отворяйте ворота, идите навстречу неприятелю». Комендант, Гринева и Иван Игнатьевич быстро очутились за крепостью. «Что ж вы стоите?» — крикнул комендант оробевшему гарнизону. Те с визгом и криком бросились на крепость, ворвались в нее. Коменданта, раненного в голову, окружили, требуя от него ключей. Гринева подошел к нему на помощь, но его схватили и связанного повели на площадь, где Пугачев совершал свой суд. «Который комендант?» — грозно спросил Пугачев, когда ему их представили. Иван Кузьмич выступил вперед. «Признаешь ты меня государем?» — спросил изменник. «Нет», — твердо ответил комендант. Пугачев махнул платком — повесили. Очередь дошла до Гринева. Его уже подвели к виселице и накинули петлю. Вдруг послышались отчаянные крики: «Постойте, окаянные!» Оглянулись: лежит его дядька Савельич в ногах у Пугачева: «Отпусти его, — говорит, — что тебе в его смерти? Повесь хоть меня, старика». Гринева отпустили. Он стал наблюдать за продолжением ужасной комедии. Жители начали присягать, целуя распятие и кланяясь самозванцу. Прошло три часа, Пугачеву подали белого коня, и он уехал. А Гринева все еще стоял

на месте и не мог привести в порядок мысли, смущенные ужасными впечатлениями.

Ир<ина> Кнорринг

Азбука при помощи флажков или выстукивания

Упражнения

1) Мои подруги — Таня Гливенко, Ира Садовская, Леля Хворостанская.

2) Мой адрес: Харьков, Чайковская 16, кв<артира> 7.

3) Идем ко мне.

4) Таня, идем гулять.

5) Таня, идем ко мне по делу.

6) Урок музыки.

7) Буду играть на рояле.

8) Учю уроки.

9) Болит голова.

10) Не хочу.

11) Почему?

12) Спешу.

13) Да, нет.

22 сентября 1918. Воскресенье

У меня есть дусенька. Эта дусенька — ученица VII класса Гимназии учителей и родителей (там Таня учится). Итальянка Ляля Скилиотти. Дусенька! Черная, веселая. Я ее мало видела, но написала ей через Таню письмо. Мне его составила Таня.

La belle conuel

Le vous adore. Vous éter belle comme l'ange. Je vous vu et je decidé vous écrire une lettre. Peux je esperer que je pourrai vous voir. Recenez mon hommage et mon compliment. Je m'applle Jean. Je vous prie ecrivez moi la reponse (Donner la reponse à mademoiselle Latain, elle me connaît).

*Au revoir bientôt.
Votre amie Petit Jean*.*

* Милая незнакомка!

Я Вас обожаю. Вы красивы словно ангел. Я увидел Вас и решил написать Вам. Могу ли я надеяться на то, что смогу Вас увидеть? Примите мои комплименты и обещание верности. Меня зовут Жан. Прошу Вас, ответьте мне. (Передайте ответ через мадемуазель Латэн, она меня знает).

До скорого свидания. Ваш друг Жан (*искаженный фр.*).

Ванька

Ванькина мать служила в деревне у господ горничной. Ванька жил в деревне круглый год. Отца у него не было, но кроме матери был еще дед, толстый, широкоплечий мужик, служащий в деревне ночным сторожем. Ванька жил припеваючи. Но неожиданно подошло большое горе — мать его умерла. Жизнь Ваньки круто изменилась. Дед, оставшись один с восьмилетним внуком на руках, хотел его куда-нибудь в ученье устроить и наконец увез его в Москву, к сапожнику Архипу в ученье. Тяжело было Ваньке расставаться с родной деревней, но еще тяжелее — с любимым дедом. Ванька никогда не был в городе, и Москва поразила его своими высокими домами и широкими улицами. Большие окна игрушечных магазинов манили его к себе, и он по целым часам простаивал перед ними, любуясь всевозможными товарами. Чего, чего только там не было! Крючки для рыбной ловли, такие большие — целого сома вытащить можно. А в мясных лавках и зайцы, и куропатки. Все это интересовало мальчика. Но жилось ему у сапожника очень плохо. Есть ему давали мало, часто били, подмастерья над ним насмехались, заставляли красть у сапожника огурцы. Тяжело было Ваньке переносить эти насмешки. Часто вспоминал он о родной деревне, о дедушке, о покойной матери и тяжело становилось у него на сердце...

Развалины замка

Развалины старого замка
При бледном сияньи луны.
В долине унылой и мрачной,
Как призраки, смутно видны.

У замка река протекает
И плещет на берег крутой.
И моет развалины замка
Холодною чистой волной.

Вечер

Был вечер. Меж ветвей березы
Лядела кроткая луна,
Благоухали нежно розы.
Река была тиха, ясна.

Уж звезды ясные блеснули
В бездонной неба тишине,
Уж липы старые уснули
Цветы склонились к земле.

Все это было так прекрасно,
Так хорошо кругом меня.
Зачем печалиться напрасно? —
Кругом такая тишина.

27 октября ст<арого> ст<ия> 1918

Ваня

Ваня круглый год жил в деревне. Жил он со своим дядей Антоном и сестрой в маленькой ветхой избушке на самом краю села. Избенка их была старая, покосившаяся на бок. Вместо трубы был глиняный горшок с пробитым дном. Окошко было маленькое, заткнутое тряпками. Изба каждую минуту могла рухнуть. Но несмотря на всю бедность избенки и ее обитателей, Ваня чувствовал себя хорошо. Круглый год он пользовался полной свободой. Дядя Антон любил его и баловал. Иногда зимой он брал его в лес за хворостом. Любил Ваня эти поездки. А лес был не близко. Рубит Антон дрова, а Ваня заберется на высокое дерево и глядит вниз. А внизу дядя зовет его — не дозвется. Наконец Ваня слез с дерева, взяв с Антона обещание, что тот посадит его на воз. Весело Ване ехать на лошади. Он смеется. Проезжая по деревне, он кричал, желая обратить на себя внимание: «Пустите, дорогу дайте! Лошадь идет!» Приехали домой. Ваня, хоть и проголодался, а все-таки остался на дворе распрягать лошадь. Хорошо жилось Ване.

Ключ счастья

Давно-давно, в одном небольшом государстве, название которого не знаю, да и знать не хочу, была одна небольшая деревушка. В ней жил бедный сиротка по имени Галло. Он был очень добрым мальчиком, но в той стране ценили только богатство, и потому на Галло не обращали внимание и не любили его. Жила там также одна хорошенькая девочка Маргарита. Она жила у своей старой бабушки. Маргарита знала Галло и очень любила его. Они все время проводили вместе, играли, резвились. Недалеко от той деревни, где жили Галло и Маргарита, был старый замок. Он стоял уже там много-много веков. Не раз на него нападали разбойники и прятались в его развалинах. Не раз его поджигал неприятель, но старые крепкие стены по-прежнему гордо возвышались в глухой долине, переноса и холод и зной. Он был разрушен, но одна башня стояла крепко, точно ее поддерживали неведомые силы. Он зарос мхом, покрылся плесенью, от него воняло сыростью, и на верхушке его, точно седые волосы, вырастали белые березки. Его окружал глубокий ров, но он весь засыпался, зарос, точно его и не бывало.

Об этом замке ходили ужасные поверья. Еще прадеды передавали старое преданье своим внукам. Говорят, что в нем давным-давно жил старый князь. У него была очень тяжелая жизнь. Перед смертью он зарубил своих детей, а жену запер в башню (которая сохранилась). Жители ближайших деревень боялись подходить к замку — говорили, что там бродят души умерших. Между тем бабушка Маргариты умерла. Маргарита еще больше привязалась к Галло. Теперь они не расставались. Они ходили на работу и этим кормили себя. Но вот однажды, проработав целый день понапрасну, они вышли из деревни. Солнце уже село, и только красные лучи играли на небе и освещали старые развалины. Сумерки сгущались, а дети все шли и шли. «Куда мы идем, Галло?» — спросила Маргарита. «Куда глаза глядят, — отвечал тот, — пойдем искать добрых людей, а эту ночь переночуем в замке». Дети боялись его мрачных развалин, но они надеялись, что замок встретит их радушнее, чем деревня... Звезды уже блеснули на небе, когда они приблизились к развалинам. Они устали, сели на землю и посмотрели на нерушимую башню. И вдруг дети оцепенели от ужаса. Им показалось, что окошко в башне растворилось, и оттуда выглянула прелестная головка женщины, помахала им платочком и скрылась. «Уйдем, уйдем отсюда скорее», — шептал Галло. «Я не могу идти, я устала», — прошептала чуть слышно Маргарита. Они вошли в замок. Было тихо, ничто не нарушало торжественной тишины, только серые мыши скреблись по углам. Усталая Маргарита тотчас же легла на холодный каменный пол и заснула. Галло тоже дремал, но его пугали серые стены, кое-где уцелевшие узоры. Его окружали холод, сырость, над ними сияло темное звездное небо. Дети спали, но сквозь сон им казалось, что кто-то к ним подходил и ласкал их. На другое утро Маргарита и Галло отправились в путь. Шли они очень долго, не раз приходилось им ночевать в лесу или под открытым небом в поле. Вот однажды, утомившись после долгого пути, дети уснули. Была тихая майская ночь. Все спало крутом. Цветы, напоенные росой, благоухали, подняв к небу свои нежные венчики. Деревья тихо шелестели своими листьями. Звезды глядели с высоты на дремлющий мир. Было тихо, только где-то далеко-далеко слышалась чудная песнь соловья. Все спало, внимая той чудной песне. Вдруг где-то вдаль показалась женщина. Она была вся в белом. Неслышными шагами быстро подвинулась она к спящим детям, наклонилась над ними и положила в карман Галло маленький ключик, поцеловала Маргариту и скрылась. Но Маргарита не спала. Она видала женщину с ног до головы, ей показалось, что это та самая, которая махала им платочком из окна башни. Вдруг она вспомнила о ключике и ее охватила зависть: почему эта белая женщина положила ключик именно Галло, а не ей. Она наклонилась над мальчиком. Тот спал. Он не слышал ничего. Вдруг Маргариту охватила злая мысль: «А что если я возьму у него ключ и скажу, что видение принесло его мне?» Тут она вспомнила рассказы своей

бабушки о том, что это «ключ счастья». Запустив руку в карман Галло, она вытащила ключ. Утром она все рассказала Галло, что видела ночью, но только сказала, что видение будто бы ей принесло ключик. «Надо подыскать, к чему подходит ключик», — решили дети. «Он нам, наверное, принесет счастье».

Долго они шли по деревням и городам и все спрашивали, нет ли чего-нибудь, от чего потеряян ключ. Прошло много лет. Галло по-прежнему много трудился, чтобы прокормить Маргариту. Маргарита выросла и сделалась красивой, стройной девушкой. Но она стала жестокой и своевольной. Она ни о ком не думала, кроме своего ключика. Долго шли Галло и Маргарита и, не найдя нигде привета, вернулись к себе на родину. Темнело. Сумрак окутал поля и леса, все готовилось ко сну. А дети (нет, это уже не дети, это уже девица и юноша) все шли и шли. Как и много лет тому назад, они подошли к старому замку. Они вошли в развалины и сели на сырой пол. Было тихо. Вдруг показался яркий свет, то ярко вспыхивая, то потухая. Он словно манил за собой, словно указывал путь тем, кто искал приюта в его сырых развалинах. Галло и Маргарита робко последовали за ним. Они шли по бесконечному коридору, то спускаясь, то поднимаясь по шатким лестницам. Вот они остановились: перед ними была небольшая железная дверь. Маргарита вставила ключик в замок и дверь отворилась. Их сердца радостно забились. Они вошли в небольшую комнату и различили в темноте какие-то очертания. Это были феи. «Добрые дети, — сказали они. — Вы избавили нас от вечного заключения в этих развалинах. Теперь просите у нас что вы хотите». Сердце Маргариты сжалось. Ей хотелось признаться во всем, все рассказать Галло. «Я хочу уметь работать, я хочу семейного счастья», — сказал Галло. «А я хочу быть богатой, иметь жемчуг и бриллианты в изобилии, хочу одеваться в золотые и серебряные платья, хочу иметь большие поместья». «Да будет так», — ответили феи.

М<аргарита> и Г<алло> разошлись. Богатой М<аргарите> было теперь тяжело жить с трудолюбивым Галло. Г<алло> пошел в чужие страны, и желание его сбылось. Он много работал, уставал, но зато он имел свой очаг, свое семейное счастье. М<аргарита> же была богатой девушкой. Но была ли она счастлива? Нет. Ее все время тяготила мысль о Галло. Ведь он получил меньшую награду. Быть может, он сейчас несчастный, бедный? Эта мысль не давала М<аргарите> покою. Зачем она утащила у Галло ключ? Зачем она велела ему брать меньшую награду? Чтобы загладить свою вину, она бросила свое богатство, поселилась в пустыне и вела тихую жизнь отшельницы. Счастье ее улетело и не вернется к ней никогда. Бывают такие мгновения, когда душа наполняется каким-то непонятным счастьем: хочется жить, любить, страдать и мыслить по-иному. В сердце загорается какая-то чудно-волшебная сила, как искра, которая потухает, не оставляя никакого следа. Душа уносится в какую-то бесконечную даль, далеко от суетного мира, в светлую голубую лазурь, в счастливые воспоминания. Хочется жить энергично, не унывая, хочется идти на помощь всем бедным,

беспомощным. Забывается все, и горе, и обиды, одно счастье сияет вокруг, как светлое облако. Но такое радостное настроение продлится недолго, лишь короткое мгновение.

<Немец>

Часто, проходя по городским улицам, я вглядываюсь в лица прохожих. Глаза, как щели, длинный нос, отвратительная улыбка. Мне приснился сон. Мне снилось, что я была генералом. Наша крепость была взята немцами. Я бежала. За мной гнались двое. У одного из них было очень неприятное лицо. Но именно к нему я питала особое уважение. Я чувствовала, что он выше моих сил, сильнее моей воли. В нем была какая-то непонятная сила. Он не простой человек. Он божество. Я знала, что мне от него не уйти, что он остановит меня одним своим словом, одним взглядом. Но я все бежала и бежала. Наконец мне попался на дороге небольшой дом с зеленым забором. Я бросилась в дом, залезла под кровать, приказав хозяевам сказать немцу, что меня здесь и не бывало. Долго я лежала под кроватью. Наконец мне это надоело и я подумала: «Немец, наверно, уже далеко от этого дома». Я вылезла из-под кровати, подошла к окну. И вот я увидела немца с его отвратительным лицом и улыбкой. От волнения я не могла двинуться. Бежать из плена — это позор для генерала. Я вышла из дому. Передо мной стоял он. Противиться больше не было возможности. Я сдалась.

Однажды, проходя по улице, я увидела двух немцев. Один из них был мне незнаком, но во втором я узнала его, того, в ком скрывается непонятная сила, кому я сдалась во сне. Он взглянул на меня, как на какую-то козьявку, и презрительно улыбнулся. Я стояла неподвижно, совершенно уничтоженная этой улыбкой. В нем я опять увидела его сверхъестественную могучую силу. Не зная, что подумать, я низко опустила голову.

Хризантемы

От родимого сада далеко,
В тесной вазе, на пыльном окне
Хризантемы стоят одиноко,
Увядая в ночной тишине.

Лепестки их так были красивы,
Аромата полны и свежи.
Хризантемы всегда горделивы,
Хризантемы всегда хороши.

Но теперь лепестки опадают,
Стебель гнется почти до земли.
Хризантемы с мольбой увядают
Для чего же они расцвели!?

Здесь они расцвели для страданий,
Чтоб в пыли, на окне, умирать.
Чтоб в последний свой миг увядая
Ароматы свои испускать.

Осень

Отцветает краса беззаботного лета,
И становится мне все грустней и грустней,
Солнце теплое светит теперь без привета,
И становятся дни холодней.

Невеселые ночи, осенние ночи!
Что нарушило их тишину и покой?
Собираются листья осенние в кучи
И уносит их ветер долой.

Заунывные песни, осенние песни,
Ветер долго поет средь ночной тишины.
О, вернутся ли снова веселые песни,
Беззаботные грёзы весны?

(Рассказы, запланированные Ириной. — И.Н.)

1. Наташа..., Таня
2. Ключ счастья... Ирина
3. ***
4. Ключ счастья
5. Вечер
6. Немец
7. Ключ счастья
8. Хризантемы

19 ноября 1918. Вторник

Я сегодня не пошла в гимназию ввиду тревожного времени. Говорят, что в Харьков скоро придут большевики. Боже, как это ужасно. Но пока здесь хулиганят гайдамаки. Конечно, гайдамаки — это тоже большевики, только нацепили на себя свои дурацкие колпаки.

В городе беспокойно. На улицах стоят пулеметы, на Павловской площади перестрелка. Некоторые гимназии распустили, но наша еще занимается. Таня тоже сегодня не пошла в гимназию. Завтра я пойду, а завтра — французский. Ну ничего, выучу. Она обязательно спросит, назло, когда не хочешь. Она такая противная! (Наша учительница французского). Мы с Таней пробовали вчера разговаривать на французском языке. Интересно. Смешно. Что не знали, говорили по-русски. Сегодня мамочкино рождение. А она сегодня все утро на меня сердилась. Я сегодня потеряла свой пенал. Что мне делать? Сегодня утро холодное, сырость, туман. Небо серое. Деревья голые, только кое-где торчат сухие листочки. Нехорошо на дворе, нехорошо и на душе. Как все-таки погода влияет на человека!

Мне хочется писать, писать без перерыва,
Пока еще дрожит перо в моих руках.

Галя Повесть

Глава I В усадьбе

На дворе воет непогода. Метель бушует уже третий день. Ветер жалобно воет и заносит снегом большой барский дом. Был вечер. В обширной комнате помещичьего дома, за вечерним чаем собралась вся семья Григориных. Даже сам Леонид Андреевич Григорин был дома. Обычно он жил в городе Н со своим старшим сыном Митей и только по праздникам приезжал в свою усадьбу. Митя учился в гимназии во втором классе и был первым учеником. Со своими блестящими способностями и большим старанием он достиг многого. Мать его Елена Николаевна была очень болезненная женщина с нежным херувимским лицом. Особенно были в ней замечательны глаза, большие-большие, серые, они глядели из-под длинных ресниц задумчиво и грустно. Младшая их дочь, семилетняя Галя, была прелестный ребенок. Она была исправленной копией своей матери. Те же большие, серые глаза, тот же маленький носик. Личико ее окаймляли белокурые кудри.

Вся семья сидела за столом, пили вечерний чай. Старшие разговаривали между собой о хозяйственных делах. Митя читал книгу. В камине весело пылал огонь, а самовар пыхтел так весело, что казалось, всем, кто сидел вокруг него, было хорошо и весело.

— Мама, — спросил неожиданно Митя, — а мы в следующее воскресенье поедem в театр? Правда? И Галку возьмем!

— Куда это? — спросила Галя.

— В театр, на «Золушку», моя милая деточка, — сказала Елена Николаевна. — Помнишь — ты ее читала.

25 ноября 1918. Понедельник

Теперь я в этой тетради буду писать только мой дневник. Папа-Коля купил мне общую толстую тетрадь для сочинений. Там я буду писать мои стихи и рассказы. Туда перепишу и «Галло».

А что у нас сегодня на английском было! И смех и грех. У меня болела голова, и я отказалась отвечать. Сидела на третьей парте с Любой Р<етивовой>. Они занимались. Под конец урока стали считать. Стали считать от двадцати. Рива Ривлина считает и хохочет. Мисс Дези злится. Ну, а каково-то мое положение! Голова у меня давно прошла, и смеяться неудобно. Ведь считается, что у меня голова болит. Все хохочут. Дезька тут так разозлилась. «Ривлина, — говорит, — идите, встаньте в угол». Все умирали со смеху. А Рива послушно встала в угол и сама хохочет. Тут звонок. Только Дезька ушла из класса, поднялся такой хохот! Стали обсуждать дело. Мурка говорит, что надо всегда на уроках смеяться, а другие — идти жаловаться начальнице.

Феи

Что надо, чтобы быть под покровительством Фей.

Законы Фей:

- 1) Стараться быть как можно лучше.
- 2) Не лениться.
- 3) Хорошенько готовить дома уроки.
- 4) Ко всем относиться хорошо.
- 5) Свои работы исполнять аккуратно.

Обычаи Фей:

- 1) Каждый вечер беседовать с Феями.
- 2) Спрашивать у них во всем совета.
- 3) Видеться с Феями только по заслугам.
- 4) Не капризничать и не злиться.
- 5) Слушаться Фей.

Даю

слово исполнять
все законы и обычаи Фей и
прошу Фею Изольду принять меня
под ее покровительство. Поступая в

это общество, я верю в Фей и уважаю их.

*Подпись:
Ирина
Изольда
Царица Эврилия*

6 января 1919. Понедельник (нов. ст.)

Завтра Рождество. И ничего приятного, ничего интересного оно не принесет с собой. Опять большевики. Никуда нельзя пойти на праздник, а уж и думать нечего — в театр. Даже подарков не будет. Мамочка мне сама сказала, что она мне не успела купить ничего, да и я не приготовила подарков, болезнь помешала. Ведь я была больна. Только вчера днем встала. Мамочка говорит, что это у меня может быть ревматизм, потому что у меня болят колени, когда я поднимаюсь с корточек. Я ужасно боюсь, хотя сильно сомневаюсь. Как после «вечной каторги». Ох, эта «каторга» — ужасная вещь! Надо встать на стул и прыгать с него очень быстро и прыгать через всю комнату, выпрямляясь во весь рост и низко приседать. После этого, правда, колени болят. Я перечла то, что написала. Я пишу: «даже подарков не будет». Да как же так? Ведь я уже получила один подарок от Феи. Она мне шептала, когда я была больна: «Пойдешь куда-то что-то искать и найдешь мой подарок. Это — вещь, такая же, как та, что ты ищешь, но гораздо красивее». Сегодня я пошла за моей ручкой и нашла мою старую прекрасную, которую мне когда-то подарила Антонина Ивановна. Я так была рада! Дусенька! Спасибо, Фея! Надо ей написать письмо.

«Дорогая Фея!»

Очень тебя благодарю за твой подарок. Ты осчастливила им мои праздники. Не можешь ли ты, дорогая Фея, еще чем-нибудь помочь моему горю: вот и праздники, а ничего интересного. Помоги мне! Сделай мне какое-нибудь удовольствие. Милая! Дозволь мне свидеться с тобой на один миг. Ты осчастливишь меня надолго. Это будет самый счастливый миг моей жизни.

Ирина».

7 января 1919. Вторник

Рождество Христово!

Ура!!! Все-таки Рождество. Черт с ними, с большевиками. Они вчера, вооруженные винтовками, штук 10, ходили по домам и забирали буржуев. Говорят, рыть окопы под Люботиным. Пришли и к нам. Как узнали, что Папа-Коля учитель, не взяли его. Вчера

мы сильно волновались, сегодня все забыто! Ура!!! Всех поздравляю с Рождеством Христовым. Всех! Я получила второй подарок (один от Феи, другой от Мамочки). Мамочка мне подарила кольцо с камнями (забыла, как называются). Я рада, я ужасно рада. От радости не могу писать. Я думала еще вчера, что Рождество не принесет мне ничего интересного. А оно принесло! Как все хорошо! Ура!!! С праздником всех! Ура!!!

8 января 1919. Среда

Я еще сегодня не писала в дневник. Да не знаю, что и писать. Напишу то, что Мамочка говорила вчера за чаем:

Стоит гора крутая (запятая),
А на горе крутой (тут не надо запятой)
Стоит попова дочка (точка).
Вдруг едет князь сиятельный (знак восклицательный!)
И говорит поповой дочке (две точки):
«Правда — день восхитительный» (знак вопросительный)?

и т.д. Недурно!

Изольда: (Тут не надо ни числа, ни месяца: это относится ко всякому времени).

«Безумная Ирина!

Ты думаешь о новой прическе, о ногтях, и это доставляет тебе удовольствие. Ты заблуждаешься! Несчастная, опомнись! Я радуюсь, когда ты выгоняешь из своей головы черные мысли, но не заменяй их глупыми. Ты думаешь, что благодаря своей прическе ты уже барышня. Напрасно! Ты еще ребенок и, увы, очень наивный, маленький ребенок. Ты ищешь счастья, но не там, где надо. Счастье не в прическе! Счастье в исполнении правил на стр<анице> 52. Если ты будешь их исполнять, ты почувствуешь себя счастливой. Помни это!

Изольда.

Написано кровью моею».

21 января 1919. Вторник

Сегодня первый день ученья. Начну все по порядку. Я пошла в гимназию по старому времени. К молитве, конечно, опоздала. Ну, это ничего. Вчера мне очень не хотелось идти в гимназию, а сегодня прихожу, и так стало хорошо! В классе все по-старому. Девочки веселые, учительницы — тоже. Все отдохнули за праздник. Только одна печальная новость. У нас по географии не будет Иллариона Ивановича, а кто-то другой. Нам всем ужасно жалко. А на немецком вот что было: нам было задано написать глагол

(нрзб одно слово. — *И.Н.*). Написала, но забыла дома. Стала переписывать у Нади Похлебиной, но до урока не успела. «Ну, думаю, если найдется компаньонка, забуду тетрадь». На счастье, Шурукина тоже забыла, ну, мы и отказались. А за уроком Лилли Вильгельмовна стала спрашивать глаголы. Ну, и спросила меня. А я в тетрадь и глянула, где у Нади переписала. А Надя, бедная, попалась. Вызвали ее переставить фразу. Та встала, но не знала, о чем идет речь. Стоит и бессмысленно повторяет одно слово. «Да ты понимаешь, что ты говоришь?» — спрашивает Лилли Вильгельмовна. Бедная, мне ее страшно жалко: у нее на праздник было две двойки.

22 января 1919. Среда

Сегодня не пошла в гимназию, потому что везде, кроме нашей гимназии, праздник. В Германии убили двух главных большевиков, и поэтому у нас на домах висят черные и красные флаги. На улицах будут митинги и манифестации. Мамоchка побоялась меня пустить. Мне надо сейчас готовить уроки на сегодня, а вечером я пойду к Тане играть в короли. Мы играем вдвоем, а сдаем еще двум «болванам», из которых складываем в колоды и берем верхние карты. Очень часто случается, что «болван» перебивает королей козырями. Вообще один «болван» был два раза принцем, когда я была мужиком. Поговорка верна — «Дуракам счастье».

«Ирина! Если ты выучила уроки, можешь свободно идти к Тане играть в короли. Я довольна тобой за последние дни», — Фея.

4 февраля 1919. Вторник

Этой ночи я никогда не забуду. Правда, пишу я задним числом, потому что мне было очень неприятно писать сразу. Начну по порядку. У нас ночевала Антонина Ивановна. Легла я спать в самом хорошем расположении духа. Вдруг ночью просыпаюсь от выстрелов и от шума на улице. Все наши уже встали. Я тоже оделась. Пошли все в кабинет, к окну. Все видно. На улице свет горит, совсем хорошо, а в домах совсем нету. Стоит посреди улицы кучка солдат, человек 15. А от нашего дома идет к ним один солдат и кричит: «Товарищи! Товарищи!» Кричала сирена, приехала милиция, выламывали двери. На лестнице беготня. Оказывается, что у нас, у Дубнера, был обыск, потому что у него сын анархист.

7 февраля 1919. Пятница

К нам навверх приехала одна девочка... нарочно ставлю...

Как только сядешь за дневник, так сейчас и позовут голову мыть (не дописано. — *И.Н.*)

Договор № 1

Члены Литературного клуба обещают не церемониться и критиковать, если надо, свои и чужие произведения.

При сем прилагаются подписи.

Члены Клуба:

Председатель — Ир<ина> Кнорринг

Редактор — Т<аня> Гливенко

Издатель — Н<аташа> Пашковская

Художник — Е<лена> Хворостанская

11 марта 1919. Вторник

Господи! Зачем я так скрытна!? Вот, напр<имер>, теперь. Мне отчего-то грустно-грустно, я злюсь, нервничаю, мне хочется плакать, и я не могу найти утешение. Но Таня на меня славно влияет: когда я бываю у нее, я забываюсь и успокаиваюсь.

Недавно мы играли в «Правду» и заговорили о дневниках. Нина Г<ливенко> говорит, что «много интересных мыслей и много интересных дневников особенно у скрытных». Ну, вот я, например, скрытная, а дневник у меня совсем неинтересный. А почему? Я скрытна, но не только с людьми. Я даже не могу всего высказать дневнику. Не могу, и только. Как я ни стараюсь, а у меня моя искренность в дневнике выходит совсем неестественная и глупая.

12 марта 1919. Среда

Мое имя — Фиренса, Танино — Жанетта.

Я не знаю, что писать. Вчера я много хотела написать, а сегодня уже не знаю. Уроков мне на завтра — один французский. Я посадила фасоль, пока в промокашку, потом посажу в банки. Еще посажу горох и картошку. Таня мечтает о маках. Я так увлекаюсь моими «детенышами» — растениями, что, право, чувствую себя совсем счастливой. После обеда мы с Таней пойдем и накопаем земли в горшки, чтобы их посадить туда, когда они прорастут.

Дорогая Валя.

Эта страница в моем дневнике посвящается тебе. И я помню тебя и пишу тебе письмо. Хотя мое короткое письмо не попадет к тебе в руки, но, может быть, что ты в эту самую минуту тоже вспоминаешь меня. Я сегодня разбила мою «Веру», ту маленькую курочку, двойник которой у тебя. Мне очень жаль, потому что это память о тебе, но я постараюсь приклеить ей голову. Милая моя Валя! Помнишь ли ты меня? Быть может, на своем счастливом Дону ты меня совсем забыла! Но я тебя помню и по-прежнему люблю. Если б ты это знала! Бережешь ли ты мою Надю, которую я тебе

подарила? Валя! Помни меня и люби, как я тебя любила. Твои глаза всюду преследуют меня и не дают мне покоя. Пока прощай, быть может, навеки! Не забывай меня.

Твоя подруга Ир<ина> Кнорринг.

19 марта 1919. Среда

Сегодня нам в гимназии прививали оспу. Мне тоже. Уже привили, я отошла в сторону, как вдруг у меня завертелось в глазах, все стало пугаться, и я упала в обморок. Меня понесли, я ничего не соображала, положили в пансионе на кровать. Я очнулась. Около меня стояли восьмиклассницы, часто наведывались м<ада>м Боголюбова и Лилли Вильгельмовна. Я ушла с 4-го урока.

(Переписан конец «Дворянского Гнезда» Тургенева со слов «Говорят, Лаврецкий посетил...» и до конца).

25 марта 1919. Вторник

Кто я? Я невольно задаю себе этот вопрос и, при всем желании, не могу на него ответить. В самом деле, кто я? Или я хороший человек, или такая отвратительная эгоистка, преступница, которой нет пощады. Кто я из них? Быть может, я гениальна? Кто знает. Но, во всяком случае, я не обыкновенная. Я не такая, как все. Я думаю по-другому. Хотя в душу других не залезала, быть может, и каждый так думает, как я. Какой у меня безобразный почерк. Просто ужас. Мне надо установить, как мне писать, прямо ли, сжато ли или растянуто? Почему такое безотрадное настроение? Стала писать — не ладится. Стала читать — не хочется. Такая хандра напала. Нет, это не годится. Хандра — последнее дело. Надо заняться чем-нибудь, не надо хандрить.

2 апреля 1919. Среда (ночь с 1-го на 2-е)

Надо сказать про моих любимцев, они все маленькие, фарфоровые: слоник, который мне достался в хлопушке на ёлке, когда мне было лет 5. Потом собачка в лежащем положении и зайчик, у которого отбиты лапки и ушки. Но с тех пор как он искалечился, он мне стал еще дороже. Я их троих очень люблю и беру каждую ночь с собой в постель. Их зовут: слоник Эмиль, собачка Эмилия, а зайчик Джон. Ночью они спят со мной, а днем лежат в зеленом шелковом мешочке, над моей кроватью. Я засыпаю с ними в руке, но когда я ночью просыпаюсь — их нет. Они разбрелись — кто в ногах, кто под боком, а кто в рубашке запутался или еще где-нибудь. Как тогда грустно становится, как одиноко! Тогда я их ищу под одеялом. И как

приятно становится, когда они опять у меня в руке: «Вся семья собралась», — думаешь. У меня есть еще и четвертый любимец — металлический слоник с поднятым хоботом — Ледик. Только его редко беру с собой спать: он очень колется своими ногами и хоботом. Вчера вечером мне стало почему-то очень грустно. В такие минуты мне не с кем поделиться. В радостях я делюсь с Таней, но когда мне грустно, Таня не годится. Она очень хорошая девочка, и я ее очень люблю, но в такие минуты она принимает вид какой-то гувернантки, а не подруги. Каким-то надзирательным тоном она мне говорит: «Не делай того, не делай этого». Сама, небось, делает и то, и это. Но вообще она очень хорошая подруга, и это ей невольно прощается.

11 апреля 1919. Пятница

Получили из Елшанки письмо. В доме тети Нины живет пастух, свиньи и телята. Тетя Нина в Сибири. От сада едва ли что останется. Но что меня больше всего огорчило, это весть, что Игорь поступил к чехо-словакам. Едва ли он теперь жив. Бедный мой Игорек! Это для него не по силам. Его убьют, если еще не убили. Когда я завтра пойду в церковь, надо помолиться за него или за упокой его души. Но я не могу и не хочу думать, что он убит. Я так его люблю. Господи! Дозволь мне хоть раз еще его увидеть.

Эта страница посвящена Леониду Арсеньевичу Булаховскому. И я вспоминаю его. Он, так же как и все мои милые, как Нюся, Игорь, он так же далек от меня, и так же я не знаю, жив ли он или нет. Какое время! Все мы так далеко! Все беспокойно. А эти большевики, как я их ненавижу. Все это они сделали: нашу гимназию реквизировали, и мы после Пасхи будем заниматься в реальном училище Буракова, недалеко от нас, во второй смене.

15 апреля 1919. Вторник

Как прекрасен был этот вечер! Как хорошо! Мы долго гуляли на полянке. Мы играли в чурки, а потом стали бегать в «4 угла». Как было хорошо. Розовые облачка в лучах заката казались какими-то сказочными и чудными. Легкий ветер колыхал листву деревьев. Мы долго гуляли, до 10-ти (по новому времени). И гуляли бы еще дольше, да пора было возвращаться домой. Такой вечер навеивает на меня поэзию. Вот бы было стихотворение. А кстати — о стихах. По-моему, если писать стихи, то только хорошие. Плохая поэзия не поэзия. По-моему, писать плохие стихи прямо-таки нехорошо. В стихах должна высказываться поэзия. Непременно! А это что за стихи!

29 апреля 1919. Вторник

Как давно я не писала дневник. Да, правда, до того ли было!? Новость №1: нас выселяют из дома. Будет в нашем доме карательный отряд. Может быть, в наших комнатах будут пытки! Фу! Саенко (товарищ Куна, комендант города) говорил, что людей расстреливать он не будет: пули нужны на войне, а он просто — ножом. Большевики нам подыскивали квартиры. Саенко постоянно говорит: «Мы вам не-пре-мен-но най-дем ве-ли-ко-ле-п-ные ква-рти-ры!» Да до сих пор еще не нашел. Вся наша компания расстраивается. А это-то мне особенно и горько. По всей вероятности, будет так: мы в начале Лермонтовской ул<ицы> снимем две комнаты (одна для меня), Леля — в конце той же ул<ицы>, Наташа — на нашей у Небелей, а Таня — в начале Журавлевской. Ну, ничего, будем приходить с ночевкой. Саенко — такой неинтеллигентный человек. Напр<имер>, говорит: «скрозь кухни», а уж тоже — товарищ комендант! А мы бездомные скитальцы.

Мы вчера говорили с Таней о предстоящей разлуке и решили поверить друг другу то, что до сих пор скрывали. Я Таню спросила: «Нет ли у тебя тяжелого греха?» И она сказала: «Есть», и ни за что не хотела мне его говорить. Потом взяла с меня честное, благородное слово, что я никому не скажу; мне она созналась, что сломала у нас ножницы и отпиралась от этого, когда ее Папа-Коля спрашивал.

(Запись Н.Пашковской. — И.Н.)

Чернилами на память! (Искренний совет)

«Не показывай носа на улицу,
Когда холодно, а то он покраснеет,
а это, ты сама знаешь, некрасиво»

От преданной тебе подруги.

Наташа Пашковская.

Какого-то мая

Не жизнь, а мученье.

У нас организовался «Союз Четырех». Там мы будем читать, декламировать.

2 июня 1919. Понедельник

Я ночевала у Наташи. И все время думала: «А как хорошо бы быть сейчас дома, у себя в постельке. Тепло, просторно. Где-где хорошо, а дома лучше». Мне сейчас как-то ничего не хочется.

Я помню: надо играть на рояле. Теперь временно, вместо Августы Георгиевны, занимается ее знакомый. Ах, как с ним плохо заниматься! Он требует, чтобы я этюды играла одной рукой. Я, конечно, и не подумаю так играть! Потом, он вообще такой балбес!!! Хоть бы скорей А<вгуста> Г<еоргиевна> приехала.

Приятно подумать — я в четвертом классе! Правда, я летом должна буду заниматься диктовками (немецкими), но все-таки я перешла. Я теперь не сплю с «моими», они лежат в коробочке, в вате. Теперь мой друг дневник и мои сочинения, которые, должна сказать, двигаются очень медленно. Я даже хочу бросить писать стихи. Для чего они! Если бы я была знаменитостью, а то... Наташа пишет стихи лучше меня. И я ее ревную к ее стихам. Но жажда похвалы даже от своих родителей (а это мне очень дорого) заставляет меня их писать. Что же? Мамочка очень любит мои стихи, да и я тоже. О чем еще писать, право, не знаю, кажется, все написала.

5 июня 1919. Четверг

У нас с Таней установились очень странные отношения. Когда мы вместе, мы всегда ругаемся, грыземся из-за всего. Просто ужас! Но когда мы наедине, мы бываем очень нежны и ласковы. Такая уж странная у нас дружба.

6 июня 1919. Пятница

Писать или не писать стихи? А этот вопрос пока открыт. С одной стороны — почему же не писать? А с другой — мне они опротивели. Я перестала о них думать, я их боюсь. Но иногда мне так хочется написать что-нибудь хорошее. Но у меня уже ничего не выходит. Быть может, это ревность? И вот я колеблюсь — писать мне или бросить, навсегда зарыть в землю свой талант. Хотя я думаю (мне страшно это сказать, я боюсь в этом признаться самой себе) — у меня таланта нет. Во всяком случае, помолюсь хорошенько Богу и буду ждать кризиса, пока моя безумная мучительная страсть не повернется в какую-нибудь сторону. Я жду, пока Муза сама придет ко мне. Вообще, я теперь живу одной страстной надеждой на будущее. Так протекает жизнь... А все-таки — писать или не писать стихи? О, Боже, какой мучительный вопрос!..

Однако ревность завладела моей душой. Я помню одну легенду Лагерлеф: «Семь смертных грехов», по которой мы любили узнавать характеры. Содержание ее такое. Однажды дьявол хотел ввести в искушение одного монаха. Он нарядился пастухом, пришел к монаху и просил дать ему отпущение грехов. Но тот стал ему рассказывать следующую историю. «Давно на свете жила одна принцесса,

такая красивая, что все поражались ее красотой. Она была влюблена в одного рыцаря и поклялась выйти за него замуж. Но ее отец подыскал ей в мужья другого рыцаря (чтобы не спутать, я назову его Теобальдом) и принудил дочь выйти за него замуж. Тогда принцесса написала рыцарю (любимому) письмо, в котором объяснила ему свое положение, и послала его с посыльным. Но отец перехватил письмо и сжег. В день свадьбы принцесса ходила такая печальная, что всем ее стало жалко, и отец даже признался, что сжег письмо. Тогда принцесса стала просить Теобальда, чтобы он отпустил ее к рыцарю проститься. Пораженный ее горем, он отпустил. Она пошла тогда к гостям и просила их продолжать пир без нее. Но гостям ее так было жаль, что они стали ждать, пока она вернется. Когда повар узнал, что пир откладывается, он очень рассердился, но когда он увидел принцессу, он смирился. Принцесса проходила темным лесом. В нем жил разбойник. Он увидел на ней золотой пояс и захотел ее ограбить. Но когда он увидел ее красоту, он ее не тронул. Далее она встретила отшельника. Из угождения Богу он спал только один раз в неделю — с субботы на воскресенье. Но если он эту ночь будет чем-нибудь занят, то должен не спать до следующей субботы. Когда принцесса проходила мимо него, он вспомнил, что мост через ручей, где ей надо было проходить, снесло водой, и он пожертвовал своим единственным днем (это было в субботу) и перенес ее через ручей. Потом принцесса подошла к дому рыцаря. Тот не помню, что сделал. Так кто же, — закончил монах, — принес из них наибольшую жертву? Отец, Теобальд, гости, повар, разбойник, отшельник, рыцарь? Дьявол отвечал: «По-моему, все они принесли ей одинаковые жертвы». «Так ты повинен во всех семи сметных грехах», — вскричал монах, — ты не человек, а сам черт». Тогда дьявол распростер свои мрачные крылья и улетел.

Вот содержание этой легенды, смысл такой: отец принес ей в жертву свою гордость, Теобальд — ревность, гости — обжорство, повар — гнев, разбойник — жадность, отшельник — лень и рыцарь — страсть. Узнавая характер, мы передавали только рассказ монаха. Раньше и мне казалось, что отшельник пострадал больше всех и я, действительно, была ленива, как сто чертей, а теперь я смело скажу, что Теобальд принес наибольшую жертву. Моей душой завладела ревность.

7 июня 1919. Суббота

Вчера вечером я гадала. Спать мне совершенно не хотелось, и я, закутавшись в простыню, взяла полотенце, разостлала на полу,

чтобы лунный свет падал на него, и стала в стороне. Потом я завернула луч в полотенце и положила под подушку (я должна была увидеть во сне свое будущее). И увидела глупейший сон. Я в 4-ом классе. Нам почему-то не давали отметок, и мы забастовали. А я была выбрана в педагогический совет. И я затеваю эту забастовку. Об этом узнали учителя и начальница, и меня исключили из совета.

Я вчера долго не спала и, закутавшись в простыню, сидела на кресле у окна. Ночь была такая лунная, хорошая. Я ждала Музу. И она пришла. И даже начала писать стихотворение. Сейчас возьму тетрадь и буду записывать «ночные грезы».

8 июня 1919. Воскресенье

Всех заложников и вообще всех осужденных сегодня поведут на фронт. Бедные, бедные! Раньше их каждый день утром вели на вокзал на работы и часа в 4 — обратно. Ужасно неприятно это шествие. Идут они под конвоем, с опущенными головами, бледные и усталые, человек по сто. И около Чайковской, и по Пушкинской стоят их родные с пакетиками, с корзинами, ждут их, чтобы им передать. Очень неприятная картина. У нас там есть один знакомый — Василий Васильевич Медведев, судейский, и Михаил Михайлович Пузыревский. Вчера ночью расстреляли рабочих. Харьков объявлен крепостью.

9 июня 1919. Понедельник

Опять была в церкви. Как там хорошо! Сегодня пел квартет Петербургских артистов. После обеда я пойду к Леле играть в «66». Хотела сегодня записать мой сон, да забыла. А что-то интересное видела. Жаль, что забыла. За обедом будет жареный картофель на сливочном масле. Вкусно. Ну, вместо того чтобы попусту время проводить, буду делать немецкое переложение, отделаюсь, по крайней мере.

11 июня 1919. Среда

Правила дня

- 1) 8½ — 9. Быть готовой: одеться, умыться, постелить кровать и помолиться Богу.
- 2) 9 — 9½. Сходить за молоком.
- 3) 9½ — 10. Напиться чаю.
- 4) 10 — 11. Вымыть посуду, подмести комнату и убрать.
- 5) 11 — 12. Играть на рояле.
- 6) 12 — 1½. Заниматься.

- 7) 1½ — 3. Свободна.
- 8) 3 — 5. Обед.
- 9) 5 — 6. Что придется.
- 10) 6 — 8. Свободна (за исключением чая). Мыть посуду после чая.
- 11) 9½ — 11. Чтение, дневник и т.д.
- 12) 11 — 11½. Мыть ноги, постелить постель, завести часы, помолиться Богу.

16 июня 1919. Понедельник

Ждут добровольцев. Временами слышна канонада. Деникина ждут изо дня в день. О, хоть бы скорее пришел! Я уже почти целую неделю не писала дневник, каждый день скучала, а вся неделя прошла незаметно. Вероятно потому, что я жила одной надеждой, одним ожиданием. Я все жду чего-то. Да, только жду, но больше ничего не делаю. Прихожу к Леле в гости исключительно в ее отсутствие: Леля служит. Нина Павловна, Агния Михайловна и еще одна дама составили общество. Они пекут пирожки, а Леля относит их заказчикам. Продают по 4 рубля. А Леля получает 10 коп<еек> с каждого порога. Вчера она получила 49 рублей. Обед они устраивают в складчину, и он обходится каждому рубля в 34. Я очень их просила, что если им понадобится работник, чтобы взяли меня. А они тонко намекнули, что хорошо бы было, если бы была кассирша. О, дай-то Бог! Я так хочу поступить туда. 20—30 руб<лей> в день — это не шутка, дело. Жду. Опять жду.

24 июня 1919. Вторник

Сию на балконе и слушаю выстрелы. Добровольцы в Мерефе. (Слышны мелкие выстрелы). Большевикам (залп) все пути отрезаны. За последнее время Саенко (залп) особенно (залп) жесток. Он расстрелял 197 (залп) человек. Их расстреливали (залп) у стены нашего дома (залпы сильнее), так что на стене (залпы) осталась запекшаяся кровь и на ней волосы. На днях этот Саенко у себя в (залп и выстрелы) кабинете (выстрелы) на глазах жен (пулемет) зарезал двух офицеров и окровавленные руки вытер о портьеры. Ему некуда бежать. Он говорит: меня все равно повесят, так я хоть сейчас буду наслаждаться убийствами (мелкие залпы). И наслаждается. Я не видела человека более злого.

Харьков взят сегодня вечером. И.М.Лебедев затащил нас в город. Все улицы были запружены народом. Всюду слышались объятия, поздравления и поцелуи. Мы пошли на Павловскую площадь. Там мы видели настоящих добровольцев, с настоящими погонами, с настоящими орденами. Около каждого солдата или

офицера собралась кучка. К нам подошел один офицер, и мы обступили его, жали ему руку, благодарили, задавали вопросы, и он на все отвечал очень охотно. Все добровольцы были усталые, загорелые и все с большими букетами жасмина. На Metropol взвился настоящий русский флаг, бело-сине-красный. Когда я увидела его, у меня сердце так и перевернулось. Мы спросили «нашего» офицера, трудно ли было им взять Харьков? «Нет, — отвечал он, — одно удовольствие, сразу сдали. Наших убито только семеро». Вдруг толпа закричала: «Деникин, начальник Деникин». Мы все кинулись туда. Но Деникина, кажется, не было. Я это не совсем понимаю. Это проходил полк, и у всех на шапках жасмины. Его приветствовали криками «Ура!», бросали вверх шапки. Потом подъехал автомобиль, в нем ехал какой-то важный капитан, ему опять кричали «Ура!» и бросали шапки. Он поднял руку, все замолчали. «Женщины-заложницы, — начал он, — отпущены, мужчин сегодня не удалось отпустить — отпустят завтра». Опять «Ура!», опять аплодисменты. Это было так хорошо, так хорошо. Было уже начало первого, а народу — тьма. Я пережила такой счастливый момент, которого не забуду. И в самом деле, Харьков 2 года не был русским: то большевицко-жидовский, то немецкий, то украинский. А теперь он стал опять настоящим русским городом, спасибо вам, добровольцы, вы — герои!!!

13 / 26 июня 1919. Четверг

Сегодня я была на Соборной площади. Там у добровольцев был молебен и парад. Народу была полна площадь. Я там встретила Нину Ткачеву, одну нашу второклассницу. Мы с ней в дверях какого-то магазина стояли на стуле. Добровольцев было очень много, и пехоты, и артиллерии. В них бросали цветами. Мы с Ниной тоже пробовали бросать цветы, но попали какому-то господину из публики на шляпу. Тот был очень удивлен. Когда они выстроились, пришло начальство и сам Деникин. Он маленького роста, толстенький, волосы черные, наполовину лысый, в военной форме, в пенсне. Он мне очень понравился, но я его представляла совсем не таким, я его представляла нечто средним между Саенко и Лебедевым. Был молебен. Оркестр играл «Коль славен», все офицеры стали на колени. После молебна провозглашали тосты за «Единую неделимую Россию», за Колчака, за Деникина и за Добровольческую армию. После каждого тоста кричали «Ура», и играла музыка. А потом был парад. Одно войско проходило за другим. Как они чудно шли! Когда проезжал пулемет, мне показалось, что я видела Толю Мохова. Это же может быть, потому что Толя —

доброволец и пулеметчик. (Толя — это хороший знакомый Гливенко, жил у них, и считается чуть ли не братом.) В них кидали цветами, и Толя поймал несколько роз.

А теперь домашняя новость: меня опять перевели в мою маленькую комнату. Я уже там навела порядок и сижу в ней.

Сейчас гроза. Сильный дождь. Гроза в 25-ти верстах. Я считала от молнии до удара.

Добровольцы опять ввели старый стиль и Петроградское время, т.е. на 25 минут назад от старейшего времени. Значит, от последнего времени (на $3\frac{1}{2}$ вперед) на 4 часа назад. Получается, что сейчас не 10 часов, как было последнее время, а только 6.

18 июня (по нов. ст. 1 июля. — И.Н.) 1919. Вторник

Все, что я писала о Деникине, — ерунда, это был не Деникин, а Май-Маевский. Но я видела портреты Деникина и Колчака. У обоих лица были симпатичные, но Колчак мне больше понравился. Он очень молодой, лет 30, энергичное лицо, красивый, словом, я стала его поклонницей. Мы теперь ходим купаться в конец Журавлевки. Река чистая, правда, мелкая, но это ничего. Сегодня, когда мы шли с купанья, у нас произошел спор. Шли я, Наташа и Таня. Лели не было, потому что Вава забыла на берегу простыню, и они пошли ее искать. Нам приходилось идти по небольшой поляне. Посредине было болото, а с краю тропинка. Таня и Наташа пошли по тропинке, а я по болоту. «Я сама себе пробую дорогу», — сказала я. «Но по тропинке гораздо удобнее идти», — сказала Наташа. «Еще бы, и вообще по чужому уму легче идти». Но Таня возмутилась: «По-твоему, дорога сделана для одного, а другой по ней не может идти!» — «Я этого не говорю». — «А так как же понимать твои слова?» — «Да уж, конечно, не в буквальном смысле». — «Ну, так объясни». — «Когда вам пробита дорога, даже в жизни гораздо легче идти...» — «Так, значит, мы не могли идти по дороге», — должно быть не поняла Таня. «Не перебивай, а то я не буду говорить». — «Ну и не надо», — оборвала Наташа. «Но ведь я говорю не о дороге, а вообще о жизни. Например, когда мы учимся. Нам легко. Но когда мы сами будем делать открытия, нам это труднее». — «К чему здесь открытие?» — спросила Таня. «Объясняю, объясняю, а она ничего не понимает». — «Да от такого объяснения ничего не поймешь», — возразила Наташа. «Ну, так как объяснять?» — «Чтобы понятно было», — огрызнулась Таня. «Я, Таня, с тобой не говорю, да и не хочу говорить». — «Так что же я не могу отвечать?» — «Отвечай на здоровье, но только, судя по твоим ответам, ты слишком наивна и глупа, чтобы что-нибудь понять». —

«А ты уже “перенаивилась”, переумнела, слишком умная стала». — «Да уж умнее тебя». — «Принцесса». — «Дура!» — «Всякого на свой аршин меряет», — вставила Наташа. «К чему это? — “всякого на свой аршин меряет”? Глупо». — «Всякого на свой аршин меряет», — твердила Наташа. «Затвердила какую-то чужую фразу и говорит, как попугай». — «А разве пословицы не для того, чтобы их повторять?» — «Говорить толково, а не бестолково». — «Как это умно, а разве ты никогда не повторяешь чужих слов? Свои выдумала?» — «Слово и фразы — громадная разница. Когда где можно, я употребляю свои выражения и живу своим умом». — «А когда своего не хватает, чужой берешь. Своего мало». — «Хоть худой, да свой, а не чужой, все ж лучше. На чужом уме далеко не уедешь». — «А на своем — дальше», — злилась Таня. «Я с тобой не говорю: гусь свинье не товарищ». — «А кто из вас гусь, а кто свинья?» — засмеялась Наташа. «Я гусь, а Таня просто свинья». — «Я вовсе не свинья, а ты просто глупая, избалованная девочка». — «Я меньше избалована, чем ты». — «Вот врет. Я слушаюсь маму, я ей всегда помогаю. А ты что?» — «Если ты, Таня, вытрешь раз в день несколько тарелок, ты это называешь “помогать”, а если я обед готовлю, то это не называешь помощью». — «Ну, а ты сердишься на М.В.» — «Почем ты знаешь?» — «Да три года в одной квартире жили...» — «Уже в одной квартире? Ты бы, Таня, лучше помолчала, а то язык стал заплетаться».

Сегодня встала в 5 часов, но не знаю, что делать.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) июля 1919. Среда

Наконец-то я опять села за дневник, но уж и писать-то совсем разучилась. Папе-Коле надо ехать недели на полторы в Славянск, и он, вероятно, возьмет и меня.

8 (по нов. ст. 21. — И.Н.) июля 1919. Понедельник

Мне хочется писать стихи, и я не могу. Стараюсь, стараюсь, думаю, и ничего не выходит. Но я живу теперь мечтой, я мечтаю так: (Не дописано. — И.Н.)

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) июля 1919. Среда

Вчера приехал из Славянска Папа-Коля. Приблизительно через неделю мы все поедем туда. Но сначала переедем на Чайковскую улицу. Я вчера была на той квартире.

Неужели когда-нибудь эти строки прочтут и, быть может, будут смеяться!? Нет, я этого не допущу! Этот дневник я пишу для одной меня, и эти страницы, кроме меня, никто не будет читать! Нет, никто и никогда!!!!!!

(Около 22 июля 1919. — И.Н.)

Вот мы уже дней 6, как в Славянске. По дороге Папу-Колю чуть не убили солдаты, приставив револьвер к виску, вывели из вагона. За жиду приняли. Здесь мы устроились очень хорошо. Хозяева у нас очень милые люди. У них громадный фруктовый сад.

30 июля (по нов. ст. 12 августа. — И.Н.) 1919. Вторник

(Запись Н.Гераскиной. — И.Н.)

Ангел слетел над покровом,
Ира проснулась от сна,
Ангел сказал ей три слова:
«Ира, голубка моя»!

Наташа Гераскина.

*Город Славянск Харь<овской> губ<ернии>,
Харьковская ул., № 15.*

12 (по нов. ст. 25. — И.Н.) августа 1919. Понедельник

Долго, очень долго я не писала дневника, у меня не было той страсти, которая была на Лермонтовской, когда я лунными ночами долго просиживала над дневником. Хотя теперь у меня больше впечатлений, больше новых мыслей, чем было тогда, и больше охоты с кем-нибудь поделиться. Нового много, старого нет. Но у меня есть три друга: Дневник, Эмилия и стихи. Иногда я думаю: как хорошо в Харькове. Своя комната, свои интересы. Но меня очень пугает гимназия. И не столько сама гимназия, сколько то, что по-немецки я написала только 3 диктовки. Но неужели из-за немецкого стоит унывать? Никогда! Может быть, через месяц мне суждено умереть, а я буду всё это время огорчаться из-за немецкого! Это не подходит к моему методу: «Живи текущим моментом!»

В субботу Папа-Коля уехал в Барвенково читать лекцию. В этом Барвенкове все идет как-то чудно. Там один раз на концерте-вечере, который должен был начаться в 12 часов дня, сам начальник пункта напился пьян, стал танцевать русскую и от усердия сломал эстраду.

Иногда, как сладкая грёза, на меня нападает страсть мечтать о том... (Не дописано. — И.Н.)

Недавно на щите я видела объявление «Пойман Саенко», и тут же его портрет. Но нисколько не похож. Мне просто хотелось написать: нет, не похож он на Саенко. Я даже подозреваю (Боже упаси), что это не он.

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) августа 1919. Вторник

Вот что произошло за сегодняшний день: я стала подшивать ножку Эмилии и сделала новую. Теперь их у меня целых две. Я так рада. Я уже ими сегодня очень увлекалась. Эмилия и Вера — близнецы.

Завтра мы непременно поедem в Святые Горы. Папа-Коля будет там читать лекцию. Я ужасна рада.

Я решила, что если начало занятий 23-го, то я успею написать 10 диктовок. Остальные, скажу, не успела, напишу теперь, а то не с кем было писать, папа постоянно уезжал... Как-нибудь обойдусь!

«Живи текущим моментом». Я так рада. Вообще, за сегодняшний день я все радуюсь. Но есть печальное: бродячие красноармейцы заняли деревни около Лимана. Но на Купянском фронте (добровольцы. — И.Н.) подвинулись вперед.

Сегодня Папа-Коля приехал из Барвенкова. Оттуда езды 50 минут, а приходится не спать целую ночь. Сегодня весь день он хочет спать. Сидит в столовой — спит, в парке — спит, на (железнодорожной. — И.Н.) «ветке» — спит. Ну а дома — и подавно.

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) августа 1919. Среда

Святые Горы

Наконец-то мы собрались в Святые горы. Но Шмидеберг нас уговаривал весь вечер не ехать. Говорит, опасно. Мы долго колебались, но поехали. Ветку пришлось ждать очень долго. Уже темно, наконец сели, да попали в военный вагон, нас оттуда выкинули. Я уже боялась опоздать и нервничала. Оказалось, что надо ехать в товарном поезде, в теплушках. Мамочка очень разочарована, но не ехать же обратно! Первое, что меня пугает, — как влезть в вагон? Он очень высок, ступенек нет, и я, при всем желании, не влезу в него. Папа-Коля влезает сам и втаскивает меня и Мамочку. Но в вагоне было что-то ужасное. Народу человек 80. Кто сидит на полу, кто стоит. Масса каких-то мешков, корзинок. Толкотня невообразимая! Вот у самой двери лежит один раненый с перевязанными ногами и головой. Оказывается, что сегодня утром упал с крыши вагона. Он все время стонал, это было невыносимо. Я так хотела, чтоб его унесли. Конечно, тут было больше эгоизма, чем жалости, но что ж поделать! С сильным толчком мы трогаемся. За стуком паровоза не слышно стонов несчастного. Я понемногу успокаиваюсь. Абсолютная темнота, сильные толчки, наконец остановка. В вагон врывается огромная толпа. «Милые, тише, — кричат из

вагона, — здесь раненые». «Все вы так говорите, чтобы лежать», — кричит толпа. Несчастный застонал громче. Мне вдруг показалось, что его топчут, что он умирает, и я, не помня себя, отчаянно закричала и заплакала. В великой радости слезла я из вагона в Лимане на пересадку, положила голову на стол и уснула.

15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) августа 1919. Четверг

Сидим мы в Лимане очень долго. Вышли мы с Папой-Колей отыскивать офицерский вагон. Вдруг встречаем одного поручика, знакомого Папы-Коли. Он везет в Харьков скотину, а сам с командой в 8 человек едет в отдельном вагоне. У него там масса соломы. Он нас пригласил к себе в вагон, помог влезть, уложил на солому. Меня даже укрыл своей кожаной курткой. Он оказался очень милым человеком. Отношения с солдатами были очень хорошие. Больше они в вагон никого не пустили. «А если нас не прицепят», — беспокоились мы. «Да их всех перестреляют», — горячился тот. А солдаты добродушно посмеивались.

18 сентября (по нов. ст. 1 октября. — И.Н.) 1919. Среда

Наконец-то я опять села за дневник. Я теперь уже учусь не в Покровской (гимназии. — И.Н.), а в Обществе учителей и родителей. Это теперь очень большая гимназия (15 классов). Вознесенская гимназия закрылась и все вознесенки перешли к нам, и наша гимназия переходит в здание Вознесенской. Ив<ан> Ив<анович> — директор этой гимназии, и Таня учится со мной в одном классе, в 4а. У нас есть компания в 6 человек: я, Таня, Леночка Плохотниченко, Ксения Пугачева, Тамара Гарбодей и Варя Евтушенко. Вчера я была на именинах Веры Кузнецовой и простудилась, сегодня очень болит горло. Сначала я пошла в гимназию, но по дороге мне стало плохо, и я пошла домой. Очень боялась застать Мамочку дома, потому что она бы стала сердиться, что я вернулась. Но ведь я могла... (Не дописано. — И.Н.)

27 сентября (по нов. ст. 10 октября. — И.Н.) 1919. Пятница

Сегодня я играла на рояле и разучивала Чайковского. «Осеннюю песнь». Вдруг сверху приходит какая-то немочка и говорит: «Это вы здесь играли “Пробуждение весны”»? «Нет, говорю, и подумала: «Что за пропаганда такая!» «Так как же, а я все время слушала» и запекает. «Это “Осенняя песнь”». «Да, да, как вы сказали? Повторите, пожалуйста». «Осенняя песнь». «Вот, вот, она самая, пожалуйста, сыграйте мне ее немножко». Я сыграла. «Ах, как вы хорошо играете! У вас много... я не знаю, как это называется по-русски.

Я по-русски очень schlecht* много-много талант. Таланд!» Мерси, думаю, за комплимент. Списала она название и ушла. Потом приходили две барышни, спрашивали, не сдается ли комната. А под конец одна сказала: «Это вы играли? Как хорошо, прекрасно, очень хорошо!» Опять комплимент. Приходил потом газетчик, но уже не хвалил.

Занятий у нас в гимназии пока еще нет, и я целые дни скучаю. Обедать пошла сегодня в половине второго и пришла в 5. И все эта очередь у кассы. За вторым очереди совсем не было. Я сегодня первого не брала, а взяла «Поприкаш». Что это такое — не знала. Думала — какая-нибудь каша. Оказалось, гадость невообразимая. Просто мясо — ни то вареное, ни то печеное, даже не мясо, а одни жилы. Никогда теперь не буду брать неизвестное. В другой раз взяла грудинку, думала, куриная, а оказалось, говяжьих хрящины, а я их терпеть не могу. В этой столовой (технологической) очень любопытно. Прошу щи. Дают билетик с надписью «борщ». С этим билетиком надо стоять в очереди, чтобы получить щи в натуральном виде. Очередь иногда проходит через всю комнату. Берешь массу красненьких билетиков с надписью — «Гарнир», одни с числом, другие с X, третьи с 0. Вот и разбирайся, где капуста, где каша, где булочки. Но что значит желтенький билетик? Бульон? Только не бульон, а кисель или компот. Есть и еще талончик «горячее без мяса». Загадка.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) октября 1919. Четверг

Вчера я пришла в гимназию без книг: мне так сказали, а у нас занятия. Вот так пропаганда! Кое-как отделалась. А сегодня немка меня спрашивала и поставила +. Это приятно! Быть в старшей группе, да еще получать пятерки — это очень недурно. (Немка разделила класс на 2 группы: старшая — из вознесенков и лучших учениц, и младшая — из остальных.) Да и у Кракова я стала на хорошем счету. Он говорит: «Я от вас требую большего, чем от других: вы больше читали, больше знаете, лучше умеете пересказывать прочитанное, это я заключил по вашему сочинению». Сегодня на его уроке мы разбирали эпитет «милый». «Ну, что ж такое “милый”?» — объясняет Кракушончик, — например, вы откуда-нибудь приезжаете в свой дом, где у вас есть своя комната. Вы ее называете милой. Вам скорее хочется к этим “милым” предметам, может быть дуськи...» Все засмеялись. Я поглядела на Таню, она густо покраснела и низко наклонилась над тетрадью. Я восторжествовала.

На переменах я, Таня и Ксения ходили к Тане.

* Плохо (нем.).

А на английском мы страшно хохотали. What is it?* — спрашивает мисс Ален и поднимает чернильницу с нашей парты прямо над моей головой. «Выльет на голову, выльет», — шепотом хохочу я. Вызывает меня. Встала я и гляжу на дверь через стекло в коридор, а там у нас не учащие английского шалят. Вижу, стоит шкаф, вдруг он открывается и оттуда высовывается улыбающаяся рожица Левицкой. Тут я уже совсем не могу и фыркаю.

20 октября / (по нов. ст. 2 ноября. — И.Н.) 1919. Воскресенье

Сегодня у меня ночевала Таня. Идем мы с ней сегодня по улице и вдруг видим — Девятков. «Дома?» — спрашивает он, и мы вспомнили, что Мамочка очень не любит, когда он у нее бывает. «Нет, — говорим, — на лекцию ушла». Он и ушел.

В гимназии наш класс устраивает утро с помощью Кракова. Поставим сначала «Цыгане» Пушкина. Он предоставил нам самим выбрать актеров. Земфирой выбрали Мирмилоштейн, она лицом очень подходит. Но как читает ужасно. Тогда выбрали меня. Однажды за уроком Краков спросил меня: «Мадмуазель Кнорринг, вам очень легко учить стихи?» «Да, — говорю, — очень». «А вы сами пишете стихи?» (Щекотливый вопрос) «Да». «Ну, вот после “Цыган” вы что-нибудь прочтете». А у меня стихи плохо подвигаются. На уме политика, гимназия, «гражданские» темы. Но этот разговор меня подзадорил. Оправдаю его доверие! Наша классная наставница — Вера Александровна Медведева, низенькая старушка, на вид такая тихая, добренькая, на самом деле ужасная злока! Зовут ее Медведиха, Апис, Ариманиха, Морж, Моська из акульей породы, Янус двуликий, Рожа, Сучка, Акула-Моська, Мартышка, Мартын Иванович. После перемены она сейчас же приходит в класс, и если придти после нее, она тихим ровным голоском начинает читать нотацию. «Да как же вы поздно приходите, как вам не стыдно, вечно вы со своими шалостями!» К Тане она особенно несправедлива! Зато мы ее изводим...

Больного места не коснусь — страшно.

29 октября (по нов. ст. 11 ноября. — И.Н.) 1919. Вторник

Я бы хотела этой ночью умереть, тихо, незаметно. Чтобы об этом никто не знал, а на утро нашли бы меня уже мертвой. Мамочка на меня все время сердится, справедливо ли это? Говорит: «Ты совсем отошла от нас, какое ужасное отношение». Как это мне

* Что это? (англ.)

обидно и больно! Как же я могу быть с ними откровенна, когда в припадке откровенности встречаю только суровый отпор. Я совсем углубилась сама в себя, я заменяю себе все и всех! Порой одиночество невыносимо! Тогда я начинаю думать, думать о Колчаке, как будто чувствую его присутствие около меня, душа успокаивается. А иногда заберусь в какой-нибудь укромный уголок и плачу, плачу, слезы сами льются, и становится так спокойно и грустно, грустно.

1 (по нов. ст. 14. — И.Н.) ноября 1919. Пятница

Недавно потеряла 50 рублей, данные мне на 3 обеда, и решила, никому ничего не говоря, занять у Тани 20 р. и 2 дня поголодать. Вчера Мамочка не ходила на службу и попросила меня взять в гимназии в столовой, если можно, жаркое; и дала мне 12 р. Я ей отдала свое жаркое, а деньги взяла себе. На них я сегодня и завтра в технологической столовой буду покупать по 3 гарнира, а потом приходить в гимназию и делать вид при Лидии Петровне, что иду обедать. В это дело я посвятила Таню, потом Тосю (Дубнер) и Ксению Пугачеву, чтобы они как-нибудь случайно не выдали.

Недавно в Харькове арестовали массу коммунистов. Открыли их очень странным, романическим образом: один офицер возвращался вечером домой и захотел есть. Зашел он в лавочку на Пушкинской улице и спросил, сколько стоят огурцы? Торговец загадочно подмигнул ему и, отпустив всех покупателей, сказал: «Петинская ул<ица>, такой-то дом, в такой-то час». Офицер догадался, что тот случайно сказал чей-то пароль и, не показав вида, ушел. В назначенный час этот дом был оцеплен. Там нашли общество коммунистов, готовившихся на днях выступить. С ними было найдено много прокламаций.

Вообще дела на фронтах идут хорошо. Недавно Шкуро сделал колоссальный прорыв к красным. За это ему дается высокий чин (я не знаю, куда выше). Хоть бы его назначили к нам в Харьков, вместо Май-Маевского.

2 (по нов. ст. 15 — И.Н.) ноября 1919. Суббота

Перед тем как лечь спать, запишу об одной незаслуженной обиде. Мамочка попросила меня, так как я остаюсь дома (у нас в гимназии испортилось отопление, его чинят уже неделю, но будут — и вторую) подмести в спальней. Я подмела с большим старанием. Мамочка приходит и сердится: «Почему ты не подмела комнату?» Так и не поверила. И не представляет, как она меня этим обидела. Стараешься, делаешь, и вот результат! Никогда больше не буду подметать ее комнату: все равно не замечает!

«В ночь с 5 на 6 ноября наши части оставили г. Курск и медленно отходят к югу» (из газеты). Ходят невероятные слухи, настроение паническое. На фронте адм<ирала> Колчака скверно! Солдаты ходят босиком, проклятые буржуи! Недавно на мосту сидели двое детей и плакали. Около них образовалась толпа. Они говорили, что у них отец на войне, а мать умерла недавно. Проходила мимо одна барыня в котиковом пальто. Она послушала их и сказала: «А вы еще им верите! Это они говорят всегда! Знаем мы! Всегда они представляются». Случился там один офицер. Он сказал этой барыньке: «Потрудитесь снять ваше пальто и посидите здесь, на мосту, часа два. Тогда вы “попредставляетесь”». Она сильно покраснела, бросив ему: «Нахал!»

8 (по нов. ст. 21. — И.Н.) ноября 1919. Пятница

Мамочка собирается бежать. Хотят продать пианино. Ужасное, ужасное положение! Я никуда не поеду! Не все ли равно, где умирать, в Харькове или в каком-нибудь Ростове или на Кавказе. Если красные возьмут Харьков, то, конечно, и Ростов, а там опять воцарится большевизм. Положение на фронтах ужасное. В теперешние морозы солдаты ходят босиком, полуодетые. Между тем, как здесь, в Харькове, в кабаре, в театрах толпа буржуев в дорогих мехах, в бриллиантах!!! Но что, если Харьков возьмут?!?!

25 ноября (по нов. ст. 8 декабря. — И.Н.) 1919. Понедельник

17-го ноября бежали.

Вот уже несколько дней, как мы в Ростове.

28 ноября (по нов. ст. 11 декабря. — И.Н.) 1919. Четверг

Устроились здесь у одних знакомых. Не сегодня-завтра сдадут Харьков. Вчера была у Наташи, она живет в Нахичевани, но я к ней бегаю. Она мне показывала свои стихи, и меня опять мучает зависть. Но я это объясняю тем, что теперь не до стихов, когда бежишь из дома, не до того. Однако у меня есть вдохновение. Уж очень я двуличная.

30 ноября (по нов. ст. 13 декабря. — И.Н.) 1919. Суббота

Сегодня Харьков сдали большевикам. Пишут, что это сделали нарочно, по установленному плану, но я этому не верю. Да и можно ли верить?... Теперь там шныряют автомобили с красными звездами, развеваются красные тряпки. Бедные Гливенки! Они остались.

1 (по нов. ст. 14. — И.Н.) декабря 1919. Воскресенье

Папа-Коля меня утешает, говорит, что большевиков разобьют под Лозовой, что... (Не дописано. — И.Н.)

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) декабря 1919. Вторник

Только что написала стихотворение «Мелодия» и чувствую удовлетворение. Я перехожу от тем гражданских к темам музыкальным.

Заметки о самой себе.

Я додумалась до того, что я не только двуличная, но и троеличная:

1. Ирина-поэтесса: я живу настоящим, хотя у меня есть и прошедшее, но я никогда не опускаюсь в скучные воспоминания. Будущее пугает меня своей неизвестностью. Я живу и наслаждаюсь жизнью. Я слышу дыхание смерти, но не боюсь его. Я живу только один день, каждое утро я рождаюсь и каждый вечер умираю.

2. Ирина-патриотка: я живу только будущим. В будущем я могу исполнить мои большие идеи, отмстить большевикам и пойти на помощь воскресающей России. Настоящего и прошедшего у меня нет. Жизнь свою я буду считать с того момента, когда начну исполнять свою клятву.

3. Ирина-лентяйка: я живу только прошедшим. В настоящем столько гадкого и столько тяжелого приходится переживать, а будущее пугает меня своей неизвестностью. Мою теперешнюю жизнь составляет прошлое. Каждый момент прошлого я перерабатываю, вновь переживаю и понимаю по-другому. Другие называют такое занятие «ленью». Меня никто не понимает, да я и открываюсь только самой себе. Никто не понимает моей любви к поэзии, моего патриотизма и моего погружения от действительности в воспоминания.

Я — фальшивая монета. Сначала ее принимают за настоящую и ставят наравне с другими. Когда узнают ее фальшь, бросают в сторону. Напрасно. Быть может, она сделана гораздо изящнее других, вы видите, что она не из серебра, но, может быть, в середине лежит золото. Надо только достать его, и она будет гораздо лучше и дороже настоящих. Так же и я. Люди часто бывают несправедливы к людям. Они видят, что человек не такой, как все, и его отставляют в сторону. А чтобы добыть золото в его душе, нужна искренность. Я могу быть искренней только с теми, кто меня понимает,

а меня никто не понимает, а в этом-то и есть вся беда. Но я сама чувствую свое золото.

Что я съела 10 декабря 1919, во вторник, и была сыта:

3 чашки кофе с молоком и с сахаром утром

1 большой кусок хлеба с маслом

3 тарелки кислой капусты с постным маслом (завтрак)

1 тарелку ухи с куском рыбы (обед)

2 котлеты с кашей

2 чашки чаю без сахара и без молока с лимоном

1 чашку чая без сахара и без молока, без лимона

1 чашку чая с сахаром и с молоком (чай)

1 чашку молока

3 куса хлеба с маслом

2 конфеты

Изрядно!

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) декабря 1919. Пятница

Собираемся бежать дальше, куда-нибудь на Кавказ. Думают, что Ростов скоро сдадут. Но я себе не представляю, где мы будем, когда по всей России будет большевизм. Я уж что-то в добровольцев и не верю. Но что-то сейчас делается в Харькове? В нашем доме опять, вероятно, чрезвычайка, вся наша обстановка расхищена. Мы уже слышали, что расстрелян один директор гимназии. Но что с Гливенками? Жив ли еще Ив<ан> Ив<анович>.

Я чувствую, что мне сейчас очень недостает Тани. Если бы она была со мною, я бы не так тяжело переносила это время. Она мне необходима. Уж очень у всех нас минорное настроение. Таня такой быть не может. Мне даже теперь не с кем искренно поговорить, я чувствую себя совсем одинокой. Есть Наташа, но это не то. Правда, я к ней бегаю с удовольствием. Приятно побыть в кругу харьковцев (у них еще живет Юлия Ивановна с Романом) и, играя в (нрзб одно слово. — И.Н.), позабыть о политике и обо всем.

О, мы несчастные, бездомные скитальцы! Где-то еще придется встретить Рождество!

15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) декабря 1919. Воскресенье

Скоро поедем на Кавказ, в Туапсе. Что же? Я рада. Там тепло, там море! Поедем уже скоро, через несколько дней. Ростов эвакуируется. Красные взяли Миллерово, и это очень скверно. Хотя последнее время я отреклась от всякой политики, на карту смотреть не хочу, но газеты читаю, не могу без этого!

2 (по нов. ст. 15. — И.Н.) января 1920. Четверг. Туапсе

Вот мы и в Туапсе. Из Ростова мы ехали в Азов с учебным округом. Поехали на Кавказ. До Туапсе ехали 11 суток. Днем мы стояли, а ночью ехали. На станции Тихорецкой мы встретили Рождество, сначала ели коммунистическую кутю и фруктовый взвар. Потом была служба, прямо в вагоне среди вещей, трогательно, грустно без конца. Это Рождество навеки запомнится у меня в памяти. 3 дня праздника мы стояли на ст<анции> Кавказской и ругались, что нас не прицепляют к какому-нибудь поезду и не увозят. Мы ехали в том вагоне, который ехал в Майкоп, а пересели в другой. От Майкопа начинались горы. Боже, как они красивы! Впервые увидела я снеговую вершину горы «Индюк». Наконец приехали... Здесь уже третий день, я еще не видала моря. Я видела, но только издали. Погода отвратительная. Целый день ливень. В ночь под Новый Год была гроза, сумасшедшие раскаты грома далеко разносились в ущелья гор и перекликались миллионы раз, поздравляли всех с новым годом, с новым горем. Остановились мы в греческом училище... Здесь живут две гречанки, учительницы. Относятся они к нам замечательно хорошо.

Думы тяжелые. Добровольческая армия разбита. Ростов сдан. Куда нам бежать теперь? Лучшего я не жду, но хуже, может быть, и будет. Будет во много-много раз хуже, если Россия будет покорена каким-нибудь другим государством. Пережить такое унижение родины я не могу. Сегодня я раскрыла Евангелие наугад, и попала мне там притча Иисуса Христа и слова его о том, что не надо унывать, что Господь всегда поможет верующим в Него, и если Он не делает этого теперь, то сделает после.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) января 1920. Пятница

Сегодня я видела море. Оно бушевало. Я не в силах описать всю торжественность этой картины, скажу только, что она меня сперва ошеломила. На душе у меня тяжело, в ней происходит буря, и такую же бурю я увидела на море: в нем отразилась моя душа.

Ростов сдали — это уже факт.

Спим мы здесь на партах. Я на аспидной доске, положенной на пюпитры. Сегодня я ходила обедать — 130 рублей обед!!!

Сейчас у нас сидят гречанки. Ах, какие они симпатичные. Говорят по-русски плохо, шипящих букв не произносят.

Боже, как тяжело на душе! Завтра опять пойду к морю — оно мне сочувствует. Папа-Коля совсем упал духом. Мамочка тоже.

Одна я скрываю мои думы и держусь бодро. Я верю, верю в уничтожение большевиков, верю в победы Колчака! На него последняя надежда! Я верю в чудо!

Как прекрасны горы! Как гордо они возвышаются над морем. Как ничтожен перед ними человек и как он велик!

4 (по нов. ст. 17. — И.Н.) января 1920. Суббота

Милая Таня! Почему ее нет со мной? Почему судьба так жестоко разлучила нас!? Но я верю, что каждое дело судьбы — необходимо. Необходим и большевизм, необходимы и все страдания, и еще суждено перенести много тяжелых испытаний, чтобы достигнуть полного счастья, необходима и эта разлука. Если когда-нибудь и суждено будет нам встретиться, вот радость-то будет! Для меня, по крайней мере!

Вот юг! Вот и Туапсе, вот тебе хваленый Кавказ! Погода такая, что хуже и представить нельзя! Дождь, ветер, сырость. Сегодня ночью такая буря была, что я думала, дом повалится. Но и в ней я находила удовлетворение.

Сейчас в училище приходил казак и говорил, что Ростов взят и Добрармия продвинулась на 70 верст к северу. Приходила учительница, у которой муж большевик, и подтверждала это. Хотелось бы верить, да боюсь горького разочарования.

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) января 1920. Понедельник

Безнадежное отчаяние! Ростов не взят. Батайск обстреливается. Теперь уже — Добровольческий корпус, а не армия, армии нет. Все хуже и хуже. Скоро нам представится возможность ехать в Грецию. Я не хочу. Зачем? Я дошла до такого состояния, что хочу кончить самоубийством. Я не шучу. Здесь море. Когда большевики придут в Туапсе, меня не станет. Я никому не нужна. И жизнь мне не нужна. Родины нет, счастья нет, покоя нет! Надеяться не на кого. Верить некому. Мамочка говорит, что надо обманывать себя, что иначе жить нельзя. А по-моему, это неправильно. Я всю жизнь себя обманывала, всю жизнь лукавила, и под конец мне это надоело. Плохо, так плохо! Хотя знаешь, что нет надежды. А то полная неизвестность, а потом разочарование — это хуже всего.

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) января 1920. Вторник

Папу-Колю могут скоро мобилизовать. Ну, тогда и я пойду, а, может быть, и с Мамочкой останусь, нельзя ее одну оставлять. Вчера приехал из Екатеринодара и Новороссийска один человек

из Округа и говорит, что там настроение бодрое, что мобилизация Кубани проходит блестяще. Это меня немножко утешило.

Я сегодня первый раз встала (3 дня я лежала) и раскладывала па-сьянс, которых я знаю 8 штук. Скучно и грустно! Целый день ничего не делать — с тоски помрешь! К морю я с тех пор не ходила. Погода отвратительная, дождь, град. Скоро выяснится, останемся ли мы в Туапсе или поедem куда-нибудь. Если останется, я поступаю в гимназию. Я по-гречески знаю три слова (мои познания довольно ограничены): мое имя — мир (а мне — война!), фото — свет, еще знаю. Скоро начало занятий. Что-то там сейчас в гимназии, и где-то наша гимназия?

8 (по нов. ст. 21. — И.Н.) января 1920. Среда

Сегодня я ходила на море одна. Оно было спокойнее, чем тот раз, и на душе у меня спокойнее. Я ходила по самому берегу, настолько близко от моря, что оно окатывало меня миллионами брызг, а волны добежали до меня. Мне казалось, что рушилась огромная водная стена, настолько был силен этот шум. Огромные волны рушились у берега, далеко катились по отмели. Некоторые волны катились так далеко, что я отбегала назад. Было хорошо, очень хорошо, и я долго простояла над морем. Последняя фраза мне не нравится: совсем как в сочинениях.

9 (по нов. ст. 22. — И.Н.) января 1920. Четверг

Завтра я иду в гимназию. Я очень рада. Когда я сегодня стояла в кооперативе и смотрела в окно (а напротив была школа), то увидела много детей. Они играли на улице. Потом звонок, и они побежали в школу. Через большие окна школы я увидела, как они шалили до прихода учителя. Потом — как они сидели на уроке. И так это мне напомнило «мою», не туапсинскую, гимназию. Так захотелось туда!

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) января 1920. Пятница

Была в гимназии. Не нравится мне она. Я вынесла из нее впечатление чего-то низкого, мещанского! Не нравится мне и тон этой гимназии. Не нравятся и преподаватели. Особенно по русскому. Грубая, злая! Здесь уже учат теорию словесности. Девочки ничего себе. Особенно одна. Я с ней сижу — Вера. Класс очень шумный. Сегодня начальница говорила: «Как вы шумите. Вот и новенькой вы покажетесь с плохой стороны!» И затем, обращаясь

ко мне, спросила: «Видали ли вы, чтобы так шумели?» «Видала, — говорю, — и еще больше видала». За спиной раздались дружные голоса: «Молодец, поддержала класс». И класс уже смотрит на меня как на верного товарища. Самое плохое, что я очень отстала от класса, а книг нигде нет. Здесь ставят отметки по-настоящему, и много двоек, и, что я заключила по ответам, принято зубрить.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) января 1920. Суббота

Нет, гимназия мне положительно не нравится. Такая несправедливость, столько двоек! Отвечала девочка по-русски своими словами — двойка! Воображаю, сколько их у меня будет. Я ведь не умею зубрить. Отвечала одна по истории — очень хорошо, уж Моська от такого ответа растаяла бы, а тут 4. Зубрешка невероятная. Я так уже не смогу. Сейчас никого нет, они ушли на репетицию хора к «Татьянинному дню». Я этим воспользовалась, вместо того, чтобы учить теорию словесности, пишу дневник. Да я все и так приблизительно знаю, зачем же учить? Уходя, Мамочка просила меня надеть вязаную кофту, потому что холодно. Я не хотела. Тогда она принесла мне ее и надела на меня. «Все равно, ты уйдешь, я сниму», — говорила я. «Не снимешь, лень будет». Святая правда!

12 (по нов. ст. 25. — И.Н.) января 1920. Воскресенье

Татьяна Ивановна Гливенко

С днем Ангела, милая Таня!

И<рина>

Татьянин День, Танины именины. Как-то она проводит этот день? Предполагает ли она, что я сейчас здесь, в Туапсе. Нет, не предполагает. Да и не может она думать, что судьба забросила меня так далеко на юг! Что с ней, что она думает в этот миг, вспоминает ли меня? Думает ли она, что я здесь учусь в гимназии, как я ее ненавижу и как жажду вырваться из нее. Сегодня Мамочки и Папы-Коли опять не будет вечером. Опять буду скучать, раскладывать пасьянс и реветь! Вчера я просматривала весь мой дневник и как я теперь не соглашаюсь с ним. Сколько бы мест я хотела там перечеркнуть, заклеить. Например, на стр<анице> 32-ой, где я писала мою мечту-фантазию. До чего это было наивно и глупо. Конечно, это дневник, я должна в нем писать искренно, но если его прочтут, я не знаю, что может быть ужаснее!? Если кто-нибудь прочтет мои строки о любви, он, несомненно, улыбнется. «Наивная глупая девочка, — подумает, — искусственно, натянуто, лжи-

во». Никто не поймет меня. Наташа, например, говорит: «Как ты можешь влюбляться в портрет?» Как она не поймет, что я не влюбилась (глупое, избитое слово), и не в портрет, а в душу этого человека.

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) января 1920. Понедельник

Мамочка говорит: «Твое самолюбие тебя погубит. Все люди, которые говорят, что они что-то особенное, что их никто не понимает, никуда не годятся». Папа-Коля говорит: «Ты останешься недоучкой, ты не любишь учиться». Допускаю, но от слов своих не отступлюсь: меня никто не понимает. Чем же тогда объяснить ту неискренность, те отношения, которые установились у меня с Мамочкой и с Папой-Колей. Когда я в порыве откровенности хочу поделиться с Мамочкой своей радостью или горем, я никогда не нахожу сочувствия. Мамочка всегда прервет мой рассказ словами, вроде «Принеси рыбу». Разве в этот момент мне до рыбы? Этим она говорит, что не придает большого значения моим словам, а если так, то значит, не понимает, потому что это должна быть большая радость в моей ничтожной жизни, если я дерзнула заговорить с ней, та радость, которой я живу не только в настоящий момент и которых так мало. Мамочка не понимает, что у тринадцатилетней девочки может быть страшное, тяжелое горе, как, например, потеря родины, потому что этого она не пережила или потому, что меньше любит ее. Вообще из всех разговоров наших беженцев я только и слышу: «Как бы мне найти поскорее комнату, только б мне устроиться, только б прекратились все мытарства, а где, что — совершенно все равно». А я готова перенести еще какие угодно страдания, лишь бы удалось спасти Россию. Я никогда не выделяю себя из числа других людей, напротив, я знаю, что есть много и много тысяч людей непонятых, как я, забытых, отверженных от мира и погибших. И этого никто не понимает. Теперешнее мое настроение — грустное, безнадежное — никто не понимает. Мамочка, наверно, считает это капризами, желаньем ничего не делать. Когда мы с ней об этом разговариваем, я всегда говорю: «Оставь, ты меня не понимаешь». Папа-Коля начинает сердиться: «Подумаешь, какая натура». На это я всегда огрызаюсь: «Вот и загадочная». Не понятая, но не несчастная, отверженная добровольно, потому что сама завела себя в омут таких мыслей, которых никто не понимает. Гуляя сегодня, над морем, я хотела утопиться. Не понятая, погибшая! Хватит ли у меня воли лишить себя жизни? До чего я дошла — самоубийство! Не понятая, лишняя, погибшая, ненужная!!! После этого желания я невольно испугалась и быстро ушла от моря. И я теперь

нахожусь как бы под давлением тяжелого бремени. Я вздрагиваю при воспоминании об этом. Я отравила себе, если не всю жизнь, то, по крайней мере, время до возвращения в Харьков. Что оттолкнуло меня от самоубийства? Я сошла по отмели к самому морю, но вдруг какая-то непонятная сила заставила меня обернуться, и я бегом бросилась домой, на мосту я оглянулась. Мне было страшно. Еще миг и меня бы не стало. Нет, это ужасно. Но ведь это не совсем правда: я действовала почти совсем бессознательно.

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) января 1920. Вторник

Море — как гордо и прекрасно звучит это слово! Сегодня мы ходили на мол, вплоть до самого маяка. Оно спокойно, оно ласково-нежно, оно отливает миллионами цветов. Оно влечет меня неведомой силой. Там отъезжал пароход в Батум с беженцами из России (билет — 35 тысяч). Как им, должно быть, горько покидать Россию! Мне было их жаль. Приехали знакомые Папы-Коли и пока остановились у нас в комнате. В тесноте, да не в обиде. Рядом в комнате — сыпной тиф. Я не боюсь, мы делали в Ростове 3 прививки. Самочувствие у меня скверное. Настроение неопределенное. Вся жизнь неопределенная. Сегодня здесь, завтра в Батуме. Сегодня радуемся, завтра плачем, а может, через месяц нас большевики перевешают.

15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) января 1920. Среда

Небывалая для Туапсе погода. Снег и мороз. В гимназии нет занятий, уж очень холодно. Было три урока по 5 минут, и нас отпустили. Расскажу кое-что о нашей жизни. Спим на классных досках, положенных на парты. Под простыню подкладываем шубы. Вздвигаться на наше ложе можно только со стороны столов, но не скамеек. Около 8-ми часов встаем. Папа-Коля идет на базар, Мамочка варит на примусе кофе. Я обыкновенно не дожидаясь его и иду в гимназию, которая очень близко. Прихожу в половине первого. Начинаем с Мамочкой на примусе варить обед. Папа-Коля или бывает дома, или на заседаниях, больше для препровождения времени. Часа в 2-3 обед. На первое вареная картошка. Тарелок у нас нет (нам здесь дали сковороду, кастрюлю и вилку), едим прямо со сковородки. На второе пшенная каша. Потом начинается пора ничегонеделания. В это время я обыкновенно раскладываю пасьянс или пишу дневник. Уроков учить не могу, нет книг. Потом чай. Стаканов у нас нет. Мы купили одну эмалированную кружку и две железных — банки из-под консервов с припаянными ручками — и из них пьем. Чайника у нас нет. Завариваем чай в специальной ложке,

которой пользовались в дороге. Ложек у нас две, чередуем. Наше обычное питание: сало, каша и картошка. Воду для умывания и для чая Папа-Коля тащит из колодца. Умываться подаем друг другу той же знаменитой кружкой над лоханкой, тут же в классе, и разводим сырость. Комнату у нас ни разу не топили. Холод, сырость — невероятные. Спать довольно жестко и холодно, ноги болтаются на воздухе, но это ничего. Спать ложимся в 9 часов. Класс у нас малюсенький, живут в нем 5 человек, теснота невероятная. Обувь у нас рваная. Одежда тоже, белья совсем почти нет, а что есть — одни лохмотья. Папа-Коля такой ободранный ходит! У нас с собой только шубы. Из верхнего платья только что на нас, тоже теплое. Сейчас это хорошо, но когда потеплеет, что мы будем делать? Вот она жизнь русского Интеллигента.

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) января 1920. Четверг

Сейчас Мамочка рассказывала о своей свадьбе, как это было хорошо, просто и весело. И я подумала: у меня вся жизнь впереди. Может быть, и мне суждено пережить много счастливых минут. Давидов говорит: «Наши дети несчастные. Они этого не переживали. Они выросли в тяжелых условиях». Но я другого мнения. Мы, будущее поколение, будем очень счастливы; если, конечно, Россия придет в надлежащий вид. Мы выросли патриотами, мы привыкли иметь мнения, мы оценили покой. И прошлое у нас будет. Даже об этом бегстве в распроклятое Туапсе у меня останется много-много и хорошего, как о давно забытом, давно минувшем горе. Правильно Пушкин сказал: «Что пройдет, то будет мило».

17 (по нов. ст. 30. — И.Н.) января 1920. Пятница

День начинается. Я забираюсь на полати и лежу так целый день. Мамочка говорит, что я очень обленилась. Я с этим вполне согласна, но из упрямства отвергаю это. Я не знаю, радоваться ли мне или плакать. С одной стороны, все хорошо: в гимназию не хожу, потому что грязно, большевики дальше не продвинулись. Но политические дела очень плохи: Кубань взялась защищать только казачьи земли, а дальше идти отказалась. Правда ли это или брехня — кто знает? Во всяком случае, нет ничего ни хорошего, ни плохого. А я все-таки верю. Не в казака, казак Россию не спасет, и сама не знаю — в кого. Просто — в чудо. Несомненно, скоро должен произойти перелом: или будет чудо, или давно предвиденный конец. Что-то будет. Мне сегодня всю ночь снилась Таня. Как будто я только что приехала и пошла в гимназию и т.д. Хороший сон был, я не хотела просыпаться. Днем так плохо, днем делать нечего, а ночью можно мечтать. Днем я теперь не могу. В Славянске я

мечтала, идя по улице, мечтала, купаясь, мечтала, гуляя в степи. Теперь я так не могу. Я могу теперь мечтать только ночью, лежа в кровати (а не где-нибудь), когда все спят, и огонь потушен. Я живу теперь больше действительностью, чем мечтой. Она глупая, наивная, но отрадная. Я люблю мечтать не о будущем, а о настоящем, где фигурирую не я, а некто другой.

Как мне хочется вернуться в Харьков. Как хочется, чтобы сбылся мой сон, все до малейших деталей. В нем было все-таки хорошо. Я теперь иногда часто мечтаю на Танин манер. Как я вернусь в Харьков, как пойду в гимназию с ней, кто меня первый заметит и т.д. Это — Танина мечта. Моя — фантазия. В моей мечте я рисую и стараюсь дать себе характеристику кого-нибудь из выдающихся лиц и рисую себе его жизнь и его характер. Это очень интересно, хотя и глупо, потому что я всегда ошибаюсь, и герой оказывается не таким, каким я его себе представляла.

18 (по нов. ст. 31. — И.Н.) января 1920. Суббота

Мы попались в мышеловку: с севера наступают красные, с юга зеленые. Они недавно взяли Сочи, теперь очередь за Туапсе.

20 января (по нов. ст. 2 февраля. — И.Н.) 1920. Понедельник

Нашу гимназию реквизировали, и мы занимаемся в продовольственной управе. Наш класс в бухгалтерии. Составили три стола и за ними с обеих сторон сидят на скамейках 25 человек. Остальные сидят прямо на столах в сторонке. Я с ними, то сижу на столе, то стою. Дурим мы отчаянно. Глаз преподавателя до нас не доходит. Даже под стол залезали. Начинаются у нас занятия в 1½, кончаются уже затемно.

21 января (по нов. ст. 3 февраля. — И.Н.) 1920. Вторник

У меня нет друга. Мой единственный друг искренний — Таня, и та далеко. Не с кем даже поговорить искренно. Так это грустно: гляжу и не нагляжусь на маленького Ледика, металлического слоника, ведь точно же такой есть и у Тани.

22 января (по нов. ст. 4 февраля. — И.Н.) 1920. Среда

Мамочка говорит: «Нам скоро придется участвовать в очень интересной созидательной работе государства». Нет, мы не сможем, в нас уже нет энергии, нет сил. Мы умерли уже, мы только тень, нас уже нет. Мы, беженцы, после того, что нам приходится переживать, уже не люди.

23 января (по нов. ст. 5 февраля. — И.Н.) 1920. Четверг

Как я хочу в Харьков! Всякая мечта моя начинается со слов: когда я вернусь в Харьков... Таня! Я хочу к ней, в гимназию. К Тане, к подругам. Как я хочу вернуться на милую Чайковскую, в милый дом, заклеенный позорным именем чрезвычайки, как хочется в свою квартирку, хотя и бедную, может быть, и пустую, но в «свою». Что я там найду и кого? Леля будет уже совсем барышней, будет делать себе прическу с большим бантом. Таня останется такой же девочкой. Леночка будет думать больше о своей красоте. Тамара останется такой же милой и славной, Ксения такой же буйной.

24 января (по нов. ст. 6 февраля. — И.Н.) 1920. Пятница

Мне не нравится, что я так мало пишу в дневник, два-три слова, и конец. Но мне буквально нечего писать. Целый день я решительно ничего не делаю и даже ничего не думаю. В гимназию как-то не хожу. Я не рассказала, как историк, прямо не рассказывая урока, задает по книге и требует зубрежки; если нет книги, так учи как хочешь. Как русичка два дня назад задала характеристику Афанасия Ивановича, Пульхерии Ивановны и Плюшкина. И Пушкина «Путешествие в Эрзерум». Если не напишешь — единица, и не считается, если нет книги. Как девочки на уроках грызут семечки и т.д. Мамочке и Папе-Коле это не понравилось. Но я даже не знаю, будет ли лучше, если я брошу гимназию. Что я буду делать? Если, дай Бог, Харьков скоро (добровольцы. — И.Н.) возьмут и я успею вернуться еще во время занятий, то я быстро догоню, а если поздно приеду, на будущий год, если никогда? Сердце сжимается, в глазах темнеет при такой мысли. Это значит, что Россия никогда не будет Русской. Я хочу кончить гимназию в Харькове, и чтобы со мной кончили все мои подруги. Пусть бы и Таня не уезжала в Петроград. Ведь осталось каких-нибудь 3-4 года и только... Что будет, то будет. Разъедемся, разоидемся и не увидимся, но оставим сладкое воспоминание. Грустно, но нас позовет жизнь, у нас будут новые интересы. Куда я пойду после окончания гимназии? Поеду ли в Москву на курсы или к себе на Волгу в родную Елшанку, чем займусь?.. Полная неизвестность. Я не знаю, как устроить свою жизнь, время укажет.

Мамочка с Папой-Колей играют в винт. Дмитрий Михайлович Давидов читает. Его жена, Софья Степановна, ест гренок. А я сижу на парте, наблюдаю. И так целый день. Скучно!..

Слухи хорошие: Ростов взят обратно. Если еще и нет, то скоро будет. Кубань вошла в соглашение с Деникиным и пошла вперед. Троцкий сказал, что если они до весны не придут в Кубань, то

дело проиграно. Только бы до весны утерпеть, а там... Что будет, то будет...

25 января (по нов. ст. 7 февраля. — И.Н.) 1920. Суббота

Только что прочли туапсинскую газету. Узнали, что Ростов взят — только привокзальная часть приблизительно до Таганрогского проспекта, и красные отступили в Нахичевань. Значит, Максимовичи живут в России, а Самарины — в Совдепии. Уральцы взяли Астрахань. Но это все неофициально, я что-то мало в это верю.

Погода хмурая, небо затянуто тучами, моросит мелкий дождик. Северная осень. Южной погоды мы и не видали.

Наши уже пьют чай, а я сижу и скучаю. У меня отчаянный насморк, я не спала почти всю ночь. Наутро долго не хотела вставать. Мамочка сердилась, потому что это бывает каждый день. Она говорит: «Ты обленилась, ты других задерживаешь». А я просто мечтала, и мне не хотелось бросать мою мечту. Как мне надоела вся эта история. Хоть бы уйти от нее куда-нибудь. Хотя бы в горы к зеленым. Хоть бы и у «чикалки» пожила. (Чикалки — местное название шакалов.) Сейчас у нас сидит брат Дмитрия Михайловича, из Тургеневского училища, и говорит, что у них один болен тифом. Из нашего вагона, где мы ехали от Майкопа, тоже несколько человек заболело тифом. Эпидемия сильная, Мамочка с братом Д.М. Николаем Михайловичем играют в «66», Папа-Коля раскладывает пасьянс «Наполеон» и плутует. Варится каша, примус шипит.

26 января (по нов. ст. 8 февраля. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Говорят, что Колчак ушел в отставку, что Деникин объявил войну Грузии, что было кубанское восстание. Зачем же жить после этого? Если первый слух верен, то это безобразие. Нечестно бросать Россию в такой критический момент. Я не хочу его уважать больше, если это так.

Но я не верю, чтобы Колчак был способен на это. Когда Врангель уходил со своей должности командующего Добровольческой армией, мы увидели, что дело очень плохо, а уж если Колчак уходит, то, значит, «прощай Россия». Во второй слух я тоже не верю, Деникин не мог сделать этого. На борьбу с большевиками силы не хватает, а тут какая-то Грузия! Это было бы безумие. Положительно, все люди с ума посходили. Что же касается третьего слуха, то я его вполне допускаю. Кубань (или просто — Кабан) вещь весьма ненадежная: изменит. Давно бы его надо было вздернуть на веревочку. Жить тяжело после этого. России нет, и уже не будет. Насчет Грузии я совсем не верю. Деникин еще остался честным. Но Колчак...

Боже, как жестоко я в нем разочаровалась! Бросил дело, когда увидел скорый конец, только чтобы вина не пала на его голову. Он изменил; кроме как изменой я это не могу назвать. Шкуро — чепуха, если допустил восстание в Кубанской армии, Май-Маевский пропил, Врангель тоже ушел, изменник, и теперь витает где-то во мраке, Мамонтов — разбойник, Юденич разбит, Кутепов разбит. Кто же остался еще из честных людей? Кто же спасет Россию?!?!?!?

Сегодня у нас много бед: гречанки взяли у нас ведро, лохань, ве-ник; лопнуло стекло на лампе, и испортился примус. Так что мы остались без чаю и без обеда. У нас ничего нет, кроме черного хлеба и всем опротивевшего сала. Обедать пойти нельзя, потому что мокро, и ветер без преувеличения сшибает с ног, да и поздно. Но до чего все это мелочно, только и ною об этом. Почему в нас нет патриотического чувства: каждый думает только о собственной шкуре!!! Возвращение в Харьков, мечты, свой угол, гимназия, Таня, Елшанка, стихи, политическая деятельность, все отплывает куда-то далеко-далеко. Осталась только темная неизвестность в таком страшном, в таком безобразном виде. Хочется плакать, громко, на весь мир; хочется кричать, дико, отчаянно; визжать, топтать ногами, валяться по полу, хочется требовать от себя нечеловеческих усилий, жертв, невыносимой физической боли; хочется бить себя кулаками, рвать волосы, ломать руки. А все ограничивается тупым отчаянием, нем-ным горем, не переживши которого, никто не поймет!

27 января (по нов. ст. 9 февраля. — И.Н.) 1920. Понедельник

Вчера, ложась спать, я загадала так: если я ничего не увижу во сне, то умру, оставив Россию в таком же положении, как сейчас; если увижу плохое, с Россией будет плохо; если хорошее, будет хорошо. И увидела во сне Деникина. Он говорил кому-то так: «Почему вы не отправляете Колчаку лошадей?» Ему отвечают: «Потому, что у нас их мало». «Неправда, у нас их слишком много!» Потом я пошла с Верой Кузнецовой гулять до сумерек. Подралась с мальчишкой и отколотила его. Потом поехала с Таней домой в «армянском вагоне», где было очень приятно ехать. Как понять этот сон? Во всяком случае, ничего плохого. Изобилие лошадей в армии, победа над мальчишкой; Вера и Таня, значит, Харьков. И, наконец, приятная поездка.

О религии. Абрамов говорит, что война грех. Если на него на-падет разбойник, он не будет защищаться и не спасет своих де-тей. А я другого мнения. Сейчас мы должны воевать и это не бу-дет грех. Мы должны идти против большевиков, хотя бы потому, что они уничтожают религию. Долг христианина защищать свое

отечество и свой храм до последней капли крови, это закон Христа. Было бы большим грехом, если бы мы сидели сложа руки и отдали бы наши святыни в руки большевикам и допустили бы над ними надругательства. Это был бы грех всего русского народа. Мы должны сражаться за веру.

Не могу писать, руки застыли, холодно. Сегодня мы ставили на галерею самовар, он обледенел, и вода в нем начала замерзать. Дуэт сумасшедший норд-ост. Папа-Коля вернулся с базара и говорил, что он, вероятно, никогда так не зяб, как сегодня. Вчера мы целый день ничего не ели. Только вечером добрые соседи дали тарелку вареной фасоли и сварили немного картофеля, а сегодня насытились хамсой. Дали нам самовар, дали жаровню, а угля нигде нет: еле раздобыли. С трудом удалось самовар поставить: примерз. Картошка, которая стояла на окне, примерзла. Мясо с трудом отодрали и отламывали от него кусочки льда. Сырые стены обледенели, на окнах висят льдинки. Туапсинцы все нас ругают: «Это беженцы из России погоду привезли». Во всем беженцы виноваты. Но у нас на севере никогда не бывает такой погоды, бывает мороз, но не ветер.

Вечер. День кончается, слава Богу, что-то принесет завтрашний день? Какие известия с фронта, и грузинской войны, и Колчака? «Всё Родине!» — вот мой лозунг, моя идея. Мой дневник не поддается тяжелым впечатлениям, верит в ее освобождение.

28 января (по нов. ст. 10 февраля. — И.Н.) 1920. Вторник

Ничего нового. Скука смертная. Ветер понемногу стихает. Холодно. Немножко даже есть хочется. Никаких известий. Ничего интересного, грустно и темно.

29 января (по нов. ст. 11 февраля. — И.Н.) 1920. Среда

Мне почему-то сейчас вспомнилась Ксения Пугачева, именно она, а не кто другой. Я бы очень хотела ее видеть и поближе с ней познакомиться, как с Таней. Она всегда была для нас загадочной натурой. Она тратила сумасшедшие деньги на ирисы и приносила в класс шоколад. Тогда я над этим не задумывалась много, но теперь это меня интересует. Загадочная натура! Лестное имя. Хотела бы я быть хоть для кого-нибудь загадочной. Она очень симпатичная, открытая, но загадочная. Я бы хотела поговорить откровенно, именно здесь, в Туапсе, в беженском положении.

Тучи развеялись. Норд-ост прекратился. Солнце палит. Теперь хорошо, но делать нечего. Скучно. Новых сведений никаких не получаем. Некоторые предполагают, что к апрелю будем в Харькове.

Как солнышко пригрело, так я и верить стала. Война с Грузией действительно началась; ну да черт с ней. Воюет черноморский фронт. Там теперь большевики. О Колчаке ни слова. Солнце, Солнце! Напекло же оно меня сегодня, так что у меня голова болит. Настоящее южное Солнце! Была бы здесь Наташа, давно бы тебе сложили гимн. Ты ведь ее Бог. А я бы тебе посоветовала показывать свои красоты постепенно, а то сразу не годится. Больно все отвыкли от тебя.

30 января (по нов. ст. 12 февраля. — И.Н.) 1920. Четверг

Плохо, плохо. Скоро нас грузины возьмут. Идут бои в двадцати верстах от Туапсе. Бежать некуда. На Кубань, что ли? Плохо. Грузины соединятся с большевиками, и тогда — конец. Пиневич говорит, что в апреле он, во всяком случае, надеется быть в Харькове. Этот довод меня успокоил несколько: все же он больше меня понимает. Но я не верю. Никогда не поверю. И нам еще суждено бежать, да еще пешочком, недаром Мамочка видела сон, что мы по каким-то пропастям идем. Сегодня ночью я долго не спала — у меня был сильный приступ насморка. И вспомнила один сон. Когда мне было девять лет, я еще ничего не знала о революции, даже этого слова не знала, и увидела ее. Сон был вещий: я шла по улице, и на каждом квартале стояли какие-то люди и резали прохожих. Отчаянная стрельба по городу, пули так и летали. Я пошла к Самариным (они живут на втором дворе). Прошла первый двор — резня и грабеж. Пошла во второй. В воротах немцы и еще кто-то в длинных колпаках. Во втором — резня еще больше и расстрелы. В третий двор я не вошла, а сейчас же бросилась на лестницу и побежала. За мной погнались из третьего двора, но как только я вошла в квартиру Самариных, отстали. Я смотрю — квартира мне незнакома, люди незнакомые. Я чувствую, что попала не туда, куда хотела. Вдруг навстречу мне выскакивает человек и стаскивает с меня шубу. И падают часы. Только теперь я поняла значение сна. В Харькове — три раза большевики, немцы, украинцы. От третьего раза я убежала. За мной далеко пошли большевики. Я думала ехать только в Ростов, а попала в Туапсе, где мне все чужды. Если придут зеленые, несомненно, они снимут шубу. Часы, наверное, означают определенное время. Вещий сон! Точно исполняется. Жаль только, что он оборвался на самом интересном месте, и я не увидела конца революции.

Много лет прошло, а я хорошо помню этот сон. Я начинаю верить в сны. Как бы я хотела увидеть этой ночью тоже вещий сон, только с окончанием. Не могу писать... голова болит... под ложечкой

колет. Трудно дышать... Тучи, тучи, грузины, зеленые, большевики — все спуталось, все перемешалось в голове. Кошмар какой-то. Мрак, мрак беспросветный. Могила... Если бы уснуть и никогда не просыпаться... Если бы смерть...

31 января (по нов. ст. 13 февраля. — И.Н.) 1920. Пятница

Неопределенная страсть. Именно страсть. Как будто жить хочется! Одно короткое мгновение длится эта страсть. Все чаще и чаще являются мне порывы, и только. Писать без перерыва, все, что схвачено мною на лету, все развивать в обширную тему, жить для искусства. Обманчивый взгляд. Ненужная, пустая жизнь. В настоящее время нужно не искусство — патриотизм. Поэзия — между прочим. В нашей беженской жизни нет поэзии, а создавать ее, да особенно в ожидании зеленых, невозможно, да и не нужно. Наша жизнь и без того пестра. Природа не поскупилась на яркие краски, нельзя пожаловаться на однообразие. Постоянная перемена, события обгоняют мысли, слухи — события. Быстро вертится колесо времени, быстро меняется жизнь. Но так можно рассуждать много лет спустя. Теперь же мы не видим ярких красок, одна тоска — неподдельная, безответная.

Зачем я так любила Колчака? Зачем, слыша о нем только отголоски, я так страстно, так безумно любила его? А он, хоть невольное, приносит мне такие страдания. Первая, несчастная любовь. Имею право теперь снимать мой браслет, потому что с ним была связана любовь. Может быть, я была несправедлива, обвинив его в измене, но это меня оттолкнуло от него. Да при том этот слух.

Картина из нашей жизни. Папа-Коля лежит на нарах и читает 1001 ночь. С<офья> Ст<епановна> и Мамоchка, сидя на нарах, штопают чулки. Д<митрий> М<ихайлович> чешет голову. Д.М.: «Чешется, проклятая». П<апа>-К<оля>: «Какой улов?» Д.М.: «Представьте себе, ни одного экземпляра». Бросает чесаться и принимается за чистку сапог. Молчание. М<ария> В<ладимировна>: «О, Господи, Коля, если пойдешь куда-нибудь, купи кофе». П.-К.: «Торговал сегодня — 50 рублей коробочек». М.В.: «На здоровье». Молчание длится довольно долго. Д.М. кончил сапоги. Д.М.: «Так-с». М.В.: «Но, Господи, мы сегодня сидим без чаю». Д.М.: «Но ведь мы только что пили?» М.В.: «Но на вечер керосину нет». С.С.: «Придется развести мангал». М.В.: «Он сломан». С.С.: «Митя, если Коля отдал свои сапоги в чинку, в чем он сидит?» Д.М.: «Босой. Пока что — до свиданья, я иду в Тургеневское». Уходит. Тишина. П.-К.: «Хлеба у нас нет». С.С.: «Жаль, что керосину нет, а то можно бы гренков поджарить, это вкуснее горького

хлеба». М.В.: «Коля, пока светло, почини примус». П.-К.: «Да что там, почему он вчера прекрасно горел...» Слезает с нар и развивчивает примус. М.В.: «Софья Степановна». С.С.: «Ну». М.В.: «Пойдемте к нижним грекам, может быть, Софик за 5 рублей даст нам “кошку”, утопленное ведро достать». С.С.: «Идемте...». Одеваются и уходят... Входят М.В. и С.С. М.В.: «Противно. Квартирант того дома ходит во фраке, словно на бал собрался». П.-К.: «Видно, у него, как и у меня, ничего нет, вот он и донашивает старое, а галифе ему тоже не дают делать». С.С.: «Он сказал, что ведро достанет брат этих Софик». М.В.: «Хоть бы Д.М. с ним по-турецки поговорил». П.-К. и С.С. возятся с примусом и рассуждают о нем. Зажгли его. П.-К.: «Эх, канитель-то, Господи!» Примус потух. П.-К.: «Ох, ты, батюшки!» Сердится, накачивает. С.С.: «Довольно, я боюсь, взорвется». П.-К.: «Пойду, что ли, за хлебом». М.В.: «Ничего нет ужаснее, чем надевать мокрые ботинки». С.С.: «Это убийственно». Жарит гренки. М.В.: «Так послушай моего совета». П.-К.: «Чего». М.В.: «Я испытываю физическую боль, говоря с тобой о сапогах». П.-К.: «Я себе куплю английские ботинки за 3 тысячи». М.В.: «И хватит их тебе на полторы недели». П.-К.: «Пиневи́ч говорит, что хорошие». М.В.: «Да врет он. Да таких дешевых ты и не найдешь». П.-К.: «Покупали». М.В.: «А ты не найдешь». П.-К.: «Почему, собственно, я не найду?» М.В.: «Одно плохо, чад от примуса». С.С.: «Это масло плохое». П.-К. одевается и уходит. С.С.: «Настойте на том, чтобы он купил себе сапоги». М.В. (со слезами): «Он говорит, что тогда ему надо галифе, своих брюк ему жаль. Как при нашем положении он может жалеть вещи! Из одного одеяла он хочет сделать брюки, а из другого обмотки. А уходит он всегда на риск — простудиться». В комнате чад ест глаза. М.В.: «Я вижу, у вас большие запасы хлеба?» С.С.: «Это что за плесневел. Я его срезала и зажарила». М.В.: «С плесенью? Спасибо!.. Я прямо гений. Софья Ст<епа>новна, посмотрите, какие я сегодня дыры заштопала, похвалите меня». С.С.: «Ого! действительно». Молчание. М.В.: «Вероятно, я на вас произвожу впечатление неприятное». С.С.: «Почему?» М.В.: «Изнервничалась, издергалась. Надоело все». Вздыхает.

1 (по нов. ст. 14. — И.Н.) февраля 1920. Суббота

Февраль. Почему-то люблю этот месяц. Масленица. Пост. В этом году Пасха очень ранняя. Завтра Масленица, и Пасху-то придется встречать черт знает где. Я решила говеть, где бы то ни было. Смотря по победам на фронте, в начале или в конце поста. Тяжело

встретить такие дни не дома. Мамошка говорит: «Какая теперь Пасха?» Да как какая! Будет большое душевное волнение в этот день. Несомненно, будет, какие бы ни были условия жизни.

Приеду в Харьков. Займусь политикой. Непременно завлеку в этот омут и Таню.

Грустно. Больше ничего не могу сказать. Грустно и скучно! Вот она и вся жизнь наша беженская. Сажу на парте, таскаю потихоньку из парты сырую вермишель и ем ее, гляжу в окно на серое облачное небо и ничего не думаю, ничего не переживаю, кроме тяжелого унижения незаслуженного наказания. За что, за что мы все это пережили, за что ведем такую собачью жизнь? За что это мы были... (Не дописано. — *И.Н.*)

2 (по нов. ст. 15. — И.Н.) февраля 1920. Воскресенье

Взяться что ли за дневник, так, от нечего делать помарать бумагу? Разноверные базарные слухи, некоторая паника — все это мне так надоело, что и думать об этом не хочется. Сейчас такая политика, что ничего не поймешь. Зеленые сами с собой ссорятся. Ждем в Туапсе прибытие двух мифических пароходов с войсками. Идут рассуждения — кто такие наступающие: зеленые ли, грузины ли; что они — грабят, убивают? Как относятся к нам, беженцам? У нас здесь есть один панический инженер, он говорит, что наши войска оставили Туапсе и что сегодня ночью надо ждать зеленых. По ночам слышна сильная канонада: днем ничего. Шныряют по городу автомобили, несколько паническое настроение. Панический инженер говорит, что это эвакуация. Да на то он и панический. Сейчас Папа-Коля читал газету и телеграмму, что-то к Колчаку, из чего я заключила, что он остался, что все это злые язычки про него наговорили, или он сам образумился. Я его люблю, люблю по-прежнему.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) февраля 1920. Понедельник

Вчера мы ждали зеленых. На печку и в трубу прятались тысячерублевые бумажки и золотые вещи. Тщательно пересматривались документы и торжественно рвались билеты кадетской партии и тому подобные. Все это делалось не спеша, с чувством, с толком. Шныряние по городу автомобилей, отдаленная стрельба, сдача оружия, беспокойные разговоры, все это сеет панику. Настроение несколько тревожное, несколько приподнятое, даже торжественное, как в ожидании какого-то великого события. Тургеневцы особенно поддались панике. Приходят, лица встревоженные.

«Господа, слышали? Через два часа придут зеленые, сражаются только два бронепоезда, войска разбежались». В городе явное беспокойство, офицеры пьяные, казаки говорят: «Конец войны». Все это ясно говорит, что город накануне падения. Ночью же, действительно, пришли так давно ожидаемые пароходы с войсками. Один пошел на Сочи, другой остался в Туапсе. Прибыл офицерский отряд в восемьсот человек. Явилась надежда. Все уже уверены, что зеленые не придут, все успокоились.

Новость: «нас выселяют». Приказано освободить все помещения, занятые беженцами, и нас выселяют куда-то в бараки. Вот тебе и прибывшие войска! Ну, это нам уже не ново.

4 (по нов. ст. 17. — И.Н.) февраля 1920. Вторник

Повеяло весной. Море было нежно-голубого цвета, спокойное-спокойное. В порту стоит большой пароход «Екатеринодар», подводная лодка. Военных пропасть.

5 (по нов. ст. 18. — И.Н.) февраля 1920. Среда

Моя жизнь, мой символ — «черный крест». Наконец-то я поняла, что такое жизнь. Я поняла только теперь, как надо жить. За короткий срок, с отъезда из Харькова я переменила мою жизнь, я вся переменилась. Долго, долго я думала над жизненным вопросом, страшным и решительным. Я себя не знала. Мне стоило колоссальных усилий вдуматься в свои мысли, заглянуть в свою душу и разобраться, что во мне — правда, что — ложь. О, как много оказалось лжи! Сколько фальши, лукавства, сколько неискренности. Глупая, пустая жизнь! Какой страшной, безумно трагичной показалась мне жизнь! И вдруг мне ночью пришло в голову, что мою Душу и даже всю мою жизнь можно зарисовать легко и просто в виде черного креста. Деникин сказал, что «нельзя братья грязными руками за святое дело», и совершенно прав. Я не могу жить «для родины», имея в душе такие большие недостатки. Нужна победа над собой, нужна борьба. Куда уж мне мстить большевикам, когда и над собой не могу одержать победы. Слабохарактерности, слякоти я жертва. Нужна борьба, непрерывная, тяжелая борьба! Неужели уже поздно, и моя искривленная душа не может бороться!? Неужели у меня не хватит мужества преодолеть себя и броситься в жизнь под черным крестом и звонким лозунгом: «Всё Родине!» Отдать для нее жизнь, хоть сколько-нибудь чистую, исправленную, принести ей в жертву черный крест. Вот моя идея.

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) февраля 1920. Четверг

Больше всего я люблю Россию. И полюбила ее только теперь, когда она, как маленький беззащитный ребенок, протягивала к нам руки и призывала нас спасти ее. Папа-Коля хочет, чтобы я жила для науки и для искусства, а я хочу жить для моей дорогой Родины. Когда я вырасту, я буду в силах работать для нее, я ей отдам все, что имею, все, чем живу. А пока я мала и слаба, я должна работать над собой. А жизнь такая тоска!

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) февраля 1920. Пятница

Как мне безгранично жаль Деникина! Сколько неудач, сколько ужасов ему приходится переживать! Как ему, должно быть, тяжело видеть умирающую Россию. Ему, который так искренно любит ее, который, жертвуя своей жизнью, взялся за великое, святое дело ее освобождения, которое так трагически кончилось. Да, кончилось и не воскреснет! Если это тяжело мне, мне, то каково ему? Мне его жаль до слёз. А кто виноват? Не он, только не он, а люди, его окружающие. А может быть, и не они. Не могу слышать, когда о нем плохо отзываются, когда обвиняют его в каких-нибудь ошибках. Шли бы ему на помощь, а не обвиняли бы его. Один в поле не воин. А кто же особенно много кричит об его ошибках? Беженцы. Да, я убедилась, что беженцы только и могут критиковать, а сами за дело не возьмутся. Например, когда ждали зеленых, только трепетали, удирать собирались, а кто записался в дружину? Никто. Вообще, в России остались люди, способные прятаться только за спины других. Осталась набольшая горсточка честных людей и только. Россия умерла, как умерли честность и патриотизм. А у Деникина еще хватило мужества остаться. Жаль мне его, невыносимо жаль. Россия умирает постепенно. Вот уж в Крым вошли большевики, и на Кавказ, и половина Сибири в их руках. Но еще не совсем померк огонек моей когда-то великой Родины. Как подумаешь о ней, плакать хочется, подумаешь о себе — тоже плачешь. В таких тяжелых условиях проходит жизнь. А тут еще распроклятая гимназия жить мешает. Ночью, во время бессонницы, особенно тяжело, воспоминания так и лезут в голову. Вспоминается милый Харьков, тихая, почти спокойная жизнь, милая, невозвратная. Что-то готовит нам жизнь, что-то будет в скором будущем? Хочется плакать, поделиться с кем-нибудь, но с людьми я не решусь, а дневнику не могу высказать всего того, что переживаю. Если бы ночью я могла писать, я бы много написала и

искренно. Ночью невыносимо грустно. Мечта истощилась, мысли такие страшные. Тяжелые.

9 (по нов. ст. 22. — И.Н.) февраля 1920. Воскресенье

Один только день не писала дневник, и уже скучно. Здесь, когда мне абсолютно нечего делать и даже не с кем поговорить, единственно, что мне остается делать — писать дневник. Мне просто нравится мараить бумагу. Хорошо передавать свои мысли я не могу, но хоть сравнительно. Завтра, вероятно, придется идти в гимназию. Сегодня Мамочка какая-то сердитая ходит. Куда уйти от безумной тоски, от этой жизни? Не могу писать — совсем темно.

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) февраля 1920. Понедельник

Вместе с первыми весенними днями, теплыми и ласковыми, прибыло радостное официальное известие о взятии Ростова. Уже больше месяца мы это слышим, и порой на меня находит сомнение, правда ли это. Теперь мы обходим большевиков, а большевики — нас, и все дело в том, кто кого скорее обойдет.

Сегодня мы ходили гулять далеко в горы, в такую часть города, о которой мы и не подозревали. Там было очень хорошо. С одной стороны возвышались горы, с другой виднелось море. На обратном пути... (Не дописано. — И.Н.)

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) февраля 1920. Вторник

В 12 часов дня началась стрельба. Наступают зеленые. Пишу, лежа на полу почти под партой. Идет бомбардировка невероятная почти у самого дома. Слышны и пушка, и пулемет, и мелкие выстрелы. К нам на галерею попала пуля, я взяла ее на память. Беспрерывная стрельба. Наша часть города уже занята зелеными. Картина незабываемая. Лежим все на полу, на тюфяке. Невероятный грохот орудий так и переливается в городе. Мы уже царство зеленых.

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) февраля 1920. Четверг

Зеленые! Та же картина. По улице Петра I, и вообще по городу, развеваются красные тряпки с надписью: «Смерть контрреволюции», «Да здравствуют советы» и т.д. Развешены приказы о регистрации офицеров, сдаче оружия. Развешены воззвания такого содержания, что вот, мол, народ, впервые вкусив свободу, «свергнул царский режим» и намеревается заняться свободным трудом, но «царские генералы захватили власть в свои руки, высасывают народную кровь», «гоняют на войну со своими же братьями, борются

за царизм», и вот горсточка многомиллионного русского крестьянства призывает всех на борьбу с Деникиным. Легкая победа над врагом ясно говорит нам о скорой ликвидации черных. Действительно, Туапсе сдали позорно, в два часа! Зеленые нас застали врасплох. Мы их не ждали. Наоборот, говорили, что они отогнаны от Сочи. Весь гарнизон сдался, а взяли, говорят, человек двести.

Опять кошмар, опять новый стиль и новая орфография. Сегодня на площади состоялся митинг, как на всех митингах — со лживыми речами. В городе производится масса арестов, особенно офицеров. Их ведут по улице со страшными издевательствами, полунагих, босых — к комиссару. Грабежей пока нет, Бог даст и не будет. По всему видно, что это власть организованная, а не банда. Но все эти красные флаги, митинги, аресты производят неприятное впечатление. Сегодня Мамочка стояла в очереди и, конечно, хлеба не получила. В пекарню набились зеленоармейцы и забирают все сами, как всегда нахально. Они говорят, что «от Доброармии остались только сапоги да брюки» (а по-моему, скорее этого нет), что «наши войска заняли Новороссийск и Армавир» и т.д. Зеленые идут на соглашение с Кубанью, Грузией, Азербайджаном и западными государствами. Значит, капут! Черноморье зеленеет, и вся Россия густо краснеет.

Но что будет с нами в скором будущем? В таком положении мы оставаться не можем. Я всем своим нутром чувствую, что скоро должен произойти переворот. Где, когда, в чем я уже не могу предсказать. Потом переворот решит не только нашу судьбу, но и судьбу всей России. Что-то будет?!

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) февраля 1920. Пятница

«И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка».

Пропала надежда. Конец. Как над больным раздались слова врача: безнадежен! — прозвучал жестокий приговор судьбы над Россией. Как тяжело, горько и обидно.

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) февраля 1920. Воскресенье

У панического инженера есть дочка, семилетняя Ася. Я теперь с ней занимаюсь, учу ее и читать и писать. Сегодня был уже второй урок. И сразу же я почувствовала, что это не так-то легко, как показалось сначала. Те буквы, которые я ей показала, она знает хорошо, но слить их в слога она не может. Мне стоит колоссальных усилий объяснить ей это. Да и то она не совсем поняла.

Погода сегодня великолепная. Солнце так и печет. Я гуляла

весь день в одном летнем пальто. Издали море совершенно не видно: оно настолько прозрачно, и спокойно, что сливается с небом. Совершенная тишина. Только откуда-то издали доносится однообразный колокольный звон. Так тихо, так хорошо, так далеко от всего тяжелого и страшного настоящего.

19 февраля (по нов. ст. 3 марта. — И.Н.) 1920. Среда

Сегодня занималась с Асей на улице около нашего дома. Недалеко от нас площадь. Там у зеленых был парад. До меня доносились крики, команды и тосты. Когда красное знамя мирно развевается над нашими головами, — говорил один, — тогда мы можем громко крикнуть: «Да здравствует Советская Республика!» Этот лозунг был подхвачен дружным «Ура». Оркестр играл Марсельезу. Затем войска отправились на фронт. Говорят, под Индюк. Но что творится на фронте, толком мы ничего не знаем. Газет нет, а слухи... Разве можно верить слухам? Один говорит одно, другой — другое. Я все время чего-то жду. Жду светлого переворота, от которого всем станет хорошо. Дома все по-прежнему. Такие же отношения у меня с Мамочкой и Папой-Колей, замкнутые и глухие. Как подумаешь об этом, так руки и отваливаются. Перерабатывать себя — нет сил, нет энергии. Каким-то погребальным звоном отзывается мое сердце на смелые и, может быть, хорошие мысли. Стихи писать я продолжаю. У меня есть два начатых стихотворения. В обоих говорится о смерти. Первое начинается словами:

Хвала тебе, о смерть всесильная,
С твоим сражающим мечом.
Хвала тебе, печаль могильная,
Над роковым моим концом...

Второе начинается:

Шальная ль пуля победит меня
(второй строчки еще нет)
Иль средь ликующего дня
Паду я жертвой жадного кумира?

Я еще начала одно, но там слишком много говорилось о могиле и о грешной юной девочке, которая в ней лежала, что я, боясь окончательно расстроить Мамочку, бросила его. Хотя ей меланхолия двух начатых стихов тоже не понравится. Я еще начала писать рассказ, основательный, продуманный, с описанием, повествованием и даже характеристикой (самое трудное) (название по некоторым соображениям не скажу) из современной жизни, из личных переживаний, где не будет ни слова лжи. Я его начала с поэтического описания вечера. Сама я с каждым днем становлюсь злее.

Мне даже иногда хочется стать Саенкой. Мне кажется, что и в его жестокости и злобе есть особая прелесть жизни. Эти мысли я считаю первым признаком сумасшествия. А что, я, в конце концов, сойду с ума, так в этом я совершенно не сомневаюсь. Моя жизнь должна кончиться трагически, потому что я буду стремиться сотворить «нечто новое», неслыханное. Мне нужна бешеная жизнь, жертвы, мучения — для достижения моей цели; и эта цель будет «нечто новое». Потому-то я и замуж никогда не выйду, что мне нужен великий человек, гений, в котором бы было то «нечто новое», о котором я так мечтаю. Но все это еще не есть проект моей жизни. Это, вернее, моя характеристика. А о том, как я намерена построить свою жизнь, я пока, по некоторым причинам, умолчу.

20 февраля (по нов. ст. 4 марта. — И.Н.) 1920. Четверг

Что произошло за сегодняшний день? С утра я ходила к соседке-зубодерке лечить зуб. Там была очень долго и наслушалась всевозможных панических слухов. Говорят о предстоящем голоде. Картофель уже 40 р<ублей> фунт. Придя от зубодерки, я принялась за чтение Оливера Твиста. Потом с Папой-Колей ходила за обедом, тут недалеко, на горке. С удовольствием съела я сегодня мясную котлету! Давно не ела! Самочувствие у меня какое-то скверное: беспросветная, гнетущая тоска напала. Папа-Коля тоже прихворнул: я думаю, что тоже тоска. После обеда помчалась в библиотеку. Пришла, села за дневник, и уже темно. Хочется лечь спать. Как ляжешь, укутаешься, натянешь одеяло, так чтоб лица не было видно, и мечтаешь. И как далеко уносишься из этого душного класса, на вольной простор, на родину, в Россию.

21 февраля (по нов. ст. 5 марта. — И.Н.) 1920. Пятница

Из наших соседей есть один, Иван Трофимович Зубков — самый симпатичный из всех, вернее, единственный. Он все время ухаживал за сыпнотифозными (а у нас в училище уже седьмой случай), у него недавно поправилась жена. Ухаживая за больными, он сам был болен дизентерией, сам готовил себе обед. В конце концов сам заболел тифом. Его отвезли в бараки. Сегодня утром он умер. Жестокая игра судьбы! Бежать от большевиков, чтобы спасти свою жизнь, и умереть вдали от родины, в каком-то Туапсе! Конечно, для него это и лучше, прекратить сейчас свои страдания. Но жена... Как она плачет! Как ей, должно быть, тяжело! Почему умирают только хорошие люди! Видно, им не место на земле, где скоро останутся только мошенники и негодяи. Сейчас Мамочка и Софья Степановна плетут ему венки на гроб из лавра и хвои.

22 февраля (по нов. ст. 6 марта. — И.Н.) 1920. Суббота

Сейчас все наши на похоронах Ивана Трофимовича. Дома только я да Николай Михайлович. Я пошла на улицу с книгой Вальтера Скотта. Но читать я не могла, все смотрела, как по морю барашки бегают, как облака бросают тень на горы, как красивы темные кипарисы на ярко-синем небе. Потом мое внимание привлекла Баба-Яга, которую я замечала и раньше. Это старая-престарая гречанка, ростом ниже меня, худые ноги, необыкновенно сильно изогнутые; ступни направлены в середину. Ходит, приседая; с большими голыми руками, кривое туловище. Одета в лохмотья, длинные костлявые руки, злые глаза с длинными ресницами, седые косматые брови, длинный горбатый нос, сильно загнутый книзу; черные клыки торчат изо рта, желтая морщинистая кожа и короткие седые космы выбиваются из-под черного платка. На ней короткая, до колен, юбка, а на плече большой массивный кувшин, который она держит своими волосатыми, необыкновенно длинными руками. Что может Природа сотворить безобразнее этого существа!? Ничего не может, не может быть более подходящего, чем она, для большого портрета Бабы-Яги. Если бы я была художником, я из тридесятых земель приехала бы сюда, чтобы зарисовать ее. Это великолепная картина для Третьяковской галереи. Это находка, которую необходимо использовать.

23 февраля (по нов. ст. 7 марта. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Я поражаюсь хладнокровию Дмитрия Михайловича. Типичный южный человек. Он никогда не сердится, никогда не горячится, если и спорит, то медленно, ровным голосом. Совершенно не то, что его брат Николай Михайлович. Холостяк, нет 35-ти, еще думает о женитьбе, вечно жалуется на свои всевозможные болезни, вечно ноет, вечно спорит, горячится и т.д. Скучен и однообразен. Сегодня мы ходили гулять по Новороссийскому шоссе. Дорога очень живописна. Шоссе идет над крутым обрывом и извивается, как змея. А вокруг все горы, горы и широкое, просторное нежно-голубое море. И тепло-тепло. А в Харькове сейчас еще снег, ходят в шубах, в домах мерзнут.

24 февраля (по нов. ст. 8 марта. — И.Н.) 1920. Понедельник

Сегодня я буду записывать все то, что произошло, что я передумала за сегодняшний день, чтобы впоследствии я могла ясно восстановить в своей памяти тяжелые дни в Туапсе. Сегодня Мамочка первый раз пошла на «зеленую» службу. С утра я пошла к

зубодерке. Ждать у нее пришлось часа два. И чего только не наслышалась я за эти два часа в приятном обществе женского пола! Продержала меня зубодерка не больше двух минут и отпустила до понедельника с временной пломбой. Может быть, это излишняя подробность, но она мне пригодится (а то я, чего доброго, через неделю забуду явиться пред ее ясные очи). Придя домой, я никого не застала дома. Только Софья Степановна и Николай Михайлович на дворе выбивали одеяла. Они скоро едут в Сочи, и мне как-то странно, что мы будем опять одни, настолько мы привыкли к их присутствию и миримся со всевозможными неудобствами. Пришила, прибила ремень на деревянных сандалиях, зачинила чулок и села за дневник. Пришли Дмитрий Михайлович и Папа-Коля и принесли каждый слухи, совершенно противоположные, об английском миноносце, который вчера заходил в порт и вел переговоры с зелеными. Кому верить? Сообщили еще «ниточные» слухи. Потом я пошла гулять. Потом с Николаем Михайловичем пошли за обедом. После обеда пошли гулять к морю. Вот и все.

25 февраля (по нов. ст. 9 марта. — И.Н.) 1920. Вторник

Сегодня день тяжелых переживаний. Часов в одиннадцать началась бомбардировка города. Бомбардировал русский крейсер. Для какой цели — неизвестно. Как назло, Мамочка была на службе, и я страшно волновалась. Мы сидели в подвале. Бомбардировка продолжалась недолго, но чего только ни переживешь в этот короткий срок. В каких только условиях мы ни бывали: под обстрелом, и так, и этак, а теперь и в погребах насиделись. Я видала, как падали снаряды еще в начале стрельбы, вдруг раздался оглушительный гром вслед за залпом, и недалеко от нашего дома поднялся огромный столб дыма.

К нам на галерею поселили беженцев, греков, грязных, вшивых. Теперь мы должны ходить через другой ход, и для этого у нас в комнате надо делать перестановку. А это очень неприятно, потому что парты громоздкие и тяжелые. Поэтому все ходят сердитые, недовольные — и новым соседством, и бомбардировкой, и перестановкой. Видно, на долю беженцев выпало много несчастий.

26 февраля (по нов. ст. 10 марта. — И.Н.) 1920. Среда

Тоска по родине. Безумная тоска. Быть может, если бы я была на Кавказе в другое время, я бы его полюбила. Но теперь я его считаю причиной всех наших страданий, как будто он вырвал меня из России. Хочется в Россию. Хотя Туапсе и принадлежит (или при-

надлежал) ей, но в нем нет ничего русского. Идешь по улице и русской речи не слышишь, не видишь русского человека, все греки да армяне, даже хлеб и тот мешают с кукурузой. Картошки, русской картошки и той нет.

28 февраля (по нов. ст. 12 марта. — И.Н.) 1920. Пятница

Какая глупая и злая игра судьбы! Какая пустая жизнь! Я ненавижу мир, ненавижу людей. Я уже ничего не жду, ничего не хочу. Поднимается тупое ожесточение против всех и каждого. Никого не жаль, напротив, все должны переживать теперь такие минуты. А на душе так тяжело, безотрадно, и нет просвета, и нет надежды. И так это тяжело, и нет сил для борьбы, остается одно — покориться судьбе и ждать. Кого, чего? Неужели когда-нибудь придет избавление, и кончится эта мучительная жизнь? И такое безразличие, такое равнодушие к жизни. Так хочется смерти, а порой жизнь заигрывает. А жизнь уже умерла. Это не жизнь — при таких условиях. Проклятие этому тяжелому времени, которое столько жизней погубило — и в настоящем и в будущем! Складываю руки и покоряюсь судьбе, как обреченная на казнь. Царапая эти бессвязные строки, я сама разливаюсь в три ручья. Я не могу передать все то, что переживаю. Сегодня на паруснике уехали в Батум инженерша с Асей, Богданов, Рождественский. Счастливые, счастливые! Бесконечно счастливые. Единственно, что я еще хочу, это вырваться из этого проклятого Туапсе... О, это тяжелые дни в моей жизни. Кончатся ли они?

Сижу я здесь, в этой комнате, вижу вокруг себя незнакомые, чужие лица, чужие вещи, странную чужую обстановку. И кажется мне, я лежу в бреду на милой Чайковской в своей милой комнатке. И вот-вот очнусь от этого кошмара и опять увижу то, что я так люблю.

Или кажется мне, что завтра я проснусь далеко от этого Туапсе, на родимых берегах матушки Волги, и вместо этих чуждых кавказских гор меня будут манить Жигули, бледное северное небо, липа да береза. И я буду любоваться этим, и никто мне не будет мешать. Привет тебе, мой милый окровавленный север! Волга налилась кровью, широкие луга усеяны трупами революции.

29 февраля (по нов. ст. 13 марта. — И.Н.) 1920. Суббота

Залп. Все вздрогнули. На улице моментально произошла паника. Зубодерка в халате, чуть ли не с пинцетом в руке, бросила своих пациентов и мчится в подвал. Дети, как по звонку, выскакивают из школы и бегут домой. Все растерялись. В голове мелькает

одна мысль: куда деваться? Все высыпают на улицу, взоры всех обращены на море. Горизонт совершенно ровен, крейсера не видно. Недалеко от нас стоит пушка, вокруг нее солдаты. «В чем дело?» «Вероятно, орудие пробуют», — успокаивают некоторые. На улице волнение. Папа-Коля прибежал из Тургеневского, Мамочка — со службы. Раздался второй залп, и где-то далеко на море разорвался снаряд. «Ого, — говорили панические, — это ответный залп, будет стрельба». Однако больше залпов не было, и все успокоились. Как все напуганы бомбардировкой. Недавно был случай: на горизонте — черное пятнышко, произошла невероятная паника, так же дети побросали школу, закрывались лавки, народ бежал по уликам и кричал: «Крейсер, крейсер, стрелять будет!» Оказалось, что на море была маленькая рыбацья лодочка.

Сегодня Папа-Коля на улице встретил одного господина с очень знакомым лицом. «Вы не из Харькова?» — спрашивает он его. «Нет, я из Петрограда, и по профессии беженец, уже второй год!» Широкая профессия!

1 (по нов. ст. 14. — И.Н.) марта 1920. Воскресенье

Стук в дверь. «Войдите». Входит Полина Андреевна Зубкова, сестра милосердия в тифозном бараке. «Сделала все, что могла, но сомневаюсь, чтобы Абрамов дожил до вечера». Как ножом резануло меня это известие. «Как, Николай Николаевич умирает?» «Температура у него 35, сердце почти не бьется. Он и Никольский живут только на камфаре. Сейчас ему будут вспрыскивать какое-то последнее средство. Сегодня ночью вопрос разрешится. Только б он поправился! Может быть, камфара и физиологический раствор еще помогут. Но беда, что камфары хватит только до утра».

Я себя чувствую очень плохо: слабость, холодно, третий день сильно болит голова и плакать хочется. Так начинается тиф. Это бы еще ничего, но ведь волосы обрежут! На кого я тогда буду похожа!?

2 (по нов. ст. 15. — И.Н.) марта 1920. Понедельник

«Человек плачет». Это говорит сосед-грек, когда мы его спросили, что за отчаянный рев на галерее. Там на перинах торчит голова этого самого «человека». Из носа у него течет, руки грязные, плачет он ртом, на глазах ни слезинки, лицо совершенно спокойное. «Человеку» года два. Целыми днями он сидит на этой самой перине и целыми днями плачет, так уже, просто от нечего делать. Надоел нам этот «человек», он и ночью ревет. Вообще, соседи довольно неприятные. Под нашими окнами они разводят костер, варят обед, и дым, когда окно открыто, валит к нам в комнату.

С галереи постоянно слышатся слишком громкие разговоры на греческом языке, а так как мы его не знаем, то нам кажется, что они все время ругаются.

Другие наши соседи, валуйцы, очень тихие, но между ними есть один, я даже имя его не знаю, очень свирепый, которого остальные ужасно боятся. У них всегда бывает тихо, за исключением возгласов этого свирепого господина. Зато о нас составила хорошая слава: «Кноррингов ничего не берет, — говорят они, — у них всегда весело». И действительно, каждый день у нас заканчивается анекдотами. С каждого полагается по три анекдота: один еврейский, один армянский и один нейтральный. Лучше всех рассказывает Дмитрий Михайлович, что свойственно его южному хладнокровию. Вообще, у нас почти всегда весело, и соседи любят у нас бывать.

Папа-Коля говорит мне: «Не унывай, легче переноси это время. Вообрази, что мы в ссылке, и в конце концов все-таки вернемся домой». О, нет, даже ссылки не бывают в таких условиях, как мы. Они знают, когда обретут свободу и смогут вернуться, а мы, хотя и живем в «свободной» республике, но даже не можем вернуться на родину, и неизвестно, когда представится эта возможность. Ссылки знают, что творится на свете, а мы абсолютно ничего не знаем. Они могут писать в Россию, мы не можем. Наконец, они знают свою вину, а мы не знаем. Папа-Коля и Мамочка стали курить. Мамочка курит исключительно тоненькие папироски (от которых она себя плохо чувствует), а Папа-Коля купил себе табак, очистил для него металлическую мыльницу, купил папиросной бумаги, мундштук и зажигалку и стал настоящим курякой, хотя папиросы крутит плохо. Все мечтает, как в Харькове придет к какому-нибудь знакомому и торжественно станет курить. Какой это произведет эффект! При мысли о приезде в Харьков на душе становится легче. Единственно, что я еще хочу, — это вернуться в Харьков и там окончить гимназию!

Абрамов умер. А его несчастная семья еще и не знает об этом, она в России. Сам он петроградец, а умер в каком-то Туапсе. Нет, я б не хотела здесь умереть.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) марта 1920. Вторник

Как иногда самые ничтожные пустяки могут на весь день испортить настроение. Сегодня, под утро, в полудремоте я видела сон, как будто Мамочка с Папой-Колей собираются отсюда уезжать. Потом я слышу голос Папы-Коли: «Ну, я иду покупать билеты». Я так и вскочила. Значит, это не сон, мы правда уезжаем!

Оказалось, что не билеты, а галеты (так как хлеба иногда нет, то приходится покупать эти несчастные галеты). Ну, не обидно? Разозленная, раздосадованная, я легла опять. Вдруг по стене стал спускаться паучонок, такой маленький-маленький и так противно шевелил своими щупальцами. Я дунула на него. Он повис на тоненькой паутинке и закачался. И мне показалось, что он сейчас должен упасть, и прямо на меня. С криком: «Паук на меня падает!» — я вскочила, да так стремительно, что у меня в висках застучало. Софья Степановна и Мамочка засмеялись. Это меня еще больше разозлило: что тут смешного? Я решила, что нужно вставать. Но вдруг мне в голову пришло, что я это делаю из боязни, что на меня паучонок спустится. Какое малодушие! Я опять легла, закуталась и надулась. А лежать пришлось только на левом боку, чтобы не терять из виду паучка, а то он, чего доброго, спустится. А как назло так хотелось лечь на правый бок, на левом не думается! Наши уже напились кофе, Мамочка собирается уходить. До каких же пор я буду лежать. А паучок, как нарочно, засел на своей паутинке и ни с места, даже щупальца поджал. Ишь, чертеночек, все дожидается удобного случая и непременно спустится. Нехотя стала одеваться. Туфли со скамейки упали на пол. Зачем они упали? Полезла за ними и сильно сбила простыню, пришлось ее снова стелить. Все 43 несчастья! Встала, села за стол. На столе кофе и галеты! Я была на них страшно сердита за то, что Папа-Коля купил их, а не билеты, и решила их не есть назло! Но так как хлеба не было, пришлось довольствоваться ими. Напилась. Надо кружку вымыть. Зачем это ее непременно мыть? Вот не хочу и не буду. Села читать. Никак не могу найти того места, где остановилась. Разозлилась, швырнула книгу и села за дневник. Где моя ручка! Нет ручки. Искала, искала, нет ее. Смотрю, а она лежит под партой. Полезла, достала и пишу, изливаю всю свою злость. Дневник, мой милый, единственный друг! Как мне теперь было бы тяжело без него, настолько я привыкла заносить все мелочи своей жизни. Но тяжело, что я в нем не все пишу, далеко не все.

У меня горе, страшное, ужасное горе, как будто умерла частица моей души, самая чистая и самая светлая. Сколько слез я пролила сегодня, все глубже и глубже вникая в его страшную истину. Писать о нем я не могу, на это у меня есть ужасная причина. Будет время, когда все страницы этого дневника будут посвящены моему горю, когда я заговорю о нем открыто, но теперь... нельзя. Даже мне, вольной птице, и то нельзя! Никольский безнадежен. Еще новая смерть.

Новороссийск занят красными (теперь зеленые красными ста-

ли), Добровольческая армия разбита в пух и прах, и скоро мы можем вернуться домой, когда по всей России будет единая Совдепия. Деникин уехал в Англию. Колчак расстрелян.

Сейчас я стояла в огромной очереди (в надежде получения кусочка хлеба) и встретила там свою подругу по приготовительному классу. Она живет и Варваринском училище. Зовут ее Аня Гаген-Торн. Мы с ней не встречались с первого класса. Но она уже слишком барышня для меня. Я еще девочка, а она совсем взрослая, как Леля Хворостанская...

Смерть спустилась к беженцам. Делается страшно при ее дыхании. Впервые я так близко вижу смерть. Сегодня похоронили Абрамова, завтра Никольского, он умер сегодня днем.

4 (по нов. ст. 17. — И.Н.) марта 1920. Среда

Они умерли. Были люди, и нет их. Умерли на чужбине, вдали от родины в тифозном бараке. Нет даже близких людей, которые бы совершили над ними последний долг. Но нашлись добрые люди, товарищи по несчастью, которые проводили их до места их вечного упокоения, похоронили и сделали это искренно и тепло. Над могилой Зубкова Никольский говорил речь хорошо, очень задушевно, как будто над своей могилой. А сейчас он в бараке немых, не одетый валяется под лестницей.

Мы сидели в потемках. Мапочка лежала на нарах, а я сидела на парте, и в моих руках лежала ее рука. Она вполголоса напевала что-то грустное-грустное. Я плакала. Я думала о своем горе. И мне было горько, обидно, что самый близкий мне человек, моя мать, не узнает об этом, не узнает, никогда не узнает. Каждый человек — это отдельный мир, в который никто не может войти, и никто не поймет. Что я переживаю в этот миг, можно сказать только взглядом, а люди еще не научились понимать их. Я думала о том, что с прошлым у меня все порвано, что все, чем я жила, что наполняло мою жизнь, все мои мечты, надежды, планы, все стремления, желания, все идеалы умерли. Все, что было создано трудами немногих лет, но думами многих бессонных ночей; когда я решала трудный жизненный вопрос — чему посвятить свою жизнь, как жить и для кого; когда я создавала прочный фундамент для своей, быть может, впоследствии хорошей жизни, — он разрушен. Да, разрушен. Я нашла в нем много тяжелых ошибок, которых раньше не замечала, да которых раньше и не было. Обстоятельства переменялись, и мне пришлось самой рушить все, разорвать клятвы и отвернуться от прошлого. А создавать сейчас основу новой жизни уже нет сил, нет энергии... И я плакала, а в душе закипала ненависть,

жгучая боль и так жаждала вырваться на волю и разразиться бурным потоком. И мне делалось тоскливо от моего бессилья. А в мозгу сверлила одна мысль: «Все порвано, все погублено...», а Мамочка все напевала грустные мотивы.

5 (по нов. ст. 18. — И.Н.) марта 1920. Четверг

Сцена из нашей жизни. Мамочка сидит на нарах, Ник<олай> Мих<айлович> — на постели. За стеной шум. Молчание. М.В. пересыпает фасоль в корзину и тихонько напевает. Входит С<офья> С<тепановна>: «О Господи, какая здесь духота, оттого у меня и голова болит». М.В.: «Может быть, выйдем, откроем окно?» Н.М.: «Просто открыть окно». С.С.: «Первым делом по приезде в Сочи я куплю себе зонт, а то все меня станут пугаться». М.В.: «Получу жалованье, куплю зонт, потрачу за него тысячи три». С.С.: «Да уж не меньше. У меня дома был прекрасный зонт и стоил он 12 рублей». М.В.: «А у меня был красный зонт». С.С.: «А мой зонт украли». Н.М.: «А у меня во всю мою жизнь украли только брюки и палку». М.В.: «Я летом никогда не носила шляп. (Входит П<апа>-К<оля>) Ну?» П.-К.: «Ах, я пить хочу, а главное, что-то я есть хочу».

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) марта 1920. Пятница

Я сидела на молу, на самом солнцепеке и думала. Я думала о Харькове. Вот приедем мы туда. А дальше? Квартиры у нас нет, вещи расхищены, с гимназией у Папы-Коли все порвано, и нам в Харькове нет больше места. Мы должны оттуда уехать. Единственно, что меня связывает с ним, — это гимназия и Таня. Потом, вообще, мне очень жаль покидать Харьков, с которым я так сроднилась. Но не останемся же из-за этого. Папа-Коля хочет ехать или в Москву, или в Самару. Но и это мне не нравится. Лучше мне хочется остаться на «чуждой» Украине. В Самаре нас привлекала Елшанка, а теперь и той нет. Нет, лучше бы остаться на четыре года, пока я кончу гимназию. Какие-нибудь четыре года, и я была бы счастлива. Что стоило революции начаться четырьмя годами позже! Но это несбыточные мечты. Судьба повелевает бросить и Харьков, и гимназию, и Таню. С прошлым все порвано. Старая жизнь умерла, начинается новая, неведомая и страшная. Старое умирает, с ним рушится все то, что они (отцы. — И.Н.) создавали во всю свою жизнь. Юные силы, спешите на смену отцам, ловите их заветы, исполняйте их клятвы! Я первая поддержу дело отцов. Пусть они спокойно отойдут в другой мир с сознанием, что придут юные силы, сильные и твердые, и заменят их. Будет время, и заменят! И мне судьба готовит все эти страдания, быть может,

с целью испытания, или чтобы я отказалась от личного счастья для святого дела. Но время не дает ныне благополучно вырасти. И такая тоска, такая тоска... Это не жизнь, в таких условиях. Хочется покончить с собой. Это я себя только подбадриваю такими словами, а думаю я по-другому. Я думаю о первой странице сегодняшнего дня. Грустно жить. Тяжело жить.

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) марта 1920. Суббота

Я сижу, а вокруг меня цветы, на голове у меня полуvenок из красных и желтых тюльпанов; и в консервной банке, и в единственном блюдечке — везде цветы. Пахнет весной. Давидовы хотели сегодня ехать, но пароход не пошел, потому что дует «Моряк». Я уже видала, как волны перекатываются через волнорез. Если завтра тоже будет волнение, иду на мол и буду любоваться. Вчера я ложилась спать и сегодня встала в самом р... (Запись обрывается. — И.Н.)

8 (по нов. ст. 21. — И.Н.) марта 1920. Воскресенье

На море шторм. Встала в самом отвратительном расположении духа. С утра была масса неприятных мелочей. Все раздражало меня. Потом пошла на море. Буря была сильнее, чем в первые дни нашего приезда. Меня тянуло на море. Я рвалась на бурю. Мы с Папой-Колей пошли на мол. В порту была мертвая зыбь. Парусники, даже «Нахимов», самый большой и то — то одним, то другим бортом, лежал на воде. Пошли на берег, в открытое море, за Туапсинку. Дерзнули подойти близко к морю и вернулись с промоченными ногами, так захлестнула волна. Но как там было хорошо, там, на море. Я из дома ушла от тоски, ушла на бурю! На душе у меня скверно, и думы, думы одолели. Такие страшные, такие мучительные думы, в душе накапливает какое-то непонятное чувство, какая-то ненависть, страсть, поэтому я и люблю бурю.

И бури немощному вою
С какой-то радостью внимал.

9 (по нов. ст. 22. — И.Н.) марта 1920. Понедельник

Я еще лежала в постели и уже слышала шипенье примуса. Интересно, что это — кофе кипит или жарят блинчики? Оказалось, что блинчики. Я еще не открыла глаза, лежу и молчу. Мамочка спрашивает, который час. Дмитрий Михайлович отвечает, что пять минут девятого. Мамочка заговорила о блинчиках. Я с закрытыми глазами, не проснувшись, протягиваю руку из одеяла: «дай». Ем блинчик и просыпаюсь. Все сидят за столом. День пасмурный, моросит мелкий дождик, ветра не слышно. Какие планы

на сегодняшний день? Гулять не пойду — дождь, дома — еще хуже. Мамочка и Папа-Коля уходят на службу. (Папа-Коля служит в гимназии помощником классного наставника.) Я медленно одеваюсь и сажусь за стол. Стоит чай (так как сахару нет, то вскипятили чай, а не кофе). На тарелке хлеб, блинчики и сало. Нет уж, спасибо, надоело оно мне достаточно. К чаю стоит коробка с рахат-лукумом. Это приятно. Напилась, наелась и села за дневник. И опять дума, но не страшная, не мучительная, а радушная. Я думала о Харькове. И мне сделалось очень весело. На улице мы там, во всяком случае, не останемся. Но уедем из Туапсе. Никогда я еще не испытывала такой радости при мысли об отъезде. Туапсе такая дыра, которую трудно найти, это край света. Беженцы бежали, бежали и добежали — до Туапсе, до «точки замерзания». И дальше бежать некуда. Противный город. От всех домов и улиц веет такой тоской, во всех фигурах не только людей, но и собак — такая лень! И кажется, что все эти сытые физиономии греков и армян говорят с иронической усмешкой: «пэзенцы, пэзенцы!» По вечерам греки перед своими лавчонками жарят на мангале орехи, курят сигарку и лениво мешают их деревянной дощечкой. Мальчишки, чистильщики сапог, лениво развалившись на скамьях, вскрикивают: «Чистить, как зер-килоо!» Туапсинцы, почти все, ходят в деревянных сандалиях. На каждом шагу встречаются маленькие деревянные лавочки и целые ряды чистильщиков сапог. Народ вообще добродушный. Дома большей частью некрасивые, неуютные. Есть и городской сад, где-то под небесами. Там много интересных растений, которых на севере нет. Оттуда прекрасный вид. Городишко вообще очень маленький и разбросан. Такие закоулочки, переулочки, трудно что-либо найти. Улицы узкие, пыльные. Рядом роскошная, покрытая зеленью гора. Есть кинематограф, театр, цирк. Церковь только одна, и та удивительно маленькая и бедная. Мне искренно жаль всех туапсинцев: у них впереди нет никакой радужной перспективы, они навсегда обречены жить в этом скучном Туапсе. И не ропщут, даже довольны. Но для меня жизнь в Туапсе только тощища. Целый день я сижу на этом самом месте, на моей постели, которая тоже где-то под небесами, на парте и смотрю в окно на зубодеркин двор. Изучила его до мельчайших деталей. Знаю, сколько у нее кур, сколько они яиц несут, знаю, когда зубодеркин мальчик ходит в гимназию, когда приходит, сколько раз зубодерка выходит ругаться с нашими соседями-греками, когда те грязнят ее двор, сколько раз ее муж ходит в сарай за вяленой кефалью; даже, сколько там кефали вялится, все знаю! Через другое окно видно окно ее кабинета, так что я знаю, сколько пациентов перебивало у нее за сегодняшний день,

кому она пломбировала, кому сверлила. Но, увы, кроме этого ничего не вижу и ничего не слышу, кроме рева «человека». В соседней комнате обмениваются слухами; пойду, послушаю и я. Завтрашний день принесет большие события.

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) марта 1920. Вторник

Нет, жизнь — мученье. Мы попали в такую политическую тряску, в самый круговорот политических событий. Добрармия отступает в Грузию и, может быть, на несколько дней возьмет Туапсе. Опять будут бомбардировки. Тяжело. Ухожу от тоски, сначала на базар, потом на самоубийство.

Я одна. Давидовы уехали. А Мамочка с Папой-Колей пошли в Варваринское. Я одна и довольна этим: я люблю одиночество. Но со мной еще мои заклятые враги — мои думы. Мучают они меня, последние силы высасывают! Только теперь я поняла, что жизнь не так легка и приятна. Я не ропщу, я даже довольна своей судьбой, именно тем, что живу в такое время, когда жизнь так изменчива, когда так быстро меняются события и столько нового, но и тяжелого. Ничего. От судьбы не уйдешь. А плакать хочется. Кажется, что у меня навсегда утеряны все улыбки, я вечно буду плакать. Если бы я сейчас была на молу, я бы непременно утопилась. Но туда надо дойти, а тут столько соблазнов жизни. Не решусь.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) марта 1920. Среда

Большевики оставили Туапсе, а добровольцы не вошли. Всюду болтаются белые флаги. Все говорят шепотом, все ждут. Настроение приподнятое, нервы напряжены донельзя. Сегодня всю ночь куда-то увозились обозы с продуктами и всякими товарами. Составилось самое плохое положение, которое только можно себе представить. Власти нет, значит, скоро должны начаться грабежи. Кого нам ждать, откуда и надолго ли придет сюда новая власть? Мы даже не знаем, откуда идут добровольцы и куда ушли большевики. Быть может, они скоро вернутся, если белые нашли себе дорогу в Грузию, не заходя в Туапсе. Я сильно волнуюсь и с нетерпением жду, чем кончится эта история. Казачья разведка приехала. Бегу. Вошли казаки.

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) марта 1920. Пятница

Нет, я так больше не могу! Буду писать открыто. Уж если большевики придут, лучше уничтожу весь дневник. При них я боялась писать открыто. Да, боялась, потому что при обысках они пересматривают все книги и могут придраться, тем более увидев мое

сочувствие Добрармии. Теперь дело иное. Все мои мечты и планы — встреча с добровольцами. Теперь нет ни добровольцев, ни казаков, есть южно-русская армия. В ее руках только Туапсе и Новороссийск. Они завоюют всю Черноморскую губернию и отсюда поведут наступление на север. В армии нет никого мобилизованного, все пошло добровольно. В Туапсе тянутся бесконечные обозы из Кубани и Дона. Идут казаки со своими семьями и со всем своим скарбом. Двинулись даже те области, которые раньше сочувствовали большевикам. Сначала на Черноморье двинулась небольшая горсточка, но потом, когда к ним пришли большевики и стали сжигать их станицы, двинулась целая область. Тянутся, тянутся, третий день тянутся обозы и отряды по Михайловскому шоссе. Шкуро с Индюка пошел на Сочи, а красно-зеленые пошли к Новороссийску, а там сосредоточены лучшие добровольческие части. Пока красные засели в Карговском ауле, недалеко от Туапсе. Части все прибывают и прибывают, преимущественно кавалерия. Милые добровольцы. Их встретили довольно холодно, так как думали, что они на три дня. А по шоссе все идут да идут. Где только они разместятся, вот в чем вопрос. Наступая, добровольцы не знали, что здесь большевики, думали — зеленые. Этот переход и для нас прошел очень незаметно. Мы об этом узнали только тогда, когда на вокзале вместо красного флага с зеленым крестом появился просто красный со всякими федеративными республиками. А зеленые, взяв Туапсе, решили, что прекратили гражданскую войну, и ушли в горы, власть перешла к большевикам.

***15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) марта 1920. Воскресенье.
4 часа утра.***

Мне вспомнился вчерашний вечер: темное-темное море, освещенный миноносец, шлюпка, толпа на берегу, промелькнувшая мимо меня фигура Улагая, простодушный рассказ матроса о взятии Новороссийска, опровержение его, рассуждения, шум моря, шум толпы, ярко освещенная улица, сильные впечатления, нервная дрожь — вот все, что я помню. Сейчас утро. Все еще спят, приоткрыла ставню и пишу. На дворе уже светло, только на церковной горке горит фонарь; доносятся стук въезжающих вozов, свистки локомотивов и лай собак. Утро просыпается, с ним рождается сильная тревога. Что-то принес с собой вчерашний, так долгожданный, миноносец из Новороссийска, что значит приезд Улагая? А небо такое чистое, утро такое заманчивое. Так и хочется одеться и пойти на море.

Семь часов утра. Только что пришла из порта. Миноносец сто-

ит на стороне. Ничего нового в городе нет. Тайна взятия Новороссийска осталась тайной.

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) марта 1920. Понедельник

Дня через два придут большевики. Добровольческая армия эвакуируется в Крым. Казачество разбежится. Подлая Кубань изменила добровольцам, открыв вход большевикам на Кавказ. Новороссийск сдан так же позорно, как и Туапсе. Там осталась масса войск. Тяжело видеть отступающие казачьи части. Такая дезорганизация! Казаки безобразничают, стреляют по улицам; хотя, в общем, внешний порядок полный. Но они удерут. Быть может, это и лучше? Не будь Добровольческой армии, с большевиками бы все сжились, закрыли бы они свои чрезвычайки, прекратили бы издевательства и мирно проводили бы свои реформы. А то сколько времени, сколько сил утрачено за эту несчастную гражданскую войну. Но обиднее всего, что народ, выбирая войну или рабство, выбрал последнее. Русский человек был всегда рабом по натуре, рабом и остался, не дорос еще до свободы; и не будет ему свободы!

Казаки ведут себя безобразно. Сейчас на кладбище они так разошлись, что вместо трех залпов так затрещали из пулеметов, как будто большевики наступают... Как им не жаль снарядов!.. Кого-то хоронят. Играют похоронный марш «Вы жертвою пали»... И с таким чувством, с таким подъемом, так красиво. Безумно люблю этот марш, но только в хорошем исполнении. Быть может, потому, что с ним у меня связаны хорошие воспоминания моего недавнего прошлого: красный Харьков, торжественная процессия, траурные пулеметы, знамена и этот марш. А жизнь была тогда такая беспечная, без страсти, без любви, без желания! А звуки этого марша как запали в душу, так и не выпадают. В нем столько невысказанного горя, столько безнадежного отчаяния и вместе с тем столько спокойного, неизбежного примирения, так что даже на душе становится спокойнее. Что значит понимать музыку? Я траурные марши понимаю по-своему. В них есть и веселое, как и в жизни, когда с болью в сердце приходится примириться с чем-нибудь тяжелым; убывают счастливые минуты тихого, хорошего счастья. А разве наша жизнь не есть только траурный марш?

Говорят, что взяты обратно Новороссийск, Армавир и Сочи.

Мне иногда становится жаль людей, именно мирных тружеников, живущих для семейного очага. Не такой жизни мне надо. Бешеной, именно бешеной жизни требует мое бешеное сердце. Я себе не представляю, какая скука жить в мирное время, когда каждый час не влечет с собой великих событий, когда знаешь наперед,

что будет с тобой завтра, через неделю, через месяц. Нет, пока я еще молода, жизнь бьет во мне ключом, пока я еще не устала жить, я довольна своей долей, я не ропщу на судьбу, только по временам бывает слишком тяжело. В такие минуты чей-то властный голос говорит мне: «Смирись, смирись, бешеная! Интересно жить?..»

Я разделяю жизнь на два пути. Жизнь на лоне природы и жизнь общественная. К первому относится искусство, ко второму наука. А разве искусство не есть наука, а наука не искусство! Я разделяю людей на два раздела: Х и Н. Но это поверхностный раздел. Он разделяется еще на партии — оптимистов и пессимистов. Оптимисты видят жизнь в розовом свете, знают только ее хорошую сторону, другую не знают. Да здравствует пессимизм, ибо глаза пессимистов видят больше. А разве эти партии не одно и то же? Разве предупрежденные пессимисты и сонные оптимисты не стремятся к одной идее, разве не переживают одно и то же? Как тут не рассуждай, а обе партии настолько тесно сплетаются, что трудно провести между ними черту. Все вместе они составляют Единое, Неделимое, Человечество.

17 (по нов. ст. 30. — И.Н.) марта 1920. Вторник

Бедная лошадь! Если люди убивают друг друга, при чем тут бедные животные! По улицам лежат много мертвых лошадей. Они умирают с голода. А те, что живы, такие тощие, жалкие и голодные. Есть им нечего: трав еще нет, она прибита морозом, а сено все увезли большевики, а с собой казаки, видимо, ничего не захватили. Так хочется поделиться с ними чем-нибудь, да и самим-то есть нечего. Напрасно бродят они по горам и ищут пряди сухой травы, хоть одну зеленую былинку. Чтобы сказала Таня, если б знала это. Она такая добрая и любит животных, наверно, больше людей.

22 марта (по нов. ст. 4 апреля. — И.Н.) 1920. Воскресенье. Керчь

Вот мы и в Крыму. Казалось бы странным, как мы собрались сюда, когда я предыдущие дни и не упоминала об этом. 17-го вечером Папа-Коля явился домой с громкой вестью: «Ночью едем, “Дооб” поедет, когда погрузится. Последний пароход!» Засуетились. Оказалось, что белье у прачки. Мы с Папой-Колей пошли к ней на Николаевку, в невероятную даль, по колено в грязи. Взошла луна, и ночь сияла такая заманчивая, а на душе смутная тревога: «Успеем ли?» Мы эвакуируемся под громким именем Харьковского учебного округа. Нас всего пять человек: нас трое, Оленников и Владимирский. Часов в 10 вещи были уже сложены, и мы ждали

подводу. Все нет и нет. Наконец в первом часу явилась. Выехали из училища, все уже спали. На одном повороте у нас с подводы упали вещи. Это была первая неудача. Остановились на пристани. «Доб» битком набит. На палубе повернуться негде. И все грузят и грузят. Так простояли до утра, продрогли. Влезли на палубу, вещи спустили в трюм, а сами с трудом уместились у борта. Жаловались на тесноту, и капитан еще ругался: «Набили как сельдей в бочонок», — кричал. Вообще, он человек решительный и на выражения не стеснялся. Море начинало волноваться. В 12 часов дня мы тронулись и потянули за собой баржу с солдатами. «Прощай, Туапсе!» Чем дальше, тем волнение становилось сильнее. Голова стала такая тяжелая, и в мозгу помутнение какое-то. В желудке было пусто, потому что провизии у нас не было; теснота, толкотня, волнение на море и, одним словом, меня здорово укачало. Я возненавидела и море, и лунные ночи, и дельфинов, прыгающих за пароходом, и, как всегда бывает в таких случаях, капитана. Мне было противно глянуть за борт на разъяренные воды. Спать не пришлось, и это была мучительная ночь морской болезни. Утром вошли в пролив. Море спокойное, вода мутная, даже виден и Крымский берег, и Кавказский. Напоминает Волгу. Навстречу нам плыли большие льдины из Азовского моря. Одна такая льдина налетела на баржу и перервала канат. Мы подняли сигнальный флаг, чтобы выслали катер. Но был туман, и сигнала не увидели. Бросили мы эту несчастную баржу и пошли в порт. С Оленниковым случилось несчастье: нога попала в рулевую цепь и ему, наверно, разломало кость. Его отвезли в больницу. Слезли мы на мол и не знаем, что дальше делать. А так холодно, ветер. Мы с Мамочкой пошли на базар. Идем, вдруг слышу — кто-то кричит: «Ира!», смотрю — Люба Ретивова. Она тоже беженствует и приехала в Керчь из Новороссийска. Живет в лазарете, дала свой адрес. Поздно вечером началась разгрузка парохода. Ставропольский дивизион начал грабеж. Мы счастливо отделались — у нас ничего не пропало. Владимирский выхлопотал для нас с Мамочкой ночлег у инспектора народных училищ, так что мы спали по-человечески, а не по-беженски, в порту. Здесь встретили Гутовских (с Чайковской, 10). Они тоже приехали из Туапсе. Они нас привели к своим знакомым, у которых остановились и сами. Это дом художника Чернецова. Все стены, все двери у него завешены картинами. Есть превосходные картины, например, над пианино. Изображен угол комнаты, часть окна, круглый стол с кипящим самоваром, да так хорошо нарисовано, что кошка прыгала на этот стол, приняв его за настоящий. Вчера были в Музее древностей, в кургане и в чем-то греческом склепе. Видели

интересные могильники и памятники с трогательными надписями, великолепные вазы, сделанные за несколько веков до Рождества Христова, и много интересных древностей. Сегодня была у Любы. Приятно встретить старую подругу. Она очень милая, и мы с ней откровенно поговорили. У нас с ней одно общее желание вернуться в Харьков. Обещала прийти завтра, а завтра утром мы едем в Симферополь. Риск благородное дело, а беженцам только и остается рисковать. Но меня пугает дорога. А не все ли равно! Что будет, то будет! А где-то еще придется встретить Пасху. Мне так хотелось говеть и теперь. Сегодня Вербное воскресенье.

Т.Г.

Эта страница посвящается Тане Гливенко

Здесь висит картина, как народ возвращается из церкви со свечами. И если б я была дома, тоже бы испытала сладость Вербной субботы. И я вспоминаю Таню. Вспоминаю потому, что я ее очень люблю и часто думаю о ней. Мне живо представилось: она в церкви, ее сосредоточенное, серьезное лицо, каким оно редко бывает. И так мне захотелось быть рядом с ней и молиться. Милая Таня, что-то с ней теперь? Сейчас вечером она ляжет в теплую, уютную постель и уснет. Завтра проснется поздно, каникулы — можно встать позже. Возьмет в кровать книгу и будет читать. Встанет часов в 11 и пойдет в столовую пить кофе и радостно подумает, что сегодня каникулы, что не надо учить уроков, погода хорошая. К ней придет Вера, или Ксения, или Леля, и они пойдут гулять. Она свободна, и скоро Пасха, которая принесет ей много приятного. А я завтра утром буду лезть в теплушку, с тяжелыми думами и тяжелыми вещами. Впереди не будет никакой радостной перспективы. О судьба, сжался над нами! Это уже слишком жестокая игра судьбы! Скорее бы только влезть в теплушку. Безумно боюсь именно этого момента!

24 марта (по нов. ст. 6 апреля. — И.Н.) 1920. Вторник

Теперь начинается неудачливая половина нашего беженства. Вчера мы собрались ехать. С трудом достали хлеб на дорогу и пошли на вокзал, а он в трех верстах от города. Оказалось, что надо пропуск, хотя комендант говорил, что не надо. Папа-Коля с Антоном Матвеевичем Гутовским пошли за пропуском. Пошли в два часа, а вернулись в 7, за весь день мы ничего еще не ели. Поезд ушел, а следующий через два дня на третий. Решили жить на вокзале. А там лежал сыпнотифозный. А потом приехал лазарет с больными, который должен уехать ночью. Жить три дня в таких

условиях оказалось невозможным. С трудом нашли мы подводу и пошли обратно к Чернецовым. А уже был глубокий вечер.

Деникин ушел в отставку, теперь главнокомандующим Врангель. К лучшему это или к худшему? По-моему, это скверно. Хотя среди войск было недовольство против командного состава, и я давно ожидала этого переворота, но? Я не особенно долбобливаю Врангеля, его немецкую ориентацию и, по-моему, из этого ничего не выйдет. Одно хорошо, он подтянет офицерство и, может быть, Бог даст ему победу. Я за это время сильно изменила свое отношение к Добровольческой армии. Я мало верю в них и в их политику, и если их дело прогорит, считаю это лишним течением в русской революции. Конечно, идея хороша, и Корнилов мог бы выполнить ее великолепно, а она выполнялась отвратительно. И я больше не верю в победы. Если уже армия не могла устоять под Орлом, то уж не устоит и перед Перекопом. Войска осталось немного, и эта сила малонадежная.

Сейчас была у Любы. Мы гуляли над морем, лазали по камням над самой водой, охотились за морскими животными. Нашли в воде что-то белое, мягкое, кидали в него камнями, ворочали палками. Оказалось, нечто вроде куска мяса или рыбы. Потом искали «морские растения», т.е. лук, огурец или картошку, которых на берегу было почему-то очень много. Строили из камней себе «вечный маятник», охотились за крысами, и вообще ужасно дурили и смеялись. Потом уселись на камнях над морем и говорили о том, какая раньше Пасха была хорошая и какая теперь плохая. Говорили о Харькове и строили предположения, когда можем туда вернуться. Я говорила, что в мае, а она думает, и того позже.

25 марта (по нов. ст. 7 апреля. — И.Н.) 1920. Среда

С отъездом из Туапсе кончилось такое безотрадное настроение. В Керчи явилась надежда на скорое возвращение в Харьков, по крайней мере у меня. О Туапсе осталось воспоминание, как о чем-то тяжелом, сером, безнадежном, как будто это самый скверный уголок на земном шаре. Когда мне надоест жить, когда захочется тоски, безумной, нудящей тоски — поеду в Туапсе. Одно грустно: наступает такой великий праздник, а мы в дороге, без дела, без счастья. Ничем этот день не отличается от других серых дней нашей беженской жизни. Пасха, как и Рождество, явится для беженцев горькой насмешкой. Другие все готовятся к празднику, хлопчут, затевают куличи, а мы только и думаем, как бы хлеба достать. Жаль старика Владимирского, он говорит, что даже чистой рубахи нет, надеть на праздник. Пойдут добрые люди

от заутрени и будут разговляться, а беженцы похлебают чаю без сахара, да закусят салом — вот и встретили праздник. А нам может и этого не придется. Счастливая Танька, она будет дома.

Где-то совсем близко слышна орудийная стрельба. Что бы это могло значить? Быть может, это еще на том берегу, в Тамани, что-нибудь творится? Как уже пошли неудачи, так уже и не остановятся. Сегодня мы случайно узнали, что переменили расписание поездов, и поезд пошел сегодня, а следующий — в пятницу. Еще застряли!

Записки на вокзале в Симферополе

**29 марта (по нов. ст. 11 апреля. — И.Н.) 1920. Воскресенье.
Пасха**

Я не буду подробно описывать эту поездку. Это была самая обыкновенная езда теперешнего времени. Ехали, конечно, в теплушке, человек 40, большей частью военные, и разговоры все были военные, только настроение далеко не военное. Это были такие тыловые прощелыги, каких теперь, к сожалению, очень много. С нами было несколько сыпнотифозных. Ехали с заездом в Феодосию. На ст<анции> Джанкой у нас была пересадка, это было как раз в пасхальную ночь. Перегружаясь из вагона в вагон, мы слышали отдаленный благовест. В этом вагоне нас встретили очень недружелюбно, называли спекулянтами, но потом вошли в наше положение и даже, когда впускали частную публику (вагон был офицерский), заступились за нас. Христос Воскресе, беженцы! Мне их больше всего жаль в эту ночь. Утром приехали в Симферополь. Ничем не отпраздновали Пасху, только удалось достать крашеных яицек. На вокзале была масса корниловцев. Они так весело христосовались и разговаривали между собой, что становилось весело. Это были не такие в беспорядке отступающие части, унылые и усталые, какие мы видели в Туапсе. Это были две сформированные дивизии. Днем они поехали на фронт. Поезд был битком набит ими. На некоторых вагонах развевались знамена отдельных частей. Корниловцы уезжали такие бодрые, твердые, веселые, отъезжая, кричали: «Ура!» Кричали: «Приезжайте скорее в Москву, а мы вас там встретим!» Их настроение передалось и нам, я все их провожала с такой надеждой и верой в их победы. Корниловцы не изменят, они будут честно бороться!

Папа-Коля поехал в город и до сих пор не возвращался, а сейчас уже девять. Мамочка, как всегда, страшно беспокоится, а я так устала за последние две бессонные ночи, за этот переезд, что как-

то ничего не соображаю, хожу как во сне, и у меня сейчас одно желание лечь на окно и спать. Да, я устала, но готова проехать еще не 2, а 20 дней, но только в Харьков.

30 марта (по нов. ст. 12 апреля. — И.Н.) 1920. Понедельник

Если мы на «Дообе» заразились тифом, то сегодня должны захворать, и Мамочка, а она очень мнительная, уже чувствует себя плохо. Но я думаю, что на «Дообе» мы не могли заразиться, а вот на поезде — несомненно. Единственная надежда на прививки. Папа-Коля на воротнике и на рукавах поймал несколько «блондинок». Если здесь нет дезинфекционной камеры, то мы пропали: у нас на вещах их несметное количество.

Говорят, что скоро начнется наступление. Будто бы перехвачено радио: «Троцкий всем, всем, всем: не слушайте приказаний контрреволюционеров, захвативших власть в Москве». Будто бы Москву занял Брусилов и идет против большевиков. Но, может быть, все, все, все брешут? Во всяком случае, там, в советском тылу, что-то происходит, о чем мы не знаем и на что возлагаются большие надежды. Будто бы Добрармия соединилась с Махно. По одним сведениям, Польша вошла в соглашение с красными, по другим — с белыми. Полная неразбериха. Остается одно — ждать. Папа-Коля пошел в город, нашел своих харьковских знакомых и устраивает дело с комнатой. Здесь, конечно, квартирный вопрос очень тяжелый, как и везде, тем более теперь еще праздники; дороговизна тоже сумасшедшая, но придется остаться здесь. Как-нибудь отыщем себе комнату или угол, или коридор (беженцы!) и будем спокойно переживать это время. Зал 2-го класса пустует. Несколько офицеров спят на скамейках да мы с Мамочкой. В буфете ничего нет, кроме окаменелых пирожков, сделанных, вероятно, в прошлом году. Редко заходит какой-нибудь военный, спрашивает, нет ли каких-нибудь напитков и, разочарованный, уходит назад. За окнами свистят и пыхтят паровозы, на платформе шум, буфетчики бранятся — вот она, вокзальная обстановка!

На вокзале нам суждено провести еще несколько дней. Но это меня нисколько не пугает, здесь чисто, мы занимаем целый угол, две скамейки и стол, совсем по-домашнему. Сегодня я гуляла в поле и видала разряженные компании гуляющих, веселых и счастливых, и тут только вспомнила, что у «людей» праздник. После мы пили здесь чай «по-совдепски» (без сахара) и с солью, хорошо еще с молоком. Соль надо класть с пол-ложечки, и это гораздо лучше, чем без ничего. В прошлом году в очередях проповедовали это чаепитие. Надо мной все смеялись, никто не верил.

Ничего не поделаешь, придется жить здесь. Но ведь беженцам

здесь можно устроиться «как дома». Уже принялась за мое любимое дело — дневник. Жизнь хороша с дневником и с радужной перспективой, в этом я уже убедилась. Сердце живет будущим, как бы тяжело ни было настоящее, в будущем ожидается много хорошего и интересного. Конечно, это самообман, но у меня впереди действительно много светлого, для этого я спокойно терплю все это беженство! Но пусть было бы это летом, или как-нибудь в не учебное время, а то мне-таки много придется догонять класс. (Как иногда наравне с самыми патристическими мыслями являются такие ничтожные!) Я стала верить в судьбу. Она пока что благоприятствует нам. Я верю в свою звезду. Я даже вижу ее на небе. Это — группа маленьких звезд, имеет вид вытянутого неправильного треугольника. Почему-то мне кажется, что это и есть моя звезда, моя судьба. А ни в какую сверхъестественную силу не верю. Я слышала, что люди перед смертью дают об этом знать друзьям или чувством, или голосом, или призраком, или чудом. Говорят это люди, которым я вполне верю, как, например, моя Мамочка. Но со мной, слава Богу, ничего не случилось. Я себя почему-то считаю гарантированной от всяких полетов самоваров, от паучков, голо-сов, предчувствий и привидений, и ничего не боюсь. Сколько раз я занималась спиритизмом, но Дух отвечал нам тупостью или наглостью. Несомненно, что кто-нибудь двигал блюдечко, хотя, начиная, все давали слово не мошенничать. Сны у меня начинают исполняться, когда я их уже совершенно забуду. Когда что-нибудь случится, тогда только я вспоминаю, что это видела во сне. Но что дальше — не знаю. Пусть сон, который я увижу в первую ночь, когда буду жить по-человечески, будет моим пророчеством. А сегодня спать навряд ли придется. Ночью идет поезд на Севастополь, и народу все прибывает и прибывает.

Народу битком набито, душно и спать негде. На соседнем диване сидит один поручик, которого я летом в Славянске каждый день встречала в столовой. Узнал ли? Все смотрит на меня, наверно, узнал.

31 марта (по нов. ст. 13 апреля. — И.Н.) 1920. Вторник

Мы прошли все ступени беженства. Кроме одной. На чем мы только ни ездили, где только ни жили и в каких условиях ни бывали! И в общежитии, и в комнате, и в вагоне, и на вокзале, и голод чувствовали, и в осадном положении были, и под бомбардировкой, и у белых, и у зеленых, и у красных. Одним словом, пережили все, что надо беженцу, и пора б нам теперь возвратиться домой к мирной

жизни с золотой медалью. Но не прошли мы еще одной ступени беженства — сыпняка, этого страшного беженского сыпняка. Это последнее и страшное испытание. Больше нас ничем не удивишь.

Сегодня я была в поле, и тоска на меня напала. Услышала неприятный разговор — Добрармию ругают. Крым переполнен. Вся Украина, занятая летом Добрармией, — вся в Крыму. Дома переполнены. Все гостиницы, кофейни, даже кухни в частных домах реквизированы. Невероятно поднялись цены, особенно — на хлеб. В Севастополе что-то ужасное творится: с часу ночи стоят очереди за хлебом. Население ропщет, ждут большевиков, как манны небесной. Добрармия не воскреснет, поздно уже! Как там Врангель ни надеется на победу, как ни бодры корниловцы, но?.. Это «но» и есть то роковое, благодаря чему рухнуло дело Добрармии. Это «но» погубило Россию.

2 (по нов. ст. 15. — И.Н.) апреля 1920. Четверг. Симферополь

Мы здесь нашли комнату, вернее, светленький чуланчик, и живем. Это квартира каких-то знакомых Папы-Коли, и отношение к нам замечательное. Я сплю в столовой на ящиках, под названием «кушетка». Тут же спит племянница Сергея Ивановича, необыкновенно толстая девица — Соня. Квартирка у них маленькая, в две комнаты, но такая чистенькая, светленькая. Два котенка и два цыпленка. Казалось бы, жить хорошо было, да не тут-то было. Жить не на что, денег ни копейки. Да я и не знаю, на какое жалование можно сейчас просуществовать, когда на одни обеды в день выходит 900 рублей. Мамочка с Папой-Колей усиленно ищут места, а пока — на что жить?! Будем продавать золотые вещи, уже в Керчи продали пять рублей, за 5.000 рублей, и нам хватило на дорогу. Я хочу найти себе место курьера или что-нибудь в этом роде, чтобы хоть сколько-нибудь подрабатывать. Папе-Коле предложили место инспектора народных училищ в Ялте, но проехать туда — билет стоит 20 с половиной тысяч, да я была против этого шага. Мамочка мне сказала, что тогда мы там можем остаться навсегда и в Харьков не поедem. А я шла по улицам и редела, слишком это тяжелый удар для меня. В комнате никого нет, и я молилась о том, чтобы все было по-старому. Сегодня утром я собиралась бежать на Чатырдаг, благо он отсюда виден, а сейчас уже раздумала. И так всегда у меня — один день противоречит другому, одна мысль спорит с другой, и я вся полна диких, бесшабашных противоречий. Кто же возьмет на себя труд разобрать их! Да кому еще я поддамся? Это вопрос.

4 (по нов. ст. 17. — И.Н.) апреля 1920. Суббота

Я едва только собралась с мыслями, начала соображать все происходящее. Пошлая жизнь, пошлые люди, пошлый мир! Но едва я только открываю страницы дневника, как на меня веет чем-то другим, надеждой и твердой верой. Сразу развертываются передо мной наивные мечтания о Харькове, оптимистические, слишком глупые взгляды на будущее, на жизнь и т.д. И так во все это верится, что все должно быть, как мне думается, как мне кажется! Такая уверенность только на страницах дневника. Сегодня мне почему-то стало особенно грустно. Я почувствовала, как это ни странно, что я устаю жить. Не бегаю в ОСВАГ за сведениями, не интересуюсь новостями, не радуюсь победам, ничем не возмущаюсь. Будущее меня пугает, больше не интересует, и я стараюсь не думать о нем. Все мои мечты и планы теперь кажутся мне такими глупыми и несбыточными. Так противно стало все... Я села и заплакала. Тут же Мамочка раскладывает пасьянс. «Не реви!» — и пошла в другую комнату. Там Папа-Коля опять: «Не реви!» Пошла тогда в кухню и там валялась. Сама не знаю, о чем плакала. В душе накопилось столько невысказанного горя, обиды, жгучей ненависти, и нет слов это высказать, да я и не хочу, незачем. И мне казалось так обидно, что нет у меня своего уголка, где можно было бы по желанию и плакать, и смеяться. Неужели же всегда надо притворяться, улыбаться, когда на душе тяжело, и сдерживать радость. Я всегда и со всеми бываю искренна, никогда не делюсь своими настроениями и неужели же теперь, когда у меня слишком тяжело на душе, я не смогу выплакать свое горе? Зачем общественные и злые жизненные законы велют обманывать себя и других! Неужели же жизнь для других заключается именно в этом обмане?

5 (по нов. ст. 18. — И.Н.) апреля 1920. Воскресенье

У меня составилось такое убеждение, что Мамочка меня ревнует к дневнику, потому ли, что я уделяю ему больше времени, чем штопке чулок? Чувствует ли она, что я с ним откровеннее, чем с ней, или по чему другому — это я не знаю. Несомненно, она это делает не нарочно, но она оттолкнула меня от дневника. Теперь мне было бы противно писать дневник при всех, как я это делала раньше. Эта Мамочкина фраза: «Ты придаешь большое значение своему дневнику», — меня неприятно обидела. Потом она меня спросила с некоторой иронией, как мне показалось: «Что ты там пишешь?» Это опять мне было неприятно. Она говорила, что с тех пор, как я веду дневник, я стала такая-то и такая-то, что я обленились, ничего не

делаю, а писание дневника она не считает за дело. Одним словом, я поняла, что сделала большую ошибку, что пишу дневник при ней.

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) апреля 1920. Понедельник

Жара становится уже прямо невыносимой. Распускаются деревья, цветут абрикосы, и солнце палит во все лопатки. В этом году весна запоздала, и ожидается большой урожай фруктов. И, как назло, развивается сильная эпидемия холеры. Везде болезни, везде страх за свое существование. Неужели же нет такого уголка на земле, где бы можно жить спокойно? Зачем я взялась за перо, когда на уме нет никаких мыслей?! Глупо!.. Харьков, Харьков, Харьков... надоедливо сверлит в мозгу. Как глупо! Вся залита ярким солнцем зеленая трава, зеленые деревья, а я сижу здесь в душной комнате и думаю: «Харьков»... Как глупо!

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) апреля 1920 Вторник

Донников из Новороссийска тоже приехал в Симферополь, и мы с ним каждый день видимся. Он мне очень нравится. Около вокзала висят несколько офицеров — повешены за уличное воровство. Так им и надо. Пускай висят, пускай ими любят другие. Проклятие, тысяча раз проклятие тем, кто губит дело Добрармии... Как глупо у меня перескочила мысль от Донникова к повешенным. Ирина! Сама-то больно умна!

9 (по нов. ст. 22. — И.Н.) апреля 1920. Четверг

Передо мной в заржавленной банке стоит прекрасный букет цветов — большие темно-зеленые выюны и темная, пышная зелень. Траурная, грустная красота! А мысли витают далекие, в холодной Сибири, думы о так страстно любимых людях, погибших или блуждающих в ее бесприютных снегах. Думала об Игоре, о моем угрюмом Игоре, замкнутом и молчаливом, каким я его помню. Теперь он совсем большой, ему уже 23 или 24 года. Женился. О, нет! Игорь не женится, он не таков! Он у чехо-словаков. Он погиб в бою славной смертью героя или умер от тифа в грязном бараке, на чужбине, одинокий, всеми забытый. Игорь — самый несчастный из Кноррингов. Его никто не любил за его тяжелый характер, и жизнь его была не легка. Я его любила с малых лет, но полюбила сознательно только теперь, когда увидела в нем человека такого же склада, как я сама. Я поняла его скрытный, угрюмый и тяжелый характер, как и у меня. Он бы меня понял, мой милый заброшенный Игорь. Я так ясно представляю его, худого, с большими темными глазами, больного, ободранного; и скитается он один по далеким

сибирским равнинам, как скитаются здесь больные, отставшие добровольцы. Какая же награда ждет народных борцов, этих смелых патриотов? Она или там, за гробом, или нигде.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) апреля 1920. Суббота

Сейчас мы были на кладбище, на бабушкиной могиле. Долго бродили там, не могли найти. Она умерла давно, в 1908 г., и Мамочка была у нее так давно и в таких растрепанных чувствах, что совершенно ничего не помнила. Она долго бродила вокруг одного места, все говорила: «Мамочка похоронена здесь». Какая-то сила притягивала ее туда. Нашла. Заржавленная решетка, железный крест, к нему прибита дощечка с надписью, по ней мы и узнали могилу. Она заросла сорной травой, цветами; там растут какие-то растения, но еще не распустились и не знаю, посажены ли они, или это тоже бурьян.

12 (по нов. ст. 25. — И.Н.) апреля 1920. Воскресенье

(Нет записи. — И.Н.)

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) апреля 1920. Понедельник

Проклятые англичане, продали Россию! Предъявили свой дурацкий ультиматум, на который большевики с радостью согласились, одним словом, подло изменили. Теперь Крым — самостоятельное государство.

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) апреля 1920. Вторник

Гроза, небо затянуто тучами, темно. Гремит гром, словно огромный шар с грохотом прокатывается по небу. Я сижу одна в нашей маленькой комнате, которая равняется кубической сажени, на скрипучем стуле, перед маленьким столиком, на котором в беспорядке расставлены всевозможные предметы, <такие> как зеркало, примус, хлеб в полотенце, книги, грязные блюда и т.д. Мамочка с Папой-Колей пошли обедать, а у меня что-то после бессонницы голова болит, и я осталась. Жизнь у меня здесь такая же, как и в Туапсе, пора ничегонеделания. Я здесь по-прежнему целые дни одна и скучаю. Читать, как и в Туапсе, нечего, да и дневник писать я разучилась. Здесь во дворе есть девочки, мои однолетки, но я не хочу с ними знакомиться. Познакомилась только с одной маленькой девочкой, лет 5-6-ти, Валею. Начала с того, что она мне обещала принести сирени. Публика у нас во дворе очень демократическая, как всегда бывает на таких окраинах, как Бетлинговская. Такой детворы, как Валя, полно. Матери их такие грубые, такой руганью пере-

сыпают своих детей, что хоть словарь составляй! Двор маленький, грязный, с коровами, курами, поросятами и т.д. А жизнь идет пустая, без цели, без желанья, без страсти! А на дворе моросит дождик и бьется в окно.

15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) апреля 1920. Среда

Сегодня ночью, во время бессонницы, когда в голову лезут самые неприятные мысли, я вспомнила всю свою жизнь с момента отъезда из Харькова. Она мне показалась сном, только сном, как будто там фигурировала вовсе не я, а кто-то другой. Ростов мне вспоминается чем-то светлым, мимолетным и радостным. Правда, тогда у меня было пессимистическое настроение, но что оно в сравнении с теперешним! Только теперь я поняла, как это, действительно «упасть духом», потерять последнюю надежду. Ослепительно белый снег, хрустящий под ногами, морозец, чистая до щепетильности квартира Максимовичей, беготня в Нахичевань к Наташе, стоянье перед ОСВАГОм у карты — вот все, чем мне так ярко запомнился Ростов. Туапсе — опять-таки сон, такой страшный, длинный, бесконечно мучительный сон, от которого так безумно хотелось проснуться. Затем морское путешествие, Керчь — это легкое сновидение, короткое, последнее, прошло и не оставило воспоминаний. А теперь! Если бы и Симферополь мне показался сном! Мир с большевиками — какая грустная трагедия! Поневоле забывается своя жизнь, и душа витает там, где ведутся эти постыдные переговоры. Каждый раз, когда я слышу это подлое слово «мир», мне сразу делается тошно жить. Какая-то темная пелена застилает все, как будто в этом коротком слове заключается все зло настоящего момента, от которого впоследствии будет так много нехорошего, неужели же Россия погибнет по милости англичан? Была ли она действительно когда-нибудь великой и могучей? Быть может, это тоже сон.

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) апреля 1920. Четверг

А.В.Колчак расстрелян. Погиб мой идеал. Сегодня в газетах описываются подробности его убийства. Он не бежал из Иркутска, когда представилась возможность, он говорил, что уйдет последним и... был убит большевиками. И как подумаешь об этом, так грустно делается на душе. Больше некого любить, некому так безумно верить, не на кого надеяться. Он умер, а с ним как будто умерла и часть моей жизни. Его нет, и мир никогда не почувствует его и забудет. И Россия, неблагодарная Россия, которую он так любил, тоже скоро забудет его, как забудет и Деникина. Лавровый венец всегда украшает не ту голову, которую надо. И жалеет ли его

кто-нибудь искренно, пролил ли кто-нибудь слезы над его могилой, если еще есть могила у этого «контр-революционера». Да как можно равнодушно относиться к смерти этого великого человека!?

А Врангель болван, если думает заменить его. Хотя он мне за последнее время стал очень нравиться, держится молодцом, но к Колчаку мое сердце было больше расположено. В сотый раз перечитываю в газете страшный параграф о его смерти, и невольно ищешь глазами: еще услышать в последний раз что-нибудь о нем. А сейчас же вслед за этим идет «поднятие курса Д<еникинских> денег». И так это глупо и противно. Когда находишься под тяжелым впечатлением рассказа, переходить к деньгам, к нашей обычной, ничтожной жизни.

17 (по нов. ст. 30. — И.Н.) апреля 1920. Пятница

Мне больше некого любить,
Мне больше некому молиться.

У меня уж такая натура, что мне непременно надо кого-нибудь любить, иметь кумира. Это была моя забава, желание иметь «тайну». Уж с давних пор я избрала центром моей любви студентов, живущих наверху нашего дома в комнатах. Даже не помню кого, вероятно, всех перебрала. В душе я их или глубоко ненавидела, считала подлецами, или была совершенно равнодушна. Вся любовь заключалась в том, что болтала Тане о том, как я его встретила на улице, как пошла за ним, чтобы лишний раз на него взглянуть, хоть очень сомневаюсь, чтобы я когда-нибудь за кем-нибудь бежала. Потом я увлекалась всеми географами, которые перебивали у нас в классе; с уходом одного любовь переходила на другого и кончалась с концом занятий. Весной я «полюбила» прислужника в коммерческой церкви, некоего Петю, но эта любовь скоро кончилась с приходом добровольцев, когда я живо перенесла ее на самого героя — Деникина. Но и к Деникину я скоро остыла и полюбила его той любовью, какой любила и до конца. Увлелась Колчаком, сначала также в шутку, для разговоров, но потом сознательно и даже ответила себе, на что раньше никогда не могла ответить — за что люблю. Мне так хотелось сделать что-нибудь для него, жертвовать жизнью, чем-нибудь доказать свою преданность. Его слово для меня было закон и правда. Тут только я поняла, что значит любовь, такая полная, страстная и глубоко бешеная. Нет слов на всех языках мира, чтобы выразить мою любовь. Его смерть — сильный удар. Никто уже не будет для меня таким авторитетом, как Колчак, и никого так я уже не буду, да и не захочу, любить. Он — единственный из всех моих многочисленных «центров люб-

ви», которому я останусь верна до смерти, и единственный, которого я действительно любила. Тяжело и страшно думать теперь о нем, особенно по ночам, во время бессонницы. Как наслушаешься хоть сколько-нибудь хороших известий, на Душе просветлеет, сразу как-то и жизнь покажется радостней, а как подумаешь в этот миг: «А Колчака-то нет», — так делается грустно и тоскливо и опять мир — серый, все люди подлецы, и жизнь — тоска.

Сегодня, идя с обеда, я встретила свою соклассницу Лиду Фихтер. Очень обрадовались. Она беженствовала в Крыму, рассказала, кого встретила из наших девчонок. Живет здесь недалеко, теперь к ней часто буду бегать, отводить душу за разговорами. Но она мне сразу так напомнила милую гимназию, что прямо грустно сделалось.

Сегодня Папа-Коля и Александр Васильевич (Донников) до-стали где-то там у себя на службе сахару (а мы его не видим с Туапсе), и мы сегодня варили какао. Пир! Казалось бы, какой пустяк! Ан нет, в нашей жизни это событие.

Шкуро издал приказ: «Какие-то идиоты распространяют слухи, что я в плену. Я на фронте, воюю, и кого надо — повешу». Сразу можно узнать автора. А все-таки мне он очень нравится, молодец!

18 апреля (по нов. ст. 1 мая. — И.Н.) 1920. Суббота

Сегодня из Керчи приехали Оленников и Владимирский. Оленников рассказывал, что в Керчи встретил своего приятеля, который из Туапсе уезжал уже под обстрелом и рассказывал, что там творилось. Был отчаянный голод, на базаре ничего нельзя было достать, кроме груш. Уходя, добровольцы взрывали все склады и массу вагонов со снарядами, взорвали вельяминовский мост, а все бронепоезда, бывшие в Туапсе, пошли в море; а еще в это время миноносец бомбардировал город, и с гор, со всех сторон наступали большевики. Это было что-то невероятное. Они отплыли на 70 верст в море и все еще слышали этот грохот и взрывы. Это было как раз на Благовещение, в Страстной четверг. Несчастные туапсинцы, что им пришлось перенести! От одного этого стоило бежать хоть на край света... У Оленникова нога уже прошла, и он очень потолстел в больнице. А Донников держал пари, что его семья к 17 мая будет в Крыму. Сегодня 1 мая, пролетарский праздник, поэтому в столовой совершенно не было обедов. Все приходили и ругались. «Пролетарский праздник, чего же нас, буржуев, не предупредили?» И на объявлении, которое висело вместо обедов, было написано: «Голодный праздник!»

19 апреля (по нов. ст. 2 мая. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Антон Матвеевич болен сыпным тифом, форма очень тяжелая. Бредит, соскакивает с постели, бросается. Не выдержал-таки, захватил в дороге сыпнячок. А уж как боялся его, и керосином мазался, и нафталином обсыпался. Ничто не уберегло.

Апрель подходит к концу. Промелькнул как сон. Ничего не произошло за этот месяц, что бы хоть немножко скрасило мою жизнь, даже ни одного стихотворения не написала. Господи, как скучно жить, когда нечего делать! Ну, например, сейчас: сижу здесь и ничего не делаю, и вспоминаю прошлую весну. Пойти что ли к Лиде? Ее, вероятно, нет дома, у нее и здесь много знакомых, она весело живет и не думает скучать. Читать нечего. Писать? Тоже нечего. Гулять пойти некуда. Такая тоска! Хоть бы пришел кто-нибудь к нам, хоть бы Папа-Коля какие-нибудь новости принес, хотя бы тифом заболеть для развлечения, что ли!

21 апреля (по нов. ст. 4 мая. — И.Н.) 1920. Вторник

Сегодня мне исполнилось 14 лет. Мамочка угостила меня какао, а Папа-Коля подарил общую тетрадь для дневника, а вечером собираемся идти куда-нибудь, в театр или в кинематограф. А мне ничего не хочется. Не так я думала провести этот день. В прошлом году этот день прошел очень незаметно, все забыли о нем. Это было как раз в то время, когда нас Саенко выселял из Чайковской. Еще тогда я думала, что на будущий год в этот день я соберу девочек и... и... воздушные замки! А теперь никакой театр меня не прельщает. «Хочу в Харьков!» — вот только что хочу. Хочу радостных известий, хочу... слишком многого. От всей души желаю себе счастья, на четырнадцатый год моей жизни, больше, гораздо больше, чем в прошлом. Желаю вдохновенья, бодрого настроения, надежды и веры; и вообще исполнения многих моих желаний. Хочу, чтобы на день моих именин произошел какой-нибудь политический переворот — к лучшему, конечно; и чтобы в этом году моей жизни было хорошо. Побольше вдохновенья хочу! Сегодня я уже написала одно глупое стихотворение с длинными строчками, какое-то расплывчатое, неясное. Еще начало ничего себе, а последний куплет никуда не годится, а по смыслу он должен быть самым хорошим. Таких-то стихов я могу написать сколько угодно, да только смысла в них мало.

А на душе тоскливо. Снова такая безответная грусть. Дома, одна... Помнит ли Таня обо мне сегодня, помнит ли, что я сегодня стала на целый год старше нее? Забыла, наверно. Ах, если бы какой-нибудь дух поцеловал ее в эту ночь за меня. Она в них верит, а вера чудеса делает. Я недавно Таню видела во сне, во всех позах.

Если верить в толкователь снов, с ней что-то должно случиться. Ходят слухи, что Харьков занят повстанцами. Несчастные харьковцы, навряд ли им живется лучше, чем нам.

22 апреля (по нов. ст. 5 мая. — И.Н.) 1920. Среда

Вчера мы были в театре. Шла пьеса Джером-Джерома «Мисс Гобс». Весело было. А на душе все-таки не весело. Тоска, тоска без всяких развлечений. Что-то повеяло хандрой, которая всегда почему-то бывает у меня в марте или в апреле. Что же может быть причиной моей хандры накануне таких больших политических событий? Хочется остаться одной, чтобы всецело отдаться своим думам. А думы (о ком же еще могут быть мои думы?) о Колчаке. О нём, только о нём сейчас.

23 апреля (по нов. ст. 6 мая. — И.Н.) 1920. Четверг

Не в замученный, полуразрушенный Харьков я хочу вернуться, а в такой, каким я его покинула, чтобы громкое «Чайковская, 16», не произносилось с трепетом и позором, чтобы не на виселице увидела я тех, кого так страстно хочу я видеть, и не в морозную ночь, а в ликующий майский день. О Боже, это только мечта, она не сбывается! Слишком это хорошо для мира! Мир полон страданий, разочарований, печалей, люди не умеют жить. О, если б кто-нибудь открыл тайну жизни, для чего она дана людям, какая ее цель!

Ну и мерзкий же город этот Симферополь! Пылища такая, что не дай Бог! Совершенно без зелени, садов нет, один раскаленный камень. Городишко маленький, и мне, привыкшей по Харькову, к большим расстояниям, пройти его весь — ничего не стоит. Мы живем на самой окраине, в «уезде». Кварталом ниже нас проходит линия железной дороги, а за нею степь. В степи еврейское кладбище, у стены которого расстреливают. Вокруг Симферополя тянутся небольшие горы. С начала Бетлинговской виден южный берег, ясно виднеется Чатырдаг и другие высокие горы. Недалеко от нас, на нашей же улице, есть мечеть, такая прелестная, квадратная, маленькая, с очаровательным минаретом, такая изящная, славная! Говорят, что в 9 часов утра и вечером с минарета кричит мулла, но мне так и не удалось это слышать. Вообще, скверный город!

Сегодня мы уговорились сойтись в городской столовой к двум часам. Мапочка пошла на свою временную службу, а Папа-Коля — в редакцию. Часов дома не оставалось. Я встала поздно и читала Оскара Уайльда. Только что кончила чудесную «Балладу Редингтонской тюрьмы», как вспомнила, что пора идти. У Забниных на часах половина первого. Я думала, что у них часы по-старому

(стрелки переведены на час вперед), и решила пойти, а жара невыносимая, пыль столбом и невозможный ветер.

В (городской. — *И.Н.*) столовой, конечно, наших еще никого не было. Пошла домой. Посидела минут десять и опять пошла. А в столовой самое интересное. Там (прежде. — *И.Н.*) собирались мы, Оленников, Владимирский со своим приятелем, которого здесь случайно встретил, и Донников, когда был здоров. Папа-Коля приносил из редакции самые свежие новости, а другие — всевозможные слухи. Часто вмешиваются в разговор и посторонние, большею частью такие же беженцы.

После обеда проводили Мамочку опять на ее службу, погуляли в каком-то саду. И опять — дома, в нашем маленьком чуланчике. Газетчик кричит: «Теле-грамма! Теле-грамма! Занятие нами Одессы!» Ну уж это что-то враньем пахнет.

А мои золотые часы все еще лежат в комиссионной конторе. А меня все еще мучают мысли о Колчаке. Он был предан чехо-словаками, предан! Могли предать такого человека. И кто же!? Я читала подробности его предательства, и в этот миг он мне казался близким, чуть ли не родным. Пусть гибнут люди, мне не жаль их, ненужных, ничтожных жизней, но погубить такого человека — это безумие. Проклятие, еще раз проклятие большевикам! Пусть тысячи, миллионы тысяч поплатятся за его жизнь своею кровью!!! Да будут прокляты и все чехо-словаки, и вся Сибирь, этот грустный край, погубивший двух, а вероятно и больше, бесконечно любимых людей. Сибирь — страшный край, не хочу больше о ней ни слышать, ни думать. Я так ясно представила себе Колчака в последние дни, когда он уезжал из Иркутска через станции, занятые восставшими, в группе солдат, дружески разговаривая с ними, и когда на одной из станций под Иркутском был предан и выдан большевикам; я словно переживала этот момент, эту злость его и его возмущение. «Значит, меня предали»... Нет, я не могу выразить того, что хочу. Нет слов, чтобы выразить, как на меня подействовала эта фраза почему-то. Я так ярко почувствовала то, что он переживал в этот момент... Нет, бесполезно это выразить словами.

24 апреля (по нов. ст. 7 мая. — И.Н.) 1920. Пятница

Вот мои главные желания, без которых мне жизнь не в радость:

- I. Победа Добрармии — похоже на то, что это исполнится.
- II. Возвращение в Харьков — несомненно при всяких условиях.
- III. Всех застать живыми — ходят слухи, что в Харькове сильные расстрелы.

- IV. Квартиру (увидеть. — *И.Н.*) целой — никак не исполнимо.
V. Жить в Харькове — смотря как у Папы-Коли будут дела с гимназией.
VI. Гливенки тоже (их увидеть — тоже никак не исполнимо. — *И.Н.*) — собираются, как только можно будет ехать, в Петроград.
VII. Догнать класс — несомненно.

25 апреля (по нов. ст. 8 мая. — *И.Н.*) 1920. Суббота

Лихим безвременьем обвеяна,
Неисчислимых бед полна,
Ты вся костями сынов усеяна,
Страданьем гордая страна...

Я думаю, когда Богданов писал эти стихи, он не думал, что Россия будет когда-нибудь в таком жалком состоянии. Не думал он, что Великая Русь, второе государство в мире, будет в Крыму; только в Крыму вся единая, великая, неделимая нашла себе убежище. Куда же девались ее богатые окраины? Финляндия, Польша, Грузия, какой-то Азербайджан... Украина бунтует, казаки хотят отделиться, и вся Великая Россия занята Совдепией, где первенствуют евреи. Где же ты, о Русь? Нет в России уголка, где бы не было войны. На Дальнем Востоке Япония воюет, на Западе — Польша, на юге — Добармия, и на севере — восстания. Едва ли когда-нибудь она будет вторым государством в мире! Если только Врангель выведет Русь из такого положения, то он, право, молодец!

26 апреля (по нов. ст. 9 мая. — *И.Н.*) 1920. Воскресенье

Это не долго, одно короткое мгновение, так же, как в Туапсе было бы не долго, гуляя на молу, броситься в море. Стоит только пересилить себя и... жизнь переменится. Стоит только навсегда отказаться от всего, быть может, даже — таланта, т.е. не написать больше ни одной строки стихотворения, это лучше, чем впоследствии писать тысячи таких, какие пишутся теперь, особенно женщинами. Стихи мне всегда были утешением, мне было приятно, что я смогу что-то написать, но легче бросить теперь, чем после. Я даже теперь чувствую, что стихи были в некотором роде мое призвание, и не писать их мне даже как-то странно. Только благодаря им я чувствовала себя не совсем такой, как другие. Я не гордилась ими. Может быть, гордость таилась где-то там, в глубине души, когда я одна наслаждалась моими, еще никому не известными стихами. А теперь не буду. Ведь живут же все бесталанные люди, и у каждого из них есть свои призвания. Буду такая же и я.

Откажусь. Ведь у Деникина хватило же мужества отказаться от власти, хватит и у меня — от стихов. Брошу, это только одно мгновение, отказаться от них раз и навсегда, и только; просто и ясно. Так же просто, как отказаться от той жизни, которую я вела с осени девятнадцатого года до ноября. Именно к такой жизни я стремилась за последние годы в Покровской (гимназии. — *И.Н.*), тогда я почувствовала счастье, когда на совести не было упрека. Я думала, что счастье именно в этом. Теперь мне пришлось отказаться от этой мысли, и это очень просто. Я мирилась с мыслью, что в России будет большевизм, и хоть это было тяжело, но я все-таки смогла примириться: я относилась к этому эгоистичнее. Теперь же, когда я должна отказаться от того, что я так любила, я стала патристичнее. Коротко и ясно. Свой альбом со стихами я, пожалуй, не уничтожу, оставляю его на память о детском увлечении, но запрячу его далеко-далеко, чтобы забыть о них. Одну минутку, и с ними будет все порвано. Конечно, это грустно, это тоже трагедия, но зачем я должна быть не такая, как большинство? Благоразумие мне подсказывает, что я еще очень мало приношу жертв, а главное, от них никому не легче, но я с этим, конечно, не соглашаюсь. Быть может, я стремилась к славе, и воображение уносило меня слишком далеко; а не давать ему больше пищи, это — жертва. Я убедилась, что все люди стремятся к славе и что они все большие подлецы, есть исключения, но я едва ли к ним принадлежу. Что еще из меня выйдет — неизвестно. Вероятно, я пойду на преступление, на гадости и кончу жизнь где-нибудь под забором или на виселице. Ведь люди не умеют жить! Черный Крест мне укажет дорогу, и я принесу ему в жертву прошлое. Жизнь — обман. Во всяком случае, я буду жить или умру, во лжи или в правде, это все равно. Я теперь буду с дневником откровеннее, буду заглядывать в самые тайники моего сердца. Я буду писать совсем откровенно, переломлю свою гордость — не для дневника, а для Черного Креста. Я никогда не буду прочитывать написанное, а перечту дневник много лет спустя, когда пойму жизнь. Она для меня загадка, и мне ясно, что она и для всех загадка. Как жить — это вопрос для всех.

28 апреля (по нов. ст. 11 мая. — И.Н.) 1920. Вторник

Вчера я весь день была занята своим новым стихотворением. Решила в последний раз попытаться. Все переделывала, сокращала, добавляла. Вышла дрянь. Но все-таки я подумала, что не будет преступлением, если я еще напишу. Читать я его никому не стану, пускай все думают, что я их бросила. Но вот что странно: раньше

мне нравились мои стихи, когда я еще их никому не читала. Прочитанное — мне оно уже не нравилось. А теперь, наоборот, мои старые стихи мне нравятся гораздо больше, чем последние. Мое единственное стихотворение, написанное в Славянске, вроде «Траурного марша», «Исчезни мрачное сомненье», — гораздо лучше последнего, а тема почти одна и та же, по крайней мере я так хотела. Теперь хочу написать «Траурный марш» вроде Славянского, только сильнее. Размер в том прекрасный, как раз для марша, куплет в пять строчек; и заканчивается первым куплетом, только с некоторым изменением, и это я тоже люблю. Я и думаю написать по образцу того, хотелось бы писать под какой-нибудь марш, чтобы навеять на себя такие настроения, что подскажет не разум, а музыка. Жаль, что здесь нельзя услышать Шопена, его марш сюда бы очень подошел.

Сейчас мы пойдем на кладбище. Вчера сторож должен был расчистить могилу и посадить тую. Против обыкновения я с удовольствием пойду туда. Хотя терпеть не могу всякие кладбища; в Харькове даже к брату не ходила, но здесь почему-то меня тянет. Не потому что настроение скверное (оно, наоборот, приподнялось).

29 апреля (по нов. ст. 12 мая. — И.Н.) 1920. Среда

Занималась с Мамочкой (соседка дает книги) вяло и скучно.

30 апреля (по нов. ст. 13 мая. — И.Н.) 1920. Четверг

Ну, слава Богу, кажется, все хорошо. У большевиков дела не очень-то ладны. У них ходят всего только два поезда из Харькова в Москву, а из Харькова на юг только раз в неделю. Благодаря этому у них в городах совершенно нет ни угля, ни продовольствия. В Харькове фунт соли стоит несколько тысяч, а хлеб 1000 рублей. Безумие и ужас. Но зато они бьют тревогу. Польша занимает всю правобережную Украину. Под Киевом взято в плен 25 тысяч, и вообще на западном фронте большевики несут большие поражения. Дальше действует Петлюра, Махно и еще пятнадцать каких-то атаманов. Япония объявила войну большевикам и дошла уже до Байкала. На Украине сильные восстания. Наконец, на днях начнется наступление с Таврического фронта. Весной всегда у добровольцев победа, в этом даже и сами большевики признаются. Врангель сказал, что к июню, а может быть, и раньше, он будет на Украине. Дай Бог, чтобы Донников выиграл свое пари. Я верила в него как некогда в слова Пиневица, что к апрелю мы будем в Харькове. Верила

потому, что если Центро-Страх, такой пессимист, паникер, мог так говорить, значит, это так. Остается только благодарить Бога, что мы не остались в Майкопе с нашим вагоном и не остались в Туапсе и что жизнь наша осталась целой. А она в Туапсе, при большевиках, была в опасности: глупая Харьковская пропаганда привезла в Туапсе все свои дела и, между прочим, книжку с фамилиями всех своих служащих. А в последнюю минуту Пиневич, очевидно, так нервничал, что кроме старых документов ничего не трогал. Сам он страшно боялся, говорил, что его жизнь находится в крайней опасности, жил под именем Пиевского; кроме того, у него был документ на имя Сахарова и еще чей-то паспорт. А эта книжка была сожжена, но уже при большевиках. Затем Мамочка, когда служила у них в отделе народного образования, работала за столом Харьковской пропаганды. Случайно открыла тумбу — и что же она там видит. Огромная кipa бумаг с фамилиями и адресами всех служащих. Она там нашла много знакомых харьковцев. Там наших служило трое: Мамочка, Оленников и еще один — сторожем, Решетников. Так они потихоньку таскали, таскали эти бумаги и в Тургеневском сжигали. Ну уж если бы только большевики добрались до них, то несдобровать харьковцам — кто из них не был в ОСВАГе.

Антон Матвеевич поправляется. Кризис у него был на 17-й день. Это очень редкий случай, и редко кто доживает до этого. Ядвига Матвеевна опять повеселела и ожила. «Тося жив, Тося поправляется»... И потом она была очень ошеломлена всеми новостями, которые происходили во время болезни А<нтон> М<атвеевича>, о которых она не имела представления; прямо прыгает от радости.

Ну вот я и кончаю мой дневник, мой первый дневник. Три года тому назад я начала его, полная дикого стремления, думая, что это будет «Повесть из собственной жизни». И теперь кончаю, наученная горьким опытом. Я узнала себя. Три года! Как это кажется давно. Сколько произошло за эти короткие три года. Разве, начиная этот дневник, я думала, что когда-нибудь дойду до такого состояния, что буду серьезно думать о самоубийстве, что столько придется страдать, так искренно буду жаждать войны, так глубоко ненавидеть, называть людей подлецами и негодьями и радоваться, когда их все больше и больше вздергивают на столб! «Ужасный век, ужасные сердца!»

Кончаю. Прощай, дневник!

Петербург II

Начата 1 (14) мая 1920 г. — кончена 21 января / 3 февраля 1921 г.

Мой адрес:

Симферополь. Бетлинговская ул., № 43, кв. 3.

Семинарский пер., № 4.

Училищная ул., № 10, кв. 6.

Севастополь. Морской Корпус

«Генерал Алексеев»

«Константин». II класс, каюта № 8

«Кронштадт». Мастерские

Bizerte. Sfaiat. L'École Navale russe*

Я тот, чей взор надежду губит,
Едва надежда расцветет,
Я тот, кого никто не любит,
Кто все живущее клянет.

Лермонтов

1 (по нов. ст. 14. — И.Н.) мая 1920. Пятница. Симферополь

Начинаю свой дневник. Я мечтаю только об одном, чтобы в нем не было столько пессимизма, как в первом. Я надеюсь, что с ним я буду делиться только радостью неожиданных событий. Ах, если бы только скорей в Харьков, и чтобы всё, всё, всё было по-старому. Если бы полгода нашего беженства прошли как сон и не оставили следа.

Сегодня почему-то, когда я встала, никого не было дома. Папа-Коля у себя в редакции, а Мамочка — неизвестно где. Так что я с самого утра села за дневник. Настроение у меня бодрое и веселое, солнце светит, небо чистое, жара непомерная, и хорошо! Как-то жизнь прельщает. Я не думаю о том, что надо будет учить географию (Россию несуществующую), что придется идти в городскую

* Бизерта. Сфаят. Русский морской корпус (фр.).

столовую, есть изо дня в день пшеничную кашу; я думаю только о том, что я скоро, может быть, очень скоро, буду в Харькове и, если не увижу всего того, что хочу видеть, то, по крайней мере, одну Таню. А что может быть приятнее, как провести с ней, в каком-нибудь укромном месте, несколько часов!

Мамочка пришла, и мы сейчас будем проходить «климат России», где сказано, что самый хороший климат на Черноморском побережье Кавказа, а я, прожившая там зиму, говорю, что это самый скверный климат на земном шаре!

Как я люблю, когда никого нет дома! Делай что хочешь, и никто об этом не узнает. Ах, если бы в Харькове у меня была по-прежнему своя комната! Несбыточная мечта! И там мы будем также ютиться по комнатам, где не почувствуешь себя самостоятельным человеком. Нельзя ни кричать, ни шуметь, ни приходить поздно! Здесь даже я не могу лечь спать, когда хочется: если слишком рано — неудобно, в той комнате могут сидеть; если слишком поздно — тоже нельзя, потому что приходится проходить через спальню Забниных. Хочешь что-нибудь сварить — жди, когда у них мангал освободится; самовар ставь, когда они не пьют. Забнины очень славные люди, но жить у них это не то, что у себя в квартире! Очень стеснительная такая жизнь. И не предвидится ей конца...

Что-то сейчас в Харькове? Быть может, ничего особенного, и скоро прекратится такая жизнь, а может быть, там произошло что-то такое ужасное, после чего и думать о нем не захочется, а не то что жить там! Да, может произойти много печального со времени нашего отъезда из Харькова. А так хочется застать свою квартиру целой, и всех знакомых живыми! Так хочется попить вечером чай в уютной столовой, всем вместе из настоящих стаканов, а не из наших жестянок и т.д. Я помню, когда мы с Мамочкой ночевали первую ночь в Керчи у инспектора городского училища, мы были поражены: большие, чистые комнаты, столы, стулья, кровати, статуэтки, картины, занавески на окнах, на столе самовар, стаканы, вазы, висячая лампа, — это нам показалось так необычайно после Туапсе, где мы ничего не видели, кроме грязных стен и громоздких парт. И так это было приятно, что мы находимся в человеческой обстановке, что хоть сколько-нибудь чувствуешь себя человеком! Но мы только тогда почувствуем себя людьми, когда перестанем называться «беженцами». В этом слове заключается какой-то яд, оно позорно и унижительно. Всеми оно произносится с остервенением и злобой, все их ругают, во всем их винят! Кто не был беженцем, тот не поймет, как тяжело носить это имя!

2 (по нов. ст. 15. — И.Н.) мая 1920. Суббота

Сегодня вечером мы идем в театр. Сюда приехал наш знакомый артист Ильин, он достает нам контрамарки.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) мая 1920. Воскресенье

Приятель Владимирского, Каменев, приехавший из Батума, рассказывал, что там делается. Англичан ненавидят (так им и надо!). Власть английская, строгая. После одиннадцати часов никто не может выйти на улицу под страхом смертной казни. А казак упрям, он непременно выйдет, когда нельзя. Однажды один терец поздно вечером напился пьян и стал бить англичан. Те подошли к нему со своими стеками и хотели его арестовать. Он драться. Тогда англичане приступили к нему по правилам своего бокса, да пока принимали позы, он одному в шею, другому в ухо, пятерых уложил, остальные разбежались. Молодец, страсть люблю, когда бьют англичан! Народ они корректный, холодный и противный! Вчера были в театре. Был водевиль, оперетка и танцы. Танцы прошли прекрасно, лучше всего! Восторг! Особенно «вальс», так называемый «Он и она» и «Итальянский нищий» на фоне старинных дворцов, при красном свете. Сегодня опять пойдем, только в летний театр. Положительно все люди с ума посходили: есть нечего, а в театр идем. У кого-то завтра занимать будем?.. Вчера еще прекрасно пел Сибиряков, особенно арию из «Фауста». Еще недурно в оперетке пел еврей арию: «Кто первый спекулянт, кто главный комиссар, кто пишет там статьи и фельетоны» и т.д. и после каждой строчки с достоинством произносит: «Еврей», и каждый куплет доканчивает словами: «Евреи повсюду нужны»...

4 (по нов. ст. 17. — И.Н.) мая 1920. Понедельник

Вчера были в городском саду, в театре. В первом отделении шел «Превосходительный тесть». Великолепно играл самого «тестя», очень хорошо, а остальные довольно скверно. Во втором отделении сначала пела одна цыганские романсы, у нее великолепный голос, и пела она очень красиво. Потом мелодекламировал Ашаров — отвратительно, а под конец Марадудина говорила юмористические рассказы Тэффи, Ядова и, кажется, свои. Говорила превосходно. Особенно понравилось «Новое племя» — о нас, беженцах, которых она называла «покачтоки», потому что у них, действительно, все делается «пока что». Она рассказывала о том, как они странствовали, как живут, как одеваются и чем отличаются от остальных. Сама она такая веселая, живая, и так живо передавала все это, что весь театр

буквально покатывался со смеху. Хорошо еще говорила о том, как «жидочки-спекулянты» ехали на Украину. Она пользовалась колоссальным успехом.

Каменева и Донникова зовут «Фараоновы коровы»: один человек, как человек, а Александр Васильевич тощий, как щепка, но аппетиты у обоих грандиознейшие. Хотя в таком случае все обедающие в городской столовой должны называться «Фараоновыми коровами».

Каменев рассказывал: идут в Батуме по улицам казаки строем, пешие. «Что это такое?» — спрашивает он. — «Кавалерийский полк проходит!»... Комедия, кавалерия без лошадей!

Сегодня в городе встретила похороны корниловца. Гроб раскрашен, как и погоны, в красный и черный цвет. За гробом идут музыканты, корниловцы, пешие и конные... Лошадь его, должно быть, самое близкое существо. Помню, когда мы уже сидели на палубе «Дооба», грузились казаки. Вот приезжает казак к пристани, слезает с лошади и, перекрестив ее, пускает на все четыре стороны. Грустное, трогательное прощание!..

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) мая 1920. Четверг

5-го мая мои именины прошли довольно-таки весело. Эта веточка белой акации оторвана от большой, сорванной на улице, и преподнесенной мне Каменевым. И в этот же день были проданы мои часы, подаренные ровно три года тому назад.

О, какой пессимист этот Каменев и как это не похоже на него, такого веселого и остроумного! Он очень скептически относится к Добрармии, верит в торжество большевизма, говорит, что Россия воспрянет только лет через сто; уверяет, что в Крыму нам придется пробыть еще года два. В последнее я не верю, Крым не может продержаться столько, его живо большевики возьмут; но что жизнь в России наладится еще не скоро — несомненно, я ее уже не увижу. Сто лет — короткий срок в истории, и как долго в жизни. Каменев говорит: «Разве мы не скучаем о России? Тоскуем о том, к чему мы привыкли и чего мы лишены». Прав ли он? Отчасти и прав. Если бы мы сейчас сидели в Харькове, хоть в сколько-нибудь благоприятных условиях, мы бы не были так заинтересованы судьбой России. Эгоизм кроится под маской патриотизма.

Вести из Харькова: кем-то получено письмо из Харькова от 20-го февраля, что там очень хорошо. С приходом большевиков все сразу подешевело. Расстрелы были только вначале, а потом прекратились. Совдепы не показывают большой активности... И впервые промелькнула мысль: хорошо ли мы сделали, что уехали оттуда? Но

стоит ли еще верить этому письму? До нас доходили сведения как раз обратные...

Не сочувствую я Польше. Конечно, это очень мило с ее стороны, но горько. Она, покоренная таким великим государством, отделилась и еще помогает нам! Раб помогает господину, и господин будет благодарить раба! Как горько и больно делается за Россию. Какая-то Польша сильнее нас! Самолюбие русских страдает. А сколько она земли взяла! Теперь — Европейская Россия, тем более, если еще Петлюра Украину возьмет, совсем маленький клочок, не больше Германии. А может быть, и Сибирь у нас кто-нибудь отнимет? Где же она, Великая, Могучая?! Петлюра, метящий занять Украину, и известный разбойник Махно — вот с кем идем мы рука об руку. Это ли не трагедия?! А уж где там думать о личной жизни, которой мы лишены, быть может, навеки. Так вот, я все говорю: хочу в Харьков да и только, наибольшее желание! А как вдуешься глубже в действительность, так без всякого колебания говорю: больше всего хочу вновь гордиться своим отечеством.

8 (по нов. ст. 21. — И.Н.) мая 1920. Пятница

Не нравятся мне эти Забнины. Может быть, они и симпатичные люди, но... Надежда Михайловна помешана на чистоте, и с ней ужасно трудно сладить. Правда, она деликатна, но — «там не пройди», «там не насори». Она мне очень напоминает м<ада>м Максимович в Ростове. Сергей Иванович — человек сухой и эгоистичный, на мой взгляд. Соня — тоже какая-то странная. Она в Симферополе, как и мы, случайно, из Владимира. Тоскует о доме, но держится светской барышней. Она девочка-таки славная, только какая-то непростая. Постоянно ссорится с Сергеем Ивановичем. Брат С.И., который иногда приходит к нам, симпатичнее, приветливее, но слишком пессимист. В сравнении с ним мой пессимизм — ничто! Но, может быть, это он, как и я, только на словах!..

О, как мне хочется увидеть Таню. За это время я ее полюбила сильнее, а она, наверное, забыла обо мне. Так хочется рассказать ей все, что я пережила. Часто теперь, когда никого нет дома, когда так остро чувствуется одиночество, я рассказываю этим противным, набеленным стенам что-нибудь о моей беженской жизни. Пускай Таня меня не будет слушать, я ей все расскажу, я ей покажу эти строки! Я уверена, что наши отношения сильно изменятся, если мы еще когда-нибудь увидимся. Она не знает, да и не может знать, что для меня, быть может, самое дорогое в Харькове, это — она. Она не предполагала, что когда радостная и сияющая сообщала мне о планах возвращения в Петроград, она причиняла мне

сильную боль. Но я хочу ее видеть еще раз. А наш приезд все откладывается да откладывается. Уезжая из Харькова, я была уверена, что недели через две я вернусь. В Ростове думала, что Новый Год встречу в Харькове. В Туапсе была больше чем уверена, что к Пасхе, во всяком случае, буду дома. В апреле думала вернуться к маю, в мае — к июню, когда же конец? До 26 мая все разрешится: в этот срок произойдет многое, слишком многое. Так сказал Врангель, и это содержится в тайне.

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) мая 1920. Воскресенье

6 мая, в день, когда Ленину исполнилось 50 лет, Петроград переименован в Ленинград. Не смешно ли? Скоро и Москву переименуют в какой-нибудь Лейбоград, или Троцкинштадт. Уральск переименован в Пугачевск.

Вчера опять были в театре, в городском саду, на «Свадьбе Кречинского». Играли, в общем, хорошо. Женщины, по обыкновению, хуже. Прекрасен был Расплюев, я не помню, кто его играл, знаю только, что я его каждый день вижу за обедом в женском обществе.

Из газет: когда большевики заняли калмыцкие степи, стали вырезать население. Калмыки бежали. При погрузке на пароход всем не хватило места, и они сами утопили до семисот детей, чтобы те живыми не достались в руки большевиков.

Юные герои (из газет): когда большевики брали Одессу, старшие воспитанники кадетского корпуса ушли с ген<ералом> Бредовым, а младшие оставлены на произвол судьбы, старшему из них было едва ли 14 лет. Тогда они сами вооружились оставленным за непригодностью оружием и просто палками, пробиваясь через толпу местных большевиков, под пулеметным огнем бросились на мол, где еще случайно оставался английский миноносец, который и подобрал их. Англичане были так поражены доблестью и храбростью этих мальчуганов, что хотели иметь от них что-нибудь на память об этом смелом поступке. Они обменивали на шоколад пуговицы от мундиров. Четверо из них были убиты, двенадцать человек ранено. Молодцы, не разбежались, а по-игрушечному вооруженные, в боевом порядке пробили себе дорогу через город.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) мая 1920. Понедельник

Станный был бред у Антона Матвеевича в тяжелые дни его болезни. Он видел перед собой старика; тот подходил к нему, клал ему руку на глаза, на лоб, проводил ими (руками. — И.Н.) по щекам и уходил в угол. «Ядя, кто этот старик?» — спрашивал он. — «Никого

нет, Тося, мы только вдвоем здесь». Но он ясно видит старика, и тот опять подходил к нему, клал руку на голову. Потом Селиванов (у которого они живут) служил молебен о здравии его. После молебна принесли к нему в комнату икону. «Ядя, покажи, что ты принесла», — просил он. Та показала ему икону Серафима Саровского. «Вот этого старика я и видел, — сказал он, — он ко мне и приходил»...

Сегодня в столовой «Лиги равноправия женщин» Донников справлял день рождения своей младшей сестры, завел знакомство со всеми «женщинами» и каким-то образом ухитрился сварить там какао. Мы там собрались всей нашей компанией, т.е. мы, Донников, Владимирский, Каменев и еще один харьковец Медведев. Каменев был в хорошем настроении духа и держался оптимистом. Хотя я, откровенно говоря, думаю, что он увидел, как действует на нас его пессимизм, и решил искупить его. Он принес громкое известие: «Завтра мы ахнем!» — от плохого или хорошего — неизвестно. События идут не по дням, а по часам, и все важные вопросы разрешатся сегодня или завтра. Мы накануне переворота. Возможно, мы каждый день накануне переворота, каждый день ждем этого самого переворота и каждый день — все по-старому. Нервы напряжены донельзя, ждать больше уже нет терпенья!

Я не считаю дней и не замечаю, как они проходят. Целый день я абсолютно ничего не делаю и даже ничего не думаю. Живу в будущем — несбыточными мечтаниями, сладкими грезами и надеждой. Во что, в кого? Каменев уже подорвал доверие ко всем и ко всему, во что верилось. Каменев убил надежду, он — зло, демон, а симпатичный человек. Пускай думает про себя что ему угодно, но говорить об этом, отравлять существование другим — это преступление!

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) мая 1920. Четверг

Вчера мы были на концерте Собинова. Он мне голову вскрыл! Я теперь думать ни о чем не могу, а завтра пойду его еще слушать. Как он поёт, какой у него голос, такой старик, и так может петь! Великий, единственный Собинов! Мне весь мир представился иначе во время его пения.

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) мая 1920. Суббота

Лениво, лениво пишу дневник! Что делать? Упиваюсь Диккенсом, пишу рассказы (стихи пока забросила) и ничего не делаю... Была на «Шалунье». Отвратительно!

На фронте затишье. Каждый день в сводке стоит: без перемен, артиллерийская перестрелка, поиски разведчиков. И все смотрю, смотрю, смотрю без конца. Как бы не сглазили. Часто мне кажется,

что мы никогда не тронемся с Перекопа и никогда не будем в Харькове. Мы с Мамочкой условились не говорить о будущем, чтобы не расстраиваться. Ничто не произошло за эти дни, все замерло, прижало, молчит. Настроение поганое. Тоска, мучительное ожидание. Когда же конец? Есть хочется. На первое нам дают суп с овсом (без мяса, конечно, и без картошки — ее здесь совсем нет), а на второе кашу, или овсяную, или перловую, или ячменную, в лучшем случае — пшеничную. И это изо дня в день, дают помалу, раз-два, и тарелка пустая. Дома питаемся исключительно хлебом и чаем без сахара. Молоко составляет единственный наш деликатес. Я уже никогда не говорю, что есть хочется, этим не поможешь. Голова болит, слабость сильная; должно быть, от голода. Дороговизна растет не по дням, а по часам. А денег нет. Уж фунт хлеба — 130 р<ублей>, а пол-обеда — 225 р<ублей> (обед, на который бы раньше и смотреть не стала). Молоко — кварта 350 р<ублей>. Как жить? А получает Папа-Коля (еще ничего не получил) только 24.000 р<ублей>. Что делать, как быть? И чего это Врангель... Невольно во всем виню этого несчастного Врангеля. Кого же винить?

18 (по нов. ст. 31. — И.Н.) мая 1920. Понедельник

Вчера было ровно полгода, как мы покинули Харьков. А уже кажется, целую вечность, что только произошло за эти короткие полгода! Так круто изменилась вся жизнь. Надеюсь, мы не дождемся годовщины нашего беженства. Вчера был первый день Троицы. Во дворе у нас настроение праздничное, все такие разряженные. Вчера мы с утра ходили в степь, на гору, в «дубки», т.е. это когда-то были дубки, а теперь вырублены. Оттуда отлично виден южный берег, все горы как на ладошке, особенно красив Чатырдаг. В «дубках» масса цветов, очень разнообразных. Там много кашки, милой, родной кашки, которой так много у нас в Елшанке. Мы нарвали два огромных букета цветов. Один оставили дома, а другой отнесли бабушке на могилу. Обедали все у нас, а после обеда опять пошли в степь. И это был единственный день за все полгода, которым мы остались довольны, когда не было тоски, когда не говорилось о Харькове. Политику мы тоже забыли вчера и не рассуждали о войне. Не много таких счастливых дней в нашей беженской жизни. Долой политику, да здравствует красота природы! И употребляю здесь самые успокоительные слова: что будет, то будет — от судьбы не уйдешь!

Сегодня я видела во сне, что мы из Крыма бежали в Сибирь, в Томск. И так ясно я это видела и чувствовала, что, пожалуй, совсем не вернусь домой.

19 мая (по нов. ст. 1 июня. — И.Н.) 1920. Вторник

«...Не оружием победить большевизм, он сам пройдет, это болезнь. Но не к смерти приведет он Россию, а к цветущей славе. Большевизм поработит весь мир. Россия будет передовой страной, Великой, главной и Могучей, куда лучше, чем прежде. И Запад перестанет чваниться перед нами, потому что Русский народ самый лучший народ на земном шаре». Так гласят мудрые слова истины.

Каменев прав. Россия не погибнет, но воспрянет лет через сто. Мне непонятно только одно, как это Врангель... Что он не понимает, что ли, этого и все еще грезит о наступлении! Ведет «русскую» политику в Крыму. Не смешно ли? Кому нужен его Крым. Будь на его месте Колчак, уж непременно бы что-нибудь придумал и вылез бы из такого дурацкого положения.

К сожалению, Каменев прав, я уже не увижу великой России и очень, очень не скоро, даже никогда... никогда... никогда... никогда не вернусь в Харьков. Прощай, прощай навсегда, Таня. Я знаю, если бы мы сейчас были вместе, то непременно бы ругались, но теперь, когда я знаю, что не видишь и не слышишь меня, я признаюсь, как я тебя люблю, что уж, конечно, бы не сказала тебе в глаза. Таня, прежняя жизнь кончилась, и скоро у всех начнется новая жизнь, может быть, во много раз лучше прежней, а может быть, и хуже. Я круто оборвала свою прежнюю жизнь и скоро начну, а может быть, уже начала новую. У тебя этот период пройдет незаметно, но будет. И уже никогда не будем с тобой сидеть на окошке в темной комнате и мечтать до позднего вечера; и теперь так далеко друг от друга. Я знаю, если бы ты прочла эти строки, ты бы сказала: «Нытик». Но, поверь, Таня, если бы ты пережила хоть половину того, что пережила я, ты бы так не сказала. Трагедия не в том, конечно, что жизнь идет в собачьих условиях, а в том, что разрушен внутренний мир, погублено все чистое и святое, что было. Ты скажешь: «Ничего не было» и ошибешься: было. Была честность, совесть, а теперь ничего нет. От совести отмахиваются все, потому что она мешает нам заделаться спекулянтами и быть сытыми. Голос совести заглушает голос желудка. Поневоле делаешься эгоистом, и я уверена, что скоро мы пустимся на воровство и пойдем грабить по Ялтинскому шоссе. И даже не хватает мужества отказаться от блага своей жизни во имя честности. Заглушить внутренний мир, значит, потерять свою душу, а это самое тяжелое, самое мучительное, что только может быть у человека. Я не знаю, какая ты теперь, в моей памяти ты осталась легкомысленным, наивным ребенком. Но если ты нравственно выросла за это время, ты должна меня понять. Счастливая, если ты этого не пережила. О Господин, зачем я это пишу, ведь ты все равно не прочтешь!..

20 мая (по нов. ст. 2 июня. — И.Н.) 1920. Среда

Недавно опять были в театре. Прекрасно!

21 мая (по нов. ст. 3 июня. — И.Н.) 1920. Четверг

Сегодня у меня много знакомых именинниц: Тетя-Леся (где-то она теперь?), Леся Хворостанская и Леночка Плохотниченко. Воображаю, что сейчас в милом Харькове. Сердце сжимается тоской, мучительной тоской, и так искренно хочется вернуться. Образы давно минувшего воскресают в душе. Вспоминается К.И.Романов, студент, живущий на верху нашего дома, моя первая любовь. Наивное, глупое увлечение, очень недолгое, конечно. И почему, что в нем привлекательного? Не знаю.

Как быстро летит время! И ничего еще не произошло за это время, потому оно и прошло так незаметно. Мамочка говорит: «Надо всегда высасывать из жизни все хорошее, также и теперь». А я не хочу! Да, я не хочу теперь жить «пока что», как говорит Марадудина. Я буду гордиться именем беженки и нисколько не намерена превращаться в гражданку города Симферополя. А что если придется? Тоска, тоска, тоска без просвета.

22 мая (по нов. ст. 4 июня. — И.Н.) 1920. Пятница

Скверное у меня самочувствие. Слабость такая, что еле на ногах держусь, перо совсем выпадает из рук.

Завтра мы, должно быть, с Папой-Колей пойдем прививать холеру. Говорят, что с этой прививкой можно получить холеру и в несколько часов умереть. Вот если бы мне получить ее! Сейчас это, кажется, самое искреннее желание. Да, я хочу умереть. Жизнь мне не дала того, что от нее требуется. Самое прекрасное, самое святое в мире — это смерть. И я жду ее, жду с нетерпением! Как бы хорошо сейчас умереть, тихо, незаметно, похоронят меня на уютном симферопольском кладбище, где-нибудь рядом с бабушкой, поставят черный крест с моим стихотворением (для этого можно сочинить надгробное слово). И ничего не буду слышать, ни видеть, ничего не чувствовать. Но зато я постигну великую тайну мира, узнаю то, что не знают живущие. Ах, как хорошо умереть!

24 мая (по нов. ст. 6 июня. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Сегодня я видела во сне, как будто я вернулась домой и так ясно видела всю милую Чайковскую. И так ясно почувствовала, что наша квартира цела и все вещи на местах. Только я потом не могла сообразить, большевики у нас или добровольцы, а спросить об

этом не решалась. Но видела, что квартира в целости. И странно, Папа-Коля видел то же самое.

25 мая (по нов. ст. 7 июня. — И.Н.) 1920. Понедельник

Вчера, в дворянском театре шла пьеса Ядова «Там хорошо, где нас нет». Написана пьеса великолепно. Удивительно хорошо смешан комизм с трагизмом. Порой я не могла удержаться от слёз, и сейчас же хохотала. Играли чудесно. 1-е действие: Симферополь, угол Пушкинской и Дворянской, «Чашка чая». Сидят грузин из Тифлиса, купчик из Москвы, хохол из Киева, петроградец и еврей из Одессы — Владя Гросман. Весело кутят и разговаривают. Вдруг полумрак. Входит какой-то человек и декламирует о том, как такая веселая публика позорит Россию и т.д. Потом эта публика собирается бежать. Гросман всем обещает достать валюту. Выкрикивает иностранные монеты. Выходит австрийская крона (и что-то поёт), потом — германская марка, лира, франк и наконец фунт стерлингов. Около него все пляшут. Все это очень изящно и красиво. Вдруг появляется фигура в плаще и говорит о том, какой позор, что иностранную валюту ценят выше русской; что Россию забыли, погубили, но она, несчастная, оплеванная Россия, простит и полюбит снова тех, кто ее продал. Сбрасывает плащ и появляется русская красавица, в сарафане и кокошнике, сама Россия, и все падают перед ней на колени. Во время ее монолога я едва сдерживала слёзы, настолько это все грустно и правдиво. 2-е действие — трюм парохода. Сидит та же публика, удирающая в Константинополь. Сначала острят и смеются, но всем становится грустно. Один становится на колени, прощается с родиной и плачет. Вдруг появляется какой-то человек и говорит: кому нужны ваши слезы, без вас Россия пала, без вас и восстанет, ей не нужны такие люди, которые думают только о собственной жизни. После этой трагической речи Гросман вернул остроумную фразу, и опять хохот. 3-е действие — Константинополь. Чем занимаются русские беженцы: одни стали уличными певцами, другие торговцами и т.д. Все они встречаются и говорят, как им хочется в Россию и как они по ней стосковались. Гросман даже соглашается: пусть уж не будет права на жительство, но будет Россия. Поёт: «Скорей воскресни, моя страна» и что-то в этом роде. Вдруг делается темно, панорама Константинополя исчезает, и на фоне Московского Кремля появляется высокий трон, украшенный двумя национальными знаменами, на котором сидит матушка Россия. Весь театр, как один человек, встает перед этой величественной картиной. Незнакомец, сидящий у ее ног, говорит, что она скоро воскреснет и снова будет великой и могучей. Оркестр играет

Преображенский марш, ныне национальный гимн. Эта картина прекрасна, величественна и... желанна!

Мы перешли в наступление. Пока — успех. Мы прорвали хорошо укрепленный фронт большевиков и взяли ряд станций и селений.

Недавно я прочла мой рассказ «Женщина» Мамочке и Папе-Коле, и это имело крупные последствия. У нас с Мамочкой круто изменились отношения к лучшему. Она во мне открыла одну черту, которую раньше не замечала, именно: сходство с собой; хотя и мне, и ей казалось, что между нами нет абсолютно никакого сходства. Папе-Коле очень понравился мой рассказ, Мамочке тоже, хоть она находит, что мысль слишком страшная.

Донников уже заразился пессимизмом Каменева. Как придет к нам, и каркает, каркает, каркает без конца. А Каменев, определенно, мерзавец: с одной стороны, он хочет ехать в Севастополь и поступить грузчиком на пароход. В общественных учреждениях, а особенно в государственных, он определенно не хочет работать, потому что не хочет участвовать в преступлении. Добрармия — преступление! Он скрывается от воинской повинности, говоря: «Чего ради я буду бить не виновных, или не виновные меня будут бить?» Большевиком его тоже нельзя назвать, он их глубоко ненавидит! Но, пожалуй, он все-таки предпочитает их добровольцам. Понятно, что может говорить такой человек о Добрармии. Он подорвал доверие и уже давно уничтожил надежду. Я ненавижу его за это, я его презираю: как только завижу красивые, правильные черты его лица — я убегаю прочь. Я боюсь услышать его слова. Конечно, у него нервы ужасно расхлябаны за это время, таких нельзя осуждать. Сначала хоть один был такой, а теперь и Донников. Вообще, его очень легко в чем бы то ни было уверить и склонить в любую сторону. Как только Каменев уедет, мы его живо переделаем.

26 мая (по нов. ст. 8 июня. — И.Н.) 1920. Вторник

Мамочка говорит, что жизнь прекрасна. Я с этим не могу согласиться. О себе я не стану говорить: моя жизнь если не прекрасна, то, во всяком случае, интересна, если смотреть с философской точки зрения. Возьму в пример одну женщину во дворе — Мотю. Где же прелесть в ее жизни? Она целыми днями работает, устает, нервничает, а где у нее развлечения? И не одна она такая. Интеллигенция — класс привилегированный: мы сумеем найти прелесть жизни, всегда сумеем забыться в поэзии, в искусстве и т.д. А Мотя? Какая ее цель, для чего она живет, кому нужно такое бессмысленное существование! Живет для того, чтобы вырастить своих детей, таких же несчастных, как и сама.

27 мая (по нов. ст. 9 июня. — И.Н.) 1920. Среда

Сегодня ночью Каменев уехал в Севастополь. И больше уж я его никогда не увижу. Останется он у меня в памяти угрюмым пессимистом и вместе с тем таким веселым балагуром, каким был вчера. Но он сделал большой переворот во мне. Он мне ответил на многие трудные вопросы, над которыми я себе ломала голову, не могла ответить. Во-первых, что пессимизм — никому ненужная дрянь! Он и сам не рад таким мыслям. Во-вторых, что высказывать свои чувства не всегда бывает хорошо; и ему не легче оттого, что он заражает других. С.В.Каменева я долго буду помнить, это такой тип, который не забывается. Сергей Валентинович Каменев, первый, который против моего (и своего) желания имел для меня такое большое значение.

Донников очень расстроен: его семья в Харькове, и он страшно беспокоится за нее, все говорит о своих детях. Несчастный человек, мне его страшно жаль. Владимирский тоскует о семье, которая в Ельце, сейчас он захварывает, боюсь, что тиф; как грустно: один-одинёшенек. Слава Богу, что мы вместе!

28 мая (по нов. ст. 10 июня. — И.Н.) 1920. Четверг

Сегодня утром я сидела в Лазаревском саду на далекой аллее, над Салгиром и читала. Подсел ко мне какой-то офицер и вступил в разговор. То-сё, разговорились. По моей абонементной книжке из библиотеки он узнал мое имя и фамилию. По моим глазам отметил некоторые черты моего характера, даже многое из моей жизни (странно). Одним словом — тайна, знакомство романтично, и интересно. Когда я уходила обедать, он просил меня назначить свидание (ого!!!). Я велела ему ждать каждый день на той же аллее (пускай пождет!!!). Но вся беда в том, и большая беда, что он обещает (или, может быть, обедал) в той же столовой, где и мы, и, дурак, конечно, не сумеет сдержать тайну?!?!? Вдруг он вздумает со мной заговаривать в столовой? Что тогда делать?!?! Дурак он, дурак, болван, мерзавец, впутал меня в такую скверную историю! Как я теперь буду выпутываться!? О!!!!!!?!?! Сначала я думала все рассказать Мамочке, авось выручит. Но потом раздумала, решила ждать, что дальше будет. В столовую умышленно запоздала. Там его не было. Теперь не знаю, как мне дальше быть. Любопытно б завтра узнать, правда ли он там обедает, но, с другой стороны, страшно. Если завтра совсем не пойти обедать (у меня отчаянная головная боль вот уже несколько дней, и это можно было б устроить), но до каких же пор ждать? Что делать? Если написать письмо и оставить на скамейке, но какое содержание, да и не поможет

оно. Ах, не с кем посоветоваться. Мамочке не скажу, это ей не понравится. Лучше сама. Но как?!?!?!?

29 мая (по нов. ст. 11 июня. — И.Н.) 1920. Пятница

Мелкие заметки дня.

Офицера в столовой не было. На свиданье не пошла. Папа-Коля получил на службе английские ботинки исполинского размера, весом в пять фунтов каждый, и рад.

Пошел первый поезд на Мелитополь. Большие победы.

Лида Фихтер сказала Соне, что она меня не узнает, какая я была бойкая, живая в гимназии и какая вялая здесь.

Гутовский совсем поправился и пришел к нам. Папа-Коля осуществил свою заветную мечту — купил сахарину. Я настолько привыкла пить чай с солью, что сладкий чай мне (увы!) уже совсем не нравится. Отвыкла.

Нудящая жара. На солнце ужасно болит голова. Ремнями от деревянных сандалий больно натерла ногу. Ядвига Матвеевна сшила мне еще одну шляпку. От занятий отвиливаю: болит голова. Читаю Данилевского.

Мамочка до обеда стирала.

Обед прескверный.

На дворе зной, дома ужасная скука.

Как я намерена жить по окончании гимназии? Выйти замуж и отречься от всех благ светской жизни. Поселиться где-нибудь в Сибири, на Камчатке, в Петропавловске, чтобы обо мне никто не знал и я ни о ком не знала. Вести самую тихую незаметную жизнь, и правильную жизнь, без цели, без интересов, без желаний. Утро пробывать где-нибудь на службе, где — все равно, дома похлебать кисленькие щи, а вечером зайти к соседям на чаёк. И так — изо дня в день жить, только чтобы отжить свое время и умереть. Только в такой жизни не может быть ни пошлости, ни искусственности. Быть может, для спасения души я и хочу избрать себе такое поприще, скучные и однообразные дни. Или выйти замуж за какого-нибудь крестьянина, опроститься, отречься от образования и жить тяжелой жизнью работницы! Или уйти в тундру к самоедам и забыть все... Ну нет, это уже слишком, достаточно зарыться на Камчатке, забыть обо всем, отречься от всего.

30 мая (по нов. ст. 12 июня. — И.Н.) 1920. Суббота

Такая жизнь, о которой я писала вчера, ближе всего стоит к учению Христа. Много лет с тех пор Христос проповедовал равенство и братство, и только теперь большевики захотели построить

такую жизнь. Их идея прекрасна — кто же может отрицать? Но строили они ее на лжи, на обмане и только разрушили то, что было. Видно, люди еще не доросли, чтобы понять учение Христа. Я даже отчасти понимаю большевиков, почему они уничтожали храмы. Религия должна быть только в душе человека, только в душе может быть истинная, живая вера. Приходит человек в церковь, крестится, делает вид, что молится, и, может быть, и правда молится, но часто мысль его витает далеко, и прямо из церкви он идет воровать, симулировать, обманывать. О чем же может молиться такой человек? Все это пошло, пошло и пошло.

Дневные заметки.

Прививала во второй раз холеру.

31 мая (по нов. ст. 13 июня. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Мелкие заметки.

У всех нас болят руки, и голова. Вечером придут Гутовские, и будут вареники. Встала поздно, до обеда читала.

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) июня 1920. Суббота

Увы, зимовать нам придется в Крыму. Это уже факт. Армия, правда, скоро подойдет к Александровску, но там... Стоп, машина. Там будет долгая остановка. И поляков лупят. Так что прощай, Харьков! Заветная цель отходит все дальше и дальше. Даже в Туапсе я так не отчаивалась, как здесь. Я даже примирилась с этой мыслью — жить в Симферополе. Об этом давно уже говорил Каменев, Донников, Забнин; но я придавала мало значения их словам. Я считала их пессимистами, каркунами и т.д. Но сегодня об этом сказал Папа-Коля. Значит, это будет так. Теперь я решила приналечь на занятия, осенью сдать экзамен в 5-й класс и поступить в гимназию. Только б найти комнату, в нашем чуланчике мы совсем замерзнем зимой. А все-таки, как грустно! Здесь устраивается землячество харьковцев: главная цель — установить сношения с Харьковом. Так-таки и не дойдем до Харькова! А уж как мне хотелось этого, как я верила! Обманули добровольцы!

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) июня 1920. Воскресенье

Э, чего там унывать! От судьбы не уйдешь. Здесь — так здесь, а может, чудо приключится, и «там» будем. Вчера вечером Мамочка стирала. Тесно, душно, грязно. Я ушла из дому, пошла к Гутовским, думала взять мой альбом со стихами. Пришла. Ядвига Матвеевна

саду. Пошла в сад, а она с девочками Селивановыми работает на огороде. Присоединилась и я. Я очень люблю работать в саду или на огороде. Мне кажется, если бы у меня был огород, я бы за ним ухаживала как за своим ребенком. Было уже совсем темно, тонкий серп месяца показался из-за деревьев, все было так красиво, спокойно, а мы все еще чистили и пололи грядки. А сегодня мы все пойдем гулять в какой-то загородный сад.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) июня 1920. Четверг

Сегодня ночью у нас во дворе один старик заболел холерой. Днем он умер. Мы, конечно, очень боимся, все тщательно прикрываем, моем, настроение самое препоганое. То ли было ровно год тому назад! Как раз в это время в Харьков вступили добровольцы. Где-то там громяхают орудия, а здесь такое счастье, такая радость. Я никогда не забуду ту дикую радость, когда увидела первого добровольца. И этот великий день я никогда не забуду. Не такое к ним было тогда отношение, была твердая вера... а теперь ее нет. Я уже более никому не могу верить, все обманули. Но когда же харьковцы снова переживут такой момент, как 11-го июня 19-го года! Я уже не могу, я органически не могу более ждать! А тут еще такие разговоры с Забниным: Крым... навсегда... устраиваться... Я готова ждать еще месяц, целый месяц, но больше — не могу!!!

12 (по нов. ст. 25. — И.Н.) июня 1920. Пятница

Пишу в степи. Сажу в степи, на одном высоком кургане, и люблюсь тем, что вижу. С одной стороны передо мною весь Симферополь, как на ладони, немного правее Крымские горы. Они сейчас в тумане и видны неясно. С другой стороны, против гор, на довольно большом протяжении видно море, перед ним селение: справа на юг далеко видны леса и горы, а налево бесконечная, холмистая равнина. Тихо, ни души, только трещат кузнечики да щебечут птички. Палит солнце и обдувает ветерок. И я раскинулась на траве, и меня прокаливает жгучее крымское солнце, и так хорошо. А дома больная Мамочка, боится холеры, которую сейчас очень легко заполучить. Она заболела вчера. Мы нашли себе другую комнату, через неделю переедем туда.

14 (по нов. ст. 27. — И.Н.) июня 1920. Воскресенье

О чем писать? Мамочка поправляется. Сейчас пошла с Папой-Колей прогуляться. Я одна, что же я обычно делаю, когда я одна? Сажу на кровати у краешка стола, перо в руках; передо мной зеркало, смотрю, как я загорела за сегодняшний день, смотрю на бу-

кет бессмертников и думаю, когда же соберусь отнести их на кладбище и выполоть сорную траву на могиле. Пойти б сейчас. Да поздно. Еще думаю, что надо будет выгнать мух. Сегодня я из степи показывала море Гутовскому и еще двум мальчикам; они так радовались, что из Симферополя вдруг видно море. Думаю — получила ли Люба Ретивова мое письмо, которое я ей недавно послала в Керчь, и как отнеслась к стихотворению, посвященному ей. (Плохая, прескверная бумага!) Что делать, определенно хочется есть! Прочла еще раз-два последние стихотворения от 11-го и 13-го. Ни мамочка, ни Папа-Коля не поняли, сколько души вложила я в них. Для меня они, именно, имеют большое значение. Мысли перескакивают на политику. Хотят ввести новый стиль, не могу примириться с этим. Как же будут теперь праздники считать? Этот вопрос меня больше всего смущает. Тоже вздумала Россия за Европой угнаться! В культуре отстает, а по внешности тоже хочет походить на Европу. На то она и Россия, чтобы отставать!!!

Как посмотрела на полку, а она вся черная от мух. Не вытерпела, взяла полотенце и стала гонять, даже рука заболела. А всё их много.

15 (по нов. ст. 28. — И.Н.) июня 1920. Понедельник

У Надежды Михайловны есть кот Касьян. Сначала был прелестным котенком, а потом стал таким несчастным, голодным, паршивым котом. А она все не хотела его отравить. Касьян никому покою не давал, во дворе его все боялись, а дома он все прыгал на мою постель. Сегодня, когда Забниных не было дома, Мотя взяла и утопила его в помойной яме, да еще вилами придавила. И весь двор (кроме детворы), знал об этом заговоре, и все радовались. Интересно, заметит ли Над<ежда> Мих<айловна>?

Сейчас с Мамочкой занималась по географии и зоологии и почувствовала удовлетворение. Если бы я занималась регулярно, я бы очень скоро кончила и географию и зоологию, и принялась бы за историю и алгебру. Так скоро можно и экзамен держать. Это уж вовсе не так трудно.

Стоят у сарая две девчурки, лет 3-4, Лиза и Нина. Отец Лизы — коммунист, командующий юго-западным фронтом, а она живет у бабушки. Нина — дочь Моти. «Это нас салай!» — заявляет Лиза. «Нет, нас». «Уходи, уходи, Нинка, это нас салай», — не унимается коммунистическая дочка. «Мама, цево Лизка лугается, — хнычет Нина, — вот тебе, вот тебе», и она хватает Лизу за платье и начинает ее трясти. «А... эх... не дам тебе салай, он нас, нас, не дам, уходи из насево салая», — ревет Лиза. Вот так коммунистка.

А во дворе у нас все большевики. О чем говорят взрослые — мы не знаем, но их выдают их дети. Ходят с красными флагами, и поют: «Выше неси над собою красное знамя труда!», или вдруг раздается возглас: «Это Врангель, держи его, держи! Повесить! Расстрелять!» Или те же Лиза и Нинка: «Ты большевица?» — «Нет». — «Так я тебя алестую». — «Зацем?» — «Так надо».

16 (по нов. ст. 29. — И.Н.) июня 1920. Вторник

За последнее время я каждой день во сне вижу Харьков. То свою комнату, то какой-нибудь предмет из нее, то квартиру Гливнок, то — Веры Кузнецовой. И каждый день вижу одни и те же лица. Главные из них — это Таня и Вера. Часто вижу Ксаню. Остальные как-то в тумане. Но каждую ночь я витаю в Харькове. И все так хорошо, хорошо... Жалкий обман! Сегодня я видела, как будто мы только что приехали и первую ночь ночуем у себя на квартире; так радостно и легко на душе! Но просыпаюсь в надежде увидеть свою милую комнатку и вдруг.. горькое разочарование!.. Встаю грустная и расстроенная. И так изо дня в день; ночью в Харькове, днем в Симферополе. Странно, когда я писала дневник в черной тетради, в каком бы я ни была минорном настроении, едва я открываю его, на меня веет как-то хорошим, светлым, появляется смутная надежда, и перо невольно просится написать утешение в ответ на мои мрачные мысли. Теперь наоборот. Хочу я занести в дневник что-нибудь хорошее, отблеск надежды, рука невольно пишет смертный приговор. Почему так, не знаю. Должно быть, раньше я надеялась и верила, а теперь... хочу верить, да не могу; хочу надеяться, да не на что. И такие прекрасные сны только дразнят меня. О, если бы только они сбылись. Сколько бы лет своей жизни я отдала за это!

20 июня (по нов. ст. 3 июля. — И.Н.) 1920. Суббота

Недавно в Симферополь приехал один купец из Харькова, выехавший оттуда в апреле. Вчера Папа-Коля разговаривал с ним. В Харькове ужасающий тиф. Нет дома, где бы не было больного; в один день было насчитано 9998 больных. Холод ужасный; учебные заведения не функционируют, во-первых, от холода, во-вторых, все здания реквизированы. Свету нет, трамваи не ходят, магазины закрыты и заколочены. Чрезвычайка существует, но на Чайковской ее нет. Продуктов никаких нет. Хлеб стоит 150 р<ублей>, а самый высокий оклад 6000 р<ублей>. Население разъезжается по деревням. Происходят частые реквизиции. Жить в городе очень трудно. Настроение ужасное. Ждут поляков и Петлюру.

О добровольцах уже давно забыли. Бедные харьковцы, пожалуй, что им живется еще хуже нас. Когда-то мы все это узнаем?

21 июня (по нов. ст. 4 июля. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Что нас ждет в будущем? Мы об этом никогда не говорим, да и незачем это. Впереди — ничего хорошего. Зиму... даже страшно подумать о зиме: холодная комната, быть может, гимназия и... даже не знаю что. Если даже к будущему лету и вернемся в Харьков, так там что? Ничего. Может быть, даже и жить там не станем. Чувствую, там произошло много ужасного. Вот она жизнь, вот она мечта! Какая горькая насмешка судьбы! Как давно я ждала перелома в нашей жизни, и до сих пор его нет. Уж в Туапсе, при зеленых, казалось вот-вот он должен произойти; поехали в Крым, и опять та же жизнь, без всякой перемены. Не жизнь, а бессмысленное существование. Моя жизнь осталась в Харькове.

Вечер. Спешу поделиться на этот раз большой радостью: на фронте колоссальные победы, мы поймали в мешок самые сильные и самые опасные части красных, которые угрожали Мелитополью. Вся эта группа разбита. Взята масса пленных, масса орудий, пулеметов, снарядов и т.д. Ура доблестной Русской Армии! Ура тому, кто сумел из разбитых, унылых, небоеспособных частей, переброшенных с Кавказа, в кратчайший срок сотворить такую армию. Но?.. Это я уже усвоила черту Каменева: при неудачах унывать, говорить, что дело пропало, каркать и раздувать историю, и к удачам относиться скептически. Нехорошая черта, но что делать, если веры нет. Хотя, как подумаешь, какая армия была несколько месяцев тому назад и какая — теперь! — так уж и не знаю что. Веру я оставила в Ростове, надежду — в Туапсе, а любовь — в Керчи. В Симферополе я стала определенно ненавидеть людей. За время моего беженства я разочаровалась буквально во всех, начиная от армии и кончая Лидой Фихтер. А пока — да здравствует наша армия и все, идущие против большевиков!!!

22 июня (по нов. ст. 5 июля. — И.Н.) 1920. Понедельник

Сегодня я одна пошла гулять за город на восток. Перспективой у меня были вершины гор, я хотела посмотреть, что за перевалом. Как-то мы с Мамочкой говорили, что хорошо бы и собраться на эти горы. Но я уже знаю, что это мы никогда не соберемся. Шла я без всякой дороги; солнце палило немилосердно. Дошла до хутора, расположенного по склону гор, верстах в двух от города; решила, что поздно, и пошла домой. Мамочка очень боится, как это я хожу одна в поле. Должно быть, Кутневичи навели ее на такие

мысли: она-то и на кладбище боится ходить. Но это был единственный день, когда у меня не болела голова, и я поставила ей ультиматум: или я буду гулять, или лежать с головною болью. От плохого ли питания или от чего другого, я не знаю, но только я страшно устала, что со мной никогда не бывало раньше. И почувствовала я это только тогда, когда пришла домой, а тут опять тащиться на обед. Я и сейчас чувствую такую усталость, что даже не в состоянии была пойти на симфонический концерт.

23 июня (по нов. ст. 6 июля. — И.Н.) 1920. Вторник

Проснулась под грохот, как мне показалось, 10-ти орудий. В первую минуту решила, что мы в Туапсе и наступают зеленые. Только потом сообразила, что это была сильная гроза и, может быть, даже вовсе не такая сильная, как мне показалось спросонья. Но настроение уже испортилось. Идет дождь, безнадежно унылый, то переходя в ливень, то почти совсем затихая.

Странную вещь я вспомнила сейчас. В ночь под Рождество в теплушке, когда Швитченко рассказывал святочные рассказы о пауках, о снах и о приметах, в ту ночь я видела сон, что мы едем на пароходе, вещий сон! И вспомнила я о нем только на «Дообе». К сожалению, не помню, чем он кончился. Много на свете необъяснимых вещей. Может быть, и все мои сны о Харькове (я их больше не вижу) тоже правда?!

24 июня (по нов. ст. 7 июля. — И.Н.) 1920. Среда

Недавно я видела в театре «Граф Люксембург», вчера — «Король веселится».

Прохожу мимо комиссионных магазинов. Невольно останавливаюсь перед витринами. Чего-то только тут нет! Вот старинная тумбочка красного дерева, удивительно изящной работы, серьги, кольца, браслеты, бронзовые статуэтки, часы, сервизы, чудный кофейный сервиз, фарфоровый, серебряный, тут же перчатки, зонтики, книги и т.д. К какому черту спекулянты продают теперь эти вещи?!

Лишь жить в самом себе умей,
Есть целый мир в душе твоей.

И как это там еще говорит Тютчев. Я с ним совершенно согласна. Я никогда не делюсь ни с кем впечатлениями, чувствами, мыслями. Прежде чем сказать что-нибудь, надо подумать: а интересно ли это слушать другому и надо ли ему это знать? Надо бояться обременять других своей откровенностью. Надо молчать. Надо

«уметь жить только в самом себе». В этом и есть задача жизни. Вчера ночью идем мы из театра. Ночь такая красивая, лунная, звездная. Так и хочется сказать: «Как хорошо!» А в голову лезет мысль: «А кому какое дело, хорошо тебе или нет? Каждый это и без тебя чувствует». И так всегда. Случайно брошенное слово, обращенное к себе, часто влечет за собой бездельный, глупый разговор. «Живи в самом себе» — это мудрый закон судьбы. Но не в этом заключается загадка жизни. Тут есть еще что-то, до чего не только я, но еще и никто не додумался, над чем все люди ломают голову. И я буду искать эту истину, всю жизнь буду искать.

26 июня (по нов. ст. 9 июля. — И.Н.) 1920. Пятница

Так вот место моего заточения! Вот она, моя дача-тюрьма! Вот этот уголок, полный зелени, тишины и спокойствия, где под палящими лучами южного солнца мне суждено провести жаркое, душное, знойное крымское лето!

Вчера мы переехали сюда. Глухой переулок, весь в зелени. У нас две большие комнаты, мягкая мебель, зеркала, две кровати, электричество, хорошо. Есть сад, не то что прекрасный, он малюсенький, но хороший садик. Около дома, под огромным развесистым деревом мы пили чай. Напоминает не то дачу, не то Славянск. Но... с каким бы удовольствием я бы все это променяла на Харьков!

Долго я бродила по дорожкам сада, и не нашлось уголка, куда бы ни проникало солнце. Деревя все усеяны абрикосами, только рвать их нельзя. А кругом высокий, как тюремная стена, уложенный из камня забор, обвитый виноградом и обсаженный туями. Все чуждо, и нет уголка, который бы напоминал север. Четыре каменных стены в саду, четыре каменных стены в доме, и нет простора, и нет успокоения, и нет отрады среди этих высоких стен!

Нет слов, здесь лучше, чем на Бетлинговской, но неужто это и есть награда за все мои мытарства. Да я готова перенести вдвое больше, лишь бы скорее вернуться домой. Потому я въезжала сюда с тяжелым чувством: не такой награды я ждала. Я не хотела комфорта, я старалась жить даже как можно хуже, я хотела заслужить мое счастье...

Пусть дома нет ни сада, ни качалки, но там свой угол, своя жизнь, а здесь... тюрьма!

Грустно мне, будто бы сунули мне этот сад, как соску младенцу: на, забавляйся, да позабудь обо всем. И хочется разломать, изуродовать этот сад и уйти далеко-далеко, остаться одной и плакать, плакать, горько плакать. Одной, вечно одной, как узница.

Хочется жить, да жизни нет. Не хватает за душу ни золотая красота гор, ни яркое небо, ни лунные, душные ночи. Все так чуждо, так далеко от сердца.

Хочется бледного неба, широких равнин, степей, хочется севера...

Хочется красоты, поэзии, музыки, дивной музыки, чтобы звуки вливались в душу и пели, сладко пели в сердце.

Хочется жить бодро, энергично, шумно, работать до вечера, уставать, а с утра снова работать; хочется кипучей деятельности, жизни, а ее нет.

Моя жизнь осталась в Харькове.

Я не живу, а только существую, одна, с самого Харькова одна. Мне не надо людей; только те, кто пережили это, поймут меня.

Где Колчак? Где мой идеал? Кому мне теперь посвящать мои мечты? О ком думать? Кого любить? И я одна, одна, одна в тюрьме.

27 июня (по нов. ст. 10 июля. — И.Н.) 1920. Суббота

Скучно. Делать нечего. Тоска. Пойду, что ли, в сад. А там что? А после что?

Сегодня мы ходили с Папой-Колей к его знакомому в новый город. Там огромный сад, в семь десятин. Я вдоволь наелась абрикосов и груш. Там хорошо было. А как же мы здесь живем? А так же, как и на Бетлинговской. Та же тоска, то же уныние. Только что Каменева нет. О, какое мучение! Как хочется спать, спать и не просыпаться; грезить и грезить... Тесно, душно... скучно... пошло... и однообразно здесь. Хочется иного...

С Мамочкой происходят столкновения. «Зачем ты стараешься причинять себе страдания?» Она не понимает ту мысль, которая для меня так ясна, что счастья можно добиться только страданием: после страданий всегда бывает счастье, и чем сильнее они, тем больше награда. Говорить эту мысль Мамочке я не хочу, отчасти из самолюбия, боясь, что она покажется ей наивной и суеверной. А посмеяться над моими мыслями, над тем, во что я глубоко верю, я не позволю! Это моя религия, моя святыня, это глубокая мысль моей души.

29 июня (по нов. ст. 12 июля. — И.Н.) 1920. Понедельник

Сейчас я написала длинное стихотворение памяти Колчака и посвятила его ему. Писала я почти без остановки, строку за строкой, не читая написанного. Написала: «Посвящается А.В.К.» Папа-Коля все догадывался, кто бы это был и... догадался. Но я, конечно, и ногами и руками отмахиваюсь от этого. Много души вложила в это стихотворение, много в нем искренности и правды. К счастью, еще

Папа-Коля не понял, что этот призрак и есть Колчак. Назвала я его «Le Revenant»*.

30 июня (по нов. ст. 13 июля. — И.Н.) 1920. Вторник

О Господи! Опять о вчерашнем «Le Revenant». Никто его не понял. Я писала в порыве страсти, энтузиазма, не заботясь о рифмах, и музыкальных созвучьях, в нем нет красоты. В нем один восторг, навеянный музыкой и желанием; молитва идеалу, преклонение перед ним; излияние чувств, любовь — вот что я чувствую в этом стихотворении. Как же это понять другим?! С Мамочкой опять столкновение: «Ты думаешь, ты что-нибудь особенное и тебя “никто не понимает?”» Хоть я и “не что-нибудь особенное”, но меня не всегда понимают. И названо оно неправильно. Я хотела назвать его «Плач любви», но решила, что это будет слишком громко и ясно.

3 (по нов. ст. 16. — И.Н.) июля 1920. Пятница

Недавно Донников вернулся из Мелитополя. Я, конечно, не стану передавать всего, что он рассказывал. На фронте настроение прекрасное. Врангель сказал, что через неделю мы могли бы быть в Харькове, но у нас отвратительный тыл, и армия не двинется вперед, пока не наладятся гражданские управления. Стоп, машина! Значит, теперь уже факт, что мы в Харьков не попадем. И мне теперь совершенно безразлично, где придется зимовать. Зимой очень плохо будет, да и летом-то не славно. Но мне все равно... Вот мы уже больше трех месяцев в Симферополе. А кажется, неделю. Как глупо, как однообразно прошли эти месяцы. В Туапсе мы были 2½, а кажется — целая вечность! Кажется, что только вчера я говорила: «Я могу ждать еще месяц, целый месяц, не больше» — и вот уже этот месяц приходит к концу. Даже жутко делается, что уже 3-е июля! Время летит так быстро, а мои занятия — ни на шаг. А впрочем, если не в Харькове, так не все ли равно быть в 5-ом или в 4-ом классе. Мне уже все равно. Такое безразличие ко всему... С 18-го будет новый стиль. И это мне уже все равно... Такая меланхолия... такое равнодушие.

6 (по нов. ст. 19. — И.Н.) июля 1920. Понедельник

На днях я видела в театре «Сверчок на печи»... А впрочем, зачем я это пишу, когда у меня есть вопрос, который меня гораздо больше интересует: правда ли, что Слащев сошел с ума?

* Призрак (фр.).

Недавно Папа-Коля узнал, что в конвое Слащева есть вольноопределяющийся Кнорринг, у которого в Харькове есть родной дядя. Навели справки, оказалось, что нет, не Игорь. А уж так это, поди, подзадорило, так раздражило.

Мое положение безнадежно. Уже скоро начало занятий, а я еще и не начала заниматься. Я на днях должна была начать заниматься с Кутневич, да книг нет. Что делать? Есть у меня только алгебра, синтаксис, древняя история и география. Я решила одна заниматься географией, кончить ее и перейти на другой предмет, и хоть это могу знать как следует, а там... там как-нибудь. Однако подвели меня занятия. Не думала, что это будет самым больным местом!

Сейчас гуляла в саду и ела абрикосовые косточки (абрикосов нет, зато косточек уйма).

7 (по нов. ст. 20. — И.Н.) июля 1920. Вторник

Мне сейчас предстоит одно неприятное дело: пойти в библиотеку. Неприятность, во-первых, потому, что я абсолютно не знаю, что мне взять: там ничего нет; а во-вторых, я задержала книгу 12 дней, хотя прочла ее давным-давно. Как теперь отделаться — не знаю. Через полчаса мне идти. О, ужас!?!!

Пришла из библиотеки. Точно камень с души свалился. Все обошлось благополучно. Но теперь уже раньше вторника не пойду, дудки!

10 (по нов. ст. 23. — И.Н.) июля 1920. Пятница

Странное у меня чувство на душе: как будто я уже прошла свою жизнь, и скоро всему конец. Будущее туманно и страшно. Как подумаешь, что жить в Симферополе, что с Харьковом все порвано, так до слёз, до боли делается жаль себя. Кто поймет такое состояние? Предчувствия странные: чувствую я совершенно ясно, что жить в Симферополе мы не будем, что скоро-скоро вернемся домой. Другое чувство говорит, что скоро и всей жизни конец. Говорят, сердце вещун, не обманет, а меня наверно обманывает. Не верю!

И себя жаль, и всех беженцев жаль; и того бедного судейского в рваном пальто жаль, что обедает с нами в столовой и весь день ничего не ест, кроме супа; жаль и Донникова, и всех-всех, и снова — себя. Нет, я правду говорю, что у меня жизнь осталась в Харькове.

11 (по нов. ст. 24. — И.Н.) июля 1920. Суббота

Сегодня я ходила с утра с детской площадкой гулять. Ядвига Матвеевна работает на этой площадке и позвала меня гулять. Там все малыши, но такие славные. Ходили на «второй ставок» — это

пруд и сад. Я не люблю описывать прогулок: это уже скучно, не свободно, похоже на обязательство, на гимназическое сочинение и т.д. Да и зачем это?

Сейчас я читала рассказ о древних раскопках, о чтении иероглифов и клинописей, и так меня завлекла эта история древнего Вавилона, его культура, искусство, жизнь... Древняя история очень интересна, но... не по учебнику и не для экзамена. Так бы зарыться в древние исторические книги, позабыть обо всем на свете, наслаждаться прошлым и, главное, сознавать, что никому это не надо будет рассказывать. (Как меня отчаянно искушали москиты, вот мученье!)

Вот уже и 11 июля, мой срок истек, я больше не могу ждать... и не жду. Довольно ждать! Что это за правительство, в самом деле! До сих пор еще Александровск не взят, а я уже мечтаю о Харькове. Эх, да что там! «Пропадай моя телега, все четыре колеса». (Неожиданная резолюция!)

12 (по нов. ст. 25. — И.Н.) июля 1920. Воскресенье

Мне вспомнилось сейчас 16 ноября, весь день. Счастливые воспоминания, гимназия, вестибюль. Я, Таня, Ксения и Леночка играем в квача между вешалок. Занятия уже кончились, и все ушли, на вешалках висят только наши шубы, на окне набросаны книги. Помню, как сейчас, такую картину. Таня сидит на окне, Леночка застегивает шубу, а Ксения ищет свои книги, которые я от нее спрятала; в конце концов я ей нахожу их. Я одеваюсь, и мы выходим наверх, стоим у входных дверей, болтаем о том, о сём. «Ну, пора, довольно», — говорит Ксения. Я целуюсь с ней и с Леночкой. «С тобой не стоит», — говорю я Тане. Она смеется и уходит к себе. Леночка и Ксения уже за дверь. «Ирина — до завтра», — кричит мне Таня, скрываясь в коридоре. Я даже не обернулась... С тех пор я ее больше не видела. Дома я позанималась с Галей Хворостанской музыкой, убрала свою комнату и радовалась, что завтра воскресенье, не идти в гимназию, завтра мы с Таней будем изображать что-то интересное, завтра раздобудем сани и будем кататься... А назавтра я уже стала беженкой... И вот с тех пор не знаю ни покоя, ни радости. Я не преувеличиваю, я не ною.

13 (по нов. ст. 26. — И.Н.) июля 1920. Понедельник

Скоро 12, значит, потухнет электричество. Я уже разделась и, закутавшись в простыню, сижу на том диване, где и сплю, перед столом, странная у меня появилась привычка — ложиться, т.е. раздеваться рано, а потом продолжать читать, писать и заниматься.

Окно раскрыто, хотя наш хозяин, пан Раковский, и злится и ругается, но мы их не закрываем раньше, чем потухнет свет.

Сегодня что-то у соседей тихо, а то вчера у них были гости, и Чурилин читал свои стихи, да с таким пафосом, что я хохотала; мне они совсем не нравятся: ерунда, в футуристическом стиле.

В этом доме столько народу живет и столько приходит, что я совершенно спуталась, кто здешний, кто нет; даже сама панна Элеонора (экономка) ничего не понимает, а это уже значит — серьезно. К пану ежедневно приезжает старая панна княгиня, даже, кажется, с дочерью, а может быть, они и живут здесь, едят цыплят и задаются. К Чурилину приходит жена. С Зацепиным жил какой-то офицер. И все они такие надменные, противные. Единственный симпатичный из них — это Аренс. Он простой, и мне очень нравится. Говорят, он даже сам себе белье стирает.

Еще в этом доме живет одна татарская семья: слепая старуха, сын ее Якуб и его жена, русская, но принявшая магометанскую веру — Лиля-Ханум. Якуб, или, как она его называет, Кубик, страшно ревнивый; он ее одну никуда не пускает, не позволяет ни с кем знакомиться и т.д. Вышла же она за него не по любви, а просто очутилась в безвыходном положении, будучи беженкой без гроша денег, а тут подвернулся такой богатый человек, миллионер (или по-современному «биллионер»)... Что же ей оставалось делать?

А теперь спать. Завтра рано вставать, напиться кофе и идти на Бетлинговскую, 43 за молоком, кипятить его на мангале, заниматься, идти в столовую, покупать обеды, обедать там опять... А сейчас закутаться в простыню и спать до утра, а главное, думать...

Не забывать действительности, а только унести из этого душного тесного Крыма туда... туда... на север... На чем же в прошлый раз я прервала свою мечту?..

15 / 28 июля 1920. Среда

Сегодня Александр Васильевич уезжает из Симферополя месяца на 2-3. Но он вообще не намерен возвращаться сюда, он будет пробираться на север, даже в Совдепию, если здесь будет крах. А мне жаль: единственно близкий человек был, и тот уезжает. Он у нас бывал постоянно, я даже не замечала его. Он у нас стал своим человеком, и мне жаль, что он покидает нас. Теперь будет еще скучнее.

У нас опять финансовый кризис. Сейчас Мамочка с Папой-Колей выбирают из наших немногочисленных золотых вещей, что бы продать. Все они дороги по памяти, все их страшно жаль! А другого выхода нет. Папа-Коля хочет продать свои новые английские

ботинки. Мамочка только сегодня поступила на службу, а Папа-Коля уже давно без места.

19 июля (по нов. ст. 1 августа. — И.Н.) 1920. Воскресенье

Я плакала. Я с самого утра плакала сегодня. За чаем обиделась на Мамочку, ушла в другую комнату, за ширмы, легла на кровать и плакала... в первый раз. После слёз всегда бывает легче, а у меня не было их, не было. Много горя, много обиды, ненависти и отчаяния накопилось у меня на душе, с тех пор как я стала беженкой. Я одна. Я с самого Харькова одна. Мне не с кем поделиться. Дневник, сухой, пошлый, бесчувственный дневник мне не заменит друга. Он не отвечает на мои мольбы, и никто не отвечает.

(Воспоминания И.Кнорринг. — И.Н.)

...В душной маленькой теплушке люди, вещи; все это смешалось в какой-то бесформенной массе. Посредине вагона чуть горит небольшая чугунная печка, а на стене коптит маленькая керосиновая лампочка. Холодный, зловещий мрак. Из темных углов выглядывают мрачные лица. Дверь приоткрыта. По широкой снежной равнине только и видно бесконечные сцепления красных вагончиков, красные ящики без окон, без двери, а в них тоже люди, усталые, изнуренные люди, и бегущие в дикой панике, в страшном смятении. Куда? Зачем? Что ждет нас в Туапсе? Между вагонов бродят тени, молча. И все молчат в вагоне. Мы знаем, что Добровольческая армия разбита, и несчастные, жалкие остатки бегут, бросая оружие, бегут за нами, за длинной цепью красных вагончиков. И следом за нами идут большевики. Мы знаем это. Но мы забыли, что наступает светлый праздник Рождества, совсем забыли. Вдруг раздались громкие слова молитвы, торжественное пение, и душа встрепенулась. Здесь, в теплушке такая встреча праздника! И на минуту стало легче на душе. Но после всенощной, когда я легла на корзину, прислонившись головой к холодной стене, мне стало грустно, так сладко грустно. И под шум колёс, под толчки налетавших один на другой вагонов, под завывание ветра, под зловещее молчание я плакала. Тогда я еще могла плакать. И кто в этот миг ответил на мою грусть, кто мне сказал ласковое живое слово? Говорили, да не то, что нужно. И я вынимала из кармана шубы маленького слоника, моего единственного друга, и целовала его...

А вот и Туапсе. Душный, маленький класс, громоздкие парты. Примус шипит, наш единственный кормилец. Коптит маленькая лампа с разбитым стеклом... А на дворе бушует холодный, бешеный норд-ост, сваливает с ног запоздалого прохожего, поднимает снег и заносит низкие туапсинские долины. Входит Пиневиц, греет на примусе окоченевшие руки и говорит одну за другой страшные новости. И все молчат, и у всех на лице только один

страшный, безграничный ужас. И в такие минуты я опять была одна со своим маленьким слоником...

А вот мы на «Дообе». Тут уже совсем нельзя разобрать человека: это какая то сплошная живая масса людей; никто не может пошевелиться, каждый цепляется за другого, стараясь освободиться от налегших ему на плечи людей. Ноги отекли, на них лежит что-то тяжелое, голова откинулась назад и стала какая-то тяжелая-тяжелая, в глазах серый туман, за бортом огромные, разъяренные волны, и между ними глубокие, зловещие бездны. И невольно смотрится туда, где широкой бледной полосой чуть виднеется берег мрачного, негостеприимного Кавказа. Вперед, в синюю неведомую даль страшно смотреть, страшно заглядывать даже за день вперед. Что-то с нами будет, зачем мы едем? И никто из этой живой, бесформенной массы, заброшенной на палубу, не знает этого. Каждый едет, потому что все едут, потому что не все ли равно, где жить беженцам. Из Курска, Орла, Харькова, Киева, Царицына, Ростова, Новочеркасска, Таганрога и многих других городов собрались на этой палубе и отдались на волю капитана. «Куда привезут, там и будем жить». И все уверены, что Крым — только оттяжка, что и туда проникнут красные войска, что всему конец. За «Дообом», на длинном канате, то глубоко погружаясь в море, то поднимаясь на волны, качалась баржа. Там ехали казаки, пешие, разбитые части, у них усталый угрюмый вид жестокого недовольства, злоба и отчаяние сквозят в их взглядах, и едут они, быть может, тоже на «авось», или затевают недоброе дело. Ужас и отчаяние сжимают сердца, как глянeshь на эти черные фигуры, сплошь покрывшие баржу. И опять каждый думал про себя страшную думу, и ни у кого не нашлось слова утешения. Каждый страдал один.

Вот Пасхальная ночь... Опять бесконечный ряд красных вагончиков, слякоть и грязь. Только здесь уже другая картина: это не беженцы, бежавшие без оглядки, здесь поезда идут во все стороны, и едут в них мирные крымчане, спекулянты и офицеры. Было совсем темно в вагоне. В одном углу лежал и метался в бреду сыпнотифозный, еще совсем молодой офицер. Он бредил. И было страшно слушать его бред. Из другой половины теплушки тоже раздавались стоны и дикие, бессвязные слова...

А из Джанкоя доносился мерный, торжественный благовест. И в эту ночь, когда каждая душа наполняется святым восторгом, в эту ночь мы были забыты. Никто не вспомнил о беженцах. Крымчане — холодный, черствый, эгоистичный народ, не отзовутся на чужое горе, и мы были одни. Только, может быть, там, на севере, кто-нибудь вспомнил о нас...

20 июля / 2 августа 1920. Понедельник

Папа-Коля сейчас был на собрании в столовой. Туда пришел тот бедный судейский, о котором я как-то упоминала. Пришел

выпить чаю (ему дома не дают даже кипятку) и попал на собрание. Он уже два дня не ходил в столовую. После холерной прививки у него была сильная реакция, а у него больное сердце. У него был такой ужасный вид, такой ужасный, что даже представить трудно. Пришел, сел за стол в своей обычной позе, облокотил голову на руку и... умер. Умер от голода, так тихо, так спокойно.

Сейчас я занимаюсь с Екатериной Дмитриевной. Экзамен через месяц, а я даже что знала — забыла. Языки, алгебра, теория словесности — совсем слабо. А я теперь живу не прошлым, не настоящим, не даже будущим. Если я погружаюсь в прошлое — так только в недавнее, с 17 ноября, и то только тогда, когда становится невыносимо грустно, когда так хочется с кем-нибудь поделиться. Многое из беженства я помню уже по своим собственным рассказам. Путешествие по морю совсем выпало у меня из головы, но я его, точно затверженный урок, часто говорю сама себе, идя за молоком. Идти полем, никого нет, ну я и говорю шепотом. Ну, и теперь я уже никогда не буду так говорить: если уж я что занесла в дневник, значит — конец! Так же было и в прошлом году, когда я записала свою мечту — и перестала мечтать. Почему — не знаю. Мечта была глупая — так я этого не замечала, а на бумаге заметила. Все хорошо только глубоко в душе, а на бумаге это уже не то, фальшиво и пошло. «Мысль изреченная есть ложь!»

О будущем я мечтаю неверно. Я хочу только одного: вернуться в Харьков. Мне все равно, как мы там будем жить, мне надо быть дома, а там... там посмотрим, что я буду хотеть. Высвободиться от этой мертвящей жизни, увидеть Таню — с меня довольно и этого. Фактически я живу настоящим, ни на миг не заглядывая вперед. Мне все равно, что будет со мной завтра, я живу совершенно равнодушно. Когда я чем-нибудь занята, учу уроки, кипячу молоко или убираю, я только и думаю об этом. Кончила и начинаю тосковать, нигде не могу найти себе места. Да разве бы дома я стала так скучать?!!! В действительности же будущее это грозно ждет меня впереди, я и не заглядываю, не хочу, ну его! Прощай, милый Харьков, прощай, если не навсегда, то, по крайней мере, до будущего лета. Ну а с того времени там совсем забудут о нас. Мы там уже станем чужими.

23 июля / 5 августа 1920. Четверг

Я совсем одурела сегодня. Занималась весь день и без перерыва, и все, что учила, сразу забыла. Калишская, Сувалкская, Радомская губернии. Продолжение германской изменности, горы (какие же?). На фабриках Лодзи и Соковиц... Хлопчатобумажные,

шерстяные. Плоцкое... Да нет... Как множить многочлены на многочлены? — я забыла... Растения, которые размножаются ветром... Так что же они потом?... Какие там заповеди Ирана? А в ушах звучит похоронный марш, который я сегодня слушала.

Я читала «Войну и Мир», ужасный бой, я так и вижу его. Или, вернее, слышу: то ужасное отступление, как оно знакомо мне, точно такую же картину, страшную, жуткую картину я видела в Азове, в Туапсе, в Керчи. Снова мысль перескакивает на географию, на алгебру, ботанику и приходит к языкам. Я почти все слова знаю во французском рассказе, а смысла схватить не могу. Скоро экзамен. А я? Сердце сжимается так больно, руки безнадежно опускаются. Экзамен, а я теряю всякую память, да и не только память, а всякое сознание, гляжу перед собой на самовар и никак не могу сообразить, что же это такое. Напрягаю всю свою память, вдумываюсь, вглядываюсь... И не могу понять... Кладу перо, смотрю... И ничего не вижу: серая дымка, под цвет обоев, как туман или пар, закрывает все, виден только потолок соседней комнаты, и я смотрю на него и не могу оторваться. Да где же я? Давно знакомая обстановка, ощущение, что я в Харькове, дома, близость чего-то милого-милого охватывает меня. Туман... И в ушах мерно и отчетливо звучат звуки похоронного марша... Так что же это? — чуть не выкрикиваю я. А ничего. Белая бумага, а на ней бессмысленные, безобразные каракули... иероглифы... клинопись... Финикийцы изобрели алфавит... и персы... О Боже, да это какой-то бред у меня. Уже поздно. Хочу ли я спать? О нет, это моя бедная нога с двумя огромными нарывами хочет спать. Я не хочу. Я определенно чувствую, что нога хочет спать, вот так вытянуться и спать, забыться. Я не хочу сидеть и умножать многочлены. Да полно, что я, ведь все это сон, ничего этого не было, ведь я дома. Вот-вот сейчас проснусь. Ах, какая я глупая, ведь это только сон. О, зачем не мне играли этот похоронный марш, который так мерно и отчетливо звучит у меня в ушах?!

26 июля / 8 августа 1920. Воскресенье

В саду темно-темно. Я брожу по дорожкам без всякой цели, без мысли. Тихо так, ни один листочек не шевелится. И я одна. В руках у меня какой-то белый цветок, и ничего не видно, и как-то грустно, уныло. Небо серое, высокое, здесь и там загорелись яркие звездочки. И я одна, одна, как и та маленькая, едва заметная, одинокая звезда. И мысли мои — также от этого сада, от этой ночи... Мысли — мои страшные враги, их ничем не отгонишь. Я уже не знаю, о чем я думала. Три героя вспомнились мне, три образа,

столь различные и столь близкие друг другу, рисовались в моем воображении. Колчак, что-то могучее, сильное, великое, что-то неясное и далекое. Его стремления, его идеи, его конец... Это ужас. Образ Деникина, светлый и ясный. Все его слова, мысли, идеи — все полно такой бесконечной любовью к родине, все так искренно, прямо и честно. Только не все оказались такими. И мне жаль его, страшно жаль, я даже не знаю, кого больше. Наконец, Врангель. Что-то молодое, светлое, бодрое, а дальше — сомнения. Сомнение во всем. И опять англичане, эти подлые твари требуют мира. Опять очень хорошее положение на фронте, и снова как будто наступает опасный момент. И сердце сжимается в каком-то страхе... в таком сладком сомнении...

Надо ждать событий!

30 июля / 12 августа 1920. Четверг

Вчера я долго гуляла в саду. Было уже совсем, совсем темно. А так хорошо. Я ходила по дорожкам, и мне было хорошо в одиночестве. Вдруг я заметила, что и в доме стало совсем темно. Это значит, что панна Элеонора легла спать и заперла дверь. Так как же я попаду домой? (Наши комнаты выходят на улицу). Но я не остановилась на этой мысли. Я села на скамейку. Мне совершенно не хотелось идти домой. Я знала, что там: шипенье примуса, духота, раздраженные слова измученных людей. А здесь так хорошо. И я чувствовала, что в этот момент должно произойти что-то необычайное, что не может эта ночь пройти бесследно. А между тем ничего не произошло. Проснулась Броня (прислуга) и отперла мне дверь. И мне стало неловко. Пришла я домой в самом восторженном состоянии. На душе было так тихо и спокойно. А Мамочка меня встретила словами: «Вот видишь, ты едва попала в дом»... И снова на меня пахнуло сухой, обидной жизнью. А мне было так хорошо... и все исчезло. И я опять стала такой же жестокой и сухой, какой всегда бываю при людях.

1 / 14 августа 1920. Суббота

Несколько лет тому назад я только и мечтала о мирной семейной жизни. Я рисовала ее в будущем и старалась создать ее в настоящем. Это не удавалось, и этого никогда не было, а между тем я была счастлива. Может быть, и не совсем, но и то только потому, что у меня в гимназии с французским всегда было неладно (французский отравлял мне все существование), а семейный уют, которого я не нашла дома, особенно когда Мамочка начала служить, я старалась находить у других. Но я все-таки очень любила

дом и никогда не убегала от него, как теперь, и никогда не было у нас такой гадкой, сварливой атмосферы, как теперь... И никогда мне не хотелось так дома и уютно...

И я решила не жить, т.е. бросить всякие попытки, пожелания и удовольствия. Жизнь в Харькове, а здесь я только машина. Я сейчас ничего не хочу, мною управляют другие. Мне говорят: занимайся — я занимаюсь. Но и тут все зависит не от меня, а от Екатерины Дмитриевны: сколько она задаст, столько я выучу, ни больше, ни меньше. И мне совершенно все равно, зачем это и чем все это кончится. Я отдала себя на волю других... Единственное, что я еще делаю для себя, это стараюсь сделать себе как можно хуже. Отказываюсь от всего, что раньше любила: от сладкого, от фруктов и тому подобных искушений. Сегодня воздержалась от дынь, вместо сахара употребляю сахарин и то в очень небольшом количестве. Избегаю людей, ищу уединения.

И все делаю для себя как можно хуже. Как будто в монастырь собираюсь. Но нет! Я жить хочу, жить шумно и весело! Но только там... там. О, если бы туда!

С Мамочкой я избегаю разговаривать: она всегда мне говорит, вроде того, что: «Наслаждайся жизнью, забудь Харьков. Как будто мы здесь навсегда...» Такие разговоры неприятны. Забыть Харьков я не могу, если б даже и хотела. А я не хочу этого и боюсь, больше всего боюсь! Мамочке я, как человек неискренний, ничего существенного не возражаю, но, как ножом, режут меня эти слова. Делается так больно, так невыносимо больно. «Не говори, ради Бога, не говори мне этого!» Не знаю, что тут думает Мамочка. «С тобой-то и говорить нельзя. Никак к тебе не подступишься...» Я знаю, у нее были добрые намерения, она хотела помочь мне, утешить. Мне делается ее жаль, но я ничем не могу ей помочь, я едва удерживаюсь, чтобы не разреветься... Я ищу для себя мученья и горя, а не счастья. Когда все страдают, я предпочту страдание. Но всегда, всегда мысли мои витают «там», и всегда я думаю, да только и хочу думать о «нем». И даже как-то хорошо, тихо-радостно делается на душе, как подумаешь, что другие живут, а ты только наблюдаешь.

8 / 21 августа 1920. Суббота

Наконец-то я опять выбрала минутку отдаться дневнику. Я всю неделю непрерывно занималась. Жизнь мне кажется опять такой отвратительной. Что делать? Я не могу писать, потому что не могу выразить все то, что так больно, больно переживаю.

12 / 25 августа 1920. Среда

Я сегодня во сне видела, будто бы мы приехали в Харьков, и будто бы Иван Иванович расстрелян, Лидия Ивановна вроде как сумасшедшая стала, Валерку не видела. Таню видела странной, должно быть, тифом переболела. Нина такая же, как всегда. Проснулась — страшно, сердце так и бьется. Уснула — и опять тот же сон, только что Иван Иванович потом явился, и все пошло помирному и даже очень приятно. И я весь день нахожусь под впечатлением этого сна, какое-то тяжелое, тяжелое чувство весь день не покидает меня. И только сильнее потянуло «туда» — страшно. А вдруг там, действительно, произошло что-нибудь ужасное?! И так сделалось жаль всех оставшихся там: как нам ни плохо здесь, а уж там-то, наверно, хуже... И весь день сегодня, что бы я ни делала, о чем бы я ни думала, невольно приходит на ум этот сон, и весь день какое-то гнетущее состояние не покидает меня: как только вспомню или заговорят где-нибудь о Харькове, так только усиливается какое-то неприятное, тяжелое чувство. И вновь, находясь под таким тяжелым впечатлением, я начинаю хандрить...

Скорей, скорее «туда», пока не поздно, пока еще все живы!!!

15 / 28 августа 1920. Суббота

Сегодня с утра шел дождь. Было грязно и холодно. Я пошла в столовую, как всегда, босиком, потому что туфель у меня нет. Шлепаю в грязи, а ноги мерзнут. И так мне сделалось себя жаль, какой же я оборванкой хожу, и в такую погоду босиком, словно нищенка какая. В столовой одна барышня с удивлением взглянула на мои ноги и снисходительно улыбнулась. Не знаю уж, что она хотела выразить своей улыбкой. Да мне все равно. Пускай смеется, если ей весело. Я нисколько не стыжусь своего хулиганского вида: нужда! Другой меня за прислугу принял...

К сентябрю нам надо освободить комнату...

Папа-Коля без места.

Продавать скоро нечего будет...

Одеваться не во что...

С четверга экзамены. А у меня по истории еще весь Рим остался (не выучен. — *И.Н.*), а по естественной тоже страниц 10. По арифметике тоже не все закончено, по Закону — тоже много.

А надвигается страшная, неизвестная зима. Она пугает меня. Если мы будем и дальше в таком положении, мы зиму не переживем. Холод, голод, одежда, финансы, квартира — все это страшные вопросы... И потому каждый вечер, когда все ближе надвигается эта

«зима», такая тоска нападает, такое уныние и отчаяние!.. В Харькове, среди педагогов умерло 40%!!!..

18 / 31 августа 1920. Вторник

Расписание экзаменов

20 августа — Русский письменный.
22 августа — Закон Божий. Рукоделие
24 августа — Естественная наука.
26 августа — История.
27 августа — Русский устный.
28 августа — Математика.
30 августа — География.
31 августа — Языки.

Программа

Русский язык, синтаксис — пройдено к 18 авг<уста>

Закон Божий (далее не разборчиво. — *И.Н.*).

Естественная наука — всю мертвую и раст<ительную природу> — до спор — до изменения земной коры.

История. Древняя — пройдено до влияния завоеваний. Только окончила Пунические войны.

Математика — арифметика. Пройдено все, но нет практики.

География. Россию — на завтра задано кончить.

Немецкий — грамматика, почти все.

Французский — грамматика, почти все.

Сегодня весь день занималась. Распределила, когда каким предметом заниматься. Готовлюсь к экзамену усиленно. Т.е. занимаюсь до головной боли, а потом привожу в порядок мысли. Порой находит растерянность, не знаю, за что приняться, с чего начать: когда чем-нибудь занимаюсь, все кажется, что надо бы другим, что это я еще успею пройти. Порой проявляю некоторое беспокойство и нервничаю. Но странно то, что я не сомневаюсь в успехе. Только бы уж скорее прошло это время.

21 августа / 3 сентября 1920. Пятница

Начались у меня экзамены, а по этому случаю весь день рука дрожит. Вчера сдала русский письменный. Была диктовка. Написала я, кажется, ничего, но отметку еще не знаю. Вчера же узнала, что они прошли немного по алгебре, хотя директор говорил, что алгебры в 4-ом классе нет, и в программе ее, действительно, нет.

Экзамен алгебры 22-го. Пришла ко мне вчера Екатерина Дмитриевна, и мы с ней на скорую руку проходили эту несчастную алгебру. Прихожу сегодня. Ждать на дворе пришлось очень долго, пока нас позовут экзаменоваться. Двор был буквально запружен народом. Тут были и реалисты (это здание реального училища), и девочки, и родители, и учителя. В классе я села с той же девочкой, что и вчера. И в этом же классе экзаменовались по алгебре за 5-ый (класс. — *И.Н.*). И вдруг нам объявляют, что у нас будет не алгебра, а арифметика. Я в отчаянии: я к арифметике не готовилась. Дали нам задачу на сложное тройное правило, с какими-то лампочками. Будь это версты или рубли, я бы, наверно, решила, а с лампочками никак не выходит. У других тоже ничего. Наконец девочка, сидящая передо мной, кончила, со всех сторон шепот: «Какой ответ?» — «Шестнадцать». Я маюсь, маюсь, а никак 16 не получается. Страшно нервничаю и пытаюсь, и у меня $15 \times 15 = 75$. Потом у другой тоже получилось 16. Тогда я стала искать это число; ворожаю числа и так, и эдак и наконец добилась его, злосчастное 16! Я ничего не понимала в этой задаче, решала наугад и, наверное, наврала. Что-то будет? Неужели из-за этих «лампочек» оставаться в 4-ом классе? Да будь они прокляты, эти 16 лампочек.

24 августа / 6 сентября 1920. Понедельник

В субботу я сдавала Закон Божий и рукоделие. Подрубала рубец и получила 4 (это еще хорошая отметка, у большинства — 3, а 5 только у одной на три класса). Закон тоже выдержала, но продержали нас в гимназии с 11 утра до 6½ вечера! Из нашего класса русских только пять. 4, 5 и 6 классы экзаменовались последними. Мы сидели на лестнице и томились. Тут я и познакомилась с классом. Одна девочка, Дмитренко, — лет 18, в длинном платье, завитая, намазанная, раскрашенная, — прямо ужас. Другая — семнадцатилетняя девица, совсем деревенская баба. А две другие девочки очень славные: Таня (фамилию я не помню) и Мила Жолнеркевич. Таня очень веселая и, главным образом, благодаря ей мы скоро сошлись и перешли на «ты». С одной стороны, я очень рада, что нашла себе подруг и хотя бы в гимназии не буду чувствовать себя такой одинокой, а с другой стороны, я чувствую себя как бы виноватей перед Харьковом: неужели же я могу быть счастлива и вне него?! Неужели же я могу забыть все прошлое?! Насколько же я стала хуже!

Сегодня я держала естественную науку. Мне было задано несколько вопросов, и я отвечала ничего себе. Я отвечала с Дмитренко,

что она не знала, то отвечала я, а она ничего не знала: еще бы, она занимается только татуировкой. Тани почему-то сегодня не было: наверно, она решила, что нас опять продержат до вечера, и пришла позже. А Мила мне очень нравится. Она беженка из Екатеринослава, дочь добровольческого офицера. И именно то, что она беженка, нас как-то скоро сблизило. Возвращаясь с экзамена, я зашла к Мамочке на службу. На Дворянской улице, около одного дома лежит человек, он мне показался мертвым. Руки у него были вытянуты и пальцы как-то странно скручены. Вдруг он пошевелил пальцем, потом у него рука дрогнула, потом он сам как-то подпрыгнул, ногой дернул, руку разогнул; а сам недвижим, как статуя. Мне Мамочка потом объяснила, что он, наверно, умер от холеры: после холерной смерти всегда бывают такие судороги, это от того, что мускулы, скрученные во время холерных судорог, после смерти раскрываются. Бывают случаи, когда покойник даже переворачивается в гробу. Но очень неприятно смотреть, как мертвец шевелит пальцами.

25 августа / 7 сентября 1920. Вторник

Положение катастрофическое! Завтра экзамен истории, а я абсолютно ничего не знаю. Я прошла все до христианства. Папа-Коля говорит, что в классе больше не прошли, и он еще уверяет, что я все отлично знаю.

30 августа / 12 сентября 1920. Воскресенье

Сдала я и историю, и русский, и арифметику, и алгебру, и немецкий, и французский, и географию. И даже ничего себе сдала. Но чувствую, что очень устала за это время. Очень часто случалось, что нас морили весь день и даже раз отложили экзамен на завтра. А это «завтра» была суббота, когда все рассчитывали готовиться к языкам. Ну, да теперь все равно. Если меня даже и не примут, так у меня год не пропал. Все-таки я молодец: почти в один месяц (в 26 уроков) я прошла весь курс 4-го класса. Труд закончен. Камень с души свалился. И вместе с тем как будто чего-то недостает: чувствуется какое-то пустое место.

Теперь о себе.

Я оживаю. Жизнь возвращается ко мне. И оживляет меня гимназия. За последнее время я с большим удовольствием даже ходила на экзамены, зная, что я там вдоволь пошалу с Таней Титовой. Совершается переворот. Как быть? За последнее время я вела ужасную жизнь: во всем, что только возможно, я отказывала себе, я отказы-

вала себе во всем, в самых мелочах, я старалась делать себе как можно хуже, я мучила себя, как самый жестокий деспот не мог бы меня мучить. Но я мечтала о Харькове. Мне надо было или Харьков, или ничто. И у меня хватило воли отказаться от всего другого; это я высоко ценю в себе. Я могла сохранить свою честность, совесть моя была чиста. А теперь... Жить сейчас, значит отказаться от Харькова, потому что если мне и здесь будет хорошо, так я не вернусь туда с такой свежей радостью, как я этого ждала. И это слово уже не будет для меня сладкой надеждой; когда я услышу какие-нибудь хорошие вести с фронта, которые раньше были для меня так дороги, теперь они для меня не важны: «Я, мол, другая стала, теперь мне этого не нужно. Мне и здесь хорошо». Забыть Харьков, Таню, другую Таню, с которой можно не только помотаться на перилах, но и поговорить по душе. Неужто я нарушила клятву? А с другой стороны, разве веселье грех? Неужели же нам жизнь дана для того, чтобы жить так глупо и ненужно? Таня Гливенко или Таня Титова? Титова уже здесь, близко, заманивает меня в свою сферу. Гливенко далеко, чтобы дойти к ней, нужно еще много пережить, но зато я ее больше люблю: она соединяет в себе и Таню, и Милу, и еще что-то, чего здесь нет и что мне особенно дорого. Я не хочу изменять Харьков, но не хочу жить монашенкой и в Симферополе. Совместить нельзя. Если я здесь буду веселиться с Таней, то у меня будет совесть нечиста перед той Таней, а этого я не хочу и боюсь. О, Тани, Тани, как я из-за вас мучаюсь! Быть или не быть?

1 / 14 сентября 1920. Вторник

Вот лето и прошло. Почувствовала ли ты его, Ирина? Сегодня был молебен. Ровно год тому назад я также была в соборе, также в новой гимназии, среди чужих девочек... Но! И сладко и больно вспоминать об этом. Счастливое то было время, может быть, самое счастливое во всей моей жизни, именно в конце августа, когда уже было решено, что я перейду в эту гимназию. И до 17 ноября... Зачем вспоминать? Теперь совсем иное.

Таня Титова не принята в гимназию. Только бы уж нам с Милой попасть в какой-нибудь один класс! И радостно на душе, что наконец-то я опять попаду в гимназию и вместе с тем грустно. Если в прошлом году эти месяцы я была так счастлива, так безмерно счастлива, то навряд ли это будет в этом.

4 / 17 сентября 1920. Пятница

Гимназия: занимаемся с 3-х, по-новому; если 5 уроков, как должно быть, то кончаем в 7½. Класс у нас отвратительный, т.е.

проходной; заниматься очень трудно, кругом шумят, все проходят. Класс (№ — *И.Н.*) 58, по составу девочек ничего себе, кривляк и ломучек мало, но есть. Таня Титова принята, но села от нас далеко, и моя дружба с ней как-то распалась. Сижу я, конечно, с Милой, с которой я теперь особенно сблизилась. Сегодня утром она приходила ко мне учить историю, так как у меня книги нет. Но учили мы недолго: до того ли! Потом я ей читала свои стихи, потом декламировали любимые стихотворения, потом просто говорили о том, о сём, о нашей жизни.

Домашние новости. Завтра или послезавтра приедут Деревницкие, значит, нас с квартиры долой. Куда мы денемся? Хотя можно было бы устроиться ночевать у Мамочки на службе, в округе. Мечтать приходится о немногом. Вот моя одноклассница Войцеховская, тоже беженка из Харькова, целый месяц живет в теплушке и ничего. А я опять придерживаюсь моей старой теории — жить в скверных условиях, чтобы на душе было легче. А то я как на экзаменах вдоволь посмеялась, так чувствую угрызения совести; на душе так скверно стало. Нет, не в веселье счастье теперь, мне милее грусть. Папа-Коля совсем захандрил. Да не только тогда, когда большевики на носу, есть и другие причины! Ах, проклятый квартирный вопрос! А ведь у каждого коммерсанта, наверно, комнат десять есть в запасе! О, проклятье им!!! Проклятье тем, кто живет на вокзале, в теплушке и на бульваре!

Внешние события.

Говорят, что к первому снегу мы будем в Харькове, будто бы Румыния объявила войну большевикам, будто бы путь открыт до самой Москвы; будто бы Врангель сказал, что зимовать мы будем на Украине, даже чуть ли не в самой Москве. Что-то происходит. Что-то будет. Только бы скорей!!! Но как я далека теперь от всего этого, от политики, от фронта. Да, я сильно изменилась, но... к худшему.

Сегодня ночью, когда я спала, мне пришла в голову такая мысль: что такое герой? И совершенно машинально, в полудремоте, не думая и не сознавая, я изрекла такую мысль: «Кто в такое время, среди мошенников, злодеев, жуликов ничем не запятнает своей совести, кто в самых ужасных условиях, в мучениях и бедствиях сумеет остаться честным — тот герой». Этой-то истины я и буду придерживаться.

13 / 26 сентября 1920. Воскресенье

Долго, очень долго я не писала дневник — забыла о нем, но мало что произошло за это время. Внешних событий никаких, а наше положение все хуже и хуже. Деревницкого ждем изо дня в день,

комнаты у нас нет, т.е. есть, но 30.000! А это мы никак не можем при 36-тысячном окладе, да и продавать скоро нечего будет. Одним словом, я совершенно не знаю, что будет дальше.

Уже по городу давно ходили слухи, что 14-го что-то произойдет, говорили, что будет объявлена монархия, что будет еврейский погром и т.д. На 12, 13 и 14 назначены «дни покаяния»: в церквях все время службы, говения, проповедь Востокова; он собирается идти крестным ходом в совет<скую> Россию. Я однажды была на его лекции. Такая картина: лунная ночь, за оградой соборного сквера, около бокового входа собора огромная толпа народу, только на широкой лестнице стоит Востоков, что-то говорит, потом хор поет молитвы, а за ним народ; получается громко, нестройно, но каждое слово переполнено такой живой верой, что невольно верится, что только этим и можно победить.

А я все та же. В гимназии веселая, шальная, недаром же меня Маня Швачка прозвала «лихим казаком». С девочками там я скоро сошлась, занимаюсь пока ничего себе, охотно; и очень даже жалею, что два дня праздника. Говорят, что будем заниматься через день, чередоваться с младшими классами, т.к. для них не нашли помещения. Одно плохо, что книг нет, заниматься приходится с Милой, то она ко мне ходит, то я к ней, а живет она на Лазаревской. А французской книги и у нее нет, приходится только списывать слова, а то и отказываться. На душе, в общем, спокойно, что дальше будет — не знаю. Недели две тому назад страшно упрекала себя за то, что мне весело, что я забыла клятвы, Харьков и т.д. И я очень мучалась — как мне быть? Теперь вопрос разрешен. Если мне бывает весело, то все-таки я не отказываюсь от Харькова, а без колебания променяю все это на Харьков, хотя бы там всё было в тысячу раз хуже... Значит, я клятву не нарушаю, и совесть у меня чиста.

Начала я писать повесть «Беженцы», из своих переживаний, с момента отъезда из Харькова. Написала уже две главы (план был давно составлен), а на третьей — стоп-машина. Третья глава — «На агитпоезде». Тема интересная, только не знаю, как за нее приняться.

А дома у нас так скучно, прямо возможности никакой нет. Мы всегда одни, никто к нам не заходит, да и некому заходить: Александр Васильевич, мой названный дядюшка (он меня звал племянницей), где-то в Северной Таврии; Владимирский в Каховке, Каменев в Севастополе, Оленников в Керчи, — вот и вся наша компания, которая так часто бывала у нас на Бетлинговской. Да, скучно.

14 / 27 сентября 1920. Понедельник

С утра я была в соборе. Слышала там черносотенную речь Платона, который называл Николая II праведником и великим; он и еще что-то говорил, но уж не помню. А в это время на площади сходились со всех церквей крестные ходы, масса войска и толпы. После службы, очень длинной и торжественной, двинулся на вокзал громадный крестный ход со всех церквей. Что уж там было — не знаю.

16 / 29 сентября 1920. Среда

Не знаю, почему так горько и безотраднo на душе. Все это мелочи, мелочи, а они теперь составляют 100% нашего существования. Совесть, может быть, и чиста, да все внешнее так нечисто. Помимо меня (помимо моей воли. — *И.Н.*) делается много грустного вокруг. Грустно и страшно то, что завтра мы переезжаем в тридцатитысячную комнату в самой скверной части города, где-то около старого кладбища; где узкие, глухие переулки, собаки и грязь; где ютятся кривые мазанки с грязными и вонючими дворами, — там и будет наше жилище. И там, среди этой грязи и темноты, и у нас не будет светлого и чистого уголка, не будет!

Грустно и то, что так сильно развивается монархическое течение. Востоков в соборе уже провозгласил императором Михаила и даже пел «Боже, царя храни». А сегодня в газете сведения, что Михаил давным-давно убит. Черносотенные речи, да еще в соборе. К чему-то это приведет? Это ли не грустно? Я говорила об этом с Милой. Увы, она монархистка, она довольна, она сочувствует этому течению. А потом она сказала мне: «А в конце концов, не все ли нам равно?» О, нет! Я слишком люблю Россию, чтобы это мне было все равно! Это ли не печально, что Россия после стольких лет, после такой кровопролитной войны, после всех этих страданий и мучений опять вернется к прежнему? Неужели же все эти жертвы революции, эта война, эти жертвы на войне — напрасны?! Неужели же большевизм прошел даром, ничему не научил нас?!!

В Константинополе ходят упорные слухи, что умер Деникин. А это ли не грустно? И мне хочется плакать, плакать без конца. Мало ли этих причин, чтобы снова впасть в уныние, чтобы снова стало так тяжело на душе?

Все время, до самого последнего момента я ждала чего-то. Я не чувствовала ни весны, ни лета. Я все ждала, что вот-вот мы вернемся домой, и тогда я заживу полной жизнью, тогда для меня будет лето, настоящее, веселое лето! И я все ждала, все мечтала, все

мечтала об этом. Только время не останавливалось, все мчалось вперед. Я не замечала этого, а как поглядела сегодня вокруг — а на деревьях уже желтые листья. Вот уже и осень, для меня так и не наступило лето. Так и жизнь идет. Пока только готовишься жить, пока только мечтаешь о прошедшем времени, чтобы пожить в свое удовольствие, глядь, уже и старуха. Вот первый осенний листок, который я заметила; я нарочно кладу его в эти страницы, чтобы он мне всегда напоминал об этом осеннем дне, об этом настроении, об этих думах. И пусть он мне всегда будет напоминать, что жизнь только одна, что время не останавливается, что каждый день, каждое мгновение нужно жить, жить полной жизнью, а не ждать.

21 сентября / 4 октября 1920. Понедельник

Вот мы уже несколько дней живем здесь, на Училищной (улице. — *И.Н.*). Здесь все типа Бетлинговской, только этот район гораздо хуже. Двор с четырьмя собаками, маленькие мазанки кругом, грязь и «демократия». Комнатка у нас малюсенькая: в длину аршин 6, да и в ширину 4, наверно. Все в ней как-то помещански. Вообще, мне здесь страшно не нравится! Комнатка совсем маленькая и совершенно темная — там нет окон. Зато другая, большая комната, выходит на юг, и в ней полно свету, — это единственно, что в ней есть хорошего. Недалеко от нас (т.е. совсем близко) есть старое кладбище. Там давно уже никого не хоронят, оно все заросло, памятники и могильные плиты засыпались землей, заросли и покривились, там очень уютно и хорошо. Но я всегда хожу на другое кладбище. Хотя я и терпеть не могу всякие кладбища, но когда делается так невыносимо тяжело на душе, я всегда иду к бабушке на могилу, там как-то легче делается.

26 сентября / 9 октября 1920. Суббота

Какая-то пустота чувствуется у меня на душе, все чего-то недостает. И грусть непомерная, и тоска, а пуще всего эта пустота доносит. И почувствовала я ее со смерти Колчака. Думала ли я о нем часто, любила ли я его — не знаю, часто я себя уверяла во лжи. Я не плакала, я не сходила с ума, но только вот чего-то не хватает у меня с тех пор. Ведь я его никогда не видала, слишком мало знала о нем, как же могла его действительно любить? Но именно теперь, как никогда, я чувствую к нему страшное влечение. Забыть его, променять — никогда!

Я думала об этом вчера вечером, сидя за оградой бабушкиной могилы. Все было тихо кругом, только громко-громко шумели деревья. Вдруг в церкви зазвонили, и каждый удар колокола страшным ударом отзывался у меня в сердце, словно он упрекал меня за

что-то, проникал в самую глубь души и раздражал ее. Я не могу объяснить себе — почему на свете много необъяснимых вещей, но я не выдержала его (колокольного звона. — *И.Н.*) и ушла.

Хочется мне высказать кому-нибудь, рассказать все мои тайны, излить перед кем-нибудь всю свою душу и скорбь. Да не может быть такого человека, которому бы я могла все рассказать, без боязни, что он меня не поймет и не будет смеяться. Дневник, так слушай же, слушай, я все расскажу тебе, мой безмолвный, безучастный друг!

Я — самый простой человек, какие населяют землю. Во мне нет ничего такого, что бы отличало меня от других. Я самолюбива до крайности, ревнива, пожалуй; не выношу превосходства других, скрытна, страшно застенчива перед всеми, деликатна и любезна с другими, резка и дерзка с родными. В гимназии весела и болтлива, дома угрюма и молчалива; в гостях тиха, робка, застенчива; а когда надо, могу улыбаться и любезничать, в натуральном виде я никогда не бываю. Шумного общества и всяких знакомств избегаю, особенно здесь, в Харькове этого я не замечала в себе. Люблю находиться только в своей компании, с теми людьми, которых уж хорошо знаю; а теперь, когда таких нет, держусь особняком. Музыку я люблю до опьянения, но сама училась лениво; а теперь, когда с самого Харькова не играю, то с этой мечтой придется расстаться. Безумно люблю природу, так же люблю стихи и вообще литературу. Читала я мало (все по сравнению: я сравниваю себя с Таней, а она упивается книгами), но стихов я читала много и массу из них знаю наизусть, особенно теперь; что понравится, то и учу, потому что переписывать — бумаги нет, а для этого у меня всегда терпенья хватит. К тому же я настойчива и упряма, как осёл. Славу я люблю безмерно! Прежде она была моей мечтой, моим наибольшим желанием, но теперь я меняю свои мысли и желания, теперь для меня переходное время, потому я и спешу зарегистрировать себя такой, какая я есть сейчас.

Жизнь моя сложилась так, что я никогда до сих пор не знала ни горя, ни печали. Это только теперь складываются обстоятельства, что хоть вон беги! Правда, у нас всегда ощущался недостаток в средствах, но я этого не замечала. Я была одна в семье, и долго росла одна, и потому начала дичиться людей, замкнулась в себе. Меня очень любили и страшно баловали и берегли в детстве. У меня был еще брат, но умер совсем маленьким, и все заботы перешли на меня, и берегли уж как зеницу ока. Меня держали на усиленном питании; питали фруктами, оливками, сырыми яйцами, на холод не выпускали, кутали, — и я росла изнеженным, балованным ребен-

ком, белоручкой. Я росла одна, из среды наших знакомых моих ровесников не было, а с разными Маньками, Дуньками, Шурками, живущими в подвале, мне не позволяли играть, как бы не научилась у них чему дурному, да не переняла дурных привычек и т.д. Только когда на лето мы приезжали в Елшанку, там я развлекалась с Нюсей и Олегом, моими двоюродными братом и сестрой. Старшая, Гали, меня очень любила, а Игорь не обращал на меня никакого внимания, зато я его безумно любила. Он был утрюмый, скрытный и сердитый. Конечно, никому и в голову не приходило, что я впоследствии буду такая же; только после я получила кличку «второго Игоря». В деревне я держалась барышней и задавалась, а Нюся с Олегом хвалились, что они умеют лазить по деревьям, ездить на лошадях и т.д.

27 сентября / 10 октября 1920. Воскресенье

Я буду продолжать.

Понятно, первенство Нюси и Олега меня раздражало и задевало мое самолюбие, но, в общем, мы были дружны. Игорь первоклассником жил у нас в Харькове и научил меня читать. Мне было тогда 4 года. С этих пор я читала много и хорошо. Мне выписывали разные журналы, покупали книги, дарили кубики с буквами и т.д. Из кубиков я строила домики и очень любила это занятие — это была моя самая любимая игра. В куклы я не любила играть, и у меня их не было. Я еще очень любила рисовать и писать к рисункам рассказы. У меня и сейчас в Харькове остались тетради — большие, рисовальные, с толстой бумагой — тетради того времени: посередине каждой страницы большая картинка, раскрашенная цветными карандашами, а кругом большими печатными буквами рассказ. Зимой мы жили в Харькове, а на лето ездили в Елшанку Самарской губ<ернии>. Ездить по жел<езной> дороге я начала с нескольких месяцев и очень любила. Ехать приходилось около трех суток, были большие пересадки, а потому самые ранние воспоминания у меня всегда связываются с поездками и непременно с вокзалами. С ранних лет я ездила по Волге и очень любила езду на лошадях. Пяти лет меня отдали в детский сад «Очаг», и я целый год училась там. Помню только, что я там каждый день плакала, скукала о Мамочке.

Уже в это время мы купили пианино, и у нас каждую субботу устраивались концерты. Папа-Коля играет на скрипке, Мамочка поёт, приходили Дунаевские, ученики Папы-Коли и другие знакомые и играли; так что я с этих лет уже привыкала к хорошей, серьезной музыке. С шести и до восьми лет у меня была бонна-немка,

и я свободно болтала по-немецки. Писать по-немецки не умела, а читать научилась одна, по какой-то книжке — каждую букву смотрела в азбуке, как она читается, и благодаря своей настойчивости научилась читать. Жили мы хотя и не роскошно, но и не скромно. Я с ранних лет привыкла к хорошей сервировке стола, к большим комнатам, к чистоте и порядку.

Когда началась война, меня тщательно берегли, как бы я не наслушалась каких-нибудь ужасов, при мне никогда не говорили о ней. Но ничего не помогло: я с моими друзьями Шаповаловыми собралась бежать на войну. У нас уже были заготовлены и деньги, и сухари, и даже платья. Накануне нашего бегства нас раскрыли. Восьми лет, в первый год войны, у меня была гувернантка, которая готовила меня в приготовительный класс. Весной я блестяще выдержала экзамен, и с тех пор начинается для меня новая жизнь. Осенью мы переехали на Чайковскую. Восьми лет я начала писать стихи и с тех пор почувствовала себя несколько другим человеком. В гимназии я была первой ученицей, пользовалась любовью подруг и учительниц. Еще у Шаповаловых я познакомилась с Лелей Хворостанской, а теперь мы с ней жили в одном доме и были очень дружны. Стихи писать я продолжала. Папа-Коля объяснил мне размеры стихотворной строки, и я долго мучилась над этим, но в конце концов достигла того, что стихи выходили у меня ровные и легкие. И теперь в моих стихах размер тщательно выдержан и никакой задержки или тяжелого скачка в строчке нет; и выходит это уже без малейшего усилия, само собой. Этого я добилась постоянством и трудом. Учиться мне было легко. Когда я была в первом классе, вспыхнула революция. Я стала ярой революционеркой, была на всех митингах и демонстрациях, и хотя меня боялись пускать в толпу, но я удирала. В это время к нам в дом переехала Таня Гливенко. О, как я благодарю судьбу, что она свела меня с ней! Сначала мы дичились друг друга, потом она подружилась с Лелей, потом и я примкнула к ним. И как-то незаметно мы отошли от Лели, поняли друг друга и тесно сошлись. Хотя мы учились в разных гимназиях, но по субботам до поздней ночи бывали вместе. В другие дни виделись реже. Вот почему я так и любила субботы. В это время Харьков захватили большевики. Начались грабежи, убийства, начали функционировать домовые комитеты, уличная охрана и т.д. На каждую ночь устанавливались дежурства на улице, на лестнице; каждую ночь где-нибудь пищала сирена, раздавались тревожные свистки, звонки, выстрелы и т.д. Я всегда была первой, а за это время нервы у меня окончательно расстроились. В гимназии я стала заниматься хуже, первой была только по-русски и то

потому, что хорошо писала сочинения. Музыка я начала учиться девяти лет и в первый год достигла колоссальных успехов, но после уж стала заниматься хуже и вперед продвигалась медленно. Вообще, с этих пор я уже ничего не добивалась своей настойчивостью и, хуже всего, не хотела добиваться. Дома я часто ссорилась с Мамочкой, я очень вспыльчива. С Таней ближе сошлись за это время. Она очень добрая, веселая, приветливая, принадлежит к такому типу людей, которых все любят; я же, наоборот, молчалива и скорее утрюма, чем приветлива, но между тем и у нас с ней было много общего. С того времени у нас не стало прислуги; пришлось самой убирать, мыть посуду и готовить. Я этого ничего не умела делать, мне все казалось трудно, а потом привыкла, всегда ходила на базар, а Мамочка готовила. В это время пришлось во всем сократить. Сначала было очень тяжело ходить в старых платьях, в заплатанных башмаках, обедать без сладкого, но потом и к этому привыкла, и чувствовала себя великолепно. Весной пришли немцы, а за ними гетманцы, украинские республиканцы, петлюровцы, махновцы, григорьевцы; одним словом, до зимы у нас сменилось около пятнадцати властей. Тут впервые пробудилось у меня чувство патриотизма. Потом опять пришли большевики, опять начались обыски, аресты, появилась чрезвычайка. Папа-Коля был в большой опасности, и пришлось пережить немало тревожных минут.

28 сентября / 11 октября 1920. Понедельник

В это время Мамочка начала служить, и это был конец домашнего уюта. Обедать мы стали ходить в столовую; полдня никого не было дома, там царил полный беспорядок, хаос; комнаты убирались кое-как, во всем чувствовалось отсутствие хозяйской руки. И я разлюбила дом и всегда старалась уйти оттуда. Под влиянием больших событий и тяжелой домашней обстановки я начала хандрить, забросила музыку, стала плохо учиться. Особенно скверно я занималась языками: немецкий совсем забыла, а по-французски ненавидела учительницу и во всем старалась досадить ей. И она меня ненавидела, часто у нас с ней происходили конфликты; и после каждого французского урока я горько плакала где-нибудь в укромном уголке, на черной лестнице. Но я никому не говорила об этом, кроме Тани, все переживала одна. В квартире у нас было 3°, от холода у меня распухали пальцы, трескались и гноились, так что я не могла писать ни дома, ни в гимназии. Потом бросила учить и русские уроки, стала плохо учиться и по другим предметам. Таким образом, незаметно гимназия для меня сделалась каторгой,

я часто уходила с уроков под предлогом головной боли, кривила совестью; а иногда даже вместо гимназии уходила гулять, и вскоре возвращалась домой, зная, что там никого нет, что никто меня не поймает. Делом я занималась мало, а вот играм на поляне, да романам Дюма посвящала все свое время. Это было зимой 1919 г. — эпоха нравственного упадка.

Весной нас выселили из дома, где потом была знаменитая чрезвычайка. В это время во мне развилось религиозное чувство. Я стала часто бывать в церкви, и эти минуты, проведенные там, я всегда вспоминаю как одни из самых лучших минут моей жизни. Потом пришли добровольцы, и я так радовалась, так ликовала, так была уверена в уничтожении большевиков, что совсем позабыла о себе.

Лето мы провели в Славянске, а осенью я перешла из гимназии Покровской в ту, где училась Таня. Это было истинно блаженное время. Мы опять переехали на Чайковскую, и хотя уюта у нас по-прежнему не было, но это не омрачало моего счастья: я уже отвыкла от домашности. Хотя Таня теперь жила далеко от меня, в гимназии, но это как будто даже еще крепче связало нашу дружбу. В этой гимназии я стала даже хорошо заниматься.

Когда добровольцы отступили от Харькова, мы бежали. С тех пор я стала вести более регулярно свой дневник. Дальше все известно. Покидая Харьков, я дала себе клятву: не забывать все то хорошее, что я пережила там, никогда не забывать и не разлюбить Таню, гимназию, Чайковскую и все то милое, что осталось там. С тех пор пришлось пережить много тяжелого. События в России больше всего угнетали меня. Даже наша личная жизнь не страшила меня. Когда мы жили в Туапсе в малюсеньком классе, шесть человек, спали на партах среди обледенелых стен, готовили, ели и пили все из ржавых жестяных кружек; когда, казалось, гибла Россия, — мне впервые пришла мысль о самой себе. До сих пор я никогда о себе не думала — ни в прошлом, ни в настоящем. Тяжело мне сейчас. Нет Тани, не с кем поделиться мыслями. Грустно теперь жить так безобразно, есть, пить по-свински; жить, чтобы только прокормить себя; далеко от всего красивого, от музыки, от культуры. Но это пустяки. Успею я еще послушаться хорошей музыки, увижу еще и хорошие дни; пройдут все эти подагры, ревматизмы, хронические насморки, — не залечатся только, никогда не залечатся раны на сердце.

Постоянное беспокойство о Харькове, о Тане, живы ли они все, что-то с ними? Думы о родных, об Игоре. Сознание, что не

вернется прежняя жизнь — все это так страшно мучает меня. И не с кем поделиться.

Один раз за это время я опять проявила прежнюю настойчивость и волю моего раннего детства: я в один месяц подготовилась в 5-й класс, совершенно не занимаясь зимой. В Туапсе я абсолютно ничего не делала, страшно обленилась, считала уж себя утерянной для жизни. О, нет! Я еще есть!

Стихи мне были единственной отрадой за это время. А теперь я уже так давно их не писала. Не было вдохновения, не было той страсти. Я уже многого добилась в них, неужели не доведу своего дела до конца? Где же ты, воля!?

30 сентября / 13 октября 1920. Среда

Я видела во сне паука: колоссальных размеров, серо-зеленый, он появился у меня в ногах и полез по одеялу; я тряхну одеялом, и он исчезает, а потом опять появляется и опять ползет. И глаза у него большие, ярко-зеленые, злые глаза, так и блещут в темноте. Я проснулась, было около двенадцати часов. Я проснулась со слезами на глазах, а сердце билось так часто-часто. Мне было очень неприятно, какое-то тяжелое, мучительное состояние угнетало меня, будто я узнала что-то нехорошее, будто меня вдруг постигло ужасное горе или горькое разочарование, тоска, хандра. Всю ночь я находилась под впечатлением этого сна. Всю ночь я не спала. Вторую уже ночь у меня бессонница. Мне было до того скверно на душе, что я не выдержала и расплакалась. Лезли мне в голову мысли одна печальнее другой: то мне вспоминалась Таня, такая, какой я ее знала, то она мне представлялась совсем иной, чуждой мне, с новыми мыслями, с новыми чувствами, с новыми желаниями. Всю ночь меня мучили воспоминания и картины будущего. То я представляла себя умирающей в свой последний час, будто вспоминаю всю свою жизнь, вижу роковые заблуждения, преступные ошибки, да поздно. То рисовала себе картины будущего, одну ужаснее другой. Мысли обыкновенные, мысли глупые, но как они могут взвинчивать нервы. Тут еще вспоминается паук, его косматые лапы. Уснула, уже было светло, часов около восьми. Встала, как всегда. Но такое угнетенное состояние и днем не покидало меня. Чтобы немножко отвлечься, я пошла к Миле, и мы с ней пошли гулять. В конце Лазаревской вышли в поле, полазали по утёсам над обрывами, вышли на гору верстах в трех от города. Как там хорошо, как привольно, как красиво кругом. Видно далеко-далеко во все стороны. Погода опять установилась хорошая, теплая, а то несколько дней тому назад здесь были морозы,

все ходили в шубах, и в двенадцати верстах от Симферополя выпал даже снег. А теперь стало так тепло, солнце так и палило. Я села на траву, небо такое синее, такое красивое, далекое. Люблю простор я! Люблю степь.

2 / 15 октября 1920. Пятница

С утра одна. И весь вечер одна.

Вчера у меня была Нюра Горностаева — Нюра с Чайковской. И их судьба забросила в Симферополь. Но сколько им пришлось пережить, так это прямо ужас. Нюра поступила к нам в гимназию в 4-й класс, так что мы с ней будем часто видаться.

7 / 20 октября 1920. Среда

Такая колоссальная новость, что не знаю, как ее и передать. Вчера Папа-Коля уехал в Севастополь: ему там предлагают отличное место в Морском корпусе, и он выехал для переговоров. Так что, может быть, скоро мы поедem в Севастополь. О, если бы поехать! Если бы только проститься с Симферополем! Пока я кончаю, а то надо идти к Миле заниматься.

Редко я ухватываю минутку для дневника: днем у Милы, а вечером три раза в неделю в гимназии, а дома все равно вечера пропадают, потому что света нет. Ну а теперь надо скорей подметать комнату, причесываться и идти заниматься.

Как скучно проходят дни! Совершенно нет времени для чтения, а вместе с тем и делать-то нечего. Какой большой недостаток, что нет электричества! Как темно, так и спать, а ведь в Севастополе комната с освещением и отоплением.

За это время я уже совсем привыкла к гимназии. Учусь ничего себе, но опять мне трудно по-французски. Сейчас взяла у Милы книгу, но урока не осилила. Но вообще в гимназию хожу охотно; только вот французский для меня пытка. Урок словесности у нас проходит очень оживленно. Наш В.О.Филоненко, когда что-нибудь объясняет, сам очень увлекается и увлекает других. Его очень любят в классе, но все-таки он поссорился с Боричевской и Хомайко, и потому последние уроки проходили очень натянуто.

11 / 24 октября 1920. Воскресенье

Во вторник мы едем. Вчера я последний раз была в гимназии, заходила прощаться с классом и осталась на два урока. Мне уж жалко бросать гимназию, здесь я уже привыкла, освоилась, а в Севастополе опять все новое. И так я уже в четвертой гимназии, а тут еще и в пятую переходить. Ну да это все пустяки, зато море, боль-

шая комната, электричество, ездить на катере, — хорошего много. Но дорога?

Жалко мне бросать Ньюру и особенно Милу. Так я уже привыкла к ней, что уж жалко расставаться. Завтра еще приду к ней проститься. Но нисколько не жаль мне бросать этот город, квартиру, столовую и все эти прелести симферопольские. Ну их! Но уж только бы скорей. У меня нет больше терпения ждать!

22 октября / 4 ноября 1920. Четверг. Севастополь

...Давно пора иную жизнь начать,
С печальями, страданьем и тоскою,
И узы прошлого навеки разорвать
Своею дерзкою рукою!

Так начинается мое последнее стихотворение «Последний взгляд на прошлое»! Я решила больше к прошлому не возвращаться. Сейчас у меня в жизни много плохого, много тяжелого, а как вспомнишь о прошлом, так делается так грустно, так невыносимо грустно, еще хуже! Да и я теперь совсем уж не та, какая была год тому назад. Я буду жить, жить молчаливо в самой себе, и отныне даю себе слово не вспоминать о прошлом, как будто я начала существовать только с 17 ноября 1919 г. А до этого времени ничего не было. О, зачем я в те золотые годы не наслаждалась тем счастьем, которое теперь навсегда утеряно. Еще даю себе слово никогда не жалеть о прошлом, не раскаиваться в непоправимых ошибках: все равно бесполезно. Первый раз в Севастополе я взялась за дневник. Теперь напишу все, что здесь хорошего и что плохого. Квартирный вопрос (решен. — *И.Н.*) средне: наша комната еще не освобождена, и мы пока живем в маленькой комнате, зато в симпатичной семье Сигаловых. Холод здесь адский, в некоторых комнатах 0°; ну, у нас немного потеплее. У меня опять распухают пальцы на руках, опять начинается старое. Мы живем далеко от города, далеко от людей и от всякой жизни, попасть в корпус можно только катером, а он ходит только 5 раз в день, так что придется сидеть дома. Жизнь здесь идет как-то чудно: чуть только успеешь чаю выпить, а уж и за обедом пора идти. А уж как тяжело в такое время не знать ничего, что делается на свете; особенно теперь, когда армия отступила к Перекопу, когда большевики, может быть, уже вошли в Крым; а мы ничего не знаем. Но самое плохое — гимназия. Я вчера первый раз была там и вынесла из нее ужасно неприятное впечатление. Туапсинская гимназия в сравнении с этой — прямо рай! Во-первых, здесь ужасный беспорядок. Занимались мы в какой-то комнатухе, кто сидел на полу, кто стоял;

занятия через день, в день по два урока, звонков нет, кончаются уроки по желанию, парт или столов нет, к тому же холод, все сидят в шубах и в калошах. Во-вторых, здесь учительница мне не понравилась. Я была на русском и на естественной (науке. — И.Н.). Обе учительницы старые-старые, лет за 50, во всяком случае. Говорят они еле-еле, так что и не слышно; уроки проходят так вяло, так скучно. А как интересно проходили уроки у нас в Симферополе. То ли дело наш Филоненко. Потом, сами девочки такие кривляки, такие ломучки, что прямо смотреть противно; все до одной завитые, сидят в огромных шляпах, строят глазки, делают улыбочки. И ни одной я не заметила симпатичной, ни одна мне не понравилась. Может быть, этому виной мой робкий, застенчивый характер; я сама не сумела подойти к ним, заговорить; не смогла почувствовать себя свободной, растерялась, не встретила ни одного участливого взгляда; никто не пришел ко мне на выручку. О, Таня, если бы ты знала это! Но зачем я вспоминаю прошлое? Здесь я опять встретила Любу Ретивову, но только она в 4-ом классе. Больше никого. Люба скоро уезжает в Ялту, и я опять остаюсь одна. О, Мила, если бы хоть ты знала это! Если бы ты была здесь! Ах, как грустно жить в Севастополе!

У меня есть странное предчувствие, что 28 октября я заболею сыпным тифом. Это будет как раз на 14-й день с отъезда из Симферополя, а я уверена, что этот проезд нам даром не обойдется. Да, я непременно заболею, но не умру. Мне предстоит еще много перемучиться на свете. Прочла написанное. Не передала я и частицы моей грусти, не смогла написать того, что сейчас так мучает и волнует душу. Мертв мой дневник, зато душа не мертва!

28 октября (по нов. ст. 10 ноября. — И.Н.) 1920. Среда

Эвакуируемся во Францию. Большевики прорвали фронт. Сейчас, в 9 часов, об этом узнала, а ночью, наверное, уже уедем. Что-то будет!

5 / 18 ноября 1920. Четверг

Черное море. Броненосец «Генерал Алексеев»

Вот уже шесть дней, как моя нога не ступала на землю, вот уже шесть дней я провела на броненосце, шесть долгих томительных дней! 30-го мы погрузились. Ужасный день, еще ужаснее ночь! Все берега были запружены народом, по бухте взад и вперед носились шлюпки, попасть на пароходы почти не было никакой возможности. С берегов доносились крики, истерики, а ночью к тому же прибавилось зловещее зарево пожара. Горели американские склады Красного Креста; быть может, их подожгли большевики, но

вернее, что и сами отступающие. 31-го мы вышли на рейд и поздно вечером отошли.

Первое время мы ночевали на палубе, в башне. Потом устроились в кубрике для дам Морского Корпуса. Много новых слов: палуба, трап, кубрик, каземат, иллюминатор, камбуз, полундра, бить склянки и т.д. О настроении уже не говорю, подавленное. Бывала в церкви, славная здесь церковь. С нами едет знаменитый епископ Вениамин, говорит проповеди. Кормят здесь довольно скверно, все больше консервы, не хватает пресной воды, а вчера и сегодня совсем без хлеба сидим. Едем очень медленно: нет кочегаров. Большинство матросов оказались большевиками и остались. Ехать хорошо, почти не качает: такого гиганта, как «Алексеев», не легко раскачать. На броненосце было довольно чисто, только когда стали скатывать палубу, так такую грязь развели, что прямо ужас! Три дня мы не видели берега, вчера он показался. Весь день мы стояли, к вечеру пришел буксир, подвез нас к Босфору, а сам ушел, потому что ночью в Босфор входить нельзя. И сейчас стоим мы довольно близко от берега (версты определить не могу) и ждем. Что дальше будет, даже предположить нельзя. Крым уже покраснел, а вся врангелевская Россия носится по волнам. Мы даже не знаем, куда нас повезут, говорят — в Тунис, говорят — на Принцевы острова. Что-то еще готовит нам судьба!?

7 / 20 ноября 1920. Суббота. Константинополь

Пятого приехали сюда. Красив Босфор, удивительно красив, но не такое было настроение, чтобы хорошо сознать эту красоту. А здесь плохо, на берег не пускают. Так и сидим без воды. Потому нет ни обеда, ни ужина, ни чая, ни электричества, ни даже морской воды для умывания; за кружку воды дают две банки консервов! Утром к броненосцу подъезжают турки и продают белый хлеб, соль, финики и т.д. Хлеб по 30 пиастров или серебряный рубль. Но пиастры и серебро мало у кого есть, и поэтому идет больше меновая торговля, масса меняется бесценных вещей. Происходят ужасные грабежи: у нас украли чемодан, а в нем мои стихи. Теперь уж меня ничего не связывает с прошлым — все нити порваны. Скучно. Погода скверная: ветер, дождик моросит, целый день не знаешь, куда себя девать, бродишь по палубе — холодно, в трюме — темно. Когда мы подходили к Константинополю, меня, да и всех вообще, больше всего поразили трамваи: есть ведь еще уголок, куда не проникла разруха. Мы настолько озверели, так отвыкли... Нас так поражает культура.

Скучно стоять. Только сегодня дали свет, а то все сидели с копилками. С водой всегда затруднение, обед готовят на морской, зато хлеба много. Получили сахар по столовой ложке на душу. Так и живем понемножку, скучно целый день бродить по палубе и смотреть на море. На море — жизнь. Стоит много русских кораблей (под французским флагом), всюду шныряют катера и шлюпки. А дальше видны громады Константинополя, красивые мечети, минареты, высокие, узкие дома. Громадный город. С правого и с левого борта видны строения Царьграда, или лучше сказать (не дописано. — *И.Н.*).

С другой стороны видны Принцевы острова, куда турки свозят бродячих собак (Коран запрещает их убивать) и обрекают их на голодную смерть, и куда теперь увозят беженцев. И я их судьбе не завижусь.

Наша судьба, очевидно, еще не решена: то говорят, что нас отправят в Тулон, то в Бизерту, то в Катарро. Сербия меня не прельщает, хочется в Африку — апельсины большая приманка. Французы нас будут кормить и одевать, и только.

В кубрике у нас: теснота, духота, ворчня. Мы с Мамочкой спим на верхней койке; забираться туда трудно, еще труднее слезать; спать тесно и неудобно. Папа-Коля ночует в матросском кубрике, а обедаем мы и пьем чай на палубе. Весь день я валяюсь на койке. Если в кубрике тепло, то с потолка капает, и вся стена мокрая. И сейчас уж у меня отчаянный насморк и нездоровится. Донимают крысы. Каждую ночь откуда-то сверху выползают огромные крысы и начинают бегать по полкам, по трубам и по людям. Я сегодня всю ночь не спала из-за них, противно мне было пускать их на лицо.

Потом меня мучали кошмары. Мне казалось, что я плыву по воде, на меня набегают волны, у меня не хватает сил с ними бороться. Ужасное чувство усталости; сознание, что я разучилась, не могу плыть. Я напрягаю все усилия, задыхаюсь, захлебываюсь водой. Я чувствую, что не в состоянии сдвинуться, не могу плыть! Вдруг очутилась на берегу. Спасена! А сердце бьется, трудно дышать. Вдруг является Володя Сигалов и говорит: «У вас опять был бред. Лучше лягте». Мной овладевает сознание какой-то страшной, почти неизлечимой болезни. Я сознаю, что мое положение безнадежно, я умираю, я схожу с ума. Меня душит, давит какая-то громада. Я напрягаю все усилия, стараюсь освободиться от этого чувства, но не хватает сил. Ужасное сознание. Потом по телу разливается приятная теплота, все проходит. Этот кошмар, сознание своей слабости всегда преследует меня во время даже самого малейшего заболевания.

19 ноября / 2 декабря 1920. Четверг. Константинополь

К сожалению, давно уже не писала дневник. Причина глупая: нет карандаша и света. С чего начать — не знаю, слишком много у меня пропущено. В последний раз я писала какую-то глупость, не относящуюся к делу, но ведь я пишу не фельетон, не исторический роман, а путевые записки, которые никто кроме меня и моих близких друзей читать не будет

«А когда вы любили Колчака?» — так спросила меня м<ада>м Александрова, когда я пришла к ней проститься (она завтра переходит на «Георгия Победоносца»). «А как вы это знаете? Кто вам сказал?» — «Ваша мама». Вещь непонятная: это была тайна, которую никто не знал и не мог знать, не прочитавши моего дневника. Но она разгадана, моя любовь подвергается чужому мнению, над ней смеются, ее осуждают! Зачем мне теперь жизнь, когда разгадано и осмеяно самое высокое, самое святое чувство. Моя святыня поругана: в душе что-то разбилось и пропало. Все это болит старая, незажившая рана. Но даже не это больно, а то, что Мамочка потихоньку читала мой дневник и скрывала это. Уж лучше было бы мне никогда не знать об этом. Но я не верю в это. Наверно, я сама как-нибудь во сне, в бреду сболтнула все. Но мне странно только одно, как это Мамочка могла мои самые святые чувства, которые я так скрывала и любила, передавать совершенно чужому человеку. Но не могла же Александрова сама догадаться! Правда, она наблюдательна. Она нашла поразительное сходство между мной и ее племянницей, не только внешнее, но и душевное. Она точно определила мой характер Мамочке, это — наблюдательность. Но не могла же она узнать про мою любовь, да еще назвать имя!!! Тайна необъяснимая. Я много думала об этом, много пережила; был момент, когда я думала броситься в море; но это был только момент. Поплакала и успокоилась. С Мамочкой говорить об этом я не буду; но года через три, когда по-другому буду смотреть на это, я непременно покажу ей эти строки. Больно, что самый близкий мне человек меня так жестоко обманывает!

**25 ноября / 8 декабря 1920. Среда.
Константинополь. «Константин»**

Судьба, или, вернее, Кедров, нас перевел на «Константин». Это была длинная история. Наши мужья остались на «Алексееве» (кроме преподавателей); много слёз было пролито в темных, сырых кубриках. Кедров требовал, чтобы все женщины ушли с военных кораблей. Но расставаться с семьями в такое время казалось ужасным. Немало было написано прошений и просьб, многие

собирались бросить Корпус и ехать в Сербию, но потом все уступили. «Константин» едет в Бизерту, следом за «Алексеевым», и где «Алексеев» остановится, там и «Константин» будет стоять. Наши дамы уже собирались вешать и Кедрова, и Машукова, и Врангеля заодно. И когда очутились на «Константине» в чистеньких каютах, крыс нет, с потолка не каплет, старший офицер не ругается, везде можно ходить, пресной воды много — стали благодарить, так и заговорили: «А все-таки, какой молодец этот Кедров!» Долго мы чистились, долго отмывали «Алексеевскую» грязь, переделались. Теперь как в раю. В самом деле, на «Алексееве» женщины были в большом загоне: гуляем на палубе, вдруг команда: «Все женщины, ослы, козлы, бараны на левый борт!» — там опять гонят. На ют пойдешь — нельзя, всюду рискуешь налететь на дерзость старшего офицера; это гроза, одно его имя наводило ужас; им пугали детей, когда они капризничали; теперь его нет, а здесь — царство женщин. Мы устроились в каюте второго класса. Здесь 8 мест, помещаются Насоновы — 3, мы — 2, Иванова — 1 и Самойлова, но она уходит. Мужчины не считаются, ночуют, где попало. Все очень симпатичные, все с мужьями, а потому нет ни ворчли, ни недовольства. «Алексеев» ушел вчера, мы — завтра.

А пока кончаю, надо передать карандаш Иресе Насоновой, я обещала ей: она тоже пишет дневник. Ей 9 лет. Она очень милая, я все время с ней, даже спать будем на одной койке, наверху.

28 ноября / 11 декабря 1920. Суббота. Мраморное море

Мне сейчас так тяжело, тяжело на душе. Как-то в первый раз я почувствовала, что Россия далеко, что вернусь туда еще очень не скоро, быть может, никогда, а что ждет меня — даже представить невозможно. Армия — в Галлиполи. Но что она теперь? Что ж будет дальше? Этот вопрос я постоянно задаю себе и нигде не могу найти на него ответа. Меня снова перестала интересовать моя личная жизнь. Я бы отдала теперь все свои мысли и чувства России. Я люблю ее, я больше хочу счастья ей, чем себе. Но думать, соображать у меня нет силы. Казалось, я перешла какую-то грань, за которой нет мысли, есть что-то такое, чего я не в силах постигнуть. Так грустно и уныло. Стараюсь скрыть свое душевное настроение, говорю мало, все больше лежу на верхней койке и пишу. Раза два втихомолку всплакнула, но, в общем, стараюсь казаться равнодушной и спокойной. Под влиянием такого настроения написала что-то вроде стихотворения в прозе «Без просвета». Пишу «Пережитое» — повесть из личных переживаний во время беженства. Вчера написала сказку «Золотые волосы» и сегодня стихотворение «Не говори». А на душе так мрачно, так скверно! Как хочет-

ся отвлечься, позабыть обо всем, да нет силы. Жаль не себя, а других; но и на это не хватает силы. Хочется только одного: чтобы никто не видел моей души.

1 / 14 декабря 1920. Вторник. Эгейское море

Качает, писать трудно. Лежать могу только на спине, а то укачивает. А потому приходится кончать. Сейчас проплываем мимо Греции. Интересно видеть эти берега Эллады, где жил Фемистокл, Аристотель, Перикл, Сократ, где разыгрывались трагедии Софокла, где великие (не дописано. — И.Н.).

Когда мы проезжали Дарданеллы, на меня тоска напала. Это — не Босфор. Голые, серые холмы без единого деревца, однообразные, унылые; между ними — маленький, полуразрушенный городок. Теперь я понимаю, отчего так развито дезертирство. Я бы первая сбежала. Какие-то мертвящие краски. Бедные, бедные наши армейцы, не сладко им живется в Галлиполи. Что же еще будет впереди? Правду говоря, меня их судьба беспокоит больше своей.

2 / 15 декабря 1920. Среда. Наварин

Утром приехали в Наварин. Стоим в бухте и переживаем шторм. Бухта окружена красивыми холмами, а за ними высокие горы. Вообще же, очень уютно и красиво, хотя утрюмо. Море здесь бирюзового цвета, такого я еще не видала. Особенно хорошо оно на солнце. Дует сильный ветер, и нас даже на якоре качает. Говорят, ночью был сильный шторм, но я ничего не слыхала. В бухте стоят «Алексеев» и несколько миноносцев. С «Алексеева» приехал Солодков; говорит, что там опять нет воды; сам такой грязный, прямо ужас. К нам подъезжают шлюпки; греки везут апельсины, прямо с ветками, с листьями и выменивают их на консервы. Городок маленький, да его и совсем не видно за «Алексеевым». А странно стоять в Турции, потом в Греции, хоть я и не была на берегу, но все-таки чужая природа, чужая жизнь. Не могу, качает.

4 / 17 декабря 1920. Пятница. Наварин

Как-то все чужды здесь, нет никого, кто бы мне нравился; все заняты своими интересами, так даже и не интересны. Из нашей каюты мне только нравится Елизавета Сергеевна Насонова. Мне кажется, я хорошо понимаю ее душу. Еще мне нравилась Вера Павловна Иванова, очень веселая, живая, умеет скрывать свое настроение, всегда шутит, острит. Но и она мне скоро надоела. Одним словом, все здесь какие-то чужие, словно африканцы. Все скучают, хандрят и сердятся. Я сдерживаюсь. Чувствую, что могу

еще долго качаться на «Константине», могу еще ждать, перенесу очень много.

Занимаюсь распространением панических слухов. А как быстро расходятся они среди дам! (Здесь 575 дам и 60 мужчин). Заболел здесь кто-то возвратным тифом. Приехал доктор, осмотрел, и ее (заболевшую даму. — *И.Н.*) перевели в отдельную каюту. В этот же день является к нам Солодкова с взволнованным лицом, говорит: «Вы знаете, на “Константине” сильная эпидемия тифа, уже четверо заболели, доктор сказал, что все теперь переболеют и в Бизерте мы будем месяц стоять в карантине». Кто-то уже пустил слух, что большевики заключили союз со всеми государствами, и нас теперь никуда не примут. Говорят еще, что нас отправят на Мальту. Еще циркулируют слухи, что мы уйдем из Наварина последними. Кто-то сболтнул, что нам в Бизерте готовят отдельные виллы; в другом конце говорят, что — палатки. Но все звезды не пересчитаешь, всех слухов не переслушаешь и, тем более, не напишешь. Но эти слухи, волнения, перешептывания, все это отнимает время, а это только и нужно.

На море сильный шторм, в бухте мертвая зыбь, отчаянный ветер и качает. Ветер такой, что нельзя держаться на ногах, большие миноносцы буквально то одним, то другим бортом лежат на воде. Миноносец «Беспокойный» сорвался с якорей, катера не могут ходить — их сметает волной, сейчас кого-то снесло с катера. Выйду на палубу.

9 / 22 декабря 1920. Среда. Бизерта

Вчера мы вошли в гавань. Наконец-то кончен наш путь! Да нет же! Не пускают нас на берег французы. Стоим мы под желтым флагом (карантин). И все французские катера, которые подходят к нам с провиантом, тоже под желтым флагом. Сколько мы будем там стоять — неизвестно. Бизерта — славный городок, зелени много.

10 / 23 декабря 1920. Четверг

М^ада^м Данилова каждый вечер одевает ярко-красную кофту, около десятка блестящих серебром браслетов, большие серьги, взбивает волосы, накидывает темную шаль и выходит на ют гадать на картах. Выглядит настоящей хироманткой; к ней толпой валят матросы: кто ей апельсин сует, кто мыла кусок; а она со спокойно-величественным видом принимает подарки и прячет их в свою шаль. Ну, эта не пропадёт! А утром, когда дежурная по камбузу дама чистит картошку, она уже тут. «Ах, вы чистите картошку. Ну дайте мне немножко. Ну десять штук! Для моей больной дочери (знаем мы ее больную дочь!), ей очень хочется. Ну дайте». Увидит, что кто-

нибудь стирает: «Дайте мне мыла, у меня ни кусочка нет, а у меня столько белья, ведь дочь больна». А ее больная дочь в это время подводит глазки, красит губки, пудрится, завивается и идет кокетничать.

Вот беда дамам! На всем пароходе так мало мужчин, да и то все больше солидные. Они-то мажутся, красятся, оголяются, да некому на них обращать внимания. Но есть и молодежь. Каждый вечер до поздней ночи по палубе бродят флиртующие парочки. Как это противно видеть! В таком положении, в совершенно чужой стране, брошены в неизвестность, обросли грязью, изъедены вшами, и тут вдруг — флирт!

Противно держится и Самойлов: отправил во французский госпиталь жену, которая на днях должна родить, а сам устраивает веселые попойки и флиртует. Сейчас я вспомнила один случай: еще в Константинополе, когда нас ссаживали на «Константин». На «Алексееве» оказалась одна беременная, уже в последние дни, положение ее ужасное. Командир «Алексеева» разрешил ей остаться только с тем условием, что она родит до Бизерты; в противном случае он ее отправляет в Совдепию. Этот случай меня возмущает до глубины души. Правда, люди теперь озверели и одурели в одно и то же время! Все держатся противно, всё и все осточертели!

Обычно все сплетни рождаются м^адам Александровой, она положительно сумасшедшая! Ее все знают, все с ней говорят и все одинаково ненавидят! Она уже всем рассказала, что она урожденная графиня с каким-то громким именем, что она племянница Деникина (убеждена, что врёт!) и что у нее 62 фунта стерлингов. Всем она показывает свои туфли, которые она купила в Константинополе, и еще говорит: «А все-таки вы не можете купить, давайте спорить, что не можете, у вас нет столько денег. Вот у меня есть 62 фунта. Вот увидите, когда нас спустят на берег, вы будете жить в лагерях за решеткой, а я буду жить самостоятельно в городе, ни от кого не буду зависеть, потому что у меня есть 62 фунта, и я везде смогу устроиться»... и т.д. и т.д. Так уж она надоела всем со своей валютой! При этом она ужасная нахалка! Всюду она норовит лезть без очереди, везде хочет быть в привилегированном положении. Приехала французская карантинная комиссия, и она уже лезет к ним и требует, чтобы ее спустили на берег вне всякой очереди и карантина. Теперь уж она говорит, что когда всех опустят, она одна останется на пароходе и будет ждать спуска. Как все хотят, чтобы она скорее ушла от нас!

У нас на корабле уже несколько случаев брюшного тифа, да это и понятно — в такой грязи. А если мы будем еще долго стоять в карантине, то у нас может появиться сыпняк, и тогда всем капут! Ну а теперь я так устала от всяких сплетен и слухов, так хочется спуститься на землю, побродить по холмам, по апельсиновым рощам.

11 / 24 декабря 1920. Пятница

В жаркой Африке, у тихого озера. Погода такая, что все в шубах ходят. Ветер такой, что здесь, в закрытой бухте вдали от моря, волны так сильно плещутся, так ревут под иллюминатором, что ночью порой делается жутко, как прислушаешься к этому реву. Где же африканская жара? Все мы едем на юг и везде такая погода, прямо ужас, и везде говорят, что 40 лет такой погоды не было. Мне уж кажется, никогда тепла не будет. По-моему, теперь и на экваторе мороз.

Завтра у французов Рождество. Надо бы как-нибудь отметить этот день. Хотя и не наше Рождество, но надо это сделать из уважения к французам: ведь все-таки это единственное государство, которое приняло нас. Никакие подлецы англичане, ни соседи румыны не пустили русских в свои владения. Пока что французы относятся к нам замечательно. Каждый день они привозят нам в изобилии всякого провианта, очень любезны и предупредительны, так мило держатся, прямо прелесть! Они нам прислали неимоверное количество чая, решив, что русские очень любят чай, но это так мило с их стороны. Ну а то, что мы стоим в карантине, — это уж необходимость. Но как это тяжело. Мы стоим очень близко от берега! Видны какие-то растения, огороженные живой изгородью из кактусов, растут пальмы, а когда мы входили в бухту, я видела длинную пальмовую аллею. Такое впечатление, будто бы они расставлены в банках. А издали вид вовсе не какой-нибудь африканский, а совсем как в средней России: невысокие горы, балки, небольшие рощицы, зеленые лужайки, все зелено, ведь сейчас весна. Все это так заманчиво, так хочется на берег, ведь уже 42 дня я не была на земле, просто хочется почувствовать под ногами твердую почву, хочется все идти, идти и идти. Тоска по земле, безумная тоска. И никуда.

13 / 26 декабря 1920. Воскресенье

Я сегодня потеряла всякое мужество, совсем разнервничалась и не раз плакала. Мне хочется уединения. Мне так надоели люди. Так хочется остаться одной и поглубже вдуматься в себя. Мрачно на душе. Я давно уже не испытывала сладости молитвы. Здесь, среди всяких сплетен, в грязи, постоянно на виду у всех, я не могу молиться. В душе у меня черт. Это мучительное чувство. Я не могу сидеть на палубе: меня раздражает эта живая, шумная толпа; и все эти или разукрашенные, нервные люди, или кокетки. В каюте тоже не можешь глубоко подумать. Если мы простоим в карантине еще с месяц, мы все передеремся. О, скорее бы на берег, хоть бы на какой-нибудь маленький час остаться одной!

Сейчас уже вечер. Погода — великолепная. Можно было днем

ходить без пальто. Море гладкое-гладкое. Из-за миноносца выплывает большая, полная луна. Так тихо, так прекрасно! Броненосец «La France» освещает нас прожектором: то на берег переведет лучи, то на прибывшие русские суда. Что он смотрит? Уж не боится ли, что кто-нибудь пустится вплавь с корабля. Или высматривает, что делают у себя русские? А пошлую картину представляет наш корабль: на юте — романы, на баке — пьянство, а в каютах — «регистрация беженцев».

14 / 27 декабря 1920. Понедельник

Да, многое произошло с тех пор, как я писала дневник в этой тетради. Теперь я уж далеко-далеко от Европы, от России, от Корпуса, под жгучим солнцем Африки. Да еще под желтым флагом. За это время было много пережито, много передумано. Впереди — ничего светлого. Теперь мы уже далеко от большевиков, от войны, а на душе какое-то горькое, обидное чувство. Один за другим входят наши суда, сами отдаются в руки французам. Но настроение совершенно спокойное, хочется только на землю. Я еще бодра, я могу еще многое перенести, только временами чувствую полный упадок. Но это проходит, я научилась владеть собой. Полнейшее отсутствие всяких мыслей и сознания. Надоело, все кругом ноют. День, в общем, проходит скучно и страшно медленно.

15 / 28 декабря 1920. Вторник

Вчера вечером у нас с Мамочкой было объяснение. Я ей сказала, что я на нее обижена. Она просила объяснить. «Ты, — говорю, — рассказала один эпизод из моей жизни Александровой». Она поняла. Необъяснимый факт объясняется очень просто. Во всем виновата Александрова. Она постоянно поражала Мамочку тем, что верно определила мой характер, что она рассказала ей свои предположения: Колчак — это было только предположение. Мамочка с Папой-Колей давно наблюдали за мной. А Александрова передала мне это в утвердительной форме, да еще с прибавлениями. Уж теперь об этом знает и Мамочка, и Папа-Коля. Но это в прошлом. Все равно его уже нет, а к мертвым люди справедливы.

Сегодня пришел «Алексеев». Встреча была торжественная. Шел он очень гордо (мы были уверены, что «Илья Муромец» потащит его на буксире); должно быть, собрал все силы, все пары, чтобы не осрамиться перед французами. По дороге толкнул какой-то французский миноносец, так что у того что-то сломалось, и вошел в озеро. Теперь надо ждать Кедрова, он идет на «Корнилове». Тогда наше положение выяснится.

17 / 30 декабря 1920. Четверг

На берег радостный выносит
Мою ладью девятый вал!

Скоро на землю, на землю, на землю. Все дамы на «Константине» расселяются на суда к своим мужьям, а Корпус на землю, в казармы. Там нас ждет французский паёк и ни одного франка. Казарма, значит — общее помещение, опять не будем одни. Ну да что делать? Пока что я очень рада! Мы с Верой Павловной уже уговорились вместе гулять. Идти, идти, идти. Сегодня с «Константина» уехали во Францию четыре каких-то генерала, между прочим, Лукомский. Слава Богу, я больше не буду видеть его самодовольной улыбающейся физиономии! Сегодня ночью одна старуха бросилась за борт. Ее спас комендант.

18 / 31 декабря 1920. Пятница. «Константин»

Прежде чем попасть на берег, мы еще попадем на «Якута». Казарма для нас еще не готова. Корпус сейчас станет проводить электричество (ведь он все захватил с собой). Но электричество — пустяки, из-за него нас не стали бы пересылать на «Якут». По всей вероятности, задерживает карантин. И это, наверное, не совсем так, потому что никаких эпидемий у нас нет, тут, вернее, политический карантин: боятся французы совсем не тифа, не чумы, не оспы, а большевиков.

Опять говорят про сокращение штатов. Ну уж это, по-моему, безобразие! Ведь и так в Константинополе сколько осталось за штатами, а тут опять! Завезли куда-то, в Африку, и тут бросают! Говорят, Корпус-то долго существовать не будет. Я и это допускаю. Теперь все возможно. Вот в какой мы находимся неизвестности, и что нас ждет — это никто не знает.

Французы разделили всех русских на четыре категории.

1) Кто хочет жить на свои средства во всех городах Европы, у кого есть валюта и паспорт.

2) Те, кто хочет жить на свои средства в Бизерте.

3) Кто не может жить на свои средства.

4) Желающие возвратиться в Совдепию.

И я уверена, что 4-я категория будет самая большая. Все мы в конце концов вернемся, даже в Совдепию. Это уже так!

19 декабря / 1 января 1921. Суббота

С африканским новым годом, с новым счастьем или несчастьем — уж не знаю. Что бы пожелать на этот год? Вернуться в Рос-

сию, только не в Совдепию! Мы встретили новый год довольно оригинально: мужчин не было, они даже спали. А мы пили вино, что осталось; очень трогательно из одной чашки, чокались о койки, все ужё разделись и лежали под одеялами. Потом принимали визитеров, мужей с «Алексеева» и крыс, много дурили. Все-таки хорошая у нас компания в каюте. Главное, что все такие простые.

А какая ирония судьбы: бежали от коммунистов, а сами живем на коммунистических началах: все равны, все на койке, ни у кого нет денег, все казенное, своего ничего нет, все общее, чем не коммуна? Глупо все делается на свете?

А в Совдепии что-то не ладно. В Москве было восстание. Совдепы начинают ссориться и в конце концов передерутся. Но общее мнение, что если там когда-нибудь и будет переворот, так только в мае. До мая все готовы ждать. Май, июнь такие хорошие месяцы, все самые хорошие события происходят именно в это время. Наоборот, все плохие непременно в ноябре.

У меня совсем нет сознания, что я за границей. Не могу даже себе представить, что я где-то в Африке, на корабле, и все это путешествие из Севастополя кажется каким-то сном. Я вижу сейчас море, такое тихое, масса огоньков на кораблях, зеленые огни маяков как большие яркие звезды, они длинной, блестящей полосой отражаются в воде; совсем как звезды на ёлке с пушистыми хвостами из блестящих нитей. Но мне не верится, что я это вижу в действительности. Все это словно в кинематографе или во сне. А ночь теплая-теплая, без пальто гуляли по палубе. И берега красивые, особенно под лучом прожектора, они такие фантастические и красивые. Вообще, я Африку представляла себе совсем не так. Я не могла представить ее иначе, как на карте. Одно даже слово «Африка» меня пугало: мне казалось, здесь живут только дикари, львы и крокодилы. Бизерту я представляла так: желтенький песочек, верблюды, пальма растет, а на пальме обезьяны. А на самом деле это вполне культурный европейский город. Масса растительности, пальмы, кактусы, других растений я не разобрала. А в общем, интересно совершить такое путешествие, да еще не истратив ни копейки!

Мне очень нравится, как ведет себя Кедров. Когда французы требовали, чтобы все семьи моряков были ссажены в лагерь, куда мужчины не имеют права показываться, он ответил французскому адмиралу: «Я человек холостой, считаю даже женоненавистником, но у вас, я вижу, кольцо на руке. Что если бы вашу жену посадить в лагерь и вам бы не позволяли с ней видаться, вы бы согласились на это?» — «О, поп!» — «Так и я не согласен на это». И вот теперь все женщины ссаживаются обратно, откуда пришли.

20 декабря / 2 января 1921. Воскресенье. «Константин»

Утром сюда приехал о. Спасский и служил обедню. В это время как раз мы с Мамочкой были в наряде по чистке картошки. Мамочка скоро сбежала; я работала добросовестнее, но потом тоже удрала, служба была на юте. Хорошее было настроение; я думаю, не было человека, который бы не молился искренно в этот момент. Спасский говорил очень хорошо и искренно. А после было так весело, так отраднo на душе. Но мое настроение сразу омрачилось неожиданным известием: завтра переезжаем на «Кронштадт»! На «Константин» сейчас переходят все, кто хочет вернуться в Константинополь, и он скоро уходит; а помещение для нас на земле, очевидно, еще не готово, только сегодня поехали осматривать казармы. Ну а такая переправа, на несколько дней, мне совсем не улыбается. Опять собирать вещи, складываться; суматоха, толчея — перетаскиваться. Да еще неизвестно, где мы поместимся на «Кронштадте»; говорят, нам отведут какой-нибудь кубрик или трюм, это тоже не привлекательно. В общем, это известие меня расстроило. Потом получили известие, что у Самойловой умер сын. Мне так страшно жаль ее. Никогда я не питала к ней особой симпатии, скорее даже наоборот; но ведь это ужасно — после стольких мытарств и мучений, в таких условиях, когда и без того создается такое ужасное настроение, — родился сын и через несколько дней умер.

Я сегодня собиралась серьезно приняться за свою повесть «Пережитое», ну уж теперь не удастся; это тоже меня злит. О, если бы только скорее на землю! Хотя бы под открытым небом жить, только на земле!

24 декабря / 6 января 1921. Четверг. «Кронштадт»

Вчера мы переехали на «Кронштадт». Устроились в мастерской, между станков. По правому борту — работы: машины двигаются, колёса вертятся, треск, шум; над нами так и шныряют вагонетки, грохот, свист; возня, точно на фабрике какой-нибудь. И тут же дамочка с зеркальцем. Получается нечто сверхъестественное. В таких условиях мне еще не приходилось бывать.

25 декабря / 7 января 1921. Пятница

В прошлом году я встретила Рождество в теплушке, теперь — на корабле. Но сегодняшний день замечателен. Утром, до обедни, я исповедовалась, потом причащалась. Служба была великолепная, очень торжественная, церковь здесь премилая, настроение приподнятое и веселое. Вчера раздавали взрослым сладкий пирог и коржики, а детям по баночке варенья. Сегодня был суп с пирогом,

кого уж благодарить за это? Кому пришла мысль — хоть немножко скрасить наше существование в такой великий день!? В память этого Рождества Мамочка обещала мне при первой же возможности подарить золотую цепочку для креста.

26 декабря / 8 января 1921. Суббота

Вчера вечером для детей была «ёлка», т.е. не ёлка, а просто какое-то дерево с узкими листьями. Его украсили бумажными цепями, картонажами, игрушками и т.д. И даже провели разноцветные электрические лампочки. Ёлка стояла на палубе. В общем, было очень пышно и красиво. Если бы только зелень была темнее, было бы лучше. Малыши вдоволь повеселились вчера; приходил Дед-Мороз, раздавал подарки, куклы, сласти и т.д. А я после обеда села в уголок и стала плакать. Потом уснула. Проснулась и опять плакала. Вернулся Н.Н.Александров, который осматривал помещения, и сказал, что Корпус будет в нескольких местах. Мы где-то будем на горе, в казармах. Насонова где-то в другом месте, мне это очень жаль. Воробьевы тоже не с нами, и это мне неприятно. Мне очень нравится Ляля, и мне кажется, мы бы с ней скоро сошлись. Все грустно.

Поздно вечером я вышла на палубу. Ночь была тихая. Было пустынно, только около ёлки играли несколько детей. С «Корнилова» доносились плавные звуки вальса. Шумный праздник затихал. Только кое-где слышались звонкие детские возгласы, шум, шелканье хлопушек, смех; все тише и тише. На спардеке уже веселились взрослые. Там была музыка, танцы и, наверно, флирты. Я смотрела на воду, долго смотрела; мне вдруг так захотелось броситься туда, сделать что-нибудь безумное, дикое; не знаю, что меня удержало; наверно, страх перед этой черной бездной вод.

Прежде чем попасть в казармы, нас целый день продержали в дезинфекции. Арабы нас вымоют, мужчинам обреют все — и волосы, и даже бороду, женщинам сделают снисхождение, оставят волосы, только намажут их какой-то гадостью. Когда Лукомский уезжал в Париж, его тоже дезинфицировали. Он возмутился. Ему французы заявили, что для них нет никаких генералов, все равны, и что иначе его отсюда не выпустят, и сняли с него всю его красоту. Его жене сначала позволили самой вымыть себе голову, но после нашли у нее двух насекомых и решили, что русские не умеют мыться, и вымыли снова, но уж сами.

27 декабря / 9 января 1921. Воскресенье

Обедню служил Спасский. Говорил проповедь на свою обычную тему о терпении и т.д., а после благословил каждого медным крестиком. Сейчас я опять пойду в церковь. Это единственный

уголок, где чувствуешь себя хорошо. Потом, там в хоре великолепный тенор, наслаждение слушать. Особенно хорошо, когда поют: «Боже, во имя Твое спаси мя!» — тенор поёт соло. Ну замечательно!? Век бы слушала!

Настроение скверное. Все бы ничего, но на мне сказывается настроение других: Мамочка больна, все раздражается, нервничает; Папа-Коля тоже, ну, поневоле и я начинаю злиться. И сознаю, что надо молчать, да не могу. Если бы Мамочка смотрела на все проще, было бы веселее. Как Вера Павловна. Побольше бы шуток, смеха; насколько бы всем было лучше! Но тут я бессильна. Не мне создавать настроение семьи, увы, не мне! По-моему, всегда в таком состоянии, когда так тяжело на душе, лучше всего искать утешения; если в компании — то в веселье, наедине — во сне, а вдвоем — в откровенной беседе. Преступно ныть и жаловаться, ведь если ты хандришь, так это не значит, что все должны хандрить. Хандра, уныние — это болезнь, заражать других — преступление. Отвлечься сейчас трудно: компании у меня нет, друга тоже нет. Единственное, что еще осталось хорошего, — это сон; самое блаженное время — вечер и ночь. Уж больно тяжело, когда кругом все охают. Я смотрю на жизнь как на интересную книгу: все, что сейчас приходится переживать, все мне кажется, что только читаю с большим интересом и увлечением. Меня нет в жизни, есть только героиня какой-то повести. Ведь в книге интересно читать и про радость, и про горе, а разве жизнь не интересна, разве не хочется знать, что ж будет дальше?! Все нужно пережить! Я не ропшу. Перетерпевший до конца — спасен будет!

29 декабря / 11 января 1921. Вторник

Вчера вечером здесь ставилась пьеса «Иванов Павел». Был оркестр, сцену устроили на палубе, а публика разместилась в 4-х ярусах: на палубе, на спардеке, выше и еще выше, откуда сигнализируют. После пьесы был длинный дивертисмент: пение, декламация, танцы, хор «бывших людей» и «Чемпион мира». После каждого номера за занавес (сделанный из сигнальных флагов) выходил какой-то офицер и занимал публику своими разговорами, невозможно смешил: он очень остроумен. У меня появилась новая симпатия: первая — тенор, а вторая — баритон, еще совсем молоденький офицер. Он пел прелестно, особенно «Время пролетело, слава прожита». Его вызывали на бис. «Чемпион мира» — это кочегар. Он тянул о голову и о зубы толстые железные прутья, совершенно свободно поднимал одной рукой колесо вагонетки; одним словом, проявлял нечеловеческую силу; а потом лег, ему на грудь поставили наковальню, на ней со всей силы огромными мо-

лотами разбивали железо. Выдержал, черт. Но баритон... Его голос мне покою не дает. Что может быть приятнее хорошего голоса?

3 / 16 января 1921. Воскресенье

Я решила до земли не писать дневник. Все эти слухи о смерти Ленина, об оккупации Украины, о наших-то переменах, о войне с Совдепией — страшно волнуют меня; хотя я ни в один из них не верю. Но я так нервничаю, так волнуюсь, ни за что не могу приняться, только веселая болтовня. (Ируся меня и развлекла сейчас.) В пятницу на землю, а там, когда устроимся, все будет покойно, не будет над душой висеть еще какая-то суета или гнетущая неизвестность, и тогда я серьезно примусь за работу (за сочинения). А пока буду лежать в нашей «комнате» (между станков), она с двух сторон завешена сигнальными флагами, в «квартиру» Никитиных стена только подразумевается; с третьей стороны станок и борт. Попадать к нам можно только через «квартиру» Куфтиных. Здесь, в мастерской, все устроили себе домики из флагов и парусов. Теснота у нас такая, что когда мы ляжем, на полу не останется ни одного вершка свободного. А под потолком какие-то колеса, ремни, тенты, стенки намазаны маслом, так что к ним и не прислонишься.

4 / 17 января 1921. Понедельник

Сегодня очень плохой суп, без единой картошки. Дело объясняется очень просто: вчера я была в наряде по чистке картошки. Мы чистили с обеда до самого ужина. А картошка очень мелкая, проросшая, и ее очень трудно чистить. Потом настолько стемнело, что ничего не было видно. Мы потребовали, чтобы нам дали свет. Пока нам налаживали свет, мы бросали картошки за борт. Потом работали при свете. На полу оставалась еще большая куча, с полмешка, смешанная с кожурой. Больше чистить было лень, да и холодно. Мы решили, что довольно. Но куда же девать картошку? Тогда маленькая девочка, дочь служащего, что тоже чистила, взяла лопату и стала убирать. И вся картошка полетела за борт. Такие-то дела бывают на свете!

13 / 26 января 1921. Среда. Fort

8 (ст<арого> ст<илия>) утром к «Кронштадту» подъехал французский катер, и мы поехали в госпиталь. С катера мы пересели на автомобиль, ехали по пальмовой аллее прямо в дезинфекцию. Нас повели русские сестры в одну комнату, там мы разделись, закутались в простыни, намазали нам голову какой-то жидкостью и поочередно посылали мыться. Я шла по коридору в одной простыне,

тут же ходили французы и смотрели на меня совершенно равнодушно: это для них обычное зрелище. Ванна была ледяная. Я только залезла и сейчас же выскочила, как ужаленная. Опять меня чем-то намазала сестра, еле-еле, и тем же порядком отправилась в другую комнату. Да по дороге еще чуть не зашла в мужскую. Там на меня надели мужской костюм — это было замечательно! Потом нас отвели в барак. Там у каждого была чудная, мягкая кровать с белоснежными простынями, с теплыми одеялами, тарелка, ложка и кружка. Мы опоздали к завтраку, и нам специально приготовили макароны. Французы относились к нам замечательно, и вообще эти три дня, что мы пробыли в госпитале, были для нас днями блаженства. Только эти женские фигуры в брюках и в коротеньких куртках с белыми платками на голове производили впечатление сумасшедшего дома.

Мужчины тоже были хороши: их гладко остригли (а Папа-Колья еще на «Кронштадте» остригся) и в этих лазаретных костюмах это были пресмешные фигуры. У ворот госпиталя стояли часовые, всюду были проволочные заграждения, но, в общем, было много простору. Кормили нас хорошо: утром чашка кофе без молока, в 12 часов завтрак из трех блюд: 1 — немножко супу, 2 — мясо или что-нибудь, и 3 — зелень, всего понемножку, но, в общем, сытно, и чашка вина. В 5 часов обед, такой же, как завтрак, и хлеб.

Прививали нам оспу.

Но, в общем, дезинфекция была очень поверхностной: все насекомые остались живы и здоровы. 11-го в 5 часов нас разбудили и посадили на поезд. В Бизерте нас пересадили на трясучий автомобиль и повезли на форты. Здесь прежде всего несколько часов продержали на ветру, пока распределялись квартиры, а затем только пустили в бараки.

18 / 31 января 1921. Понедельник

Долго я не могла найти минутку для дневника. Сдерживала бурю. В душе у меня поднимается страшная ненависть, озлобление. Может быть, я буду несправедлива, но я слишком возмущена, потрясена, чтобы молчать. Меня возмущает Врангель. Все это слухи, конечно, но весьма вероятные. Его семья уже в Париже. Он пока еще в Константинополе, но собирается в Париж, где ждет его компания. Что это за «компания» — никто не знает, но там есть Лукомский, и это уже яркая характеристика. У Врангеля есть столько франков, что при самой широкой жизни ему хватит на 25 лет. Сейчас он кутит в Константинополе, скоро появится во всех ресторанах Парижа. Зачем тогда он нас эвакуировал? Зачем завёз нас

куда-то в Африку? Чтобы здесь бросить, оставить умереть на французской койке? Хорош! Хорошо ему кутить в Париже, а мы-то куда денемся, а наши несчастные армейцы? Мы должны погибать!? Уж лучше бы нас большевики повесили, чем умирать здесь голодной смертью. Ведь через три месяца французы перестанут нас кормить; по всей вероятности, и Корпус будет расформирован, и нас отпустят на все четыре стороны. Но три месяца — это еще большой срок, но и теперь-то наше житье не сладко. Хотя отношение французов к нам замечательное, но все же мы пока пленники. Франков нет, паёк голодный, отношение в Корпусе невыносимое. Так и хочется бросить его и уехать в санаторию: тот же паёк, тот же плен; может быть, дружнее там живут. Но такого чинопочитания, как в Корпусе, я еще нигде не видала. Только и слышно — капитан I ранга, капитан II ранга, ротный, отделенный. Все по рангам; и комнаты распределяются по рангам. Это меня злит и оскорбляет. С тех пор как Папа-Коля стал называться бароном, к нему сразу переменялось отношение. Это тоже характерно. Потом — с комнатами: Александров взял себе две хорошие комнаты (почему?), а нас поселил в карцер. Комната еще ничего себе, но без потолка и без окна, есть только маленькое (окошко. — *И.Н.*) над дверью. Под крышей громадные щели, вершка в два. Если закрыть дверь, то темно, а так — холодно. Тесно, но штатскому преподавателю можно жить и в таких условиях. Сколько раз Папа-Коля подавал рапорты о том, что у нас нет ботинок, я хожу со сломанным каблуком на совершенно рваных туфлях, а Мамочка в кавказских шлепанцах — больше у нас нет. Каждый раз нам отвечают: «В общем порядке». У нас совершенно нет белья, мне сейчас нечего переодеть, а тут вот эти формалисты маринуют обувь, пока ее не раскрадут. Ведь мы уж беженцы на втором году, могли бы нам сделать исключение, так нет же, не могут они этого понять! Что же дальше? До каких пор будет такое издевательство? Ехать в Россию — это только нам и остаётся! Я теперь считаю, что наша эвакуация была роковой ошибкой. Но ведь мы надеялась вернуться триумфаторами, а уж если это на веки вечные, тогда другое дело. Во всем виноват Врангель. Мне казалось, что ему должно быть очень тяжело сейчас. Я его жалела от всей души, а если он кутит в веселой компании, погубив столько жизней, то это даже подло. Быть может, все это только провокаторские слухи, но... Нет дыму без огня. Если даже существует такая молва, то, значит, тут дело нечисто. Нет, надо ехать в Россию; страшно, но все равно, рано или поздно, мы вернемся в ту же Совдепию. Пора!

19 января / 1 февраля 1921. Вторник

В 7 часов пробудка, часов около 8-ми кофе, в 12 — обед, в 7 — ужин, в 8 — молитва, в 9 — спать. Так распределён день для гардемаринов 3-ей роты, которая живет здесь, а не на форту. Поневоле и мы приноравливаемся к такому же расписанию. В 7 часов встаём. В 8 Папа-Коля идет в камбуз получать по 2 чашки кофе с сахаром. В 12 обед, суп из шрапнели, потом кипяток. В 7 опять шрапнель и чай, а в 9 поневоле ложимся спать. Голодно только. Эти супы — они совершенно без зелени, в них даже картошки нет, одна перловка и мутная вода. А на ужин эта же шрапнель, только совсем на воде, или ячневая каша. Другого меню не существует. Сразу видно, что учреждение военное, набивают нас этой шрапнелью. Как тут можно заниматься, когда только и думаешь: что бы загнать и хоть лепёшек купить у арабов? В самом деле, положение жалкое. Кадеты загоняют уже и казенные вещи. Все они страшно распустились, изворовались; и вообще, теперь, по-моему, честных русских не осталось. Я сейчас зла, я ругаю всех; за что — не всегда могу ответить. Душа озлоблена, в ней ничего нет, нет даже никакого желания. Вернуться в Россию — разве это желание? Я вовсе не хочу мириться с большевиками, но это необходимо. Не можем же мы вечно жить так, как живем теперь. Пусть уж если и будет какой переворот, так мы переживем его там, а не будем дожидаться его в Африке. Итак, желания у меня нет, т.е. мне очень хочется получить ботинки, белье, сытно пообедать, выучить французский; хочется пойти в город; хочется, чтобы была хорошая погода. Но такого желания, за которое бы я жизнь готова была отдать, такого — нет.

20 января / 2 февраля 1921. Среда

О, Господи! Будет ли когда-нибудь такое время, когда в комнате можно будет сидеть без пальто, когда ночью не надо будет покрываться шубами, когда ветер не будет открывать дверь и тушить лампу? Будут ли у меня когда-нибудь новые туфли, целые чулки и хотя бы две смены белья? Сделают ли нам наконец окно? Дадут ли бязи? Будут ли у нас когда-нибудь франки? Как трудно без них обойтись. Герасимову каждую ночь снятся франки, а мне даже и не снятся. А будем ли мы хоть когда-нибудь жить хорошо? Или это только грёзы, как и все мои симферопольские мечты о Харькове? Все, о чем я мечтаю, все, что я хочу, — никогда не сбывается. Все бывает как раз наоборот. Уж лучше ничего не хотеть, ни о чем не думать.

21 января / 3 февраля 1921. Четверг

Все мое существование в Бизерте должно сводиться к двум главным целям: изучению языка и к окончанию курса 5-го класса. И то, и другое очень трудно, почти невозможно.

Петербург III—IV

7 (20) февраля 1921 г. — 18 июля 1922 г.

Адреса:

Bizerte. Sfaiat. L'École Navale russe.

Bizerte. Couvent Notre-Dame de Sion*.

Я за то глубоко презираю себя,
Что живу, день за днем бесполезно губя.
Некрасов

7 / 20 февраля 1921. Воскресенье

Сегодня я с Мамочкой ходила в другой русский лагерь. Там живут все наши корпусные, что были так безобразно выброшены, между прочим, Завалишины и Воробьевы. Нельзя сказать, чтобы они жили лучше нас. Вид у них лучше, правда, чем у нас. Много интересных уголков. Бараки каменные, но общежитие хуже. Во-первых, все чужие, те же перегородки из одеял, так же все слышно. Но у Завалишиных комната прелестная. Они живут отдельно. Комната у них большая, светлая и великолепно убранная. Еще бы, когда они вывезли из Севастополя 22 корзины! Всюду у них ковры, дорожки, кресла, ширмы, картины, полочка убрана вышитой материей; а на полке разные вазочки, сервизы, бокалы. Удивительно уютно. Мы с Лялей ходили гулять. Там тоже есть форт, а оттуда чудесный вид. Там есть какая-то таинственная крепость. К ней ведет длинный ход между высоких скал, и крыша крепости приходится как раз в уровне скал, но их разделяет дорога, которая проходит вокруг всей крепости. На крыше по склону высокий земляной бугор, так что издали ее не видно. Наверху повсюду маленькие узкие окна. Дверь была крепко заперта, но через маленькое отверстие мы смотрели внутрь. Самая середина ее освещена ясно, потому что в крыше было большое отверстие; вверх поднималась лестница, очевидно, на крышу. К лестнице тянулся

* Монастырь Сионской Божьей Матери (фр.).

длинный коридор, по бокам таинственные двери. Уж как меня тянуло внутрь, а никак невозможно.

Но нечего ерундой заниматься, даром время терять. Мне к завтраму надо подавать сочинение, а еще не написала. А как спать хочется.

Папа-Коля опять в городе, играет в кинематографе. За дело!.. А лень.

23 февраля / 8 марта 1921. Вторник

На дворе такая мерзость! Тучи без конца, накрапывает мелкий дождик, лужи, воздух сырой и холодный. Так как у нас нет окна, то мы сидим с открытой дверью, все в пальто, по полу липкая грязь и вода. Потолка у нас нет, и слышно, как по крыше барабанил дождь. Все так гнусно и кисло.

Я забросила дневник не потому, что у меня нет времени, а просто нет никакой охоты. С тех пор как я бросила писать, прошло много времени, но мало интересного. Все так же скучно, как и этот мокрый день. Дни проходят однообразно. Определенной работы никакой нет, но разных мелочей масса, они занимают весь день. В продолжение всего дня разбросаны уроки, они связывают. Только после ужина я совершенно свободна. В теплые дни мы с Вавой Васильевой после ужина садимся на топчан против нашей двери, через дорогу, за агавами и сидим там до молитвы. Она меня познакомила с несколькими гардемаринами и с Окрашевским. Окрашевский — это старший лейтенант, бывший командир 8-ой роты; но однажды он здорово напился в Бизерте с товарищами, устроил в лагере скандал, и после этого его не только «ушли» с должности ротного, да еще под арест посадили и только вечером на полчасика выпускали. Глупы эти ночные знакомства, наутро я никого не узнавала, это было время, когда Вава втягивала меня в свою сферу, увлекала своей жизнью. Я не сопротивлялась, наоборот, я слишком остро чувствую одиночество. Это были хорошие часы, но опять пошли дожди, да и топчан у нас взяли для сцены, теперь я опять по вечерам одна. Хотелось бы погулять: здесь очень красивая местность, да не с кем. Ваву не вытянешь, она все время занята, только разве в Saint-Jean к своей приятельнице Миле Завалишиной, она еще бегаёт с удовольствием. Но в такую гнусную погоду никуда не пойдешь.

Недавно мы получили из Сербии письмо от Донникова. Странно, скучал о семье, говорил, что хоть к большевикам пойдет, только в Харьков; а вот вместо этого попал в Сербию, с ним Медведев и Решетников. Живет он под фамилией Ветани (от имени жены и доче-

рей — Вера, Тамара, Нина). Он написал коротенькое письмо, не совсем верил, что мы эвакуировались. Конечно, приятно получить от своих весточку, но я-то думала, что он давно в Харькове и рассказывает о нас.

Затосковала я на лоне природы, затосковала. И куда меня тянет — не знаю. В Россию? Нет, не хочется к большевикам. Хочет-ся во Францию, в шумные, многолюдные города.

Мамочка с Папой-Колей часто спорят. Мамочка говорит, что мы бежали из России, спасая свою жизнь, что это трусость и мало-душие. Папа-Коля возражает. Я тоже с Мамочкой не согласна. Мы не захотели мириться с большевиками, взяли да ушли. Это прекрасно! Мы готовимся к новой борьбе, мы храним идею. Но уж это я слишком увлекаюсь. Пожалуй, мы только и храним ее. А тут еще щекочут сердце слухи о перевороте; как будто что-то произошло, и скоро мы вернемся в Россию. Машуков сказал, что или через три месяца, или через три года. А игра Папы-Коли в кинематографе тоже кончилась. Предлог такой, что нельзя работать в Бизерте, не сходя с пайка. Но говорят, что инспектор классов Александров ходил в *Contrôle Civil** и там сам подложил свинью нашим музыкантам. Вообще, мне он страшно не нравится, ужасный подлец. Зато уж мне нравится Кितिцын; не знаю почему, но страшно нравится. Помоему, он единственный честный работник в Корпусе.

Но вообще жить по лагерям не сладко. Один корпусной мичман застрелился на «Ксении». Говорят, еще пять мичманов застрелились, но только это скрывают. Паёк прескверный.

8 / 21 марта 1921. Понедельник

Прочла книгу Слащева и окончательно расстроилась. Поплакала тихонько, грустно, что там происходили такие интриги и гадости, но кто прав, кто виноват, теперь трудно понять, а человека жаль. И так уж я хандрю за последнее время, такая гнусная погода, ветры, дожди очень скверно влияют на настроение. Ничего не хочется делать, да и нет никакого определенного дела. Из России доходят скверные известия, что Кронштадт пал, восстание подавлено, и все это удовольствие стоило несколько тысяч жизней и два броненосца. Англия уже заключила союз с большевиками. Положение беспросветное. Все это вместе так тяжело и грустно, я даже плакала сегодня ночью, к тому ж плохой сон увидела, Харьков вспомнила, Таню. Мне и теперь хочется плакать.

А я за последнее время как-то слишком почувствовала, что

* Гражданский контроль (служба) (фр.).

превратилась в ничто. Даже то, что я была, и это было «ничто». А теперь я только «тень прошлого и призрак будущего». Я — ничто, это так. У всех есть какие-нибудь способности: та рисует, та танцует, та поёт, та хорошо играет, та хотя бы знает языки, та красивая, та, наконец, просто умеет нравиться другим, а я что? Правда, я писала стихи, но все так бледно, так незаметно.

11 / 24 марта 1921. Четверг

Я разбита, и нравственно, и физически. Я ничего не делаю. Не только я, но и все мы несчастные беженцы, зачем-то покинувшие свою родину, и так глупо и так слепо отдавшиеся судьбе. Мы лишние, это несомненно. Мы никому не нужны, даже самим себе. Цели нет. Вся жизнь сводится к тому, чтобы что-нибудь поесть и во что-нибудь одеться. Стоит ли жить? Я не говорю о себе, мне, может быть, еще стоит. Стоит ли жить, чувствуя себя лишним, которого заткнули куда-то в Африку и позабыли о нем?

6 апреля 1921. Среда

На стене у нас висит карта великого переселения народов. Вот мы смотрим, куда бы нам переселиться в случае чего, а такой случай на носу. Врангель арестован. Впрочем, как ни думай, а пути только два: либо в Бразилию, либо в Совдепию. Причем Бразилия принимает только 10 тысяч. Одно несомненно, что скоро мы эвакуируемся. Существуют верные приметы: открывается кооператив, Помаскин разводит кроликов, а Матвеев отдал свои вещи в комиссионный магазин.

7 апреля 1921. Четверг

Я хандрю. Меня мучает какая-то смутная неизвестность, страх за близкое будущее, тоска, только не знаю по чему (или по кому). Почему-то я сегодня вспомнила брата, и впервые сделалось грустно, что его нет. В первый раз в жизни мне захотелось брата, милого друга и товарища, странная мысль! Ведь он умер более двенадцать лет тому назад, и за это время я ни разу не жалела, даже не вспоминала его. А теперь мне вдруг так захотелось его. Если бы был жив Глеб, я бы не скучала, не тосковала бы, не хандрила бы, я бы даже не была такая скрытная, у меня бы был друг, с которым бы я никогда не расставалась. Хотя я и не могу представить, какие бы были между нами отношения: я вижу кругом, что сестры всегда с братьями ругаются. Но нет, мы были бы дружны, иначе и быть не могло. Но отчето сейчас я об этом вспоминаю? Оттого ли, что мне сейчас скучно и

тоскливо как никогда, я чувствую себя совсем одиноко? И в мыслях ничего нет. Иной раз начну думать, мечтать, строить всевозможные планы, но невольно приходит мысль, что все это совершенно бесполезно, что всем моим мечтам и мечтаниям давно пришел конец, но такой странный, что я все еще не решусь поверить в него. Я стараюсь уверить себя мечтами, но мои мечты — безумные, дикие, рассудок говорит, что так никак не может быть, и я невольно останавливаюсь. Выходит так, что не о чем мечтать, для этого нет фундамента. И зачем строить себе иллюзии того, что никогда не будет. Я тоскую. Стараюсь себя уверить, что тоскую по родине, но это неправда: одна мысль о возвращении в Совдепию пугает меня. Я этого не хочу и стараюсь не думать об этом. Вернее — я тоскую о прошлом.

Я люблю мое прошлое, потому что в нем все то, чего нет у меня сейчас, но к чему я привыкла и люблю (фраза Каменева). Я люблю мое прошлое, потому что в нем Таня, а с ней связано все счастливое. Может быть, это и не так, но мне приятно связать с этим именем все хорошее в моей жизни. Милая, милая Таня, помнишь ли ты меня? Порой меня мучает нехорошее чувство: а вдруг она меня забыла? Я начинаю ревновать, начинаю думать, что она меня никогда не любила, просто весело и легкомысленно относилась к нашей дружбе. Но теперь мне все равно. В душе у меня она осталась милым любящим другом. Живи, Таня, живи, веселись и никогда не знай одиночества, это так тяжело. Я люблю, я тоскую по ней. Я часто мечтаю о ней, хотя никак не могу представить, когда и как мы с ней можем встретиться, т.е. буду ли я сама рада этой встрече? Вернее, я не мечтаю, а вспоминаю и, мысленно, повторяя прошлое. Нет друга, нет мечты, нет даже определенного дела, в котором бы я могла забыться. Все внимание поглощают мелочи дня, а их так много, и такие это все скучные вопросы, к которым сводится вся жизнь Сфаята.

Сфаят — это вечно волнующаяся масса людей, тревог, сплетен, толков, интриг и предрассудков. Сфаят — это лагерь бывших людей. У всех его обитателей положение настолько неопределенное, что они даже представить себе не могут, что ждет их. И в настоящем они зависят не от себя. Все в прошлом. В Сфаяте жизнь кипит: все вечно волнуются, торопятся что-то сделать, копошатся, но к вечеру вся их деятельность сводится к нулю, и дальше Сфаята не идет. Лагерь полон предрассудков, в нем своя жизнь, свои обычаи, свои уставы. Нравы жителей грубые и суровые. Живут они грязно, голодно и холодно. Жизнь начинается рано, но к 9 часам вечера все уже спят. С первого взгляда Сфаят может показаться мертвым, но если заглянуть в каждый отдельный барак,

в каждую комнатушку, то везде обнаруживается деятельность, правда, ленивая. Обитатели вечно ссорятся, ругаются, тоскуют и вздыхают. Жизнь Сфаята ленивая, скучная и до смешного однообразная, наводит тоску. Не произошло никаких событий, за исключением ухода 8-ой роты, установления ночных дежурств и рождения двух мальчишек. Центр Сфаята, его жизни и интересов — камбуз.

23 апреля 1921. Вербная суббота

Кто мы и что мы теперь?!

Сегодня уже наверняка узнали, что Русской армии больше не существует. Войска обезоружены и обращены в беженцев. Нас это еще пока не коснулось, но, несомненно, и Корпус полетит. Что будет, что будет с нами!? Кормить нас скоро перестанут, и нам один путь — в Совдепию. Пока мы висим в воздухе, не зная, что и думать, во что верить, на что надеяться. Даже покидая Крым, наше положение было определеннее, чем теперь.

Не хочу в Россию, ну, вот ни капельки не хочу! Меня почему-то тянет в Азию, на Дальний Восток; предчувствия меня редко обманывают.

Хотела я поступить во французский пансион, куда поступила Ляля Воробьева, да не удалось. Когда раньше, вскоре по приезде в Бизерту, Мамочка мне предлагала это — я целую бурю подняла, говорила: ты только отделаться от меня хочешь, завезла в Африку и бросаешь и т.д. (Как я узнала позже, то же самое говорила и Надя Гран.) А потом мне так захотелось туда, что я только и думала об этом. Ну а чего я хочу, то никогда не бывает. Пока кончаю, голова болит невыносимо. Весь день кисну, наверно, расхварываюсь.

Но что же будет после такого критического момента? Только бы не в Совдепию! Остальное все хорошо.

25 апреля 1921. Понедельник

Вчера я написала Тане письмо! Мы думаем попробовать отослать его через Латвию; может, дойдет. Я написала ей все, что только могла написать. Боюсь только, что она меня не поймет, а еще больше боюсь, что она совсем не получит его. Ну, что будет. Все теперь делается на авось.

28 апреля 1921. Четверг

Весь день в деталях.

Встала в 8. Чуть ли не первый раз сама ходила за кофе. Разбудила Ваву, она уже встала и принималась за глажение. Попросила меня принести ей черных углей из камбуза, принесла. Утро чистое,

свежее. Оделась с особенным старанием. Тут пришла Наташа (Кольнер, моя приятельница, хотя ей нет двенадцати), говорит: «Пора!». Пошли за Вавой. Она долго копалась, наконец вышла, очень хорошенькая. Она и так красивая, и белое платье очень шло к ней. Пошли в церковь. Церковь на форту, в каком-то каземате, маленькая, но очень уютная. Причащались. Пришла домой — дома полный хаос. Мамочка принялась за уборку, и в то же время делала какое-то печенье. Сразу обед. После обеда решила стирать, а то уж больно тоскливо; грела на камбузе, а стирала на дворе, на топчане. Около лежала Вава и дремала. Потом подошли мальчишки: Колюня Марков, Коля Оглоблинский и кадет Женя Наумов.

1 мая 1921. Воскресенье. Пасха

Христос Воскресе!

Была у заутрени. Тяжелое впечатление произвела она на меня. Мне не понравилось. Не было ничего торжественного, праздничного, никакого подъема в душе. Вообще, мне было неприятно, что наступает Пасха. Наоборот, мне хотелось самых серых будней. Вчера во всем Сфаяте шли усиленные приготовления. Раздавались продукты: сладкая булка, по фунту сахару, по литру дрянного вина; из Дамского комитета — яйца, шоколад и молоко. И вместо обеда на сегодняшний день давали маленький кусочек свинины и сладкую рисовую кашу. В пятницу мы случайно продали два золотых кольца за 70 фр<анков>, помогла нам продавать Александра Михайловна Завалишина. Вчера Мамочка ходила в город, купила себе белые туфли и пирожных. Так что у нас сегодня был праздник. К несчастью, погода плохая: дождь и холод. С утра у меня перебивали все мальчишки; и в куклы играли, и «соловья» пели, и кончилось, конечно, слезами. За ними (после них. — И.Н.) стали приходить визитёры. Смешны эти визиты; каждый день мы видимся, каждый день бываем друг у друга раз по десяти, а сегодня — только один раз и в парадной форме. Потом Мамочка пошла на крестины Леонида Иванова, а Папа-Коля — отдавать визиты. Я осталась одна и принимала визитеров. Приходили Матвеев, Жук и Солодков. Мне страшно скучно. Да еще этот дождь. А еще Вава уговаривала меня пойти в Сен-Жан. Сейчас уже, наверно, одиннадцатый час, я опять одна: Мамочка с Папой-Колей пошли к Насоновым, играть в винт. Мне страшно хочется спать, да лень причесываться. Правду говорит Вава, что лень прежде нас родилась.

6 мая 1921. Пятница

Опять я одна: наши ушли в Сен-Жан к Завалишиным. Я люблю оставаться одна, особенно когда вся жизнь проходит на глазах у других, когда нет ни минуты уединения. Но вместе с тем я очень одинока. Есть, правда, у меня друг — Наташа. Но, к сожалению, ей еще нет двенадцати лет, когда мне на днях исполнится пятнадцать. Наташа — очень милая девочка, но не могут же быть у нас общие интересы. Сначала я думала, что три года разницы ничего не значат, но потом убедилась, что в таком возрасте это много значит. Я очень люблю ее, люблю, когда она ко мне приходит, люблю с ней гулять, иногда подурить, но не могу я ей рассказать о том, что думаю, что переживаю. Теперь мне стали ясны наши отношения с Наташей Пашковской, все, что я раньше не понимала, за что осуждала ее, — теперь для меня совершенно ясно. Все так, каждый человек должен пройти все стадии развития, каждый должен в свое время пережить одни и те же чувства.

7 мая 1921. Суббота

Почему мне так грустно? Почему в душе такая пустота, без одной мысли, без одного желания? Почему я ни в чем не могу найти себе отрады, ни в душе, ни во внешнем мире? Или я сама, действительно, отошла от других, или от меня все отошли? Сейчас не знаю что делать, как дальше жить. Душа пуста, и весь мир кажется пуст. Я отошла от людей для того, чтобы жить в самой себе, а разве я живу в себе? Разве я нахожу в себе хоть какое-нибудь чувство? К чему же я пришла, в конце концов? Только к тому, что осталась совершенно одна. Надо глубже углубиться в себя, я знаю, надо забыть обо всем, надо искать только истину, но что такое истина, как искать ее, что такое жизнь? Я ничего не знаю и ничего не могу понять, я знаю только, что я одна, совершенно одна, что у меня в моей теперешней жизни нет цели, что живу я совсем не зная, для чего. Все, что еще оставалось у меня в душе, то погубила м<ада>м Александрова. Зачем?.. Это был, пожалуй, у меня самый тяжелый удар в моей жизни. Я была близка к самоубийству. Она отняла у меня последнюю иллюзию чего-то хорошего; она осквернила имя, которое так дорого мне. Зачем?.. Теперь у меня ничего не осталось.

9 мая 1921. Понедельник

Днем ходила с Наташей гулять. Пошли на перекресток четырех дорог, там, где Вава назначает гардемаринам свидание. Там уже в раздумье бродил Успенский. Наташа все намеревалась ему сказать,

что Вава срочно заболела, ввиду того, что назначила свидание сразу четверем, в один и тот же час на одном и том же месте. Потом он ушел, а мы бродили по нижнему шоссе. Там никого не было. Мы были точно пьяные; ни одной капли вина не выпили, а настроение как у пьяных. Я ей показывала, как танцуют онстеп (научила, конечно, Ваву), танец прямо-таки неприличный: кавалер носит даму на животе. Наташа хохотала. Вдруг видим, с шоссе в Джебель Кебир (а оно значительно выше) смотрят на нас гардемарины. Наташа им просемафорила: «Что вы смотрите?» Они что-то ответили, только мы не разобрали. Наташа сконфузилась и хотела уже прятаться, как вдруг из-за поворота выходит адмирал с женой. Мы сразу удрали. Мне не хотелось с ним встречаться, не знаю почему. Пройди хоть черт, я бы не пошевелинулась, а вот с адмиралом и с Китицыным избегаю встреч. Дошли до перекрестка, остановились. Пропустили их вперед и пошли следом за ними шагах в сорока, по дороге на старый форт. Дорога огибала гору. Обогнув ее, они остановились, адмирал снял шинель, расстелил ее на дороге (в траве, должно быть, боится змей) и лег. Мы обогнали их. Глафира Яковлевна по обыкновению выразила свое удивление, что мы одни так далеко ходим, как это мы не боимся арабов (здесь их ужасно боятся) и т.д. Мы прошли дальше, за поворот дороги. Солнце уже садилось, и было довольно холодно. Вдруг мне пришла в голову мысль одурачить двух дурачков и пересечь гору напрямик, а не по шоссе, так, чтобы Герасимовы нас не видели. Так и сделали. Идем опять по нижнему шоссе в Сфаят и видим, что по шоссе Джебель Кебира идет Китицын. Он, никакого сомнения. Тогда, пользуясь тем, что он не смотрит вниз, я стала семафорить ему непозволительные вещи, вроде того, что вы прелесть, вы мне очень нравитесь и т.д. Вдруг он обернулся, только, наверно, не на меня. А мне сделалось очень смешно и страшно, а вдруг он увидел, что я ему семафорила. «Ну, — говорю, — Наташа, теперь уж я с Китом встречаться не буду, теперь уж ни за что!» Отскочила в сторону и пошла в гору к Сфаяту. Надели мы пальто и пошли опять гулять по шоссе нижнему, встречаем Герасимовых. Они поражены: как же вы очутились здесь! А мы страшно перепугались, вдруг вы исчезли, уж думали, что вас арабы украли, страшно беспокоились, ходили вас искать, потом ждали долго. Мы смеемся. Наташа по простоте своей все рассказала. Тут мы опять полезли к Сфаяту и встретили их на том же шоссе. Но они, очевидно, уже поняли, в чем дело, смеются. Было уже совсем темно, мы с Наташей гуляем одни. Говорили про Китицына. Я ей рассказала вчерашний эпизод с мичманом Дунаевым и компанией. Ей очень понравилось, и она назвала Китицына молодцом. Я сказала, что мне он нравится еще и за то, что хорошо относится к шпане

(«шпана» на морском диалекте значит — отбросы, ненужная дрянь и т.д.), в Корпусе так зовут штатских преподавателей. Перешли на внешность. Тут я сказала, что Кит умеет строить глазки. Она расхохоталась: «Как это глазки строить?» Нам было очень весело. «Чудо двадцатого века: киты научились глазки строить», — хохотали мы. Чуть замолчим, стоит только сказать: «Кит глазки строит», — опять хохот. Так прошел день, глупо, но весело. Но ведь глупо!

10 мая 1921. Вторник

Стычка Хозяйственной части с Дамским Комитетом (3-я по счету). (Злоба дня.)

Приехала будка. Привезли французы продукты в Хозяйственную часть, а дамам и детям — яйца, молоко и шоколад. М^ада Тихомирова и Кольнер их принимают. Является ст^арший лейтенант Жук (Хоз^айственная ч^асть) и говорит: «Отсчитайте мне дюжину яиц для больных кадет и гардемарин!» Дамы заволновались: «Позвольте, но куда же вы деваете яйца от казенных кур?» «Мы их продаем в кооператив» (дороже, чем в городе). «Это безобразие! Мы не имеем права отнимать продукты от дам и детей». «Доктор прописал больным яйца. Потом дамы просто зазнались, я делаю просто любезность, что даю эти продукты и т.д.» Дамы совсем отказались их принимать. Тихомирова пошла к адмиралу. Выходит от него торжествующая. Адмирал встречает Жука, говорит: «Что вы это из себя московского купца корчите?» — «Извините, я делаю по приказанию Помаскина». (Это Помаскин остроумно задумал: поручить все дело Жуку, а сам уехал в город.) Адмирал распустил Жука, и тот, бледный и смущенный, отнес мешок с продуктами обратно к Тихомировой. Потом приходил даже извиняться. Вот одна из многих историй в жизни Сфаята.

16 мая 1921. Понедельник

Сама не знаю, почему так давно не писала дневник. Сейчас никого нет, и потому начала. Сначала напишу все неприятное, что мне представляется сейчас прямо в трагическом освещении. 1. Сочинение было задано еще до Пасхи, а я до сих пор не написала. 2. Урок по словесности был тоже задан до Пасхи, а я еще не выучила. 3. Уроки французского прекратились. 4. Неизвестно, будут ли еще какие-нибудь уроки. 5. Отвратительная погода. 6. Дома становится невыносимо. Последнее самое тяжелое. Но я уже решила молчать: это единственный выход у людей с разбитыми нервами. К этому есть еще одна неприятность: в письме к Гливенкам Папа-Коля пишет (я случайно прочла это письмо): «Ирина

очень скучает по Танечке. Если бы вы прочли страницы ее дневника, посвященные ей, так без слёз читать нельзя». Значит, он читает мой дневник? Еще новый обман! Но я это выведу на чистую воду, так уж не оставлю.

21 мая 1921. Суббота

Сегодня Сфаят был взволнован неожиданным происшествием: есть тут у нас некий Володя Zubовский. История его такая (в Африке): сначала он был гардемаринном 3-ей роты, его оттуда за что-то ушли! Тогда он поступил в команду, кажется, плотником, а потом сделался санитаром. Я с ним знакома — это поклонник Вавы. Он меня поразил тем, что как-то вечером долго, правда, в шутиливом тоне, говорил со мной о самоубийстве. Через несколько дней после этого вечера он отравился кокаином и чуть не умер. За это Кितिцын посадил его под арест (он-то, бедный, думал попасть на тот свет, а попал в карцер). Отсидел свой срок и опять отравился. Кит его опять арестовал, он был выпущен на днях. Вчера вечером кто-то сделал из соломы чучело и одел «под Zubовского». Это чучело было повешено на столбе около лагеря. Дежурил эту ночь «выходец из Гоголя» (Домнич). Услышал тревогу и пошел на шум. В темноте это было страшное зрелище. Долго никто не решался его снять, наконец один расхрабрился, пощупал его и крикнул: «Да ведь это солома!» Сняли его и не знают, что с ним делать — хоронить его или разыскивать виновного! Доложили коменданту (это было ночью). Тут же нашлись желающие раздеть мертвеца (на нем было хорошее обмундирование), но комендант запретил и велел отнести его в «следственную камеру», то есть — в сарай. При этом некий Ваня (здоровущий парень из команды) так испугался, что даже заплакал. «Мертвец» лежал под замком. Наутро об этом знал уже весь лагерь. Все подходили к щели сарая и смотрели на «тело». Лелька Тихомиров (наш сосед, 4 лет мальчишка) взволнованный приходит домой. «Мама, — говорит, — Володя Zubовский повесился, сейчас он тут, в сарае лежит. Только это не настоящий Володя, потому что это из соломы, а настоящий Володя не из соломы». Днем «тело» было отправлено на форт, должно быть, в цейгхауз. Поговорили об этом полдня, потом забыли.

26 мая 1921. (Четверг. — И.Н.)

Только пять дней осталось моей свободы. 31 мая мы с Наташей поступаем в пансион (монастырь). Мне очень хочется, главным образом потому, чтобы выучить язык. Говорят, там строгие порядки. Ну, посмотрю. Мамочка хоть и рада, но плачет. Итак, свободе

моей конец, и мое будущее — в неволе. Через 5 дней — монастырь, молитва, монахини, уроки, строго распределенное время. Потом Сербия, институт. И прощай, моя свобода! Что еще к этому можно прибавить? Я меняю свою жизнь по собственной воле, меняю круто, резко, что-то жду от этой перемены, но, может быть, только многое потеряю. Но это решено, и будет так. Здесь — монастырь; если эвакуируемся в Сербию, там — институт. И надолго — неволя.

Папа-Коля подал в Хозяйственную часть рапорт о том, чтобы ему выдали на костюм парусины. Рапорт написал в стихах, в юмористическом тоне, решил — что будет (то будет. — *И.Н.*). Это произвело на всех большое впечатление. «Вот так-то и надо писать рапорты», — сказал адмирал и немедленно наложил на нем резолюцию: «Выдать!»

Во вторник еду. Жду с нетерпением. Пока еще много вопросов не выяснено. Наверно, сегодня придет *me Loridon*, надо будет все разузнать.

А Наташа влюблена в Кितिцына, это явно. Теперь, кажется, все считают своим долгом в кого-нибудь влюбиться. Даже Ируся Насонова и Шурёнка Маркова. Все говорят: «Моя симпатия такой-то гардемарин, моя — такой-то». Только я одна ко всем гардемаринам и мичманам равнодушна.

30 мая 1921. (Понедельник. — И.Н.)

Последний раз пишу в Сфаяте.

2 июня 1921. Четверг. Couvent*

Третий день уже здесь. С одной стороны, все здесь хорошо, с другой — невыносимо. Хорошо, что мы с Наташей поступили не первыми, а то ведь первым было очень трудно. Встаем часов в шесть. Входит монахиня, начинает бормотать молитвы и открывать окна. Все начинают одеваться, только как-то чудно, не снимая ночной рубашки. Боже упаси, если будет видно тело! Умывается каждая на своем туалетном столике в маленькой миске. Воды очень мало, и как вымоешь руки, вода такая грязная, что лицо мыть в ней как-то не хочется.

Потом все стелят постели и становятся на колени около них, опять молитвы: монахиня бормочет тихо, монотонно, потом девочки начинают хором бормотать, потом опять монахиня и т.д. После молитвы идем в костел, на голову надеваем вуаль. Придя в

* Монастырь (*фр.*).

костел, становимся в ряд перед алтарем, монахиня хлопнет в ладоши — все на одно колено, опять хлопает — встают и идут по местам; тоже на колени. В костеле все по сигналу — и вставать, и садиться. Играет орган, поют, но только поют скверно, просто врут; ни у одной француженки нет порядочного голоса. А тот мальчишка, что прислуживает пастору, — просто хулиган. Из костела идем пить кофе; конечно, опять молитва. Кофе пьют из каких-то больших... кружек-не-кружек, а что-то вроде. Туда надо крошить хлеб и его есть. Иначе нельзя. Причем вчера всем француженкам было пирожное, а нам — нет. После кофе идем во двор (пансионерок всего десять, из них пять русских). Во дворе опять молитва, а потом все должны играть в какую-нибудь глупую игру. Потом уроки, обеды, завтраки, молитвы, костел и т.д. Первую ночь всю проплакала, весь день промучилась на уроках. Все так тяжело, когда ни бельмеса не понимаешь. Сегодня уже освоилась, хотя очень грустно. Послала домой через Лялю самое восторженное письмо; конечно, ни слова о слезах и о том, что тяжело.

Скучно, грустно! Сегодня приемный день, и к Ляле, и к Нине пришли. Так грустно бывает, когда вызывают девочек в приемную. Но ничего, потерплю. Ведь только месяц остался. Я даже хочу сказать Мамочке, чтобы она в четверг никогда не приходила: тащиться по такой жаре 6 километров нелегко. Ничего, будем хоть раз в неделю видеться. Странные здесь уроки! Все шумят, кричат, перебегают с места на место. Одна какая-нибудь отвечает, а остальным до нее дела нет. Куда лучше у нас в России! Потом французы такие противные! Они учат историю только Франции; и везде, решительно во всех случаях, считают себя героями. Говорят, что «Франция самая прекрасная страна после неба». А сами в четвертом классе учат спряжение глаголов, да еще врут. Мы в России проходили это в 1-ом. И так во всем.

Сегодня после обеда мы учили уроки в классе на третьем этаже. Оттуда видна гора Джебель Кебир и шоссе к нему. Сфаята не видно, он за горой. Я все смотрела туда, ждала, не пройдет ли кто? Кита, я думаю, и за шесть километров можно увидеть. Но никто не проходил, вернее, я не разглядела. Милые, знакомые места! Все-таки хорошо было в Сфаяте. Сейчас сижу рядом с Наташей. В классе groboвая тишина. Мы тихонько хохочем. Говорим тихонько и не можем удержаться от смеха.

3 июня 1921. Пятница

Сегодня был какой-то большой праздник.

4 июня 1921. Суббота

Сейчас по-настоящему мы должны учить уроки, а я, по ошибке, вместо французской тетради взяла дневник. Ну да ничего, французский еще успею написать. С нетерпением жду воскресенья, так, кажется, и не дождусь. Скучно мне здесь. Такой уж день.

5 июня 1921. Воскресенье

Вчера на каком-то уроке меня экстренно вызвали. Сказали, что сейчас куда-то пойду, но куда, я толком не могла понять. Мне сразу показалось, что дома что-то случилось и меня срочно вызывают туда. Я чуть не ревела, когда шла переодеваться. Я не могла вымолвить ни слова, руки у меня дрожали, а тут еще монашенка все торопит. В приемной меня ждала какая-то барыня. Мы пошли в город. Она мне купила туфли и чулки.

А сегодня ко мне пришли Мамочка и Папа-Коля. Против всякого ожидания я расплакалась, и смеялась и плакала вместе. Меня потянуло домой. Где-где хорошо, а дома лучше. Здесь — как в клетке. Мне хочется опять быть вместе, на каком угодно пайке, но только вместе! Я с таким нетерпением ждала сегодняшнего свидания, и вот оно прошло. Теперь остается ждать только четверга, а он еще так далеко! Если даже не считать сегодняшнего дня и половины четверга, то и то остается три долгих дня. Как-то грустно, безотрадно. Говорят, что нас оставят на лето, только отпустят на две недели после конца занятий и на две недели перед началом. Я бы не хотела оставаться. Во-первых, я дома нужнее, а во-вторых, я хочу заниматься и русскими предметами; здесь, в лучшем случае, я выучу язык, но зато потеряю целый год. Я все еще надеюсь кончить русскую гимназию, а здесь я ничего не выучу.

6 июня 1921. Понедельник

Боже мой, какая скука! Хотя бы скорее Сиска принесла мне какой-нибудь урок! Русским задают отдельно. Сегодня она дала мне выучить... (Не дописано. — И.Н.)

10 июня 1921. Пятница

Вчера опять пришли ко мне Мамочка с Папой-Колей. Я, конечно, опять ревела. Тронуло меня, что Елизавета Сергеевна прислала мне кусок сладкого пирога, а Мамочка — плитку шоколада. Знаю, как ей достается этот шоколад. Знаю, что они питаются в Сфаяте только рисом, одним только рисом. Знаю, что Мамочка голодает,

что у нее бывают обмороки; знаю, что она с утра до вечера, выбиваясь из сил, шьет гардемаринам брюки, чтобы заработать какой-нибудь несчастный франк, и вот, когда получила какую-то плитку шоколада, и ту отнесла мне. Знаю, что живут они скверно, хуже чем скверно, а нет надежды на лучшее. Мне хорошо. Правда, я пожаловалась Мамочке, но это напрасно. После этого я с Наташей целый день плакала. Шоколад у меня и у Наташи отобрали, и будут выдавать каждый день в 4 часа по маленькому кусочку, так же как давали и до сих пор — казенный. А Мамочка поэтому будет пить пустой чай. Я плакала много. После костела меня вызвали к начальнице. Она спросила меня — отчего я плакала? Ну как я ей могла сказать? Если бы я даже и знала все слова, то и то, могла ли бы она меня понять? Совершенно чуждый мне человек — по национальности, по вере; могла ли она понять чувства русского человека, да еще беженца. Разве может она понять, что над русскими висит страшное горе, особенно у беженцев, здесь. Разве можно быть счастливым в Бизерте русскому? Никогда! А разве могу быть счастлива я, когда знаю, что дома голод, работа, грязь. Я много смеюсь, но разве это настоящий смех? Это смех сквозь слёзы; смех, чтобы скрыть от самой себя свои чувства; это смех неестественный, грубый. Всегда русский человек смеется сквозь слёзы. Помню я один случай. Это было в Славянске. Я как-то встретила в бору веселую компанию, солдаты со своими дамами. Один играл на гармошке, казалось, они были веселы, смеялись, лужгали семечки. А солдат сыграл на гармошке какую-то грустную мелодию, заунывную, с надрывающей сердце тоской. А ведь пошли они, чтобы повеселиться, погулять. Я ничего почти не ответила начальнице и сказала: «Puis que je suis sans mère»*. Может быть, эта фраза и составлена неверно или не совсем верна, но больше я ничего не могла сказать. Я после редела. С Наташей удалось сказать несколько слов, мы поняли друг друга. Вечером, в дортуаре, она так плакала, что я серьезно боюсь за нее. Но и я была не лучше. Ночью я так плакала, к тому же было душно, рука перевязана, голова болела, я страшно металась по постели, так что упала на пол. Сегодня, слава Богу, приехали Ляля, Нина и Оля — теперь будет лучше.

13 июня 1921. Понедельник

На Троицу нас отпустят домой (с вечера субботы до утра вторника!) Как я рада! Здесь уже становится невыносимо! Сегодня

* Потому что рядом нет мамы (фр.).

Нина с Наташей получили за поведение 2; якобы за то, что разговаривали в дортуаре вечером. Но это ложь! Нина плачет, Наташа смотрит бодрее, хотя тоже раз немножко всплакнула.

17 июня 1921. Пятница

Вчера вечером опять были слезы. Мы гуляли во дворе и, конечно, играли в мяч. Оля Вострикова плакала о том, что ее мама не любит, не приходит к ней, плачет, что хочет домой. Мне было очень жаль ее, хотелось поговорить с ней, успокоить. Но только мы начали говорить, как нас окликнула монахиня. Вчера все плакали, и все говорили. В результате сегодня у всех поведение тройка. Хорошо же. После обеда опять пошли во двор. Я сделала самое невинное лицо, подошла к Сиске и спрашиваю: «Можно мне спросить кое-что у Нины?» Она немного удивилась, однако сказала: «Que?»* и была очень довольна. Хорошо же, посмотрим, что будет дальше? Одно мне неприятно теперь, что вчера я потеряла мою вуаль, просто не помню, куда ее сунула. Как буду сегодня, не знаю. Уроков — масса. Да так как я еще в среду хворала, то теперь думаю, что и не справлюсь. Весь день сегодня зубрила историю Версинжеторикса. Выучила, но Сиске не скажу, нет уж. Не буду так глупа, как Наташа. Она, как что выучит, так сейчас же ответит. Сиска ей задает другой урок, она и его торопится выучить, а потом плачет, что много уроков, да еще и других подводит. Но что же мне делать с вуалью? Завтра домой! О, как медленно тянется время! Скорее бы завтра.

21 июня 1921. Вторник

Как странно, еще сегодня быть в Сфаяте, видеть вокруг себя милые дорогие лица, наслаждаться свободой, а теперь тосковать в глухих монастырских стенах. Когда я в субботу пришла домой, я была счастлива вполне, но на другой же день я поняла все прелести той жизни. Я не могу точно передать мое настроение тогда, я только ясно осознавала, что «везде — плохо». Но тяжелее всего, что не видно этому конца. Я была счастлива в Сфаяте, но в то же время мне было невыносимо грустно. Первый раз в жизни была гостьей у себя дома; я знала, что эти дни пройдут и опять потянутся скучные и однообразные. Со странным чувством я возвращалась сюда. Осталась только неделя, а там неизвестно, оставят нас здесь на лето или нет. Говорят, что я потому и хочу остаться (хотя не скажу, чтобы и хотела, мне «все равно»). Не здесь, а в Сфаяте я нужна, там ждет меня

* Что? (фр.)

труд, там много работы, а здесь скучное препровождение времени. Мне бы только язык выучить, больше мне ничего не надо.

23 июня 1921. Четверг

Сегодня выяснилось, что нас оставляют здесь на лето, во вторник отпускают на неделю, а потом каждое воскресенье, и среди лета — на десять дней. Что ж, я довольна!.. Нет, я никогда не бываю довольна. Я сама не знаю, чего хочу.

Я с нетерпением жду той недели, когда буду дома. Несколько дней посвящу исключительно себе (эгоистка!), но, выходя из дому, буду плакать. Много есть у меня начатого; время надо — подумать, поработать над этим надо!

24 июня 1921. Пятница

План на 1/2 года: до октября — в монастыре. Приложить все усилия к изучению языка. Октябрь — что бы ни случилось, бросить монастырь и заниматься, пройти курс пятого класса. Дальше — смотря по тому, где мы будем: или заниматься дальше одной, или поступить в гимназию. Трудно исполнить этот план, но возможно. Что я решила сделать, то сделаю. И пусть эта мысль даст мне бодрость и силу.

27 июня 1921. Понедельник. Couvent

Завтра утром будет какая-то большая ассамблея. Сегодня была к ней репетиция. Все торжество заключается в том, что будут давать какие-то призы. В субботу тоже была ассамблея, но только давались награды за один месяц. Награда — лента через плечо. Но что было приятно, что четверо русских получили ее; между прочим — Ляля и Нина. Мы с Наташей не получили, потому что в первый месяц никогда награды не дают. Вчера вечером Наташа попросила у меня иголку, предварительно спросившись у Сиски: говорить в дортуаре никак нельзя. Я этим воспользовалась и успела ей шепнуть несколько слов: «Приходи ночью ко мне». Она действительно пришла ночью и разбудила меня. Говорит, что я очень напугалась: «Кто это? Мамочка, Мамочка, это ты!?» — «Да нет, — говорит, — это я!» «Comment?»* Тогда она забралась ко мне на кровать и окончательно разбудила меня. Сегодня ночью я обещала прийти и к Ляле. Но смешно, что я и во сне говорю по-французски.

* Как? (фр.)

Счастливые француженки! Завтра они в последний раз придут в монастырь, а там — три месяца свободы.

4 июля 1921. Понедельник. *Sfaiat*

Скоро уже кончится моя каникулярная неделя. Не скажу, чтобы я провела ее очень хорошо. Первые дни можно считать пропавшими, потому что дул ветер из Сахары, и была такая невыносимая жара, что ничего нельзя было делать: воздух был раскален, и все прямо задыхались от духоты. Я настолько раскисла, что даже плакала. Да, трудно переносить африканскую жару. Даже воробьи влетали в комнату с раскрытыми клювами и из рук пили воду.

В субботу мы ходили купаться. К несчастью, был сильный прибой, и меня настолько укачало на волнах, что я еще до сих пор не могу оправиться. Я с трудом дошла домой; дома меня несколько раз тошнило, на другой день я не могла встать, и все время меня качало, словно на «Константине». Да и теперь еще покачивает. Это так называемая «морская болезнь на берегу».

Так вся неделя и прошла. Но за это время я уже испытала все прелести сфаятской жизни, и меня потянуло в монастырь. Я увидела, что здесь совсем нельзя ни заниматься, ни работать. Все лагеря перевели на голодный паек. Недавно Loridon приезжал в Nadog и сказал там очень неприятную речь. Он говорил: «Вы, русские, дармоеды и бездельники! Вы только любите чужой хлеб есть, а работать не хотите. Ведь вам предлагали работу — стирать, работать 10 часов в день, тот же паек и еще 20 фр<анков> в месяц. Почему никто не пошел?» На это ему возразили, что ведь здесь все интеллигентные люди. Он ответил: «Вы теперь нищие, у вас нет России, вы только эмигранты и не имеете права отказываться ни от какой работы, вас скоро совсем лишат пайка» и т.д. Теперь он хлопочет о переводе Корпуса в Тулон. Что ж, дай-то Бог!

Что такое беженец? Беженец — это человек без отечества, без права, без состояния, без собственности. Бездомный скиталец, всем мешающий и бесполезный.

5 июля 1921. Вторник

«Кронштадт» стоит под желтым флагом, не ушел в озеро. Там чума. Трое или четверо уже умерли, больных — двадцать. Говорят, что в одной из американских присылок на «Кронштадт» была дохлая крыса, которая и принесла чуму. Предполагают даже, что это проделка большевиков. Еще новость: с эскадры срочно удирают все крысы. К добру ли? О, проклятые созданья!

8 июля 1921. Пятница

Опять Couvent. Когда же этому конец? В чем избавление? Сегодня весь день у меня какое-то паршивое настроение. Каждую ночь у меня теперь бывают галлюцинации. Я просыпаюсь, все вижу и понимаю, а вдруг начинаю слышать орган, потом мне начинает казаться, что по лестнице и по всем коридорам идет какое-то шествие, вроде крестного хода, я не слышу ни шагов, ни шума, но я чувствую, что они близко и вот-вот я их увижу; потом слышу заунывное, тихое пенье звонка, как в костеле, шорох, порой стоны. Первый момент мне, конечно, делается страшно, но потом страх сменяется какой-то тоской, какое-то страшное предчувствие вкрадывается в душу, становится так грустно, так безразлично. Всю ночь только и думаешь — когда же утро? Сегодня ночью мне сделалось так страшно, что я пошла к Ляле, хотела ее разбудить, но не могла.

Раньше начальница обещала пускать нас домой каждое воскресенье, а теперь говорит, что не будет пускать, потому что очень жарко, и мы можем заболеть. Но я думаю, здесь не в этом дело. Что-то она вдруг спохватилась, что в Африке жарко? Я думаю, что здесь виновата чума. Мамочку я просила приходить ко мне как можно реже, а то ведь это очень тяжело, и я здесь буду одна, и до каких же пор? Кто меня избавит от этого? Мне здесь так тяжело, хотя я в этом никому не признаюсь — зачем? Я уже решила, что до октября я пробуду здесь, так и пусть Мамочка думает, что мне здесь очень хорошо. Зачем же расстраивать ее? Я хочу, чтобы так думали все. Даже здешние девочки уверены, что «Ирина всегда всем довольна, и ей везде хорошо». Что ж, я очень рада, что обо мне так думают, открываться я не хочу. Одно ясно мне, что пройдет еще много-много томительных дней, я ничего не буду видеть из-за высоких монастырских стен, но где же конец?

Вчера вечером, когда мы гуляли во дворе, я увидела над крышами домов мачту с желтым флагом, — проходил какой-то корабль. Сердце во мне так и упало. Я даже влезла на скамейку, надеясь увидеть весь корабль, но увидела только мачту. Я уверена, что это русский. По мачте могу только определить, что это «Корнилов» или «Алексеев». На мачте был еще маленький французский флаг. Поэтому-то я и думаю, что это русский; потому что на русских кораблях всегда на одной мачте вьется большой русский флаг, а на другой — маленький французский; в знак того, что они идут под покровительством Франции. А на французских пароходах или на иностранных никогда не бывает такого флага. Поэтому-то у меня и стало так тяжело на душе — неужели же чума? Сегодня, гуляя

в саду, мы с Лялей разговаривали с одной монашкой о России, о большевиках, о том, как мы бежали. Она, должно быть, ничего не слыхала о большевизме, потому что пришла в такой ужас от наших рассказов. Но мы говорили с трудом, сбиваясь, говорили не те слова, но и то произвели на нее такое большое впечатление. Она ничего не знала, не представляла того, что мы пережили за это время! Счастливая. А может быть, и нет...

Так, не тратя лишних слов, не пускаясь в философию, почти что исподтишка, мне удалось сегодня писать дневник. Все-таки это большое утешение для меня. Написала и успокоилась, что у меня все время такое нервное состояние и мне едва удастся сдерживать его.

9 июля 1921. Суббота

Леля получила от мамы письмо. Там говорится, что несколько человек с эскадры были в русских лагерях, и французы, боясь чумы, никого не пускают в город. Лоридон издал приказ, чтобы никто из русских не ходил не только в город, но даже в другой лагерь, с кораблей тоже никого не пускают. Надолго ли — неизвестно. Мы все, конечно, в слёзы. Монашки нас утешают, говорят, что в лагерях всем будут делать чумные прививки, но ведь и эта прививка сама по себе вещь ужасная. А у Мамочки еще порок сердца, страшно боюсь за нее, как только подумаю об этом, так и плачу. Ну, делать нечего.

12 июля 1921. Вторник

Сегодня надеюсь получить еще одно письмо из дому — давно уже не получала. Послать туда письма удалось только два. Сначала нам обещали отправлять письма каждый день, а теперь уж говорят, что только раз в неделю. Одним словом, они делают все хуже и хуже. Сиска уехала в Тунис на богомолье, но, видимо, задала уроки на всю неделю, и с нами занимается арифметичка. Уроков масса, вчера даже голова разболелась. Вообще, я чувствую себя все хуже и хуже. Каждую ночь галлюцинации, это ужасно! Я постоянно вижу какие-то огни и колокола. Ночь — это мученье для меня. Домой я об этом не писала, но, когда увидимся, скажу. Потом каждый вечер у меня обыкновенно болит сердце. Когда в Сфаяте, после морского купанья Дмитрий Митрофанович сказал, что у меня слабое сердце, я ответила, что не знаю, как оно болит. Теперь я это знаю. Вообще — все скучно и скверно.

Руки чешутся домой письмо написать. Нина очень суеверная и, к тому же, страшно откровенная. Я ее зову «душа нараспашку»,

Grand Bébé*. Она так скучает о маме, что все время ревёт, как младенец, и все время только об этом и говорит, даже надоело.

13 июля 1921. Среда

Вчера после обеда мы убрали у математички какой-то шкаф, мыли какие-то пузырьки. Девочки были страшно возмущены, что нам дали эту работу: «Мы не прислуга, мы не обязаны это делать, а еще говорят, что здесь хорошо». Только одна я не возмущалась, одна я не находила в этом ничего ужасного. И так всегда. Они все очень милые, славные, с ними я очень дружна, но когда мы начнем о чем-нибудь говорить, они ни в чем не соглашаются со мной, я всегда остаюсь одна против всех. Нина говорит, что мне потому хорошо здесь, что я старше всех. Очень может быть, хотя я только на несколько месяцев старше Ляли и Нины, но Нина младенец, а Ляля зря не болтает, не говорит на каждом шагу, что хочет домой. Они «томятся» здесь, только и думают, как бы уйти отсюда. Нина только об этом и говорит, и ревёт, даже надоело. Наташа в письме даже просит маму взять ее оттуда, потом она это письмо разорвала. Ольга все балагурит, а только о доме и думает.

Вчера во время этой несчастной уборки вошла докторша, о чем-то долго совещалась с математичкой, потом вызвали меня с Лялей в приемную. Там была Соллогуб, она говорит: «У вас вышло какое-то недоразумение с письмами». Я объяснила, в чем дело. Она говорит: «Они (родственники пансионеров. — *И.Н.*) боятся утруждать Гаттенбергера, но все же раз в неделю вы можете писать. Потом они (служба Contrôle civil. — *И.Н.*) в панике, что вы пишете по-русски. А меня муж прислал к вам успокоить вас, вы не волнуйтесь, не беспокойтесь, в лагерях все благополучно. 15-го карантин кончается, так что вы скоро увидите своих и т.д. А пока вам придется покориться и писать раз в неделю. Если же вам нужно передать что-нибудь важное, то это можете сделать через меня. А если вам теперь скучно, то я буду приходить к вам на приём». Сейчас же после этого я получила письмо и окончательно успокоилась.

15 июля 1921. Пятница

Вчера было очень грустно. К Наташе пришел знакомый, а мы, вчетвером, сели в углу класса, рассказывали кое-что из нашей жизни, вспоминали Россию, так грустно сделалось, всплакнули, потом вместе читали Евангелие. И так вся жизнь наша, все лучшее

* Большой ребенок (*фр.*).

время проходит так. О, только бы когда-нибудь уехать из этой проклятой Африки; а пока скорее бы своих увидеть.

17 июля 1921. Воскресенье

Вчера к Ляле пришел дядя с эскадры, чтобы взять ее на воскресенье домой, и очень удивился, что нас теперь не отпускают. Он сказал, что карантин кончился в пятницу, и поэтому все сегодня ждут к себе кого-нибудь, кроме меня. В последнем письме, в котором я почти ничего не разобрала, Мамочка пишет: «Нам будут делать прививку со вторника и до четверга, и если буду здорова...» (вот не везет-то, остальное я не разобрала). Из этого я заключила, что до четверга ко мне никто не придет. Написала письмо. Наташа его передаст. Пока кончаю. Хочу еще написать после обеда.

19 июля 1921. Вторник

Вчера вечером приехала Сиска, и сегодня мы уж занимались с ней. Она вздумала нас экзаменовывать, спрашивала все, что мы прошли без нее. Способ, конечно, остроумный, но не особенно приятный. По счастью, все обошлось благополучно, все отвечали прекрасно. У меня за все десятки; только в конце, когда мы читали, я получила 6. О, этот проклятый французский язык, особенно чтение, с 9-ти лет он был мне в тягость, с 9-ти лет он уже не давал мне покоя. Хуже всего я всегда занималась по-французски, и нужно же попасть именно во Францию! Вот теперь-то и приходится жать посеянное. Теперь-то и приходится жалеть об упущенном даром моменте.

20 июля 1921. Среда

Сейчас мы все ходили к начальнице и просили ее отпустить нас в воскресенье домой, потому что это день Св<ятой> Ольги, а у нас много именинниц, и они хотели причащаться. Начальница с первого же слова сказала нет, и очень разозлилась, что мы даже второй раз просим у нее; потом сказала, что на воскресенье она вообще нас отпускать не будет, как там ни проси. Одним словом, дело дрянь. Когда в воскресенье ко мне приходил Папа-Коля, он сказал, что в четверг будет об этом говорить с начальницей; только навряд ли ему что-нибудь удастся.

21 июля 1921. Четверг

Лялю позвали купаться, сделали ей ванну, хотели вымыть голову, но потом решили, что она еще чистая (а она не мыла уже тре-

тью неделю), и сказали: «Ну, в следующий раз вы вымоетесь дома в сентябре». Об августе уже ни слова. Еще новый обман. Ну и с грязной головой три месяца ходить тоже не очень-то приятно. Как все-таки французы живут по-свински. У нас, в России, полагается купаться каждую неделю, а здесь я за все время, что была здесь, купалась только один раз, на третий день, как попала сюда. У нас полагается перед едой мыть руки, а здесь умываются только раз в день, утром, в маленьком тазике; там надо вымыть и лицо, и шею, и руки, потом причесаться и опять вымыть руки в этой грязи. Оттого руки никогда не целую, как там монашка ни злится и ни ворчит. Это так не только в монастыре, но и вообще у всех французов. Все у них делается только напоказ.

Нас теперь после *goûter** водят гулять на пляж. Нам дали громадные соломенные шляпы с яркими-преярыми лентами, все по моде. Но что только мне стоило уговорить монашку дать мне чистое платье; и это было первое платье, которое я переменяла, вернувшись из дому. Мы переезжаем на пароме бухту и идем в такое место, где почти никого нет. Две монашки, все в черном, под зонтиками, и пять девчонок в этих идиотских шляпах, которые все время слетают с головы, — все это мне странно напоминает комические картины в кинематографе.

27 июля 1921. Среда

Давно, давно же я не писала дневник, все времени не было, то есть время-то было, но мы все сидим в саду, а нового много. Прежде всего, в прошлое воскресенье я была дома. Это вышло совсем неожиданно, не без приключений, было много интересных и замечательных фактов, но это уже в прошлом, писать не стоит. В понедельник вернулись. Наташа в слезах, я довольно бодрая, хотя мне очень не хотелось уезжать. Девчонки меня не понимают: «Хорошо тебе, ты домой не хочешь», — твердят они. Дома Дмитрий Митрофанович осматривал меня и сказал, что у меня расстроены какие-то нервы и мне надо принимать какие-то капли и бром. Все это я взяла сюда. Капли пила один день, а потом бросила. Бром до сих пор еще лежит в кармане, потому что я знаю, что после него спать хочется, а здесь это не годится. Еще у меня есть какие-то лепешки от бессонницы. Сегодня я решила все ликвидировать, тем более что чувствую себя плохо. Вечером приму все пять порошков брома и лепешку. Я уже много раз в своей жизни делала в себе опыты, они, правда, к добру не вели, все-таки интересно посмотреть, что будет.

У нас теперь установлено строгое расписание.

* Полдник (фр.).

30 июля 1921. Суббота

Делать нечего, писать нечего, и скучно, и скучно без конца. Ну хоть бы что-нибудь интересного! Ничего! Один день до смешного похож на другой. В 6 часов ровно просыпаюсь, в 7½ понемножку одеваюсь, приходит Сиска. Одеваемся, потом кофе, потом до 8-ми можно говорить по-русски. Или играем на рояле, или повторяем уроки. В 9 урок французского, в 10-11 арифметика; если не играю утром, то играю от 11 до 11½, потом учу уроки. В 12 обед. Потом до трех часов мы можем говорить по-русски, от 3 до 4-х перемена на французском языке. В 4 — goûter, с 4½ до 7 прогулка, в 7 обед и до 9½ перемена на французском языке. И так изо дня в день, и за все ставятся точки.

Здесь скучно, но в Сфаяте еще хуже. Сейчас дует сирокко, жара, духота невыносимая, даже здесь, у моря; что же в Сфаяте, на горе?! Настроение чего-то скверное, сама не знаю — почему. Чего-то хочется, чего-то жаль, не знаю, что и делать. Мамочку хочется! Она завтра не придет, очень уж жарко. Она будет приезжать на фуре по четвергам. В середине августа нас отпустят на 8 дней.

12 августа 1921. Пятница

Зачем мне теперь писать дневник: меня больше нет, а есть актер. Это все, все и все!!!

Зачем длинные размазанные фразы, когда в душе только одно — отчаяние. В горле словно какой-то клубок вертится и не дает мне ничего ни делать, ни думать. Хочется здесь все парты, все столы опрокинуть!

14 августа 1921. Воскресенье

Видно, только по воскресеньям мне удастся писать дневник. Постараюсь же отметить все, что произошло.

За эту неделю я четвертая по поведению и третья по занятиям. Здорово! Правда, по поведению я отсталá только потому, что не болтаю много за столом, а точки ставятся, главным образом, за разговоры. А в занятиях я отстала умышленно: не хочу переутомляться, не хочу, чтобы у меня опять началась головная боль и галлюцинации. Несколько раз мы все вместе уговаривались не учить всего урока, но в результате все выучивали, хотя по ночам, да учили. Я теперь имею совершенно ясное представление обо всех. Ни-на: эгоистка, карьеристка, слабовольная, слабохарактерная, искренняя, очень открытая, не самолюбивая. Ляля: самолюбивая,



Архив
Софиевых-Кноррингов
(публикуется впервые)

Николай Николаевич Кнорринг с дочерью Ириной.

*На обороте фотооткрытки, посланной М.В. Кнорринг
своему свекру Н.Е. Кноррингу из Харькова в Самару,
написано: «Христос Воскресе, милый Николай Егорович!
Поздравляю с праздником и желаю всего лучшего. На Пасху
Борю с Ниной ждем к себе. Посылаю Вам Колю с Ирочкой
у шкафов. Целую крепко. Маруся. 10.04.1910»*



Ирина с племянниками, около 1910 г.
 Слева направо: Олег, Ирина, Галí, Нина и Игорь Кнорринги
Архив Софиевых-Кноррингов



Мария
 Владимировна
 Кнорринг
 с Ириной.
 Харьков,
 1912 г.

*Архив
 Софиевых-
 Кноррингов
 (публикуется
 впервые)*

Ирина
в маскарадном
костюме.
Харьков,
около 1913 г.

*Архив
Софиевых-
Кноррингов
(публикуется
впервые)*



Николай
Николаевич
Кнорринг
с дочерью
Ириной.
Харьков,
около 1917 г.
*Опубликовано
в книге
Нины Кнорринг
«Ближе к сердцу:
Мой русский дом»*





Линейный
корабль
«Георгий
Победоносец»
на последней
стоянке

*Опубликовано в книге А.А. Ширинской
«Бизерта: Последняя стоянка»*



Карта
северного
Туниса,
в городах
которого
(Бизерта,
Табарка,
Эн-Драхма,
Монастир,
Надор, Рар
и Сфакс)
были
устроены
лагеря
для русских
беженцев



Хор Сфаята, 1921 г.

Во 2-м ряду: крайняя слева — Ирина Кнорринг, крайняя справа — Мария Владимировна.
В центре группы — регент Ф. Ф. Соколов (?) Архив Софиевых-Кноррингов (публикуется впервые)



В швейной мастерской Сфаята.

На переднем плане слева — Е. С. Насонова, вторая справа — М. В. Кнорринг. Архив Софиевых-Кноррингов



Проводы преподавателя французского языка — месье Лафона (в центре группы). Сфаят, 1922 г.
Во 2-м ряду 1-я слева — А.П. Маркова, 2-я слева — М.В. Кнорринг; в 3-м ряду 4-я слева — И. Кнорринг.
Архив Софиевых-Кноррингов (публикуется впервые)



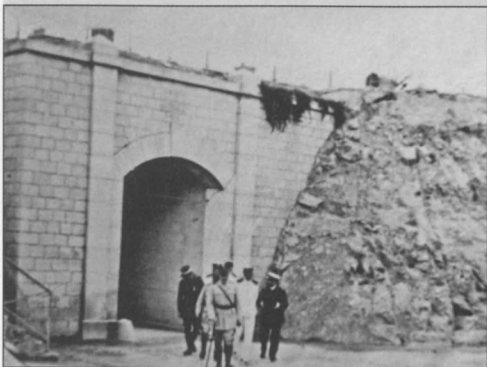
Лагерь
«Сфаят»
(у камбуза).

*Архив
Софиевых-
Кноррингов*



Лагерь
«Сфаят»
(очередь
за пайком).

*Архив
Софиевых-
Кноррингов*



Посещение форта
Джебель-Кебир
военно-морским
руководством
Франции, 1923.

*Архив
Софиевых-
Кноррингов*

Озеро Бизерта —
место последней
стоянки кораблей
Русского
Императорского
флота
(Русской эскадры)



Крытая
бричка.

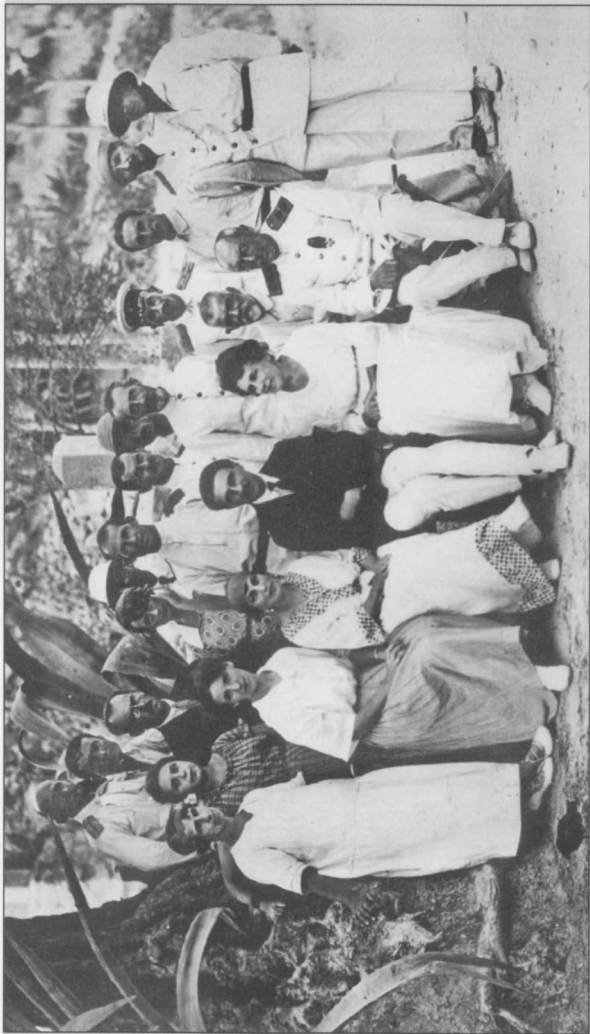
*Архив
Софиевых-
Кноррингов*



Брички.
Грузовая —
слева,
почтовая —
справа.

*Архив
Софиевых-
Кноррингов*





Русская колония Сфаята.

Сидят (слева направо): А.П. Маркова, [личность не установлена, личность не установлена], Г.Я. Герасимова, А.Н. Куфтин, вице-адм. А.М. Герасимов; стоят в первом ряду: 2-я слева — И. Кнорринг, 7-й слева — Н.Н. Кнорринг, 1922. Архив Софиевых-Кноррингов



«На Пасхе, 1925» (надпись на фото).

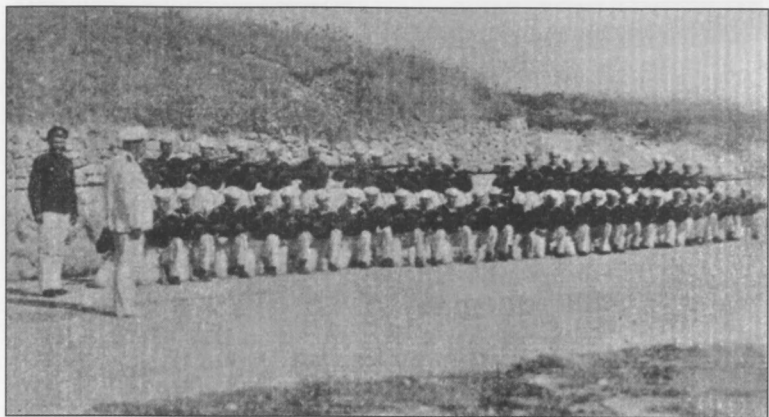
Во 2-м ряду: 3-я справа — М.В. Кнорринг; в 3-м ряду (слева направо): 1-я — Ирина Кнорринг, 2-я — Шурёнка Маркова, 3-й — Н.М. Марков, 6-й — вице-адм. А.М. Герасимов, 8-й — Н.Н. Кнорринг. Архив Софиевых-Кноррингов (публикуется впервые)



Семья Кноррингов
на берегу Средиземного моря.
Архив Софиевых-Кноррингов (публикуется впервые)



Ирина и бедуин.
Архив Софиевых-Кноррингов (публикуется впервые)



Кадеты Морского корпуса
на строевых занятиях.

Опубликовано в книге А.А. Ширинской «Бизерта: Последняя стоянка»



Старый форт в Бизерте, куда любили приходить русские моряки.

*Опубликовано в книге «Узники Бизерты: Документальные повести
о жизни русских моряков в Африке в 1920–25 гг.»*

Фото из архива
А.А. Ширинской-Маништейн



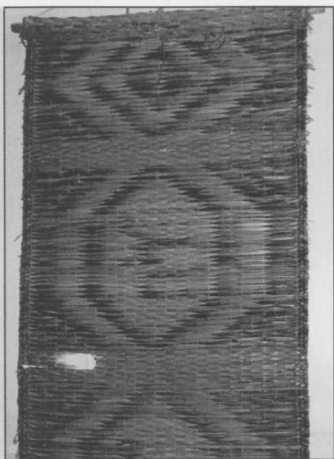
Церковь Святого Павла Исповедника,
оборудованная в одном из казематов форта Джебель-Кебир.
Начало 1920-х годов.

*Опубликовано в книге Марины Пановой
«Русские в Тунисе: Судьбы эмиграции "первой волны"»*



Список
с иконы
Божией Матери
Светлая Обитель
странников бездомных
(Радость Странным),
выполненный
в иконописной
мастерской Сфаята
одним из учеников-
гардемарин.

*Архив
Софиевых-
Кноррингов*



Молитвенный коврик
с начертанием
суры из Корана.

Архив Софиевых-Кноррингов



Глиняная ваза,
купленная
на арабском базаре.

Архив Софиевых-Кноррингов



Медная чернильница.

Архив Софиевых-Кноррингов



Собачка-талисман.

Архив Софиевых-Кноррингов



Ирина Кнорринг, 1925 г.
Фото Дмитрия Кобякова

замкнутая, твердая, несколько честолюбивая, с большим само-
мнением, с большим самообладанием, тихая, спокойная.

19 августа 1921. Пятница

Опять дома. В среду приехала сюда, в четверг уеду. Здесь все по-
прежнему, очень смешно. Начала я с Мамочкой разговор о зиме, го-
ворили мы много, но ни на чем не остановились. Мамочка отгова-
ривает, хотя прямо ничего не говорит. Пока подожду об этом заго-
варивать, успею, к тому же говорят, что нас переведут в Тулон — это
не только простой слух, об этом уже говорил адмирал, что было бы,
конечно, самый лучший выход.

21 августа 1921. Воскресенье

Как-то в разговоре Мамочка сказала мне, что в Париже есть ка-
кой-то русский университет, куда бы меня могли принять, и если бы
это было поближе и т.д. Тогда я не обратила на это никакого внима-
ния, потом подумала об этом, хорошенько взвесила это и решила,
что я бы поехала, и одна бы поехала с большим удовольствием.
Учиться хочу я. В монастыре я ничего не учу, работает совсем не ум,
а только язык. Скучно мне после пятого класса учить Адама и Еву.
В большой класс меня все равно не поместят, да и мне это было бы
не по силам. Вся цель у меня, конечно, выучить язык, да и это-то
что-то сомнительно. Я уже пробыла в монастыре три месяца, а ус-
пехи очень и очень незначительны. Ну, конечно, если бы я провела
в монастыре год, может быть, и заговорила бы, но целый год... а за
этим годом будет другой, а где же конец?! Когда же мы уедем отсю-
да, о России как-то и думать нечего, хотя бы на материк. Где же мне
заниматься? Ведь если кончать школу в монастыре, то я кончу к
двадцати годам, а то и позже. А учиться мне хочется. В Париж-то ме-
ня, конечно, не пустят: и денег нет, и визы нет, да и Мамочка не за-
хочет отпустить меня одну так далеко. Но как бы мне хотелось! Я уже
не ребенок, и смогла бы прожить и одна. Но об этом нечего и ду-
мать. У меня уже другая мысль: в Сербии — Харьковский институт,
там же и Александр Васильевич, да и в самом институте у Папы-Ко-
ли много знакомых; если бы как-нибудь поместить меня туда, но
опять-таки, нет денег. Об этом я еще поговорю. Бог даст, кое-что и
выедет. Это моя последняя надежда. Неужели же мне придется
унывать целый год, а может быть, и больше, в этом монастыре, где
тупеет разум и немеет язык. В Сфаят я тоже не хочу: будут драмы.
А в душе у меня сейчас драма! Выйдет из меня недоучка, недоросль;
одним словом, ничего хорошего, ничего из того, что я бы хотела.
Придется бросить все, учить язык, чтобы зарабатывать хлеб. Вот

мое будущее. Цели в жизни не вижу, красоты ее не чувствую. Вот откуда у меня такие мрачные взгляды на жизнь, вот откуда у меня отчаяние и такая безысходная тоска, которая так огорчает Мамочку и поражает тех, кто читает мои стихи. А как же не быть ей? Я знаю, что на долю каждого человека положено одинаковое количество и горя, и радости; я знала много радости, теперь мне осталось только горе. Я знаю и чувствую, что будущее мое будет очень нерадостное, и, как ни тяжелы мои дни теперь, они будут самыми счастливыми во всей моей жизни. Что же будет дальше!!! Предаться безумию, вот спасение!

16 сентября 1921. Пятница

Последний раз я писала в Сфаяте. После этого я опять купалась в море, опять, конечно, хворала, так что пошла в пансион не 1-го, а 4-го, в воскресенье. Но, должно быть, я вышла еще слишком рано, потому что в тот же день у меня был обморок. Вечером все девочки, кроме Ольги, были наказаны за то, что разговаривали в дортуаре, и их отправили спать сейчас же после ужина. Мы с Ольгой были в саду. Нас караулила монашка красного класса (как я в ней разочаровалась) и все время заставляла нас бегать. Я чувствовала себя отвратительно: первый день, как встала, протащилась по жаре 6 километров, обморок... Ольга сказала ей, что «Irene больна». — «Если бы Irene была больна, то она осталась бы дома, а так как она пришла, то, значит, она здорова, а если она здорова, то должна бегать». Таков был ответ монашки. После этого мне все время нездоровилось, а в четверг я совсем слегла. Началось все с желудка. Так как в четверг был праздник, то был очень плотный обед: на первое был суп с лапшой, он был страшно горячий, а так как в приемные дни настроение бывает такое, чтобы все делать скорее, то мы подлили туда воды, получилась такая гадость, что вспоминать тошно. На второе была дыня, причем была прочитана целая лекция о том, что если дыня дается к десерту, то ее надо есть руками, а когда она на второе, то едят ее вилками. На третье была курица, я уже ее ела с трудом. Потом было картофельное пюре, но уже все ели через силу, а потом еще кусок пирога. Когда мы вышли из-за стола, то мне было что-то не по себе. На прием ко мне пришел Папа-Коля, я уже еле видела. Как раз в этот день были Наташины именины, к ней пришла тетя с сыновьями Мостиком и двухлетним Володькой. Наташа угощала меня пирожным — это было уже слишком. Ее тетя скоро ушла, пришел Лялин папа, больше никого не было. Я совсем расквасилась, притом мне

страшно хотелось пить. Папе-Коле тоже что-то нездоровилось, и он молчал. В другом углу сидел Лялин папа и тоже дремал. Никто ни слова. Такая веселая картина! Мне даже досадно стало: стоило для этого тащиться в такую даль, не мог будто и дома помолчать. В 4 часа он ушел, а я, спросяся у монашки, отправилась в дортуар и, как убитая, спала. Пятницу и субботу я почти все время лежала. Было ужасно то, что меня все время тошнило, а меня заставляли есть, а то, говорят, «вы совсем ослабеете». В то время когда мне было противно даже думать о еде, монашенка подносила мне к носу кружку с чаем и говорила: «Le faut boire, se vous fait bien. Courage, courage, ma petite!»*

20 сентября 1921. Вторник

В воскресенье 11-го утром в класс входит начальница и говорит: «Здесь должен быть ремонт, и потому я вас отпускаю на 8 дней домой». В тот же день на прием ко мне пришли Мамочка с Папой-Колей, и мы поехали домой. Я не могла идти пешком, и меня привезли совсем больную. Думали, что у меня брюшной тиф. Но все обошлось благополучно, только у меня была желтуха. Потом мы получили из монастыря письмо, где говорилось, что нам надо возвращаться только 3-го октября.

22 сентября 1921. Четверг

В Корпусе происходит очень неприятная история. Она уже тянется давно и никак не может кончиться. Дело вот в чем: в цейхгаузе были какие-то грязные-прегрязные куски бязи, из которых было решено делать портянки, но предварительно их дали выстирать 2-ой роте. Ленъ кончать...

25 сентября 1921. Воскресенье

«Вот лето и прошло. Почувствовала ли ты его, Ирина?» Я здесь повторяю те же слова, какие писала в дневнике год тому назад. Лето прошло, но опять, как и в прошлом году, я не чувствовала его. Прошел целый год, год больших и сильных переживаний, время летит, время не ждет, а я его и не чувствую, не ловлю его, не пользуюсь им. Я сейчас просматривала мой второй дневник (самый любимый из всех моих тетрадей), и попалось мне то место, где вложен у меня сухой осенний листок и где писала о том, что этот листок будет мне вечно напоминать, «что жизнь только одна, что

* Выпейте, вам станет лучше. Будьте мужественной, моя маленькая (фр.).

время не останавливается, что каждый день, каждое мгновение нужно жить, жить полной жизнью, а не ждать». Я согласна с этим. Надо жить, не теряя времени, да оно как-то само собой теряется. У меня сейчас есть одно большое желание, уйти из монастыря. Я уже об этом как-то писала, больше писать не хочу. Если же мне это не удастся (а мне бы только этого и надо), то значит, что уж такова моя судьба и надо покориться. Ведь ношу же я крестик «терпенья», даже выцарапала там: «Претерпевший до конца — спасется», значит, мне надо терпеть все, до самого конца. Если я не брошу монастырь, тогда я уже покорюсь навсегда, больше не будет ни одной жалобы, ни одного намёка... Тогда вся моя жизнь свернется в сторону, я вырасту, возмужаю сердцем, но останусь глупым, беспокойным ребенком. Там я отвыкну от людей, там я научусь молчать, научусь скрываться под маской. Значит так надо, и я буду терпеть. Как мне ни будет тяжело, я не пророню ни одного слова, ни одного звука. Значит, так надо.

Но пока я еще живу. Мне еще осталась неделя. Она моя. Но я знаю, что проведу ее так же глупо и бессмысленно. Я нездорова. Вот уже больше месяца, как я чувствую страшное недомогание, во всем слабость и усталость. Потому-то такая я вялая и скучная, такая равнодушная ко всему и инертная. Мамочка все думает, что я распускаюсь, никак она не хочет понять, что я больна. Я и сама не могу понять, что со мной. Постоянно голова болит, нервничаю, все реву. То вдруг электрический ток пробежит по телу, руки задрожат, все так и валится, ноги подкашиваются и сама не своя. А все думают, что если не лежу в постели и жару нет, то, значит, здорова, значит, надо быть живой и веселой. (Рассуждают, как монашка красного класса!) А как бы мне хотелось теперь... не надо бы эту мысль допускать, но мне бы очень хотелось теперь заболеть, заболеть серьезно, с жаром, с бредом, пролежать бы в свое удовольствие месяца полтора. Скверная мысль, соглашаюсь, но зато редкая правда.

Потом я теперь стала страшно на все раздражаться и нервничаю, по всякому поводу расстраиваюсь. Разве это было когда-нибудь, когда я была здорова? Много плакать стала, правда, так, чтобы никто не видел, но все-таки. Нет сил сдерживать себя. Разве мне не тяжело смотреть, как Папа-Коля стирает!? Ему-то я ничего не скажу, а потом плачу. И знаю, что глупо, а все-таки плачу. Потом — предмет моих печальных размышлений, это — Врангель. Мне его невыносимо жаль, так болею за него. Везде, где только встречается его имя, где-нибудь в разговоре или в газетах, везде отзываются о нем с такой насмешкой, иронически, все стараются его уколоть, унижить, обвинить; небось, в Крыму все так лебезили перед ним, а теперь

мало того, что оставили его одного, да ругают и судят, все еще стараются очернить его, оскорбить, унижить... Сколько иронии, сколько сарказма связано теперь с его именем. За что, за что же, Господи?! Вот и плачу я, целые дни плачу, как будто ему-то от этого легче.

Наташа с самого своего приезда в Сфаят со мной не разговаривает, странная она. Еще в прошлый отпуск она мне прислала письмо (в стихах), где в самых трагических выражениях говорит, что «ты меня бросила, ты больше не хочешь со мной дружить, ты предпочла меня другой девчонке (намек на Лялю или Нину: она меня страшно ревнует), ты меня теперь стала презирать, так уйди ж от меня» и т.д. Я ей тогда ничего не ответила. А в следующий раз, как мы приехали в Сфаят, она мне не сказала ни одного слова. Даже смешно, куда я прихожу, она моментально оттуда уходит. Подружилась с Ируськой Насоновой, с Шурёнкой, в общем, со всей детворой и, верно, думает наказать меня своим презрением. Однако сегодня не вытерпела, подошла к двери и говорит: «Ирина, ты не можешь дать нам карты?» Я посмотрела на нее с удивлением и ответила: «Я не знаю, где они». Да, я уже давно поняла, что она мне не пара и уже много раз жалела о бывшей дружбе: я уже второй раз поддаюсь на удочку: первый раз с м<ада>м Александровой, второй раз — с Наташей. Но Наташа существо безобидное, она ничего плохого не сделает, а если она станет чего-нибудь болтать из того, что я ей говорила, то и я в долгу не останусь, тоже развяжу язык, а она этого страшно боится.

8 ноября 1921. Вторник. Сфаят

Теперь, когда все уже прошло, запишу.

Я прошла за этот месяц много, очень много, цель достигнута. 29 октября я ушла из монастыря, теперь уже навсегда. Но что только мне это стоило! Помню я этот ужасный, да — ужасный, момент, когда я в первый раз после каникул вошла в дортуар; вошла и не узнала его: стояло вместо пяти уже 10 кроватей, все под белыми покрывалами, все ночные столики тоже перекрашены в белый, дортуар стал другим. С одной стороны все кровати были с иконками — по ним я и узнала, что это кровати русских; я долго искала свою кровать, нашла по иконке. Тут я и почувствовала, что всему конец. В это время вошла Наташа в слезах и сразу заговорила со мной: «Ирина, подожди меня!» Так странно. С тех пор пошли скучные и однообразные дни, до того скучно, что мне казалось, что они не пройдут, и утром у меня была только уже одна молитва: Господи, хоть бы скорей прошел этот день, а вечером: Слава Богу, что день прошел. Сначала меня, Лялю и Нину хотели перевести

в следующий (белый) класс, испытывали нас две недели, но потом все-таки оставили в голубом. Наташа тоже с нами. Учиться было очень трудно. Уроков даже и для француженок много, а я, понятно, в один час учить их не успевала. Сиска это понимала и считалась с этим, а Луна требовала от нас, как от француженок. С половины месяца, даже раньше, я начала прямо говорить, что хочу уйти. Я знаю, что Мамочка и Папа-Коля этого страшно не хотели, они считали это чуть ли не смертью. Но я настаивала. Мне хотелось не только уйти из монастыря, но именно жить в Сфаяте. Мне хотелось взять на себя всю работу, что так противна там, хотелось внести мир в нашу кабинку, хотелось сгладить все конфликты и неприятности, быть «козлом отпущения». Хотелось даже внести не столько физическую помощь, сколько нравственную. Я чувствовала себя сильной и способной на это. Мамочка со слезами уговаривала меня, все надеялась, что стану благоразумна и пойму, что там лучше. Впрочем, она не противилась. Она только хотела, чтобы я поняла. Я понимала это, но я настаивала на своем. Я поступала жестоко, страшно жестоко, сама я мучалась не меньше. После приемов я чувствовала себя совершенно разбитой и не могла не только заниматься, и думать не могла. Наконец Папа-Коля переговорил с начальницей (он делал это через силу), та вызвала меня, спросила, что мне особенно трудно и обещала взять у меня арифметику и физику, хотя я их все-таки продолжала учить. Для пробы я еще осталась на полторы недели. В это время ко мне никто не приходил: делали прививку тифа. Потом у меня начались разговоры с Сиской. Она водила меня в пустой класс и там спрашивала, почему я хочу уходить. Кое-что я ей говорила. Но она все ждала главного: «Может быть, потому, что вас Наташа изводит, да? Может быть, потому, что вы здесь одиноки, вам не с кем поговорить, так говорите со мной, ведь я вас люблю и буду вам другом и т.д.» Зачем такие разговоры? С тех пор я стала от нее бегать. Если человек мне нравится, то он мне нравится только до тех пор, пока я сама ему не понравлюсь, и он мне это чем-нибудь выскажет; с тех пор я начинаю его ненавидеть, он мне делается противен. Так было уже много раз. Сиска меня уговаривала остаться, говорила, что это вопрос всей жизни, что от этого зависит моя судьба, одним словом, говорила все то, что говорил Папа-Коля, а Мамочка советовала еще подумать, подумать, а разве я не думала!? Мало плакала, мало мучалась!!! В субботу была ассамблея, я получила большой картон, как и Ляля (Наташа была уверена, что если я и останусь, то только из-за него). В субботу нас отпустили на три дня, и я вернулась в монастырь только за вещами.

Начала заниматься с Папой-Колей русским языком и историей, переговорила с Надей, и сегодня у нас возобновляются уроки математики. Сегодня Надя была на истории. Вчера у меня был первый урок французского с В.Н.Соловьевой. Завтра буду делать тифозную прививку. Хочу приучить себя к четырем вещам, которые необходимы в жизни: к холоду, к голоду, к раннему вставанию и к работе. Что-то выйдет...

13 ноября 1921. Воскресенье

Печальная годовщина... Ровно год назад, как мы покинули Россию. А сколько еще таких лет впереди... кто знает. Когда вернемся мы? Быть может, никогда? Мне временами кажется, что никто из тех, кто год тому назад покинул Россию, туда уже не вернется. Откуда такая уверенность — не знаю. Но, по-моему — это так и должно быть. Все, в ком есть хоть немного совести, не должны возвращаться. Это была бы самая искренняя, самая нужная жертва. Русские за границей — это отборные негодяи, не говоря, конечно, о частностях. Конечно, я могу наблюдать лишь очень незначительное число, но, судя по всему, так и везде. А такие люди России не нужны. Они не способны создать ее, они ее только погубят. Им нет места дома. Так я думаю. Может быть, ошибаюсь.

В газете сообщение, что Слащев из Константинополя исчез, и, по-видимому, удрал в Севастополь. Предполагают, что его сманили большевики, а другие уверены, что он уехал подготавливать какие-нибудь восстания, хотя не думаю, чтобы он был такой дурак.

2 декабря 1921. Пятница

С тех пор прошло много времени. Многое переменялось. Занятия идут регулярно, занимаемся по всем предметам, начали даже физику. Кроме того, в Бизерте организованы группы для занятия французским. Я тоже туда начала ходить, была в понедельник, следующий урок завтра в 4½ дня. Хожу туда со всеми своими преподавателями — алгебра, геометрия, физика, русский язык, история — не все же им меня учить, поучимся и вместе, еще посмотрим, кто кого сильнее. В нашей группе я, пожалуй, самая младшая; есть и глубокие старики. Урок проходит очень живо и весело. Только в понедельник у меня осталось тяжелое впечатление, вот почему: когда мы шли назад, было совсем темно; я и Равич-Щерба случайно забежали вперед и далеко ушли от отставших. Сначала все ничего, — человек, как человек, посторонние разговоры, потом, под самым Сфаятом, в так называемом «Гефсиманском саду», где самый крутой подъем, и к тому же одетый в тень, он вдруг обнял

меня, якобы помочь лезть в гору, потом вдруг начал руку целовать. Я так оторопела, что не нашлась, что делать — мне и страшно было одной в лесу с таким субъектом, и противно. Я еле шла, напрягала все усилия, чтобы идти скорее, а он все предлагает отдохнуть. С тех пор я его видеть не могу.

4 декабря 1921. Воскресенье

Я уже давно пою в хоре. У нас теперь новый регент, и с ним ничего не выходит. Вчера еще туда-сюда, ввали, конечно, но еще ничего. Сегодня до обедни устроили спевку. Пели отлично. Хор у нас довольно-таки слабый: три дисканта (причем мы с Мамочкой ничего не знаем, поет только Елизавета Сергеевна), два альты, четыре тенора и шесть басов. Сегодня разучили несколько вещей, причем часто теноры брали партию дискантов. Все это было бы еще ничего. Но в церкви пели скандально, хуже я не могу себе представить. Регент подает тон раз десять — и все по-разному. Врут, ни одну вещь мы не начали верно, ввали даже в «Господи, помилуй!», да еще как ввали, да в такой праздник. Я так расстроилась, что даже плакала дома, поэтому не пошла на лекцию о. Спасского.

22 декабре 1921. Четверг

Я сегодня не на шутку рассердилась на Надю. У нас в 1½ история; она играет в теннис; за 5 минут до урока я ее зову, она нейдет, говорит, что еще рано; зову ее ровно в 1½ она нейдет, говорит, что по расписанию урок в 2; я ее зову, она не хочет идти, я рассердилась, говорю: «Ну, я за вами больше не пойду, одна буду заниматься». Так и хотела сделать. Но, к несчастью, Дембовский забыл про урок. В 2 часа я за ним пришла, но ему уже надо было идти на форт, он очень извинялся, просил отложить урок до семи. Тогда я села читать на «дачке». Надя мне кричит с площадки: «Ирина, учитель еще не пришел?» (это было около 2½). Я ей ответила: «Мы уже кончили заниматься». — «Не выдумывайте!» — «Очень, — говорю, — надо мне выдумывать!» Решила до ужина ничего не говорить. Вообще же, она часто манкирует занятиями: то она в город едет, из-за этого все уроки отменяются (теперь в таких случаях я буду заниматься одна), то в субботу перед русским гулять ушла с гардемаринами, но тогда я занималась.

Я целые дни занимаюсь, буквально нет свободного времени. Пою в церковном хоре. Вчера три часа была спевка, а ничего не выучили. Поем ужасно, ни разу не спели верно «аминь». Прогресс в обратную сторону. В воскресенье вечером, 15 декабря (ст<арого> ст<илия>), за всенощной была панихида по Николаю II. Папа-Коля

демонстративно вышел. О. Спасский сказал слово, содержание такое: «В доброе старое время как мы не ценили нашего императора, его окружали льстецы, но как он был одинок! Помните, как в первые же дни революции все отшатнулись от него, как быстро все, кто называли себя его друзьями, надели на себя красные банты. В дневнике государя в день его отречения стояла одна только короткая фраза: “Кругом подлость, трусость и измена”. Да, мы не понимали его тогда, и он пал жертвою мятежа. Но теперь, когда Россия стонет под игом анархии, когда русский народ устал от страшного междоусобия, все с любовью и с грустью вспоминают о добром старом времени; и даже за границей, среди русских эмигрантов организованы многочисленные монархические круги, которые ставят себе целью спасти Россию из такого тяжелого положения, в каком она находится сейчас, спасти от бесконечных междоусобиц и вновь объединить ее под властью монарха». К этому и прибавить-то нечего. Известно, что Корпус — черносотенное гнездо.

2 января 1922. Понедельник

Новый год начался недурно, т.е. работой. В субботу Надя говорит мне: «Ирина, мы с мамой решили, что пора уже нам устроить каникулы, мне теперь так много дела, я готовлюсь к спектаклю с 3-ей ротой. Да ведь и в гимназии распускают тоже в это время». На это я ей возразила, что в гимназии занятия начинаются не с ноября, как у нас, и решила не сдаваться. Потом уж меня Мамочка убедила, что ведь преподаватели-то начали занятия не с ноября. Я согласилась. Пришли мы с Надей в барак и заявили преподавателям, что мы «распустились». Теперь я свободна. Не скажу, чтобы это меня очень радовало.

Встречали мы Новый Год. И нахожу, что это совершенно правильно. Ведь это праздник гражданский, и если мы живем по новому стилю, то и встречать надо по-новому. Церковный год — 1 сентября, а 14 января — это просто «старорежимный». Просто, мы не можем отвыкнуть от старых привычек. В эту ночь Папа-Коля был дежурным. Мы сварили глинтвейн, изжарили каких-то оладий, к нам пришли Насоновы, и мы очень мило и хорошо встретили Новый Год. В преподавательском бараке тоже была встреча. У них было очень шумно, даже, пожалуй, слишком. Один молодой мичман, по прозвищу «Катя», нарядился дамой, но, в конце концов, так напился, что начал даже стрелять. Произошел переполох. В барак моментально явился Помаскин с револьвером, Брискорн — чуть ли не со штыком и Папа-Коля — с колотушкой. В результате, говорят, что «Катя» списан в 24 часа.

Со вчерашнего дня я отдала себя общественной работе: теперь

идут приготовления к празднику, и предстоит много печь. Надо, например, сделать шесть тысяч пряников. Никто из дам не идет, но у меня совесть чиста: я работала вчера все время. Так буду и впредь. Ведь это работа для всех. Сейчас жду, когда Вера Петровна Тихомирова позовет меня на камбуз.

Одна приятная новость: у нас новый регент (бывший кок).

15 января 1922. Воскресенье

Прежде всего необходимо быть откровенным с самим собой. Без этого невозможно быть честным человеком. Надо сознаться, что у меня есть один порок, за который я имею право себя презирать. Это — лень, или даже не лень, а вернее, просто неумение пользоваться временем. У меня есть много обязанностей по отношению к самой себе, много начал, которые я должна кончить.

17 января 1922. Вторник

Нет, это не лень, о чем я писала прошлый раз. Я нашла для этого удачное слово. Это слабоволие. Да, надо быть откровенным с самим собой. Увы, надо сознаться в том, о чем не хочется и думать. Только тогда я и люблю мой дневник, когда я буду в нем вся как я есть, когда в нем будет много правды, горькой правды, а не как фантазия или идеал.

25 января 1922. Среда

Сейчас я одна. Мапочка с Папой-Колей ушли в Надор на вечер, там студенты справляют Татьянин День. Я туда не пошла и здесь, одна, справляю именины Тани, той самой Тани, имя которой за последние полгода даже «не упоминается в моем дневнике». Но не потому, что я забыла о ней, разлюбила ее, нет, ее я никогда не забуду и не разлюблю. Пусть мы с ней никогда больше не увидимся, никогда не сойдемся, она для меня навсегда останется прежней, милой Таней. Какая она теперь? Что с ней? Боже, как хочется ее увидеть. И я хочу, чтобы этот день ее именин был всегда, всегда хорошим и приятным. И я именно отмечаю этот день, потому что она так безнадежно далека от меня; потому-то у меня с ней связано столько хорошего, и это, именно это хорошее, я уже не встречу и ее не увижу. Милая, если бы она знала мое одиночество, мою тоску!

30 января 1922. Понедельник

Быть гением, быть великим, совершать подвиги могут лишь немногие, но быть честным и высоко поднять свою нравственность — это право каждого. Ерунду я о себе думала раньше, что я

что-то особенное, и меня никто не понимает. Такой же я человек, как и все, может быть, даже и меньше других. Но что же мне мешает стать больше? Для этого не нужно ни талантов, ни гениальности, нужна только прямая, просветленная мысль.

Мысль у меня есть; хоть я физику не понимаю, но все-таки самые элементарные понятия о себе пойму. Многое еще для меня остается неясным, убеждения непрочны и слабы, но у меня есть одно убеждение, которое, по-моему, лежит в основе всего: человек живет в свое удовольствие, все делает только для самого себя, творит добро или зло только для удовлетворения своей совести, мотивируя тем или другим. Самая тяжелая обязанность — обязанность перед самим собой, перед своей совестью.

23 февраля 1922. Четверг

Давно, давно я не занималась этим хорошим делом. В душе уже много кипело и даже перекипело за это время. Было время, когда я была страшно зла, когда я чувствовала себя глубоко обиженной. Дело в том, что ведь сейчас у меня, действительно, нет ничего интересного. Жизнь идет так бледно и невесело. Вот если бы не было моего холодного наблюдательного пункта, как я называю критическое отношение к окружающему, да светлых, правда, далеких надежд на далекое будущее, то и жить не стоит. Но утешаться одними только надеждами невозможно; постоянно только наблюдать — тоже тяжело, для этого нужно быть слишком убежденным реалистом, т.е. не уметь чувствовать. Создать в самой себе новый мир и жить исключительно в нем — я не могу уж потому, что я все-таки реалистка. Остается одно: отыскать в своей повседневной жизни что-нибудь такое, что можно возвысить, то, чему можно отдаться, если не целиком, то, во всяком случае, настолько, чтобы создать себе хоть какую-нибудь цель. И я нашла: это наши многочисленные спевки. Поем мы много, но я готова петь еще больше. Поем — одно только и есть утешение. Может быть, это и ложная идеализация, но ведь если нет счастья, так надо его выдумать. Я живу от спевки до спевки. А тут вдруг неожиданный каприз «верхов»: реформация хора. Приказано составить хор из гардемаринов и кадетов. И в прошлое воскресенье этот хор уже пел. Казалось бы, что такая реформация непонятна. Но нам всем ясно, где тут собака зарыта: и адмирал, и Китицын — глубочайшие атеисты; если они и ходят в церковь, то только потому, что этого, наверно, устав требует. Кит возмущается тем, что служба длится больше часа. Приходит он всегда к концу. Когда мы поем что-нибудь концертное, длинное, он всегда «страдает», это видно по лицу. Это его

раздражало. Ну а мальчишки, конечно, ничего нотного учить не станут. В прошлое воскресенье, когда пели они, адмирал был очень доволен. «Молодцы, скоро спели», — откровенно признавался он. А мы получили полную отставку. Это для меня было уже так горько, что я совсем расстроилась, расхандрилась. Хотя еще не все кончено: регент сказал, что Пост и Пасху он будет петь еще с нами. Но довольно об этом.

Вчера утром Мамочка уехала в Тунис. Вернется она в субботу. Все-таки скучно без нее. Так и кажется: вот сейчас она придет из мастерской с брюками в руках и с сантиметром на шее, придет и сразу начнет передавать какие-нибудь новости. Какая она все-таки общительная, всегда все расскажет, всегда всем поделится. Должно быть, с такими людьми жить легко.

24 февраля 1922. Пятница

Сегодня у нас в Сфаяте были блины. Блины были хорошие, с сеledкой, с яйцом и даже на сливочном масле. Обошлись они Хозяйственной части около тысячи франков. Когда адмиралу указывали на эту страшную цифру, он возражал, что «все-таки необходимо справить христианский обычай». Вот истинный христианин!

12 марта 1922. Воскресенье

Еще так недавно моя душа кипела сильным желанием. Теперь оно уже догорает, и пройдет еще очень и очень немного времени, как все мои желания и надежды рассыплются в прах. Дело в том, что недавно корпусом получена телеграмма от Меркулова: он предлагает Корпусу ехать во Владивосток. Последнее время всюду только и было разговоров, что о Владивостоке. Большинство отнеслось к этому проекту очень недружелюбно. Появились остроты: «Не мы к Меркулову поедem, а он к нам». Но Китицын совершенно серьезно обсуждает вопрос, на каком корабле ехать. Ехать предполагается в сентябре, езды до Владивостока четыре месяца! Пожалуй, немножко рискованно. Но меня это известие разожгло. Меня больше не привлекает ни Прага, ни Париж, только бы поехать! Но, увы, все, что мне хочется, то никогда не бывает. Интересует меня, конечно, не Владивосток, но самая дорога. Разве когда-нибудь после представится такой случай? Разве расскажешься? Вслед за этим читаю в газете: «Хабаровск занят красными». Надежды не теряю. Вчера доходит да меня такая новость из «*La Dépêche Tunisienne*»*: «Владивосток пал». В этих двух словах

* «Тунисские известия» (фр.).

непонятная сила, какой-то удар. Они мне напомнили что-то далекое, далекое... Я выслушала это известие с таким чувством, с каким давно, на Кавказе и в Крыму, узнавала о падении одного города за другим. Какой-то животный ужас вливается прямо в сердце, не то грусть, не то отчаяние. И теперь — как будто это случилось совсем близко от меня, как будто грозит мне бегством и неизвестностью. Наоборот, оно оставляет меня надолго в совершенном покое. Только не нужен мне этот покой. Пока я молода — мне жить хочется, хочется больше новых впечатлений, более глубоких, сильных, пусть тяжелых, переживаний!

13 марта 1922. Понедельник

Завтра уезжает в Прагу часть студентов, а также и Первая рота гардемаринов. Их едет провожать «папа Китицын». Вот нянька. Калужный мне рассказывал о нем, как он о них заботится, всегда и устроит, и выручит, и поможет. Недаром адмирал назвал его «папашей первой роты». Меня трогает такое отношение, вот уж люблю их! Но зато уж и они его любят.

Итак, они завтра уезжают. Недавно они были произведены в корабельные гардемарины, и по этому случаю и по случаю отъезда каждый день устраиваются пирушки: то дамы чествуют гардемаринов, то гардемарины прощаются с Корпусом, то вторая рота провожает первую, то Александров — преподавателей. Из моих преподавателей уезжает Куфтин (физик). Жаль его отца-старика, он служит здесь в библиотеке. Зовут его «Не тронь книгу». Летом уехала его любимая внучка, а теперь и сын. Остается он уже совсем одинок. Пришел к Насоновым и заплакал. И Дитриха жаль: тоже сын уезжает. Всюду суета, волнение. А у меня тоска. Говорят, что завидовать нехорошо. Не знаю. Знаю только, что это мучительное чувство. Мне кажется, что я завидую тем, что завтра уезжают. У меня тоска какая-то непонятная, необъяснимая. Говорят, у всех сейчас такое чувство. Я чего-то нервничаю, постоянно плачу. И не могу понять — о чем? Просто нервы расхлябались. Скучно мне. Ведь я совсем, совсем одна.

15 марта 1922. Среда

Вчера уехала Первая рота. Весь Корпус и весь Сфаят пошел ее провожать. Только я дурака сваяла, не пошла. А уж как жалела. Ведь такие моменты не повторяются. Что ж из того, что у меня там не было почти никого знакомых. Ведь это в высшей степени интересный момент: для них начало совершенно новой жизни, для

Корпуса — начало конца, начало развала. И радостно, и больно. Сразу стало как-то пусто, грустно, невероятно грустно.

Владивосток пал, это уже факт.

23 марта 1922. Четверг

Эти дни я говела. Вчера причащалась.

Говорят, что Корпус переводится в Сербию. Недавно Беренс вернулся из Парижа (мы были уверены, что он не вернется: кто попадает в Париж, тот уже, обычно, не возвращается) и во вторник вместе с Тихменевым был в Корпусе. Адмирал их водил, конечно, на скотный двор (достопримечательность Сфаята!), показывал кроликов, потом показывал теннисную площадку и библиотеку.

В это время пришли в баню «восьмушки», т.е. новички 7-ой роты (там все 9-ти, 10-ти, 11-ти лет), они занимаются отдельно, у них преподает Папа-Коля; и их «демонстрировали», заставляли сдвигать ряды и делать тому подобные военные мудрости.

Потом все три адмирала пошли в барак и просидели там очень долго (я за ними наблюдала, мне интересно — зачем они приезжали; они, да еще вдвоем, даром никогда не приезжают; всегда только с новостями, а то Корпус с Эскадрой не в ладах). По обыкновению, все новости распространяются по лагерю с быстротой молнии, на этот раз — никаких. Адмирал упорно говорит, что никаких новостей нет. Однако когда я вечером шла в церковь, адмирал разговаривал с о. Георгием. Я услышала только несколько слов. Спасский: «Ну, и так еще...». Герасимов: «Да определенного ничего, он не разговорчив. Только сказал, да жена уж проболталась». Дальше, к сожалению, я ничего не слышала, да и неловко было, идя на исповедь, заниматься таким делом. А потом уж распространился слух, что Сербия принимает две тысячи русских эмигрантов из Тунисии.

28 марта 1922. Вторник

В воскресенье Папа-Коля читал на форту публичную лекцию на тему «Сто лет назад». К сожалению, или к счастью, я не была на этой лекции. Произошел неприятный инцидент. Только Папа-Коля коснулся характеристики Александра I, как поднимается Александрова и громко заявляет ему: «Неужели за сто лет вы не нашли ничего прекрасного, как только критиковать наших государей?» — повернулась и ушла. За ней ушли гардемарины 3-ей роты. Произошло замешательство. Александров предложил Бергу (Берг заменяет Китицына) увести кадет, на что Берг ему очень хорошо ответил: «Зачем? Пускай мальчики слушают всю правду». Гардемарины

3-ей роты вышли во двор и начали громко петь, кричать и кидать камнями в крышу того класса, где происходила лекция. Берг несколько раз громко сделал замечание Мейеру (командиру 3-ей роты) и вообще вел себя замечательно хорошо. После лекции все возмущались Александровыми и выражали сочувствие Папе-Коле. Ночью кто-то повесил на нашу дверь плакат: нарисована красная звезда, красные флаги РСФСР, затем (лозунги. — *И.Н.*) «В борьбе обрешь ты право свое» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Только эффект зачинщиков не удался: Папа-Коля слышал шорох около двери, догадался, в чем дело, и тотчас же снял его. Наутро адмирал организовал комиссию по расследованию этого дела. Был допрос преподавателей, бывших на лекции. Комиссия работает. Кажется, адмирал издал приказ, что дамам вход на лекции на форту воспрещается. Говорят, что Комиссия постановила, что два Николая Николаевича не могут служить вместе. Значит — мы в Надор.

8 апреля 1922. Суббота

Прежде всего напишу результаты воскресной истории. Е.Г.Александрова списана в Надор в недельный срок. Но она считает себя героиней, ходит, поднявши голову, но взбешена до белого каления и ведет неосторожные разговоры: «Я этого так не оставлю, — говорила около камбуза, — я этого не прошу, старикашка (адмирал) совсем из ума выжил! Уж я этого не оставлю. В таких случаях или по морде бьют, или стреляют. Но так как он старше чином, то придется искать другого способа!» Она уезжает к дочери в Лион и берет с собой Надю; она написала и послала 3-ей роте стихотворение — прощание со Сфаятом. Я его не читала, но мне передавали содержание: «Прощайте, гардемарины», — обращается она к 3-ей роте, затем следует трогательное прощание с лагерем, с Гефсиманским садом, с церковью, где она «проливала столько горючих слёз за Россию», и даже с арабами. Преподавателям она сказала, что так как у нее теперь порвана всякая связь с ними, то Надя отказывается от уроков. Последнюю неделю я занималась одна.

Адмирал написал приказ, который читался в ротах. Он есть и у нас. Приказ громадный, целых четыре печатанных страницы, мне даже не хватило терпенья прочесть его, и я только просмотрела, так как содержание его мне давно известно: Мейер переведен отделенным начальником в 7-ю роту за легкомысленное отношение к делу (и все думают, что он уйдет); те гардемарины, которые вышли с лекции и пели, оставлены на 2 месяца без отпуска. Адмирал заходил к ним в роту и долго говорил с ними. Мне так передавали его слова: «Вы понимаете, что вы делаете? Мне все говорят,

что у вас в роте спайка, да если бы она шла на пользу. Где у вас индивидуальность? Какая-то взбалмошная баба зовет вас за собой, и вы послушно идете!? В другой раз вас взбаламутит какая-нибудь Марья Ивановна, и послушаетесь. Против чего вы устраивали демонстрацию? Вы все считаете себя ярыми монархистами, а я вот до седых волос дожил и не знаю, кто я — монархист или нет. А то, что вы ушли, доказывает только, что лекция для вас была слишком трудна. Вам надо так читать: Александр I был очень хороший человек, вставал в 8 часов, пил кофе; потом шел подписывать приказы, потом ездил кататься. Дальше: Александр II — смотри то же, что и Александр I, кроме того, он освободил крестьян. Вот такие лекции вам и надо читать, только такие вы и осилите». Почти все то же повторялось и в приказе, упоминался «ротный совдепик», главком Керенский и «Приказ № 1». Папе-Коле выражалось извинение и советовалось впредь «считаться с умственным развитием аудитории». Это тоже не всем понравилось. Интересно, что Елена Григорьевна сама просила Папу-Колю прочесть лекцию, она говорила, что задыхается в такой некультурной атмосфере, а она привыкла к умственным развлечениям. Хороши развлечения! Ну да Бог с ней! Наконец, в приказе — строгий выговор инспектору классов Александрову за «ложное донесение»: он доложил адмиралу, что уже в начале лекции начались выражения недовольствия среди гардемарин, которые начали выходить, и под конец вышла его жена; и за то (выговор. — И.Н.), что он ввел в 3-ей роте французский язык, который преподавала Ел<ена> Григ<орьевна>, и для этого удалил оттуда Лисаневича. И после таких изобличений он остаётся! Открылось столько гадких поступков, человек даже в приказе уличен во лжи; наконец, его жена высылается из лагеря, — и он продолжает жить так, как ни в чем не бывало. «Не могу, — говорит, — оставить детей, вверенных мне родителями и Богом». Придумал громкую фразу и успокоился. Верно говорит адмирал, что у него нет ни на грош чести.

18 апреля 1922. Вторник

Квартира Насоновых. Около 11 ч<асов> вечера.

Сегодня Первая рота устроила танцевальный вечер. Приглашены буквально все, и Сфаят пустует. Приглашали, конечно, и меня, но я все-таки не пошла: должно быть уже просто по своей натуре я не люблю праздников, вечеров, предпочитаю оставаться одной; быть может, это и нехорошо, но довольно об этом. Все ушли и, конечно, все осуждали меня. Почему? Елизавета Сергеевна просила меня время от времени заходить к детям, у них сейчас ночует и

Леля Тихомиров. Я дождалась, когда все ушли, и собиралась провести вечер в свое удовольствие — читать, писать, а потом завалиться спать. Но как только все ушли, мне стало как-то неприятно. Кругом — ни души. Жуткая тишина. Я раскрыла книгу, но чтение не клеилось, а за стеной бушевал ветер. Я попробовала было развлечь себя, но не могла. Тяжелое чувство не покидало меня. Я старалась побороть, пристыдить себя, но напрасно. Меня одолел какой-то мистический страх. Начались галлюцинации: мне опять начали слышаться какие-то звонки и колокольный набат. Я не выдержала и ушла к Насоновым. В бараке нет ни души, только в угловой кабинке спят Лаврухины, и в кабинке Леммлейна ворочается Джек. Когда я вошла в барак, как-то странно и напряженно скрипнула дверь, залаял Джек. Наташа Лаврухина проснулась и окликнула меня. Мои шаги глухо раздавались по коридору. И все это было как-то неприятно и даже, как ни стыдно в этом признаться, страшно. У Насоновых было хорошо. Кира с Лелей уже спали. Ируся дурила и смеялась. Я немного развлеклась, у меня уже не было того страха. Через некоторое время я пошла проводить нашу кабинку. В темноте я на что-то споткнулась в коридоре, потом залаял Джек, опять так же неприятно скрипнула дверь. А ночь была темная и холодная. Ветер дико свистел и пронизывал до костей. В бараках было темно: должно быть, все ушли наверх. Мне сделалось жутко. Я бегом побежала к нашей кабинке и все время крестилась. Перед дверью я остановилась, мне было страшно открыть ее. Трудно сказать, что было в это время у меня на душе: рассказы про арабов, крадущих кур; про надорских воров и, очевидно, что-нибудь более страшное. В комнате все было спокойно, и я побежала назад. Потом Ируся легла спать, мне тоже очень хочется спать, но я боюсь идти домой. В обществе трех спящих малышей все-таки не так страшно. Сажу и невольно вслушиваюсь в тишину. Боюсь стукнуть и даже двинуться. Каждый звук раздается там гулко и страшно. За окном воет ветер, идет дождь. Где-то слышатся шаги, и снова все смолкает. Вдруг залает Джек, и сердце забьется так сильно-сильно. Потом слышится, что где-то щелкнул засов, слышится шорох... Мне начинает казаться, что у нас в кабинке воры, хочется пойти, узнать; наконец, позвать на помощь. Но позорная трусость удерживает на месте. А в голову лезет нелепая мысль: «Если нас обкрадут, то уж, наверно, и Тихомировых», — и я успокаиваюсь. Потом все-таки бегала домой. Удалось взять себя в руки, и наша кабинка уже не казалась мне страшной. Я пробыла в ней минуты три и решила, что скоро приду спать. Вернулась к Насоновым. Дети спят. В соседней кабинке, у Якушевых, часы пропищали двенадцать. Пора идти, но

ноги не двигаются. Нервы напряжены, знобит; в душе непонятный, тяжелый страх; тоскливо, досадно на себя, больно за других; и знаешь, что это было уже давно-давно; и чувствуешь, что будет еще долго.

Вот до какого состояния может довести меня темная, ненастная ночь, вечное одиночество и неотвязные мысли.

24 апреля 1922. Понедельник

Вчера была вечеринка нашего хора. Сначала устроили маленькую спевку, чтобы поднять настроение, потом пошли в швейную мастерскую пить чай. Там был накрыт длиннейший стол, чьи-то добрые руки напекли пирогов, кипели настоящие самовары. Было очень весело, сначала все как-то стеснялись, но потом разошлись, дурили, бомбардировали друг друга цветами, пели, даже танцевали под наше пение. Тамара Андреевна Круглик-Ощевская танцевала русскую — хорошо и очень весело. Потом все расселись на (швейных. — *И.Н.*) машинках и опять пели. Все было очень просто и хорошо. Кончилось тем, что качали регента.

Так прошел вчерашний вечер, последний из двухнедельных каникул. Только он и был использован как следует; все остальные дни прошли незаметно. В эти две недели у меня было много проектов: главным образом, я собиралась писать. В самом деле, следует. Но в результате — ни одной новой строчки, даже и тетрадь не раскрывала, даже за дневник не бралась. Так и вся жизнь уйдет, и ничего не успеешь сделать.

25 апреля 1922. Вторник

С сегодняшнего дня я дала себе слово: каждый дань братья за дневник. Я буду писать немного, буду только отвечать на один вопрос: чем можно отметить этот день? Было ли в нем что-нибудь интересного, выдающегося, было ли что-нибудь сделано хорошего, что-нибудь новое придумано, пережито; был ли использован день или бесцельно канул в вечность. Я привыкла к самоанализу, глубокому и серьезному; но только редко заносу свои мысли и наблюдения в дневник. Некоторые меня считают эгоисткой, я сама думала, что это верно; я всех людей считала эгоистами, во всех их добрых поступках. Теперь я немного изменила свое мнение. Пристально взглядевшись в себя и в других, я решила, что есть чувства и даже поступки, вызванные не эгоизмом, а каким-то инстинктом; конечно, тоже — не размышлением. Размышляя, человек всегда становится эгоистом. Этого мне достаточно. Этим я опровергаю такое мнение. Я не эгоистка, во всяком случае, не больше других.

26 апреля 1922. Среда

Сегодня не было ничего интересного. Однако и жалеть об этом дне не придется. Много времени было хорошо использовано: с утра занималась одна алгеброй, потом был урок французского. После обеда кроила шапки, немножко постирала, потом даже вымыла голову и пришивала пуговицы на арабские жилеты. После ужина, кроме спевки, время прошло даром. Однако я собой довольна, только ни одной строчки не написала. Боялась даже, что не смогу писать дневник, так как вечером у нас сидел Юра Шингарев, и мне теперь хочется спать. Но так как я дала себе слово, то у меня хватит силы воли выполнить его. Срок я себе ставлю на один год, за исключением тех дней, когда это будет невозможно: напр<имер>, болезнь, переезд и т.д. Если же я не сдержу слова, то окажусь безвольной тряпкой. Попробую.

27 апреля 1922. Четверг

День прошел бестолково. Занималась пришиванием пуговиц на арабские жилеты да стирала. Поплакала, даже не могу себе отдать отчета — почему? Стало грустно, что жизнь выдвигает на первый план всю черную работу, а остальное — одно развлечение. По сфаятским понятиям, такое занятие, как чтение, наука, искусство — не работа. Этим можно заниматься только в свободные минуты. Чехов любил изображать людей не делающих, а только думающих о чем-то высоком и прекрасном, но для Сфаята это верх глупости. Байрон выше всего ставил свое «я», рвался из жизненных уз, стал выше жизни и толпы, — здесь это неприменимо. Были великие люди, мечтавшие о будущем устройстве мира на началах правды и справедливости — какой иронией звучат здесь эти слова.

Сегодня в Надоре о. Спасский служил молебен (они завтра переселяются в другой лагерь), а после сказал, что готовится наступление; верховным главнокомандующим назначен в<еликий> к<нязь> Николай Николаевич. Врангель — начальником кавалерии, Деникин — пехоты и еще чем-то — Краснов. Воображаю!

28 апреля 1922. Пятница

Весенний день. Светит солнышко, щебечут птицы, и мне стало так грустно, грустно. Чего-то недостает этому солнышку, этому теплему деньку. Мне вспомнились далекие, знакомые картины и чувства. Широкие улицы большого города, шумная толпа народа; дети, идущие на прогулку, изящно одетые уже по-весеннему; и надо всем этим яркое солнышко и щебетанье птиц! Идешь, бывало, утром в гимназию уже в коричневом драповом пальто; идешь

и радостно слушаешь, как звонко раздаются шаги по тротуару, когда в первый раз идешь без калош. Это один из первых признаков весны. С ним у меня связано много дорогих воспоминаний. А в гимназии — как весело проходят уроки при раскрытых окнах, как шумно в классе, какие у всех счастливые лица, как весело на переменах, особенно если выпустят на двор! В такие дни никто не знает урока, но никто не получает плохих отметок. А как весело, шумно бывает, когда выходишь гурьбой из гимназии и идешь домой. На улицах веселое оживление, все веселы, возбуждены, все куда-то торопятся. И на душе так легко и весело; со всеми-то нужно поговорить, покричать через улицу, подурачиться. А дома — придеешь, бросишь книги, забежишь за Таней и за Лелей и — гулять! Бегаешь, скачешь по поляне, над душой ничего не висит, чувствуешь избыток силы и избыток счастья. Вот этого мне и недостает теперь: весенних улиц, шумного класса, уроков при раскрытых окнах, веселой гурьбы подруг; а может быть, непонимание жизни, ее ближайших задач.

29 апреля 1922. Суббота

Сегодня все надежды возлагала на вечер, а вечером пришел Юра Шингарев, и пришлось сидеть так, да играть в дураки.

Сегодня Н.С.Маджугинский уехал в Тунис, его девятилетний сын Илюша, кадет, стал поэтому приходить к нам. Он был у нас днем, к ужину пошел наверх. Когда уже мы собирались в церковь, он вдруг приходит к нам в страшных слезах. Долго не мог успокоиться: «Я не могу, — говорит, — я не могу, мне так грустно! Меня мальчишки бьют, все наши в отпуске, мне так тяжело, я не могу. Что мне делать?» Бедный, бедный мальчик. Мне его искренне жаль.

30 апреля 1922. Воскресенье

Сегодня я решительно ничего не делала, даже посуду не мыла. Ничего, конечно, не делала и для себя, даже не занималась. Юра Шингарев ночевал в Сфаяте, и поэтому целый день был у нас. Был также Илюша. Целый день старалась быть любезной и приветливой, играла в карты. Бестолковый день.

1 мая 1922. Понедельник

День прошел удачно только с той стороны, что написала одно стихотворение и продолжение своей мистерии «Тени грядущего», если только это можно назвать мистерией. Чувствую себя в некотором смысле удовлетворенной (адские чернила, больше не буду писать!).

2 мая 1922. Вторник

По случаю приезда Мильерана монастырек вчера распустили до четверга. Сегодня я с Наташей и Лялей гуляли в Гефсиманском саду (Воробьевы и Завалишины переехали в Сфаят, потому что все лагеря переводятся куда-то далеко и на 35 сантимов в день). Мы говорили все время по-французски. Тут я убедилась, насколько я отстала от них. Может быть, даже где-то, в глубине души, зашевелилась зависть. Зависть, но не сожаление! Я еще ни разу не пожалела, что ушла из монастыря. Правда, все мои искренние намерения, хорошие желания так и остались желаниями. Я только последний раз убедилась, что себя и жизнь свою так сразу переделать нельзя; что мало одного только слова, а надо еще много, очень много работать над собой.

Завтра приезжает президент. Непременно пойду с Папой-Колей в город (в Бизерту. — *И.Н.*). Интересует меня, конечно, не только сам Мильеран, сколько то настроение, то необыкновенное оживление, которое будет там. Люблю такие моменты. Славно понаблюдаю. Кстати, зайду и к Нине (Кораблевы теперь живут в городе, где-то против Мортон). Все-таки это единственный друг, хотя и далекий, но искренний.

3 мая 1922. Среда

Сегодня я ходила в Бизерту встречать президента. Как раз в эту ночь Папа-Коля был дежурным, утром долго спал, и я уже думала, пойти не удастся. С 8-ми часов я играла с Наташей в теннис, а в 9½ пошли в город. День был ветреный, и я была уверена, что дождя не будет. Но как раз в дороге нас застал дождь. Я отчаянно промочила себе ноги и озлябла. Только пришли в город, я пошла разыскивать Нину. Папа-Коля отправился за покупками. У Нины я первым делом разулась, выжала чулки и подол платья, немного обогрелась. Потом встретилась с Папой-Колей на углу. Мимо нас проходили войска арабов, а затем масса детей: колледжи мужские и женские, всякие спортивные общества, клубы. Все дети были в белых костюмах (погода к этому времени была уж великолепная) и с национальными флагами в руках. Были также и арабчата, должно быть, целой школой; от земли не видать, и одеты в арабские костюмы. Замечательная картина! Мы пошли за ними на площадь к морю, где раньше стоял «Георгий» и где теперь устроена пристань для встречи президента. Вдоль всей пальмовой аллеи были расставлены войска, а за ними толпа народа, почти все с национальными бантами (и я прицепила!). Богатая смесь и лиц и

костюмов. Все военные были в мундирах, в орденах и с эполетами; у моряков — треугольные шляпы, у пехотных — обычные, опереточного типа, обшитые галуном. Были также и черные офицеры, также блестяще одетые. Весь город украшен флагами, и все корабли одели все свои сигнальные и простые флаги.

В 11 часов Мильеран выехал из Фервилля в Бизерту. Раздались пушечные салюты и колокольный звон. Войска взяли на караул. Через некоторое время к пристани подошел крейсер (забыла — какой) («Edgar Quinet». — *И.Н.*). На грот-мачте развевался французский флаг, с золотой буквой М. На мостике, в кругу военных, сидел сам Мильеран и махал шляпой. Как только крейсер остановился и президент начал спускаться, оркестр заиграл Марсельезу, кричали ура. Мильеран прошел по всей аллее на площадь. Это был старик, невысокого роста, довольно толстый, большие седые волосы, густые брови; он был в сером штатском пальто и в котелке. Шел и раскланивался во все стороны. На площади — я это увидела уже издали — он принимал депутации (от имени русской колонии Таточка Оглоблинская должна была ему преподнести букет) и раздавал ордена. Потом сел в свой автомобиль и поехал завтракать. Тот дом, где он завтракая, где было устроено нечто вроде барака, был как раз против городского сквера. Из сквера всю публику выгнали (правда, довольно вежливо) и заперли его. По улице выстроились войска сенегальцев. Мы примостились за ними. Мильеран завтракал часа полтора, играл оркестр. Под конец, наверно, говорились речи, так как слышались аплодисменты. Наконец отперли сквер, войска опять взяли на караул, и Мильеран вышел. Он пошел пешком через сквер на пристань к вокзалу, и видели его уже на катере, когда он отплывал на корабль. В третьем часу тронулась и вся эскадра. Впереди шел «Edgar Quinet», опять с личным флагом Мильерана, и на мостике сидел он и опять раскланивался. На берегу оркестр играл Марсельезу, кричали «Vive la France! Vive le Président!»* За «Edgar Quinet» шли остальные крейсера и миноносцы. Зрелище было красивое и торжественное. О таком дне никогда не пожалеешь!

4 мая 1922. Четверг

Сегодня мне исполнилось 16 лет. Шестнадцать лет!!! Боже мой, какой ужас! Время идет, идет, и так мало еще сделано. Я, по своей всегдашней привычке, все считала, что жизнь у меня впереди, что еще успею пожить, еще успею себе выбрать жизненную дорогу. А вот уже и шестнадцать лет! Вышла я из детского возраста неум-

* Да здравствует Франция! Да здравствует президент! (*фр.*)

ным и беспомощным человеком. В голове — никаких планов, никаких перспектив. А пора бы подумать и о будущем. Дальше окончания гимназии я никогда не думала: «Время укажет». А если и взглянешь вперед — ничего хорошего: бессмысленная, животная жизнь для насущного хлеба и только. Дальше — зловещий вопрос: для чего все это? Нет, лучше и не думать! А тут, как гром на голову, — шестнадцать лет!

Вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Дождалась. Я серьезно, очень озабочена этим делом. Я как-то никогда об этом не думала. У меня нет ни одного определенного взгляда, ни одного твердого убеждения! И мне грустно, что я с таким чувством стою накануне самых лучших лет жизни, накануне расцвета молодости, силы и счастья. И как грустно, что я вступаю в такой возраст с такой, если не усталой, то озлобленной и очерствелой душой. Что ж поделаешь!? Какая уж есть. Печально, что впереди нет никаких перспектив.

Получили сегодня письмо из Праги — ничего утешительного, никакой вакансии нет и не предвидится. Советуют ждать у моря погоды. А французы все сокращают да сокращают, с пайка все списывают да списывают. Положение шаткое, невеселое. Временами, под влиянием окружающей атмосферы, невольно падаешь духом. Господи! для чего все это так!? Сидеть бы дома, я бы уже переходила в 7-ой, а теперь вишу в воздухе между 5-м и 8-м; не была бы такой нелюдимой, была бы более или менее «законченным» человеком, с определенными взглядами на будущее. Ну да не стоит об этом думать! Что там... Теперь только надо работать над собой; а там время покажет, я все еще надеюсь, что не поздно. Каждую неделю буду подводить итог моей душевной работы.

5 мая 1922. Пятница

Боже, какое громадное удовольствие испытываешь на спевках. Какой успокоительной волной врываются в душу красивые, святы слова, красивые напевы. Как-то забываешь все и чувствуешь одну только красоту. Правда, когда в церкви поешь, то нельзя молиться: думаешь о том, как бы не пропустить тона, да не прозевать паузы. Но стоит только немного поглубже вникнуть в суть того, что поешь, и сразу почувствуешь себя другим человеком. Тут легче чем когда-нибудь чувствуется мысль о Вечном, Непостижимом, Святом; то, что чувствуешь только в возбужденном состоянии. Проработаешь целый день, устанешь, разозлишься, — придешь на спевку, услышишь слова знакомых напевов, и проснутся в душе хорошие чувства; хочется со всем примириться, всех примирить, всех полюбить, все объяснить, чтобы все было так просто и

по-хорошему; две крайние мысли — приводят к одному результату; два образа в душе, резко противоположные между собой, — сливаются в одно.

6 мая 1922. Суббота

Тяжело видеть павшего героя, еще тяжелее видеть его развенчанным. Грустно убеждаться в том, что Врангель не прав больше: что он преступен. Как детски наивна его организация «Государства в государстве». Тут не может быть никакой цели. Его никто не поддерживает. Мильеран заявил, что если он и признавал его в России, то только из желания спасти Польшу. Врангель один. Мне жаль его, мучительно жаль; я всегда была на его стороне. Мне хочется, чтобы он оказался прав, назло тем, кто быстро отвернулись от него, как только заметили, что его дело шатко. Но, увы, все больше данных говорит за то, что они оказались правы. (Я, конечно, подразумеваю Милюкова, которого я только и знаю со стороны его отношения к Врангелю.) Что бы я только ни сделала, чем бы ни пожертвовала, лишь бы Врангель победил. Но только моя фантазия не находит выхода. Трудно человеку подняться в моих глазах, но еще труднее его развенчивать.

7 мая 1922. Воскресенье

Сегодня мы все втроем ходили гулять очень далеко. Папа-Коля говорит, что мы прошли километров пятнадцать. Проходили удивительно красивые места, где уже действительно чувствуется Африка: громадная пальма в цвету, огромные, сажени в три высотой; кусты кактусов и тоже в цвету. Оригинально цветут они: у них на концах их толстых овальных листьев, покрытых колючками, будто наколоты большие желтые цветы. Прибавить к этому еще арабов, в их патриархальных костюмах; их маленьких осликов, постоянное «арри», которым они понукают их; несколько нагруженных верблюдов с удивительно мелодичными колокольчиками — и получается какая-то необыкновенно милая и давно знакомая фантазия — из Ветхого Завета. Хорошо хоть не надолго уходить от нашей мертвечины в такие уютные уголки природы, подышать там иным воздухом, пробудить в себе иные мысли.

О таком дне жалеть не стоит, хотя, конечно, он и не использован. Что сделала я сегодня? Да ровно ничего. Хотела вечером заниматься, да пришел Федя Бондалетов. Взялась за книгу в 11 часов, но такая трудная оказалась статья (о Герцене), что я не осилила. Столько новых непонятных мыслей, что ее мало прочесть один раз, над каждой строчкой нужно много подумать и разработать ее. Таким обра-

зом, сегодняшний день не только ничего не дал мне, наоборот, обнаружил только мою неподготовленность к серьезной работе.

Сейчас половина первого. Я еще хочу переписать французские слова из тетради А.А. Волхонской (на последнем уроке я потеряла карандаш и ничего не записывала) и выучить их.

8 мая 1922. Понедельник

Сейчас 12 часов ночи. Все уже спят. В бараке тишина. Мне тоже хочется спать, но мне доставляет большое удовольствие переламывать себя: уже несколько дней я ложусь около двух, а вечерами занимаюсь или пишу. Пользы от этого, может быть, и мало, но зато лишнее проявление своей воли и упорства. После часа я выхожу гулять около барака, очень уж красива лунная ночь! Невольно делаешься романтиком. А чтобы не уснуть — я выхожу на улицу и умываю себе лицо холодной водой. Это помогает. Только боюсь, что сегодня я долго не просижу: во-первых, мы ходили в город, и я, как-никак, немножко могла устать; во-вторых, я пила чай с вином, и у меня сейчас голова тяжелая, и щеки горят. От одного стакана чая с вином, правда, не опьянеешь, но на меня и одна капля оказывает большое действие.

9 мая 1922. Вторник

День, в общем, прошел безалаберно и кончился довольно неприятно. Напишу завтра.

10 мая 1922. Среда

Весь день как-то не по себе. Тоска одолела. Все лезет на ум вчерашняя история. Не хочется мне вспоминать о ней, но уж нечего скрывать. Дело вот в чем: вчера был день рождения Милочки Завалишиной, и я у них провела весь вечер. Там было несколько гардемарин, все шло очень хорошо и весело. Только под конец стали играть в мнения (не люблю эту игру, особенно среди малознакомых). И я в азарте, увлекшись игрой, совершенно добродушно посмеиваясь, сказала о Коле Завалишине довольно резкое мнение: тыква, да еще пустая! Только потом сообразила, какое это может произвести впечатление, особенно на тех, которые в своей семье видят что-то высокое и исключительное. Потом Мамочка говорила мне (и часто повторяла), что Коля даже расстроился, и я сама вижу, благодаря своей мнительности и подозрительности, что Александра Михайловна на меня дует, а за ней и все нос воротят. Ну а чем я виновата, что люди шуток не понимают! Ведь назвал же меня кто-то

лимонадом или лимоном, я тоже вправе обидеться — неужели я такая кислая?

11 мая 1922. Четверг

Не знаю, что и записать за сегодняшний день. Ничего, кажется, не произошло. Настроение почему-то бодрое, хорошее, конечно, с некоторой натяжкой. Не может же быть хорошее настроение без диктовки разума. Только плохим настроением управляют чувства. Впрочем, я всегда уравниваю и разум и чувства: я редко выхожу из состояния безразличного равновесия с некоторым наклоном книзу. В этом, быть может, и есть все мое несчастье.

А Коля Завалишин провалился по математике. Все-таки мой эпитет попал удачно.

12 мая 1922. Пятница

Сегодня была ужасная жара: дул сирокко. Он застал меня врасплох. В жару надо только чаще умываться, хорошо также переменить белье, и иметь интересное дело. А такого-то дела у меня и не было. Я ничего не делаю сегодня, занималась всякой починкой да стиркой. Пожалуй, правду про меня говорят, что я ничего не делаю. В самом деле: занимаюсь очень мало, брюк и жилетов не шью и даже в будущем не собираюсь шить, потому что не хочу тратить на это свою жизнь. А кому какая польза, что я много думаю, много пишу, или только собираюсь писать, да работаю над собой! В конце концов — я неприспособленный и ни к чему не годный человек, и только. Эх, Ирина, Ирина, ведь года-то идут!

13 мая 1922. Суббота

Эти дни Юра жил в Сфаяте. Он подавал в Корпус прошение и ждал результата. Но французы постановили никого не принимать старше 18 лет. Но он имел прекрасный аттестат от командира «Алексеева», где раньше был матросом, много за него хлопотал и Папа-Коля, но ничего не удалось, сегодня получен отказ. Поэтому и весь сегодняшний день отмечен чем-то тяжелым: все-таки Юра стал у нас до некоторой степени своим человеком.

Вечер у меня сегодня пропал: ходила гулять с Колей Завалишиным. Завтра уговорила с ним встать в шесть часов и играть в теннис. Сейчас начало двенадцатого, но придется ложиться, чтобы рано встать. А я за последнее время привыкла по вечерам заниматься и гулять одной, когда уже все спят. И мне обидно, что расстраивается установленный порядок, и хочется урегулировать его. Но только я на себя мало надеюсь. Грубое животное желание подремать мо-

жет легко искалечить человека. Днем-то сознаешь, что это животное занятие, а вечером или рано утром невольно думаешь: «А черт с ним, с благородством, да с борьбой, да порядком и с хорошими намерениями. Какое блаженство выспаться!»

14 мая 1922. Воскресенье

Как раз те слова, которыми я закончила вчерашнюю запись, вернутся у меня на уме. Пусть это «животно», но как-никак, а я вчера легла в первом часу, встала около 7, а сейчас 12½.

Вечер опять пришлось провести у Завалишиных. Коля опять меня вытащил. Мы с ним долго гуляли по шоссе. Задумали издавать тайно сатирический журнал. Он хорошо рисует карикатуры, а я могу внести какие-нибудь едкие замечания на сфаятцев. Интересно бы развить эту мысль. Только боюсь, что я плохой сатирик: в душе много иронии, да на словах не выходит.

15 мая 1922. Понедельник

Сегодня я пришла к заключению, что я очень довольна тем образом жизни, который веду, и очень грустно, если меня выбивают из колеи. Мне очень нравится жить так далеко от всех, хотя и у всех на виду, ни с кем не знакомиться и постоянно рыться в своей душе. Зачем мне всякие знакомства и развлечения? Я дикарка, я застенчива, может быть, и горда; и мне мой внутренний мир дороже. В этом много эгоизма. В самом деле, я только и пишу о себе, ни одного чужого имени; хотя я думаю о других больше, чем о себе. Но в самоанализе и в упорной работе исключительно над собой я не вижу ничего дурного. «Нельзя братья грязными руками за святое дело!» — как верно сказал Деникин; в самом деле, нельзя жить и бороться за человечество, не победив прежде самого себя. Эти слова на всю жизнь будут мне маяками. Только боюсь, что в работе над собой пройдет вся жизнь, невольно сделаешься эгоисткой. А я больше всего боюсь в будущем бесполезной, пустой и ненужной жизни. Боюсь!

16 мая 1922. Вторник

Мне что-то нездоровится. Потому ложусь спать. Сейчас 10½, и мне не хочется выбиваться из колеи, но до первого часа я не досижу. Что-то плохо соображаю. Не хочется ложиться спать, не о чем больше думать, все уже кончилось. Думать, мечтать не о чем, это мучительное чувство. Я еще не отвыкла мечтать, хотя и мечты мои строго реальны. Но голова болит, надо лечь.

17 мая 1922. Среда

Ничего не нахожу в себе нового, свежего, оригинального, ничего. А жизнь так широка, гораздо шире моих понятий.

18 мая 1922. Четверг

Сегодня были мои именины. День ушел на всякие там растирания желтков, да бегания в кооператив. Вечером кое-кто пришел; было, конечно, натянуто, и скучно. Интересно было только в конце, когда остались только Завалишины. Маруся много рассказывала о французской жизни, об устройстве семьи и т.д. Много мне в корне противно, но и возразить-то нечего, все это стоит за моим умственным горизонтом. Эта громада, эта разносторонность жизни раздавила меня. Столько возникло новых, еще не затронутых вопросов, столько открылось новых областей, я даже совсем растерялась. Для меня не было сложных вопросов. Я из всего извлекала одну только суть, деталей для меня не существовало. Жизнь мне казалась длинной и узкой дорогой, впереди стоял только один вопрос — ее цель. Только теперь я представила себе всю ее сложность. Стараюсь опять все объяснить — коротко и просто. Но меня испугала такая сложность.

Рока, управляющего судьбой человека, нет, — это я уже давно опровергла; но я упустила из виду еще одно обстоятельство — закон, мировой закон. Мне казалось, что судьба человека в его руках; рока нет, но есть закон. Этот закон, напр<имер>, мешает женщине сделаться человеком. Французы так прямо и говорят, что женщине образования не нужно, она должна знать только хозяйство. По-моему, это отсталый взгляд. Но это ужасно! Ведь это судьба рабыни, полное обезличивание своего «я», это длинные года чинки белья, стирки пеленок, нянчания детей и ничего больше. Неужели же женщина не может устроить свою жизнь по-своему и, наравне с мужчиной, бороться и приносить пользу государству и всему человечеству? Или же это человечество настолько велико и могуче, что требует отречения от самого себя и кропотливой мелкой работы?

19 мая 1922. Пятница

Я что-то расхварываюсь. Сегодня ничего не ела, кроме двух голубцов, да куска сладкого пирога. Слабость, головокружение, хочется положить голову. Сдерживаю свое слово, пишу общий отзыв за целый день. Много свободного времени, но равно ничего не сделано.

20 мая 1922. Суббота

Сегодня я увлекаюсь романом Толстого «Воскресение». Для меня еще шире раскрылись рамки умственной жизни. В тонких психологических описаниях отношений Нехлюдова к Катюше, в столь страстном увлечении бессознательном мне послышалась едва уловимая повесть о самой себе. Я гоню от себя эту мысль, я сознаю, что это безрассудно, глупо, даже унижительно; но бывают секунды, когда я смотрю, смотрю и мне хочется узнать его (М.А.Китицына. — *И.Н.*) поближе; быть около него и слушать его (а он хорошо говорит). Я знаю, что он скучает; быть может, нуждается в теплом участии, в нравственной поддержке, в ласковом слове; он, хоть и закоренелый холостяк и солдафон, но и он нуждается в этом. Но это только секунды. Какое может быть у меня чувство к этому человеку, кроме, разве, уважения? Любви тут никакой не может быть. Пора сознаться, что моя прежняя «любовь» (А.В.Колчак. — *И.Н.*) была совсем не любовь. Так нельзя любить человека. А если я много пережила и перемучилась из-за него, даже мучаюсь и теперь, когда речь заходит о нем, то это делает меня как бы «мученицей за идею»: пока идея только в уме или на словах, то она пуста, но когда за нее страдаешь, то она получает иную окраску. Так было у Герцена. Такую же окраску получило увлечение этой, несомненно, большой личностью. Здесь иное дело. Но я не хочу предаваться этому чувству, да потом это — глупость. И его нельзя любить по-настоящему. Все это ерунда, это только минуты. Настоящей любви у меня не было. Я от того эпизода не отрекаюсь: я люблю Колчака, но люблю его как героя, как твердого защитника светлой идеи; так, как, быть может, теперь люблю Врангеля, хотя и павшего и, быть может, даже преступного.

21 мая 1922. Воскресенье

Сегодня Папа-Коля пошел к своим ученикам на «Морьяк». А после обеда я, Мамочка, Елизавета Сергеевна с Ирусей, Юра Церебеж (один из исключенных летом) ходили на море. Хорошо уйти от Сфаята. Настроение было самое хорошее. Мы дурили, смеялись до упаду. Многие купались; только я, после моих летних купаний, не рискнула. На обратном пути было еще веселее: там на пляже есть громадные песчаные дюны, песок на них такой чистый, белый, как снег; я залезла на самый верх и катилась вниз кубарем или ползла вниз головой. Вскоре ко мне присоединились остальные. Сколько хохоту, сколько здорового живительного веселья!

А вечером была всенощная, т.к. завтра 9 мая (Никола). Сегодня о. Георгий приехал из Парижа. Только мы пришли с моря, как сейчас же пришлось идти в церковь. Тут невольно напрашивается на

перо то, о чем я писала вчера. Я в церкви пристально смотрела на него (на М.А.Китицына. — *И.Н.*) и все думала, что это за странное волнение охватывает душу. Мне даже весело испытывать это волнение, не любовь, а легкое красивое увлечение. Но, с другой стороны, мне неприятно, что надо мной встал какой-то авторитет, перед которым я теряюсь; что над разумом стало преобладать чувство, что я потеряла свое прежнее равновесие.

22 мая 1922. Понедельник

Живу — наслаждаюсь пока что. Забавляюсь новым, еще не испытанным чувством, легким и гибким, и мне хорошо. Ничего серьезного тут и не может быть. Да, наконец, я уже слишком много времени и бумаги уделяю этому мелкому факту! Не влюблена же я в него, в самом деле! Просто нравится мне человек, нравится своей решительностью, энергией, смелостью, еще чем-то: нравится в нем его порядочность, редкая теперь, его прямота, даже порой резкость и вспыльчивость. Многое нравится, и только. Довольно об этом, ни слова больше. День провела ни скучно, ни весело, ни толково, ни бестолково. Много читала, еще больше думала.

23 мая 1922. Вторник

Чувствую мучительное неудовлетворение всем и собой. Вижу, что все идет не так, как надо; да не знаю, что желать. Особенно тяжела мне такая раздвоенность между мыслью и действительностью. Мысль — это самое прекрасное и самое ужасное в жизни; только мысль делает человека счастливым, только мысль открывает ему свет в самых темных сторонах жизни; но только она возбуждает в нем чувство нравственного неудовлетворения, открывает бессмысленные стороны жизни, доводит до отчаяния. Не думать — нельзя, но о многом лучше и не думать. Мысль влечет за собой, указывает, обещает, но никогда не побеждает действительности.

24 мая 1922. Среда

Сегодня около 9 часов утра где-то около Сфаята послышалось «Ура!» Я подумала, что это опять «взятие Сфаята» (Корпус это часто делает), и выскочила к обрыву — поглядеть. И увидела я, как толпа гардемарин, очевидно с 3-ей роты, с криками «Ура» несла на руках Мейрера из Гефсиманского сада в его квартиру. Там его качали и кричали «Ура!». (Провожали во Францию. — *И.Н.*) Все это происходило на глазах адмирала и всего лагеря. Я почувствовала, что побледнела, у меня затряслись колени, во мне все так прямо и перевернулось. Мне было так больно, так обидно!

25 мая 1922. Четверг

Сегодня мы ходили гулять. Пошли по тропинке в долине до Пешери. Красивая местность, а главное, что ново. Там немного погуляли, а затем пришла в голову фантазия — ехать в Бизерту на поезде. К счастью, поезд шел через 20 минут. Поехали. Приятно хоть такое расстояние проехать на поезде. Ехать хорошо, не трясет; странно после поездов 20-го года. В Бизерте Мамочка с Папой-Колей пошли в садик, а я забежала к Нине. Там совершенно неожиданно застала большое общество: двух гардемарин (к счастью, знакомых) 2-ой роты и чету Калиновичей (Калиновичи — тоже «враги» по лекции). Они возвращались с проводов Мейрера (тот уехал во Францию). Скоро уезжает и инспектор. Дай-то Бог!

26 мая 1922. Пятница

День прошел исключительно скучно и противно. Делать нечего. Впереди ничего нет. Настоящее пусто и бесполое. Мысли самые скверные: все опостытело. Чувствую, что вновь опускаюсь. Все, что на мгновение забавляло меня, все прошло. Все злит меня; солнце печет, болит голова; мухи, невозможные мухи, так больно кусаются; все, на кого не посмотришь, у всех читаешь на лице лень, утомление, безразличие. Хандра проклятая, никуда-то от нее не уйдешь!

27 мая 1922. Суббота

«La Dépêche Tunisienne» гласит, что генерал Кутепов арестован за участие в восстании в Болгарии и за тайную мобилизацию без ведома болгарского правительства; Генерал Врангель со штабом высылается за пределы славянских стран.

Когда я написала это, мне уже ничего не показалось странным и обидным. Это — единственный естественный выход. Но все-таки тяжело. Тяжело и грустно видеть такой конец. Обидно за Врангеля, обидно за то, что он не сумел вовремя уйти или погибнуть. Имена Деникина и Колчака окружены светлым ореолом. Они кончили свое дело со славой. Но я не могу осуждать Врангеля, я еще слишком твердо верю в него. Но я чувствую, что пишу совсем не то, совсем не то; мне просто тяжело и больно.

Мамочка Жук читала у нас выдержки из письма от своей матери из Севастополя. Пишет: «Питаются за просто человечинной, вымирают целиком татарские деревни и т.д.» Не верю я этому. Не могу себе представить, чтобы «за просто питались человечинной». Мамочка говорит, что я потому не верю, что не хочу себя волновать

и расстраивать. Но я не верю только потому, что не могу представить себе этого.

Папа-Коля болен. По-видимому, у него лихорадка. Лежит и стонет.

Ходила сегодня в церковь. Хотела найти в себе примирения. Искала примирения с людьми, с тревожными мыслями и чувствами, хотела соединить в душе вместе все чуждые и далекие образы, искала на все прямой и ясный ответ. Я не нашла его. Правда, я плохо молилась. Сегодня пел кадетский хор. Поет он скверно, и я только внимательно вслушивалась в фальшь. Я не нашла ни примирения, ни удовлетворения, ни покоя.

28 мая 1922. Воскресенье

Сейчас вечером долго гуляла с Федей на нижней аллее. Довольно интересный разговор вели мы. Он все мне говорил, что ему скучно; что его жизнь, его счастье разбито и т.д. А я ему все время доказывала, что ничего у него не «разбито» и что все в жизни зависит только от него самого. Он говорил, что скучает о родных, о семейном счастье. На это я ему возразила, что если он жалеет о том, что бросил; другими словами, если раскаивается в том, что пошел в армию, боролся за идею и т.д... А уж если взял на себя добровольно крест, то уже нужно его нести терпеливо и безропотно. Он, правда, сам признался, что человек он слабовольный, быстро унывает и теряет надежду. Он говорил, что если на него смотреть свысока, если его унижат, то он уже перестает быть человеком: он дорожит чужим мнением. Я же убеждала его, что человеку дороже всего чувство своей правоты и удовлетворения самим собой; самый униженный, самый жалкий человек может быть самым гордым и самым счастливым. Но он со мной так и не согласился. Потом как-то заговорили о России, о старых временах; сравнивали ту жизнь с теперешней; и вдруг я с поразительной ясностью представила себе, что возврата к прошлому нет и не может быть, что это было бы ужасно! Я готова проклясть мое прошлое, когда я жила чужим трудом и не понимала и не знала жизни, когда я была весела и беззаботна. Я прощаю себе это только потому, что я была тогда еще ребенком. Но ведь так жили все, да и я теперь жила бы так, — от одной этой мысли мне делается страшно! Я благословляю мою теперешнюю жизнь, когда я, как эмигрантка, унижена; когда я живу в тяжелых условиях, когда приходится заниматься черной работой. Если бы я сейчас опять попала в прежние условия, мне было бы стыдно; стыдно своего привилегированного положения; стыдно, что на меня кто-то бы работал, кто-то бы за меня думал. Все это было раньше так гадко, так низко, так стыдно! И теперь мне хочется никогда в будущем не бро-

сать черной работы, чтобы ни от кого не зависеть и ни над кем не возвышаться. А ведь раньше никому и в голову не приходило, что надо самому себе стирать белье, самому за собой убирать. Это даже казалось чем-то унижительным, это должен был делать кто-то другой. И это были нормальные условия. И теперь, когда говорят о нормальных условиях, то подразумевают именно такую жизнь.

29 мая 1922. Понедельник

День прошел скучно и медленно. Начну по порядку. Встала около девяти, долго возилась с уборкой. Папа-Коля сидел на гамаке и ждал, когда я кончу, чтобы позаниматься со мной, но не дождался и пошел переписывать на машинке какую-то работу. Тогда я пошла на гамак со второй частью Саводника и принялась внимательно читать биографию Аксакова. Тут же я высчитала, что если эту книгу пройти в два месяца, то на каждого писателя придется по неделе; и я долго высчитывала, сколько у каждого (параграфа. — *И.Н.*) листов. Потом меня закачало, и я пошла в библиотеку к Куфтину. Мне до разреза нужны были две тетради: одна для марок, а одна для сочинений: как раз сегодня мне захотелось поскорее написать давно задуманный рассказ «Андрей Зеленаев». Но двух тетрадей мне дедушка не дал. И то ворчал: «Вы, мол, недавно брали!» Я эту тетрадку расшила и сделала из нее две; и осталась очень довольна. После обеда, по обыкновению, принялась за стирку. Под конец стирки Папа-Коля пришел на гамак и стал дожидаться, когда я кончу. А я после стирки пошла мыть посуду и очень обиделась, что он ее не вымыл, и потому умышленно медлила. Он опять не дождался, а пошел играть в шахматы. Ребятишки меня позвали гулять, и я их завела к себе помогать расклеивать марки. Развела клейстер и стала расклеивать. Все они давали мне свои советы, удивляясь, зачем я расклеиваю в таком порядке. Ируся принесла свой альбом. В это время пришел Папа-Коля, постучал по машинке и перед ужином опять пошел играть. Так мы и не занимались. Что было после ужина — не помню. Помню только, что мне все время нездоровилось; и Мамочка боится, что у меня брюшной тиф (в городе опять начинается сильная эпидемия). Так день и прошел.

30 мая 1922. Вторник

Сегодня во весь день интересно прошел только вечер: я сидела и писала рассказ: «Андрей Зеленаев». Я до того увлечена, что готова была писать всю ночь. Сейчас я писала взятие Харькова добровольцами — с этого-то и начинается рассказ. Вспомнила старое, грустно стало.

А интересно писать. Я все больше и больше убеждаюсь, что такие рассказы интереснее писать, чем только воспоминания, как

«Пережитое». Очень уж там боишься увлечься и приврать, в рассказах я тоже, конечно, держусь ближе к истине, но тут удобнее «разворачиваться», можно и прикрасить разнообразными эпизодами, а в основу положить факты. Потом интересно выводить различные типы людей и смотреть на вещи с их точки зрения.

1 июня 1922. Четверг

Я вчера совершила большое беззаконие: не писала дневник. Прощаю это себе исключительно потому, что я забыла, а не поленилась. Целый день писала (рассказ. — *И.Н.*), потому и забыла. А все-таки нехорошо. Хотела было написать сегодня под вчерашним числом, да решила, что плутовать перед собой еще подлее, чем перед другими.

Вечер. Никогда я не думала, что у меня выработается такой угрюмый и нелюдимый характер!

2 июня 1922. Пятница

Сегодня, когда у нас была спевка, вдруг раздался выстрел. Пошли узнавать, в чем дело. Оказывается, что в бараке, где живет команда, некий Попов, не умеющий стрелять, был как раз караульщиком. И, получив винтовку, начал с нею играть как с игрушкой. Она оказалась заряженной, выстрелила и ранила несколько человек. Вечером в Сфаяте только и было разговоров о выстреле. А бедный Попов убежал и сказал, что сам застрелится.

Для меня день прошел удачно: я кончила рассказ. Написала его в четыре дня, правда, писала все время, и все время была в возбужденном состоянии, что не совсем благоприятно отозвалось на других.

Завтра я пойду в Бизерту за Ниной. Хочется только, чтобы Ольга Антоновна «взяла» ее, а я бы довела ее до Сфаята, а то не хочется идти в монастырь. А ведь я, главным образом, к приходу Нины торопилась кончить рассказ!

3 июня 1922. Суббота

Весь день волновалась и все уговаривалась с Ольгой Антоновной насчет Нины. Она ехала на фуре, и мы уговорились с ней встретиться у монастыря. Попросили Юру сходить со мной в Бизерту. В 5 часов пошли. В Бизерте для чего-то еще зашли к м<ада>м Кораблевой, сказала ей, что Нина к ней уже не зайдет; она как-то торопилась, видимо не слушала меня, говорит, что Нина еще не пришла. Я пошла к монастырю, но (Кораблевы. — *И.Н.*) уже выходили оттуда. Нина издала смеялась мне. «Да разве ты не получила письмо?» —

спросила она. «Какое письмо?» — «Да я теперь послала с Жоржем (братом, гардемарин 2-ой роты). Я писала, что не приду». Я сначала не поверила. Она мне что-то говорила, но я не слушала ее. Она на самом деле не пошла ко мне. «Такая масса уроков, — говорила она, — я все время буду волноваться, что не выучу их, уж лучше в другой раз». Я ровно ничего не понимала. Мне было только досадно, что даром примчалась в Бизерту. Какое, в самом деле, свинство! Не мог передать письма. А еще сегодня утром был в Сфаяте. Нина пообещала мне хорошенько выругать Жоржа, и с этим мы расстались. Мы с Юрой полным ходом пошли домой: я торопилась в церковь. Идти было хорошо, не холодно и не жарко. И шли мы не по шоссе, а маленькой тропинкой, которая несколько сокращает дорогу и еще совершенно ровная, подъём только в самом конце. Только мне туфли больно натирали ногу, и я шла с большим трудом, хотя и очень быстро. На последнюю гору под Сфаятом еле поднялась. Только пришла домой, передела туфли, набила рот капустой, которую мне оставили на обед, и, не причесываясь, пошла в церковь. Пришла туда, служба еще не начиналась, и я села на пол. Все-таки, как-никак, устала. Домой летела во весь опор, как в былое время летала в гимназию. У нас долго сидели Федя и Юра. Когда они ушли, я убрала со стола, вымыла посуду, и вот сейчас 1 ч<ас> ночи, а я еще не ложусь. Такая неустойчивость меня радует. Встала я рано (мухи спать не дают), с утра мыла голову, потом еще стирала. И мне делается весело при мысли, что это я все одолела, всюду успела и даже не устала. Такой энергичный, неустойчивый характер я бы и хотела выработать из себя.

4 июня 1922. Воскресенье. Троица

Стояли в церкви. Душно; полумрак, горят свечи. Служба длинная, утомительная. Поем заученные слова, а мысли далеко. «Господи, помилуй», да «Подай, Господи», а слов ектеньи и не слушаешь. У всех утомленные лица. Наблюдаю за Китицыным: он хмурится, перебирает в руках фуражку, переступает с ноги на ногу, порой бросает по сторонам гневные взгляды. Он недоволен и нервничает, в глазах у него написано: «Что они там тянут?» Я хорошо изучила его лицо. Ему хочется уйти, а неловко. Кадеты скучают, смотрят по сторонам, оглядываются, а потом усиленно начинают креститься, служба тянется бесконечно. Вышел батюшка и сказал слово. Лица всех просияли — думают, что конец. Но это еще не все. Начинаются три длинные молитвы с коленопреклонением. Все встали на колени, сначала рады развлечению, но потом устают и начинают двигаться. У нас, в хоре, теснота. Дети устали — Шурёнка совсем села

на пол, Мостик лег животом на ступеньку и засунул голову под подмосток перед алтарем. С другого конца подмостка адмирал украдкой смотрит на нас. Ему скучно. Китицын стоит на коленях прямо, как палка, и держит под мышкой фуражку, порой выпускает глубокие вздохи. Наконец молитва кончилась. Все быстро вскакивают с колен, но скоро начинается вторая молитва, слышатся вздохи. Встали на колени, устроились поудобнее. Китицыну стало скучно, уже невтерпех. Он незаметно срывает с киота тополевый лист, начинает пристально разглядывать его, крутит и разрывает на части. Протягивает руку за другим, вся гирлянда колыхнется, задевает лампаду и загорается. Все поворачивают головы, многие встают с колен. Кит машет фуражкой и дует. Пламя моментально гаснет, и вокруг все лампы тухнут. Адмирал только успел встать с пола, и ему, видимо, немножко досадно, что так скоро все кончилось. Все взволнованы и довольны. К третьей молитве кое-кто уходит. Кит немножко сконфужен и не смотрит по сторонам.

Пришла домой, к обеду фасоль, весь день и целиком весь вечер торчал Федя. Рассказывал какие-то фантастические истории. Завирился. Папа-Коля ушел на вечер 4-ой роты. А теперь только спать. Приятный денек, нечего сказать!

5 июня 1922. Понедельник

Сейчас потухнет лампа, а потому писать не могу. Целый день переписывала рассказ. Читала его.

7 июня 1922. Среда

Вчера мельком читала книгу фон Дрейдера (если не ошибаюсь), что-то вроде «Крестный путь Добровольческой армии». Главный материал — переписка Деникина с Врангелем. Много интересного. Но когда я прочла ее — мне стало совершенно ясно, что все так и должно было быть; стало ясно, что никакой победы быть не могло, когда в ставке была сплошная интрига, борьба за власть и полнейшее разногласие. Кто виноват — трудно решить, но только так нельзя было браться за дело. И теперь, если все не соединятся под одним знаменем, пока все не помирятся и не оставят все свои карьеры, честолюбивые и личные счета, — до тех пор большевики останутся в силе.

8 июня 1922. Четверг

Отчего так пусто и грустно на душе? Почему вдруг в душе умерло все и осталась тупая, апатичная пустота? Нервы расшатались,

нет ничего впереди. Такая тоска может довести до полного отчаяния. И почему-то меня особенно ест мысль, что жизнь я проживу пусто, бесполезно, напрасно. Мне кажется, что лет через десять, когда я перечту мои стихи и рассказы и даже этот глупый, малоинтересный дневник, мне будет до боли жаль прошлого и стыдно настоящего. Сейчас я хоть что-нибудь делаю, но тогда и этого не будет. Не только таланта, но и самых сколько-нибудь недюжинных способностей у меня нет! Уж лучше бы я была совсем глупой. В этом-то и есть мое несчастье, что я самый обыкновенный человек. Приходится признаться, что я, наверно, все-таки честолюбива. Мне бы не хотелось этого, но, должно быть, это так: я знаю, что большого имени я себе составить не смогу.

9 июня 1922. Пятница

Первая половина дня прошла в физическом труде, вторая — в умственной лени.

10 июня 1922. Суббота

День прошел в сильном нервном возбуждении духа. Не знаю почему, весь день плакала. Даже в мастерской Анна Андреевна (Волхонская) говорила с Мамочкой о том, какой у меня скверный вид последние дни; боялась, нет ли у меня какого-то увеличения каких-то желёз; говорила, что у нее тоже начинался туберкулез, но она его остановила. А я в это время была в таком состоянии, когда очень близко от смеха к слезам: не удержалась и чего-то заплакала. Анна Андреевна решила, что я испугалась ее рассказов, и ей было очень неприятно. «Какая вы нервная, какая вы мнительная», — говорила она, всячески стараясь меня успокоить.

Я, кажется, еще ничего не говорила об Анне Андреевне. Это наша соседка, мы живем через стену. Она замужняя. Муж ее офицер, преподает что-то в гардемаринских классах. Она совсем молоденькая, ей двадцать два-три года, не больше; интересная, хорошенечкая блондиночка, светлые, лучистые глаза. Отец ее бельгиец, и во всей ее фигуре видно что-то северное, могучее. Она очень веселая, у них всегда много народу. Говорят, что А<нна> А<ндреевна> не очень умна, но мне она нравится: самая симпатичная из сфаятских дам. Я с ней встречаюсь только на спевках. Веселый, добрый человек, стоит далеко от всяких сплетен и интриг, любит природу (из всего Сфаята только Волхонские и Кнорринги любят гулять), рисует (рисовала, между прочим, знаменитую беженскую икону «Светлая обитель странникам бездомным» — Казанской Божьей Матери над

русскими лагерями и эскадрой; стоит в самой церкви), симпатичный и культурный человек. Что еще надо добавить?

11 июня 1922. Воскресенье

Кстати, меня зовут в команде «Бронепоезд», мне Юра говорил. Конечно, мне на это в высшей степени наплевать, но что-то во мне задето; мне казалось, что обо мне нигде и никогда не говорят; казалось, про меня не могло быть никаких сплетен: меня здесь никто не знает. Ну, да, в общем, все равно. «Нет, не все равно, — говорит во мне какой-то внутренний голос, — вовсе уж не все равно: ты чутко прислушиваешься к тому, что о тебе говорят, каждая насмешка больно язвит твое самолюбие, а каждый намек на похвалу ты готова принять за преклонение». Да, я могу презирать себя, но не всегда.

12 июня 1922. Понедельник

Прежде всего, я решила, что причиной моего нравственного недовольства и раскола в душе то, что я в жизни не была честным человеком. Я совсем недавно поняла, что надо быть честным. Когда я вспоминаю мою прошлую жизнь — я и теперь вижу себя в такой мрачной пропасти, в такой тине обмана, что мне делается страшно. Кажется, что уж нет выхода, нет спасенья; но оказывается, надо было один только сильный толчок, и все переменилось.

Я вспоминаю, как впервые произошел у меня в душе раскол. С детства, как и большинство, я была правдивой девочкой; но врала, хотя и редко, но все-таки врала; но как-то невинно, по-детски. Нужно сказать, что, наверно, я была очень слабовольным ребенком, т.е. силы воли у меня не было, но я легко подчинялась посторонним влияниям. У меня никогда не было своих мнений, своих взглядов, даже своих интересов: я всегда думала так, как думала моя подруга, интересовалась тем, чем она интересуется. (Я помню, такое подражание у меня отразилось на почерке.) Однажды — помню как сейчас — когда мне было 10-11 лет, на Чайковской я, Таня и Леля играли на поляне в «классы». И вдруг Таня с Лелей на меня набросились, что я мошенничаю, что мне надо бросать камешек не в тот класс. Это была ложь, я это помню. Я начала горячо оправдываться, но они меня не слушали. Кончилось тем, что я в слезах ушла домой. Но нет, это не кончилось. С тех пор на меня напало сомнение: можно ли или нельзя врать? Нужно сказать, что Таня по натуре глубоко честный человек, но тут она сплутовала, просто со злости, что мне «везло», или же под влиянием Лели. Быть может, она даже и сказала мне потом об этом — не помню. Но на меня это произвело большое впечатление. Я решила, что обманывать можно,

что это очень даже выгодно, и с тех пор пустилась на самую подлую ложь. Я лгала постоянно, это вошло у меня в привычку. Мне делается жутко при мысли, что я была такой. Странно, как я могла с такой любовью вспоминать о прошлом и так жалеть его! Как не проклинать его? Как не благословлять наш отъезд, все наши мытарства и мученья, которые встряхнули меня и освежили душу?

13 июня 1922. Вторник

В «La Dépêche Tunisienne» есть сообщение из Берлина, что Ленин умер. Правда, много раз говорили об этом; но, с другой стороны, надо же ему все-таки умирать. Хочется верить. И сразу захотелось в Россию, захотелось мучительно, до боли!

Боже, какая тоска о России! Правда, я сама думала, что это фантазия, даже говорила, что это ложь, но временами у меня она пробивается наружу. Все-таки хочется домой! Как подумаешь об этом, на душе станет легче. Появляется цель впереди.

14 июня 1922. Среда

Зуб болит. Это все, что я могу отметить. В этой боли прошел весь день. И рада бы сейчас пописать, да не могу. И не так уж он сильно болит, как просто я нервничаю: вырывать надо. В субботу, когда наши зубодерки будут в Сфаяте, я приступлю. До тех пор не успокоюсь; и не только писать, но и делать ничего не буду!

15 июня 1922. Четверг

Весь день только и думаю о своем зубе. Вот проклятье! Успокоилась только тогда, когда Федя принес мне марки. Теперь их у меня 95. Если он и впредь будет приносить по столько, то так, пожалуй, можно собрать коллекцию. Надо еще попросить марок у Александра Васильевича. А все-таки, пока зуб не вырву — ничего делать не стану. Какое малодушие! Утешаю себя, что это только момент; а страх подсказывает, что этот момент равен часу. Какая гадость! За это я ненавижу себя.

16 июня 1922. Пятница

15 минут первого. Федя с Юрой только что ушли.

Зуб болит, голова болит, спать хочется, а они все сидят. Уж Мамочка уснула, я злюсь, нервничаю, а они все не уходят. Боже, какое ужасное состояние. И все это зуб. Завтра решусь. Боюсь, что выкину какую-нибудь глупость.

17 июня 1922. Суббота

Вот суббота и прошла, а зуб все еще на месте. Смешно, что я целую неделю только и думаю о нем! Надоело! Сегодня весь день нервничала, все ждала зубодерку; а она пришла только поздно вечером. Очевидно, придется завтра. Но весь день поэтому прошел бестолково. Мапочка с Папой-Колей ходили в город, я оставалась одна. Ничего почти не сделала. Занималась алгеброй, читала «Исповедь» М.Горького. Вечером была в церкви, а потом опять Юра с Федей пришли. Сейчас сержусь я на Папу-Колю: он моет посуду и ставит в шкаф, не вытирая, потому что «очень сложно» открыть сундук и взять полотенце.

А кстати, Ленин не умер, а едет в германские санатории лечиться.

19 июня 1922. Понедельник

Вчера я не писала на законном основании: мне вырвали зуб, и я себя очень плохо чувствовала. Она мне впрыснула очень много кокаину, впрыскивала раз 8, зуб тянула в три приема, сломала его, но я только слышала, как что-то хрустнуло. Только я ушла от нее, мне сделалось нехорошо. Разболелась десна, я разнервничалась и плакала. Полоскала опиумом. А от кокаина и от опиума мне страшно хотелось спать. Так и прошел остаток дня. Сегодня щеку раздуло невероятно, болит, скверное самочувствие, все время хочется спать, нервничаю, не нахожу себе места, нет сил. Однако дергать зуб оказалось гораздо дольше, чем я думала. Я думала — один момент и все, а оказывается, вместо этого момента вон сколько неприятностей.

20 июня 1922. Вторник

Чувствую себя нехорошо. Огромный флюс. Сейчас с сердцем было что-то неладное. Неужели все это от кокаина?

21 июня 1922. Среда

Читала сонеты Бальмонта. Что-то непостижимое. Над каждой строчкой нужно думать полчаса. Такая вычурность мысли, вычурность языка — ничего непонятно. Переоригинальничал! Стихом он владеет великолепно, смело. Может быть, даже и выражает настроение, и любовь, и понимание природы, которая коренится в основе его философии, но смысл... Нет уж, Константин Дмитриевич, иной раз и совсем не поймешь. В то время, когда литература, да и жизнь, стремится к реализму и к простоте, он вдруг заго-

ворил на таком страшном языке, который не всякий поймет. За-чем он корчит из себя полубога? Уж не хочет ли он создать вокруг себя такую темноту, в которой люди будут бродить и не узнавать, и не понимать друг друга? Зачем?

22 июня 1922. Четверг

Больно, больно и горько видеть к себе такое отношение. «Грубая, злая», — только и шепчут кругом. Мамочка сказала, что детям со мной не позволяют уже разговаривать. Одно стало ясно мне, что надо глубоко уйти в себя, а еще лучше — подальше держаться от всех этих «кумушек». С одной стороны, конечно, наплевать, а с другой — хочется уехать. Пусть я грубая, пусть я злая, а кто виноват? Пусть даже — я сама, но кому-какое до этого дело? Пусть я эгоистка, но ведь не больше других, не больше, не больше! В чем заключается мой эгоизм? В том, что я ищу себе уединения, только! О грубости говорить не стану, это — внешнее явление. Может быть, иногда я бываю и грубой, но разве я злая? Вся беда моя в том, что я скоро забываю злое, и хочется порвать со всеми, да скоро забываю и махаю рукой! Люди, люди, кумушки сфаятские, не мешайте мне создать мою внутреннюю, душевную жизнь, не разбивайте душу, не простится вам это во веки веков!

23 июня 1922. Пятница

Умер у зубодерки ребенок. Совсем заброшенный ребенок был. Мать его на несколько дней оставляла одного с мужем, тот, как умел, пичкал его всякими суррогатами, ну он и умер. А она «зарабатывала». А я весь день нахожусь под впечатлением мысли, что кончилась жизнь, даже не жизнь, а только зародыш жизни. Но ведь он мог бы жить. Если он не родится снова на земле — то это жестоко! Зачем ему небо, когда он еще не знает земли?

А я возненавидела себя за то, что не умею жить. Что сделано у меня? Заниматься надо, усиленно, настойчиво, а у меня книги пылью покрыты... Что делать, куда деваться? Не умею я заниматься, особенно одна. Так и в будущем ничего не будет.

24 июня 1922. Суббота

3 часа ночи.

Сейчас только вернулись из города. Ходили в кинематограф, смотреть картину: «La Russie rouge»*.

* Красная Россия (см. Комментарии) (фр.).

25 июня 1922. Воскресенье

Около 12-ти.

О вчерашней картине не стоит говорить, неинтересно, т.е. все на самом деле гораздо хуже. Показывали всех главарей — Ленина, Троцкого, Каменева, Коллонтай и многих других. Разбойничьи физиономии; того гляди, пырнут ножом! А сколько презрения во взглядах!

1-я часть — вся красная армия, смотр, парады и т.д. Видим Харьков, Павловскую площадь и вокзал. Приезд Троцкого.

2-я часть — уборка трупов. Но это ложь. На самом деле, Мамочка говорит, картина гораздо ужаснее.

Был молебен о Патриархе Тихоне, об освобождении его. Потом панихида по ген<ералу> Маркову.

О. Спасский читал послание Церковного собора за границей. Отлучены от церкви те «большевистствующие» священники, которые шли против Патриарха. На меня оно произвело тяжелое впечатление: а они нас, наверно, отлучают от церкви; начинается раскол.

Вечером, в б<ывшей> квартире Александровых читался акафист. Теперь каждый вечер по воскресеньям о. Георгий будет устраивать такую службу.

26 июня 1922. Понедельник

Сейчас читала А. Толстого «Хождение по мукам», к сожалению, только продолжение. Я не читала начала. В этом отрывке — начало революции. Какое настроение, какой подъём! Как я жалею, что не родилась на пять лет раньше; и революция меня застала в таком возрасте, когда я не увидела, не почувствовала и не узнала ее! Она и теперь осталась для меня не совсем еще выясненной, и сейчас еще я не понимаю многих вопросов, которые возникали и разрешались у меня на глазах!

Теперь я стараюсь, как можно внимательнее, следить за газетами; глубже и серьезнее вглядываться в окружающую жизнь, настроения, чтобы узнать и понять все те нарастающие события, которые, как тучи, нависают над Европой и вот-вот должны разразиться грозой. Крупные события, великие!

Все настоящее интересно, все старое пришло в ветхость. Скучно мне учить о Карле IV, настоящий, исторический момент интереснее; скучно учить о Тургеневе, когда есть Андреев, Горький, Блок! Как хочется всего нового, сильного, захватывающего! Как обидно, что жизнь проходит в таком вялом бездействии! Может, еще и моя работа понадобится! Когда же настанет момент?

27 июня 1922. Вторник

Получили сегодня два письма. Оба из России! 1-е из Харькова, весь конверт в два ряда обклеен марками. Кнорринг написано через одно «р» — это сразу показалось подозрительным. Подпись незнакомая: Вера Захаржевская. Содержание приблизительно такое: «Простите, что пишу вам, не будучи с вами знакома, но говорят, что в Африке много русских. Может быть, случайно и севастопольские моряки там. У меня сын в Морском корпусе. Если вы знаете, где Корпус, или, если он в Бизерте, умоляю, повидайте его и просите скорее писать мне (Лермонтовская, 36). У меня за границей нет никого знакомых. Умоляю помочь мне. Мой муж расстрелян в Крыму, дочь больна параличом. У меня много горя. Ради Бога, помогите» и т.д. Сын ее — кадет 5-ой роты. Мы долго совещались о том, как сообщить ему, как сказать об отце. Наконец вызвали его в Сфаят и сказали, что получили от знакомых письмо, через которых его мать просит написать ей. Он так обрадовался, бедный. На письме самый точный адрес: Bizerte, Sfaiat. Странно, как в Харькове даже незнакомые люди знают наш адрес и не знают, где Корпус.

Другое письмо из Петрограда, от Владимира Владимировича Каврайского. От него коротенькая открытка. Он сообщает некоторые адреса знакомых. Между прочим, Гливенки. Они в Москве. Иван Иванович — заведующий «Главнаукой». Один наш знакомый в Харькове застрелился. Кой-какие сведения о вещах, но о них и думать не хочется.

Оба эти письма меня взволновали до крайности. Сейчас буду писать Тане.

28 июня 1922. Среда

Сегодня отправила письмо Тане. Мамочка уж очень боится, чтобы я не написала чего лишнего, но читать я ей не дала. Очень трудно писать такие письма — боишься, сорвется какое-нибудь неосторожное слово! Я уже не употребляла слово «лагерь», писала о всякой ерунде. А мне все-таки как-то жаль, что Гливенки переехали в Москву. Если бы они остались в Харькове, возможно, что мы когда-нибудь бы еще увиделись. В Харьков мы все-таки, наверно, еще вернемся когда-нибудь, а с Москвой нас ничего не связывает. Может быть, и не стоило писать ей, ни к чему, но уж страшно хочется расшевелить старые раны.

29 июня 1922. Четверг

Сидела на кровати и писала сочинение: на главу Саводника: «Елена из “Накануне”»; но думала совсем не об Елене. Думала о

том, что вот приехали Наташа с Лялей на три месяца. Говорят они по-французски, да и по предметам кое-что прошли. Правда (утешая себя) я прошла более и основательнее их, но разве я этого ждала? Год пропал. Теперь я наивно все надежды возлагаю на лето, но разве что-нибудь может выйти из этого? Я знаю свой недостаток: не то что я ленива, не то, что нет желания, но я не умею сосредотачиваться, разбрасываюсь по мелочам. Делать все сразу я не могу, не умею, мне нужно остановиться на чем-нибудь одном и погрузиться с головой. Надо, да! Неужели же я не смогу? Тогда я окончательно возненавижу себя! Вот поставлю себе задачу: до сентября пройти, во всяком случае, эту часть Саводника, что у меня.

M^{onsieur} Lafon (наш преподаватель французского) кончил уроки и уезжает к родным на Пиренеи. Сегодня мы, мужская группа и наша сфаятская вместе, снимались с ним. Хорошо так простились. Что-то ему говорили, что-то он говорил, но только навряд ли кто понял.

2 июля 1922. Воскресенье

Два дня я не писала потому, что у меня гостила Нина, и мне не хотелось писать при ней: она все будет просить прочесть. Достаточная ли это причина (чтобы не писать. — И.Н.)? Имею ли я право презирать и ненавидеть себя? Но временами я чувствую, что ненавижу. За что? За то, что я ничего не могу сделать, а время идет. Я чувствую радость только при мысли, что вся жизнь в руках человека, что он делает все, что хочет, он всемогущ.

3 июля 1922. Понедельник

Весь день была занята: до обеда занималась всякой штопкой и чинкой. После обеда был урок истории, потом до самого вечера торчала в швейной мастерской, пришивала пуговицы к арабским жилетам, резала петли и т.д. Потом занималась русским. Говорят, что Домнич скоро вернется, и я усиленно принялась за занятия. Прохожу Толстого и составляю конспект, но за результаты не ручаюсь. Хотя это и в моей воле, но у меня нет умения при всей искренности и желании.

Чувствую, что за последнее время стала особенно желчной и раздражительной. Но это все в душе, глубоко; владеть собой я научилась, хоть и не всегда: иной раз так и вырвется неосторожное резкое слово. Но, в общем, я стала как-то дико ненавидеть все, и себя тоже. При всем моим самолюбии и даже, пожалуй, честолюбии, во мне нет и намека на индивидуальность. Все, что было до сих пор, все мои мысли и чувства, все это одна лишь самоидеализация. Боже, как противно!

4 июля 1922. Вторник

За сегодняшний день не произошло ничего интересного, кроме того, что я словчила (правда, предупредивши) от алгебры, — взяла да ушла в город за покупками. Когда ходишь по всем этим большим магазинам — так прямо глаза разбегаются, и не то чтобы от зависти, просто злит, что ты здесь никакой, самой дрянной вещички купить не можешь! И французы смотрят на русских как на маленьких детей, которых привели в игрушечный магазин: все-то им хочется, все они осматривают, а купить можно только на пятак. Я спросила у приказчика, нет ли у него другой материи в тот же тон, «вот у вас на полке лежит желтое», — говорю. «О, нет, — отвечает он с легкой усмешкой, — это дорогие». Если бы я была одна, я бы непременно потребовала, чтобы он мне показал тот шелк, выругала бы его и, конечно, ничего бы не взяла... Быть может, это и нехорошо. Словно я стыжусь своей бедности, но это совсем не так, просто меня оскорбляет этот насмешливый, снисходительный тон. А может быть, он прав, этот напояженный французиска!

5 июля 1922. Среда

Сегодня почти весь день работала на камбузе: завтра дамы устраивают «чай» окончившим гардемаринам. На камбуз звали всех, но, по обыкновению, никто не пришел: вечером — бал. Все из Сфаята ушли, даже Маруся Завалишина отправилась. Странно, то в монастырь идти собиралась, то на бал. Не выдержала-таки!

6 июля 1922. Четверг

Сегодня был этот «чай». Барышень просили разносить; меня только, слава Богу, как-то забыли. Потом, на улице же, устроили танцы, и до сих пор еще гуляют. Как я рада, что стою в стороне! А как на меня все здесь сердятся за то, что я не хожу на вечера. Все теперь указывают на Марусю, вот, мол, и она вступила на истинный путь. Но Маруся натура страстная, восторженная и увлекающаяся. После мечтаний о монастыре она теперь так же глупо затянется в «великосветскую» жизнь. Но какой раскол будет у нее в душе! От ее чистой духовной красоты не останется и следа. Два основных идеала ее жизни — религиозность и светскость — не могут соединиться. Во всяком случае, я не признаю такого соединения.

А со мной сегодня неприятность случилась: в самый жар, в 2 часа, я играла с Наташей в теннис. Играли недолго, но потом мне было нехорошо. До сих пор болит голова и тошнит.

7 июля 1922. Пятница

Сегодня Елизавета Сергеевна позвала меня идти к морю. Насшло немного, восемь человек: Ел<изавета> Сер<геевна> с детьми, Наташа, Маруся, я и два новых корабельных гардемарина — Данилов и Светозарский. Время провели великолепно, дурачились, играли, ползали по пескам, одним словом, делали все то, что хорошо на пляже. Оба корабеля такие славные, простые, с ними себя чувствовала хорошо. Особенно нравится мне Данилов. Я его знала только по спевкам, а сегодня узнала ближе. Что-то в нем есть хорошее, открытое, приветливое. Мне уже захотелось поближе сойтись с ним, чаще видаться, побольше разговаривать. Но только опять-таки в простой обстановке, а не где-нибудь на балу — не люблю этого блеска, этой официальности и фальши. Разве есть что-нибудь нехорошего в том, что мне сегодня было весело и хорошо? Ведь такое простое, искреннее веселье нисколько не противоречит моим убеждениям.

8 июля 1922. Суббота

Сижу и плачу, сижу и плачу, и плачу. Все, что томило и волновало душу, — все хочет высказаться. И знаю, что надо молчать, да не всегда молчу. Хочется глубоко уйти в себя, уйти от всех. Кругом нет ни одного человека, который мог бы быть мне близок. Где же мне искать такого? Мамочка говорит: «Нельзя всю жизнь заниматься исключительно собой, что ты такое особенное, что все внимание сосредотачиваешь на себе», а на ком же? Где и зачем я должна искать такого «особенного» человека, на котором могла бы остановить все свое внимание? Над собой я могу делать всякие эксперименты, гнуть себя вовсю, за это я никому не отвечаю, но заглядывать в чужую душу я не имею права.

9 июля 1922. Воскресенье

Отчего так грустно, когда кто-нибудь уезжает? Не говорит ли здесь зависть? Завтра в 7 утра уезжают из Корпуса человек двадцать; между прочим, Тихомиров и дьякон. Сегодня после акафиста о. Георгий подарил образ о. Ивану, говорил напутственное слово отъезжающим, сам плакал и у других вызвал слёзы. Грустно, но отчего?

10 июля 1922. Понедельник

Сегодня встали в 6 часов и пошли — мы с Мамочкой, с Насоновыми — компанией в город, провожать Тихомировых. Тяжелая картина этот отъезд. Русских уехало 170 человек. Тихомировы еще едут в хороших условиях, прямо на место, в Белград, а другие прямо на «ура», на какие-то работы во Францию. Денег у них, ко-

нечно, ни сантима. Что ждет их — неизвестно. Иные бодрятся, улыбаются, другие сидят на узлах и не поднимают головы. Громадная толпа на пристани, и все русские. Провожających много, были многие из Сфаята. Погрузились они на катер и отплыли к пароходу, который стоял на рейде. К пристани пароход не подходил во избежание «зайцев»: видно Африка не вмоготу нашему брату, русскому; многие удирают без визы и без паспорта. Когда катер отошел от пристани, один из гардемарин, провожавший товарищей, подошел к адмиралу: «Разрешите кричать ура?» — «Кричите!» (Тут же стоят французы). — «Отъезжающим ура!» — «Ура!», — подхватили в толпе. «Ура!», — кричали на катере. Я не выдержала и потихоньку заревела. И жалко было тех, кто едет, и еще больше — заочно. Когда-то мы уедем, о Господи!

11 июля 1922. Вторник

Нечего писать. Ничего не произошло сегодня. Уж если будет охота, напишу завтра о том, что написал Н.Н.Александров в «Монархическом листке». Мстит.

12 июля 1922. Среда. Петр и Павел

Сегодня ходили к морю, но только втроем. Было хорошо, но скучно.

Встала я рано, воробей разбудил. У нас перед дверью на дереве висит доска, на ней стоит вода и крошки хлеба для воробьев. Они постоянно прилетают туда. Один раз воробыенок упал из гнезда, я его положила туда, попробовала кормить. Теперь он залетает прямо на стол, машет крыльями, раскрывает клюв и пищит. Я его кормлю из рук.

13 июля 1922. Четверг

Весь день занималась почти без перерыва. Занималась русским, историей, французским, алгеброй и английским. Взялась опять одна. Учебник знаменитый, «Скотт и Брей», я по нему еще в Харькове занималась, и это было три года тому назад, все забыла. Теперь понемногу вспоминаю.

Получено письмо от Домнича, приезжает «не позже десятого августа». Мне жутко сделалось. Недаром же я видела во сне, что он приехал и начал меня спрашивать, а я ничего не знаю. А я, правда, ничего не знаю, даже из того, что мной уже пройдено, т.е. проконспектировано. Мне кажется, что я никогда ничего не буду знать. Боже, когда же у меня не будет этого страха? Когда же я отделаюсь от всего этого (нрзб одно слово. — И.Н.) принятого и смогу заняться тем, что меня интересует?

15 июля 1922. Суббота

Вчера забыла писать, нехорошо. Сегодня тоже не хочется: уж первый час, а встала я рано — еще не было семи. Мы с Юрой уговорились в 7 играть в теннис, но он проспал. В это время я занималась английским. В теннис играла около часа, потом до обеда стирала. День был тяжелый. Дул сирокко, воздух как около большой раскалённой печи, нечем дышать. Это мучительно! К тому же этот сирокко скверно влияет на настроение — невольно раскисаешь, злишься, тянет ко сну. В буквальном смысле руки отваливаются. А тут еще мухи... Только и хорошо раннее утро и вечер. Ночи тоже мучительны.

16 июля 1922. Воскресенье

Сегодня целый день писала воспоминания «Пережитое» (а кстати, не нравится мне название, надо будет назвать хотя бы «Записки беженки»). Писала приезд в Туапсе. По обыкновению, увлеклась. Но многое мне теперь непонятно, многое и забыто. Перечитывая дневник, все-таки многого не вспомнишь. И нет у меня умения писать. Между первыми главами и той, что я написала сегодня, резкая разница, как будто разные люди писали; да правда, то и писалось два года назад. Пожалуй, придется все снова переделывать. Только б терпенья хватило. Уж эту-то повесть надо довести до конца, а потом можно и совсем за перо не братьяся.

17 июля 1922. Понедельник

Задумала писать рассказ «Маяки». Ночью, в постели, обдумала, завтра, Бог даст, напишу.

Сегодня после всенощной (завтра Сергей Радонежский) была панихида по царской семье. Был приказ явиться «всем свободным». Из нас никто не пошел. Опять начнется травля на Папу-Колю.

18 июля 1922. Вторник

Полдня ушло на вымётывание петель на брюках. Остальное время занималась русским, французским и английским. По-русски — конспектировала «Бедные люди» по Саводнику, по-французски читала две главы «Comte de Monte-Cristo»*, по-английски — 6-ой параграф. День не пропал, но собой я все-таки не вполне довольна: встала поздно, во-первых; во-вторых, голова болит. При моих планах трудового дня это тоже не годится.

* «Граф Монте-Кристо» (А.Дюма) (фр.).

Петербург V

23 июля 1922 г. — 24 апреля 1923 г.

23 июля 1922. Воскресенье

Еще лежала в кровати, только проснулась, слышу Мамочкин голос: «Знаешь, Коля, Домнич приехал!». Решила, что не стоит и просыпаться. Сразу настроение испортилось. Все не хотелось верить. Днем он был у нас, рассказывал свои путешествия. Он изъездил всю Францию, работал на севере, резал проволоку — остатки войны. Много интересного рассказывал о Париже. Мне еще больше захотелось уехать куда-нибудь, но только больше нового, больше впечатлений! Завидую таким людям: поехал без гроша, вернулся также без капитала, а сколько интересного видел! Если бы я была женщиной, я бы также не сидела в Бизерте. Жить хочется! Ничего сегодня не делала, всякая охота к занятиям пропала. Надо снова искать в жизни развлечения, но в чем? В марках? В английском? В сочинениях? Не в мечтах же, пора отрезвиться! А время надо чем-нибудь заполнить, душу девать некуда. Тело — на стирку, на уборку, мытье, петли; ум — на занятия, а душу — куда?

24 июля 1922. Понедельник

Сегодня был первый урок английского с Александрой Михайловной Завалишиной. Когда она узнала, что я занималась одна, она сама предложила мне проверять меня. Не знаю, что из этого может выйти, но теперь я довольна, еще лишняя работа для меня, т.е. для моего ума.

Вечером Мамочка играла в карты у Завалишиных. Вернулась оттуда страшно взволнованная. «Коля, ты читал! — спрашивает. «Что?» — «Да статью опять в “Монархическом листке”, опять травят тебя и адмирала». Статью еще никто из нас не читал. Интересно. Предполагают, что писал Павлов по письмам Федяевского.

25 июля 1922. Вторник

Ничего хорошего не было сегодня, скорее плохое. Начала было заниматься; решила, что так как я из заданного Домничем урока фактически не сделала ничего, то надо закончить хоть относительно, т.е. доконспектировать эту часть Саводника. Сидела и писала: «Биографию и деятельность И.А.Гончарова». Лень было, скучно; надо правду сказать, эти занятия меня мало интересуют, когда впереди ничего нет. Все-таки решила кончить главу. Тут приходит Ируся и приносит новые марки. Я и отвлеклась. Так и забросила Саводника. А там — петли, штопки, чистка. На это и ушел день. Только поздно вечером писала рассказ «Маяки». Это занимает меня, хотя сам сюжет у меня еще не выяснен. В целый день едва написала полторы страницы. Прямо смешно, что дня не хватает, и день проходит зря. Мне Домнич прямо и не поверит, что я ни одной книги не прочла за эти три месяца, не то что прошла «литературу русскую и западную», как он задал.

26 июля 1922. Среда

День прошел так бестолково, что я совсем не могу вспомнить, что было. Кажется, ничего. Много занималась английским, с утра шила. Должен был быть урок французского, но француз заболел. Вечером почему-то не пошла на спевку, занималась подклейкой и подрисовыванием рваных марок. Тоска такая!

27 июля 1922. Четверг

Поссорилась с Папой-Колей. Началось с пустяков, а кончилось скверно. Дома быть становится прямо невозможным. Завтра с утра пойду работать в типографию. Я уже уговорилась с Куфтиным. Я человек стоящий, и докажу это!

28 июля 1922. Пятница

С утра до самого обеда работала у Куфтина. Работа легкая, складывать листы из литографии для переплета. От завтрака до половины третьего, и перерыв. В это время нужно будет заниматься русским. Остальные занятия вечером. После обеда до самой темноты играла в теннис. Играла со всеми, кто только там ни был. Замечаю, что стала значительно лучше играть. Дома застаю Мамочку с Евгенией Антоновной и Александрой Михайловной. Они сидели в темноте и вели страшные разговоры о политике и царе. «Вы не можете себе представить, до какого наслаждения, до какого экстаза доходит обожание царя! Мне жаль тех, кто этого не

испытал!» Мамочка — все о справедливости. Они обе на нее: «Какая там справедливость, да мужику плевать на вас, ему этого не нужно! Это вот всякие там народные учителя развратили народ!» Еще раньше Александра Михайловна говорила Мамочке: «Как вы, дворянка, знатной фамилии, и не хотите восстановления классовых привилегий! Неужели же это вам непонятно? Теперь Корпус не тот, — сокрушается она, — это теперь несколько человек белой кости! А остальные — сброд!» Один из ухаживателей Милочки ужасается: «Как это у Завалишиных стал бывать Данилов? Какого он происхождения?»

Неужели же в руках таких людей будущее России?

29 июля 1922. Суббота

День провела в библиотеке. Сегодня подклеивала изодранные книги. Это интереснее, чем вымётывать петли. Потом из слов Куфтина я поняла, что он хочет перевести меня в переплетную, а мне только этого и надо. Вообще, это я хорошо придумала: теперь у меня и занятия пойдут успешнее, и на все времени хватит. Я уже давно заметила, что чем меньше времени, тем легче его распределить и тем больше можно успеть сделать.

30 июля 1922. Воскресенье

После ужина мы ходили гулять. С нами был еще Домнич. Ходили почти к самой Бизерте, к итальянцу. У этого итальянца маленький кабачок, столики стоят на открытой террасе, оттуда прекрасный вид на море, на скалы под El-El, на Saint-Jean. По праздникам там бывает много французов. Они приезжают туда всем семейством, кутят за гроши, грызут семечки, и это для них удовольствие на целую неделю. Вот сантимники! Даже жалко второго извозчика взять, на одном одиннадцать человек утрамбовывались! Противная черта! Разговорились с одним французским матросом. Оказывается, в 18-ом году он был в России, знает даже несколько слов по-русски. «А будет во Франции большевизм?» — спросили мы. «О, non!» А нас спрашивал, не собираемся ли мы возвращаться.

31 июля 1922. Понедельник

Спать хочется. Только совсем недавно вернулись из города. Папа-Коля получил из «Последних Новостей» 47 франков, и мы решили все их потратить. Только как-то бестолково. Но, однако, я устала: с 2-х часов до 10-ти все время ходить по песку, это что-нибудь да значит.

1 августа 1922. Вторник

Сегодня тоже нечего писать. День — в библиотеке, вечер — дома. Я собой довольна только потому, что не теряла времени. В промежутки на обед я стирала, поздно вечером занималась английским. Домнич опять предложил заниматься, должно быть, скоро начнем. Я рада только потому, что еще больше времени будет занято, да и надо же наконец кончить! Господи, что-то я смогу из себя сделать!!

2 августа 1922. Среда

После обеда Мамочка с Папой-Колей ходили на море. Я осталась, во-первых, потому, что было неудобно бросать работу в библиотеке, хотя работы почти никакой не было; во-вторых, потому, что я не люблю ходить на море, да и жара. В три был французский. Наш новый француз не то, что Lafon: толстый, с брюшком, с большими черными усами, говорит медленно, отчеканивая каждое слово, производит впечатление не интеллигентного. Уроки его — тощища. Сегодня в начале урока было шестеро: Сережа Берг, Ляля Насонова, Наташа Кольнер, Вера Остолопова, да М.С.Коваленко. Потом явился инспектор классов Насонов и еще трое. Сначала читали какие-то «Mariage de souris»*, потом Lafon объяснял имена прилагательные. Одним словом, все зевали.

В библиотеке мичман Парфенов передал мне письмо для Папы-Коли (марки — чешские), оно меня интересовало весь день. Оказывается, писал бывший гардемарин 1-ой роты (Петров или Попов), ругал Папу-Колю за его статьи и т.д. Папа-Коля, хоть и смеется над ним, говорит, что глупо, неосновательно, хвастливо, наивно; однако видно, что оно ему неприятно.

3 августа 1922. Четверг

Сегодняшний вечер доказал мне, что мне сейчас всего нужнее веселая компания, игры, шум, галдёж. После ужина на меня вдруг нашло именно такое настроение: захотелось подурачиться, озорничать. Позвала Веру, Наташу и Лялю. Стали думать, кого бы еще сюда позвать. Звали Данилова, да у него были гости. Тогда я пошла в командный барак, позвала Юру, сказала, чтобы тащил других. Пришли еще Волков, Луцек и Ландгаммер. Мы бегали на маленькой площадке почти до 12 часов. Столько смеха, столько шума! Всем было весело! Так приятно иногда впадать в детство! После

* «Мышиная свадьба» (фр.).

серьезных занятий, после тревожных мыслей, так хороши наши бессмертные русские горелки.

4 августа 1922. Пятница

Мне весь день грустно, тяжело до нетерпимости. Чувствую, что у меня со всеми людьми, со всем окружающим миром установлены непримиримые, туго натянутые отношения. Вряд ли они изменятся. Я всегда была и буду одинокой. Пусть я ничто, нуль, пусть стою на низком уровне людей; но я все-таки человек и, как человек, умею понимать, чувствовать и переживать по-своему. Я ведь ищу примирения с жизнью и нигде не нахожу его. Я ненавижу жизнь за то, что она открыла мне, кто я; за то, что она показала мне, что я везде бываю лишней и ненужной. Мне некуда себя девать. За что бы я ни взялась, я вижу, что там меня не нужно. Я иногда умышленно навязываю себя потому, что не могу оставаться в стороне. Я одинока. У меня не только нет друга, друга-человека, нет даже друга-мысли, ничто не может успокоить пустой, ничем не занятый ум. У меня нет друзей, но нет и врагов: меня никто не замечает. Но у меня есть страшный враг — сама. Я везде и во всем ищу примирения, и не нахожу. Словно какое-то пустое пространство окружает меня...

Мне нечего делать. Трудно читать приговор самой себе. Но что осталось делать нулю, возмнившему себя хоть маленькой единицей!? Пора позабыть о себе.

5 августа 1922. Суббота. 12½ ночи

Сейчас Мамочка читала вслух Ветлугина «Третья Россия». Такой тоской веет! Какая страшная трагедия эмиграции!

6 августа 1922. Воскресение

Ходили к морю. Мне опять захотелось попробовать купаться, и на этот раз ничего не было (обморока не было. — *И.Н.*). Теперь-то и для меня море приобрело свою прелесть! Только пришли (это было 9½), меня позвали сейчас же на игры. Даже не причесываясь, через минуту я уже бегала в горелки. С этой недели у меня опять начинаются занятия. Надо будет завтра отказаться от библиотеки: и эта жизнь не по мне. Побольше свободы, свободы и независимости!

7 августа 1922. Понедельник

Два слова с дедушкой Куфтиным, и я опять свободна. Этот шаг только указал мне, что я не способна к правильной, систематической жизни. Как бы разумны и хороши ни были эти правила, как

бы живительно они ни влияли, я не могу подчиниться им: меня всегда будет тянуть к беспорядку, к независимости, к желанию, чтобы один день не походил на другой. В этом, быть может, и есть мой коренной недостаток.

8 августа 1922. Вторник

Невыносимо жаркий день, сирокко. Пыль и ветер. Трудно дышать. У всех тяжелое, подавленное настроение, небо серое, страшное, луна — сама не своя. Ночь — пытка, день — кочегарка. Эту ночь буду спать в гамаке Калиновичей. Завтра, по расчету какого-то французского предсказателя, должно быть землетрясение, от которого погибнет весь север Африки.

9 августа 1922. Среда

Сирокко. Невыносимо. Все раскисли. Мамочке совсем плохо, все время с компрессом на голове. Я — почти ничего. Утром была обедня: сегодня — память первой морской победы при Петре Великом, был молебен и парад. Молебен должен был быть на площади перед Кебиром, но под таким солнцем это было слишком рискованно, и он был в церкви. Удивляюсь, как еще был парад!

Мне страшно хотелось пойти на море, да никто не шел. Даже самые ярые поклонники этих прогулок и те не пошли. Наконец в четвертом часу я нашла такого безумца — Александра Митрофановича Игнатова. С ним мы и пошли, а нас называли сумасшедшими. Туда идти было тяжело, очень тяжело, но зато там — какое блаженство.

Сегодня на ночь вынесла свой топчан на «дачку». В комнате — ад. Весь Сфаят выползает на воздух.

10 августа 1922. Четверг

Получила от Тани письмо. Стоит ли писать дальше. Да еще какое письмо!

11 августа 1922. Пятница

Какое-то странное у меня настроение: то весело, то безнадежно грустно. Написала Тане письмо. Милая, когда же мы увидимся? Да будет ли это?

Сегодня был первый урок русского. Начали с первой части.

Уже несколько дней, как кебирский камбуз переехал в Сфаят. Рабочих осталось только два: Юра и Попов. Еще дежурят дамы и наряд кадет. Эти дни с трудом добываем воду, вчера утром даже не было кофе.

У Глафиры Яковлевны Герасимовой рак. Жить осталась ей не больше двух месяцев.

12 августа 1922. Суббота

Писать не в состоянии: уже около часу ночи. Сейчас Папа-Коля переписывает мои стихотворения. Я ему диктовала.

13 августа 1922. Воскресенье

За обедом играл оркестр музыки. Играл то веселые марши, то тягучие вальсы, а на душе все грустно, грустно и пусто. В бане, где теперь столовая офицеров, были проводы Китицына. Я мельком видела его, но сделала вид, что не видела. Он, как всегда, такой спокойный и красивый. Он красив, несмотря на многие недостатки; он также красив и духовно, несмотря на многие темные стороны, напр<имер>, на необычайную жестокость. Но жестокость такого человека — это не порок. Он единственный, который нравится мне, единственный заинтересовал меня. И я наблюдала за ним, изучала его, и хотя я с ним не сказала ни одного слова, я хорошо знаю его; в нем есть черты, которые делают идеал. Быть может, если бы я увидела еще самые глубокие, интимные стороны, я бы сказала: вот он, которого я ищу. Мне нравится в нем его энергия, сила воли, решительность, требовательность, отчасти — резкость; с другой стороны, трогательная заботливость о близких ему людях, веселость, прямота. Он всегда высоко стоял в моих глазах, даже тогда, когда все отошли от него. Он принадлежит к такой же серии людей, что и Колчак. И к тому, и к другому у меня были совершенно одинаковые отношения, которые я по глупости называла любовью (какая тут любовь!), но только М.А.Китицын мне ближе, его я больше и ближе знаю, и потому только яснее очертила образ того, кого я ищу. А я уже слышала заунывный гудок парохода, который увезет самого интересного и самого дорогого для меня человека, который всегда был мне чужим и далеким.

17 августа 1922. Четверг

Несколько дней на «Георгии Победоносце». В понедельник поехала к Нине. Встретили меня там очень радушно. Целые дни я валялась на городском пляже, купалась, а на «Георгий» приходила только есть и спать. Но эти три дня были для меня мучительны. Много было тяжелого в мыслях; может быть, и по глупым причинам; может быть, и волнуясь-то я по пустякам, но это все-таки волнение. Я приехала на «Георгий» накануне того дня, когда уезжал

транспорт во Францию, уезжало очень много русских, с эскадры и из Корпуса, даже из Туниса. На «Георгии» все было вверх дном, везде лежали связанные вещи, все были в ажиотации, ходили прощаться, волновались. Во вторник утром была тяжелая картина прощания и расставания. Многие пошли на корабль, большинство провожали Кितिцына. Я и не подозревала, что у него на «Георгии» столько поклонниц! На корабль я не пошла, но меня все время грызла тоска, а все это волнение и постоянные разговоры о нем только разжигали ее. Когда транспорт проходил мимо «Георгия», я стояла у борта и во все глаза глядела, старалась разглядеть его, мне казалось, что я его узнаю из тысячи, но, очевидно, там было больше тысячи, и я его не узнала. Да и что мне? Не «влюблена» же я, в самом деле! Мне только грустно, что для меня он будто уже умер. И в этой бестолковой тоске мне только хотелось скорее вернуться домой; работать, работать не отдыхая, чтобы ни о чем больше не думать. Надо куда-нибудь отдать себя, чем-нибудь заняться. Блаженное ничегонеделание утомило меня хуже всякой работы. А тут еще отъезд Кितिцына, да и я сама сильно настраивала себя; и когда мы потом пошли с Ниной купаться, я наглоталась, наверно, немало слез вперемешку с водой. В этот день у французов было Успение, большой праздник. Было какое-то шествие, вроде крестного хода, и я потащила Нину в толпу. Впереди шли мальчики и девочки в белых платьицах с маленькими хоругвями в руках с изображением святых; дальше — толпа «красных мальчиков», прислуживающих в костеле. Наконец, несли что-то вроде стола с небольшой статуей Мадонны. Шествие остановилось на пальмовой аллее около деревянного помоста. Какой-то тип стал украшать Мадонну лентами. Маленькая девочка встала на помосте и что-то долго читала по бумажке. Потом тот же тип поднял ее на руки и поднес к Мадонне, и она надела ей маленькую корону. Кругом галдели арабы. Многие французы даже не сняли шапок; один даже закурил папиросу от одной из свечек, окружавших статую. Претор что-то гнусавил себе под нос, детские голоски пропищали «Амен», и шествие отправилось в костел. Но, по-видимому, праздник заключился совсем не этим. Все торжество было на пляже. Обыкновенно публика собирается часов с 4-5, сидит до темноты, купается, но больше занимается (нрзб одно слово. — *И.Н.*). Я долго наблюдала их. Но в этот день они засиделись за полночь, развесили около своих кабинок цветные фонарики, пили вино; и пили, очевидно, очень много, потому что потом начали громко кричать, скакать, кататься по песку и кувыряться. Потом были фейерверки, и довольно красивые, хотя шуму и треску было больше, чем огней.

На пляже я познакомилась с Кирой Тыртовой, той самой Кирой, которая поступила в монастырь на мое место. Мне говорили про нее, что она истеричка, ненормальная, что у нее бывают припадки, что сама она неловкая, неуклюжая и на редкость смешная. Я увидела худенькую, изящную, очень хорошенькую девочку. Хотя ей и 15 лет, но ей никак нельзя дать больше 13-ти. Возможно, что она и истеричка, что у нее бывают припадки, она даже сама об этом говорила, но ничего смешного и неловкого в ней нет. Милая и очень славная девочка! Вчерашний день прошел опять в скучной лени на пляже. Только под вечер немного отвела душу с Кирой. А вечером мы с Ниной сидели в адмиральской кают-компании: там пел Пайдасси, у него прекрасный голос, я никогда не слышала его и готова была слушать его хоть целую ночь.

Сегодняшний день принес новые волнения: на «Георгии» разнеслась весть, что адмирал Николья получил от Кедрова письмо, где тот говорит, что все дети и юноши школьного возраста будут приняты бесплатно на полный пансион в Париж или куда-то в Бельгию в русские гимназии. Первая, еще вчера, мне что-то говорила об этом Кира. Сегодня мне сказала это Леля Левицкая, потом м^адам Зеленая говорила при мне то же Кораблевой и, наконец, при мне же это говорил Ворожейкину Тихменев. Вот бы правда! Разве тут может быть какое-нибудь колебание! И хорошо, и жутко!

А здесь уже начинают ругать Китицына, и пускай ругают: «Слава Богу, что он уехал отсюда, солдафон проклятый!» А все-таки, что бы он ни сделал плохого, он мне все-таки нравится — и все-таки в нем есть что-то, чего ни в ком здесь нет!

18 августа 1922. Пятница

Сегодня о. Георгий сказал нам, что Врангель потребовал себе дело о той злосчастной лекции Папы-Коли. Буря еще не утихла, напротив, сейчас ведется гнусная интрига против адмирала. А те статьи об этой истории, которые печатались в «Монархическом листке», как оказалось, писал Федяевский. Теперь ему пришлось уйти в отставку, и он уехал во Францию. Затеваается что-то темное. Нечего делать «храброму воинству», вот и делают из мухи слона; умирать только и остается всем этим жалким людям, «христолюбивому воинству нашему», а умирать-то им хочется со славою, да они и заслужили ее, вот они и бряцают оружием, и говорят громкие речи, и жуют паёк. Я много раз развенчивала Врангеля, а все никак не могу развенчать до конца. Скверная у меня черта: если уж возведу человека на пьедестал, так свести силы нет. Пусть я все больше и больше убеждаюсь, какая пустота и ветошь наше «храброе воинство» —

эмиграция, но не надо развенчивать ее: эти люди хотят умирать, но умирать, как умирают герои, и они заслужили это.

19 августа 1922. Суббота

Сегодня получила письмо из Харькова от Самарина. Папа-Коля писал Дунаевскому, и от него он узнал о нас. Очень много интересного пишет Михаил Павлович, охватывает все стороны жизни. Жить им, по-видимому, нелегко; заняты оба, но живут культурной жизнью, бывают в театрах, в концертах, занимаются литературой; одним словом, так или иначе, «приспособились». Сообщает кое-что о наших знакомых; о Гливенках пишут, что Валерок и Нина состоят членами коммунистической партии. Это было мне особенно больно. Как все переменялось!

20 августа 1922. Воскресенье

Посылаю некоторые из моих стихотворений Михаилу Павловичу: он хороший критик и может дать мне много нужных советов.

21 августа 1922. Понедельник

Решила взяться за ум, т.е. пошла в библиотеку, пересмотрела каталоги и выписала те книги, которые или понаслышке, или по имени автора меня заинтересовали. Решила, что «пора», надо много читать и много заниматься, вообще, много делать. Не знаю, надолго ли хватит моего терпенья. А следует.

22 августа 1922. Вторник

Как тяжело и трудно всегда быть одной. Не знаю, куда девать душу, в чем спасение или отдых от жизни. Можно тянуть трудную лямку жизни, можно много страдать, но в чем-нибудь должен быть отдых, что-нибудь должно быть интересное в жизни. На чем-нибудь надо успокоить свои мысли, утешиться. У меня нет ничего интересного. Я мечусь из стороны в сторону и все не могу найти себе друга-утешителя. Раньше, во все трудные минуты жизни, я любила замкнуться в себя. В себе я находила то, что не могла найти в жизни. Я была счастлива наедине с собой, я чувствовала свое единство, и потому силу и стойкость. Но когда я ближе разглядела себя и увидела свое «я» во всей ужасной правде (а правда всегда ужасна!), я стала сама себе противна. Теперь мне уже стало скучно с самой собой, словно с чужим человеком. Я искала покоя и примирения в религии, но и там не нашла его: первый экстаз прошел и больше не вернулся. Я искала его в физической и умственной работе, но и там не нашла его; я искала его в играх, в веселье, сперва меня это забавляло,

пока не надоело. Я искала его в другом человеке, искала идеал, казалось — вот-вот нашла его, с одной стороны — идеал, с другой — мерзавец, уже натыкалась на такие камни. Неугомонная, беспкойная душа, я всюду искала это «интересное», которое бы могло увлечь меня, но оно все-таки осталось где-то далеко. Я сознаю, что ничего в жизни не захватит меня, и я боюсь этого; меня ничто в жизни не может заинтересовать, не то от «великого ума», не то от великой глупости. Я сознаю все свое ничтожество, и это мне больно. Я часто плачу от злости, от зависти и от отчаяния. Лучше было бы совсем не жить, чем жить так. Я себя ненавижу, ненавижу! А как можно жить, когда самого себя презираешь так глубоко. Во мне нет ничего святого. Мне дорога только свобода. Свобода мысли, свобода ненависти, — кто может отнять ее у меня? Это все, что у меня осталось. Только в этом и может быть мое утешение.

23 августа 1922. Среда

Весь день почему-то сильно болит голова и ужасный насморк, несмотря на то что день был знойный. Утром Наташа со Станкевичем вытянули меня идти за рожками. Я сначала не хотела, напоминала прошлогоднюю историю с Карягиным, да и как-то неловко было, но все-таки пошла. Арабы видели и, по-видимому, им было все рано, кто срывает эти рожки.

Заниматься днем не могла, было какое-то тяжелое нервное состояние, болела голова; ночью искусаи москиты, и опять стали нарывы. Вечером долго раскладывала пасьянс.

24 августа 1922. Четверг

За сегодняшний день не произошло, кажется, ничего интересного, за исключением разве того, что немножко повздорила с Мамочкой, потом ничего, прошло. Так и всегда, изо дня в день, из года в год.

Еще было интересное сегодня, что французы завтра закрывают воду, чуть ли не на целую неделю, а кто говорит, и больше. Пришлось запасть воду. Погода резко переменялась, На днях было сирокко, а сейчас холодно. Когда я встала в очередь за водой, то здорово замерзла и теперь даже немножко кашляю.

Хочется писать много, много, да нечего.

25 августа 1922. Пятница

День не пропал. Много занималась, и урок русского прошел хорошо. На днях о. Георгий попросил у меня стихи. Я ему дала, хотя и далеко не с охотой. Сегодня говорит мне: «Читаю ваши стихи с

удовольствием...», а мне неприятно, что теперь у меня отобрано последнее, что было мое, только мое и только для меня. А что-нибудь такое непременно должно быть у человека.

27 августа 1922. Воскресенье

Вчера не писала, потому что была завязана рука: меня покусали москиты и сделались нарывы, потому пришлось все завязать!

Я чувствую какую-то странную пустоту. Мне много дела, но вместе с тем и нечего делать. Мне надо прочесть кое-что из произведений Жуковского, кончить конспект, выучить английский урок и, главное, и самое противное, надо писать сочинение на тему: «Есть ли у Чехова идеалы?» И ничего-то из этого не хочется делать, а что хочется — и сама не знаю.

28 августа 1922. Понедельник

Сегодня нечего писать. Как-то грустно прошел день. С самого утра впала в какое-то нервно-подавленное состояние, когда хочется плакать и нет причины, когда каждый пустяк действует глубоко и больно. Так было в церкви, потом дома — длинное ничегонеделание, вечером на акафисте и, наконец, за чаем, когда я обиделась, когда Юра сказал, что купит мне готовый дневник, где мне останется только подставлять числа, а Мамочка сказала, что будет очень рада, так как я по вечерам долго пишу дневник и мешаю спать. Все это было, конечно, в шутку, но как-то нехорошо. Обижаться было не на что, и я тихонько вышла на «дачку», села на chaise longue* и долго плакала. О чем — не знаю. Но только в таком состоянии я не могу ни заниматься, ни писать, ни работать как следует.

29 августа 1922. Вторник

Ходили на море. Устала-таки.

30 августа 1922. Среда

Если когда и появится светлое настроение, то оно моментально сменяется тупым, безрассудным отчаянием.

«Как все глупо, как все мелко, и везде-то я бываю ненужной, и нет выхода. Все надоело, опротивело. Так больше нельзя». Так я думаю сейчас.

«Как все хорошо, как жизнь интересна! Как много в прошлом, и сколько впереди! Как много в жизни хорошего и без того, что

* Шезлонг (фр.).

люди называют счастьем. Только уметь надо, уметь и понять». Так думала я полчаса назад, на спевке.

31 августа 1922. Четверг

С утра начала было заниматься, да Наташа соблазнила играть в теннис. А уж если я начала это дело, так мне мало час или два. Играла весь день, не останавливаясь. Начала стирку, но не выдержала и пошла на площадку. Так белье и осталось в тазу. А завтра английский и русский, уроков много. Не успею!

1 сентября 1922. Пятница

Ничего не сказал мне сегодняшний день, ничего. А между тем все сильнее и сильнее встает вопрос: куда девать себя? Душу куда девать? Где та деятельность, где я могу быть нужна?

Мне надоело думать все о себе, все о себе, хоть бы кто-нибудь внес свежую струю ко мне в душу. Ничего, кроме старых, безобразных болячек.

2 сентября 1922. Суббота

Как будто кому завидно, что я пишу дневник: только и видишь ворчню и недовольство!

3 сентября 1922. Воскресенье

Наши дамы решили каждое воскресенье устраивать «чашку чая» для кадет; специально для тех, кому некуда ходить в отпуск. Сегодня была приглашена 6-я рота, около 20 человек. «Чай» готовила комиссия из 3-х дам (Мамочка, А<лександр> М<ихайловна> Завалишина, Инна Федоровна Калинович). Напекли они сладких пирогов, накупили винограда, убрали мастерскую, накрыли столы и в 4 часа пришли кадеты. Были приглашены также и все барышни. Сначала все как-то дичились, но поневоле разговорились, и «чай» прошел очень оживленно. После чая пошли в Гефсиманский сад, играли, бегали, дурили. Уговорились после ужина устроить игры на теннисной площадке. Тут было еще веселее.

4 сентября 1922. Понедельник

Сегодня кадеты рассказывали Папе-Коле на уроке, что вчера «здорово весело было». Несколько человек из них остались в Сфаяте после ужина, и мы играли в Гефсиманском саду. Пришла домой, увидела Мамочку, ее усталое, недовольное лицо, и сразу так грустно, грустно сделалось, села и горько заплакала. Тут смешалось все.

5 сентября 1922. Вторник

Сегодня я счастлива; во-первых, потому, что наконец кончила и подала Домничу сочинение; во-вторых, взяла новый том Чехова; в-третьих, я свободна настолько, насколько мне этого надо, и могу делать, что хочу; в-четвертых, я читала весь вечер и могу читать много, много, всю библиотеку; в-пятых, моя мысль неограниченна, и я могу думать, думать без конца! Как мало надо для короткого счастья! И странно, что я чувствую его именно тогда, когда в нашей кабинке бывало тяжелое, подавленное настроение. У нас нет ни одного сантима, у Мамочки нет работы, Папа-Коля получает в месяц 34 фр<анка>, и у нас уже долгу в кооперативе около 25 фр<анков>. Но будто бы нельзя поэкономничать, подождать, ничего не покупать до первого? Я счастлива, что смогу сделать это. Я человек нетребовательный.

6 сентября 1922. Среда

Мне хотелось немножко отдохнуть после вчерашнего сочинения, которое мучило меня еще с марта. Сегодняшний день я решила посвятить исключительно себе. И что же? С утра стирала, мыла голову, потом английский, читала Чехова, а вечером, когда кончила книгу, пришлось приняться за «Горе от ума». Скучная история! В конце концов, выходит, что для себя ровно ничего не нужно.

7 сентября 1922. Четверг

Мне бы хотелось долго посидеть над дневником, да времени нет. Хотелось бы написать все, без утайки, что меня мучает и что радует.

8 сентября 1922. Пятница

День прошел очень бестолково: много занималась, но мало чего выучила, а все петли, петли...

Не могу писать, когда Мамочка что-то ворчит спросонья!

9 сентября 1922. Суббота

Что было сегодня? С самого утра выметывала петли на брюках. Был урок английского. После обеда опять петли до 5-ти часов. Разболелась голова, до сих пор болит. Перед ужином ходила с Мамочкой гулять по дороге в старый форт. Шел маленький дождик, и воздух стал такой чистый и ароматный. Вечером опять шел дождик, дышится легко.

Получили письмо из Петрограда от одного харьковского знакомого, педагога Владимира Владимировича Каврайского.

Опять заговорили о том, что Корпус существует только до января.

Вот, кажется, и все, что было сколько-нибудь замечательного за весь день. Опять становится грустно, да и опять надо писать сочинение «Чацкий как общественный тип».

10 сентября 1922. Воскресенье

Сегодня «угощали» треть 5-ой роты на огороде. Было весело, как прошлый раз. Вечером до 10-ти играли на теннисной площадке, как и в прошлый раз. Во время игры в жгуты сильно поколотили корабела Агапова, который за это обещал дать всем кадетам вне очереди наряд. Хорошие отношения у них с таким «начальством», но только не на официальной почве!

11 сентября 1922. Понедельник

Я ничего не буду писать сегодня, пусть это и мерзко, все равно не буду. Сейчас спать хочется, завтра — писать несчастное сочинение. Много интересного!

12 сентября 1922. Вторник

Вчера читала «Вишневый сад» Чехова и в первый раз за долгое, долгое время в душе мелькнуло что-то светлое, новое, хорошее. Жаль, что не удалось сохранить такое настроение. Хочется как-нибудь на днях, хоть завтра, подольше посидеть за дневником, хочется коснуться глубоких и интимных сторон, вспомнить кое-что из старого, проверить себя, посмотреть, как далеко все ушло, будет ли снова и что появилось взамен!

13 сентября 1922. Среда

Ничего не сказал мне сегодняшней день, ничего. Как и все.

14 сентября 1922. Четверг

Что-то нездоровится, все голова болит. Может быть, все это от брюк, от петель: я сегодня выметала петли на 6-ти черных брюках, на каждых по 8-ми, значит $6 \times 8 = 48$, столько же пришила и пуговиц! А вот и хорошее: Федор Федорович Соколов (регент наш) должен мне сегодня восемь латвийских марок. Только вот, чем отдавать-то буду? Ни одного дубликата! А долгу уже десять марок набралось. Вся надежда на Александра Васильевича, — я его просила присылать — он раз прислал, а больше не писал ни разу. Каждый день я с нетерпением жду почты, видеть не могу адъютанта,

когда он разносит письма. Признаться, меня даже не столько интересует письмо, сколько марки. Я их видеть равнодушно не могу, во сне ими брежу. И особенно плохого в этом нет ничего. Чем-нибудь же надо заняться!

15 сентября 1922. Пятница

Сегодняшний день был мало продуктивен. С утра занималась ерундой: зашила сандалии, добыла в библиотеке вне очереди Пушкина, просматривала его. Так до обеда. После обеда (вернее — завтрака) мыла посуду, так как сегодня мое дежурство (мы с Папой-Колей по очереди), потом стирала и только тогда начала заниматься. Проходила биографию Пушкина. Часа в три не вытерпела, пошла играть в теннис, играла не больше часу и опять за книгу. После обеда сейчас же урок. После урока меня позвали на площадку играть: сегодня в Сфаяте ночует вся 6-я рота, так как у них делается «дезинфекция», т.е. просто выводят клопов. Не успели мы начать игру в горелки, как меня позвали на спевку; вернулась около одиннадцати, залпом выпила четыре чашки холодного чая с молоком. Сейчас ровно 12. Все уже спят. В бараке тишина. Воет ветер, скоро начнется осень; опять дождь, грязь, неистовые африканские грозы, бури. Подумать страшно. Впереди — ничего. Все говорят: «до первого января», а там — потёмки. Завтра надо будет раньше встать, выметать петли на 3-х парах брюк, постирать, вымыть голову, приготовить английский (перед обедом урок будет), еще, наверно, позовут на камбуз какое-нибудь печенье делать для воскресного «чая». Хотелось бы еще поиграть в теннис, да ракетки нет. Куда все девались — непонятно; м^адам Брискорн дает только гардемаринам (это казённые-то!), а Криволая никогда нет дома.

Пора уже ложиться, а то завтра не встану к кофе. А спать мне не хочется.

16 сентября 1922. Суббота

Сегодня было дела выше головы. Конечно, мало успела сделать из того, что собиралась, но зато много играла в теннис. Вечером собиралась пописать, позаниматься, да Наташа пришла звать на игры. Не хотелось идти мне, страшно не хотелось. Пришли кадеты, стала отказываться — неудобно, просят. Кудашев прямо стал около двери и стоит, не уходит без меня. Пришлось пойти. Во время игр сбежала домой, но Кудашев опять пришел и вытащил. А мне было скучно и совсем не хотелось играть. И на завтрашний «чай» мне не хотелось идти. Это хорошо изредка, а уж если каждое воскресенье отдавать на то, чтобы быть куклой, развлекать разговорами и весь день болтать, как заводная машина! С мальчишками приятно про-

вести время, когда у самой хорошее настроение, хочется подураться, посмеяться. Но это скоро надоедает. Хочется чего-нибудь более серьезного. Не то чтобы я считала себя выше других, а просто люди мы разные, и если и есть человек, с которым бы я могла сойтись, так где его искать? Но с кадетами мне скучно, меня опять потянуло к самой себе, к своим занятиям, к писанию, быть может — к идеалам. Раньше я жаловалась на одиночество, теперь — на слишком большое общество, от которого нет спасения. Я готова иной раз отдать свое время и саму себя другим, даже когда и совсем этого не хочется, но каждое воскресенье — это уже слишком. Пусть я эгоистка, но я это не скрываю. Я хочу принадлежать себе, хочу найти поглощающее дело, какой-нибудь интерес в жизни. У меня ни в чем нет отдыха. Мне не на что отдать себя. Я уже почти решила, что буду жить для науки. Смешно, правда. Не чувствую к ней никакого призвания, но все-таки я охотнее буду сидеть над книгами, чем играть в фанты. Я нарочно стараюсь приохотить себя к науке — много занимаюсь, буду — еще больше. Бог даст — полюблю ее, увлекусь. Ведь больше нечего делать. Милая Таня, как хочется поговорить с ней.

17 сентября 1922. Воскресенье

Опять был «чай». На этот раз все были великовозрастные, и до ужина время прошло скучнее, чем в те разы. Вечером, правда, много смеялись, но как только я пришла домой, мне сразу сделалось скучно, и весь день показался мне пропащим. Дни бегут, а сделано мало. Очень мало. Надо приналечь на занятия. В этом году надо, во что бы то ни стало, кончить курс гимназии. Нужно начать заниматься усиленно и серьезно. Боюсь, чтобы это не были одни лишь слова. Нет, правда, пора взяться за ум; лето прошло, сирокко больше нет, а в осенние, холодные вечера только и остается — заниматься. Надо также приналечь и на языки. Эту зиму предстоит много дела. Только бы не сбиться с пути, не отвлекаться, не изменять, не падать духом.

Говорят, когда Колчак приехал в Севастополь, он издал приказ, в котором говорилось, что «военные ведут себя не по-военному», ходят по улицам под руку со своими женами, даже носят детей и т.д. Посмотрел бы он, как у нас в Сфаяте офицеры пелёнки стирают!

18 сентября 1922. Понедельник

Получили письмо от Вл<адимира> Влад<имировича> Каврайского, через Куфтину (из Риги). Чудак он. Мы ему писали со всякими предосторожностями, чтобы не подвести его, письма пересылает ему Куфтина А.Н., а он в каждом письме просит нас «сообщить

свой точный адрес». Пишет, что одна его открытка была ему возвращена. «Наверно, вы переменили квартиру, — пишет он, — или совсем уехали из Риги?» Дальше пишет, «что значит таинственная приписка на последнем письме: Tunisie, Bizerte, Sfaiat, тунисская марка и штемпель?» Вообще много странного и наивного. «По-видимому, за это время в вашей жизни никакого существенного перелома не произошло (!)... Есть ли у вас намерение и юридическая возможность вернуться в Россию? Почему в вашем письме столько недосказанного? Ты, Коля, понял я, служишь в каком-то морском учебном заведении; в каком?» и т.д.

19 сентября 1922. Вторник

За сегодняшний день, как помнится, не произошло ничего интересного. Ах, да! Константин<ин> Константинович показывал мне на уроке сочинение одного кадета на злобу дня. Вот оно целиком.

Гуси в гостях у уток

Басня кадета 5 роты, 3 взвода — С.Крюковского

Одних гусей
(Они невеждами большими слыли)
Утки их, как почтеннейших гостей
(Отказываться ты не смей!)
К себе позвать на чай решили.
И вот избранные из стаи
Гуси гуськом кутятами шли;
Галдят молодые шалопаи.
Вот утки встречают издали
Своих гостей,
А гуси так притихли, приуныли,
Хоть слёзы лей.
За стол их утки посадили.
Чинно, благородно
Разговор идет,
А каждый гусенок осторожно
В рот пирог кладет.
И вот, наевшись до отвала
(А еды было не мало),
Хозяева с гостями идут гулять, —
Пора, все-таки, поиграть.
И вот одна из жирных уток,
Без шуток,
Гусятam предложила в болоте понырять,
Лягушек попутать.
Ну, здесь мои гусята

(Предки коих Рим спасли)
Испачкались, как поросята,
И домой вернулись полные грязи,

...

Как в гостях ни хорошо
Пироги покушать,
Медовые речи слушать.
И пить чай и молоко,
А потом играть в «кошки-мышки»,
Раструсив все кишки.
Прийти домой,
Ни головой,
Ни ногой
Пошевелинуться не можно.
Ну, теперь утята умнее,
После того, как с гусятами поиграли,
И теперь в гости осторожно
Они идут чередом своим,
Проклиная свет, на коем мы
Стоим.

20 сентября 1922. Среда

Сегодня вечером к нам заходил Крюковской (случайно, за негативами: он когда-то снимал нас с Мамочкой), и я ему прочла ответ на его басню: «Как утки гусей мучили». Я вчера всю ночь продумала и сегодня утром написала. Вечером экспромтом написала стихотворение «Тени вечерние».

21 сентября 1922. Четверг

Сегодня день рождения Жени Завалишина, вторую половину дня провела в веселой компании. Из кадет были Женя Наумов, Таусон, Кудашев, потом пришли Оглоблинский и Аристов. Весело было вечером на площадке. Играли во все игры, которые только могли придумать. Под конец были интересные фанты (придумывал Коля Оглоблинский): пойти к нам и попросить селедки. Таусон пошел, постучал и говорит: «Коля просит кусочек селедки». Кудашев танцевал лезгинку, мне он очень понравился за сегодняшний день. У него такое красивое, поэтичное имя — Али. Он кавказец и, говорят даже, магометанин.

22 сентября 1922. Пятница

Что уже сегодня написать — не знаю. Я весь день выметывала петли и занималась, но в конце концов ничего не знала, так как не успела прочесть текстов. Невесело дни мои проходят. Хочется

замкнуться в себя, а выходит наоборот. Хочется заниматься наукой, а в результате получается совсем не то. Литература отнимает у меня все время. С первого надо будет начать усиленные занятия. Скоро зима... Вот лето и прошло — третье уже. В первых числах октября жду письма от Тани.

Сейчас, хотя уже половина первого и все спят, буду заниматься английским. Завтра вечером хочется пописать. Не успею только. Спать мне не хочется.

23 сентября 1922. Суббота

Получили несколько писем. Одно из них от Донникова (марки опять прислал!), другое от одного знакомого из Праги. Он нас обнадеживает: выставил куда-то там кандидатуру Папы-Коли и надеется на успех.

24 сентября 1922. Воскресенье

На «чашке чая» у меня попался удивительно неприятный сосед. (Сегодня были 10 человек «седушек» и остаток, тоже десять, пятой роты. Справа я посадила Илюшу Маджугинского, слева — пятой роты). Сидит и молчит, хмурый такой. «Почему вы не пьете чай? — спрашиваю. — Возьмите вот пирога». «Благодарю вас, я не хочу». — «Ну вот еще, почему вы не хотите?» — «На это у меня есть свои соображения». Молчу. Разговариваю с Илюшкой или с Захаржевским (он сидел напротив), вспоминаем о Харькове. Сосед слева покашляется на меня. «И долго у вас продолжается этот чай?» Я стараюсь поддержать хоть какой-нибудь разговор: «Определенного времени, — говорю, — нет, так, по настроению». — «А после чая бывают игры?» — «Да, обычно бывают». Корчит кислую гримасу. «А какая, собственно, цель преследуется этими чаями?» — «Как какая! Чтобы доставить удовольствие...» — «Кому?» — «Кадетам». — «Слабое удовольствие». — «А что?» — спрашиваю я. «Да как же. Отрывают нас только от занятий, целый день отнимают у нас, заставляют куда-то идти, играть; это только седьмой и шестой роте нравится». Я отворачиваюсь от него и стараюсь говорить с Илюшей. Сам начинает. То-сё, так ему надоела такая жизнь, надоели французы, надоело учиться... «Учишься, учишься, а когда конец — и не знаешь!» Я возражаю, что конец-то всегда можно сделать, уж было бы продолжение. «А дальше что? — говорит, — ну если даже мы в 25-ом году и вернемся в Россию, все равно старого не вернуть, а такая-то на что мне она? Уж лучше здесь останусь». Дальше заходит речь о политике. Я стараюсь замять разговор, он не унимается. «Вы думаете, для чего нас французы привезли к себе? Так, ради благодеяния?

Как бы не так! А потому, что у них во главе правления стоят все жидомасоны, им выгодно привлечь нас на свою сторону. Вы думаете, они нас даром держат?» — «Конечно, — говорю, — не за прекрасные глаза. Они потом много получают с России». — «Да, получают, и еще больше получают, только не того, что думают. Уж мы им покажем...» Я не возражаю, и всеми силами стараюсь перевести разговор. Перешли к общей теме — о Кебуре, о занятиях, о преподавателях. «Странный человек Домнич». — «Он очень хороший преподаватель, — говорю я, — так хорошо умеет поставить дело». — «Такая тоска на уроках, — говорит он, — преподает без всякой программы. То вдруг начинает говорить нам о социализме». — «Но это, должно быть, относится к эпохе, которую вы изучаете». — «Это-то так, но мы его начинаем обкладывать. В самом деле, кто ему поверит? Теперь всякий слепой заметит, что наделали социалисты, чего хотели все эти партии, “идейные работники”, вояки. Уж мы им покажем!» Я не возражаю, а он все твердит мне о жидомасонах, сделавших революцию, о хитрых французах и т.д. К счастью, начали вставать из-за стола. Он и тут не упустил случая съязвить: «Ну, первое действие кончилось?» Но второго я уже не дождалась и поскорее удрала домой.

25 сентября 1922. Понедельник

Сегодня я провела день по точной программе моего трудового дня. Ни минуты свободной. Хорошо. И заработала больше франка (у меня теперь все такая работа). А уж тратить буду глупее. Я уже решила франки потратить на марки. Вера Остолопова говорит, что в одном магазине можно купить сколько угодно старых пропечатанных марок всех стран. Тогда и Алекс<ею> Васильевичу pošлю, а он мне обменяет у своего марксиста-миллионера (одиннадцать лет собирает, и больше миллиона! У меня — 200).

А в нашей кабинке робко, тихо, тайно все заходит речь о Праге. Я стараюсь не думать о ней. Я не верю. Ну а что же может быть лучше! Не верю, чтобы могло быть такое счастье!

26 сентября 1922. Вторник

Сегодняшний день ничего не показал и вовсе не был трудовым. У меня какое-то тревожное, нервное состояние. Мгновеньями все кажется в розовом свете, через минуту впадаю в безысходный пессимизм. То смеюсь, то плачу. Чего-то все жду, но уверяю себя, что ждать нечего. То все кажется хорошо — труд, работа над собой; все это прекрасно, что-то неизвестное, но, несомненно, интересное в будущем; а как посмотришь кругом — ничего хорошего и нет!

Хочется кончить рассказ «Мысли», это же будет и ответ на тему Домнича «Мой идеал». Он говорит, что я все будто бы обвиняю русскую литературу за отсутствие положительных типов, а сама всех развенчиваю, а потому предложил мне самой изобразить этот тип. Хорошо же. Только я дам ему не сам «положительный тип», а его зачаток, маленького 5-летнего Игоря, в котором, под влиянием времени и беженской жизни постепенно слагается его мирозерцание, взгляды и даже смутные идеалы, те маяки, которые будут в будущем освещать его путь. Кто знает, быть может, я сама первая развенчаю его. Кто знает, какие люди будут нужны для России?

27 сентября 1922. Среда

После завтрака ходили на мыс Бланко. Интересные места. Мы вошли на очень высокую гору, и мыс показался маленьким и плоским. Он наполовину белый, а другая сторона хребта сплошь покрыта колючками. Но чем больше мы стали спускаться с крутой высоты, тем больше вырастал мыс и скоро обратился в высокую и крутую скалу. Мы с Папой-Колей доходили по хребту до самого конца. Вид грандиозный.

28 сентября 1922. Четверг

Папа-Коля утром ходил в город, и я с ним. Хотела марок купить, да не нашла магазина. А днем было ужасное сердцебиение. Марков говорил, что нельзя так много гулять. Вообще же сегодняшний день — дрянь.

29 сентября 1922. Пятница

День прошел бестолково. С утра писала сочинение, потом была на именинах Милочки, а сейчас вся эта веселая компания беснуется под дождем. Получила собственноручную расписку Тани в получении посылки. Жду письма.

30 сентября 1922. Суббота

Как всякая суббота, сегодняшний день опять ускользнул из моих рук. Ну, зато я завтра напишу.

1 октября 1922. Воскресенье

Конечно, я ничего не сделала из того, что предполагала, уже начиная с того, что с утра занималась стиркой. На «чае» была 6-я рота. Мне уже порядком надоели эти чай, но так как с шестой ротой у меня установились хорошие отношения, то мне не хотелось оби-

деть их, тем более что сегодня уже не было ни Веры, ни Наташи. Вера уехала на «Георгий», а Наташа на днях разрезала себе на площадке ногу и лежит. Однако сейчас же после чая, я удрала, но вечером пришла на площадку и была с ними до самого позднего вечера, т.е. до 11-ти. Под конец мы пошли в столовый барак и играли в сидячие игры. Ляля скоро ушла, остались я и Инна Федоровна Калинович. Мне нравятся эти мальчишки, я бы не прочь завязать с ними и более короткие сношения.

2 октября 1922. Понедельник

Сегодня, чувствую, опять сошла с пути истинного: принесла мне Наташа задачи на простое уравнение — не выходит. Одну из них я скоро решила, а другая — никак не получается. Наташа уже рукой махнула, ушла, а я голову ломала весь день. Потом не выдержала, обратилась к Дембовскому. Эта задача решена, но потом уже я весь вечер просидела над задачкой. Забыла многое, не выходит, а все-таки некое приятное занятие! Где уж тут думать о сочинении? Вот разве на математику отдать себя?

3 октября 1922. Вторник

Вечером Наташа вызвала меня на гамак. Сначала говорила всякую ерунду, а потом мне пришлось выслушать ее исповедь. Начала она словами: «Ирина, если у тебя совесть не чиста, что бы ты сделала?» Дальше рассказала мне одну историю, якобы вычитанную из какой-то книги. «Ну вот, одна девочка, так лет 14—15-ти, полюбила одного молодого человека. Она не хотела, потом все такое, ну, в общем, кончилось тем, что они поцеловались. Она это скрывала ото всех, и его после этого совершенно разлюбила. Но ее стала мучить совесть... Как думаешь, Ирина, что она сделала?» Я сказала, что, наверное, призналась во всем родителям. «Ну а ты бы что сделала?» — «Промолчала бы». — «А если на исповеди?» Я задумалась. «Может быть, на исповеди и сказала бы». — «Так бы все и сказала?» — «Так бы и сказала». Она помолчала. «А ведь это, Ирина, было со мной». Я оторопела. «С кем же, когда?» — «А уже давно, помнишь, как-то вечером меня искали, а я гулять ходила?» — «Так это с Даниловым?» — «Да». Дальше она мне рассказала, что Данилов «сам начал», наговорил ей сладких слов, и дело кончилось поцелуем. «Ведь у меня в году двадцать симпатий, — говорила она, — ну, вот я и Данилова полюбила, ну, конечно, не по-настоящему, а так, понимаешь. И если бы он сам не начал, так ничего и не было бы. А после «этого» я его возненавидела, притом видеть его не могу. Перестала с ним разговаривать. Тогда он прислал мне пачку открыток, будто задобрить

хотел. Потом как-то приходит ко мне и говорит: «Вы все на меня сердитесь, Ната?» Я сказала: «Да, сержусь!» Хотела ему отдать его открытки, да жалко стало его, ведь я знаю, он на последние деньги покупал их. Сколько наивности и сколько прелести в этих словах: «Что мне теперь делать, Ирина? Я никому об этом не говорила, а меня все мучает совесть. А ведь, если так рассудить, так что в этом дурного? Ведь если бы Адам и Ева не согрешили, так “это” бы все делали теперь?» Я начала ее успокаивать, говорила, что эта история довольно обычная, что виновен он, а не она. «Ты девчонка, а ведь он уже взрослый человек, он должен знать, что делает...» — «А как ты думаешь, сказать об этом?» — «Я бы лучше помолчала, а потом, когда все успокоится, тогда ты сама посмотришь на это другими глазами, тогда скажешь. Но ты успокойся, ведь в этом ничего неприличного нет. С кем это не бывает?» Она повеселела. «Вот спасибо, Ирина, теперь я совсем успокоилась, а то мне было совсем тяжело». Бедная девочка, но ведь мне еще тяжелее, хотя я и обхожусь без таких приключений.

4 октября 1922. Среда

Вечером (чудный лунный вечер!) вытащила Наташу гулять, встретили двух кадет 6-ой роты Колло Оглоблинского и Колло Малашенко, и их затянули. Пошли по Надорскому шоссе, и по дороге играли в фанты. Фанты, конечно, самые глупые, вроде «кормление голубей», «фонаря» и т.д. А оттого, что глупо, оттого и весело!

6 октября 1922. Пятница

Вчера в два часа дня мы пошли по Надорской дороге. Спустились к морю недалеко от мыса Бланко и по берегу пришли в город, расстояние изрядное. Устала, потому вчера и не писала. И теперь еще спать хочется.

7 октября 1922. Суббота

Я люблю субботу, когда нет ни петель, ни брюк всяких, ни уроков. Делай, что хочешь! Воскресенье уже не то! Вот сегодня у меня весь день был свободный, я и в теннис наигралась, и начиталась вдоволь, правда, я позлилась порядочно! Нечего скрывать! Настроение вообще скверное. До сих пор нет писем от Тани, ведь уже должно быть два: одно — ответ на мое письмо, другое — ответ на посылку. В лучшем случае забастовка марсельская виновата! А то — чего только не подумаешь! Правда, там террор, потом эта высылка профессоров, но зачем же ей, глупой, подписываться, расписы-

вать должности Ивана Ивановича, да писать на конверте адрес! А не ответить — это жестоко!

8 октября 1922. Воскресение

Вчера в 10 часов 55 минут вечера произошло событие, которое надолго будет предметом разговоров. Дело было так: Мамочка уже легла спать, Папы-Коли не было дома; я причесывалась и собиралась ложиться. Вдруг Мамочка вскакивает с кровати, бледная, глаза расширены, голос дрожит: «Что такое? Отчего кровать трясется? Что случилось?» Я удивленно смотрю на нее: «Еще бы ей не трястись, когда ты так вскакиваешь!» — «Да нет... да это... двигается... уж не сидит ли кто под кроватью?» Мне делается страшно. Что с ней? Ведь это бред, галлюцинация! Что мне делать? В это время на улице какая-то суматоха, голоса. Долетают слова: «Ваше превосходительство! Вы слышали?»... — «Да, да, это землетрясение», — говорит адмирал. Мамочка одевается, и мы выходим на дорогу. Все высыпали из барачков, кто волнуется, кто иронизирует. Чувствовали удары, большею частью те, кто лежал или сидел. Многие не заметили. Адмирал говорил, что через пятнадцать минут должен быть второй удар. Все ждут. По правде сказать, мне сделалось жутко, но не надолго. Я вспомнила, как, возвращаясь в четверг из Бизерты, Остолопов рассказывал о мессинском землетрясении. Но скоро я успокоилась, рассудив, что здесь меня ничто не задавит. 15 минут тянутся бесконечно. Все нервно настроены, ждут. Прошло 20 минут, полчаса, под землей никакого движения. Все расходятся спать, несколько разочарованные. Я злюсь. Ворчу на Африку. «Ничего в ней не бывает по-настоящему, уже землетрясения и то такие, что и похвастаться нельзя будет, что видела его! Надувательство одно». Ну, ничего, Бог даст, еще будет.

Однако «землетрясение» (не могу не поставить его в кавычки) имело два важных последствия: 1) В Бизерте на вокзальной башне остановились часы ровно на без 5-ти 11 (говорят еще, что у русского часовщика все часы встали), 2) Оно надолго займет умы сфаятцев и хоть на время вытеснит очередные сплетни. Жаль только, что оно не встряхнуло нас как следует.

9 октября 1922. Понедельник

Что мне ждать? Тоска, тоска! Как глубоко я это чувствую и переживаю. Ждала письма от Тани. Перечла ее прошлое письмо, но с первых же строк стало так горько, так грустно. Не пишет. Боится, должно быть! Ну да Бог с ней! Может быть, и правда, ее нельзя за это осуждать. Сейчас еще нет 8-ми, а мне страшно хочется

спать. Вообще, у меня сонное состояние. Я очень много сплю, и поэтому у меня голова не свежая и болит, и все-таки весь день хочется спать. У меня так бывает иногда, потом само собой проходит.

В голове самые скверные и бездельные мысли. Что мне делать дальше? В мои годы у людей уже бывают свои идеалы, планы на будущее, в это время строится фундамент всей жизни, а я даже не могу ответить на самый простой вопрос: чем бы я хотела быть? Что мне делать? Мне тяжело, я чувствую, что ничего не придумую. Я писала об этом Тане. А она не ответила! Надо придумать что-нибудь интересное: дело, мысль, чувство. Влюбиться что ли?

10 октября 1922. Вторник

День прошел нелепо: все время занималась, но занималась как-то скверно, не то было на уме. Ждала письма. Когда адъютант Леммлейн прошел мимо нашей двери с пачкой писем в руках, я была готова его поколотить.

На днях гардемарин Цветков пробовал застрелиться из винтовки, ничего не вышло. Это было накануне экзамена по девиации. Говорят, боялся.

11 октября 1922. Среда

День приятный! Почти весь день играла в теннис. Устала, но хорошо. О. Георгий вернул мне мои стихи. Хвалил, долго говорил о каком-то таланте. Старые песни! Давно знаю, что таланта у меня ни на копейку!

Опять пошла на спевку, хотя уже собиралась бросать хор, но не жалею. В хор вступила Инна Федоровна Калинович (сопрано). В понедельник Волхонские уехали во Францию. Завтра будет чествование адмирала: 40 лет в офицерских чинах.

Стоит ли говорить о себе?

12 октября 1922. Четверг

Сейчас идет чествование адмирала. Подробности завтра.

13 октября 1922. Пятница

Стоит ли писать о том, что было вчера, когда сегодня совсем другое. Вчера, между прочим, Папа-Коля написал стихотворение, посвященное адмиралу. Читал его Имшенецкий, так как выступление Папы-Коли могло вызвать целый скандал. Стихотворение было такое прочувственное и произвело впечатление. А какой-то

умный человек пустил слух, что оно написано мной. Сегодня я принимала поздравления с успехом.

Ужасно мне нравится адмирал. Прекрасную речь сказал он вчера, а я, как и все дамы, подслушивала у окна. Много курьезов.

Сегодня другая картина. После всенощной мы весь вечер сидели, и мысли у каждого были свои. Тяжелые мысли. Сегодня годовщина смерти Глебочки. Папа-Коля особенно расстроен. Смотрел его фотографии, снимок с могилки. И плачет. По правде сказать, я его не совсем понимаю: неужели такое большое горе, как потеря одногоднего <так! — *И.Н.*> ребенка, оказывает влияние даже через двенадцать лет?

14 октября 1922. Суббота

Не хочется писать: нездоровится. Я уж завтра.

Мамочка что-то прихварывает. Весь день лежит.

А я думаю написать сонет а la Бальмонт. Глупость какую-нибудь.

15 октября 1922. Воскресенье

Сонет я написала. Сначала все было хорошо, потом все надоело.

16 октября 1922. Понедельник

Скучно мне. Папа-Коля хандрит, брюзжит, злится. Мамочка — совершенно больна. Сегодня такой скучный вечер был, что хоть умирай; а сколько таких вечеров впереди! Время идет. Что только можно было бы сделать за это время, а какой результат? Что я сделала, что достигла? А между тем сейчас обо мне все говорят: говорят о моих стихах (о. Георгий меня рекламирует), о моих занятиях, о моей серьезности и т.д. С тех пор как о. Георгий читал мои стихи, обо мне сразу все заговорили. Мамочка говорит, что Александра Михайловна завидует, что хвалят меня, а не Милочку, она человек завистливый и злой (может быть, поэтому она перестала заниматься со мной английским). Вава с Милой считают меня гордой, и не только они одни; многие считают меня какой-то особенной, то ученой, то талантливой, то еще Бог знает чем. Тоска, тоска! Какая неудовлетворенность. Когда хвалят мои занятия — я с болью вижу, как мало я сделала! Пора заниматься, работать надо. Все слова, слова, слова...

Бывали моменты, когда я бывала довольна собой, — тогда меня не замечали. А теперь, когда я сознаю свое ничтожество, фразерство и неприспособленность в деятельности, — теперь обо мне говорят, хвалят, завидуют.

17 октября 1922. Вторник

Вчера я много думала о себе.

18 октября 1922. Среда

Сегодня получили два письма из России: одно от Тани, другое от Лели Хворостанской (она узнала наш адрес от Самариных). Ну да стоит ли рассказывать эти письма? Ведь они у меня. Письма различные. Лелино, с приписками Нины Павловны, Елизаветы Павловны и Гали, дало яркую картину Совдепии. Прямо делается жутко, когда читаешь его. Хорошо, что мы не там. Письмо Тани другого сорта. Это письмо самого лучшего, любящего друга. Оно много говорит для души. При одной мысли, что где-то далеко, в Москве, есть человек, который мне все доверяет, любит и ждет меня, — при этой мысли мне становится легче на душе. Во мне снова пробуждается энергия и охота к жизни. Я готова опять с жаром приняться за занятия, за письма, за все. А вообще я расстроилась. Ждала, ждала писем, а как получила, то так сделалось грустно, донельзя. А кстати, Хворостанские пишут, наша квартира разграблена. Пишут, что «от пожара почти ничего не уцелело». Понятно, какой это «пожар». Ну да разве теперь можно еще думать о вещах?

Кира Тыртова уезжает в Париж. Сегодня она была в Сфаяте и зашла ко мне. Утром в мастерской был молебен по случаю основания севастопольского Корпуса и панихида по наследнику. Все вместе не больше 15 минут. Хор был «с бору, да с сосенки», кроме сфаятцев были еще гарды первой роты (бывшей восьмой).

20 октября 1922. Пятница

Вчера весь день я лежала. У меня было ужасное самочувствие, маленький жар. Сегодня уже температура нормальная, но почти весь день лежала и сейчас, вечером, слабость и сердцебиение. Но на спевку все-таки пойду. Досадно только, что на письма не могу ответить.

21 октября 1922. Суббота

Написала письмо Леле. Писала все больше об Африке, об арабах. Это единственно, что есть здесь интересного. Остальное пусто и бессодержательно. Начала письмо Тане, какую-то глупость написала. Много хочется написать ей, да как-то страшно. Страшно не красной цензуры, а белой, нашего *Contrôle civil*, противно, что какая-то м^ада^ам Крейчман будет читать мои письма к Тане! Гнусное учреждение!

22 октября 1922. Воскресенье

Сегодня мы, по обыкновению, пошли гулять. Пошли в город (в Бизерту. — *И.Н.*), так как Папа-Коля получил урок на скрипке и ему нужно было зайти для переговоров. День был жаркий. Потом с юга и запада стала наползать черная туча. Думала, ночью будет гроза. В городе разошлись. Папа-Коля пошел к своему полковнику, а мы с Мамочкой и Конст<антином> Конст<антинови>чем решили поехать на ту сторону канала на пляж! Там уговорились встретиться. Сели на бас* и посмотрели в сторону озера. Картина была замечательная: гора, что торчит в пресном озере, была закрыта синей тучей, туча наползала все больше и больше. Сверкала молния. Через несколько минут уже не было видно ни горы, ни берегов озера. Потянул ветер. Мы решили, что не стоит идти на пляж, и с тем же баком поехали назад. Тут я увидела нечто необычное: вдали, с моря поднимались в облаках серо-желтые клубы, как дым. Сначала поднимались из воды, потом показались слева, туча все наползала. Едва мы успели доехать до берега (тут же встретили Папу-Колю), как поднялся ветер. Мы собрались пойти в русскую столовую укрыться от дождя. Но уже только мы дошли до первого дома, как закрутилась пыль, и через какие-нибудь полминуты налетел ураган, сделалось совсем темно, крутились тучи песка. Мы едва успели забежать в какой-то подъезд. Туда же зашла семья французов. Переждали бурю. Где-то на лестнице распахнулось окно, и в него хлынул громадный поток дождя. Была гроза. Я выглядывала за дверь — было настолько темно и пыльно, что не было видно даже соседнего забора. Шквал промчался минут через пять, скоро перестал и ливень. Однако он успел наделать суматоху. По улицам валялись пальмовые листья и ветки деревьев. На пляже все кабинки (раздевальные) перевернуло вверх дном, многие унесло в море. Кое-где на магазинах сорваны вывески. Говорят, что наш «Моряк» сорвался с якорей. По дороге много сломанных маслин. В Сфаяте ураган был не такой, вся сила его промчалась по каналу. Мы думали найти у себя в кабинке море воды (у нас еще было раскрыто окно) и нашли только обычную лужу, и еще все предметы были покрыты слоем пыли и мелкого песка.

23 октября 1922. Понедельник

Написала Тане письмо, расстроилась и решила, что самое лучшее теперь лечь спать.

* Паром (*фр.*).

24 октября 1922. Вторник

Читала сейчас Кнута Гамсуна. Хорошо пишет. Может быть, это мне кажется потому, что в нем все-таки есть что-то новое, незатро-нутое, по крайней мере, мной.

25 октября 1922. Среда

День прошел в тяжелой физической работе. Устала, но чувст-вую какое-то необъяснимое блаженство и удовлетворение. Горько только то, что обычно я чувствую такое удовлетворение именно после физической работы, а не умственной. Жаль, что из меня, скорее, выйдет прачка, а не ученый!

26 октября 1922. Четверг

Нервничаю. Поднят вопрос, что надо мне поступить в кол-ледж. Я ничего против не имею, смущает меня только то, что опять я для языка оставляю все — и занятия, и книги, и все. Папа-Коля говорит, что это ничего не значит. Ну, что будет. Сейчас на-прасно еще об этом думать.

27 октября 1922. Пятница

Сегодня Папа-Коля заходил в колледж, но только ничего не мог сказать. В понедельник пойду с ним: начальнице надо меня видеть. Сегодня мне уже очень хочется поступить. Я думала об этом весь день. Хорошо, если бы только приняли в старший класс.

29 октября 1922. Воскресенье

Вчера не писала — устала, мы далеко ходили гулять, а на обрат-ном пути под Сфаятом кадеты перехватили меня — играть! Сего-дня в церкви о. Георгий говорил проповедь на ту тему, что церковь аполитична и всегда молится за всякую, самую даже безбожную власть. «Но, — добавляет, — конечно, в глубине души каждого ве-рующего христианина всегда желательна власть монархическая. Всякие президенты только стремятся отдалить церковь от госу-дарства, только царь стоит близко к церкви, ибо он помазанник Божий и т.д. Конечно, церковь молится за всякую власть, но в глу-бине души она всегда молится за царя». Вот иезуит!

30 октября 1922. Понедельник

Выжидательное настроение. Если завтра Александра Михай-ловна идет в город, то моя судьба решится, если нет — опять оттяж-ка! А это так скверно! Терпеть не могу неопределенности!

31 октября 1922. Вторник

Ничего я не могу писать сейчас, не могу! Или я совсем больна, или с ума схожу!

5 ноября 1922. Воскресенье

Больна была — не писала. Потом — захандрила. Вспомню ли в будущем, что значила моя хандра в 16 лет? Как-то безнадежно все. Начался дождь, холода, опять на полу лужи, а стена и занавеска на окне — мокрые. И это только начало, день впереди. Опять у меня насморк, от чиханья содрало горло, и едва ли все это скоро кончится. С колледжем дело, по-видимому, не выгорит: учебники не по-нашему карману. Все по-старому, и не видно этому конца.

7 ноября 1922. Вторник

Сама не знаю, что мне надо. Вот поправлюсь, т.е. почувствую в себе силы, хотя б физические, и примусь за себя. Составлю себе точное расписание и буду тщательно придерживаться его. Ведь могла же я заставить себя писать дневник каждый день. Хоть и по одному слову, но не в этом дело. Дело в том, что это уже вошло у меня в привычку, так же надо привыкнуть и к занятиям, и к труду, а главное, к регулярности.

8 ноября 1922. Среда

Опять началось дело с колледжем. В пятницу Ольга Антоновна идет в город, я с ней пойду и зайду туда. Возможно, значит, что все мои планы опять рухнут. Но чтобы ни было, до пятницы я ничего не могу предпринимать, прямо руки отваливаются. Не знаю, что и думать. Одно знаю, что все плохо. Ну, пусть будет, что будет!

9 ноября 1922. Четверг

Сегодня решили, что мне не стоит поступать в колледж, а надо к весне заканчивать среднее образование, сдавать при Корпусе экзамен и... куда-нибудь — в Прагу, в Лион, в Париж. Завтра 25 окончивших гардов 2-й и 3-й роты уезжают в Сорбонну, где будут учиться на хороших условиях.

11 ноября 1922. Суббота

Завтра Мамочкины именины. Сегодня мы с Папой-Колей ходили в город покупать всяких снадобий. Хотелось бы сделать что-нибудь приятное, да нечего.

Сегодня вторая годовщина дня объявления эвакуации Крыма. Грустные дни.

12 ноября 1922. Воскресенье

Завтра переезжаем в другую кабинку. Она, правда, на 8 сантиметров меньше нашей (сантиметрами приходится мерить!), и барак хуже, жиже, но зато она выходит на юг, чудный вид, и не будет заливать. Все должно пойти теперь по-хорошему. Верю и надеюсь!

14 ноября 1922. Вторник

Вот мы и на «новой квартире», только совсем не там, где думали: вчера, когда мы уже начали перетаскиваться, в маленькую комнатку канцелярии, является адмирал с Завалишиным; посмотрел, поговорил и решил перевести мастерскую в бывшую комнату Насоновых, а в мастерскую — нас. Об этой-то комнате мы давно хлопотали: она чуть ли не вдвое больше той. В ней есть большое окно, потом она выходит дверью на восток, так что не будут заливать зимние дожди и т.д. Теперь у нас стоит два стола: один столовый, а другой исключительно письменный; над ним висит полка с книгами, календарь, линейка; одним словом, полная иллюзия «кабинета». Можно будет спокойно заниматься. Это наша первая квартира в Сфаяте: по приезде нас сюда поселили вместе с Бураничами. Наверно, будет и последней.

15 ноября 1922. Среда

К сожалению, опять стала замечать в себе стремление к лени.

17 ноября 1922. Пятница

Забот выше головы: в воскресенье — 6-ое. К параду надо кончать брюки, форменки, петель — пропасть. Сегодня пришлось на камбузе гусей и уток щипать — каторжная работа! Главное, что они еще шевелятся под рукой, лапами машут, извиваются. Как я только увидела это — удрала домой. Потом поборола себя, пошла. Противно, но ничего. Только потом, когда вспомнишь эти окровавленные шеи и трепещущие тела среди груды перьев и пуха, запах крови и циничную хладнокровность Ваньки Махина — то сразу делается как-то тошно.

19 (6) ноября 1922. Воскресенье

<День памяти Святителя Павла Исповедника. Запись отсутствует. — И.Н.>

24 ноября 1922. Пятница

«Семь бед — один ответ», — говорит милая русская пословица. Валяй, Ирина, греши уж всю неделю, один раз каяться!

26 ноября 1922. Воскресенье

Вечером ходила гулять с Крюковским. Он часто бывает у меня в последнее время. Читал мои стихи, приносил свои (ну, это не опасный соперник). Знакомит меня с товарищами, гуляем по вечерам, и я ничего не имею против.

У меня теперь довольно неприятное тяжелое настроение. Ничем не могу себя удовлетворить. Пришла к убеждению, что у меня адское честолюбие. Я не выношу соперников и прилагаю все усилия к тому, чтобы по возможности убрать их. И смешно, что на пути мне стоят такие лица — Наташа или Ирина Насонова. Меня раздражает, что о них столько говорят, восторгаются, я готова их ненавидеть, хотя искренно люблю и ту, и другую. Главное — Наташа. Она всюду стоит мне на дороге. Правда, можно было бы и пренебречь мнением Сфаята, но я во многом соглашаюсь с этим мнением. Что я могу поставить ей в противовес? Стихи. Только. Ведь все мои усиленные занятия, серьезность, положительность — в этом больше фразерства, чем истины. Теперь у меня впереди много работы, которая может поднять мою репутацию: адмирал разрешил мне весной держать экзамены при Корпусе за гимназический курс. Вот это был бы номер! Тогда бы уж никакая Наташа до меня не дотянулась. Нужно только заниматься по-настоящему, без громких фраз. Пожалуй, что тут мной менее всего руководит желание поразить, огорошить всех, доказать силу воли; доказать, что я могу сделать то, что никто здесь не сделал; пресечь на корню все мелкие подозрения и недоверие по моему адресу. Да, я стала честолюбива. Чувство должно быть сильным, и потому я могу уважать его. Вот это-то уязвленное чувство и приносит мне такую острую боль.

27 ноября 1922. Понедельник

Не верю я в то, что смогу клету сдать экзамены, в меньшем случае, сбросить с плеч обузу; не верю, потому что слишком это было бы хорошо!

28 ноября 1922. Вторник

Этой ночью много думала о себе. Думала о том, была ли я когда-нибудь влюблена, в буквальном, плотском смысле этого слова. Приходится отвечать отрицательно. Были у меня увлечения,

может быть, идеалистического характера, может быть, и грубо реального, но настоящей любви не было. Я — холодный человек.

Я всегда просыпаюсь в ужасном настроении, наверно, потому, что впереди целый день; длинный и, в сущности, пустой, заполненный словами и актерством. Но когда день кончается и приходит момент браться за дневник, невольно делается жутко. Ведь дневник это итог дня, это отчет о том, чего никогда уже нельзя пополнить или исправить. Тем-то и объясняется мое якобы охлаждение к дневнику. Часто бывало: возьмешь портфель, раскроешь его, а в уме один вопрос: «Что писать, какие еще слова?» — и только махнешь рукой.

30 ноября 1922. Четверг

Я испытываю чувство, довольно обычное для моего теперешнего состояния, т.е. злость на себя, неумение взяться за дело и какую-то беспричинную тоску. Мне ничего не хочется, и по ночам, когда не спится, не о чем думать: все уже передумано, все надоело.

4 декабря 1922. Понедельник

Читаю Пьера Бенуа «Атлантиду». Боже, как хорошо!

8 декабря 1922. Пятница

Давно не писала — затосковала. А не думала, что пожалею. Не тянуло меня к дневнику эти дни.

13 декабря 1922. Среда

«Звезды, звезды,
Расскажите причину грусти!

...

Звезды, звезды,
Откуда такая тоска?
И звезды рассказывают...»

(Ал<ександр> Блок)

Я много пишу это время. Вчера мы получили из Германии три тома стихотворений Блока. Он меня захватил какой-то прелестью непонятной, но многое у него для меня необъяснимо. По ночам у меня бывает бессонница, и я много сочиняю. Но Блок показал мне, как много я еще не понимаю; как много в поэзии нового, святого, не только не достигнутого, но и непонятного. Бальмонта я уже поняла и усвоила, сильно его влияние на мне, но у Блока — нечто новое, незатронутое. Мне сейчас хочется много писать,

пусть ерунды, но так я скорее выйду на истинный путь. Папа-Коля уговаривает написать Бальмонту, а я не хочу. Причин много: во-первых, моя глупая застенчивость и скромность; во-вторых, не знаю, что писать и как; значит, не обойтись без Папы-Колиной помощи, а это уже не то, не по-своему. А главное, я боюсь результатов: если он совсем не ответит, это будет тяжелый удар для слишком пылкого воображения и большого самолюбия. Я совсем тогда потеряю веру в себя; но ответ может быть еще ужаснее молчания. Хотя я и люблю определенность (уж и не знаю, правда ли?) но не лучше ли иллюзия?

20 декабря 1922. Среда

Смотрю в окно. На темном фоне ночи ярко светится окно нашего барака: это кают-компания. Там, за этим окном, обсуждаются сейчас важные вопросы; сообщаются последние, интересные новости.

Утром адмирал ездил к префекту говорить по поводу существования Корпуса после первого января, вернулся совсем недавно, созвал в кают-компанию всех офицеров и преподавателей и что он им говорит — не знаю, но очень интересно. Дело в том, что военное и морское министерство хочет ликвидировать Корпус, так что, кто нас будет содержать теперь — вопрос.

1 января 1923. (Понедельник. — И.Н.) 1 час ночи

С Новым Годом, милая Россия, с новым горем, с новым терпением!

Грустно встретили мы этот год. С нами встречал Юра Шингарев, больше никого. Были у нас: традиционный глинтвейн, сосиски с картошкой и апельсины. То же было и в преподавательском бараке. В первом часу Папа-Коля пошел к ним, а Домнич, Коваленко и Реймерс пришли к нам. В Сфаяте больше никто не встречает этого года: называют его «французским», католическим и даже «жидовским». А мне приятно, что его встречает сейчас вся Россия, что-то принесет он? С Новым Годом, Россия и эмиграция! (и Таня!)

7 января 1923. Рождество. Воскресенье

Вот и Рождество, вот и светлый праздник! Скучно до чертиков. Делать совершенно нечего. Чем-нибудь серьезным заняться как-то и не стоит: кто-нибудь придет, отвлечет. Да никто и не приходит. Погода теплая, но сыро, а в теннис играть нельзя. Невеселый праздник. Сейчас бы хорошо писать письма, да некому. От Тани

что-то до сих пор письма нет, да и от Хворостанских бы пора получить ответ, от Александра Васильевича тоже. Никто не пишет. Школы Морского Корпуса официально уже не существует. Есть *des orphelins**. Официально нет никого свыше 16 лет (на самом деле — едва ли есть 20 человек меньше 16-ти).

10 января 1923. Среда

Хочется мне записать, как я провела праздники. Первый день скучали. Только вечером была у Кольнер, где было довольно-таки весело. Второй день — днем тоже скучала, а вечером в столовой за-ле была ёлка. Я было, по обыкновению, не хотела идти, но кадеты уговорили. Пошла — и не жалела. Даже танцевала — вытащил Лисневский, кадет 4-ой роты, такой маленький, кажется — симпатичный. Во время мазурки ушла с ним в кают-компанию, разговаривали. Невеселые разговоры! Его будущее еще более темно и неопределенно, чем мое. Куда он пойдет в июле, когда 4-я рота кончит? Он рисует, хочет поступить в академию художеств, но сам замечает, что для этого нужны деньги, деньги и деньги...

Вчерашний день также прошел без дела. Вечером были у меня Илюшка и Крюковской. Долго мы разговаривали и опять-таки на грустные темы — о будущем. Какое у нас будущее? Когда еще положение Корпуса казалось прочным, когда еще кое-как дышала Эскадра и не были проданы корабли, — тогда вопрос о будущем, во всяком случае о близком будущем, в такой серьезной форме не возникал. Плыли по течению. А теперь, когда от «флота» осталось несколько адмиралов да мичманов, когда Корпус на глазах у всех разваливается, — этот вопрос встал во всей своей силе и яркости. Что делать? У нас, эмигрантов, один выбор: или ехать в Россию, или оставаться на десятки лет эмигрантами. И то, и другое — очень тяжело и очень трагично. Сейчас в Россию, я думаю, не всякому хочется. Все-таки, чем бы это ни мотивировалось, а это сделка с совестью, слащевщина.

16 января 1923. Вторник

Наконец-то я опять нашла время для дневника. Папа-Коля в преподавательском бараке играет в шахматы. Мамочка на спевке. У меня кончился только что урок литературы, и вот я по-своему пользуюсь свободой и тишиной.

Хочется мне написать, как прошли праздники: довольно весело; когда, конечно, не была одна. А когда я оставалась одна, то все

* Сироты (фр.).

время писала, очень увлекаясь этой работой. В пятницу 5-я рота устраивала вечер, ставили «Сон Попова» А.Толстого и «Юбилей» Чехова, потом характерные танцы, хор. Потом, конечно, танцы. Я опять танцевала и опять много с Лисневским. Вообще, он мне очень нравится, немножко растяпа, но это ничего. Вернулась домой в полпятого, встала на другой день к обеду. Тут ко мне является веселая компания: Ляля, Наташа, кадеты и зовут играть, в столовый зал. Среди кадет какими-то судьбами очутился Лисневский, и мне было с ним очень даже весело. Из столового барака мы пошли в кают-компанию, где Лисневского засадили за пианино, а сами устроили танцы, хотя там и повернуться-то негде. Оттуда все пошли к Воробьевым, а Лисневский с Малащенко пошептались и ушли. Тогда я напустила на себя загадочную меланхолию и скоро тоже ушла. Вечером были у Завалишиных, где было очень скучно: кадеты любезничали со своими дамами, а я сидела в стороне и выискивала случая удрать. Правда, я никого в этом не виню: просто у меня было скверное настроение.

Пришла домой и застаю у нас милое общество! Малащенко, Степанов (6-ой роты) и Лисневский. Тогда мне стало только досадно, что я раньше не ушла от Завалишиных. Три года тому назад я бы, конечно, написала по этому поводу страниц пять. Но теперь я стала осторожнее и умнее. Теперь я знаю, что первое впечатление бывает обманчиво, что интересных людей на свете мало, что искать их нужно совсем не здесь. И что вообще в таких вопросах, как нравится или не нравится, никогда не следует забегать вперед. А поэтому — тешить себя можно сколько угодно, мечтать и фантазировать лежа в кровати — можно, но писать, даже в дневнике, можно далеко не все. А ведь, в конце-то концов, я просто ищу человека, с которым можно серьезно поговорить. Ведь все мои знакомые кадеты, может быть, и славные мальчишки, можно с ними весело провести время, поиграть в «наборщика» или в «полезай вверх», но хоть немножко уйти от обыденщины и мелочности с ними нельзя.

Сначала мне казалось, что не надо людей, что я всегда могу себе дать все недостающее. Теперь я вижу, что это невозможно. При всей моей дикости и застенчивости и даже, как мне казалось, нелюбви к людям, меня тянет к ним. Сейчас в моей жизни происходит перелом, который я давно предчувствовала, которого так боялась, за который так осуждала Марусю Завалишину. Перелом начался со второго дня Рождества, когда я в первый раз пошла на вечер, но, если заглянуть глубже, это началось раньше, с того времени, когда у меня начались знакомства с кадетами. Они нарушили мое одиночество и волей-неволей завлекли меня в свою жизнь. Теперь прощайте

мои средневековые идеалы! Я все любила, а вами тешилась и увлекалась, но жизнь столкнула меня на другую дорогу. Не знаю, лучше они или хуже, знаю только, что это — неизбежно, что необходимо, хоть одной стороной души обратиться к людям.

17 января 1923. Среда

С понедельника я начала усиленно заниматься, это уже факт, а не реклама. Доказательство то, что у меня три дня подряд был урок истории. Начала психологию. Все-таки дела много и страшно. Страшно то, что у меня память какая-то глупая: я не могу на нее пожаловаться; напротив, я отлично помню все мелочи, которые были года три тому назад; я очень скоро учу наизусть, а вот по предметам беда — что выучу, через месяц уже и забуду. Ведь так может и скандал выйти! Начала вот повторять алгебру — хоть убей, ничего не помню! Самые простые задачи да уравнения не выходят! Вот этого-то я и боюсь. Пройти-то, может быть, и успею все, но вдруг забуду. Потом я, к ужасу своему, стала замечать, что у меня как-то стали притупляться способности; раньше, бывало, я все так скоро схватывала, живо ориентировалась; а теперь, иной раз, над каждым пустяком приходится много думать. Очевидно, что года и для меня не прошли бесследно.

24 января 1923. Среда

Опять меня потянуло к этим листам. Да, правда, нехорошо, что я так оставила дневник; хотя, правда, последнее время у меня, как и последние годы в России, страшно распухли пальцы от холода, и писать я не могла.

Сегодня много уехало во Францию; между прочим, Реймерс, Минеев, Коваленко; да и из оставшихся преподавателей многие бегут весной. Адмирал озабочен. «Когда, — говорит, — кухонные мужики бежали — это полбеды, а что вот теперь будем делать?» Сейчас общее настроение Сфаята таково, что каждому хочется ехать. Напр<имер>, Реймерс с Минеевым решили ехать только в два дня. У всех такое впечатление, что здесь дело мертвое, идет к концу; хотя из Парижа получают самые утешительные письма. Но и с выездом отсюда дело обстоит очень скверно. Нам троим, чтобы доехать до Парижа, надо 300 франков; да чтобы там прожить недели две — еще 300. При таких условиях, конечно, нечего и думать об отъезде, остается только на что-то надеяться, а на что — неизвестно.

А в Европе что-то назревает. Говорят, будет война, а тогда такая сутолока получится, что не дай Бог! Папа-Коля говорит уже о мировом большевизме. И если это время мы будем здесь, то несдоб-

ровать уж. Вообще, сейчас положение такое неопределенное, что вот-вот ждешь какой-то перемены. Ровно два года тому назад мы приехали в Сфаят. Тогда была такая же неопределенность. Но вот уже два года, и никакого перелома нет. Правда, многое выяснилось за это время, многое изменилось; но сущность та же, и эти годы только подтвердили ее. Несомненно, что в России никакого переворота не будет, а большевизм сам, мало-помалу, примет нормальные формы и, конечно, эти формы нас не вместят. Я уже решила, что года через три буду пробираться в Россию. А пока надо учиться, учиться, учиться.

8 февраля 1923. Четверг

После такого перерыва как-то и нехорошо приниматься за дневник. А между тем за это время произошло многое: было получено письмо от Лели, читала последний том Игоря Северянина, распухли от холода руки и все время перевязаны; злюсь на Лисневского, много копаюсь в себе по этому поводу; прочла Бориса Зайцева «Дальний край» — опять новые ощущения. Наконец, вчера была панихида по Колчаку, и опять старые переживания. И ведь ничто не проходит так, само по себе, каждое событие влечет за собой сложный ряд психологических переживаний. Наступил период какой-то апатии, ничего не хочется делать и по ночам думать не о чем. Начинаю создавать себе иллюзии, и все они так быстро разрушаются. Теперь как будто снова пробуждается трезвое сознание и трезвый взгляд.

Лелино письмо меня расстроило: у них и в среде той молодежи — та же апатия к жизни, то же отсутствие идеалов, тот же материализм. Если сказать какому-нибудь кадету слово «идеал», так он только засмеется: «Пустой бред, теперь не время ими заниматься, идеалы вот до революции довели» и т.д. Я думаю, едва ли у многих осталось сознание чести и долга. Правда, с кем ты ни поговоришь откровенно, так у каждого оказывается в жизни глубокая трагедия. Зато и немногие перенесут будущее. А обвинять никого нельзя.

6 марта 1923. Вторник

С самой пятницы я лежала в постели: у меня был бронхит. За все эти дни я много, очень много передумала, но ровно ничего не придумала.

К обычным вопросам, волнующим меня, прибавился еще один: правда или неправда, что я люблю Лисневского? Серьезно, глубоко ли это, или так просто, самообман, развлечение скуки ради? За что любить-то его? Человек как человек, растяпа к тому ж, ухаживает за

м<ада>м Калинович; с одной стороны, разыгрывает из себя страдальца, гонимого судьбой; с другой стороны — совсем мальчишка. Но почему я так волнуюсь, когда говорят о нем; почему его одного из всех я бы хотела сделать близким себе; хотела бы, чтобы он у нас часто бывал; может быть, сказать ему многое. Не знаю, как только к нему подойти. Если бы он сделал к этому шаг, я бы, кажется, простила ему все. Боже, как глупо, как все это глупо!

Сегодня я написала стихотворение «Чары ночи». Написала белыми стихами (надо же попробовать!). Посвящается оно Лисневскому, но уж на этот раз совсем втайне, не письменно. Теперь-то я уж не попадусь впросак! Пока кончаю. Надо заниматься. Вечером опять примусь, многое написать хочется.

Вечер. Ну что я буду с собой делать? Люблю и все тут. А может, это и не так? Может быть, я все это так только выдумала? И почему именно его? Неужели из всех кадет никого нет лучше его? Ну да это пустой вопрос. Только бы теперь познакомиться с ним поближе. Да как привлечь его к себе? Я ведь не м<ада>м Калинович, не хорошенькая, не изящная и нет во мне такой развязности и веселости; а он, как не напускает меланхолию, а все-таки совсем еще мальчишка и любит повеселиться. Смешной он какой-то: самый маленький в роте, и зовут его кадеты: «Николай Николаевич» — в насмешку, конечно; и обращаются с ним как со своим соратником, а не как со старшим кадетом. Да и ему, по-видимому, интереснее бывать с 6-ой ротой. А мне в нем что-то нравится. А все-таки влюбляться — совсем глупо. Не нравится мне только то, что на последнем вечере он ни разу не танцевал со мной и все бегал за м<ада>м Калинович. Этого я ему, конечно, никогда не прощу. Это я-то? Ох, как смешно! Я на какие штуки пустилась. Еще мне очень не нравится, что он страшный консерватор; конечно, монархического толка. Хотя я уверена, даже не сомневаюсь, что это у него, как у всех кадет, просто напускное, непродуманное... А все-таки, в смешное положение я попала. Пожалуй, это отразится на моих занятиях.

7 марта 1923. Среда

4-я рота волнуется. Происходит в ней что-то странное. Недавно они «обложили» одного корабельного гардемарина, своего отделенного начальника — Стрекаловского. Этот Стрекаловский — один из обычных идиотов Морского Корпуса. Сыплются у них винтовки и карцеры так, что не хватает времени для занятий. Seriously. Завалишин предлагал на Совете сократить число уроков, так как кадетам некогда стоять под винтовкой, и наказания задержива-

ются по неделям! Еще Стрекаловский говорил в роте, что морякам образования не надо, а надо только военный лоск. Отношение к кадетам начальства, особенно мичманов, скверное; и вот у них накипело, и они не выдержали. Когда вечером Стрекаловский пришел в роту, то его встретили свистками и руганью. Он начал говорить, его заглушили. Он вышел, и вслед ему посыпались куски мыла, табак, танки и т.д. Это, конечно, дело семейное, официально об этом никто не знает, но последствия чувствуются: чуть ли не полроты или под арестом, или под винтовкой. Наказания сыплются за каждую мелочь. Напр<имер>, один кадет рассказал об этом Матвееву и попал под арест; другой, Зубович, после молитвы, когда один из их мичманов не сказал роте обычного: «Спокойной ночи», сказал: «И этот обиделся», получил невероятное число винтовки «за мещанское выражение», как записано в журнале. Многие кадеты из мещан, в том числе Зубович, страшно оскорбились этим и подали докладные записки об увольнении. За ротой установлена страшная слежка. Сам ротный командир Брискорн ходит подслушивать под окнами речи, и по Сфаяту бегают контролировать, где и кто из кадет был, зачем, в котором часу и надолго ли. Кадеты негодуют, страшно взволнованы, забросили занятия. Только об этом и говорят. Что-то мне кажется, что это не ограничится только одной 4-ой ротой.

А на эскадре произошел недавно такой случай: была продана французам канонерная лодка «Грозный». Русским было поручено отвести ее в Ферривиль. Тогда два мичмана из чувства патриотизма (или просто по глупости) по дороге, даже не выходя из озера, в канале открыли какой-то люк и потопили ее. Правда, она только кормой села на мель, а нос торчал над водой, но «подвиг» был совершен. Для того чтобы вытащить, понадобилось тысяч пятьдесят, и это будет вычтено из русских денег. Оба мичмана преданы суду. А сегодня был приказ Беренса, что, мол, патриотизм вовсе не в том заключается, чтобы проданные корабли топить. Должно быть, эти господа эскадренные из такого же патриотизма, когда продавали «Добычу», испортили в ней машины и содрали все, что только возможно, вплоть до зеркал, умывальников и даже бархата на обивке!

8 марта 1923. Четверг

Вчера только 8 человек подали докладные записки об увольнении. Им было отказано, сегодня подала вся рота. Сегодня же инспектор И.В.Кольнер доложил адмиралу об этой истории. Адмирал впервые об этом узнал. Сказал, что действовать надо тонко и осторожно, и надо много подумать. Папа-Коля боится, что адмиралу все это надоест и он действительно исключит их всех. А Завалишин предлагает исключить из каждого взвода по первому ученику.

Обидно, что перед самым концом разыгралась такая штука. Не то плохо, что они не окончат Корпуса, но это закрывает доступ в университет. А что им делать? Судьба их будет не из завидных.

11 марта 1923. Воскресенье. Около 12 ночи

Сегодняшний вечер стоит недели упорного труда. Чем он был хорош — трудно сказать. Весело было, вот и все. Были кадеты. За большим столом играли в винт, а мы за маленьким тоже — в карты. Были: Шмельц, Крюковской. Потом зашли от Насоновых Новиков (4 рота) и Овчаров. Пришли, кажется, узнать время и застряли. Очень много смеялись, все дурили, и было весело. У меня было (да, пожалуй, и сейчас еще не прошло) какое-то странное, бодрое настроение, хотелось завтра встать с побудкой, заниматься, работать! Добродетельные мечты!

Вчера получила от Лели письмо. Сообщает, между прочим, известие, что Таня собиралась выйти замуж за Толю Мохова, но потом раздумала. Не знаю даже, как к этому отнестись. Глупо, конечно, что же еще скажешь. Хочется даже написать ей, но если она мне не отвечает, значит, у нее есть для этого основание.

Сегодня письмо Леле уже готово, завтра будет отослано. Вчера же получили письмо от Ивановых из Ростова и даже карточку девочек: Гали, моей крестницы, и Лели. Гале теперь уже 6 лет, а Лели при мне еще не было на свете. Обе очень хорошенькие, особенно Галя, но только она очень грустная.

12 марта 1923. Понедельник

Что-то грустно. Может быть, оттого, что насморк ужасный, прямо ни лечь, ни сесть. Готова перенести снова какой угодно бронхит, только бы избавиться от такого насморка.

Письмо сегодня уже опущено в ящик в столовом бараке. Завтра, когда Леммлейн поедет за почтой, оно тронется в город. Там полежит в Contrôle Civil и когда-то еще отправится в Европу. Видела Лисневского, через окно, конечно, едет себе с баками, как ни в чем не бывало. Мне бы хотелось, чтобы Мамочка ему голланку сшила (сейчас шьются 4-ой роте голланки к выпуску). Мне жаль, что он скоро кончает, так я и не успею с ним познакомиться. Не знаю, как это сделать. Мне еще очень неприятно, что я не могу его себе представить; представляю отдельные черты лица, а вместе не могу.

21 марта 1923. Среда

В прошлую среду я опять слегла и встала только в воскресенье. У меня обострился бронхит, да и сейчас еще не прошел. Ужасно

скверное, нервное состояние, словно все ждешь чего-то тревожного. Как-то ничем не могу заняться и ни на какой мысли остановиться. Что-то хочется, а чего — не пойму.

Из внешних событий кое-что произошло за это время: неделю тому назад на форту выстрелил в себя Майданович. Стрелял в сердце, а попал мимо. Рана не опасная. Причина самоубийства неизвестная. Говорят, что стрелялся из-за 4-ой роты. Это, по-видимому, надо понимать так, что в 4-ой роте большая склонность к штатскому, мало военного духа. Когда кадеты 4-ой роты подбегали к нему, чтобы помочь ему, он крикнул: «Прочь! Я не желаю иметь с вами дело!» — и что-то в этом роде. Он оставил какую-то надпись на стене в своей комнате; когда Калинович прибежал на выстрел, он первым делом стер эту надпись. Сейчас Майданович поправляется, но будто бы сказал, что если несколько человек 4-ой роты не будут исключены, то он еще раз застрелится. На кадет его самоубийство, кажется, произвело мало впечатления. Все они говорят только, что он «странный человек» и ужасно падок на всякие наказания. Его не любят.

После этого командиру 4-ой роты Брискорну (отчаянный солдатон!) пришлось наконец уйти в отставку. Он страшно зол на всех и на роту. Когда раз он проходил мимо роты и дежурный командовал: «Смирно!», он сказал ему: «Можете не командовать смирно, когда я прохожу: все равно я не желаю здороваться с четвертой ротой». Это страшно возмутило всех, а кадеты совсем потеряли голову. Но что нелепее всего, Завалишин предполагает оставить Майдановича на месте, в 4-ой роте! Да, по-видимому, это так и будет. Ротным пока в четвертой роте Круглик-Ощевский, командир 5-ой роты. К ним он страшно придирается и никому спуска не дает. Те только ахают и ждут не дождутся, когда к ним назначат настоящего командира.

Имшенецкий уехал в Безансон. Сфаят облегченно вздохнул. И странно: ругали его все, а как собрался уезжать, жалко стало. Все-таки преподаватель он хороший, настоящий. Кадеты только и мечтали, как бы избавиться от «очконоса»; а как уехал, так сами признаются, как много он для них сделал, и заменить его никто не сможет. Когда уже его ждал извозчик, он в последний раз забежал к нам проститься. Весь в слезах, прямо рыдает. «Вы ко мне, — говорит, — лучше всех относились, спасибо вам, спасибо. Дурак я» и т.д. Мне даже его жалко стало. А все-таки хорошо, что он уехал. Противный человек.

В воскресенье ко мне пришли кадеты — Мима Крюковской, Коля Овчаров, Сережа Шмельц. Все они без отпуска и потому на

вопрос, до которого часа отпущены — ответили: «бессрочно». Мы играли в карты, очень дурили. Около Мимы лежали часы. Не знаю уже, каким образом он на них смотрел, но когда он объявил 10 часов — было ровно 12. Когда Мамочка раскрыла эту ошибку, они страшно испугались, замолчали и быстро-быстро стали собираться. В 12 часов запирают ворота форта, и им придется перелезть через забор и уж, не дай Бог, кому попасться на глаза. Но, конечно, они проскользнули удачно. Только Сереже что-то не повезло, сегодня он пришел к Мамочке на примерку с Тимой Маджугинским (он в роте старшим дежурным), вероятно, тот его конвоировал, хотя он этого и не говорил, к тому же Сережа был без воротника, а это значит, что он под арестом. За какие добродетели попал — не знаю. Говорит: «за дела». Его отделенный, мичман Макухин, к нему страшно придирается — это вся 5-я рота говорит.

Вот, кажется, и все, что произошло за это время. Начала опять заниматься. Во время лежания написала несколько стихотворений. Не совсем их можно назвать удачными. Еще два придумала, но не записала, и не запишу — не нравятся они мне. Первое слишком сентиментально и глупо, как может написать только больной человек, второе — бессмысленно и совершенно неинтересно ни по форме, ни по словам. Теперь я решила некоторое время ничего не писать, нужно опять зарядиться и поймать что-нибудь новое, свеженькое. А то я окончательно попаду под власть одной мысли, и это неизбежно приведет к гибели.

24 марта 1923. Суббота

Все три под арестом: и Мима, и Коля, и Сережа, как будто бы за «воскресное». Сережа, бедняга, даже переведен в 3-ий разряд и ходит без погон. Мне его жалко все-таки, как-никак, а неприятно являться в Сфаят без погон! А Лисневский тоже за что-то переведен в низший разряд; но у них в 4-ой роте как-то странно: он не лишен погон, а только должен снять нашивки (у 4-ой роты погоны с позументом). А он ловко придумал: вместо чем спарывать и опятьшивать галун, взял и обернул погоны белой тряпкой, так-то проще!

Не правда ли, глупое положение? Ведь смешно сочетание: я и Лисневский? Как? Почему? Все мне кажется, что это только забава, само развлечение. Увы, очень нелепо, и на меня не похоже. А между тем я все чаще и чаще думаю о нем; он постоянно фигурирует в моих мыслях и фантазиях, и все мои фантазии как-то невольно группируются вокруг него. Другими словами, он стал центром, излюбленным маяком одиночества и тех бесшумных ночных часов, когда не хочется спать и хочется много думать, но только думать о ком-нибудь, а не о себе. Ведь было немало личностей, вокруг кото-

рых лепились такие ночные фантазии; но был перерыв, когда это место оставалось пустым. Тогда было мучительно. Тогда я хандрила. Но раньше я довольствовалась тем, что эти лица существуют вообще; я думала о них совершенно безотносительно к себе. А теперь я все чаще и чаще вывожу на сцену себя. Мне мало, что он существует, мне надо, чтобы он был близко. У меня теперь одна искренняя молитва: «Господи, сделай так, чтобы я ближе познакомилась с Лисневским». Отчего я стала такая?

25 марта 1923. Воскресенье

Ждешь, ждешь воскресенья, а придет оно, и станет еще тошнее. В самом деле, разве это «праздник». Сегодняшний день прошел на редкость нелепо — ровно ничего не делала, все чего-то ждала. Из кадет, конечно, никто не пришел: те три — без отпуска, Тима у отца, а Вася Доманский один не придет; из шестой роты тоже никто не заглядывал, ни Женя Наумов, ни Биршерт. Да все равно, если бы кто из них пришел, так с ними все равно скучно. Всего интереснее с Сережей, еще, разве, с Мимой. А одной нестерпимо скучно. А тут еще Конст<антин> Константинович приходил и все говорил об экзаменах, о том, что на Пасхальной неделе придется усиленно заниматься и т.д. Я опять расстроилась и пошла плакать за занавеску. Не могу ни говорить, ни думать об экзаменах. Не верю я в себя, не выйдет из меня ничего, а такое выжидательное состояние — надоело, временами мне кажется, что я не выдержу его.

Сейчас собралась с духом и написала письмо Наташе Пашковской. Завтра отправлю. А хорошо бы и с ней завязать переписку.

Сейчас у нас играют в винт. Мне не то спать хочется, не то нездоровится, не пойму. Надо бросать дневник и заниматься. Пора понять, что праздники — ничто. У меня не должно быть праздников. Вчера я легла спать около 1½ ночи и долго не спала, все думала, философствовала; и мне стало до боли ясно, что в душе у меня сидят два чертёнка, маленькие, серые, будто из гуттаперчи, с красными глазами и хвостами, похожи на крыс. И эти чертенята все время дерутся и ругаются; когда один что-нибудь задумает, другой непременно ему ножку подставит. Одному — хорошо, другой старается, во что бы то ни стало, свинью подложить. Потом помиряются, обнимаются, целуются, не могут налюбоваться друг на друга, а потом вдруг опять расплюются.

26 марта 1923. Понедельник

Мне бы не хотелось, чтобы мой дневник читал кто-нибудь чужой: слишком много в нем глупостей, понятных только мне. Да при

жизни мне этого нечего бояться, а после смерти — не все ли мне равно? Ведь тогда кончится все моё. Я не верю в бессмертие души. А если душа еще будет жить после смерти, то ей, наверно, будет очень мало дела до того, что случилось с именем ее телесной оболочки.

Сейчас около 12-ти ночи. Где-то под Сфаятом трещат пулеметы и ружейные выстрелы: очевидно, французы устраивают с арабами маневры. Противные, даже не предупредили. В Сфаяте, наверно, началась паника. За стеной, у Жук<ов>, тревожные голоса.

28 марта 1923. Среда

Вчера в это самое время (начало первого) я взялась за дневник, но задумалась и вместо этого написала стихотворение «Песенка», довольно удачное, оно очень нравится Папе-Коле.

Вчера был русский. Я закончила весь курс литературы, и теперь мне предстоит написать 10 сочинений, темы которых потом, перед экзаменом, будут представлены Кольнеру для выбора. А у меня все еще сознание, будто я ничего не знаю. Противная черта. Вчера на уроке, как дошло дело до выбора темы, на меня вдруг страх нашел: я это никогда не напишу, я этого не знаю! и т.д. Потом заплакала и ушла за занавеску. Конечно, я преувеличиваю. Что-нибудь, как-нибудь я бы написала. Но все дело, по-видимому, в том, что я не хочу писать «как-нибудь», «кое-какие» знания я, наверно, не считаю знаниями. Пишу «по-видимому» и «наверно», потому что сама не понимаю, в чем тут дело.

А сегодня, когда Конст<антин> Константинович вечером ходил с Мамочкой гулять, говорил ей, что он очень расстроен вчерашним уроком, что я отношусь к занятиям терпеливо и совершенно инертно, что меня эти уроки не интересуют и т.д. Потом с Мамочкой разговор на эту тему. «Вот когда я была на курсах, как я увлекалась каждым предметом, какое я удовольствие находила в занятиях, а ты к ним относишься...» — и все в таком роде. Ну а что же делать? Мне и самой досадно, что во мне нет уверенности в себе, и действительно, эти уроки меня мало увлекают; должно быть, потому, что все это «по Саводнику» и «к экзамену»; а может быть, и правда, что нет у меня никаких возвышенных интересов; и вообще я инертный и пустой человек. И вдруг мне до боли стало жалко себя; и за то, что я пустая; и за то, что кажусь такой; и за то, что я не могу найти себе то, что нужно. Мне вдруг стало так обидно, что никто меня не может понять, даже я сама, и неоткуда мне ждать ни поддержки, ни сочувствия. Пошла опять за занавеску и долго плакала.

29 марта 1923. Четверг

Сегодня я собой довольна. Я много занималась, много успела пройти и вдобавок написала два сочинения. Первое, на тему «Онегин как тип лишнего человека в русской литературе», написала днем. Тема дана была во вторник, но я заявила, что к четвергу ни за что не напишу. Конст<антин> Конст<антинович> сказал, что завтра просмотрит его. После урока психологии взял да предложил еще тему: «Правда ли, что один в поле не воин?» «Завтра, — говорит, — надеюсь оба сочинения просмотреть». Я прямо в ужас пришла. Когда он ушел, я было опять собралась за занавеску пойти, но как-то случилось, что не пошла, а вместо этого взяла тетрадку и весь вечер просидела. Все-таки написала, правда, глупостей много. Сейчас половина второго, самое хорошее время для занятий: и спать не хочется, и никто не мешает. Но надо ложиться, а то завтра опять не встану вовремя.

31 марта 1923. Вербная суббота

Вот уже наступают те дни, с которыми связано так много любимых воспоминаний, в которых скрывается что-то неотразимо хорошее, вместе с тем и плохое. В этом году я даже не знаю, чего больше — хорошего или плохого? Хороша Страстная неделя, хороши церковные службы, хорошо ожидание великого праздника. А не хорошо — какая-то поспешность, выбитое из колеи время, да и сам праздник. Праздники — всегда грустные дни, особенно теперь. На душе тяжело, внешнего, видимого праздника, конечно, тоже нет; и сам праздник является как бы насмешкой нашим будням. Потом, в такие дни сильнее всего чувствуешь свое убожество. Это, конечно, ложный стыд, но он больно бьет по самолюбию. Если еще посравнивать себя с французами, то такого обидного чувства не бывает. Но когда кругом свои же, русские, готовятся к празднику, чего-то ждут, делают себе праздник, то в такие минуты хочется уйти и быть в стороне. Много в человеке ложного, а во мне, быть может, в особенности. Но некоторых чувств я в себе не могу заглушить, они пробиваются сквозь кору критицизма. В такие минуты хочется, конечно, с кем-нибудь поделиться. Хочется написать Леле несколько строк; написать, как мы стояли в бараке перед украшенным алтарем с пальмами в руках; и попросить ее написать, как она возвращалась из церкви с вербами.

Досадно на себя. Досадно, что ничего не делается так, как диктует рассудок. Побеждают какие-то нелепые и неожиданные чувства, и справиться с ними нет ни сил, ни охоты. Все как-то переворачивается и проходит мимо.

1 апреля 1923. Воскресенье

Сегодня был хороший вечер, таких немного. В столовом бараке был акафист Божьей Матери — праздник освящения нашей эмигрантской иконы «Радость странным». После акафиста — крестный ход вокруг Сфаята и в Кебир, в церковь. Было все как-то мило и хорошо. И пели так хорошо, и ночь такая красивая, лунная, светлая, и крестный ход с пением молитв, музыка «Коль славен» — все это производило какое-то хорошее и успокоительное впечатление. Мне было хорошо, хотя я и не молилась. Я просто непосредственно отдалась настроению, красоте обрядов и музыке. Если я и молилась в такие моменты, то всё — об одном... Разве это грех? А когда я вспомню, что в церкви, в Кебуре, я видела моего мальчика таким спокойным, просто тихим, ничего не разыгрывающим из себя — мне становилось приятно и больно. Там, в церкви, он был самим собой и иначе, как «мальчиком», я не могла его назвать.

Вечером, вернее, ночью, начала писать сочинение: «Татьяна как прообраз героини литературы XIX в.», написала две страницы, а больше не могу. На уме все Лисневский. Уж очень он мне понравился сегодня. Все-таки всего интереснее наблюдать за человеком со стороны, когда он этого не подозревает. И особенно, когда он один. Тогда исчезает вся невольная рисовка, и человек остается сам собой.

11 апреля 1923. Среда. 4-й день Пасхи

Надо было дать время нервам упокоиться, потому я так долго и не писала. Собственно говоря, ничего такого не произошло, чтобы можно было так расстраиваться. Все было как всегда. Ну да я напишу все по порядку. Так грустно и нелепо я еще никогда не проводила Пасху, за исключением, разве, 20-го года. На Страстной неделе, в субботу причащалась. В субботу же весь день нервничала и помогала Мамочке дошивать мне платье. На заутрени было все как-то не по-хорошему. Во-первых, крестный ход был не вокруг форта, по рву, как обычно, а внутри двора, очень быстро и не торжественно. Совсем не создалось настроения. А сама служба была уж очень длинная, пели до невозможности медленно. Потом, около 3½, — крестный ход в Сфаяте, и там — общее разговение (с кадетами и, по традиции, без дам). Кадеты страшно недовольны. Говорят, было очень натянуто и официально.

На первый день в кают-компании было общее поздравление Сфаята (вместо визитов. Очень остроумно). С визитами были только мальчишки. Весь день были у нас: Илюша Маджугинский и

Толя Зимборский. Толя такой прелестный мальчик, так ему хочется сделать всем приятное, такой, видимо, привязчивый, прелесть!

На второй день была танцулька в Сфаяте. Я было не хотела идти, но потом раскачалась и пошла. У меня было скверное настроение: 1) Была плохая погода. 2) Мне было скучно, я все время была одна. 3) Были намёки на Лисневского; как, напр<имер>, Илюша выразился: «Тот, что вам очень знаком, — Лисневский». Очевидно, когда мы с Толей сидели в кают-компании, у Коли с Малашенкой был разговор обо мне, из которого Илюша и мог заключить, против всякой очевидности, что он мне «очень знаком». А тот (Лисневский. — *И.Н.*) даже не зашел с визитом, ограничился официальным поздравлением — от фельдфебеля роты!

На вечере я подседа к Наташе, чтобы не остаться одной. Сначала сердилась и не танцевала. Только потом Наташа с компанией втянули меня в заговор «обложить» Биршерта и Новикова. Это я люблю. Сначала разоблачали Всеволода (Новикова) в том, что он язык показывает в церкви, табак подкладывает в ладан и т.д. Всякую ерунду, в общем. Потом решили вытащить его танцевать. Когда был *Valse pour les dames*^{*}, я пригласила его. Отказываться нельзя, и он пошел. Потом я танцевала с ним весь вечер. Он очень плохо танцует, вернее — совсем не умеет, но зато с ним весело. Лисневский не подходил ко мне. Только раз подошел к Новикову и поздравил его с «бенефисом». А когда Всеволод сказал ему: «А ты (или вы) уж не ревнуешь ли?», он быстро-быстро пробормотал: «Я такими глупостями не занимаюсь» и моментально скрылся. Потом все время танцевал с Лялей. Если он ведет против меня хитроумную политику, то он, пожалуй, достиг цели. С тем вечером меня примирил только один его взгляд, долгий и пристальный.

Но обидное чувство осталось и останется надолго, навсегда. Теперь он стал от меня еще дальше, чем когда-либо, если только не будет сказки про Журавля и Цаплю.

Вчера все ушли гулять, так как была хорошая погода, а я осталась дома, и страшно мне было грустно. А Лисневский все время в кают-компании играл на рояле. Он очень хорошо играет. Музыка вообще всегда производит на меня сильное впечатление, да еще он играл такие грустные вещи, на душе грустно, нервы взвинчены, и я в сумерках долго сидела одна и плакала. Плакала и сама же над собой смеялась. Сегодня он был дежурный по столовому залу, и поэтому весь день терся в Сфаяте. Опять очень много играл. Спасибо ему хоть за это, своей музыкой он доставляет мне

* Белый танец (*фр.*).

большое удовольствие. Я слышала, что завтра опять проектирует-ся вечер. Надо бы выдержать характер и не пойти.

12 апреля 1923. Четверг

Сегодня днем долго гуляла с Мамочкой и Елизаветой Сергеевой. Погода — превосходная! На солнце особенно, когда нет ветра, так прямо жарко. Одним словом, меня разморило, сейчас здорово спать хочется.

14 апреля 1923. Суббота

Вчера был вечер на форту, так как Глафира Яковлевна себя очень плохо чувствует. Она на днях умрёт. Вечер был, пожалуй, один из удачных, хотя все было против него, да непогода. Как назло, к вечеру поднялся ветер и пошел дождь. Однако кое-кто из дам потащился на форт. Танцы были в помещении четвертой роты, все было убрано зеленью, в общем, красиво. Мы с Мамочкой пошли вместе с Насоновыми, за нами зашли два четвероротника — Тагатов и Щуров. Павлик Щуров на этом вечере играл такую же роль, как Новиков — на прошлом. Все время сидел со мной, разговаривал и танцевал, хотя и очень плохо танцует; а то ведь из знакомых кадет на таких вечерах никто даже не подойдет! Лисневский, правда, подходил, здоровался, все честь честью, а потом все время увивался вокруг мадам Смирновой (с эскадры). Однако, против всякого ожидания, пригласил меня на галоп, а после и близко не подходил. Правда, он был какой-то сонный. Однако уходя с Кебира, я мысленно сказала себе, что этого вечера я ему никогда не прощу.

Сегодня настроение никуда негодное. Злюсь, все время и потому ухожу за занавеску плакать. В церковь не пошла. В это время Леммлейн принес письмо от Лели. Лелино письмо, спасибо ей, сильно ободрило и успокоило меня. Милая! Кроме того, там было еще письмо от Вавы, оно меня тронуло уже по своей идее. Прочитав письмо и наклеив марки (Леля прислала), я вырвала из какой-то тетради лист и стала писать стихотворение, посвященное Лисневскому, которое, конечно, никому читаться не будет, а если и выйдет в свет, т.е. в альбом, то с большими изменениями. Осталось дописать две строчки, но тут наши пришли из церкви, и мне не хотелось писать на виду. Начали читать письма вслух. Приходил Констант<ин> Кон<стантино>вич, ничего, продолжаю читать письма интересные. А листок со стихотворением под рукой. Вдруг стук в дверь и входит Лисневский. Я все-таки продолжаю Вавино письмо и даже принимаюсь за Лелино, с большими пропусками, конечно. Однако я прочла фразу: «Я далеко стою от своих товарищей, благодаря неумению подойти к людям. В этом я горячо жму

твою руку. Я тоже с кем хочу подружиться, не умею подойти». Это — ответ на мою фразу к Леле, в которой я именно и имела в виду Лисневского. Листок со стихотворением я сунула в тетрадь с марками, а когда он стал смотреть марки, я едва успела выхватить его. Весь вечер проговорили с Колей. Конечно, если бы мы были одни, было бы лучше. Правда, не могу передать, о чем мы с ним говорили. Но вчерашнего вечера я ему все-таки не прощу.

Сейчас допишу стихотворение. Я уже забыла его.

15 апреля 1923. Воскресенье

Хоть последний день праздников прошел хорошо. После обеда Елиз<авета> Серг<еев>на позвала меня гулять на «обсерваторию», т.е. на гору перед мысом Бланко, где стоит семафор. С нами шли Новиков и Щуров. Новиков, хоть и славится за серьезного человека, но порядочный-таки болтун, а Щуров мне положительно нравится. Уже на обратном пути, у Надора, нас встретили еще два кадета — Тагатов и Корнилов. Вечером Елиз<авета> Серг<еев>на пригласила меня к себе, все 4 кадета были там; и мы очень мило, шумно и весело провели время. Коля Тагатов мне начинает нравиться (раньше я его почему-то ненавидела), уж очень он зубоскал, к нему только попади на язычок! Костя Корнилов тоже симпатичный. Он очень застенчивый, скромный, в нем есть что-то нежное, даже женственное.

Играли мы в «чепуху», а потом в «почту». Уж какие только мне письма ни писали! А рядом лежат листочки «чепухи», так что можно сравнить все почерки. Коля зубоскалил, Всеволод разыгрывал мрачного демона, и вообще было весело.

В общем, я довольна сегодняшним днем и новым знакомством. Ведь это было почти знакомство, с этой четверкой весело. Хоть бы к ним ближе подойти!

21 апреля 1923. Суббота

Вот уже целая неделя, как у меня нет свободной минуты. Неделя прошла бешено, хорошо занималась, т.е. довольно много. Закончила психологию, кончила новую историю, начала логику и обещала пройти ее в 4 урока (28 часов!) Прошлый урок выдержала. Написала два сочинения. Второе («Иноземное влияние в русской литературе») начала вчера вечером, сегодня писала почти все время с обеда до ужина, написала 11 страниц и кончила Хемницером. Уж очень большой взяла масштаб.

А вообще все идет скучно.

У Папы-Коли опять неприятности в Корпусе. Опять все косятся, дуются... Надоело.

И у меня опять на душе невесело. Ждешь, ждешь субботу, а в ней ничего нет. Чувствую, что все развлечение и все утешение — в стихах, когда пишу — делаюсь сама собой. Только в своих стихах нахожу еще веру во что-то, в себя, может быть.

22 апреля 1923. Воскресенье

После завтрака сидела в самом убийственном настроении у окна, уже заранее жалела о потерянном празднике. Вдруг является Толя Зимборский, зовет меня гулять. Я, конечно, с радостью хватаюсь за его предложение. Хотели позвать еще детей и пойти куда-нибудь погулять и поиграть. Идем по Сфаяту — навстречу Лисневский и Панкратович. Коля подходит ко мне: «Ирина, не хотите ли немножко пройтись, погулять?» — «С удовольствием». Подошел еще Леньков, и мы впятером отправились на «Старый форт». Погода была отчаянная, ветер исключительный даже для здешних ветров, во время завтрака было что-то вроде самума. На «Старом форту» ветер еще сильнее, меня он уронил, я упала на камни и расшибла себе ногу. Там мы устроились во рву, где ветер немного слабее, и довольно долго просидели там. Оттуда спустились на Алжирское шоссе. Лазанье по горам в такой ветер было поистине безумием, зато весело. По дороге нашли ромашки, начали гадать. Коля дает мне ромашку: «Погадайте на мое счастье», я ему тоже дала и загадываю про себя: «Можем ли мы быть друг другу близкими?» Выходит — «нет». «Я знаю, что вы загадали», — говорит Коля. «Сомневаюсь». — «Может быть, не знаю точно, но приблизительно». — «Так скажите, что?» — «Сейчас нельзя, после». По дороге разговор несколько раз возвращается к этой теме (мы с Колей шли впереди). «Я потом скажу» и все. Дал мне еще несколько ромашек для гаданья. Уже под самым Сфаятом зашел разговор о вере. «Я на последнем вечере поссорился с одной дамой», — вставил Коля. «А я на предпоследнем вечере поссорилась с одним кадетом!» — говорю я. «Со мной!» — вдруг говорит Коля и смотрит на меня в упор. Это было так неожиданно, что я даже растерялась. «Да нет, почему же с вами?» — «Не отпирайтесь, прямо в точку попал!» Я отнекиваюсь: «Так почему же мне с вами ссориться, с чего вы это взяли...» и т.д. «Я знаю, — говорит, — я знаю, что на этом вечере вы были на меня страшно сердиты, да и не только на этом вечере, а и раньше, вы уже давно на меня сердитесь, я знаю, я все понимаю». Я уже больше и не отпираюсь: «Ну, может быть, и сердилась». — «Я об этом-то и загадывал, и у меня вышло “да”». — «Ну, а о чем же я загадывала?» — спрашиваю. «Не сейчас, я после скажу, хоть завтра, надо сначала подумать, как бы сказать...»

Так, значит, он великолепно понимает, что я на него сержусь и, наверно, понимает, за что. Мне это уже немножко досадно. Так он, пожалуй, может узнать, чего и не следует, а я вот до сих пор не понимаю его.

24 апреля 1923. Вторник

Получила письмо от Тани, думала — обрадуюсь — все-таки после такого большого молчания весть от нее. Прочла — только досадно стало. Ведь есть еще такие люди! Теперь окончательно вижу, что мы друг от друга отошли. Вот с Лелей мы больше сблизились за это время; в ней я действительно нахожу участие, понимание и ответ на многое; в ней я вижу друга. А прежних отношений к Тане уже не вернуть. Она меня любит, доверяет мне, это все так; но ни одного ответа на большие вопросы, ни одного слова участия; все так эгоистично, безалаберно и пусто. Она — пустой человек, я чувствую — что стала много старше ее. Я даже не знаю, о чем с ней можно серьезно поговорить? Вот уж с ней-то мы, действительно, будем говорить на разных языках.

Вечером опять поднимался разговор об экзаменах, опять все нервничали, волновались, кричали. Я опять страшно расстроилась и плакала, хоть у меня и не было для этого достаточных оснований: ведь все в моей власти; так значит еще рано отчаиваться и расстраиваться не стоит. В самом крайнем случае, я закончу экзамены к будущей весне. И в этом еще ничего ужасного нет: ведь мне еще не так много лет, а при современных условиях и то будет счастьем. Все бы было ничего, но есть один вопрос, который все дело меняет. Если бы я была одна и в мыслях, как и в жизни, но беда, что в мыслях у меня один Лисневский. Я сочувствую Леле, которая возмущается такими глупыми увлечениями, я упрекаю в них Таню, а с собой сладить не могу. Но я думаю, что тут не то, о чем пишет Леля, и не похоже на Танины романы. Я люблю его сильно и искренно. Может быть, это и самообман, но теперь он стал для меня неизбежной необходимостью. Я хочу с ним договориться до конца, но только наедине. А это не удастся. Я хочу, чтобы он был здесь, близко около меня, пусть даже слишком близко, я бы не остановилась. А между тем уже виден конец: скоро он кончает, сначала — миноносец, потом — отправка куда-нибудь учиться. И то, что было хоть слабым моментом, и то улетит. Так просто мы и расстанемся, и не увидим больше друг друга... Если бы я была свободным человеком — я бы пошла за ним. Я бы нашла для этого миллион способов. А теперь — он уедет, а я останусь. Мне больно оттого, что это неизбежно будет, да еще так скоро будет.

А может быть, это и к лучшему...

Петербург VI

Все к лучшему.

25 апреля 1923 г. — 10 мая 1924 г.

СФАЯТ

Пойми — умением умирать душа облагорожена.

Опаленным, сметенным, сожженным дотла —
Хвала!

А.Блок

25 апреля 1923. Среда

Сегодняшний день ничем не замечателен. Он был посвящен «домашнему делу», т.е. стирке, уборке, головомойке и починке. Сегодня была хорошая погода, днем мы с Мамочкой ходили немного гулять. К вечеру захлодало. Не знаю, когда же наконец установится весна.

Сейчас около двенадцати, все спят, в Сфаяте темно, так как почти все сейчас на форту, на проводах начальника хоз<зяйствен-ной> части Богданова (он завтра уезжает в Париж). На улице слышны голоса — возвращаются.

Вечером удалось позаниматься математикой. Логика у меня завтра, предмет очень интересный, жаль, что, в конце концов, на него остается так мало времени, — все литература заедает. Я бы завтра весь день прозанималась логикой с громадным удовольствием, но как представляю себе, как это придет Конст<антин> Константинович, сядет: «Ну, рассказывайте», — так всякая охота пропадает. Как я ему буду рассказывать 20-30 страниц, ведь это не литература! А он все время молчит, будто воды в рот набрал!.. Но я все ерунду пишу; мне хочется спать и думать.

26 апреля 1923. Четверг

Чувствую, что в душе у меня целая революция: все поднимается, кипит, бурлит; а я мечусь, как оголтелая, и не нахожу себе

места. Я уже начинаю терять равновесие и чувствую, что могу на- творить немало глупостей. У меня одно желание, одна молитва. Пусть это и глупо, но это искренно. У меня в душе чего-то не хва- тает, а скорее, и совсем ничего не осталось. Я сейчас одинока, как никогда. Это особенно чувствуется, когда с мыслей не сходит Лисневский. Все это до крайностей, до безумия глупо. Но как я хо- чу, чтобы он был близко...

Но я опять пишу совсем не то, что хочу.

28 апреля 1923. Суббота

В церковь сегодня не пошла. Надо признаться, что, в конце концов, я — неверующий человек. Т.е. я не верю в то, что пропове- дует о. Спасский; и не верю, может быть, именно потому, что он сам не верит; потому что я чувствую фальшь в его красивых и бле- стящих по внешности проповедях. То, что он говорит, меня не трогает и ни в чем не убеждает; вероятно, потому, что он сам не ве- рит в то, что проповедует. Я не верю в те истины и догматы, кото- рыми он играет; я не верю в бессмертие души. Я люблю церковь совсем не с той стороны, с которой ее старается выставить Спас- ский. Вовсе не обрядность и не символика трогают меня, а то хо- рошее, доброе настроение, которое иногда создается там и кото- рое мне дорого. Я иногда молюсь и даже искренно. Но молитва ни- когда не дает мне успокоения; очевидно, потому, что я не умею верить. Последнее время меня не тянет в церковь; может быть, потому, что я стала глубже чувствовать свое безверие.

Сегодня после всенощной была лекция «О душе и ее бессмер- тии». Я не пошла: все равно не убедит. Да я и не люблю этих т<ак> наз<ываемых> «собеседований»: кричит на весь Сфаят, стучит пал- кой, машет тростью. Я слушала один раз «О дьяволе»: говорил анек- доты и легенды, подтверждал цитатами из новой литературы, ввел политику. Как-то все это нехорошо. Во время всенощной ходила по комнате из угла в угол. Я люблю оставаться одна, но за последние дни не могу найти себе дела, хотя дела выше головы. Но не могу ни- как сосредоточить мысль на Дон-Кихоте или тангенсе с котанген- сом. Я ходила из угла в угол и считала шаги: уместается девять ма- леньких шагов. Мысли у меня не было как-то никакой. Я думала только о том, что назавтра Ирина Насонова пригласила меня к се- бе на именины; значит маловероятное, мечтаемое свидание с Лис- невским стало еще невероятнее. Что он и кто он? Как мне понять его странное отношение ко мне, это игнорирование и умышленное незамечание меня; а с другой стороны, его внимание на последней

прогулке, едва уловимые полуфразы и полуслова? Но мне все равно, что это значит. Мне только хочется, чтобы он меня понял.

29 апреля 1923. Воскресенье

Была у Ируси на именинах. Днем на «чае» было довольно скучно, была вся детвора, а старшие держались как-то поодаль. После чая отделилась небольшая группа, и пошли гулять под рожковое дерево. Из старших были только я и Павлик Щуров. Сидим, играем, вдруг вижу — идет Лисневский. Я не знаю, каким образом он очутился тут, очевидно, искал Щурова, но потом остался и играл с нами и, может быть, были и другие цели. Несколько незначащих и многозначительных слов, — и я опять потеряла равновесие. Не с внешней стороны, конечно. Наоборот, я держалась очень естественно и просто, но каждый мускул во мне был напряжен, именно потому, что нужно было быть как можно проще. Конечно, тут отчасти была и рисовка. Я кокетничать не умею, но рисуюсь совершенно произвольно, надо сознаться — часто.

Мне кажется, что Коля хотел меня еще видеть сегодня после ужина, это было ясно как-то само собой, мы с ним даже не простились. Я ждала, что он придет вечером, тем более что он не пошел с батальоном, а остался на вечер в Сфаяте, и я, быть может, очень глупо сделала, что пошла к Насоновым. Он, конечно, видел это из столовой барака. Вечером, у Насоновых, кто-то постучал в дверь и, не входя в комнату, попросил кадета Щурова. На вопросы, кто это был, Павлик сказал: «Коля Лисневский». Мне почему-то его тогда жалко стало.

30 апреля 1923. Понедельник

Как-то выбилась из колеи. Ничего у меня не ладится, да и ни за что не могу приняться, как следует. И никто не видит, что на душе у меня то, что для меня сейчас важнее всех Гамлетов, Толстых и Достоевских. Мне все кажется теперь мелким и ненужным. Экзамен? Что экзамен! И через год еще успею сдать экзамен, а вот в другом отношении время теряется непоправимо. Ведь скоро Коля кончает, и его больше не будет здесь. А ведь он мог бы быть мне близким, ведь он тоже одинок, теперь мне это ясно; очевидно, м^ада Калинович им не очень-то дорожит, а я ничего не могу сделать. Господи, помоги, научи!

Сейчас у нас в семье тяжело (да, впрочем, у нас всегда тяжелая атмосфера). Вели сейчас разговоры о долге в кооператив в 90 фр^{анков}, о том, что нет работы, что живем мерзко и голодно и т.д. Все расстроились, рассорились, разошлись по углам с опущенной головой. Весь вечер молчали. «Какие мы все жалкие», —

сказала Мамочка, когда немножко успокоилась. «Да, но каждый по-своему», — хотелось мне добавить.

2 мая 1923. Среда

Сегодня у меня на глазах раздавило колесом кабриолета котенка. Я как сейчас вижу этот маленький рыженький комочек, который так беспомощно и доверчиво ласкался о колесо, и вдруг это колесо зашевелилось, я вскрикнула и отвернулась. И это все. Но на весь день остался какой-то неприятный осадок. Оттого ли, что это произошло у меня на глазах или просто мне жаль это маленькое несчастное существо, — не знаю, но мне неприятно вспоминать об огромном колесе кабриолета и маленьком комочке около него.

Сейчас, вечером, у меня какое-то тяжелое настроение. Я не знаю, отчего вдруг оно у меня появилось в такой форме. Папа-Коля читал брошюру «Русская школа за рубежом», где говорится о школах в балканских странах. Некоторые места он читал вслух. И мне вдруг сделалось досадно, что есть еще где-то школы, кроме нашего Кебира, и все у них поставлено лучше, чем у нас: и занятия, и дисциплина без всяких наказаний, и самый урок. Лучше, как-то свежее, серьезнее, «настоящее», если бы можно было так выразиться. И то, что все это далеко, а у нас — гниль и болото, мне стало больно; может быть, именно потому, что я, несмотря на все проклятья, люблю нашу жизнь. Я теперь поняла, что люблю Сфаят, и кадет, и всех нас, хотя и подлых и устарелых, но несчастных. И мне неприятно, что все мы живем «не по-настоящему», что где-то, вне нас, есть другая, более здоровая жизнь. Значит все, и я, и Коля, и все, кто мало-мальски симпатичен, мы загниваем в болоте, но я все сильнее чувствую, как мне теперь стало близко и дорого это болото! Я теперь живу сама собой и тем, что меня волнует, и мне неприятно знать, что за моим горизонтом есть еще что-то более широкое, непостижимое и лучшее. Я не умею выразить словами то, что сейчас чувствую, и у меня выходит что-то непонятное. Может быть, все это можно выразить несколько проще: мне неприятно, что Лисневский тоже гнилой «болотный чертик», по выражению Блока, неизлечимый, отживающий и ненужный в жизни человек. Я тоже буду такая. Но у меня хоть есть стремления вылезти отсюда, а он уже совсем пропитался гнилью и любит ее. Правда, он не может быть другим, живя здесь, но жизнь окончательно искалечит его.

3 мая 1923. Четверг

Сейчас я просматривала мой первый дневник, а там от 24 апреля 1920 г. (Симферополь) нашла интересную вещь: там были

написаны 7 желаний, «без которых мне жизнь не в радость». Замечательно, что все они провалились, за исключением последнего: «догнать класс». Как, значит, я была тогда удалена от того, что меня ждет и что я сама буду. Теперь те желания мне кажутся нелепыми и даже вредными; ведь это полная реставрация, а я теперь принципиально стою за новшества, хотя бы они были совсем неприемлемы для меня. Та заметка, написанная 3 года тому назад, навела меня на мысль и сейчас подвести итог моим ближайшим желаниям. Постараюсь быть искренна и объективна. Теперь у меня желаний меньше, и все они возможнее и выполнимые. Вообще, я теперь, даже и в желаниях, полагаюсь только на себя.

Мои ближайшие желания.

1. Дружба с Лисневским. Пусть даже ближе и хуже, чем дружба. Это меня не пугает.
2. Расчет с экзаменами. Правдой или неправдой, это мне все равно.
3. Прогресс в стихах.
4. Успех в кругу избранных. Надо признаться, что я честолюбива.

Вот, кажется, и все, что я могла из себя вытянуть. Теперь у меня желания узкоэгоистические и глупые, но и далеко не вечные: на один год, не больше.

4 мая 1923. Пятница

Вот мне уже исполнилось 17 лет. Как-никак, а невольно делается жутко. Восемнадцатый год, ведь это уже порядочный возраст! И вместе с тем — никаких устоев, никаких руководящих правил! А года идут, идут... Есть чего испугаться!

12 мая 1923. Суббота

Вчера было много интересного, а именно: получено три письма. 1-е от тети Нины из Иркутска, 2-е от Наташи Пашковской, 3-е от Волкова из Парижа.

Письмо тети Нины — это целая драма, я не буду писать его содержание, ведь оно тут. Пишет много обо всех детях. Дочерям еще можно позавидовать, да и то не стоит, а мальчишки несчастны оба. Под впечатлением этого письма я написала стихотворение «Как много брошено камней». Ужасно грустно и тяжело. И еще тяжело то, что если когда-нибудь и соберется наша семья, т.е. все Кнорринги по двойному родству, как раньше было в Елшанке, если у них есть такое сильное желание сойтись опять, то они, может быть, еще и

сойдутся, а вот я уже к ним не смогу примкнуть. Так вот прямо и чувствую, что в семье Кноррингов я буду совсем чужой.

Второе письмо от Наташи. Живет в Петрограде, по-видимому, не так уж плохо, как все мы жили при большевиках. Учится, через год закончит курс гимназии. Принимала участие в каком-то драматическом кружке. Одним словом, живет интересно. А мне все-таки завидует: «Что ни говори, а все-таки Африка!» Пишет стихи, прислала мне несколько. Удачны. Старые мотивы в новых словах.

Наконец, третий пакет, адресованный на мое имя, оказался сборник стихов Анны Ахматовой «Белая стая». Оказывается, что Папа-Коля выписал мне ее ко дню рождения. Стихи интересные, хотя я еще только просмотрела.

Эту неделю у меня не было никаких уроков с Конст<антином> Константиновичем, я писала последнее сочинение: «Новые течения в современной русской литературе». Понедельник бездельничала, вторник — разбирала материал, среду и четверг — без перерыва писала. Вышло 27 страниц. Я удовлетворена. Сегодня подам Конст<антину> Конст<антиновичу>. Скоро будет экзамен. Я о нем думать не могу — руки отваливаются. Чувствую, что у меня нет серьезного отношения к делу, нет сознания его важности. Что делать, если голова другим занята! Иной раз по целым дням бегаю из угла в угол, от одного дела к другому и нигде не нахожу себе места.

Лисневский уже получил свои нашивки на погоны и переведен в следующий разряд. Доволен. Теперь стал «свободным», надеюсь, он использует эту свободу.

16 мая 1923. Среда

Завтра Вознесенье. Сегодня, после долгого перерыва, чуть ли не с самой Пасхи, пошла в церковь. Пел Круглик со своей ротой, и так здорово, что я решила не уходить.

За эту неделю произошла одна неприятная история в Корпусе. Была кража на камбузе в кладовой и, как выяснилось, это были кадеты 6-ой роты и даже знакомые мне, между прочим, Биршерт, Дима Николаев и Женя Наумов. Но Женя отвертелся. Это дело решили потушить, но отношение к ним в роте очень тяжелое.

У меня ничего нового. Все по-старому. Об экзаменах не могу и слышать и стараюсь не думать. Не знаю, что будет. По-прежнему одна. Лисневского не видела, т.е. видела издали и не разговаривала с ним. Погода прекрасная, часто хожу гулять с Шурёнкой или Ириной. А в общем, скучно. Не знаю, во что все это выльется.

19 мая 1923. Суббота

Вчера умерла адмиральша. Тяжело, что и говорить. Сегодня все время панихиды, завтра похороны. В Сфаяте как-то жутко стало. Я не была ни на одной панихиде: стыдно сознаться, я боюсь. Еще с детства боялась покойников, и вот до сих пор этот страх не прошел. Говорят, мертвые лица притягивают, вот это мне и страшно. Только взглянуть боязно, а потом не оторвешься. Это говорит даже Мамочка, а у нее совсем нет такого чувства страха. Что же будет со мной, когда я вообще боюсь всего непонятного, тем более, мистического.

Сегодня получили письмо от Самариных. Михаил Павлович подробно написал мне отчет о моих стихах и дал несколько советов. Одно мне ясно, что там, в России, жизнь далеко шагнула вперед, а здесь — болото. «Бальмонт устарел», а здесь он считается новатором. Жизнь ушла от меня, и мне ее не догнать, еще мне стало ясно, что цели нет ни в чем. Поэзия тоже бесцельна. Для чего эти красивые фразы?

Вечером, после всенощной, я, Ляля, Милочка, Сережа и Мима ходили гулять. Те трое удрали вперед, а мы с Милой шли позади и разговаривали о мистицизме, о философии, в которой совершенно не разбираемся, о религии. Почти без разногласий пришли к выводам, что все в жизни бесцельно, что загробной жизни нет, что церковь — одна обрядность и едва ли есть «нечто», что служит для всего оправданием. Я чувствую, что постепенно начинаю терять веру во все. Боюсь, что скоро потеряю и Бога. А почему? Ведь у меня в жизни не было ничего, что бы могло меня сразу сделать атеисткой.

21 мая 1923. Понедельник

Я благодарна судьбе за вчерашний день, вернее — за несколько часов вчерашнего дня. После обеда мы компанией ходили гулять. Были: я, Ляля, Мила, Сережа и старший Городниченко (4-ой роты). Потом нас догнал Коля Овчаров. Сначала мы решили отправиться за цветами; а потом свернули с дороги и полезли прямо в гору, где наверху большие скалы и пещеры; где, говорят, есть арабская молельня. Долго лазали по этим скалам и колючкам, ободрались, оцарапались, побежали прямо через поля на большой камень, «Ноев ковчег» — называли его. Там посидели, пожарились на солнце и вдруг решили пойти на пляж. Отправились. Дурили на речке, катались с дюн и пошли к самому морю. Вижу — какая-то одинокая фигура в белом спускается с соседней дюны. Всматриваюсь — не могла узнать. Пришли на берег, разулись, конечно, все

очень мило и просто, и начали играть в горелки. А та фигура приближается к нам; наконец узнала — Лисневский. У меня и без того было веселое настроение, а тут меня всю так и перевернуло, и когда была наша с Милой очередь бежать, я помчалась прямо к морю, и был сильный прибой, и вернулась я чуть не по пояс мокрая. Пошли в пещеры, играли в «платочек», в фанты. Вели себя так, как можно только на пляже. На обратном пути компания разделилась: Городниченко позвал идти за цветами, а мы с Колей Лисневским пошли налево. О чем говорили — не помню, о чем-то хорошем только. Потом нас догнали Мима, Сережа Шмельц и Коля Овчаров. У речки мы подождали тех двух. Отдохнули на дюнах, вставать было ужасно лень. Вдруг вижу, Коля прощаться начинает. Мне страшно не хотелось, чтобы он уходил. Подходит ко мне: «Вы уходите?» — «Да, мне надо поспеть к разводке нарядов». — «Ну, так и я пойду». Он, видимо, обрадовался: «Идемте». Ляля с Леней остались. У нас все время шел очень интересный разговор на символическом языке: «У меня нет “солнца”», — говорит Коля. «Кому угодно говорите это, только не мне», — отвечаю. «То, что вы думаете не “солнце”, а “луна”» и т.д. Под Кебиром оба Коли (Овчаров и Лисневский) удрали вперед и оба обещали вечером быть у меня. Мима, Сережа и Коля были, Лисневский не пришел. Это мне было грустно, тем более что я не могла найти ему оправдания.

Несколько часов прошли очень шумно, весело и хорошо. Это яркие пятна на фоне моей жизни.

Сегодня так тепло, что не дай Бог. Сейчас поссорилась с Мамочкой, даже не помню почему, у меня какое-то ужасно тревожное состояние и достаточно было пустяка, чтобы все прорвалось: «Я тебе не знаю — что могу наговорить сейчас. Оставь меня, прошу!» Мамочка совсем расстроилась: «Я тебя оставляю, я от тебя совсем отхожу». Дальше: «Ты жестоко ошибаешься, думая, что общество этих мальчишек тебе заменит нас». Потом: «Я думала, что ты умнее», и все в этом роде.

Сейчас никого нет. Мне страшно тяжело и больно. Чувствую, что осталась совсем одна, отстала от одного берега и не пристала к другому. Но мне как-то ничего не жалко. Я опять надеваю маску. Господи, неужели же за несколько часов невинного счастья нужно платить душевной болью?

25 мая 1923. Среда

Теперь уже окончательно решено и переговорено с Кольнером, что в начале июня, должно быть 1-го, у меня будет экзамен письменный по литературе, а числа 10-го устный русский, логика

и психология. К середине июня — история. А на меня такой страх напал, что ни за что взяться не могу! Хоть вешаться впору!

28 мая 1923. Понедельник

Я много ждала от Троицы: это была последняя надежда. Эти дни должны были решить некоторые трудные вопросы. И вот теперь, когда они прошли, все стало будто еще неяснее <так! — И.Н.> и темнее. Дело в том, что на этих днях я ждала Лисневского. Когда и где — все равно: на предполагаемый вечер, на прогулке или у себя. Через две недели у него начинаются экзамены, значит — или теперь, или никогда. И вот, субботу и воскресенье он проводил у меня. Первый раз — с Новиковым, вчера — с тройкой пятиротников. Казалось бы, все шло хорошо, я чувствовала на себе его милый взгляд, угадывала и понимала его мысли. Но само вчерашнее обстоятельство меня расстроило: я им показывала Блока, и он вызвал, конечно, страшные раздоры. Они все вооружились против меня, издевались над заумностью и т.д. Лисневский, правда, ничего не говорил, но, несомненно, он с ними. Мне бы страшно хотелось поговорить с ним наедине; я бы приложила все усилия, чтобы показать ему, как жизнь широка и многогранна, что что-то еще есть вне Сфаята и Кебира, что жизнь идет и не спрашивает нашего позволения. Мне кажется, он понял бы меня: недаром все-таки мой инстинкт выделил его. Ведь он еще молод, в нем должны быть живы инстинкты жизни, остальное все наносное. Я люблю его и хочу ему счастья. Пусть уезжает отсюда, пусть учится в университете, в консерватории, в академии художеств — все равно, пусть только выйдет в самую гущу жизни, поймет и оценит ее. А если ему суждено закисть на эскадре и быть «молодым стариком», то пусть бы лучше умер скорее.

Сегодня вечером я ходила гулять с Милой, Сережей и Сёмой Панкратовичем. Опять у нас был ожесточенный спор о Блоке, о футуризме, особенно о новшествах. Мы горячились, кричали и не понимали друг друга. Я назвала их «шишковцами», говорила, что они еще обеими ногами стоят в XIX веке, что еще не доросли и не доучились до понимания современности. Они все кричали о том, что «выше Пушкина все равно никого не будет», что надо писать для толпы так, чтобы «всем было понятно»; и что в XVII веке жилось еще лучше, чем в XIX. Они безнадежны со своим упрямством и самомнением. Да на них-то мне наплевать. Только бы Колю вывести из этого болота.

29 мая 1923. Вторник

Когда мы вчера вечером ходили гулять, то Сережа и Сёма Панкратович кого-то испугались (они были без отпуска) и пошли по

сокращениям через Гефсиманский сад, а мы с Мимой — по шоссе, встретили кое-кого из сфаятцев. А сегодня уже до меня дошли сплетни, что вчера я с кадетом Крюковским была в «лунном наряде». А в «салоне» Насоновых вчера много говорили обо мне и смеялись; главным образом над Мимой и Лисневским. Будто бы Коля все ходит у меня под окном и поет серенаду (про себя, очевидно) и очень жалел, что не мог вчера попасть в «наряд» ко мне. Мне кажется, что это говорил Павлик Шуров. А Коля недавно уверял меня, что у меня есть один верный поклонник и именно П.Щ. Пока что эти сплетни меня забавляют, но если они станут принимать серьезный характер, я им скоро положу конец.

31 мая 1923. Четверг

Высоцкий рассказывал: как-то на днях, вечером, пошел он к себе на радиостанцию в Кебир, это было уже после 12-ти. Входит туда к нему Лисневский с книгой и просит разрешения позаниматься там, «а то в роте мешают» и что-то в этом роде. «Пожалуйста, занимайтесь». Книга у него была русская история. Сначала он внимательно читал, но скоро начал клевать носом и наконец заснул. Тогда Высоцкий обращается к нему: «Да вы, Лисневский, шли бы уж спать». Тот просыпается: «Да, правда. Все равно ничего не выучишь!» Назавтра получает по истории 5. Вот и у меня сейчас такое же положение: завтра экзамены, я завалилась книгами и тетрадями, уж и счет им потеряла, нахожусь, как говорит Дембовский, «в саду Саводника и Шалыгина»; и вот преспокойно сажусь за дневник: «все равно ничего не выучишь».

Начало аналогично, неужели же будет одинаково и следствие?

2 июня 1923. Суббота

Вчера с утра страшно нервничала, не находила себе места. Надо сказать, что этот экзамен сошел «неправдой»: я не только знала те 10 тем, которые Домнич дал Кольнеру для выбора, но даже почти на все писала раньше сочинения. Были только две темы, которых я боялась: «Крестьянин в литературе 2-ой половины XIX в. и хождение в народ 70-х годов» и «Главнейшие поэмы в литературе XIX в. — “Мертвые души” и “Кому на Руси жить хорошо”».

3 июня 1923. Воскресенье

Оказывается, что Кольнер не выбрал темы, а на экзамене предложил мне вытянуть три билета и выбрать одну из тем. И первая тема, которую вытянула, была «Крестьянин» и «Поэмы». Третья была «Татьяна Ларина как первообраз героини в русской литературе».

Я, конечно, эту тему и взяла (замечательно, что это был младший номер, и Кольнер прочел ее первой, так что вышло, что я взяла первую, какая попалась). Написала я пять больших страниц. Писала 2 ч<аса> 40 м<инут> и 2 часа переписывала. Писать было хорошо. Экзамен был в б<ывшей> комнате Запольских, рядом с канцелярией, писала я совершенно одна. Написала, надо сказать, хорошо, подпустила критику, ввернув довольно удачно разные произведения и даты. Но... «правельно» и еще что-то в этом роде, и в результате — 11. Раньше мне казалось, что я буду рада и 8-ми, а сегодня ревели из-за 11-ти. А П.А.Матвеев страшно злится, что я в этом сочинении обнаружила такое знание критики, ворчит, что его 4-ая рота так не напишет. Боюсь, что он теперь будет придирааться на устном. А на устный теперь вся надежда: письменный не удался, так на устном надо непременно — 12. Страшно боюсь. А неприятно: неужели же какой-нибудь кадет сдаст экзамены лучше меня!

Сегодня мать Сережи Шмельца прислала ему копию с моего удостоверения об экзаменах в 5-й класс Симферопольской гимназии. Это для меня целый праздник! Значит, отпадают все экзамены за младшие классы.

Вчера в Сфаяте умер от чахотки Хаджи-Мед Бирамов. Завтра его будут хоронить на арабском кладбище!

Вчера Коля Лисневский был старшим дежурным на камбузе, а вечером был у меня. Было как-то скучно (были еще Мима и Панкратович, но ушли к 10-ти). Коля собрался было уже уходить, как я ему предложила пойти прогуляться. Он обрадовался. Мы пошли в кают-компанию. Там никого не было, и было темно. Коля играл, а я сидела и думала о том, что почти уже достигла цели, но почему-то нет у меня удовлетворения. Но за вчерашний вечер я ему очень благодарна.

А сегодня узнала, что кадет Крючков получил известие из Севастополя, будто отец Лисневского расстрелян (он моряк, кажется, капитан I ранга). Это будет для него страшный удар. Мать у него умерла, а отец для него, действительно, всё. Он всегда с такой любовью говорил о нем: «Первое время, когда я поступил в Корпус, я страшно плакал: ведь мы с папой всегда были вместе». Конечно, надо скрыть от него, по крайней мере, на время экзаменов.

11 июня 1923. Понедельник

Вот и прошла страшная пятница. Экзамены сдала на 12. Думала — не знаю как буду рада, а вышло совсем не то. Словно какое-то разочарование или недовольство, и грустно невмочь. Все время страшно хочется спать, рано ложусь, поздно встаю, как-то ничего

не хочется делать. Может быть, это простая реакция против экзаменационной горячки, а вернее, что тут есть другая причина, «совокупность», как выражаются в Корпусе. Дело в том, что в субботу был педагогический совет, где, между прочим, разбиралось дело по поводу кражи на камбузе. Биршерта и младшего Крюковского совет постановил исключить, а Диму Николаева и других, как поддавшихся влиянию Биршерта, — оставить. Но вдруг появляется приказ Беренса: Николаева, Крюковского и Медведева исключить из Корпуса и зачислить в команду на разные миноносцы без права выезда на берег. Это жестоко — они там пропадут.

Это известие произвело на меня тяжелое впечатление. Но есть и еще причина: плохи дела у Лисневского. По истории у него годовой балл — неудовлетворительный (5), таких в роте пять человек, за «усердие» — 3, и так не только по одной истории. Папа-Коля не беспокоится: «выгребет на экзаменах». Но по истории, может быть, еще и выгребет, но что будет по математике, на которой он, по словам Новикова, на последнем уроке «попался». Я думала-думала и решила, что ему не плохо бы и остаться. Он еще слишком младенец, да и лет-то ему немного, не мешало бы еще годок побыть школьником. Эскадра его сгубит окончательно, а я этого-то и боюсь.

12 июня 1923. Вторник

И вот — Коля кончает, и вот — я его теряю. Пусть это эгоистично, но мне сейчас страшно грустно и тяжело. А может быть, и «все к лучшему», как говорит Коля. В этих словах, несмотря на всю их нелогичность, скрывается живительная правда. Но это все равно, я не хотела такого «лучшего». Вчера я назвала себя атеисткой, значит, уже не могу обращаться к Богу. Опять одна. Все равно: я его любила, и мне больно терять его...

13 июня 1923. Среда

О чем я еще могу писать? Опять о себе? А я себе страшно надоела. Надо сейчас заниматься. Я только начала русскую историю, а через месяц экзамен. А заниматься не хочется. Хочется подольше посидеть над дневником, подумать над собой. Скоро приедут на каникулы Ляля с Наташей, опять все будут мне в глаза тыкать их успехами. Я очень рада, что прошлый экзамен прошел так хорошо: господа Кольеры прикусили язычок! Не одна их Наташенька «замечательно способная»!

Сейчас не знаю, что предпринимать дальше. Думаю, с отъездом Коли опять вернуться к прошлогоднему образу жизни. Буду жить одна, по-монастырски, не вылезая из своей кабинки; а там пускай

кумушки болтают, что хотят! Надо бы приналечь на занятия, да скорее распроститься с Сфаятом. Все равно мне тут места никогда не будет. А быть на затычках в компании какой-нибудь Наташи или Ляли — спасибо, не хочется.

14 июня 1923. Четверг

Ночью долго не спала, и еще в голову лезла всякая ерунда. Было досадно на себя за то, что я не имею власти над собой. Умом отлично понимаю, что мне надо делать, и никогда не могу довести своей политики до конца. Сбивается. Сейчас мне надо заниматься, заниматься и заниматься. Взять Платонова и — зубрить. Я дошла только до Годунова, а экзамен через месяц, а главное — я совершенно забыла среднюю и новую историю, абсолютно ничего не помню... А в общем, все как-то нехорошо. На душе иной раз становится тошно, совсем теряешь себя, теряешь нить, по которой движется время. В самой себе опять начала видеть врага. Поняла, что во мне вовсе нет силы воли, как почему-то мне казалось раньше, поняла, что принадлежу к числу вечных Гамлетов, бесчисленных и ненужных. Жизнь все время щелкает меня по самолюбию, и все время я остаюсь на запятках. Я хочу считать себя выше других и, может быть, имею на это право, а меня все стараются унижить и не замечать. Я, наконец, могу ни с чем не считаться и всех презирать, и я умею быть гордой. Есть только две вещи, которые могут поднять меня, это — экзамены (пока что — блестящие) и стихи. Но экзамены едва ли поднимут меня в глазах большинства, а стихов моих все равно не признают «шишковцы». И хочется мне наплевать на всех, и не могу: мелочное самолюбие не позволяет. Боюсь только, что мое положение здесь скверно отзовется на мне, сделает меня гордячкой, выработает самоуверенность и самомнение, а также привычку смотреть на всех свысока и ко всем относиться с пренебрежением. Вне Сфаята я бы не хотела быть такой...

16 июня 1923. Суббота

Сейчас в 4-ой роте экзамен истории. Папа-Коля все время нервничал, хотя и старался скрыть это. Я тоже нервничаю.

18 июня 1923. Понедельник

Сильно расстроила меня суббота. Экзамен, вообще, прошел прекрасно, более половины получили высшие балы (10, 11, 12), плохие ученики, которые имели годовой балл неудовлетворительный, отвечали прекрасно. Плохо ответили только трое, да и то адмирал поставил им 6, хотя у Папы-Коли было 2-4. Но один из них,

Бельвайс, тупица, от него нечего было ждать, другой, недурной ученик, Максименко — попался со шпаргалкой, ну уж ясно, что после этого не мог хорошо отвечать; третий — Лисневский. Способный мальчишка — это все про него говорят, но исключительный лентяй! Он меня так расстроил, что я эти дни не находила себе места. Для него нет оправданий! Я страшно сердилась, волновалась, плакала потихоньку.

22 июня 1923. Пятница

Эти дни целиком занималась, да боюсь, что толку мало. На душе мертво, как будто все потерялось и не осталось больше ничего.

Временами мне кажется, что я уже не люблю Лисневского, а может быть, и наоборот: я его очень люблю и у меня есть искреннее и хорошее желание переделать его, открыть ему глаза, показать, что жизнь широка. Он, правда, пустой человек, но я твердо верю, что его можно исправить. Такую пустоту и бессодержательность очень просто объяснить корпусным воспитанием, влиянием мичманов и бесшабашной жизнью. Я бы сама, наверно, стала такой, если бы не было здесь Мамочки и Папы-Коли. Поэтому-то я и верю, что он не безнадежен и ему нужно только попасть под хорошее влияние. Чувствую, что мой нравственный долг сделать для него все, что в моих силах. Но теперь к этому есть препятствия, боюсь, что поздно взялась за это. После экзамена он едва ли придет к нам, Папа-Коля на него очень сердит. Мамочка его тоже не любит, считает его пустым человеком, с напускной светскостью, потом она вообще не любит «плохих учеников», совершенно не принимая во внимание того, что в этом больше виноваты корпусные воспитатели и что на натуре слабые Корпус действует губительно.

Всех кадет я разделяю на две группы: настоящих и мальчишек. Я не могу определить, чем я руководствуюсь при разделении. 7-я и 6-я роты целиком относятся к «мальчишкам». 4-я, почти вся, к «настоящим». 5-я — пополам, напр<имер>, Мима, Сережа, Ленков и др. «мальчишки», а Филонов — «настоящий», Олехнович — «настоящий», из 1-го взвода Коля Завалишин — «мальчишка», Маджугинский и Доманский — «настоящие». Из 4-ой роты я не могу считать «настоящим», напр<имер>, Бельвайса, пожалуй, Колю Тагатова. Боюсь, что скоро и Лисневский станет для меня «мальчишкой».

29 июня 1923. Пятница

Лисневский провалился окончательно по физике и по-русски. Сегодня отвечает на экзамене — никуда. Кто такой Печорин? — Молчание. «Да вы читали “Герой нашего времени”?» «Никак нет, не читал». После него кто-то (кажется, Дима Матвеев) отвечал об

Обломове. «Ну, а теперь Обломов умер?» — спрашивает адмирал. «Так точно, умер». — «Разве умер? Ну, а вот Лисневский — художник, способности есть, разве он не Обломов?» — «Никак нет, это уж не тот Обломов, этот тип измельчал и т.д.» — «Да это только на наших харчах так, а вот поживет, отрастит себе брюшко и тогда уже станет — полный Обломов».

2 июля 1923. Понедельник

Вчерашний день был решающим днем в моей жизни. Он показал мне, что мне здесь нет места и не будет. Главное — и не будет.

Вчерашний день разделяется на две части; 1 — от утра до 6 вечера, и 2 — вечер. Утром я с Насоновыми и Лидией Антоновной ходили на море. Из кадет были Павлик Щуров, Всеволод Новиков и Женя Наумов. На пляже купались, валялись в песке и т.д. Хотя я и вернулась домой и очень веселая, но не скажу, чтобы мне было весело. Все были как-то с Наташей, а я оставалась в стороне. Не нравится мне эта компания, единственный симпатичный — Павлик. Я чувствовала себя страшно одинокой.

А вечером были танцы. Мне не хотелось идти, и я очень глупо сделала, что пошла. Сидела там с Наташей. Около нее вертятся, увиваются кадеты. Я молчу. Она все время танцует, ее приглашают нарасхват. Я сижу одна. Танцевала всего три танца, в начале, и то мало. Бывало так, что меня никто не приглашал, и я сидела совершенно одна. Даже Ирина Насонова и та танцевала без перерыва. Потом, когда меня приглашали, я уже сама отказывалась, ссылаясь на то, что устала после моря, и действительно была кислая. Но была и другая причина: я хотела замаскироваться перед некоторыми, показать, что не танцую по своей воле. А напротив меня с м<ада>м Завалишиной сидел Лисневский, и даже не поздоровался со мной. Одно дело, когда это было на прошлых вечерах, когда мы немножко дулись друг на друга; но после двух последних месяцев, я думала, он мог бы несколько изменить свое поведение. Я рано ушла, под предлогом, что мне хочется спать, но я просто не могла больше оставаться в зале. Я торопилась лечь спать. В кровати я все время кусала простыню, чтобы только никто не слышал, как я плачу. Мне было страшно больно и обидно. Я дала себе слово, что ни с кем и нигде я больше не буду, и из своей кабинки не вылезу. Пусть про меня говорят что хотят, я буду на всех смотреть сверху вниз, и мне на всех наплевать. Но если я не могла простить Лисневскому прошлого вечера, то этот окончательно уничтожил его для меня.

10 июля 1923. Вторник

Он твердит уже другое имя,
Он опять по-новому молод!
Одна я осталась с ними,
И в сердце — зловещий холод.

Не хочу я ни слёз, ни жалоб,
Только жгучая ревность сильнее!
Одного я теперь желала б —
Уйти от всех поскорее...

Он увлекается Лялей.

12 июля 1923. Четверг

Вчера случилось так, что мы с Колей Лисневским весь вечер просидели на шелковице, около умывальника. Он был мне близок, как никогда. Мы откровенничали. Решили, что прежде всего надо быть сами собой. «Пусть меня там называют младенцем и незрелым, — говорит Коля, — а у меня всегда на языке то, что и на уме, и чего-нибудь разыгрывать из себя я никогда не стану!» Потом он мне рассказал, как он мечтает по вечерам, засыпая. Или все люди построены на один лад, или только мы с ним: мы мечтаем одинаково, также от третьего лица, также не о себе, также изо дня в день продолжаем мысленный рассказ. У него есть идеал — женщина с римским профилем, он подробно рассказал о ней. Вокруг нее он группирует различные эпопеи, в последней из них она звалась Аллой Павловной, имя когда-то любимой женщины. Теперь это — одно только имя и фантастически любимый образ, но это имя сильнее И<рины> К<норринг>, О<льги> В<оробьевой> и других имен, к которым я его ревновала.

Я сейчас нахожусь в каком-то странном состоянии, мне не хочется трезвости.

19 июля 1923. Четверг

Совершенно нет у меня сознания, что завтра экзамен. Как-то последнее время было не до этого. Реву и дни, и ночи; все повторяю последнюю фразу Сережи: любовь не картошка, не выбросишь в окошко! Вчера все кадеты ушли в Румель, а 4-ая рота перекочевала в Сфаят: в субботу у них последний экзамен (французский), и они расходятся. Я знаю, что это уже конец. Какие уж тут занятия, когда, может быть, я в последний раз видела его!

А завтра экзамен. Подумаешь — жутко становится. Все равно, пойду на «ура»; еще, может быть, один вечер будет мой. Странно,

что я не боюсь экзамена. Или это от жары такая апатия, или оттого, что мне нездоровится, или оттого, что Коля уезжает? Все, конечно, несвоевременно! Господи, хоть бы скорее прошел завтрашний день!

25 июля 1923. Среда

Вчера ходила с Кольнер на море. А в это время четвертая рота покидала Сфаят: кто в Румель, кто на эскадру. Возвращаться в пустой Сфаят было тяжело. Стало странно тихо, никто не дудел на трубах, не прыгал через кобылу; не шумел, не кричал, как в последние дни. Грустно мне было возвращаться в Сфаят, зная, что там я уже никогда не встречу Колю. Последние дни я была как потерянная. Экзамен у меня прошел благополучно (у Папы-Коли — 11, у Кольнера и Матвеева — 12), но удовлетворения у меня не было, а настроение тяжелое. В субботу вечером я видела Колю, но мы были не одни, и поговорить с ним не удалось. В воскресенье я была на море с Лидией Антоновной, очень скучала, была одна, а вечер пролежала в гамаке, тоже одна.

В воскресенье, после молитвы, тайно от всех, на форту были традиционные «похороны алгебры». Я знаю подробности. Кадеты вошли в соглашение с молодым сержантом, тот им открыл подземный ход на футбольном поле, где они переодевались. Орлов был Якушевым, Добровольский — Завалишиным, Белявский — Кольнером и т.д. Лисневский был Насоновым, для чего ему пришлось гладко выбрить голову: а потом он стеснялся показываться без шапки. Несколько кадет были дамами. «Алгебру» Киселева положили в черный гроб, на котором были написаны формулы; собаку Кебира запрягли в тележку, на нее положили бревно, это была артиллерия; маршал Петэн (Павлик) на осле, Якушев с козой, Всеволод — дьякон и т.д. — эта процессия двинулась при свете факелов в ворота форта. Так как тут деятельное участие принимал сержант, то арабский взвод в Кебуре взял на караул. Процессия двинулась в бывшее помещение роты. Там сначала был парад, а потом торжественное сжигание Алгебры. Произносились речи и все предавались анафеме. Многолетие было только адмиралу, Насонову и Папе-Коле. Они (кадеты. — *И.Н.*) хотели устроить похороны в субботу, но в момент переодевания в барак вошли Томашевский и Майданович, и они все едва успели спрятаться под койки. В понедельник все кадеты, у кого не было переекзаменов, были произведены в гардемарины. Вечером дамы устраивали им «чай» в Гефсиманском саду. Мне не хотелось идти, потому что я серьезно поссорилась с Тагатовым и еще потому, что почти ни с

кем не знакома. Но мне хотелось последний вечер побыть с Колей Л<исневским>, и я совсем уже собралась, но как увидела около него Тагатова — моментально удрала наверх и весь вечер пролежала в гамаке. Сначала поплакала — мне было очень грустно и обидно, потом уснула. Утром Наташа позвала меня на море. Мне не хотелось идти — хотелось проститься с Колей, но потом решила, что «лишние проводы — лишние слезы», и пошла. Помню, так же я провожала Китицына: взяла да ушла на «Георгий» к Нине. И так же, как и тогда, мне теперь как-то странно и пусто здесь. Теперь уже незачем ждать субботы — никто вечером не постучит у двери. И что хуже всего, что он (Коля Лисневский. — *И.Н.*) уехал на «Алексеев» к Брискорну. А ведь я знаю, какой он брискорновец. Одно только название! В политических делах он еще такой младенец! Вбили ему в голову, что нужно быть монархистом, вот он и плывет по течению. Но конечно, Брискорн сделает из него настоящего черносотенца. Жалко мне его. Еще давно я ему советовала покинуть эскадру скорее. Да он и сам говорит, что ему хочется в университет, обещал приложить к этому все усилия. Боюсь, что влияние Брискорна помешает ему. Поэтому-то мне и жаль, что не удалось поговорить с ним на прощанье.

31 июля 1923. Вторник

Тунис (речь идет об одноименной столице Туниса. — *И.Н.*)

В пятницу наша тунисская компания в составе семи человек села на поезд и тронулась в Тунис. Дорога невеселая: голая степь да холмы. Тоску нагоняет. Только уж под самым Тунисом был виден у самой дороги римский водопровод, довольно хорошо сохранившийся. В Тунис приехали уже к вечеру. Сняли в гостинице маленький скверный номер и сейчас же отправились бродить по городу. Тунис сразу произвел на меня какое-то странное впечатление: сразу почувствовался большой город, а я сама в этом городе стала еще меньше и ничтожнее. Большие, многоэтажные дома, роскошные, ярко освещенные рестораны, трамваи, извозчики, нарядная публика — все это сразу перенесло меня так далеко от Сфаята, так сильно показало мне, что жизнь широка, что кроме моей жизни и того, чем я живу, есть еще так много-много других жизней, что если я была незаметна в Сфаяте, то город — всякий город, в котором на улицах трава не растет, — совсем раздавит меня. Оттого-то мне было так тяжело в первый вечер. На Мамочку это сознание большого города произвело как раз обратное впечатление: она почувствовала себя в своей тарелке. А я чувствовала, что я гораздо счастливее всех этих

накрашенных французов, не знаю почему так было, но у меня совершенно не было зависти к ним.

Ночь провели скверно: во-первых, было очень жарко и душно, а во-вторых, была всего одна только кровать, правда, широкая. Сначала мы легли поперек, так что ноги от колен болтались на воздухе, и полночи промучились. Сначала сердились и ссорились, потом начали хохотать. Еле заснули. Наутро всей компанией пошли осматривать арабскую часть. Бродили по всяким улочкам и переулочкам, потом попали на арабский базар — «сук» по-арабски. Это крытый рынок, по обеим сторонам большие, богато убранные лавки. Лавки наполнены коврами, медной и глиняной посудой, продаются цветные, в руку толщины, витые свечи, туфли и т.д. Очень пестро, пряно, в арабском стиле. Видели интересные мечети, только снаружи, конечно. Наконец уже собрались идти домой, как к нам подходит араб: «Voulez-vous visiter le Palais du Bey?»* Конечно, пошли. Повел он нас через какую-то узенькую дверь на широкий двор в арабском стиле, потом долго водил по маленьким и большим комнатам. Красиво там очень. Стены покрыты изразцами, часто удивительно хорошей работы, полы — тоже изразцовые, но всего интереснее и удивительнее — потолки. Это сплошная смесь золота с яркими красками, главным образом красной и зеленой. Уже после глаз различает совершенно правильные линии, острые и закругленные. Общее впечатление чего-то яркого, режущего ипряного, даже несколько грубого; но именно благодаря этой яркости и грубоватости производит впечатление сказки. Повел нас араб в тронную залу. Убрана пестро и ярко, небольшая. В глубине стоит небольшой трон красного бархата. Араб почти насильно усадил меня на него: «C'est le trône du Bey. Asseyez c'est bien»**. Так что теперь могу похвастаться, что сидела на троне sa majesté Bey***. Из третьей залы араб повел нас на крышу дворца. Это самая простая плоская крыша, как и во всех арабских домах, но вид оттуда удивительный: виден весь Тунис как с аэроплана. После осмотра дворца араб содрал с нас довольно большой бакшиш и еще повел в одну арабскую лавочку. Эта лавочка была очень изящно убрана, между позолоченными арками стояли маленькие диванчики, на полках стояли арабские вазы, веера и бусы. Араб предлагал нам духи, говорил, что ими душился сам бей и

* Вы хотите посетить Дворец Бей? (фр.)

** Это — трон Бей. Усаживайтесь как следует (искаженный фр.).

*** Его величество Бей (фр.).

что запах их, если растереть, держится двенадцать лет! Даже помазал нам руки из трех флаконов; запах сильный, но пряный и через каких-нибудь 5 часов пропал бесследно.

Расставшись с нашим арабом, мы все разбрелись в разные стороны, уговорившись встретиться в русском кооперативе на rue des Andalouses. Федор Федорович Соколов, Косалапенко и мы с Мамочкой решили до 12 часов ехать в Бельведер.

1 августа 1923. Среда

В Бельведере бродили в самый зной. Там красиво, много интересных африканских растений, что ни новый поворот аллеи, то новый вид. Но я мысленно сравнивала его с Харьковским парком и отдала ему предпочтение. В Бельведере Мамочка упала и разбила себе коленку. Потом все время болела нога.

Русскую столовую мы долго искали. Бродили по арабской части, колесили на одном месте и, в заключение, оказалось, что она находится совсем не там, где мы искали.

Часа в 2 отправились на трамвае в Бардо. Там громадный музей. Лучшее, что было найдено в Карфагене и в окрестностях, находится там. Там 9 или 11 громадных зал. Масса всяких черепов, больших и малых статуй, иные из них очень художественны и для нашего времени. Но меня особенно поразила мозаика. Удивительно тонкая и красивая работа. Там же находится небольшое отделение арабского музея: арабская спальня, гостиная, комната оружия, одежды и т.д. В том же здании находится старый дворец бея. Там все как на сцене: большие, пышные троны с балдахинами, много золота, резные потолки, будто из «Тысячи и одной ночи». Довольно красиво, хотя не изящно. Особенно красива большая тронная зала.

Вечером мы собрались ехать в Бельведер всей компанией. Там почему-то оказалось совсем темно, и ни одной души. Нас остановил сторож араб и что-то долго кричал нам на своем языке и, в заключение, сказал: «Défendu!»* А пожалуй, что это самое необходимое слово во всем французском языке.

Вечер провели в кинематографе. И так устали за весь день, что ночь проспали как убитые.

С утра отправились в Карфаген. Сначала пошли в Couvent des pères Blancs**, были в костеле, в Chapelle de St-Louis***, в музее. Музей маленький, но очень хорошо и любовно составлен. В самый

* Запрещено! (фр.)

** Монастырь белых отцов (фр.).

*** Капелла Святого Людовика (фр.).

зной бродили по раскопкам. Некоторые раскопки мало интересны — просто грязные развалины и камни. Но театр очень интересен и хорошо сохранился, виден амфитеатр, мраморные скамьи и сцена. А кругом — виноградники, по которым ходить нельзя. В путеводителе сказано, что где-то близко должен быть Odéon*, и мы с трудом нашли его. Рядом должна была быть базилика, но мы уже отчаялись найти ее. Случайно я заметила вдалеке колонны и, сложив голову, прямо по виноградникам помчалась туда. За мной пошло еще несколько человек, и наша компания разбилась. Эта базилика, пожалуй, самое интересное. Великолепно сохранились колонны, подземная крестильня и т.д. Я везде лазила и так скверно почувствовала себя на солнце, что был момент, когда мне казалось, что я теряю сознание.

Вернулись мы в Бизерту вечером в воскресенье. Мамочка приехала совершенно больная и теперь еще лежит, эти дни температура у нее была 40,5. Я очень волновалась, и мне было не до дневника; а теперь уж забылись некоторые детали, а главное, пропала охота записывать.

2 августа 1923. Четверг

Неподражаемый ужас — утро! Открываю глаза — светло, я лежу в гамаке, солнце еще низко, значит — меньше семи; все спят, — только кое-где слышны голоса. И мне делается мучительно страшно: это — утро: значит впереди — целый длинный, незаполненный день. Конечно, дела всегда много, и все в моей власти, но какое это дело? Занятия? Мертвые формулы? Читать? Книга прочитана. Библиотека открывается завтра. Писать? Меня не удовлетворяет мое писание, не умею я. Да и надо ли отвлекаться, надо ли убивать червячка, когда я люблю мою тоску, потому что это — единственное, что есть во мне живого, что еще может чувствовать, переживать, а остальное все мертво, бесчеловечно, застой. Взгляд на «Алексеев» — и еще сильнее скребет в сердце: «Там хуже». Там Обломовка, но только не старая, стоячая Обломовка, а умирающая медленной и мучительной смертью. А тут больна Мамочка, нервничает, дергается. За стеной серьезно больна Лидия Антоновна. Мне кажется, что я тоже больна: ведь именно с такого самочувствия начинается тиф.

10 августа 1923. Пятница

Мамочка была серьезно больна. Сначала думали, что у нее тиф; потом — какая-то гастрическая лихорадка; и только на деся-

* Одеон (фр.) — (от греч. ода — песня), античное круглое здание для песенных, театральных представлений.

тый день доктора определили, что у нее малярия. Сейчас она поправляется, уже ест, но очень ослабела, температура с утра вовсе не поднимается — такой цифры нет на шкале, днем бывает 35,5. А во время болезни, через день, регулярно, у нее держалось свыше 40. За стеной тем же самым и с тем же ходом болезни больна Лидия Антоновна. Несколько дней болела другая соседка — М.А.Жук. Больна Елизавета Сергеевна. И в довершение всего во вторник была тифозная прививка, и еще пол-Сфаята слегло. Я перенесла реакцию довольно хорошо, хотя у меня было 38,8. За последнее время подружилась с Лялей. Не то чтобы она мне нравилась, нет; в ней есть много фальшивого и неестественного, может быть, даже неискренного; но она мне, во-первых, ближе всех по возрасту, и просто с ней бывает приятно поговорить. Мы с ней часто гуляем после обеда. А тут уже ходят какие-то темные сплетни, что я «подружилась с Лялей» — наверно (сплетня исходит. — *И.Н.*), из семейства Кольнер.

Пока ничем не занимаюсь. Думаю с понедельника возобновить занятия по математике и физике. Сегодня хочу взять в библиотеке какую-нибудь французскую книгу. А когда жизнь немножко войдет в колею, буду писать. Время у меня есть, встаю я рано, часов в 6, и до кофе абсолютно нечего делать, да и день мыкаешься из угла в угол. Время есть, надо только его заполнить!

19 августа 1923. Воскресенье

Этот месяц из-за болезни Мамочки, а может быть, и по другой причине, прошел удивительно быстро. Я не занималась, почти ничего не читала, да вообще ничего не делала, и месяц прошел как-то бестолково, сумбурно и бессодержательно, будто прожит только один день. Еще совсем недавно я засыпала на гамаке и думала: «Вот завтра воскресенье». И ничем-то оно не отличается от других дней! Раньше, бывало, хоть кто-нибудь из кадет зайдет в субботу вечером и в воскресенье. Все-таки хоть некоторое разнообразие. Возлагаешь на праздники хоть какие-нибудь смутные надежды, а теперь и ждать нечего. Начала даже стихотворение «Здесь все равно, что праздники, что будни». Но кончать не хотелось, глупо. Потом опять были утра, шнырянье из угла в угол, беготня в кооператив, — и вот я опять на гамаке и думаю: завтра воскресенье. Потом опять вертелись дни, опять я не собралась взяться за занятия, и опять я на гамаке и думаю: «А ведь завтра воскресенье».

За последнее время стала страшно рассеянна. Поставлю какую-нибудь вещь на стол, а потом ищу ее по всей комнате. Все скоро забываю, путаю, не помню, что вчера. Когда я вчера сказала

Всеволоду про такую рассеянность, он засмеялся и сказал: «Пришло и ваше время: вы влюблены». Не понимаю только, на что он намекал.

Вчера я с ним и с Лялей долго гуляла вечером. Мы говорили о теории Дарвина, немного спорили с Лялей, которая все опиралась на священную историю. За последнее время я убедилась, что Всеволод самый умный из всех кадет, самый развитой и начитанный! На него я уже не могу смотреть сверху вниз. Вчерашний разговор о науке, о всемирной эволюции, о тех открытиях и изменениях, что предстоят в будущем, показал мне, что жизнь можно заполнить, что работы впереди — очень-очень много. Только одного мы не коснулись — души. Ведь для чего-нибудь природа дала человеку душу. Тело человеческое — это сама природа, оно дано для того, чтобы развиваться, расти, эволюционировать. А душа для чего? Говорила на днях с Павликом. У него в жизни есть цель — сделаться агрономом, вернуться в Россию и там «работать для общества». Последнее мне показалось фразой, и я попросила объяснения. Он ответил: «Стремиться к тому, чтобы большинству было хорошо». Я мысленно назвала его идеалистом XIX века и старалась его убедить в том, что он совсем не представляет себе свой идеал и не верит в него.

22 августа 1923. Среда

Вчера Папа-Коля уехал в Париж. Почему-то очень страшно мне: ведь это — последняя надежда. А тут еще он кому-то собирался показывать мои стихи, а ответ может быть роковым.

Теперь надо ухаживать за Мамочкой, развлекать ее, а то ей очень грустно. Сегодня в первый раз дует сирокко, потому состояние какое-то кислое и подавленное.

А сама я часто-часто думаю о том, что имя (Лисневского. — *И.Н.*) даже не упоминается на последних страницах дневника. Небытие прошло, то, чего не было, уже никогда не будет. Но теперь я заставлю кого-нибудь влюбиться в себя, и я уж заставлю его помучиться. Только бы нашелся такой дурак. Кажется, моей жертвой будет Павлик.

26 августа 1923. Воскресенье

Щуров получил письмо от Станкевича из Румеля. Тот пишет, что туда приходила шлюпка с «Алексеева» с гардемаринами, среди которых был и Лисневский. Гардемарины всячески уговаривали его перейти на эскадру, говорили, что служить в Корпусе унижительно и т.д. Станкевич отказался. «Все равно мы тебя иначе выбросим из

Корпуса. Скоро мы вышвырнем оттуда Кольнера, Жука, Высоцкого и Кнорринга, и тогда останутся только наши, и мы уже покажем себя».

Меня, как громом ударило, хоть удивляться тут нечего. Я знала, что из него сделают подлеца. Но мне это так больно, так тяжело. Я его ненавижу теперь и себя ненавижу. Я писать больше ничего не буду. Все равно ничего не напишешь из того, что чувствуешь. Мне не хочется больше думать о нем, тем более встречаться. Только вот у него скоро переэкзаменовка по физике, и он придет в Сфаят. Но я все-таки думаю, что после того, как он открыто встал на сторону «Звена», у него не хватит наглости прийти к нам.

А все-таки этого я не ожидала от него. Я думала, что он только номинально останется в этой группе, а активно никогда не выступит. Ну, что же? Еще один раз — и уже наверно в последний, — он мне сделал больно.

3 сентября 1923. Понедельник

Я не могу сердиться на Колю, я не умею его ненавидеть. Уже на другой день, когда я узнала его принадлежность к «Звену», я сказала: «Бедный мальчик». Мне его только жалко. Сейчас он в Сфаяте: сегодня у него переэкзаменовка по физике, и мне уже неприятно, что он не зашел ко мне. Я вчера придумала два стихотворения, которые я никому не покажу.

1.

Я свою жизнь разлюбила,
Мечта не придет назад...
С какой я тревогой ловила
Ваш темно-синий взгляд.

Не знаю: любила ли крепко,
Иль ненавидела вас —
Только злоба в обиде крепкой,
Кажется, навсегда пронеслась.

Моя мысль уже неслась к Парижу,
А кругом — такая тоска,
И я никогда не увижу
Синего воротника.

2.

Нет у меня ничего,
Ни песен, ни доброго слова.

Я разлюбила его,
Но снова любить готова.

Страшно и жутко мне,
Опять брожу, как в дурмане,
И стало еще больней
Теперь его невниманье.

4 сентября 1923. Вторник

Вчера я видела Колю в кают-компании; он пришел туда, когда мы с Лялей играли в четыре руки. Я держала себя очень сдержанно и сухо и скоро ушла оттуда, оставив его с Марией Андреевной, хотя несомненно, что пришел туда или из-за меня, или из-за Ляли. А сегодня он уже ушел на эскадру, и я знаю, что теперь уже никакая сила не вернет его в Сфаят. Так прошли эти дни, которых я боялась и на которые все-таки возлагала столько смутных невольных надежд. Я даже не сказала ему ни одного слова, и он ни разу не подошел ко мне, а ушел не простившись, только издали крикнул: «Счастливо оставаться!» А ведь ушел навсегда.

13 сентября 1923. Четверг

Папа-Коля давно уже вернулся из Парижа. По поводу меня привез кое-какие новости. Во-первых, есть шансы, что я попаду в Сорбонну, надо только скорее сдавать, сдавать экзамены, и лучше сдавать. Во-вторых, по поводу стихов. Папа-Коля показывал их Левинсону и Бальмонту. Левинсон смотрел их очень внимательно, сказал, что «есть лирическое чутье», но надо работать и т.д. Два стихотворения он отобрал и поместит в «Звене». Бальмонт сказал, что «очень интересная девушка», но «много глагольных рифм», а по поводу неточной рифмы сказал, что «это выходит у Анны Ахматовой, иногда выходит у Марины Цветаевой, а по-моему, это разгильдяйство!»

Вот и все. А на душе тяжело и тревожно.

В №32 «Звена» в статье Адамовича «Поэты в Петербурге» сказано, что прежней Анны Ахматовой нет, нет больше «перчатки с левой руки» и т.д. И «поклонники» разочарованы. Есть, впрочем, для их утешения несметное количество девиц, подобравших эти ахматовские обноски. Неужели же и я из их числа? Уж лучше и совсем не писать.

26 сентября 1923. Среда

Брискорн устроил Колю Лисневского в Сорбонну. Очень рада за него, а с другой стороны, страшно, что он не станет заниматься. Только, конечно, ему надо не на математический факультет,

а на естественный факультет, ведь он страстно любит естественную историю. Он еще давно говорил мне о своем желании пойти в университет, а когда я его уговаривала поступить на естественный факультет, он говорил: «латыни боюсь». Я думаю и надеюсь, что Париж его встряхнет, оживит и он встанет на твердую почву. Я страшно рада, что он пошел в университет, это лишний раз доказывает, что он был «звенистом» только по названию. С ним едет еще несколько человек — как на подбор — плохие ученики. Среди преподавателей это вызвало бурю негодования: «Вот бакалавры занимаются, и то долго было под вопросом, попадут ли, нет, и попадут они не в Сорбонну, а в провинцию куда-то; а вот выскочка, лентяй, шалопай по какой-то протекции получил стипендию и ничего не будет делать! Вот только это-то и страшно».

Сфаят пустеет. Каждый вторник кто-нибудь уезжает. Уехал все-таки регент, еще несколько человек холостяков. В следующий вторник уезжают в Париж Кольнеры, еще через неделю — Берги. Мне жалко не Кольнеров, а Ирмановых: я любила Лидию Антоновну — уж очень она веселая, да и Мостика с Володей любила. Наташу мне не жалко: она какая-то противная стала. Не люблю еще и ее поклонников, кроме Миши Городниченко и Всеволода. Минька мне нравится, он немножко шалый, а главное, веселый, а Всеволод умный человек, что уже много. Наташа рассказывала, будто он говорил, что терпеть не может меня. Не понимаю тогда, для чего как-то на днях он проболтал со мной битый час, когда приходил за газетами.

7 октября 1923. Воскресенье

Мне в тридцать пятом номере «Звена»,
Вчера полученного нами,
В глаза страница бросилась одна
С моими робкими стихами.

Я в первый раз прочла свои слова
И ощутила горькую утрату:
Зачем, зачем другим я отдала,
Что мне одной лишь было надо?

Каждый день кончается болью,
Странной хандрой и скукой,
Думой о синеглазом Коле
И о вечной горькой разлуке.

И о том, что меня не любил он,
Иль его не смогла удержать я,

Или время переменяло
Его долгое рукопожатье.

Теперь он уехал в Париж
Или уедет скоро.
Во мне уже мертвая тишь,
Я только боюсь разговоров.

Не хочу рассуждений о нем,
Не хочу, чтоб его упрекали...
А шумное время потом
Загладит мои печали.

11 октября 1923. Четверг

Если бы меня сейчас спросили: что я больше всего хочу? — я бы, не задумываясь, ответила: получить маленькую комнату. Дело в том, что на нее уже есть несколько претендентов, а квартирный вопрос, в связи с отъездом многих семей, будет решаться только с отъездом Бергов. Наконец-то выяснилось, что они едут в следующий вторник. Пока комната свободна, я в ней занимаюсь. Вымыла, вычистила немножко, хорошо там.

13 октября 1923. Суббота

Казалось мне, что я его любила.
В глухой тоске я думала о нем,
А взгляд его, блуждающий и милый,
Казался мне ласкающим лучом.
И лишь о нем я по ночам мечтала,
А для себя просила слишком мало.

Он был мечтатель. Станные рассказы
Он мне придумывал наедине.
Меж нами не было холодной фразы,
Его душа казалась близкой мне.
А я тогда сама не понимала,
Что уж другое имя повторяла.

Я видела его в последний раз
В красивый вечер. Долго мы гуляли.
Незримой тайной веял синий час...
И я его шутливо упрекала
В непостоянстве, трусости и лени.
Не знала я, что этот день последний.

И странный сон приснился мне в ту ночь.
Тоскливая, туманная дорога...

Никто уже тогда не мог помочь
Неясной, нарастающей тревоге.
Мне снилось страшное, неназванное счастье,
Мечты и тихое рукопожатье

И имя то, которое меня
Бросало в омут жуткий ощущений,
Он был лишь вихрем пьяного огня,
Затейливой игрой воображенья.
Он мало знал меня и мало видел,
Но, говорили, — страшно ненавидел.

Все прошлое мне показалось ложью,
Искусственной, запутанной игрой.
Я поняла, что счастье невозможно,
Что это ложь, придуманная мной.
И мне так долго не хотелось верить,
Что не услышу слабый стук у двери.

Мне чаще стало сниться это имя,
Сильней звучит оно в моем уме,
И то, что странно и неисполнимо,
Все чаще и яснее снится мне.
И я боялась угадать желанье,
Но сны под утро — предзнаменование.

И этот сон грозит мне исполненьем,
Опять в огне пылала голова,
И я боялась верить сновиденьям,
И повторяла старые слова.
Но все прошло, прошло бесповоротно,
И жизнь плетется медленно и ровно.

Все прошло, но я любила Колю, и всегда буду любить воспоминанье о нем. А сну про Всеволода не верю, и напрасно он так меня напугал.

16 октября 1923. Вторник

Наконец-то переехала в маленькую комнату. Устроилась довольно уютно. Вчера написала стихотворение «Дон-Жуан». Такие «лироэпические» темы мне нравятся. Теперь надо выбрать сюжет из Ветхого Завета.

20 октября 1923. Суббота

Сегодняшний вечер я отдалась настроению. Была всенощная, до меня доносились слова о. Полетаева и нестройное пение. Я прошла

мимо барака: в окне фигуры кадет, полумрак. Но слева в первом ряду у окна место занято другими. Как ни смешно, но мне стало вдруг грустно. Оставила книгу, читать уже не хотелось, да и ничего делать не хотелось. Я легла на кровать и закрыла глаза.

21 октября 1923. Воскресенье

Должно быть, ветер нагоняет такое безотрадное настроение. Совсем не могу разобраться в своих ощущениях. Мне ясно только одно, что в душе у меня ничем не заполненная пустота. Что мне нужно — я не знаю. В эти дни, особенно по вечерам, когда сильнее чувствуется тоска, моя мысль упрямо возвращается к Коле. Он был единственным лучом в этой серой полужизни. Я хочу любви, любить и быть любимой! Пусть эти глупые мысли провинциальной барышни, мне не стыдно в этом признаться. Мне надоело быть в загоне, надоело, что меня никто не замечает и, наверно, смеются надо мной. Неужели же не найдется человека, который меня полюбит? Пусть ненадолго, но сильно.

26 октября 1923. Пятница

За мной начал ухаживать, ни с того, ни с сего, Петр Ефимович Косолапенко. Я его не удерживаю, но заводить с ним роман все-таки не хочу. А так, пусть себе ухаживает, мне это даже нравится. Правду Мамочка говорит, что нет женщины, которая бы этого не любила. Обычно, до сих пор, всякие намёки на ухаживания вскоре начинали производить на меня какое-то гнетущее действие, и это сразу охлаждало. На этот раз я решила быть храбрее и решительнее. Я все-таки имею на это право, хотя бы потому, что мне только семнадцать лет, и я вовсе не старуха, как про меня говорят злые языки. Но ухаживание Петра Ефимовича меня вовсе не волнует и не беспокоит, вообще — никак не отражается на мне и на моей жизни. Я просто довольна, что появился хоть один, а за ним уже будут другие. Много мне не надо, я просто не могу быть на запятках, и я все-таки женщина, а не *bas-bleu**.

Вчера П.Е. обещал принести кокаину. Предлагал понюхать «на пару», ради шутки, конечно. Я было согласилась, а теперь не хочу, буду лучше одна. Бог знает, как он подействует на меня; а быть за себя уверенной я не могу. А попробовать мне бы все-таки хотелось.

27 октября 1923. Суббота

Днем, перед уроком математики я сидела за столом у окна и занималась. Мимо кто-то проходил. Я машинально подняла глаза и

* Синий чулок (фр.).

обомлела — это был Коля Лисневский. Трудно передать, что я почувствовала в этот миг. Сердце так сильно забилося, что меня всю начало трясти, ноги и руки дрожали, в горле сдавливало дыхание. На уроке была сама не своя. Коля меня не видел, но зато Мамочка видела его на камбузе и разговаривала с ним. На вопрос, едет ли он в Париж, он ответил: «Ни за что не поеду, оттуда бегут, там такие толстые книги, а их надо учить наизусть...» Дома, за ужином, иронические разговоры: «Куда ему! Ему вот только на эскадре сидеть, поддерживать патриотический дух, благо там ни одной книги нет...» Весь вечер я просидела в своей комнате. Мне так не хочется этой встречи. Как я ушла, поднялся у них разговор, как мне казалось — про меня и Колю. Жалею, что сдуру показала Папе-Коле стихотворение: «Казалось мне, что я его любила». Да и в стихах было много намёков. Если бы он уехал, это было бы ничего, но когда он тут, да еще делает такие глупости, я вовсе не хочу оглашать это. Я чувствую, что скоро перестану его любить.

Нюхала кокаин вечером. Это на меня не произвело никакого впечатления, только в носу онемело.

Получила письмо от Тани. Как нельзя более кстати, оно гармонирует с моим настроением. Папа-Коля играет в винт, Мамочка одна. Мне очень жалко ее, хочется пойти к ней, но боюсь, что поднимется разговор о Лисневском. Господи, как мне сейчас жалко Мамочку, я так грубо ушла от нее, а мне сейчас так грустно-грустно; и нос, как деревянный — раздражает — и хочется уткнуться в подушку и плакать. Пойти что ли к Мамочке — да все равно, не смогу ей помочь.

Еще давно, когда я в первый раз написала в дневнике, что я люблю Лисневского, я видела, что Мамочка с Папой-Колей прочли мой дневник, и я горько плакала во сне. Мне казалось, что у меня отняли единственное, что было мое. Теперь я испытываю то же самое ощущение.

28 октября 1923. Воскресенье

Вечер. Коля играет на рояле, опять он мне напомнил прошлого Лисневского, каким был год тому назад. Ко мне не зашел. Ну и не надо, Бог с ним. Грустно мне это и неловко за него.

Сегодня приехала из Франции Маруся Завалишина, веселая, свежая, как всегда, сентиментальная. Слушала-слушала я ее и вдруг почувствовала, какая я счастливая, и именно потому, что нет у меня никакого душевного равновесия, а наоборот, какие-то душевные движения, а когда их нет, мне скучно. Нет, я рада, что я такая беспокойная.

Сейчас я опять нюхала кокаин, но это очень маленькая доза и я опять не почувствовала.

29 октября 1923. Понедельник

Когда я вспоминаю вчерашний вечер, мне кажется, что это был бред. Или на меня имел влияние кокаин, или просто потому, что все это было так грубо и нехорошо, у меня осталось только несколько моментов в памяти и ощущение, будто я получила пощечину. Деталей я не помню, да и обо всем хотела бы забыть. Вчера, в двенадцатом часу ко мне пришел Лисневский. Я так растерялась, что не сумела его выставить, и он, как ни в чем не бывало, сидел у меня и болтал. Мне было мучительно стыдно за него, особенно перед Мамочкой. И как это он не мог понять, что, во-первых, в полночь с визитами не ходят; а во-вторых, если он за полтора дня не нашел другого времени для этого, то, возвращаясь из гостей, мимоходом, лучше бы совсем не заходить ко мне. Мамочка позвала меня в другую комнату и, вся в слезах, взволнованная, возмущенная, говорила, что ее возмущает этот визит, возмущает ее, что он — нахал, что это неуважение ко мне и т.д. И в самом деле, создалось впечатление, что он стыдится знакомства со мной, а его поведение на вечерах только укрепляет это. Целый день он провел в обществе Завалишиных и не нашел другого времени, чтобы зайти ко мне. Не предполагала я, что он, такой деликатный и застенчивый, мог быть так нетактичен. Мне было страшно обидно. Когда он ушел, я сказала: «Больше не люблю».

1 ноября 1923. Четверг

Как это Петр Ефимыч говорит, что после всякого возбуждения, даже от кокаина, не бывает реакции. Я утверждаю, что природа всегда стремится к равновесию и реакция неизбежна, разве это не так? Да, например, сегодня перед ужином я была необычайно возбуждена, сама не знаю почему, кокетничала вовсю с П.Е., болтала, чувствовала избыток энергии, а после ужина пошла в свою комнату, даже не убрала со стола марки, легла на кровать и заснула. Разве такая инертность — не реакция?

Началась зима. Сегодня днем был сильный ливень и гроза. Гроза была и вечером, наверно, будет ночью. Все было бы ничего, но отчего я не умею работать? Ведь время идет, весна уже не далеко. Наташа Пашковская пишет, завидует мне, что я могу кончить образование, а я так вяло двигаюсь. Разве у меня мало желания! Сегодня я заставила себя зубрить латынь, но как только пошел дождь, я больше не смогла, взяла Гумилева; а потом прижалась

лицом к стеклу и смотрела на дождь. Неужели же у меня совершенно нет силы воли?

7 ноября 1923. Среда

Вечер. На дворе дождь, изредка слышен гром. Хочется спать и в то же время не хочется. Делать нечего. Заниматься все равно не могу, глаза слипаются и нервирует дождь. Одной мыслью утешаешься, что эта зима последняя. Мне так хочется в Париж, что я в это не верю. Если бы верила, я бы больше занималась.

Слышно, как дождь падает на жестяную банку, этот звук всю ночь мне не будет давать покоя.

8 ноября 1923. Четверг

Нищета безобразна, нечеловечна, больше — нищета унизительна!

10 ноября 1923. Суббота

Петр Ефимович куда-то все увлекает, увлекает меня. И страшно, и интересно. Говорит все о любви, о страсти, все это страшно ново, как слова из неведомого до сих пор мира. Мне об этом никто не говорил. И ведь это же мой первый роман, если только это можно назвать романом. Я не понимаю его. Я не верю в то, что он меня действительно любит. Или просто играет со мной, как кошка с мышью, или — я не знаю что. Когда вчера мы с ним ходили перед ужином к старому форту и сидели на фиговом дереве (на котором перед отъездом кадет в Румель, с теми тремя, я провела половину ночи), как всегда при нем, была несколько возбуждена, он болтал без умолку и вдруг сказал: «Я сегодня за себя не отвечаю, я сейчас брошусь и начну вас целовать» (он предупредил об этом, как мы только вышли из Сфаята). Я лавировала как умела между шутками и строгим «Что!?!», стараясь попасть ему в тон и угадать его мысли. И мне сделалось грустно: «Что было бы, — думала я, — если бы это было не в ноябре, а в июне, и рядом со мной был бы не Косолапенко, а Лисневский? Уж, наверно бы, я стояла за гранью того, что называют моралью, нравственностью». Теперь не то. Я буду кокетничать с ним, сколько смогу, буду на этом учиться, а любить его никогда не буду.

15 ноября 1923. Четверг

Идет спешная работа к 6-му. Все готовятся... (Не дописано. — И.Н.)

17 ноября 1923. Суббота

До сих пор я не могу отдать себе отчета в том, что произошло вчера вечером. Мне нездоровилось. Я сидела за этим же столом, так же, как и сейчас, облокотившись на левую руку, правая лежала на столе. За мной стоял Сергей Сергеевич. Я слышала, что он дрожит, я всегда боялась этой дрожи, когда бывала с ним вдвоем. Мы все время молчали. Потом он наклонился и стал целовать мою руку и пальцы. Я сказала: «Не надо». Он не выпустил моей руки из своей, и я опять чувствовала прикосновение его губ. Я повторила: «Да не надо же, Сергей Сергеевич!» Он продолжал. «Вам неприятно?» Я не узнала его голоса: глухой, тихий и серьезный. Он целовал мои руки и волосы, а я не понимала, в бреду ли это или на самом деле. Если бы это был кто-нибудь другой, я бы действовала иначе, но Сергей Сергеевич такой тихий, скромный, неужели он меня любит? Я больше не останавливала его и думала все о том, кого «больше не люблю».

21 ноября 1923. Среда

Слава Богу, праздники прошли, жизнь опять возвращается в колею. Терпеть не могу чужих праздников! На балу я не была, как у меня давно уже было решено. Причин было много: во-первых, я хотела подчеркнуть, что то, что здесь считается чуть ли не главным, на что обращается столько внимания, — для меня ничто; во-вторых, у меня не было подходящего туалета, это все-таки официальный корпусной бал, и было много с эскадры; в-третьих, у меня нет знакомых, с которыми бы я хотела провести хорошо время; в-четвертых, там был Лисневский, а мне не хотелось с ним встречаться: я знала, что танцевать со мной он все равно не будет, а только лишний раз подчеркнет свое пренебрежительное отношение ко мне, да еще на глазах у всех, а это и так уж наделало мне много неприятностей.

Вчера я его видела несколько раз. Он умышленно попадался мне на дороге, а я умышленно перед его носом поворачивала круто в сторону. Когда же все-таки столкнулась с ним лицом к лицу, я поймала его взгляд, такой знакомый! Но теперь уже не то. Пусть ухаживает за Лялей, я не ревную. Прошлого уже не будет, да и не надо его.

1 декабря 1923. Суббота

Да, много воды утекло с тех пор, когда я в последний раз писала дневник. Сфаят волновался из-за лавки, вернулась из Сиди-Абдала Тамара Андреевна — у нее родилась дочка, Сушко сошел с ума, у меня завязалась переписка с Мимой. Я с головой погрузилась в стихи,

люблю их; может быть, даже сбилась с дороги, продолжая флиртовать с Косолапенко, и т.д. Я страшно переменилась, не могу уследить — с каких пор. Стала самостоятельнее, стала отдавать себе отчет во всем, что делаю и думаю, одним словом, делаюсь человеком. Однако у меня тухнет лампа и надо ложиться спать.

2 декабря 1923. Воскресенье

Страшно привязался Сергей Сергеевич к нашей семье, как раньше к семье Кольнер. Последнее время он не пропускает у нас ни одного вечера. Очень милый и услужливый — и примус разожжет, когда всем лень, и кофе сварит; и, если керосину нет, первым делом обращаемся к нему, сегодня весь вечер мы читали вслух вчетвером Нарежного «Бурсак» и с большим интересом. Такие вещи хорошо так читать.

Сушко завтра отвозят в лечебницу. Он еще ничего не знает. Днем он в нормальном состоянии, а по ночам у него бывают припадки, и он бежит с пашкой по коридорам, галлюцинирует, бросается на всех. Он алкоголик и кокаинист. Пьет страшно. И все здесь пьют, т.е. мичмана, корабельные гардемарины и даже новоиспеченные гардемарины. Корабел Томашевский распух и ходит с красным носом. Его сестра, очень богатая, несколько раз высылала ему из Франции денег на отъезд, а он их носил к итальянцу (м^ада^м Завалишина восторгается его «идейностью»). И так все. Даже младшие гардемарины, прошлогодние кадеты, пьют. Всеволод Новиков прямо немением. Вид у него вызывающий, тянется во всем за мичманами, увлекается строем, драит кадет, проповедует о «военном духе» и т.д. Прямо не узнать в нем кадета Новикова, который так возмущался этим режимом и строевым начальством. Вообще, эти четыре, оставленные на должности помощников отделенных начальников, ведут себя безобразно. Недавно у Васи Доманского вышел такой инцидент со Степановым. Вася стоял под винтовкой, дежурным офицером был Степанов; и вдруг ему захотелось отпустить того до срока, «из снисхождения». Он скомандовал «к ноге». Вася ответил: «Я не желаю вашего снисхождения, “к ноге” не возьму, буду стоять до конца, а вы этого не имеете права делать!» Тот обозлился, подал рапорт начальнику строевой части, и теперь Васе грозит карцер, снятие нашивок (он унтер-офицер) и т.д. С точки зрения устава Вася был не прав, но все кадеты говорят, что на его месте они поступили бы так же. В самом деле, как противен этот тон вчерашних кадет, ставших начальством. Меньше всего я этого ждала от Всеволода — и этого тона, и пьянства, и опустошенности, разгильдяйства, почти полного падения; это погибшие люди, всем им место в сумасшедшем доме, а не быть воспитателями.

3 декабря 1923. Понедельник

Вечером, когда все были у всенощной, у меня сидел П.Е. и все говорил о том, что я женщина, что я не должна забывать этого, должна быть всегда подтянутой и т.д. Мне было очень неприятно, во-первых, потому, что это правда — я за своей внешностью не слежу; а во-вторых, это и невозможно: как я могу быть элегантной женщиной в Папе-Колиных тапках.

7 декабря 1923. Пятница

Жребий.

8 декабря 1923. Суббота

Перед обедом приходит ко мне Семенчук. «Я к вам с большой просьбой». — «В чем дело?» — «Да вот нам задано сочинение на тему: “Учение — свет, неученье — тьма”, так напишите мне его, пожалуйста!» — «Да как же я вам могу его написать?» — «Да это тема отвлеченная, а мне очень не хочется писать». — «Да ведь тема простая, вы ее отлично напишите». — «Нет, напишите, пожалуйста, ведь вы скоро можете написать, вы хорошо пишете, много знаете, когда вам будет скучно — напишите!» — «А почему вы сами не хотите написать?» — «Не хочется, я все равно писать не буду». Упрям, настаивает: «Вы не торопитесь, мне к двадцатому». — «Нет, я вам не буду писать». — «Ну пожалуйста, напишите, ведь вам это ничего не стоит, а мне и время нет». — «Да вы уж как-нибудь выберете время». Встает. «Пожалуйста, напишите, я буду надеяться». — «Не буду!» — крикнула я ему вдогонку.

Днем, перед уроком математики сидел у меня Петр Ефимович. Я кокетничала и чувствовала, что вхожу в свою роль. Он несколько раз собирался уходить, но я его настойчиво удерживала. Мне было весело, я чувствовала в себе какую-то новую силу и не боялась ничего. «Вы играете», — говорила я. «Эта игра придумана вами!» — «Нет, вами. Вы не раз уже играли в эту игру и знаете ее до малейших деталей». — «Это не игра». — «Так чего вы от меня хотите?» — «Вы знаете чего — поцелуя!» — «И это — конец?» — «Дальнейшее зависит от вас». — «И от вас также». — «Ирина Николаевна! Если бы это было в России — это было бы совсем другое дело!» — «Да. А теперь — это игра. Я хочу играть и взять над вами верх». — «Т.е. видеть меня у ваших ног?» — «Выражаясь аллегорически — да!» — «Вы у цели?» — «Нет, мне надо искренности». — «Вам мало?» — «Да, мало. Я хочу глубокого, серьезного чувства». — «А я его боюсь!»

Я вертела в руках карандаш, а он несколько раз падал на пол. «Вот даже в этом карандаше я вижу кокетство, — говорит П.Е., —

а вы говорите, что не знаете его». Я бросила карандаш на пол и следила за движением П.Е. В первый раз я испытывала чувство власти и упивалась им, как можно упиваться только в первый раз. Я посмотрела в маленькое зеркало: глаза блестели, щеки горели. «Какая вы сейчас хорошенькая». Я смеялась: «Доиграетесь со мною, смотрите». — «Что же будет?» — «Влюблюсь я в вас». — «Этого не будет никогда». Он говорил переменявшимся голосом, в глазах у него горел странный огонек, я чувствовала, что победа на моей стороне. Больше ничего не надо. Теперь я ничего не боюсь, буду ходить с ним гулять и при закате, и в темноте, мне с ним весело, мне этот роман нравится, сила на моей стороне.

Я его не люблю, но играть с ним буду. Чего мне бояться? Это ново, интересно, дает сильные, душевные движения, а ими я и живу. Я горда сознанием, что хоть один человек, может быть, действительно находится у моих ног.

9 декабря 1923. Воскресенье

Получено письмо от Мимы, и очень неприятное. Пишет: «Три дня провел за чтением гумилевского набора слов и Ваших пессимистических надутых стихов...» Это так не вяжется с его предыдущими письмами, в которых он называл меня «своей учительницей», явно склонялся на мою сторону и т.д. Меня это кольнуло. Ну, да что же делать; не сумела, значит, убедить; и, значит, не гожусь еще для этой роли. И это мне неприятно.

Я настояла на прогулке с Петром Ефимовичем, однако, первый раз он захватил с собой Крючкова. А днем мы уже были одни. Я заставила его сказать все: что он любит меня, боится этого, хочет поцелуя и т.д. Я ощущала его и думала — что же дальше? Что мне еще надо? Что дальше делать. Он говорит: поцелуй, а я не могу, потому что не люблю его. Его мне не жалко, хочется поиграть еще, а он, может быть, напрасно увлекается, говорит изменившимся голосом, в глазах — огни, может быть, слёзы, мне так показалось. Потом он сидел у меня. «Что же дальше? — задала я ему наивный вопрос, — чего вы от меня хотите?» — «Вы знаете чего — поцелуй!» — «Но этого никогда не будет!» — «Так, значит, вы жестоко играете мною?» — «Да, играю». Он молча целовал мою руку. Ушел он расстроенный, и я думала — больше не придет, но он пришел, только не ко мне, а в большую комнату. Был весел, как ни в чем не бывало. Однако, когда я его звала немножко пройти до обеда, он говорил: «Позовите Николая Николаевича, тогда пойдемте». — «А без Николая Николаевича?» — «Тогда не надо, не пойду». — «А если я вас прошу?» — «Нет, Ирина Николаевна, лучше не надо». Я не настаивала.

21 декабря 1923. Пятница

Прежде всего — что произошло за это время? Получила письмо от Наташи, очень хорошее, с припиской Абрамовича, ее приятеля, тоже поэта. Стихи ее и его. В стихах есть что-то новое, но что — не могу схватить. Вчера ответила и Наташе и Абрамовичу. Он, судя по письму и отзыву Наташи, очень славный. Потом, у Тимы Маджугинского недавно в ночь было три припадка эпилепсии. Раньше этого с ним никогда не было. А глядя на него, трудно предположить, что у него скверные нервы. Мне его так жалко, что он сделался таким близким-близким мне. Когда он в среду вечером на именинах Папы-Коли был у нас, мне хотелось сделать ему что-нибудь приятное и хорошее. А ночью я поймала себя на мысли, уж не влюбилась ли я? И вслед за этим невольно вспомнился Вася Доманский. Да, тоже очень симпатичный. Я вчера написала стихотворение, посвященное ему. Мне они оба нравятся, но до любви тут еще далеко. Что ж еще? Сушко вернулся из госпиталя. Я написала пьесу «Сфаят» в 3-х картинах. Страшно холодно, вчера было +3°, сегодня, думаю, и того меньше.

24 декабря 1923. Понедельник

Вчера днем у меня сидели Вася и Таутер, а я писала сочинение на тему «Труд кормит, а лень портит». Я писала, а они подыскивали примеры. Писала я для Васи, но и Таутер хотел воспользоваться им с некоторым изменением. Когда я писала, меня вызвала Ирина Насонова и говорит: «Леня Крючков прислал мне письмо, он без отпуска и не может прийти. Он очень просит Вас написать ему сочинение на тему: “Ученье свет, неученье тьма”». Напишите?» Я ответила, что не успею, и действительно не успела. Ирина очень волновалась и несколько раз прибежала ко мне. Я так и не написала. А сегодня слышала, как Петр Алексеевич жаловался Ирине на Крючкова, что тот ничего не знает. Не знаю, как проскочит Вася. Писала я наспех и довольно скверно, но все-таки неприятно будет, если получу скверную отметку... И перед Васей неловко.

Еще давно мы с Насоновыми договорились 24-го вечером пойти в город, зайти в костел, потолкаться по улицам, поглядеть, как французы встречают Рождество. Эти дни была скверная погода, и этот вопрос сам собою отпал. А сегодня погода хорошая, теплая, дождя нет. Я больше чем уверена, что никуда мы не пойдем. Сейчас у Мамочки машина не шьет, и к ней лучше не приступайся. Потом... да уж найдутся какие-либо причины. Разве легко раскаться! И не то мне обидно, что не пойдем в город, а то, что ника-

ке, даже самое маленькое удовольствие невозможно здесь. А потом — упреки, что меня ничто не интересует, что мне бы только поспать и т.д. Что хоть немножко могло бы разнообразить нашу жизнь — никогда не удается. И так — всегда.

30 декабря 1923. Воскресенье

Я все еще не могу отдать себе отчет, люблю ли я Васю или это было только минутное увлечение. Когда мы, час тому назад, сидели рядом на кровати, совсем близко, он держал мою руку и пристально смотрел на меня, мне стоило больших усилий сдерживать себя, хотелось как-то по-кошачьи обнять его, приласкать. Он был мне таким близким-близким. Мы молчали, но молчали красноречиво. Он смотрел на меня каким-то особенным пристальным взглядом, потом коснулся головой моего плеча, но вдруг, словно очнувшись, выпрямился. Меня билa нервная дрожь. Так продолжалось долго, и мне не было ни страшно, ни неприятно. Как-то хорошо, по-новому хорошо. Вчера вечером я кокетничала с ним, задалась целью победить его. Он казался мне неприступной крепостью. Кокетничала с ним сегодня, когда подробно развивала ему теорию пьесы в трех действиях под двумя названиями («Любовь» и «Кокетство»). Потом не помню, о чем говорили, о чем-то хорошем, интимном. «У меня сейчас есть одно желание», — сказал он. «Какое?» — «Я не скажу». — «Почему? Нет у вас ко мне доверия?» — «Нет, не потому». — «А почему?» — «Так». — «Оно исполнимо или нет?» — «Это зависит от вас». — «Так почему же вы не хотите мне его сказать?» — «Зачем же говорить, когда все понятно!» И я понимала его. Я не хотела и не могла остановить его, освободить свою руку, как, может быть, требовалось бы; мне самой так хотелось этой ласки, этих глубоких и грустных глаз. Не знаю, во что все это выльется, что будет дальше!

1 января 1924. Вторник

С Петром Ефимовичем у меня уже давно произошел разрыв. Я ему в последний раз сказала: «Это была игра». Он не верит, говорит, что это не зависит от меня, что я не вольна в своем чувстве и т.д. Одним словом, хочет меня убедить, что я его люблю. Это меня злит. Сегодня я была с ним чересчур даже груба и резка. Я ему сказала, что он нарывается на ссору и что этого ему уже не придется повторять. Теперь я еще больше узнала его. Он — эгоист, ревнив, подозрителен и мстителен. Он, конечно, догадывается, что между мной и Васей что-то произошло, и ревнует меня к нему. Ревнует страшно, говорит кисло-сладкие слова и старается на что-то намекать. Ему сейчас

больно, я верю, и хоть он и говорит, что сам виноват, но мне кажется, что он обвиняет меня и всякими упреками и подозрениями хочет отомстить мне. Но в нем есть порядочность, и я уверена, что и месть будет только между нами.

О Васе я думаю это время. Страшно хотелось его видеть. Сегодня он зашел ко мне (а не в большую комнату, как всегда), был какой-то кислый, будто расстроенный, отвечал невпопад. Мапочка, когда на минутку зашла ко мне, сразу заметила это. «Что это вы в растрепанных чувствах?» — «Устал». Врет. Разговор не кончился. Я прочла ему последние стихотворения, не знаю уж, как он их понял. «Ну, мне пора!» — говорит он. «А мне что делать?» — «Да, я знаю, что вам делать!» — «Что?» — «Не скажу». — «Почему?» — «Так». — «Почему?» — «Не все можно говорить». — «А сама я это сделаю?» — «Не сделаете». — «Почему?» — «Так». — «А вам этого хочется?» — «Хочется». — «А вы бы это сделали?» — «О, запросто!» — «Так почему же вы думаете, что я не смогу?» — «Так я на всякую гадость способен!» — «Значит, это гадость?» — «Нет, совсем даже не гадость... Я не могу все равно сказать». — «Почему?» — «Нельзя». — «А я это сделаю, Вася». — «Нет». — «Сделаю». — «Это будет зависеть от вас». — «Ну, от вас». — «Бывают моменты, когда я могу решиться на все». — «Конечно». — «А может быть, я сама могу это сделать?» — «Нет... нет!» Крепкое и долгое рукопожатие, и он оставил меня в недоумении и в сплетении каких-то странных чувств. Я понимала его. В тот момент мне действительно хотелось порвать все нормы приличия и инструкции и сыграть с ним второе действие, на которое так упорно вызывает меня Косолапенко. Люблю я его или нет — не знаю, но готова любить, хотя разум и предостерегает, и указывает на безумие и глупость. Но я его хочу. Мне нравится его ласковый взгляд, только он не всегда бывает ласковым. Любит ли он меня? В его обращении со мной есть какая-то неопределенность. Вечная недоговоренность, молчание, какая-то боязнь назвать все своим именем, неуверенность, и я не знаю, что еще. «Будьте смелей!» — сказала я ему, когда он уходил.

4 января 1924. Пятница

На этой неделе я заработала починкой больше десяти франков. И вот не знаю, куда их девать.

8 января 1924. Вторник

Вот уже второй день Рождества. В сочельник я была у всенощной (после большого перерыва), потом мы зажигали елку. В большой комнате у нас на столе стоит небольшая сосенка; Сергей Сергеевич склеил разноцветную цепь, несколько флажков, позолотил

немного орехов; повесили пряников, нацепили церковных свечей и зажгли. Было хорошо и весело, пробуждались какие-то детские воспоминания. Я ждала, что придет Вася, но он не пришел, его и в церкви не было.

Вчера утром была в церкви, на форту, пришла домой, и стало грустно, невмочь. Сидела у себя в комнате одна. Пришел Петр Ефимович и начал болтать обычные глупости, усматривая то, чего нет. Я злилась про себя, но все-таки сама болтала ерунду и тревожно думала: «Неужели же Вася не придет?!» Он скоро пришел. Мне было приятно его присутствие, хотелось отделаться от П.Е. Наконец он ушел играть в шахматы. С Васей мы дурили как дети. Пошли было гулять, но замерзли и скоро вернулись. На обратном пути он взял и закрыл ставни: «Представим, что уже вечер». Мы сидели на кровати, как тогда, совсем близко и молчали. Тут должно было произойти кое-что сверхъестественное, если бы не пришли Сережа и Мима. Тогда мы начали играть в карты. Я все время оставалась. «Ну, ничего, — говорю, — в карты не везет, в чем-то другом везет». Вася близко наклонился ко мне и тихо сказал: «В чем? Скажите?» Глаза его блеснули, и я их понимала, как и он меня понимал.

Вечером мы пили чай в большой комнате. Я сидела рядом с Васей и щелкала орехи, а он до боли сжимал мне руку. Мне надо было идти на ёлку к Насоновым и страшно не хотелось, не потому, что мне нравился этот, в сущности, пошлый жест, а потому что меня опьяняла его близость, было как-то необыкновенно хорошо угадывать в нем любящего и любимого. У Насоновых было много кадет и поэтому было весело, но моментами делалось как-то нестерпимо грустно.

Расчесывая на ночь волосы, я долго сидела неподвижно на кровати. Мне было грустно, что мы с Васей никогда не будем близкими друг с другом. Он никогда не поймет моей «второй души», моей синей тетрадки и томиков стихов; так же, как и я не пойму его кадетской удалы.

9 января 1924. Среда

Вот Вася и ушел. И если он придет ко мне в комнату, то уже не тем. Все кончено.

Сегодня я вела себя невозможно. После вчерашней сцены была реакция. С Васей опять были недомолвки. И последние полторы недели вдруг показались мне в другом виде, я поняла, что ничего не было, что это была только моя выдумка. Кончилось тем, что я глупейшим образом разревелась. Вася старался меня утешить и понимал в это время мои чувства и мысли лучше, чем я сама. «Вы сердитесь на меня?» — спрашивает. «Честное слово — нет». — «Я во всем

виноват?» — «В чем?» — «Да во всем». — «Нисколько не вы, а я». — «Ну, да!» — «А разве вы чувствуете за собой какую-нибудь вину?» — «Да, чувствую». — «Нет, нет, Вася, совсем даже нет!» Он старался очернить себя, говоря, что он пустой человек, что ни на что серьезное не способен и т.д. «Теперь я все понял. Я понял еще тогда, когда вы меня ругали, называли трусом. Ну да, я трус». Только в этот момент я почувствовала, как сильно я его люблю, как он мне дорог. «Ну, не нужно расстраиваться, ведь все пройдет? Правда?» — «Ну скажите, что мне делать, чтобы загладить все? Так не будете расстраиваться? Ира, не надо, не стоит!» Он ушел, а я долго, долго плакала. И тут я поняла, что слёзы могут облегчать горе. Не то чтобы я успокоилась совсем, нет, а просто стало как-то светлее на душе, яснее. Мне не в чем его упрекать, даже в том, что он закончил эту игру. У меня просто не хватило силы воли порвать то, что начиналось, хоть я и могла видеть все уродливые концы. Я их не хотела видеть. Он оказался благоразумнее меня, это не трусость, как он сказал, а разум. Когда мне захотелось кокетничать с ним, я не думала, что все это примет такую форму. Мне казалось, что я ему сверну голову, а вышло наоборот. Мне только неприятно, что он понял больше, чем я хотела. Поэтому мне хочется еще раз повидаться с ним наедине. Пусть заглянет в мою «вторую душу», он уже и там слишком хорошо знает меня, так пусть узнает всю. Не знаю, какие у нас будут отношения. Все равно о нем у меня останутся самые хорошие воспоминания. Хотела бы, чтобы и он меня не поминал лихом.

Только полторы недели! Но эти полторы недели имеют в моей жизни больше значения, чем три месяца с Косолапенко и десять месяцев с Лисневским.

14 января 1924. Понедельник

Последний разговор с Васей. До сегодняшнего дня еще ничего не было кончено. А сегодня — конец.

Мы сидели у меня. Обычные недомолвки. Я спросила его: «Да или нет?» и загадала: любит ли он меня. Он ответил: да, и стал добиваться вопроса. Кончилось тем, что я написала на клочке бумажки: «Есть ли у вас ко мне хоть немножко чувства симпатии?» И он написал свое желание. Он долго не хотел давать, и мне пришлось уступить и первой бросить ему свою записку. Он прочел и опустил голову. «Ну, теперь дайте вашу!» — «Мне стыдно». — «Вы дали слово». Он бросил свою записку, там было написано: «Я хочу вас поцеловать». Он покраснел и спрятал лицо. «Вот видите, как глупо, я бы не дал, если бы не дал слово». — «А что вы мне ответите?» После долгого колебания и отнекивания он написал: «Вы мне нравитесь, но

любить Вас я не могу: я на это не способен». Я улыбнулась и скоро расплакалась. Он опять старался меня утешить, ругая себя. Я показала ему последнюю запись в дневнике. Мне хотелось ему сказать все. «Да! Я в тот вечер в Вас искал другого». — «Чего же?» — «Этого нельзя сказать! Это подлость». — «Нет, теперь уже надо все говорить». После долгого колебания он написал одно только слово: «Страсть». — «Что вы понимаете под этим словом?» (Я все плакала.) Он пожал плечами. «Вы это испытывали?» — «Да, в тот вечер». — «Все-таки я не понимаю, что вы тогда хотели». Он стоял передо мной. «Я... хотел... вами... Дальше понятно». — «Нет. Скажите, напишите!» — «Нельзя. Это гадость! Вы будете считать меня подлецом!» А спустя несколько минут написал: «Обладать». — «Что ж? Попробуйте!» — «Нет. Я вас не понимал тогда...» Тут вошла Мамочка. Я старалась спрятать лицо, но она сразу заметила красные глаза и замешательство. «Ну, что тут у вас произошло?» Вася нашелся: «Да так! Поругались немного». Мамочка скоро ушла, а мы стали совещаться, как бы спрятать концы в воду. Я плакала. Вася стоял надо мною и взял меня за руки. Потом положил голову на плечо и успокаивал, и поцеловал в голову. Я посмотрела на него: «Вася, никогда не обманывайте меня!» — «Я не обманываю». — «Вы больше не придете сюда?» — «Приду». — «Обещаете?» — «Да». — «Так же, как и теперь?» — «Только реже. Как в прошлом году». К ужину он ушел. Так прошел сегодняшний день от обеда до ужина. Кончилось все. Вася ушел, и ушла даже и мечта о нем. Что же осталось? Милый, милый Вася! Мне больно, но он не виноват. Он такой милый, порядочный. Чем же теперь жить?

А дома Мамочка с Папой-Колей долго допытывались, что между нами произошло. Я отвечала: «Ничего». Мне нездоровилось, я кисла, даже мерила температуру. «Не обидел ли, не сделал ли чего-нибудь дурного?» — «Просто у меня такое нервное состояние. Вот и сейчас плачу». Пока на этом дело и кончилось.

На душе пусто и больно. Милый Вася! Когда же я его увижу? И как нужно жить после того, что произошло.

15 января 1924. Вторник

Слишком много острых переживаний. В душе какие-то пестрые лоскутья. Ночь под Новый Год, сцена на мимозовой аллее. Я была с Сергеем Сергеевичем. Он вынул из кармана мою руку и принялся целовать. Мне было весело, зачаровывала красота лунной ночи, пьянила мысль о Васе. Потом он обнял меня за талию и хотел поцеловать. Я увернулась. «Ирина Николаевна! В такую-то ночь!» А ночь была хорошая. И я была счастлива. А теперь, в Новом Году, —

совсем не то. Сергея Сергеевича я боюсь. Косолапенко давно не видела. С Васей все кончено. Недаром я вчера утром написала в стихотворении: «Страшно думать о будущем и дальнем, последнему месяцу прошептать: прощай!» Как будто бы я чувствовала, что все кончится. Что дальше делать? Неужели же я, правда, «свихнулась»? Теперь надо приниматься за дело, зубрить все дни, хоть в этом году достичь успеха. А то — совсем на это время не останется. Мне только хочется, чтобы Вася пришел. Ничего не должно изменяться в наших отношениях.

16 января 1924. Среда

Вчера днем у меня сидели Коля Овчаров и Йося Таутер. Потом вдруг является Вася. Мне было страшно приятно. Довольно весело провели время до ужина. Начали уговариваться насчет вечера. Я звала к себе. Йося не мог. Коля вступал в дежурство, к тому же он и в третьем разряде. Вася уговаривал его остаться: «А то я один тоже не приду». Коля остался. До 10 часов мы втроем играли в карты. Вася умышленно сидел рядом со мной. Потом уговорили Колю пойти в ту комнату за табаком. «Ну, как? — спрашивает Вася, — ночью хныкали?» — «Ничего». — «Обошлось?» — «Да уж как-нибудь». — «А я вот ночь не спал». — «Мне очень приятно, что вы пришли». — «Я поэтому и пришел. Должен был быть дежурным и подсменился». Вскоре пришел Крючков и Станкевич. Потом Петр Ефимович. Было очень весело. Я кокетничала направо и налево. Вася был внимателен ко мне. Его близость на меня странно действовала. Мне кажется, что и я возбуждала в нем такие же чувства. Около 12-ти кадеты собрались идти. Уговаривали меня пойти провожать. Я сначала не хотела, не хотелось возвращаться с П.Е. Потом пошла. Забегали с Васей вперед. «Какая хорошая ночь», — говорит. «Да, как раз для лунного наряда». — «Лунные наряды не бывают так многолюдны». — «Пошли?» Мы еще удрали вперед. «Я завтра дежурю, напишите мне письмо, чтобы не было скучно». — «Ладно, напишу». Ничего не было сказано, но было легко и весело. Проводили почти до самого форта. Возвращаюсь с П.Е. Он опять за старое. «И вам это весело? Такая неестественность...» Я обозлилась и молчала.

Сегодня перед ужином П.Е. зашел ко мне. Повторилась даже бывшая сцена. Он видел то, чего нет, вызывал меня на второе действие, и когда я ему сказала в сотый раз, что то была ложь, мне показалось, что он сдерживал слёзы. Наговорил кучу жалостливых слов, вроде: живите, веселитесь, кокетничайте. Кстати, о кокетстве: «Понимаете ли вы, что в этих мальчиках вы можете пробудить одно чувство?» — «Какое?» — «Какое не следует пробуждать». — «То есть?» — «Страсть». — «Я этого слова не понимаю». — «Вы его не

поймете. Это понятно только мужчине!» — «Ну а все-таки: что это такое?» — «Подлость».

20 января 1924. Воскресенье. До 12 дня

Жду Васю. Вчера, прощаясь, он сказал: «До завтра». Сегодня последний день. Он должен закончиться безумием: или поцелуем, или чем-нибудь сверхъестественным. Если он будет серым, как вчера, мне будет очень тяжело и трудно начинать спартанские будни. Ему тоже чего-то хочется. Или меня он любит, или это страсть.

Вечер. Около 12 ночи.

Сегодняшний день не обманул моих ожиданий. После ужина мы с Васей были некоторое время одни. Мы дурили, немножко ругались, упрямылись. Потом пришли — Сережа Шмельц, Мима и Пава Елкин. Начали играть в карты. Не помню, с чего началось, но мы с Васей поссорились, наговорили друг другу немножко дерзостей, потом он что-то спросил, я не ответила. Когда мы кончили игру, он оделся и вышел. Я за ним. Поговорили за дверью. Он переломил себя и вернулся. Но был все время кислый, вялый, все молчал. Нас позвали чай пить, Вася отказался. Когда те трое вышли, я немного осталась с Васей. «Вы сердитесь, Вася?» — «Нет, Ирина, не сержусь». — «Правда?» — «Честное слово». — «Так что же вы тогда ушли?» — «Ну, это тогда было, а теперь нет». — «Мне очень неприятно». — «Нет, Ирочка, не надо, я не вернусь». Но у меня глаза уже плакали, и я пошла вытереть их полотенцем. Он обнял меня, как-то нежно прижался ко мне и тихо, почти неслышно, поцеловал. И мы вместе отправились в ту комнату. Потом в начале двенадцатого он собрался идти и пошел ко мне за бушлатом, я за ним, якобы лампу зажечь. Мы говорили о том, что вот праздники кончились и не принесли они ничего, что от них ждалось. «А чего вы хотели от праздников?» — спросил Вася. «Сама не знаю, Вася. Слишком многого и слишком малого». Он меня ясно понимал в тот момент, но как всегда просил назвать. «А чего вы хотите?» — «Этого нельзя сказать». Я схватила его за руку: «Вася, скажите, зачем еще скрывать?» — «Нет...». Потом я не успела ничего сообразить, как мы поцеловались, и он выбежал.

Если б это только действительно была любовь!

21 января 1924. Понедельник

Начались будни. Начались занятия. Достала Историю Церкви и Катехизис и зубрила. Немножко трудно, внимание рассеивается. Еще слышатся отголоски праздничного безделья. Настроение

бодрое, работать хочется. Завтра дела пойдут лучше, буду (нрзб одно слово. — *И.Н.*) копить все дни и вечера, авось скоро пройдет время до субботы. Вася хотел прийти в субботу. Мне хочется побыть с ним вдвоем над томиком Ахматовой. Вчера, когда Таутер и Овчаров издевались над каждой строчкой, он просил меня показать мои любимые и объяснить их.

Только кто-то помешал. А Вася сможет понять, если захочет. А все-таки надо работать, работать, работать.

23 января 1924. Среда

По Сфаяту носится одно восклицание: «Ленин умер! Вы слышали — Ленин умер!» — «Воскреснет!» — «Да нет, факт!» — «Он бессмертен». — «Он уже двадцать раз умирал...» Официальное сообщение из Москвы: «Троцкий арестован» и т.д. и т.д.

26 января 1924. Суббота

Неужели же он не придет? Вот уже и суббота, и 4 часа, а его все нет! А в четверг, когда заходил к нам прострочить погоны, сам звал меня, если будет хорошая погода, и «в воскресенье или в субботу» пойти за нарциссами. Погода великолепная, можно ходить без... (не дописано. — *И.Н.*).

Полночь.

Вечером был Вася. Сначала были малыши, потом ушли. И в этот вечер я «принадлежала» ему, если это есть «обладание». Он держал мои руки, касался головой моего плеча и лица, целовал меня. Потом я посмотрела ему в глаза и спросила прямо: «Что вы от меня хотите?» — «Ничего». — «Тогда зачем вы играете?» — «Так, просто, Ирочка». — «От скуки?» Он мотнул головой. «А мне это больно», — сказала я уже с горечью. «Больно? Зачем? Ирочка, не надо...» — «Да, больно. Вам это, Вася, непонятно, а вот если когда-нибудь испытаете это сами, поймете». — «Ирочка, я не буду играть, никогда не буду. Я не знал, что вам это больно. Простите меня». — «Я не сержусь, Вася, только не надо». — «Я не знал, что вам это неприятно». — «А без игры вам будет скучно?» — «Ну что ж? Я не хочу, чтоб вам было больно». — «Разве вам это не все равно?» — «Нет, совсем не все равно». Мне было грустно, смутно, пусто и ясно, я все еще хотела во что-то верить, угадать в нем хоть немножко любви. Точь-в-точь как Косолапенко. Но Вася был прост, искренен и откровенен. Мне хотелось прижаться к нему и плакать, но я поборола себя. Я сказала ему, что все должно оставаться по-старому, завтра мы идем за нарциссами, и я постараюсь установить

наши отношения. Уходя, он обнял меня и поцеловал. В последний раз. Я ему сказала, что «не надо больше игры», и он ушел.

За последнее время я настолько привыкла к таким нравственным встряскам, что могу совершенно хладнокровно и спокойно писать эти строки. Васиной любовницей не буду, а предложу ему свою дружбу. Только едва ли после этого возможна дружба. Порвать с ним совсем я не хочу и даже боюсь. Я не верю в его порочность. Это ребячество, искание новых ощущений, тоже игра, которой забавляюсь я с П.Е. Пусть он не любит меня, я здесь ему все-таки ближе всех.

27 января 1924. Воскресенье

Ходили с Васей за нарциссами. Очень далеко, обогнули весь Кебир. Было хорошо во всех отношениях: грело солнце по-весеннему, цветов мало (там грязь непролазная), на душе просто и легко. Вася сам начал разговор о вчерашнем; ему хочется играть, он говорит, что в этом нет ничего плохого. «Надо на все смотреть легче, не обращать внимания». Я сказала ему, что недавно сама играла его роль, зная, чем все это может кончиться, и не ему быть Косолапенкой, т.е. надоест ему, чтобы он почувствовал ко мне неприязнь, и что боюсь прекратить игру, потому что боюсь потерять его. «Ведь кроме вас нет ни одного человека, с которым я была бы откровенна». Говорили о жизни — вообще, о нашей — в частности. Васе не понравился мой взгляд на жизнь как на сложную загадку. «Нет, Ирина, надо жить так, чтобы было весело». — «Но ведь кроме жизни внешней, есть еще жизнь внутренняя». — «О, если только внешняя хороша, то и внутренняя тоже». — «Ну, в этом мы никогда друг друга не поймем». — «Я, конечно, не знаю, может быть, потом буду думать не так». — «Я не сомневаюсь, но все-таки у нас с вами никогда не будет точки пересечения». — «Почему?» — «Мы из разного теста сделаны». — «Вы уверены? А мне кажется — нет!»

Вообще, сегодняшним днем я довольна. Вася ко мне относится хорошо, по-дружески, самой любви нет, но есть много симпатии и доверия. А это уже много.

28 января 1924. Понедельник

Днем занималась Законом, как распределила время вчера. А вечером, вместо Катехизиса, написала шуточную сказку-быль в стихах на злобу дня: «Курица, потерявшая совесть». Против обыкновения, вышло довольно удачно. Сергею Сергеевичу так понравилось, что он переписал ее в 3-х экземплярах; а дедушка — «полковник Контрокуров», кажется, обиделся. Не знаю, послать Васе экземпляр или не надо?

1 февраля 1924. Пятница

Кажется, Вася заболел. Теперь все больны гриппом. Я заглянула в тетрадь Папы-Коли, и там против его графы стоит «нб». Неужели же завтра и в воскресенье я его не увижу. Хоть бы письмо написал, — да нет, не напишет.

2 февраля 1924. Суббота

Получила от Лели письмо, в нем ряд страшных вопросов о любви, о человеческих отношениях. Сегодня же вечером я начала письмо, написала подробную историю своего романа, и взгляд на эту игру, причем взгляд-то был Васин, когда я уже написала, тогда только поймала себя на этом. Не ждала я от Лели такого понимания чувств женщины, — ее ответ на мой первый роман. Она ставит вопрос на серьезную почву, а Вася старается его поставить в тон игры, а лучше и совсем не ставить. Сегодня он вступил в дежурство по роте, вечером не был, не будет и завтра днем, а вечером, наверно, придет. После ужина, до разводки нарядов (сегодня всенощная, потому разводка была здесь) на три минуты он зашел ко мне. Не знаю, что будет завтра.

3 февраля 1924. Воскресенье

Вася не придет. У него вышла какая-то история с Фишером, я не знаю что, но только Вася вечером на два дня садится в карцер. Мне очень, очень грустно.

9 февраля 1924. Суббота

При одной только мысли у меня начинает кружиться голова, хладеют плечи и захватывает какой-то дурман. Это мысль: из всех мальчиков в синих матросках, из всего этого ровного батальона-машины, состоящего из отдельных, но совершенно одинаковых фигур — есть один, с которым меня соединяет какая-то таинственная связь. Может быть — порок. Только не страшно, а хорошо. Захватывает дыхание и темнеет в глазах, как будто смотришь с пятого этажа. Его я жду, сейчас все — для него. Сегодня он не приходил, дежурил по роте, а вечером, когда освободился, наверно, спать уж очень хотел, после дежурства-то. Мне было грустно, но над «Петербургом» А.Белого отвлеклась.

10 февраля 1924. Воскресенье

Первый раз был с Васей серьезный разговор. Говорили о «вопросах» жизни. И тут я узнала его. Он — абсолютнейший нигилист, он ничего не признает, не может понять Дембовского, который

всю жизнь посвятил математике, не понимает меня, моего увлечения поэзией. И не поймет. Я говорила, что жизнь тем страшна, что долга, и что ее надо упрятать, чем-нибудь заполнить надо, все равно чем, но только поверить, что это и есть самое важное и интересное. Это — самообман, но он необходим, чтобы осознать себя, иллюзию счастья, удовлетворение. Он не соглашается. И не согласится. Вся разница между нами только в том, что у меня есть поэзия, а у него совсем ничего нет. И ему не надо, а я не могу примириться с таким отрицанием всего. И мы стали совершенно чужды и далеки. Точка пересечения была единственной, теперь пересекающиеся прямые отходят все дальше и дальше. И уже не о чем было говорить. И все — кончилось. Я знаю, что по-прежнему буду ждать его, также томиться по воскресеньям, может быть — буду любить. Но любовь безрассудна и слепа. Мне все еще хочется его, но больше я никогда не пойду с закрытыми глазами.

11 февраля 1924. Понедельник

Вечер. Забастовала рука. Проснулась с сознанием страшной, непоправимой пустоты. Потом ничего, рассеялась.

Болезнь зуб, на стену лезла, бегала к зубодерке.

Потом разговор с Мамочкой: «Тебе нравится Вася?» — «Нравится». — «Ну, и как... увлекаешься?» — «Нет, это не может быть...» — «Почему?» — «Слишком мало у нас общего»...

Вечером писала Васе сочинение: «Помещичий быт по “Обломову”». Завтра он придет.

17 февраля 1924. Воскресенье

Пользуюсь тем, что до обеда руки не забинтованы. Давно не писала, да, в сущности, ничего и не произошло за это время. Только на днях был опять разговор с Мамочкой. Я ревела, нервничала, говорила, что это не жизнь, что в России и то лучше, что там есть что-нибудь интересное, а здесь — ничего. Я говорила, что со скуки можно решиться черт знает на что, даже на преступление. Ведь в Сфаяте все и всеми делается «от скуки». Мне вспоминается замечательный рассказ Горького «Скуки ради», и мы что-то в этом роде; содержание почти не помню, но логическая сторона глубоко врезалась мне в память.

Мамочка говорила, что здесь нет ни одного интересного человека, я согласилась. «А мне одно время казалось, — говорила она, — что ты увлекаешься Васей». — «Чтобы увлекаться, надо признавать его хоть в чем-нибудь выше себя. Так, по крайней мере, я понимаю». Я думала: «Ведь я не считаю его выше себя, так за что же я его люблю? Наверно, потому, что он, как и я, нищий, ничего не знает и не

видит, с клеймом Сфаята». Мамочка назвала его «очень славным мальчиком, но неинтересным человеком». Мне кажется, что она боится моего увлечения и старается облить меня холодной водой, подействовать на самолюбие. Так было и с Лисневским. Мне это было неприятно, я знаю, что она всегда имеет на меня большое влияние и ее слово, помимо моего сознания и моей воли, часто бывает решающим. Я хотела ей ответить, но не ответила, что «интересность» человека — дело наживное; ее дает жизнь, опыт, развитие, иногда природа. Но у человека, который человеком-то стал уже в Сфаяте, где он ничего не видит и не знает, где он поставлен в такие рамки, что не может выявить себя, даже найти, узнать сам себя не может, — такой человек не может быть интересным с ее точки зрения. Ничего еще не значит, что у него сейчас нет интересных, оригинальных мыслей и взглядов; у него ничего нет, но я не сомневаюсь, что когда он узнает жизнь, у него сразу явится все, тогда-то он и выявит себя, тогда его и можно будет судить. А пока он такой же «нищий духом», как и я, только у меня есть несколько книжек, которые мне говорят о жизни, а у него есть товарищи и воспитатели, которые забивают ему голову всякой ерундой. Упрекать его в «неинтересности», в том, что он пустой человек, — жестоко, это не его вина. Мамочка даже и не представляет, какой страшной печатью лежит на нас, начинающих жизнь, Сфаят. Я Васю понимаю глубже ее, именно потому, что я сама такая, может быть, поэтому-то он мне так близок и дорог.

19 февраля 1924. Вторник

Попала в лабиринт, из которого нет выхода. В семье стала совсем чужая. Вчера, когда мы с Мамочкой гуляли, она спросила меня, о чем мы говорили с Васей вечером в воскресенье? Я не могла ответить, потому что мы как раз ни о чем не говорили. «Не хочешь говорить... тебе Вася ближе меня?» и т.д. А вечер в воскресенье был, действительно, неудачным. Началось с того, что я обиделась на Васю, что он пришел не ко мне, а в большую комнату и долго не хотела туда идти. Потом Мамочка пришла ко мне, и мы от нечего делать начали играть в математического дурака. Я и на это сердилась. Когда остались с Васей одни, что нам, очевидно, не о чем говорить, называла его пустым человеком, говорила, что он ни о чем не может думать и т.д. Он болтал вздор, потом сразу замолчал, играл с ножницами, называл меня Ирина Николаевна. Когда же я опустила голову и закрыла лицо руками, он вдруг сорвался со своего места, сел рядом со мной и схватил меня за руки. Опять прежнее — Ирочка, прежний взгляд. Мне стало весело и хорошо. И только когда нас позвали чай пить (мы тогда переругивались), Вася закапризничал,

и мы не пошли. Мамочке все это было неприятно. Предчувствуя объяснение, я в этот вечер не заходила домой. А назавтра разговор с Мамочкой о том, что «сидение вдвоем производит какое-то нехорошее впечатление, что я стала как-то странно держаться» и т.д. Я замкнулась в себя и в свою кабинку, принялась заниматься. Я знаю, что во мне что-то замечают, обо мне говорят у нас. Я избегала оставаться вдвоем с Мамочкой, я неловко чувствую себя, когда она говорит о Васе. Потом ничего. Обошлось. Все хорошо, я подыскиваю тон, а на душе больно и грустно.

Я читала Гарина («Из семейной хроники»), то, о чем писала мне Леля. И Карташев, и все они — моментами производили прямо отталкивающее впечатление. Со стороны все это так гадко, грубо, на практике, как я вижу, не совсем то. Разница, правда, в том, что я мое сближение с Васей не считаю за начало других и не доведу до физических или физиологических последствий. Вечером (наши играли в винт у Куфтина) у меня сидел Сергей Сергеевич. Мы молчали. По его лицу я видела, что он думает обо мне. Мне казалось, что он хотел обладать мной, хотел страсти, как все у Гарина, и мне стало до слез жалко себя. Когда он схватил мою руку, я поднялась и, вырвав ее, сказала: «Идите чай кипятить!»

Какая уж тут История Церкви, когда не знаешь, куда от себя бежать, что делать и как казаться спокойной.

23 февраля 1924. Суббота

Мамочка и Папа-Коля играли в карты у деда. У меня сидел Вася. Сначала все ничего, болтали вздор, смеялись. Потом молчали. Ну а кончилось, в общем, тем, что он обнял меня, а я положила ему голову на плечо и закрыла глаза. Он целовал меня в лоб. «Ну, довольно?» — спрашиваю. В это время наши пришли, и Мамочка позвала нас чай пить. Было уютно и уходить не хотелось. Нас позвали еще раз, и мы пошли. Мамочка была надутая, сухо поздоровалась с Васей, да и Папа-Коля тоже. Было уже около 12-ти, и Вася, не напившись чаю, ушел. «Очень неприятно, когда вас приходится звать по три раза». — «Я не слышала, когда это было три раза». — «Ну все равно, надо идти, когда позовут». Я только пожала плечами и вышла. Больше уже туда не показывалась. А завтра скажу, что не хочу этой подозрительности, этой слежки, не хочу, чтобы было такое отношение к Васе, ничего вообще больше не хочу, мне больно. И для чего я создаю всю эту муку? Разве это любовь? Ведь это — разврат, голая чувственность. Вася меня не любит, он открыто признавался в этом. А разве я его люблю? Когда я думаю о нем, я немножко идеализирую его; когда я его вижу — я люблю в нем запах табака, тонкие брови, иногда блестящие, как у кошки,

глаза. Но можно ли в нем любить человека, пустого, бесшабашного, ничего не признающего, ни во что не верящего? Нет, вернее, что мной руководит не любовь, а какая-то удадь, желанье опуститься на дно, увидеть и понять его. Мамочка боится увлечения, если бы она знала всю правду! Я уверена, что она теперь сделает так, чтобы Вася или совсем перестал бывать у нас, или чтобы мы с ним не оставались вдвоем. Конечно, все пройдет, образуется, успокоится, но сейчас-то каково? Да еще за неделю до экзамена?

25 февраля 1924. Понедельник

Васе

Мы вместе поняли с тобой
Губительную силу скуки.
В тот час, когда своей рукой
Ты тронул дрогнувшие руки.

И все на свете погубя,
У вечной тайны примиренья,
Я вспомню одного тебя,
Свидетель моего паденья.

27 февраля 1924. Среда

Послезавтра экзамен по Закону. Так как занимаюсь совершенно самостоятельно, то волнуюсь. Временами кажется, что все знаю, временами — вспомню что-нибудь, и не знаю, что же дальше? при ком? в каком году? и т.д. Хотя бы уж скорее эта пятница, еще целый день остался!

28 февраля 1924. Четверг

Ну вот, завтра и пятница. Что-то она принесет!? Сегодня хотела весь день заниматься, да как-то не вышло. А вечером повторяла «Историю церкви» и над столом совершенно незаметно для себя уснула. Экзамена не то что боюсь, нет, я уверена, что выдержу, но как? Пойду на «бал душевного спокойствия», т.е. 8; нет, мало, но 12 — едва ли. Михаловский, кадеты говорят, очень строгий и требовательный, пойду на 10!

29 февраля 1924. Пятница. Около 6 утра

Ночью ни на минуту не засыпала. Должно быть, нервничаю. Металась, то в холод, то в жар бросало, хоть бы на минуту задремать! Потом, когда петухи запели, зажгла лампу. Сейчас встают Воробьевы, значит, около 6-ти. Раскрыла занавеску и ставни, светает заметно, скоро можно будет потушить лампу. Состояние какое-то стран-

ное. Попробую не только повторить, а после кофе совсем не дотро-
нусь до книг. Стараюсь себя утешить, что хоть что-нибудь нагово-
рить смогу. Если сегодня почему-нибудь о<тец> Михаловский не
приедет, я, кажется, сойду с ума. Вечером напишу результат.

Вечер.

О<тец> Михаловский должен был приехать к 10-ти. В начале
десятого мотоциклетка возвращается — пустая. Я впала в отчаяние,
Мамочка старалась хоть как-нибудь меня утешить, но я только зли-
лась и нервничала. Когда Мамочка ушла в канцелярию, я легла на
ее постель и заснула. Около одиннадцати меня разбудил Сергей
Сергеевич: «Приехал! На извозчике». Так я и не выспалась. Экзамен
был после четырех. Кроме о<тца> Михаловского были два ассис-
тента: г<осподи>н Завалишин и С.А.Насонов. Экзаменовались в
столовом зале, и при этом все четверо стояли. Мы с батюшкой сто-
яли друг против друга на расстоянии одного метра, Завалишин — в
стороне, шапку с тросточкой назад, — у Насонова была своя миссия:
в обе двери то и дело входили кадеты и Насонов только и делал, что
с шиканьем махал рукой то в одну, то в другую сторону. Спрашива-
ли меня пустяки, и по Катехизису, и по Истории Церкви, все на во-
просы, но по всему курсу. Я отвечала хорошо, гладко, получила 12.
О<тец> Михаловский остался очень доволен и после экзамена все
благодарил меня. А у меня не было удовлетворения, наоборот, я не
знала, куда себя девать. Взяла еще неразрезанный томик Сологуба,
и мне что-то не понравилось. Просто — реакция.

3 марта 1924. Понедельник

В доме надвигается гроза. Мамочка ходит мрачнее тучи, со все-
ми, особенно с кадетами, сдержанна и неприветлива, Папа-Коля
все охает, все ему стонать хочется. За обедом и за ужином говорить
не о чем, все молчат или: «хороший суп», «Плохая погода» и т.д. Ма-
мочка дуется на меня за Васю, она все понимает по-своему, называ-
ет мое поведение с ним «неприличным», а мне как никогда хочется
хорошего, ласкового отношения. О Васе теперь уже никто не гово-
рит, а если при Сергее Сергеевиче речь заходит о нем, все как-то не-
ловко заминают. Так и кажется, что вот-вот это все должно про-
рваться. Все откроется, все будет сказано, даже то, что самому себе
не говорится... Нет, в нашей семье такие недомолвки, невыяснен-
ности могут продолжаться долго, годы. Да все равно — до весны, т.е.
до лета. А там над всем прошлым будет поставлен черный крест.
Только у меня в душе ничего не забудется, ничто даром не пройдет.

Вчера вечером кроме Васи у меня (Мамочка и Папа-Коля игра-
ли в винт) были: Тима, Йося, Толя Зимборский и Эрлик Вилькен.

Малыши скоро ушли и мы вчетвером дурили как дети. Я никак не думала, что Тима такой веселый. Мы прямо с ума сходили в моей комнате. Я очень рада, что мы были не вдвоем.

Вечер

После ужина Мамочка позвала меня гулять. «Мне надо с тобой поговорить!» Начала с того, что она очень расстроена, что ей очень тяжело, со слезами на глазах и в голосе, а потом спросила прямо: «Целовал тебя Вася?» — «Нет». Оказывается, вчера у Воробьевых был разговор обо мне, где говорились всякие гадости с именами Петра Ефимовича и Васи. Мамочка страшно болеет душой, трудно представить, что она переживает! Она говорила мне, как унижает женщину такое отношение, как все это мерзко, гадко, отвратительно. Тяжело было врать, а надо. Мамочка спрашивала и о Сергее Сергеевиче, я и тут врала. Этого ничего больше не будет, а старое вспоминать нѣ к чему. Говорила Мамочка про Равич-Щербу; она откуда-то узнала про тот поцелуй руки, и по ее настоянию он ушел из Корпуса. А я этого и не знала. Еще она меня просила, чтобы я никого не принимала у себя, а шла в большую комнату. Нет, этого не будет, да и надо уже. Все гадко и омерзительно. Хватит игры. Кончаю. Васю увижу и скажу ему серьезно, что довольно. Побывла на дне и будет. Я не могу и боюсь порывать с Васей дружеские отношения, я ему прямо скажу, нужно во второй раз разоткровенничаться. Мне больно, глаза режет от слѣз. Мне больно и то, что нужно порывать с Васей: с тех пор как я призналась себе, что не люблю его, как мне это казалось, с тех пор уже не надо было играть. Мне больно и потому, что приходится так жестоко и безобразно врать Мамочке, а она подходит ко мне с открытой душой. И то больно, что дома смотрит на меня с каким-то снисхождением, как будто все знает про мой позор и, жалея меня, старается говорить о постороннем. Я плакала весь вечер, казалось, что этого уже нельзя перенести, но я твердо приняла решение изменить эту гадкую жизнь, где все делается «со скуки». Только не надо показывать вида, все, как есть, должно продолжаться по-старому.

7 марта 1924. Пятница

Масленица, делают блины, нет занятий... Девать себя некуда. Вася не заходил. Вечером сегодня Мамочка с Папой-Колей пошли играть в винт, к адмиралу. Я осталась с Сергеем Сергеевичем. Света не зажигали, сумерничали. Мне хотелось остаться одной, и я молчала. Сергей Сергеевич начал ходить из угла в угол, потом остановился около chaise longue, на котором я сидела. Мне

было как-то не по себе в такое время с человеком, которого я немножко боюсь и не уважаю. Я собрала всю свою силу воли и ждала. Он не то встал на корточки, не то на колени и впился двумя руками в мою руку. Я поднялась. «Надо свет зажечь» и пошла к лампе. «Как пусто, Ирина Николаевна!» — «Да, пусто». Он пошел закрывать ставни и исчез совсем. Я убрала со стола и пошла за занавеску мыть руки, когда он пришел опять, я не выходила. Он окликал меня несколько раз. Мне было и страшно и обидно за себя, я чувствовала себя совсем слабой и беспомощной и всей душой хотела, чтобы кто-нибудь пришел, издали ловила шаги, но все мимо, я положила голову на умывальник и решила все равно не выходить. Он сам пришел ко мне. «Что с вами?» Я молчала. «Ирина Николаевна, выпейте брому». — «Оставьте меня, Сергей Сергеевич!» Я его не видела, но чувствовала, что он стоит за моей спиной, и уж одно движение с его стороны, и я бы бросилась из комнаты вон. Я молчала и не двигалась. Через несколько минут он, очевидно решив, что я заснула, на цыпочках ушел к себе.

Вчера Петр Ефимович позвал меня до перекрестка — объяснить нужно было. Разговор старый. «Да, я вас люблю, если это и есть любовь, но временами я вас ненавижу... А у вас не было ко мне никакого чувства?» — «Нет». — «И нет...» Я молчу: «Говорите прямо, не жалейте»... — «Нет, нет и нет!» Я простила с ним очень холодно, дав понять, что не хочу не только романа, но и «дружеских отношений», у меня к нему нет ненависти, но нет и уважения.

А к Васе? Есть ли у меня к нему уважение? Нет ли ненависти и презрения? Нет, нет, нет! После этого разговора, когда он мне признался во всем, во всех помыслах и еще после моего «не надо» — мне не в чем его упрекнуть. То, что было после, было по моей воле. Я его не обвиняю, но ничего и не жду от него. Если я, человек самоанализа, не побоялась опуститься на дно, то у него такие желания сильнее, естественнее. Он еще не потерял ко мне уважения, он считается со мной, а главное — он еще мальчишка, к нему нельзя предъявлять серьезных требований. А то, что я не видела его с самого воскресенья, — мне неприятно. Чувствую, что с ним у меня еще будет объяснение. И начнет его — он.

Ко всему этому надо прибавить одно письмо из Праги, которое взволновало всех нас. Некто Карцевский советует Папе-Коле подать прошение в русскую гимназию — 1 июля будет совет, есть шансы.

10 марта 1924. Понедельник

Надо изменить свою жизнь, так больше нельзя! Живу я скверно, и чем дальше, тем хуже. Встаю я в одиннадцатом, днем ровно ничего

не делаю, почти не занимаюсь, а ведь дела-то много. Все что-то не по себе. С одного пути трудно перейти на другой, но со всем прошлым все равно порвать не смогу. Ну, решено, начинаю постигать, т.е. бороться со всем и сколько возможно, заниматься.

Вчера были на карнавале. Много интересных номеров. Самое плохое, что я уже 10 дней не пишу стихов.

16 марта 1924. Воскресенье

Жизнь понемногу изменяется. Опять пишу стихи, читаю Блока, пишу письма. Занимаюсь. До Пасхи хочу сдать математику, французский и космографию. Ничего, конечно, не выйдет. Попытаюсь, буду хоть наизусть зубрить, надо ведь! Васю не видала уже две недели.

17 марта 1924. Понедельник

Новая очередная сплетня в Сфаяте: Сергей Сергеевич женится на мне. Меня это забавляет, а Мамочка расстроена.

19 марта 1924. Среда

Вчера утром ходили с Сергеем Сергеевичем в город учиться ездить на велосипеде. Пошли на пальмовый бульвар. С.С. сразу поехал — он когда-то учился, а у меня ничего не выходило. Мимо все ездил один молодой француз, принял во мне участие, начал помогать сначала словом, а потом и делом. Присоединились еще два мальчишки и подсаживали меня, толкали и бегали по всему бульвару. Только благодаря им я и поехала, садиться и заворачивать совсем не умею, останавливаться — тоже, когда летишь во весь опор — еще ничего, но ужасно беспомощно чувствуешь себя, знаешь, что если кто-нибудь переедет дорогу, так обязательно полетишь налево, остановиться не можешь, так и будешь лететь, пока не упадешь. А падала я много, сегодня — совсем калека. Хромаю, на левую ногу не могу ступить, левая рука не действует (я все влево падала), к лопаткам дотронуться нельзя, все тело болит, как будто телегой переехало. Как нога заживет, опять пойдем.

Был сегодня урок математики. Стал меня спрашивать Дембовский старое, то, что мы в прошлом году проходили. Я, конечно, ничего не знаю. Он в отчаянии. «Это поразительно! Как в ваши годы все скоро забывается! Нет, я поражен, я прямо потрясен!» Пришла к себе, бросилась на кровать и весь вечер проревела как белуга. Тут и космография, тут и французский, а тут и по математике ничего не знаешь, и все это до Пасхи через пять-то недель!

Вечером зашел ко мне Коля Завалишин, и совершенно неожиданно был у нас очень интересный разговор, единственный в моей жизни, за исключением переписки с Васей. Мы говорили об отношениях мужчины к женщинам. Говорим о том, что в нашем возрасте сильно пробуждаются животные инстинкты, как они выявляются у мужчин и у женщин и т.д. «У нас теперь все этим болыны, — говорил он, — и полроты теперь ходят в дома терпимости»... Привел несколько примеров связи кадет с дамами, и их взгляды на женщин после этого, говорил о своей любви к Наташе, о романе с Настей (прислуга Кольнеров), полная аналогия с хроникой Гарина. «Ирина, будем друзьями, — сказал он, — мне так приятно, что с вами можно так просто и серьезно поговорить. Я даю вам слово, что никаких секретов от вас у меня не будет». Меня тронуло это доверие. «Вы говорите, что у вас многие ходят в те дома?» — «Да, очень многие. Я с трудом удержался, чтобы не пойти». — «Коля, скажите только правду... вы ведь все знаете, кто там бывает? Скажите, там бывает... Доманский!» — «А, это, видите, товарищеское чувство...» — «Коля, ради Бога, скажите!» — «Ну, хорошо. Бывает». — «Часто?» — «Да раза два-три». Я заплакала. «А теперь вы мне скажите, Ира, по правде, вы были влюблены в Доманского?» Я на минуту задумалась — сказать? Нет, не могу. «Нет, просто одно время было к нему чувственное влечение». — «А вы знаете, что об этом говорят?» — «Что?» — «Ну, я буду откровенен: говорят, что вы отдались Доманскому...» — «Да, я знаю, тут многое говорят...» — «Между прочим, Ира, остерегайтесь Сергея Сергеевича». — «Почему?» — «Да так, есть причины; он еще летом, на пляже, как-то говорил о вашем теле... Да и вообще...» — «Вы правы, Коля».

Когда он ушел, я легла локтями на стол и уставилась в одну точку. Плакать не хотелось. Все больное было уже давно выплакано. Вася был у меня вчера вместе с Тимой, я не понимала каких-то намеков, но мне казалось, что и Тима все знает. Было стыдно за Васю и больно. Теперь даже не больно. Все так просто, понятно и пусто.

Потом пришел Сергей Сергеевич (наши играли в винт). Я схватила книгу, где раскроется, и начала читать все по порядку. Он сидел и молчал, потом на клочке бумажки написал: «Неужели вам все равно, что я уезжаю?» Я положила записку в сторону. «Даже не можете отвечать?» «Нет». Он написал дальше: «Разве в этом есть что плохого?» Этого я не поняла. Через некоторое время он написал что-то вроде: «Почему вы не хотите отвечать? Мне очень больно и жаль (я в этом признаюсь) расставаться с вами!» — дальше я не помню. К счастью, вернулась Мамочка и пошла ко мне. Я со словами: «после», сунула бумажку ему. Он мне был почти противен.

Сейчас у меня странное состояние: я устала после велосипедной прогулки, очень разболелась расшибленная нога, появилось сознание чего-то непоправимого. И еще что-то — что не могу определить — не то сожаление, не то упрек... И отчего все это так? До сих пор была чиста и наивна, как новорожденная, и вдруг, так скоро, так сильно все узнать, испытать, перенести... Словно перед мной раскрылся совершенно новый, необъятно-огромный мир, чуждый, сложный и запутанный, где все, что я до сих пор называла «грубым реализмом», становится заоблачной мечтой.

24 марта 1924. Понедельник

Хочу возбудить в себе к Васе гадливое чувство. И не могу. Хочу представить себе, как эти руки, которые хватили и сжимали мои пальцы, также держали руки тех проституток, — как я их представляю, — полуарабок, полуитальянок: и он также целовал лицо, волосы, шею, также смотрел на них пристально, безмолвно с полуулыбкой и страстью... В мозгу на разные лады повторяется одно слово: «разврат, развратники, развращенный...» В этом звуке заключается какой-то темный ужас. Когда я смотрюсь в зеркало, мне кажется, что я вижу на себе какую-то совсем чужую, непохожую на меня, толстую, апатичную и уже совершенно сформировавшуюся женщину. Я стараюсь найти в ней сходство с собой и не нахожу. А в уме стреляет: «развратница». Смотрю на идущий обедать батальон — синие мальчики в синих бушлатах, в белых шапках, выстроенные по росту, с равнодушным выражением лица, а в голове вертится: «половина из них развратники». Но кто же, кто? Неужели же нет ни одного хорошего, чистого? Вглядываюсь в лица. Вот одно симпатичное, скромное лицо. Трещенков, да, этот не пойдет, за ним свежее, веселое лицо Васи — отворачиваюсь. «Разврат». «Отдалась». И вот эти синие мальчики говорят об этом и презирают женщин. Я представляю: кто-нибудь говорит, все слушают, и все довольны. Мима с негодованием бросается на рассказчика, его поднимают на смех. А Вася? Молчит? Или хвастается? Полузакрыв глаза, со странной, довольной улыбкой, он вспоминает дрожь, как электрический ток пробежавшую в руках от плеча до конца пальцев — страсть. А Коля? Единственный на свете, сказавший мне «будем друзьями»! Как давно я искала этого и как теперь я не могу назваться действительно его другом. Мне хочется называть его Васей, хочется, чтобы он говорил с польским акцентом — это мне дорого, это — не разврат, это мое чувство, мое отношение, мое воспоминание. А его отношение ко мне, его упрямый и жадный взгляд — развращенный...

26 марта 1924. Среда

Господи! Как хочется поскорее сдать все экзамены! Тут, может быть, еще с Прагой кое-что выгорит, вот когда хорошо станет. Интересно-то как, я и тут чуть ли не второй год тяну свои несчастные экзамены. И отчего я так совсем не умею заниматься?

27 марта 1924. Четверг

Вот уже целую неделю занимаюсь с Димой Матвеевым по космографии. Думаю до Пасхи сдать. Заниматься с ним хорошо, теперь все понятно, пошло дело на лад, идем мы очень скоро. А заниматься не хочется. Да еще сегодня стирала, немножко устала и сейчас совсем не могу собраться с мыслями.

4 апреля 1924. Пятница

Вчерашний день — будто воскресенье. Дело в том, что вчера причащалась 4-я рота и все они были отпущены на весь день. Днем у меня сидели: Сережа, Пава и Коля Завалишин. А вечером, когда в столовом бараке была всенощная, явились ряженные, Тима оделся дамой (это было замечательно! Да такой гренадер!), Коля — не то черкесом, не то чем-то вроде, Ирликов и Любомирский — тоже какими-то ободранцами, да еще закрыли лицо красными платками. Мы страшно дурили. Потом еще пришел Чернитенко, как будто вожатый. Смеялись так, что в церкви было слышно. Еще пришел Вася. Когда те ушли, мы с Васей остались вдвоем, стали решать задачу по алгебре. Мы ее решали накануне, так и не реши-ли, он понес ее Олехновичу, а утром мне ее объяснил Дембовский. Мы сверяли все решения, находили нашу ошибку и т.д. Мамочка крикнула: «Ирина!» — «Что?» — «Иди сюда чай пить». Я слышала, что никакого чая у нас не кипятилось, крикнула: «Сейчас», и принялась за задачу. Когда мы кончили, Вася закурил и сказал: «Ну, мне надо идти». — «Нет, пойдемте туда» (чай уже кипятился). — «Нет, Ирочка, мне надо уже идти». — «Хоть на минутку. Вы должны». — «Я не пойду». — «Почему?» Он выскочил за дверь. Я его позвала. «Так я не пойду, Ирочка, серьезно». — «Почему?» — «У меня на это есть причины». — «А у меня, Вася, тоже есть причины, чтобы вы обязательно пошли туда». — «Какие?» — «Я вам этого не скажу. Но если вы не хотите мне сделать неприятное — вы пойдете». — «Но, правда, Ирина Николаевна, не пойду». — «Пересильте себя, пусть это даже и неприятно, сделайте это для меня». — «Ну, хорошо». Посидел у нас минут 20, пил чай, все честь честью. Я ждала Мамочкиных разговоров, но все обошлось благополучно. Да уж

если бы и был разговор, так я бы ответила, что не хочу этого контроля и подозрительности. Меня оскорбляет это.

5 апреля 1924. Суббота

Такая неприятная, такая тяжелая история! Дело вот в чем. У Завалишинных сейчас живут две маленькие француженки, у которых Маруся служит. Вчера Маруся просила меня побыть с ними во время всенощной и обедни: она говела. Вечером я пришла. Девочки спали, во всем бараке не было никого. Я сидела в первой комнате, в другой было темно. Вдруг является Сушко. «Маруся дома?» — «Нет, — говорю, — в церкви». — «Я вот тоже иду исповедоваться и зашел сюда собраться с мыслями». Несло от него вином, как из винной бочки. Мне стало немножко страшно. Он сел рядом со мной, начал говорить о религии, о том, что его заставляют исповедоваться, а то бы он сам ни за что не пошел. «Я — атеист!» И затем прибавил, возвышая голос: «И монархист! А вы милликовщица, я знаю. Вот я вашего папашу как-нибудь изобличу, я на него зуб имею. Уж мы с ним посчитаемся...» и т.д. Я молчала. Он подвинулся ближе. «Вы меня боитесь?» — «Нет». — «А вы знаете, что я сумасшедший?» Я молчала. «Вы знаете, что со мной было наверху?» — «Знаю». — «И вы меня не боитесь?» — «Нет». Он крепко и больно схватил меня за руку около плеча. Я испугалась, от него тогда можно было всего ждать — и бросилась в другую комнату, где спали дети. Он за мной. Я строго сказала ему: «Не ходите! Вы разбудите детей!» Он действительно присмирел и вернулся на прежнее место и стал звать меня: «Вы идите, не бойтесь!» Я вернулась. Тогда он стал говорить о женщинах. «Что такое женщина? Все женщины не стоят моей подметки! Скажу: женщина, иди сюда! — придет, скажу, ляг у моих ног! — ляжет. Вот и вы сейчас в моей власти. И вы сейчас сделаете все, что я захочу!» — «Нет, не сделаю!» — «Нет, сделаете!» Он зажег спичку. «Тушите!» — «Нет, не потушу!» — «Нет, потушите!» Он поднес спичку к моему рту — я опять выбежала в ту комнату, он за мной и ткнул спичку мне в грудь, попал в плечо. «Ага, потушили!» Я осталась в темной комнате, а он звал меня к себе. «Если вы сядете на прежнее место, то я через пять минут уйду». Поборов страх, я вернулась. Он говорил о религии, называл себя «сатаной», нёс чепуху, потом действительно ушел. Я перекрестилась.

Дома, когда Папа-Коля и Сергей Сергеевич пошли исповедоваться, я все рассказала Мамочке. Она страшно заволновалась и сказала Папе-Коле. А наутро (дежурила на камбузе) страшно боялась за Папу-Колю и обо всем рассказала Куфтину, — тот — адмирал, а после обеда Сушко был арестован. Адмирал приказал начать

следствие. Сначала Завалишин говорил с Папой-Колей. Потом адмирал вызвал меня, я подробно рассказала ему все, и он попросил меня изложить письменно. Дело будет передано в суд чести, и Сушко грозит разжалование. А ведь я не хочу ему зла, тем более что во вторник он собирался ехать. Что теперь будет — не знаю.

7 апреля 1924. Понедельник

Вчера Сушко под диктовку адмирала прислал мне письмо, где извинялся за все происшедшее. Вчера же он был отчислен от Корпуса, сегодня уехал в город, а завтра уезжает совсем. Я очень рада, что все это так кончилось, хотя этим дело не кончилось. Адмирал в разговоре с Мамочкой назвал меня «овцой». Мамочка вчера тоже говорила на эту тему, упрекала в том, что я не могу за себя постоять, — в общем, старая тема, что она за меня боится, так поняла, что она теперь оградит меня не только от свиданий наедине, но и вообще от свиданий с кем бы то ни было без нее. Это мне было так обидно, так это меня оскорбило, что я вчера весь вечер проплакала. Сегодня немного отвлеклась, хотя и не успокоилась. Вечером Папа-Коля с Мамочкой опять винтят, я сидела одна в большой комнате. И возбудила в себе страшную злобу против Васи. Было досадно, что он не приходил в эти три свободные вечера, что сегодня весь день был в отпуску, что днем был у Насоновых, шил на машине, как сказал мне Коля Овчаров, — почему у Насоновых? Я знаю, что он не хочет заходить в ту комнату, я его понимаю, но это мне больно. Мне больно то, что он не оценил меня. Слишком просто и слишком много я ему отдала. И я так взвинтила, что если бы он пришел, я бы сказала ему: «Вы подлец!» Но пришел не он, а Тима с Илюшей. Отвлеклась, развеселилась, а на душе так холодно, холодно. В первый раз после уже долгого времени хочется плакать, плакать и плакать. Выплакать все.

9 апреля 1924. Среда

Видела Лисневского, он сегодня был в Сфаяте с Зальцгебером, приходил к Мамочке по швейному делу. Когда я днем увидела его, сердце забилося так сильно-сильно, долго не могла совладать с собой, отчего-то стало неприятно и неловко. А когда после урока математики, вечером, застала его у нас, встретила с ним совсем спокойно. А глядя на него, думала: «Неужели же я действительно когда-то его любила? Ждала его, искала, мучалась?» А в сущности (я только сейчас это поняла) хотела того, что было с Васей. Неужели же действительно год тому назад все мои мысли группировались вокруг него? И вот теперь место этого мечтателя, музыканта и художника, несомненно чуткого человека, но растяпы, шляпы и халатника,

заял веселый, здоровый, «цельная натура», или Викул Чураев, как я его мысленно назвала, не думающий и неунывающий Вася.

14 апреля 1924. Понедельник

Экзамен в пятницу. Завтра уже Папа-Коля будет говорить с Завалишиным. Я нарочно уже так определенно назвала срок, чтобы заставить себя заниматься и не мотаться: решено и баста!

Тепло. Хожу в летнем, загорела до ужаса, сегодня дул сирокко, страшно душно, до дурноты. Выставила окно, сейчас сижу перед открытым окном и открытой дверью. Занимаюсь. Надо много заниматься, хочется сдать на 12. Аппетит у меня уж разгорелся, а ведь, в сущности, ничего толком не знаю. Одна надежда, что Завалишин пропустит «за фирму», за то уже придирааться не станет! Хоть бы уж скорее! Начинаю серьезно нервничать.

18 апреля 1924. Пятница

Сегодня в 4 часа экзамен. Вчера с Димой около четырех часов повторяли весь курс. Кажется, что знаю, но не твердо, больше надеюсь на подсказку самого Завалишина. Он любит, чтобы «все было по-хорошему», сам рад будет хороший балл поставить. Только бы мне не хотелось, чтобы ассистентом был Дембовский. У Завалишина ври, сколько хочешь, а этот любит точность. Ну, да ассистенты на прошлых экзаменах ровно ничего не говорили и не делали, Бог даст и тут смолчат.

Я нервничаю. Как-то вчера вечером еще ничего, и даже стихи писала, а сегодня руки дрожат, в груди холодеет, подташнивает. Дима тоже нервничает. Хоть бы уж скорей эти четыре часа. Заниматься больше не могу, да и все равно ничего уж не выучишь и не повторишь как следует. Повторила еще раз закон Ньютона, прочитала о движении комет и отложила тетрадь в сторону. Больше не могу. Будь что будет!

19 апреля 1924. Суббота

Ну, экзамен я сдала, но только на 11. Спрашивали как раз то, что я, собственно говоря, мало готовила. Я учила формулы, выводы, все сложное, а от пустых вопросов терялась. Так расстроилась, что остальной день проревела, сегодня взяла на 18 дней велосипед. Много каталась и очень устала. Вчера с Васей встретилась в лавке, почему-то стало неловко. Я, кажется, действительно настолько взвинтила себя, что стану его ненавидеть. Он тоже, мне кажется, избегает встречи со мной. С тех пор не был у нас. Мне жаль, что его не стало, только того, прошлогодного, милого и приветливого Васю.

Вот и Пасха. И ничего радостного. Еще вчера ничего было, ночью мы устроили разговение на «дачке», повесили цветные фонарики, так было славно. А сегодня грустно и девать себя некуда. Грустно. Может быть — из-за Васи? По существу, я рада, что у нас все так само собой порвалось. Но его отношение меня задает. Он меня сторонится, это ясно. Он не был у нас около месяца. Правда, последнее время у него болела нога, и он даже в Сфаят не ходил на обед. Когда в пятницу вечером я видела его на крестном ходе, — он шел с баритоном в последнем ряду оркестра прямо передо мной, прихрамывая, — я вдруг почувствовала что-то похожее на угрызение совести, глупы показались все мои упреки и подозрения, он опять стал мне близким и дорогим.

В таком хорошем, примирительном настроении я пробыла весь вечер, а когда ложилась спать — вспомнила, что встретила его в субботу, вспомнила Масленицу и многое другое, — и мне стало нестерпимо больно. Сегодня он дежурит, вечером освободится. И если он сегодня вечером или завтра не придет к нам — я ему не прощу этих недель. Я недавно прочла рассказ Виктора Гофмана, он произвел на меня большое впечатление. Тут я окончательно поняла, как диаметрально противоположны две вещи, которые часто смешиваются: любовь и страсть, чувственность. И по опыту могу подтвердить, как трудно женщине не идти по наклонной плоскости, когда положено начало. Во мне чувственность проявляется сейчас во всей силе. И мне трудно ее удерживать. Вчера, напр<имер>, я лежала в гамаке и смотрела на Диму Матвеева: он стоял около барака в белой рубашке с открытым воротом и засученными рукавами и свистел. И мне вдруг захотелось крепко-крепко обнимать его голую шею.

В церкви я искала глазами Васю. Его не было эти дни. В пятницу я видела его в оркестре. На заутрени, во время крестного хода я видела только фуражку (он, как дежурный, был в фуражке, остальные в белых шапках), а когда проходила мимо, почему-то отвернулась. Он меня презирует, это ясно. У Гофмана ярко передано отношение мужчины к женщине после первой связи. Может быть, он (Вася Доманский. — *И.Н.*) и в публичные дома стал ходить после того, как я дала ход его страсти. Я перед ним виновата, но разве он не виноват? Разве он не заставил меня встать на этот путь после того проклятого и блаженного первого вечера? Тогда мы оба не могли думать, а могли чувствовать: это был инстинкт и было глупо с моей стороны давать ему ход. Ну, это уже все равно дело прошлое. Но его теперешнее отношение ко мне хуже всего, что было.

2 мая 1924. Пятница

Как я провела Пасху? Да глупо. На второй день мы ездили на велосипеде в Ферривиль, дорогу я выдержала свободно и с тех пор могу сказать, что эту науку я одолела. Вечером меня пригласил к себе Коля Завалишин, было его рождение; и он в бане устраивал нечто вроде бала. Было много кадет. За мной, кроме Коли, усиленно ухаживали Сердюк и Мирошников. Ни тот, ни другой мне не нравится, но ухаживания их очень нравились, захватывали, прямо опьяняли, и тот, и другой представились мне совсем в другом виде, я не скрывала этого, особенно на прогулке, где можно было больше развязать язык. Я вернулась домой в возбужденном состоянии, спала, нервно вздрагивая и просыпаясь. Во вторник вечером меня звала Насонова на Иринины именины. Но ко мне пришли Мима и Пава. В большой комнате был винт, и поэтому у меня не было ни одного стула, что было забавно, и у нас почему-то было шумно и весело. На какие-нибудь полчаса заходил Вася. Это меня удовлетворило. Еще больше я обрадовалась, когда узнала, что он заходил в ту комнату. Он был расстроен — у него на велосипеде «восьмерка» — и все время был какой-то кислый. Скоро ушел. Мима углубился в мою черновую тетрадку стихов, а мы с Павой сидели рядом на кровати и болтали. Я кокетничала. И этот вечер живо напомнил мне другой, тот, первый вечер с Васей: мы также сидели, также говорили и молчали. И вдруг я стала замечать, что в нем разгорается страсть. Я понимала, что он ощущает дрожь, заблестели глаза и я поймала тот взгляд, который тогда в первый раз так опьянил меня. Мне слегка даже сделалось страшно: человек он дикий, кавказец, станет ли он бороться? Присутствие Мимы давало мне храбрость и спокойствие. Расстались мы долгим и крепким рукопожатием, как никогда еще. Когда он ушел, я почувствовала нечто вроде угрызания совести. Вспомнился Вася. Он был в таком же состоянии, у него так же разгорелись глаза, когда проснулся инстинкт. А с этого и началось. Мне стало жаль Паву. Я не знала, что это так легко.

Видела как-то Мирошникова и Сердюка. Ничего похожего на тот вечер уже не было. Они опять стали прежними и неинтересными. Стало как будто даже неловко за ту развязность, когда раскланивалась с Мирошниковым. Вчера, после ужина, долго каталась на велосипеде с Колей Овчаровым. Когда уже совсем стемнело, мы вдруг сорвались и пошли в столовый зал танцевать вальс. Потом явился Щуров и предложил пойти в кают-компанию, где вчера никого не было (был вечер на «Георгии»). Там собрались: я, Коля Завалишин, Йося, Станкевич, Щуров, потом Фраерман. Мы

буквально сходили с ума, достали у м<ада>м Леммлейн полпузрырка валерьянки, напоили кошку, потом меня, осталось, в общем, чуть на донышке. Потом начали меня пугать, что полтораста капель достаточно, чтобы остановить сердце. Все обошлось благополучно. Когда я прощалась с Колей у дверей моей кабинки, он мне поцеловал руку. Не то это была шутка, не то серьезно — я не разобрала. Я вспыхнула только и засмеялась. Еще когда мы с ним танцевали вальс, я заметила, что он не совсем свободен в обращении со мной, и это меня только смешило. Ну, этого я не пожалею, с ним можно поиграть.

Последнее время у меня появились странные мысли о Васе Чернитенко (фельдфебель 4 роты). Я с ним очень мало знакома, мало знаю его, поскольку мне известны его взгляды и убеждения — он совсем далек от меня, но почему-то я стала им интересоваться. После разрыва с Васей я все чаще стала думать о Чернитенко. Мне отчего-то кажется, что мы с ним еще встретимся и притом в такой момент, когда мне будет очень и очень тяжело, и он первый подойдет ко мне, поймет и сделает что-то большое и важное. Ничего этого, конечно, не будет, но я все-таки чего-то жду. Я часто думаю о нем, хочу поближе с ним познакомиться, а в его присутствии страшно теряюсь. Так, например, вчера: еду по Сфаяту, а он спускается с лестницы. Мне хотелось совершенно спокойно и красиво проехать мимо, а вместо этого я чуть не выронила руль и закачалась. А сегодня возвращаюсь от перекрестка и веду велосипед, а он поднимается по сокращенке из города. Встретились, предложил мне потащить велосипед и шли рядом и болтали какой-то вздор.

Вечером с Колей Завалишиным ходили гулять. Говорили опять о женщинах. Он отрицает брак, говорит, что не может быть хороших, дружественных отношений между мужем и женой, когда он каждую ночь «пользуется ей». Это было сказано цинично и откровенно, как уже повелось между нами, говорили о сифилисе, деторождении, вообще о таких вещах, о которых не полагается говорить молодой барышне с кавалером. Прощаясь в Гефсиманском саду, он поцеловал мне руку. Это меня немножко кольнуло, хотя грешно не верить в искренность его слов.

3 мая 1924. Суббота

Уже часа два, как началось 4-е мая, а для меня все еще не кончился этот день. Была в Сфаяте танцулька и притом очень неудачная. Дело в том, что были приглашены дамы с «Георгия», а они ждали, что за ними придет автомобиль, и не приехали. Среди кадет произошел раскол: одни говорили, что никогда больше не

пригласят «георгиевских» дам, а другие отказались идти в зал, если их не будет. К числу последних принадлежит также Коля Завалишин. Он вчера пригласил меня, а сам пришел уже под конец. Я все время была с Мимой — спасибо ему. Танцевала мало. Вася был в оркестре и, конечно, не подходил ко мне. Это бы еще ничего, но когда я увидела, что он танцует польку с Милой Завалишиной, меня покорило. Нет, милый Вася, нам не по дороге. Лучше и не встречаться больше и забыть друг друга, а то только лишние мучения. Мне и без того больно его отношение ко мне. Пришла домой, старалась быть спокойной и ровной, у себя я легла локтями на стол и задумалась. Чувствовалась усталость, слегка кружилась голова, было грустно и немножко смешно. А часа через два мне стукнет восемнадцать лет. У меня уже давно, с детства, было предчувствие, что 17-ый год (т.е. от 17 до 18) будет роковым в моей жизни. Может быть, оно так и есть.

4 мая 1924. Воскресенье

Вот мне уже и восемнадцать лет. По традиции пишу мои желания на этот год. Просматривая прошлогодние и два последние принимаю целиком.

1. Успех в стихах.
2. Успех у мужчин.

Третьего у меня нет. С месяц или полтора тому назад я бы приняла и первое, подставив другое имя. Теперь мне и этого не надо. Сегодня после обеда я стояла над опрокинутым вверх колесами велосипедом и рассматривала проколотую и уже починенную, но неудачно, шину, когда мимо проходил на стирку Чернитенко. Как велосипедист он заинтересовался проколом, швырнул в сторону узел с бельем и с полчаса провозился с починкой. Он работал бодро и весело, а я сидела около него и опять, кажется, болтала вздор. Удивительно трудно совладать с собой в его присутствии. Потом, когда я сидела в своей комнате, ко мне заходил Коля Овчаров, а я с ним пококетничала, и когда он ушел, я легла локтями на стол и задумалась, — вдруг является Вася. Мне было приятно. Мы о чем-то болтали, потом пришла Мамочка, не дулась, ничего, говорила, смеялась. Шина опять сдала, и Вася взялся починить ее. Мы провозились до кофе, потом нужно было идти в город — сдавать велосипед. Пошли зачем-то все вчетвером, я была довольна, что приходил Вася, узнала, что он перед Пасхой был болен (вывихнул на футболе ногу), а теперь дежурит через день — это тоже служит для него как бы оправданием; еще меня радовало и забавляло, что мной начинает увлекаться Коля Овчаров, — настроение

было светлое. Около каменоломни шина сдала и дальше пришлось идти пешком. Велосипед я взяла еще на месяц, но только он будет готов завтра: мне обещали переменить камеру, а потом я только вчера заметила, что на переднем колесе у меня не хватает двух спиц. Придется еще завтра идти в город.

А завтра уже начинаются трудовые будни. Насколько шумно и богато впечатлениями было Рождество — настолько бесцветно прошла Пасха.

5 мая 1924. Понедельник

Не знаю, что и писать. Начала заниматься, но ничего не вышло. Все равно — в пятницу сдаю французский. Больше все равно ничего не выучишь. Сейчас просто хочется спать, больше ничего. День был душный и тяжелый.

6 мая 1924. Вторник

Последнее время установились странные отношения с Колей Овчаровым и Мимой. Они ко мне заходили сегодня после уроков, мы говорили о вещах, о которых в XIX веке в этом возрасте не говорили. Правда, не так, как с Колей З<авалишиным>, — не называя. В этом отношении они гораздо старше меня. Мима в своем романе «Записки молодого офицера» описывает такие вещи, которые я и не предполагала, притом так выпукло и подробно — еще почище В.Гофмана, что я прямо удивляюсь. Нет сомнения, что он все это сам видел и испытал. А мне-то что? Ко мне он исключительно почтителен и внимателен, как никто. Он единственный будет моим рыцарем. Коля как-то вовремя нас покинул; в последние дни, когда мы были вдвоем, Мима сказал: «Я совсем ведь не безгрешен». С ним мы бывали откровенны. Он, между прочим, сказал мне такую вещь: «Я не понимаю, для чего брак? Ну, любовь — это все так, а для чего дети и всякая такая вещь? Говорят, что дети — плод любви, а по-моему, тут уж, — после — никакой любви быть не может. По-моему, это что-то животное...» И незаметно для себя у меня появилось к мужчинам какое-то гадливое чувство. Вот говорят, женщина самка, а разве мужчина не самец? По-моему, так женщина чувствует глубже и тоньше, а мужчина циничнее подходит к ней. Были моменты, иногда очень острые, когда я не могла смотреть на женатых мужчин. Было противно думать, что они женились только для того, чтобы по ночам «пользоваться своей женой», которую он после брака приобрел в собственность. Какая гадость! И неужели же все так, и без этого нельзя?

8 мая 1924. Четверг

Вместе с температурой воздуха поднимается и настроение. Эти дни было жарко, дул сирокко, и на душе также было горячо, бодро и весело. А сегодня вдруг — ветер и дождь, холодно, и сразу настроение спало. Я утром, как только увидела серое небо, так сразу перевернулась на другой бок и провалялась до полдесятого. Сейчас болит голова и не хочется ничего делать. Завтра экзамен, а я даже и не думаю о нем. После космографии мне как-то все равно. Пойду на 9. Сегодня опрос по механике, а я тоже ничего не делаю. Нет никакого желания.

9 мая 1924. Пятница

Экзамен я сдала на 10 и вполне удовлетворена. Я недаром сказала, что с космографией у меня все сорвалось уже. Утром я была спокойна, а когда за полчаса до экзамена узнала, что председателем комиссии будет не Завалишин, а Дембовский, то так расстроилась, что даже заплакала. Он меня на космографии так подвел, да там еще был ассистентом, а здесь председателем. Однако все обошлось благополучно. А странно: после одиннадцати редела весь вечер, а после десяти — довольна! Теперь у меня на очереди математика, надо будет подтянуться и сдать хорошо. А то уж глупо будет.

Сегодня ко мне заходил Коля Овчаров и, между прочим, сказал мне такую вещь: «Ирина, никогда не говорите с Мимой на такие темы, как прошлый раз». — «А почему?» — «Да он в роте рассказал, да еще для красного словца прибавил. Я сам не слышал, а мне все до слова рассказал Кулябко, я спрашиваю: а откуда ты это знаешь? и был очень удивлен, а он мне говорит: да это Крюковской сам рассказывал. Я даже хотел с ним поговорить и решил, что не стоит, все равно — он этого не поймет». Меня покорило. Я написала Миме коротенькое письмо: «Я никак не думала, Мима, что разговор, происходящий в моей комнате, будет передан в роте». Хотела сегодня же с кем-нибудь отправить его ему, да никого из знакомых не видела. А завтра, может быть, и раздумаю. Но это мне очень неприятно. Не думала я, что он такой. Всегда была о нем как раз обратного мнения.

10 мая 1924. Суббота

Вечером, как и следовало ожидать, ко мне никто не пришел. И я даже совсем не огорчена. Ну кого мне ждать, в ком я еще не разочаровалась? Мимой — которого я считала единственным рыцарем? Сережа, который теперь совсем не бывает у меня и будто относится ко мне несколько свысока? Коля Завалишин — этот бальный ка-

валер и притом типичный «Завалишин»? Тима — карьерист, постоянный гость Завалишиных? Коля Овчаров — больше всего на свете любящий поспать и выпить, и, тем не менее, у меня к нему больше всего дружеского чувства. Нет, никого не надо, я уже даже рада, что я одна. Было время и было имя, когда на страницах дневника появилась фраза: «Сейчас все для него». Теперь мне как будто даже немножко стыдно за эту фразу, а тогда это было так просто и так естественно. Тогда я действительно готова была отдать ему все — и тело и душу. Душа была ему не нужна, а тело взять он не решился. Может быть, я его действительно любила, и за прошлое у меня нет к нему вражды. Мне хочется сказать ему словами Ахматовой:

Но клянусь тебе ангельским садом,
Чудотворной иконой клянусь, —
И ночей наших пламенным чадом, —
Я к тебе никогда не вернусь.

Сейчас мне больше всего хочется, чтобы уехал Сергей Сергеевич. Мне он надоел, прямо видеть не могу. Я-то чем виновата, что он влюблен? А об этом даже и в роте говорят, зовут его Камер-паж. Только мне кажется, что он так и не соберется уехать. Как же он мне говорил: «Как мне тяжело уезжать, я так привык к вам, — и затем добавил, — всем. И что-то меня ждет там — жизнь, работа и т.д.» — «Тогда я вас совсем не понимаю, Сергей Сергеевич. Если там хуже, так зачем же вы едете?» — «Разве вы не понимаете, отчего я уезжаю?» Я замолчала. «Ну, уговорите меня, я останусь». Но уговаривать его у меня не было никакого желания. А как, в самом деле, все странно: все сводится к монологу грибоедовской Лизы: «Ну, как не полюбить буфетчика Петрушу?» Дедка за репку, бабка за дедку, — так и получается какая-то цепь; и никто не обернется, не встанет лицом к другому. И это — схема любви, или влюбленности, влюбчивости, влюбляемости — вернее всего.

А я за последнее время совершенно потеряла веру в чистую, <как> н<азываемую> идеальную любовь. Мне кажется, что тут на первом месте выступает животный инстинкт. И потому, что мне сейчас так хочется любви — я верила и окрепла для нее, — я стала все чаще думать о Чернитенко. Это не любовь, и даже не влюбленность, просто хочется о ком-нибудь думать по ночам, а он еще ничем не запятнан в моих глазах, я даже сны вижу о нем такие нежные. Это немножко глупо, но — неизбежно. А на Васю я уже давно махнула рукой, мне даже хочется с ним поссориться. Я стараюсь не думать о нем, а все-таки он идет на ум, и все-таки в группе кадет я ищу глазами его, и все-таки в красной тетради Папы-Коли я ищу графу против его фамилии. Это тоже глупо, а и пока — неизбежно.

Петербург VII

11 мая 1924 г. — 9 мая 1925 г.

СФЯТ

11 мая 1924. Воскресенье

Сегодня в Бизерте устраивается *fête de Charité** с участием нашего оркестра, с танцами м<ада>м Улазовской. В Корпус были присланы три даровых билета, и они разыгрывались между семьями. Выиграла Мамочка, и вчера было решено, что мы пойдем, и сегодня оказалось, что идти-то не в чем: в костюме жарко, а платья подходящего нет. Так и отдали билет. Я так расстроилась, что даже всплакнула. И не то было мне больше всего обидно, что не буду на концерте, а то, что причина-то такая глупая. Дома мы по этому поводу все перессорились, переругались и кое-как собрались идти гулять. Пошли и пришли к итальянцу. Так и разогнали мрачное настроение, хотя у меня на душе и сейчас тревожно и нехорошо. Мне кажется, я ясно понимаю причину такого настроения.

12 мая 1924. Понедельник

Сегодня ничего не было интересного, а почему-то день кажется бесконечно длинным. Утром каталась на велосипеде, каким-то чудом сломала педаль, так что после обеда пришлось на одной педали ехать в город. Вечером провожали Сергей Сергеевича, т.е. варили шоколад и позвали Насоновых. Он очень расстроен, а я, сама не знаю, что с собой делать, почему-то он меня страшно раздражает, и не могу с ним быть спокойной и сдержанной. Надоели мне его ухаживания, как в свое время и Косолапенко, — я теперь ему еле кланяюсь. А Сергею Сергеевичу весь Сфаят поражается — за чем он едет, но мне теперь все понятно. Он сам говорит, что в пер-

* Праздник милосердия (фр.).

вый раз в жизни сознает, что делает глупость, и все-таки едет. Только я страшно боюсь, что через месяц — ему дан отпуск — он вернется.

Получила письмо от Наташи, странное какое-то.

13 мая 1924. Вторник

Сейчас прочла Алданова «Смерть Екатерины II» и почему-то сразу круто переменялось настроение. Ни дневник, ни стихи писать не хочется.

Сергей Сергеевич уехал. Мы с Папой-Колей ходили его провожать. Он уехал растерянный и расстроенный. Обратного с нами шел Чернитенко. Мне этого очень хотелось, когда мы стояли на пристани.

Мне хотелось сегодня долго посидеть над дневником, а теперь настроение уже сорвано.

20 мая 1924. Вторник

Давно уже я не писала дневника, между тем кое-что произошло. Не стоит говорить об этой неделе, начну прямо с настоящего момента. Настроение у меня понемногу выравнивается, хотя, в сущности, еще очень далеко до спокойствия и удовлетворения. Сегодня ко мне забежал Коля Овчаров — и вчерашнее бодрое настроение сорвалось окончательно. А между тем он мне ничего страшного не сказал, говорил опять о том, что не признает семьи, но верит в дружбу между мужчиной и женщиной, не верит в идеальную любовь. «Тогда почему же мужчина не влюбляется в мужчину? Это и указывает на то, что основа-то здесь — физиологическая». Он сказал мне, что из всей роты только двое хорошо относятся к женщинам. Один — «чудачок» Кондорунис, другой — «святая наивность» Погорельский. Мне было бы интересно познакомиться с Погорельским. У меня мало-помалу устанавливаются ко всем кадетам какое-то враждебное, презрительное отношение. Сегодня в письме к Наташе я сказала последнее слово, сказала, что ни к одному из них не могу относиться с уважением. Я поняла, что этот страшный вопрос уважения к женщине — важнее политических убеждений, важнее взглядов на штатских и военных, на Блока, на поэзию, одним словом, это есть вопрос первой важности. Все теперь упали в моих глазах, и очень низко упали. Мне как никогда хочется поскорее выбраться отсюда. Я еще все-таки верю, что здесь все не по-настоящему, что где-то есть хорошая жизнь, не животная. Ведь если все действительно сводится к удовлетворению животных инстинктов — тогда зачем же разум, зачем душа? Тогда, правда, нужно дойти до отрицания брака, семьи, даже дружбы. Да я и стою на этой

дороге. В каждом мужчине я вижу прежде всего самца, во взгляде на женщину — желание «обладать» и «пользоваться», как дойной коровой. Чистой любви нет. Супружество — узаконенный разврат. Так мне кажется. Бог даст — я ошибаюсь. В воскресенье был у меня Вася вместе с Таутером и произвел на меня какое-то грустное впечатление. Его шутки, остроты, полунамеки задевали меня. Прежним — милым — он был только в присутствии Мамочки. Да с кем из кадет у меня сохранились прежние отношения? Овчаров и Завалишин мне ближе всех.

В день отъезда Сергея Сергеевича, вечером, при луне, долго каталась на велосипеде с Звенигородским. Мне он нравится, немного несуразный, молчаливый, но иногда бывает очень веселым и болтливым. На следующий день я опять думала встретиться с ним и долго прождала его на теннисной площадке. Но он не пришел. А Сфаят уж об этом заговорил. По-видимому, его товарищи придали большое значение этому знакомству, а Коля сегодня спросил меня: «У вас еще разве не был Звенигородский?» Он с ним в контрах. Еще давно между ними что-то произошло, после чего Коля избегает с ним встречаться и неловко чувствует себя в его присутствии. Что было — он мне не сказал!

26 мая 1924. Понедельник

Эта бандероль и эта открытка сами за себя говорят. Я получила от Бальмонта книгу «Где мой дом?» и со следующей почтой — эту открытку. Это самое главное, что произошло за это время. Больше, в сущности, ничего и нет. Начала готовиться к экзамену математики. Дембовский нервничает, придирается, сегодня на уроке я на него обиделась, чуть не до слёз. Ну, да это все неинтересно. Томик Бальмонта гораздо интереснее. Я так люблю его прозу.

Занимаюсь сегодня мало. С сегодняшнего дня забросила велосипед, вчера хотела пятью сонетами распрощаться с поэзией, но это не так-то просто! Потянуло опять. А заниматься надо. Скоро, Бог даст, теперь уже очень скоро, я свалю с себя страшную тяжесть трех математик. За геометрию я не боюсь, за тригонометрию тоже, только бы выполнить логарифмирование, с алгеброй дело обстоит хуже: я ничего не помню из того, что года три тому назад проходила с Коваленко. А ведь когда-то знала на ять. Ну, как-нибудь самое важное отдела вызубрю наизусть, а там — проскочу. Только бы уж скорее, теперь я не знаю, сколько еще будет тянуть Дембовский!

28 мая 1924. Среда

Вчера была письменная по геометрии в 41 классе, сегодня — в 43, оба раза я решала те же задачи. Вчера наврала и очень глупо,

сегодня тоже наврала, тоже глупо, хотя задача была очень простая. В субботу будет письменная в 42 классе, тогда уже постараюсь быть как можно внимательнее и не делать ошибок вроде (нрзб одно слово. — И.Н.), или вместо окружности брать площадь круга.

29 мая 1924. Четверг

После ужина пошли с Мамочкой немного погулять. И вдруг она мне сказала: «Мне хочется тебя спросить об одной вещи. Ты только не сердись...» У меня забилося сердце, я готова была провалиться сквозь землю. «Я вернусь к нашему старому разговору о Васе». У меня похолодело в груди, я употребила всю силу воли, чтобы остаться спокойной. «Ты знаешь, что Папа-Коля после того говорил с Васей?» У меня закружилась голова: этого я больше всего боялась. «Нет, не знала». — «Разве Вася тебе не говорил об этом?» — «Нет». — «Вот какой молодец». Мне было жутко, хотя тон Мамочки был совсем миролюбивый и спокойный. «Я даже хотела сама с ним поговорить, а потом решила, что не надо, что уж там старое вспоминать. Вероятно, после этого он к нам и не заходит. Хотя Папа-Коля и звал его, и я тоже звала!» Больше ничего, заговорили о другом. А дома я опять приняла мою любимую позу — локти на стол и стала перебирать в памяти факты последних месяцев. Что говорил Папа-Коля и что говорил ему Вася — осталось тайной. Что он мог ответить? Сказал все? Или смолчал? Или Папа-Коля по своей чуткости ничего не допытывал у него, а только говорил. Я об этом никого не спрошу. Зато у меня опять переменялось отношение к Васе. Теперь мне понятно его игнорирование, да вообще многое объяснилось в его отношении ко мне.

31 мая 1924. Суббота

Франция признает большевиков. И это признание произойдет в самом начале июня. Тогда и к нам в Бизерту явятся большевистские агенты принимать флот, да и нас уж, наверное, не обойдут. У меня какое-то обидное и тяжелое чувство: бежали и не убежали. Догнали-таки. Но и кроме этого унижения, это признание круто меняет всю нашу жизнь. Что будет — не знаю. И еще один страшный вопрос: успею ли я сдать экзамены? Ведь не сразу же нас разгонят, а если приналечь, то, может быть, как-нибудь правдой или неправдой и получу аттестат.

Вчера получила письмо от Дёмы. Нравится мне он. И живет интересно, учится в студии, сотрудничает в журнале, по-видимому, талантливый мальчик, издает с товарищами журнал, правда, рукописный, но очень серьезного содержания. Приглашает меня сотрудничать.

Сегодня получили от Юры Шингарева его цитру (он поступает куда-то на корабль), мне он прислал еще ракетку. А сам пускается в авантюры.

Собираюсь написать «Балладу 20-го года».

3 июня 1924. Вторник

Эти дни не писала, потому что занималась много. Недавно кончился урок тригонометрии, прошел он довольно хорошо, Дембовский не злился, так что и настроение у меня хорошее. За что сейчас взяться — не знаю. Заниматься больше не хочется, читать нечего. Писать? — ничего сейчас не напишешь.

Сергей Сергеевич прислал несколько писем, я даже не читала последнего. Как-то он мне совершенно безразличен. Мельком только заглянув в последнее письмо, я прочла одну только фразу, что он каждый день бывает у Лидии Антоновны, и почувствовала какую-то досаду. И почему? Ведь я же хотела его отъезда, мне надоели его ухаживания, не ревность же это? Так просто, досадно, самолюбие женское задето.

7 июня 1924. Суббота

«Балладу о двадцатом годе» я написала, но не кончила, т.е. мне не нравится конец. А так вышло довольно хорошо. Последние дни я только и думала о ней, все остальное для меня перестало существовать. Зато вчера был такой урок математики, что и вспоминать о нем не хочется, а встречаться с Дембовским тем более.

Сегодня Папа-Коля уехал в Тунис. Вечером Мамочка играла в карты, а у меня были: Коля Овчаров, Пава Елкин, Пава Мухин и мой новый знакомый Слава Минаев. Минаев мне нравится, что-то в нем есть открытое, хорошее. Играли в карты, потом Крючков принес письма Овчарову и Доманскому. Васе писала сестра и общала что-то очень тяжелое для него. Он страшно расстроился, я никогда не видала его таким; старался не портить настроение другим, но нет-нет и задумается. Мне было его жалко, и я опять ощутила что-то похожее на старое. И мне показалось, — и может быть, только показалось, — что он опять хорошо, по-старому, относится ко мне.

9 июня 1924. Понедельник

Вчера поссорилась с Колей Овчаровым. Из-за Блока. Начал он опять какую-то чушь нести: пьяница, под пьяную руку писал, бред ненормального и т.д. Я начала сердиться. «Довольно об

этом». — «Довольно? А мне хочется...» И опять. «Замолчите или я сейчас уйду!» — «Ну и уходите!» Я ушла, минут через пять вернулась, но его уже не было. Первый момент стало неприятно, потом скучно, а спустя некоторое время почувствовала удовлетворение. А вечером осталась довольна вполне. Были все, кого мне хотелось: Вася Доманский, Вася Чернитенко, Слава Минаев и Пава Елкин. Я никак не ждала, что может прийти Чернитенко, и не думала, что станет бывать Минаев, и поэтому теперь хочется задержать их у себя. Женщина ли говорит во мне или, наоборот, девчонка — не знаю, но мне хочется, чтоб эти четверо были около меня. Еще мне хочется почему-то познакомиться с Сидневым, а больше не надо никого.

17 июня 1924. Вторник

Боюсь сказать, но мои желания исполняются, как по шучьему велению. Я уже познакомилась с Андрюшей Сидневым, вернее, он сам познакомился со мной. В воскресенье, когда я сидела в своем шезлонге и повторяла формулы, ко мне шмыгнул Минаев (он теперь часто заходит ко мне), через несколько минут вбежал Чернитенко, а спустя некоторое время стучится Сиднев со словами: «А меня не прогоните?» Вечером он и оба Васи опять были у меня, решали задачу по алгебре (так и не решили), дулись в карты, договорились на другой день идти на море. Чернитенко не смог, Паву, с которым мы тоже уговаривались, упекли в наряд. С нами пошли только Вася и Андрей. Васю я прямо не узнавала, особенно когда вернулись домой: заботлив, мил, за все берется и не скулит. Он мне очень нравился эти дни. Теперь бы мне только Васю второго не упустить, и я буду вполне удовлетворена.

19 июня 1924. Четверг

Чувствую, что со мной что-то неладное творится. Боюсь, что смогу влюбиться. Я очень давно не пишу стихов. По вечерам вертится только одно имя. Вчера вечером у меня был Вася Чернитенко, Сиднев и Коля Овчаров. Было хорошо, как редко бывает. Дурили, смеялись, пользуясь, что дома никого не было. Я тогда еще смутно понимала, что было причиной такого бесконечно бодрого и хорошего настроения. А сегодня я поняла. Проснулась — и первое, что стрельнуло в уме, — Вася Чернитенко. Вспомнила его всегда веселое и приветливое лицо, веселую улыбку, немного сдавленный смех и голос, взгляд, манеру произносить 10 слов в минуту, а главное, веселость и еще что-то; это я не могу определить, и я сразу почувствовала бодрость, силу и желание заниматься. Я знала, что вчера должны были прийти Мима и Коля. Из кабинки я следила, когда батальон уходил на форт. Я видела, что Вася Доманский ушел, и я

отнеслась к этому совершенно спокойно. Я чувствовала, я органически понимала, что мне сейчас нужен другой. И он оставался в Сфаяте, я даже разговаривала с ним и очень жалею, что не позвала его к себе после урока: я думала, что он сам придет. Потом вижу — Петр Ефимович что-то говорил с ним и пошел в кинематограф, а тот сел на велосипед и тоже уехал. Мне стало скучно. И эту скуку уже не могли рассеять ни Мима, ни Коля, ни Сережа. Вася был мне нужен, органически нужен, его смех, его голос, его веселость, а какое мне дело до его политических убеждений!

20 июня 1924. Пятница

Три имени сплелись в моем мозгу,
Три имени мне радость и услада.
Движением беззвучных прежде губ
Их повторять мне жгучая отрада.

И вечером, в мучительном бессилье,
В страницах дневника, в тумане бледных дней,
Красивы только имена: Василий,
Еще Василий и Андрей...

23 июня 1924. Понедельник

Вчера вечером мы, т.е. я, Коля и Вася, весь вечер ругались, я думала, что подеремся. Мима дипломатично удрал, а мы дулись и все старались подзадорить и разозлить друг друга. Страшно хотелось, чтобы пришел Вася Ч<ернитенко>. У меня было такое настроение, что хотелось бросить всех и уйти.

24 июня 1924. Вторник

Дембовский все тянет и тянет с экзаменами, сегодня выяснил: через неделю будет тригонометрия — письменный и устный, в пятницу — алгебра и в другой вторник — геометрия. Впрочем, как и выбор дней, так и порядок экзаменов зависит исключительно от меня, он было хотел оставить на подготовку к каждому экзамену по неделе, да я уже взмолилась. И так я уже сама не своя стала, а тут еще на месяц растягивать, да еще латынь и физику, так когда же я кончу? Эдак, пожалуй, 4-я рота раньше меня кончит. Ну уж тогда, по крайней мере, нужно хоть сдать на хорошо, а то уж совсем обидно.

27 июня 1924. Пятница

Я ничего не могу писать, сегодняшний день опять выбил меня из колеи, из того равновесия, в котором я была последнее время. Сегодня был первый экзамен в четвертой роте, поэтому все они с

выпуском после обеда ко мне зашли: Вася, Мима и Пава (только не в таком порядке). Мы пошли играть в теннис и очень весело провели время до обеда. Вася был как-то особенно весел и мил в обращении со мной. Вечером я ждала, что ко мне придет компания, но долгое время никто не приходил, а потом явился Вася: «Оказывается, что я сегодня вступаю в дежурство, я только что узнал». Потом идет в ту комнату напиться воды. Сережа Шмельц идет в город и окликает его: «Ты сейчас идешь на форт?» — «Чего ради?» Приходит, садится. Молчим. «А где же Крюковской?» — «А я не знаю». Закуривают. «Ну а мне надо идти на форт». — «Зачем?» — «Так я вступаю в дежурство». — «А вы только что сказали, что не пойдете». — «Когда?» — «А Шмельцу». — «Да, так я и хотел остаться, а потом решил, что надо. Я завтра старшина разводного взвода и кроме меня никто не может собрать дежурных». Я сделала вид, что верю, и дала руку. Потом прохожу мимо Круглика и вижу, что там сидит Сиднев, показалось, что услышала голос Чернитенки. Потом они прошли мимо моего окна, и вот теперь мне кажется, я слышу голос Чернитенки у Насоновых. Минаев окончательно попал в Насоновский омут, по-видимому, там и Андрюша, я знаю, что его звали. И я осталась одна.

Вчера я много занималась, было много силы и бодрости, а сегодня уже нет никакого желания заниматься, как это ни странно, ни смешно, ни глупо.

8 июля 1924. Вторник

Ну что же произошло за это долгое время? Очень многое и очень важное. Начну все по порядку, как было. Во-первых, ровно две недели тому назад мы с Папой-Колей и Добровольским ездили в Утику, за 34 километра от Бизерты. На велосипедах. Там встретили русских — бывшего студента Попова и семью Морозовых. Познакомились. Нас встретили очень радушно и гостеприимно. Осматривали раскопки, интересного много, только жаль, что дело ведется совершенно бессистемно... Это первое, что было интересного. А во-вторых, у меня был экзамен тригонометрии. Утром — письменный. Задача хорошая, решила быстро; углы нашла верно, площадь нельзя проверить. Минут через десять ко мне идет Дембовский. «Ну что вы наделали! Нельзя было торопиться. Нужно каждое действие проверять по несколько раз, а то вот какие теперь неприятности. Вот смотрите: здесь вы складываете логарифмы $5 + 1$. Сколько? 7. А $14 : 2 = 4$?» Я остолбенела. Получила за эту работу 10. На устном ответила хорошо. Только иногда путала слова, говорила вместо числителя знаменатель и т.д. Получила 11. В общем, вышло 11.

Геометрия должна была быть в субботу. Но тут я расхворалась, думала — или тиф, или малярия. Так что экзамен был перенесен на понедельник.

А в субботу случилась одна очень тяжелая вещь: Дембовский с Куфтиным пошли в город, сначала в баню, а потом в арабское кафе. С Куфтиным сделался сердечный припадок, и он умер. На всех это произвело потрясающее впечатление. Сначала как будто ничего, отнеслись к этому довольно спокойно, а нервы у всех расстроились, и чуть ли не все в Сфаяте принимают бром.

В понедельник экзамен по геометрии. Утром — письменный. Задача по плану простая, но очень сложные вычисления. Я чувствовала, что ее можно было решить проще, но как — не понимала. Решила верно, по основному способу, но очень длинному и кропотливому, и получила 10. На устном поплавала. Все формулы и все сложные теоремы я знала, а на плоскостях и перпендикулярах засыпалась. Или молчала, или несла ерунду. Получила 10, но узнала об этом только на другой день, а то была уверена, что 8, и пережила много неприятных минут. Наконец, в пятницу алгебра. Письменную написала верно, но много помучилась с ней. Дело вот в чем: там было одно неопределенное уравнение. Я решила его очень скоро и уже начала переписывать всю задачу набело, дошла до этого места и заметила, что я начала с определения неизвестного с большим коэффициентом и потому у меня получилось больше действий. Спросила у Дембовского, как быть, — он советовал переделать. Начала и сразу же сделала глупейшую ошибку, переделываю — другую, и так без конца. Ничего не получается, сначала в знаках, потом и в цифрах. Всю бумагу исписала, такое в черновике получилось, что сама не разберу. И не выходит. Я в отчаянии, чуть не плачу. А тут уже звонок на обед. Потом уже ничего не стала соображать, обалдела. Ошибку нашла, переписываю, и опять не выходит. Тут С.А.Насонов пришел на помощь, посмотрел, проверил. «Ну, так что же? Верно». — «Нет, T_2 должно равняться нулю». «Почему нулю? Единица, так и выходит». Когда Дембовский уходил и тоже просмотрел работу, тогда у меня равнялась нулю и задача выходила, он это сам подтвердил. А когда я переписала, получилась единица, а не нуль. Что произошло — я так и не понимаю. Получила 11. На устном отвечала слабо, очень вяло и инертно, слишком много перенервничала на письменном. В результате 10, а общее 11. Общий балл за математику тоже 11. Это натяжка, и мне немножко неприятно, хотя я и довольна. Вечером наши опять винтили, только теперь в кают-компании, и мне было очень скучно и тоскливо. И страшно захотелось уехать. Бросить, забыть всех и уехать. И я написала стихотворение, которое

начинается словами: «В тот час, когда опять увижу море» и кончается: «Я все прощу, я все прощу любовно, как прежде никогда. И пробегая взглядом крест костела, бак и маяк большой, я снова стану девочкой веселой, с нетронутой душой».

А назавтра — играю в теннис, приходит Папа-Коля и зовет кофе пить. Сразу вижу, что что-то случилось. Прихожу домой — у Мамошки лицо взволнованное, говорит шепотом: «Слушай. Большие новости». — «Что такое?» — «Письмо из Праги». — «Ну, что же?» — «Все хорошо. Кандидатура Папы-Коли прошла, и теперь только нужно ждать подтверждения из министерства. Так что почти уже факт, хотя и не совсем». Это нас всех перевернуло. Теперь только и живем этой мыслью. Теперь все — Вася, мальчики, обиды и одиночество, Звенигородский, теннис, велосипед — все отошло куда-то на задний план, даже Вася, и тот и другой, а впереди — одно: скорей сдавать физику и... собраться. Только этим и живу.

20 июля 1924. Воскресенье

Завтра русский письменный в четвертой роте. Вчера днем приходит ко мне Пава Елкин. «У меня к вам громадная просьба». — «Какая?» — «Так! Напишите мне к экзамену сочинение». — «Как? А тема?» — «Да тема есть: Лиза Калитина и Екатерина из “Грозы”». — «Как вы узнали?» — «Это не совсем факт, но по всей вероятности так и будет». — «Хорошо. Напишу». У меня даже не было мысли отказать. Книги нет, я взяла свои старые конспекты и стала разбираться, как входит Вася с видом заговорщика: «Ирина Николаевна... как... напишите?» В руках у него две книжки Саводника. «Хорошо. А я сейчас уже один заказ получила». — «Пожалуйста, уж напишите мне, а то я засыпался. Тема “Лиза и Катерина, сравнение и характеристика”». — «Да откуда вы знаете темы?» — «Мне сказал мичман Аксаков, он сам тоже не уверен, но говорит, что вероятнее всего». — «И все в роте знают?» — «Ну, конечно». — «Хорошо, я напишу, но что если не эта?» — «Тогда я пропал. Вы хоть мне скажите, о чем там писать». — «Ладно, я вам составлю конспект на остальные». — «Вот хорошо! Напишите и поподробнее, с чего начать, чем кончить, я ничего не напишу». Порешили — первую тему и последнюю: «Чиновничий быт по Островскому», потому что она была на экзаменах 4-ой роты в прошлом году. Вчера же вечером засела за работу. Вася был настолько предупредителен, что принес мне Саводника и даже бумаги, только пиши. Первую работу написала довольно быстро и легко. Закрыла занавеску на двери, раскрыла эту тетрадь, на нее положила бумагу, перед собой положила Саводника, на всякий случай раскрыла физику и положила

рядом. Как шаги — Саводник в стол, в руки Краевича и самый невинный вид. Когда наши вернулись с винта, Мамочка зашла ко мне. Я скорей захлопнула эту тетрадь, как будто бы писала дневник, а книгу спрятать не успела. «Что ты делаешь?» — «Так... ничего...» — «Идем чай пить». Я поспешно собираю со стола Саводника, Краевича и Горация и торопливо ставлю на полку. «Хорошо, я иду, вот только немного уберу и иду». Мамочка, кажется, не заметила. Первую работу написала ночью и решила, что она пойдет Паве. За вторую не знала, как и приняться, как не думала — все выходит по-старому. Решила, что утро вечера мудренее и легла спать. Встала часов в шесть и принялась писать. План работы совершенно другой, поэтому сходство не должно бросаться в глаза, да еще они в разных взводах, так что сочинения подадутся не рядом. Потом написала самые подробные конспекты на три другие темы. Вася был очень доволен и благодарен. В четыре часа, когда приходил за работами, взволнованно шепотом сообщил мне: «А Петр Александрович знает, что тема известна». — «Ну как он мог узнать?» — «Да я не знаю. Он сам сказал кому-то об этом. Но все равно, он не переменит, это совсем не в его расчетах». — «Дай Бог!» Страшно волнуется. И я не меньше. Нервничаю чуть ли не больше, чем перед своими собственными экзаменами. Места себе не нахожу, забросила физику, ничего делать не могу.

Вообще последние недели в ожидании письма из Праги я страшно нервничаю. Знаю, что если получим утверждение, — надо скорее сдавать экзамены и ехать, и не могу заниматься. Сама не своя стала, только и жду почты. А с одной из этих почт пришла мне открытка от Бальмонта, очень милая и хорошая. Ругает неточные рифмы, указывая, как на грозный пример, на М.Цветаеву. «Если надумаете, пришлите мне Ваших стихов». Да, обязательно, и напишу ему второе бешеное письмо и кипу стихов, только... после письма из Праги. Раньше я не могу собраться с мыслями.

25 июля 1924. Пятница

На Ольгин день Воробьева пригласила меня идти с ними на море. Они шли большой компанией с ночевкой. Пошли мы в среду после ужина, когда пришли на море, было уже совсем темно. Местность стала совсем незнакомой, хорошо и красиво. Только жаль, что поднимался ветер. И еще жаль, что была завалишинская компания, которую я терпеть не могу. Все старшие кадеты: Остелецкий, Любомирский, Ирманов и даже Тима Маджугинский — страшно противные, ломучки, циники (а Ольга Владимировна еще называла их «рыцарями», мне прямо смешно было: неужели

же она не видит их «рыцарских чувств»?). Обидно, что и Тима попал в эту компанию и стал таким же, ухаживает за Милочкой, ходили слухи, что после окончания Корпуса он женится, но только я этому не верю, хотя Милочка очень нежна с ним. В общем, компания не по мне. Развлекали только малыши: братья Вилькены, Илюша Маджугинский и Зимборский. Пришли мы в пещеру (там есть такой глубокий грот у самого моря), развесили там цветных фонариков. Прибой был сильный, но мы с Милой все-таки полезли купаться. Я выскочила скоро, сверх мокрого костюма надела рубашку и платье, так как больше ничего у меня не было, и отправилась с другими за хворостом. Хотелось отжаться настроению, лечь на песок и слушать море, но было неудобно отказываться от работы. Потом здорово озябла, постелила плед, легла на него, им же укрылась, дрожала от холода. Мальчишки разжигали костер и никак не могли разжечь. В ожидании чая все мало-помалу улеглись и уснули. Поэтического настроения не было ни у кого, а я так озябла, что забралась в самую глубь пещеры, закуталась и решила, что обязательно схвачу малярию. Какая уже тут поэзия! Помню — меня будили чай пить, Маруся даже принесла чашку ко мне, я только попробовала — такая гадость: с золой, с хворостом, вонючий — сказала, что хочу спать. Просыпалась часто. Шумело море, горел в глубине пещеры фонарь, как красива и таинственна была и сама пещера, но я соображала только, что лежу на сквозняке, так как эта пещера сообщается с другой, малюсенькой, куда можно проползти, что малярии мне не миновать и что очень больно уху и щеке: но нагребла под голову песку и положила еще думочку, но все-таки было очень больно. Проснулась я — солнце уже встало — так я и не видела восхода. Женщины проснулись и поздравили именинниц. И все-таки думала: вот сейчас будем купаться, потом разожгли б костер, тут-то и начнется веселье. Гляжу, а в пещере сонное царство. Стала бродить по скалам, попробовала воду — холодно, волны большие. Кое-как поднялись малыши, и Маруся начала разводить костёр, подогрела вчерашний чай, выпила его и поставила новый. Ольга Владимировна, Ляля, Мила, мальчишки встали часов в восемь. Перед чаем пошли купаться. Вода холодная, но хорошо. С тех пор я почти не вылезала из воды часов до четырех, перекупалась, потом меня знобило, я завернулась в одеяло и лежала на солнце. Вообще было скучно. Но пробовали играть в «знамя», бегали, а О.В. сидела в сторонке и любовалась, как резвятся детишки. Такая идиллия! Все обязательно хотели «играть», а мне так ни капельки не хотелось. Потом, когда О.В., Маруси, Ляли не было, ушли в пещеру, собрались в кружок и мальчишки

начали рассказывать нецензурные анекдоты, правда, с пропусками, но очень глупые и прозрачные. Я терпеть не могу нецензурщины, слушала, слушала, да и ушла, странна мне эта компания. Что, Ляля не понимает грязноты и развращенности этих мальчишек и всерьез принимает ухаживания их, так это еще понятно, она глупа и наивна, но как О.В., эта блюстительница нравственности, не видит, с кем она ведет компанию, — так это я уже не понимаю... Делать было нечего, днем тоже все спали. Я мерзла и хотела домой, а О.В., Ляля были очень довольны и создавали идиллию. Впрочем, я тоже довольна. Вернулись часов около девяти. Дома — темнота, значит, играют в карты. На столе беспорядок, одним словом, идиллия! А на письменном столе — смотрю — последние девять письменных работ от Петра Александровича на проверку к Папе-Коле. В них должна быть работа Васи, я с самого понедельника жду ее с волнением. Смотрю верхнюю работу — Доманский. Смотрю конец — 10. Не знаю, как отнеслась к этому в первый момент. Когда я писала, я готовила на 11, я знаю, что если бы у Васи было 12, то это слишком бросилось бы в глаза, притом писать надо было только в пределах Саводника. Я не знала, что кадеты дойдут до такого нахальства, что будут приводить точные цитаты из «Грозы» (разумеется, то, что у Саводника), я все-таки старалась показать, что никакой подготовки не было. Так как большинство работ написано на 8, то я не огорчаюсь. Смотрю следующую работу — Сиднев, и у него 12. И мне вдруг стало грустно и обидно. Не то неприятно, что у Васи Чернитенко 10 — он сам говорил, что ни одна своя работа не была у него больше 8-ми, а то горько, что моя работа ниже Андрюшиной. Щелчок по самолюбию. И очень не маленький. У меня есть оправдания, но другие и также Вася меня оправдывать не станут. Да и в самом деле, выходит, что я подвела его, а он-то надеялся на меня как на каменную гору! Это очень неприятно, сегодня написала Андрюше записку, сообщила его и Васину отметку — он просил меня узнать — и после Васиной прибавила «только пусть он не ругается». Он-то, может быть, и не будет ругаться, а мне все-таки будет очень неприятно и обидно.

29 июля 1924. Вторник

Получено несколько открыток из Праги. Одна от Карцевского. Пишет, что кандидатура Папы-Коли утверждена Земгором и дело только за министерством и что 25 августа надеется встретить нас в Праге. Другая от Домнича — поздравляет и просит написать, когда едем, чтобы встретить на вокзале.

1 августа 1924. Пятница

И вот, сегодня я сдала последний экзамен, физику. Готовила на 8, сдала на 10. Последний экзамен. Цель достигнута, то, чего я так долго добивалась, уже совершенно. Во всю жизнь еще не одна реальная мысль не шла дальше последнего экзамена. Теперь какая-то полоса пустоты. Еще нет сознания своей свободы и некуда себя девать, сейчас вечером настроение уже сбито. Две вещи меня сильно взволновали. Первая — рассказ Тъери «Западня» (перевод Б.Шлецера в «Иллюстрированной России»), прекрасная, очень глубокая и сильная вещь. Вторая — сцена, которую мне устроил Петр Ефимович: он во вторник уезжает и зашел ко мне поговорить, сначала нёс всякую ерунду о прошлом, нагнал на меня скуку и ушел. Минут через пять является опять: «Ирина Николаевна, идемте немножко пройтись — мне хочется спросить у вас одну вещь». — «Нет, я не пойду». — «Это жестоко. Я умоляю». И совсем слюни распустил, чуть не плакал. Был мне страшно противен в той момент. «Никуда я не пойду». Подошел к столу. «Один только вопрос: любили вы меня?» — «Нет». — «И никогда не чувствовали ко мне никакого влечения?» — «Никогда». — «Вы говорите это совершенно искренно?» — «Ну, конечно». — «Так знайте, что я был страшным ослом!»... Что-то похожее на всхлипывание, и он выскочил за дверь. Противно и только.

С Васей у меня теперь хорошие отношения. В воскресенье мы весь день просидели вдвоем. Он готовился к геометрии, а я взялась с ним за зубрежку формул, заставила выучить. И по его отношению ко мне, по тому, как внимателен, прост и, я бы сказала, нежен со мной, я видела, что он меня любит.

6 августа 1924. Среда

За это время ничего не было интересного, кроме субботы. Да и это только потому, что были «мальчишки» — Вася и Андрюша, и еще заходил Чернитенко, с которым я не виделась давно: он был под арестом, Андрюша был без выхода, а Чернитенко, зайдя ко мне, предупредил его, что наблюдающий мичман Аксаков уже хватил-ся его. Потом кто-то постучал, спросив Сиднева, поговорил с ним, и Андрюша ушел с ним на форт. Вася Чернитенко шел с Круглик, и мы с Васей остались одни. Мы сидели в большой комнате, но дома никого не было. Настроение у меня было очень веселое, если верить Васе, 45 минут! Потом вдруг является Андрюша. «Ну, что?» — «Да разговаривал с Аксаковым. Он, оказывается, искал меня везде. Я что-то наврал ему, уверяя, что был в каземате

или в классе, кажется, поверил! «А потом ушел?» — «А что же мне на форту делать? На форту такая тоска!» Вася насмешил: когда в то воскресенье он был у меня и мы учили формулы, в столовом зале была всенощная, и мичман Аксаков приказал ему обязательно быть там. Мы закрыли дверь, и он не пошел. Потом разговор с Аксаковым: «Почему вы не были на службе?» — «Виноват, г^{осподин} мичман, я был». — «Врете!» — «Нет, не вру. Я с самого начала стоял в церкви». — «Как же в церкви, когда я вас видел на частной квартире?» — «Никак нет, вы не могли меня видеть на частной квартире, потому что дверь закрыта была». Тот только махнул рукой, заорал: «Вон!», но в штрафной журнал не записал.

В воскресенье мы втроем — мальчишки не могли — были на море, вернулись к вечеру усталые и довольные. Не успела я опраться, как ко мне нагрянула «завалишинская компания», правда, без Любомирского и Остелецкого, но зато с Овчаровым. Тут я заметила, что в комнате у меня не совсем в порядке: мои знаменитые катушки от ниток куда-то исчезли, катушечные пушки на картонных полочках, около портрета Блока, тоже пропали, а книги со стихами стоят не в том порядке. По поведению мальчишек я поняла, что это дело их рук, и страшно обозлилась, что они тут хозяйничали в мое отсутствие. Они вели себя очень развязно, горлалили, пели, а я сидела злая и не проронила ни слова. Потом даже неловко стало, и когда пришел Вася, я уже вошла в свою роль.

Во вторник уехали в Париж Дима Матвеев, Алеша Добровольский и Косолапенко, уехали пробивать себе дорогу в жизни. Я весь вечер проревела, не потому, что они уехали, а потому, что я осталась. Написала стихотворение, которое начинается словами: «А с каждым вторником Сфаят пустеет» и кончается: «Зачем-то сильная и молодая, Ненужным дням я потеряла счет». Твердо решила, что если ничего не выйдет с Прагой, буду всячески хлопотать о Париже, а то и так поеду куда-нибудь работать. Здесь больше нечего делать. Надо идти напролом!

8 августа 1924. Пятница

Мы с Васей одного и того же хотим, одного и того же боимся. Когда вчера вечером мы сидели на гамаке, перекидываясь словами, я опять узнавала в нем того странного нечеловека, которого я любила. Я видела, что он испытывает то же. Ему хотелось меня обнять, может быть поцеловать. Когда я ощущала и ощущаю его случайные прикосновения — у меня кружится голова. Мы оба страшно чувственны. И оба сдерживались, это нужно. Мы с ним теперь друзья, мы одно и то же поняли, пережили и почувствовали. Я его люблю,

но совсем не так, как раньше: он для меня просто самый близкий мальчик, с которым я связана больше, чем простым знакомством. Но я пишу совсем не то, что хочу. Я хотела написать, что хоть нас опять связывает чувственность, но с Васей мне легко и хорошо, потому что я уверена в нем и в его хорошем отношении ко мне, и мне доставляет страшное наслаждение иногда подразнить совесть и потрепать нервы. За позапрошрое воскресенье Андрюша Сиднев получил неделю ареста и месяц без отпуска.

14 августа 1924. Четверг

Дежурила на камбузе и несколько раз видела Андрюшу. Первый раз увидела его через дверь — он прошел с баковым нарядом — и почему-то отвернулась. Потом уже, во время раздачи завтрака, выходила из камбуза и столкнулась с ним в дверях. Он поздоровался и слегка улыбнулся. Мне хотелось взять его за обе руки, посмотреть в глаза и улыбнуться, я чуть не поздоровалась с ним за руку, кое-как ответила на поклон и убежала. После, во время ужина, я издала улыбку ему, а он отвернулся, сделал вид, что не замечает. Меня это кольнуло, хотя он мог отвернуться так же, как и я в первый раз. Я почему-то чувствую неловкость перед ним. Правда, хоть я его и не звала в то воскресенье, но все-таки он приходил ко мне, из-за меня, до некоторой степени. Я много думала о нем за эти дни. Много нервничала, волновалась и злилась. Ему грозит разжалование из унтер-офицеров, а не так давно был такой случай: унтер-офицер Маджугинский, будучи «без отпуска» в числе других «безотпускных», удрал с семьей Завалишиных на море. Во время их отсутствия дежурный офицер хватился их и сделал перекличку. Они еще не возвращались, а уже в Сфаяте говорили о них, что они попались и что Тиму разжалуют. И к общему удивлению, им никому ничего не было. Случай аналогичный, только с той разницей, что Маджугинский удрал к Завалишиным, а Сиднев — к Кноррингам, а это уже громадная разница! Злюсь неимоверно, тем более что чувствую себя немножко виноватой, т.е. причиной.

18 августа 1924. Понедельник

Днем, после экзамена, заходил Вася. Я гладила, он взял утюг, шапки и брюки Папы-Коли, затем починил chaise longue и разную, одним словом — был в добродетельном состоянии. Вечером была служба (завтра Преображение), он хотел прийти после, а почему-то так и не пришел. Я его ждала, а вместо него пришел Вася Чернитенко. Как всегда веселый и болтливый. Разговорились. О гимназии. Он симферополец и реалист, учился, значит, в том помещении, где была наша гимназия. Заговорили о помещении,

о дверях, как удобно было разбивать лбы, о том, где висели часы, где стоял шкаф и т.д. Как во время моих экзаменов, когда мы гуртом решали задачи по алгебре, так и теперь мы как-то сразу сблизились, стали опять школярами, как будто из одного класса, рассказывали всякие проделки и шалости и т.д. Легко и весело. Наши играли в винт. Мы пили чай, когда к окну подошел Дембовский. Затащила его чай пить. Он говорил о сегодняшнем экзамене (алгебра, письменный), о том, как он испугался, когда нашел у Остелецкого шпаргалку. «Ведь не могли же у меня утащить задачу из дому, я сжег все черновики, я был так осторожен», и тут же приводил примеры, как гимназисты и реалисты надували преподавателей и т.д. Спустя некоторое время, когда он ушел, Вася говорит: «Если мы когда-нибудь с вами встретимся — так года через три — напомните мне сообщить вам то, что я сейчас хотел сказать». — «А почему вы сейчас не хотите сказать?» — «Сейчас нельзя». — «Ну, даже если вы будете уезжать, так я вам скажу на палубе парохода». — «Разве это секрет сейчас?» — «Да, громадный секрет, равный плюсу бесконечности». — «А тогда?» — «Тогда он будет равен нулю. Так напомните же». Заинтриговал. Наверно, закулисную сторону этого экзамена.

20 августа 1924. Среда

Вася от последнего богослужения опять словчил и получил четыре часа винтовки, четверо суток ареста и две недели «без выхода»! Если мы скоро уедем, то больше, значит, и не увидимся.

23 августа 1924. Суббота

Оказывается, с Васей такая история: в понедельник, накануне Преображения, он был в церкви и вышел. К нему подлетает мичман Аксаков и начинает ругаться, что он ловчит, скрывается на частной квартире и т.д. «Никак нет, я не был на частной квартире». Тот не верит и выходит из себя: «Так где же вы тогда были?» Вася тоже вышел из себя: «Это не ваше дело!» — «Ступайте на форт!» На полдороге догоняет его: «Ну, можете идти в отпуск». — «Нет, уж теперь я не пойду». И в штрафном журнале появляется запись, что он «грубо говорил с офицером» и т.д. В результате — он прислал мне привет из карцера. Это рассказывал Минаев. Он же говорил, что ко мне сегодня собирался Сиднев. Я прождала его весь вечер, но, очевидно, что-то ему помешало, да и к лучшему, а то ведь он «без отпуска». Минаев рассказывал мне некоторые подробности экзаменов, как была налажена подсказка, как в этом помогали мичмана и даже сам ротный, как, например, на русском письменном он под кителем принес ему Саводника и потихоньку совал кадетам: «Тебе надо? Бери, прячь!»

А на алгебре подсаживался к кадетам (тогда Завалишин усиленно углублялся в газету) и прямо с карандашом помогал. А если сам не мог решить, то просто обращался к хорошему ученику «ну, напиши!» и переносил шпаргалки. Или на устном: у доски Петрашевич — плавает, не знает, что говорить; на первом столе Яцковский пишет шпаргалку. Круглик становится между ним и столом, где сидят экзаменаторы; Петрашевич благополучно списывает; когда же у него опять заминка, Круглик берет мел и как бы машинально начинает чертить на столе. Экзамены проходят благополучно, и Дембовский в восторге от того, как все «поразительно развились». Только на последнем он понял, страшно расстроился и обозлился, многих провалил, говорил, что «экзамен скандальный». Оно и правда.

28 августа 1924. Четверг. Успенье

Редко я теперь заглядываю в дневник. Жизнь моя слишком бесцветна и однообразна. Писать нечего. Дни — пустые. Ничего не делаю, немножко читаю, жду почты. Из Праги до сих пор нет никаких известий. Я дала себе слово не говорить и не думать о ней, но все мои мысли начинаются: «там, в Праге...» Говорю себе и другим, что не верю больше, но это неправда. Разве можно сознательно не верить? Это значит с головой уйти в эту пустую жизнь. Я по-прежнему одна. В воскресенье ко мне пришел Сережа Шмельц и Богдановский. Я была рада, что пришел Сережа, мне казалось, что он на что-то дует, смотрит на меня свысока и т.д. Богдановский раньше не заходил, и мне было приятно. Как-то в один из вечеров является Вася. «Вы откуда?» — «Т...ссс! Дежурю у Жидейкина» (больной кадет Жидейкин живет в Сфаяте, и у него дежурят товарищи). Я страшно обрадовалась. Он пробыл у меня не больше 10 минут и оживил меня надолго. Я знала, что никто другой не зашел бы ко мне, значит, он относится ко мне не так, как другие.

Есть много вопросов и желаний. Я даже не могу определить их. Когда, например, я вижу хорошо одетых женщин, мне хочется хорошо одеться, всегда быть в красивом платье, хорошо, красиво причесанной и т.д. Я знаю, что могу быть интересной уже потому, что я молода и здорова; я похорошела за последнее время, и я это сама знаю. Мне хочется следить за своей внешностью, я усиленно занимаюсь ногтями и прической, а на ногах рваные чулки и туфли, старое платье. Когда я думаю о Праге, я представляю себя хорошо одетой. Иногда мне даже кажется, что это главное. Когда же я задаю себе вопрос, что бы я стала делать, если бы я получила много-много денег? — и отвечаю: пустилась бы в путешествие, занималась языками и музыкой. Когда я думаю о музыке, о том, что

я могла бы быть недурной пианисткой, — мне всегда хочется плакать. Я не жалею, что жизнь выбила меня из нормальных условий, мне жаль только моей музыки. Я бы отдала все мои стихи — настоящие и будущие — чтобы быть хорошей пианисткой. Меня интересует живопись. Сегодня я смотрела номер «Illustration», и некоторые картины доставили мне большое удовольствие. Я не знаю живописи и не разбираюсь в ней, но я люблю красивое, я люблю краски. Я люблю движение, формы, хорошо сложенное человеческое тело и не знаю скульптуры. Так велика, красива и разнообразна область искусства, а я этого ничего не знаю!

В поэзии хочу добиться одного: передать движение, а вместо этого — пустые фразы!

4 сентября 1924. Четверг

Уже целую неделю я не брала дневник. А что же произошло за это время? В воскресенье, ночью, умер Жидейкин. С вечера ему сделалось плохо, а в это время мы, т.е. я, мичман Аксаков, Звенигородский и Тагатов рядом, в кают-компании, играли в карты, страшно дурили и смеялись. Когда наутро я узнала, что он умер, — мне стало очень неприятно и тяжело, как будто я была этому причиной. На похороны не пошла, даже на панихиде не была. Боялась увидеть мертвого.

Что же еще? Вчера в Бизерте был концерт с участием почти исключительно русских. Меня он не удовлетворил. Были моменты, когда слушала с удовольствием, но часто утомлялась слушать и скучала. Сегодня днем к нам заходили Вася с Андрюшей. Говорили. И Вася сказал ужасную вещь, что ему не нужна Россия, что он не любит ее, что ему все равно, где жить и работать. «Вот Андрея я понимаю, что ему хочется вернуться, а что там у меня?» И мне вдруг стало страшно жаль этого вступающего в жизнь мальчика; полуполяк, полурусский, с десяти лет сразу потерявший семью и десять лет шатавшийся по фронтам, — что он мог вынести оттуда, что у него там осталось? Его жизнь сложилась очень тяжело, я этого не перенесла, а между тем, что у меня осталось от России? Люблю ли я ее? И что я в ней люблю?

11 сентября 1924. Четверг

Бывают же такие моменты в жизни, когда плачешь, плачешь без конца, и все больше хочется плакать! Конечно, я понимаю причину и даже считаю ее настолько серьезной, что не могу отвлечься. Из Праги нет вестей. В прошлый четверг была получена открытка от Домнича, где он говорит, что узнавал по поводу нас и

ему сказали, что «виза на 9 и деньги будут высланы скоро» (кавычки его). А вот уже целая неделя прошла, а ничего нет. Не знаю, кто из нас троих больше нервничает. Ведь тяжело и трудно даже в мыслях отказаться от Праги.

13 сентября 1924. Суббота

Сегодня получена открытка от Карцевского: «Все рушилось» — вот его фраза.

15 сентября 1924. Понедельник

Надо быть бодрее и веселее. Все равно слезами горю не поможешь. Я самая сильная в семье, и на мне должна лежать роль нравственной поддержки. Задача трудная, у меня нет достаточно поддержки, но пока что держусь молодцом, и удалось подействовать на Мамочку. Вот это уже настоящий удар судьбы, это действительно тяжело, не то, что мелкие душевные переживания, которые волновали меня и причиняли мне боль. Тогда можно было распускаться и копать в себе, а теперь нельзя. Вчера же утром, успокаивая Мамочку, я предприняла решение, которое нас всех успокоило. Я решила, что поеду в Тунис работать. Поступлю куда-нибудь горничной, это не важно, это на один год, нужно во что бы то ни стало выучить язык, да! А за этот год многое еще может произойти. «Нет такого положения, из которого нельзя было бы выйти», — говорит кадетская поговорка.

16 сентября 1924. Вторник

Стараюсь отвлечься. Играю в карты. Вчера у меня была большая компания, и мы с азартом играли в «двадцать одно» на папиросные бумажки. Мне нравится Вася Чернитенко, и я не боюсь думать об этом, наоборот, я даже не прочь бы и увлечься. Не нужно, чтобы брели на ум страшные слова: «все рушилось», да еще с той интонацией, с которой они были прочитаны. Чем-нибудь надо их заглушить. И я их заглушаю, я думаю о мальчиках, оба Васи и Андрюша заняли мое воображение сполна, совершенно ошибочно с ними ровняла Минаева, он — шляпа.

Около месяца тому назад мы получили письмо от Антонины Ивановны Столяровой из Харькова. Она должна была через две недели ехать к сыну на север Франции. Если она приедет туда, то я тоже туда поеду и буду служить там. Близкий нам человек, она примет во мне участие, и мне не так будет страшно. Мне бы этого теперь больше всего хотелось.

17 сентября 1924. Среда

Хочу, чтобы об этом никто не знал и никогда не догадывался. Мне кажется, что я могу не на шутку увлечься. Конечно, все это иллюзии и суррогаты, я нарочно создаю себе имитацию того, что мне хочется. Мне хочется Васю Чернитенко, я готова многое отдать, чтобы он мной увлекся. Я не прочь поиграть с ним, а попросту хочу его видеть и слышать. А еще — мне надо думать о ком-нибудь по ночам. Не о Доманском же? Тот и так мне самый близкий. Страшно подумать, что через две недели 4-я рота кончает. Все разъедутся. Я не представляю себе жизни в Сфаяте без кадет, без веселого смеха за партами, без ругани из-за Блока, без моих глупых мыслей. Надо, надо и мне скорее устраиваться. Раньше мне очень хотелось уехать в Прагу, раньше окончания; теперь тоже хочется уехать раньше — в Тунис, но это невозможно. А вообще — скорее надо, а то я так никогда не выучу языка!

18 сентября 1924. Четверг

Кадет отправили в Сфаят, всех, кроме 4-ой роты. Целый день слышен крик, смех, шум. Таусон играет на кларнете, и ему вторит «джаз-банд» — ложки, тарелки, палки, голоса. Слышится веселый напев песенки, слов не разобрать, слышно только: «Какая ты дубина!» И то весело. Оживления много. Сначала напевы горна, молитва. Некоторое разнообразие. За стеной голоса: «А ну, Вовка, налей папочке чайку!» В кают-компании Платто наигрывает краковяк. Наши играют в карты. Я сидела и писала письмо Сергею Сергеевичу.

Писем нет. Стихов не пишу. Читать не хочется. Ничего не делаю. Завтра дежурю на камбузе, а вечером Елизавета Сергеевна звала в кинематограф.

21 сентябре 1924. Воскресенье

Мамочка говорит: «Скажи, что у тебя произошло с Звенигородским?» — «С Звенигородским?» — «Да». — «Ничего». — «Мне Елизавета Сергеевна говорила под большим секретом и только просила тебе не говорить. Звенигородский сказал, что он с тобой поссорился, он очень расстроен, “страдает”, когда вы ходили в кинематограф, он все был в стороне, не говорил ни слова: когда вчера вечером услышал, что ты пошла с мальчиками гулять, он очень расстроился и пошел за вами. Вы его не встретили?» Это мне так понравилось, что сразу настроение подпрыгнуло. Стала припоминать, когда же мы с ним «поссорились», да так и не вспомнила.

А что он последнее время как-то странно относится ко мне, так я это давно заметила. Еще Мамочка сказала со слов Ел<изаветы>Сер<геевны>, что он поселился напротив, в кабинке Косолапенко, чтобы лучше наблюдать за мной. Я страшно рада, как это ни глупо. Вчера у меня были Вася с Андрюшей. Оба они мне очень понравились вчера. Мы стали почти друзьями.

29 сентября 1924. Понедельник

Что было за это время!? Ничего. Я только давно хотела записать две вещи, которые мне рассказал Вася. Первое — экзамен физики (механика), второе — письменная математика, механика у них была в понедельник и вторник. Адмирал им преподавал такой громадный курс, что в году его никто не понимал и не учил. Была организована сложная система подсказа, на этом и выезжали. Теперь оказалось, что никто ничего не знает. Насонов сжалился и дал им пометить билеты. Билетов 18, а их в каждой группе по 28—29. Они разбили билеты на 3 группы, распределили их между собой и учили только по 6 билетов. Метили их так: 1-я группа — гладкие, 2-я — выпуклые (гладили на ламповом стекле), 3-я — вогнутые. Кроме того, слабые ученики учили только по одному билету, и отдельно метили его. Устраивали репетицию. Об этом знали все, кроме адмирала и, кажется, Завалишина. Наступает экзамен. Насонов приносит билеты, завязанные пачкой; как только он развязал — колода вздулась необычайно. Он скорее разбрасывает их по столу, они прыгают, скачут. Кадеты сидят вдали и еще издали намечают себе билеты: вверху не видно. Подогнули так, чтобы до завтрака отвечало не больше 16, по 5 в каждой группе, чтобы один билет оставался лишним, на случай, если кто ошибется. Были курьезы: Бошкович учил только один билет, нашел его и, еще не открывая, заявляет: «8-ой билет». Синиченко учил тоже один, ответил его хорошо, но адмирал задал ему несколько вопросов по курсу, и он провалился, а вообще — баллы прекрасные, как ни на одном экзамене, адмирал в восторге!

Еще мне Вася признался, что ни одну письменную, кроме черчения, он не писал, не зная темы. С математикой было так: Дембовский принял все предосторожности. Но они его перехитрили. Задача в конверте, запечатанном сургучом, лежала в кармане ген<ерала>Завалишина. Были каникулы, и Женя был дома. Ложась спать, Завалишин вешал китель на вешалку. В 2 часа ночи Женя вытаскивал из кармана конверт, в это время с форта летел велосипедист за ним; там слегка расклеивали углы конверта, списывали, потом заклеивали гуммиарабиком и через полчаса велосипедист отвозил тему

обратно. Ночью решали задачи, а на другой день Дембовский восхищался, как «поразительно хорошо проходят экзамены». Так было оба раза на письменной по математике. На черчение им не удалось достать темы, и чуть ли не половина роты провалилась. Самый скандальный был экзамен. Теперь я понимаю, что мне хотел сказать Вася Чернитенко.

4 октября 1924. Суббота

События последних дней.

Вторник. Дежурила на камбузе и — все. Нет, вру, я в среду дежурила.

Среда. Экзамены по электричеству в первой группе, последней. Вечером были Мима, Сережа Шмельц и Нёня Богдановский. Настроение веселое, сидели в большой комнате с Мамочкой и весело болтали. Вдруг стук в дверь и голос Емельянова: «Разрешите на минуту Шмельца?» Сережа возвращается страшно расстроенный и смущенный, чуть ли не со слезами на глазах. «Простите, мне надо идти». — «Зачем?» — «Мичман Макухин требует; за мной еще осталось два часа винтовки, а я забыл!» Мима крикнул вдогонку: «Приходи после молитвы». — «Не знаю, навряд ли». Все страшно возмутились и раскисли. Настроение было сорвано. Вдруг в одиннадцатом часу приходит Сережа: отстоял свои два часа и пришел. Ему устроили овацию. Мамочка пригласила всех в пятницу праздновать окончание.

Четверг. После обеда мы с Мамочкой и Серафимой Алексеевой ездили на ослике в город за провизией. Встретили там компанию кадет, пили пиво. У них начинается полоса пьянства, они отправлялись к «сербу», а Мима дал «на хранение» две бутылки вина. Вернулись мы с темнотой. К нам пришли на вечер оба Васи и Андрияша. Показывали билеты. Безошибочно узнавали их, настроение, конечно, самое хорошее и веселое. В самой глубине души я боялась этого дня, а тут сама смеялась и радовалась. В эту ночь должны были быть «похороны алгебры», доставались костюмы, все совещались, волновались, и я принимала в этих приготовлениях большое участие. Ушли они довольно рано, так как «надо готовиться». Обещали быть в пятницу.

Пятница. Я на камбузе. Прежде всего узнаются подробности «похорон». Самый интересный номер вышел с Воробьевым. Ночью у него стянули козу, она заорала, Ольга Владимировна услышала и подняла настоящую истерику. Говорят — прямо вопила. Александр Аполлонович сначала ругался и посылал «мать» ко

всем чертям, потом уступил и отправился на форт. По дороге встречает мичмана Аксакова: «Сергей Сергеевич!»...как вдруг Сергей Сергеевич начал от него «драпать» во все лопатки. Дальше попадает Завалишин: «Ваше превосходительство, вот у меня козу увели». Петрашевич не растерялся. «Сейчас, сейчас, мы все сделаем». Приходят на форт. «Я вам помешал, господа, — говорит «ковда», — я извиняюсь. Дайте мне козу, ей-богу, уйду, сам понимаю, что помешал». К нему подходит кто-то из кадет и вглядывается: «А ловко же ты нарядился!» После короткого совещания Лжеворобьев вывел козу и вручил ее Воробьеву. Говорит, что встреча двух двойников была действительно замечательна.

Днем был педагогический совет. Поднимался острый вопрос насчет Яковлева. Завалишин как-то неладно поступил с отметками, что-то у него на экзамене было 3, а в аттестате по правилу среднего арифметического — 9 и т.д. Адмирал страшно рассержен. Так этого вопроса они и не решили, оставили назавтра. Вечером было чествование Дембовского — 25 лет педагогической деятельности.

Вскоре после ужина пришли Мима, Сережа и Нёня. Сидели и поджидали остальных, чтобы варить глинтвейн. Приходит Вася, очень смущенный, здоровается, не глядя в глаза, и говорит Мамочке: «Я очень извиняюсь, но я не могу быть у вас сегодня». — «Почему?» — «У меня здесь дело на форту, спешно...» Настроение упало. Я страшно обиделась, хотя старалась не показывать виду. Сережа решил, что он, наверно, занят по делам выпивки, которую на днях устраивают преподавателям, а значит, Вася Чернитенко и Сиднев тоже не придут. «Это не отговорка. Они могли прийти хоть на полчаса». Было очень скучно и кисло. Часа через два пришел Чернитенко: он был у Дембовского. Кое-как вечер дотянули, а ушла я спать с очень глубоким и едким чувством обиды.

Наконец пятница. С утра узнаю, что Сиднев весь вечер пробыл у Насоновых и на удивленные вопросы товарищей, «почему он не у Кнорринг?», отвечал: «Я знаю, что я делаю!» Это была уже открытая демонстрация, и меня еще более обидела.

А днем — продолжение педагогического совета. Опять о Яковлеве. Папа-Коля возражал против правила «среднего арифметического», и когда Завалишин возразил, что «так всегда было в старом Корпусе», ответил: «Ну, Морской Корпус в учебном отношении всегда пользовался дурной репутацией, тогда как сухопутные корпуса были обставлены превосходно». Завалишин увидел в этом оскорбление себе, Корпусу, строевой части, флоту, морякам, раскричался, ушел к себе, с ним сделалась истерика и он заболел. Папа-Коля страшно расстроен, места себе не находит, среди офицеров буря,

Аксаков поздоровался со мной с таким видом, как будто собирался ножом запустить. Опять нависают тяжелые и неприятные события.

Приходит Андрюша. К счастью, меня не было в той комнате, я застала только конец. Он начисто изложил Мамочке все дело: кто-то сказал, что у нас в складчину устраивается чествование, а так как они в этой «складчине» не принимали участия, то решили не ходить. Они поговорили по душам, я застала их обоих очень взволнованными, примиренными, Андрюшу очень смущенного, повторяющего: «Простите, Мария Владимировна, я сам вижу, что сглупил». Кончилось хорошо. Я поблагодарила Андрюшу, что он не побоялся «разговора с объяснениями». Только бы нам опять собраться вместе, чтобы загладить этот инцидент перед прощанием.

8 октября 1924. Среда

Что было за эти дни?

Воскресенье. Вечером на форту большая выпивка: «проводы» офицеров и преподавателей. За этот день мне хочется отметить одну маленькую деталь глубоко интимного свойства: когда Вася Чернитенко, пригласив Папу-Колю, ушел от нас — я вдруг почувствовала, что он ушел навсегда, т.е. что таким, каким он был для меня, он уже никогда не будет.

Понедельник. Вечером собралась веселая компания. Сначала пришли Мима с Нёней, потом Сережа Шмельц с Володиёй Головченко и, наконец, — Андрюша с Васей. Володя пришел в первый раз и мне понравился — очень веселый и болтливый. Но больше всех в тот вечер мне понравился Андрюша. Он как-то очень просто держался, был такой веселый и славный, как никогда. Мы сидели в большой комнате, все вместе играли в карты, в «рубль», хохотали, как никогда еще, одним словом — великолепно провели время до часу ночи.

Вторник. Дамы устраивали чай для новых гардемарин, вечером в помещении 5-ой роты. Так как я дежурила на камбузе, то в приготовлениях мало принимала участия. А после ужина оделась, причесалась и пошла. Там накрывали на стол. Первым делом Аксаков напоил меня кроушоном: «надо же попробовать!» Сначала явилась небольшая группа гардемарин, в том числе Сережа Шмельц, Мима, Нёня и Володя Головченко. Мы уговорились сесть вместе. Минут через десять явились остальные. В общей суматохе поздоровалась с Васей и Андрюшей, а затем потеряла их из виду. Мы сели как уговорились и за чаем очень мило и весело провели время. Были, конечно, всевозможные тосты, «ура» и т.д. Первый щелчок по само-

любию: когда Вася Чернитенко провозгласил тост «за сфаятских барышень», все столпились на другом конце, около сестер Завалишиных, и только несколько человек подошло чокнуться со мной. Сам Вася тоже словно забыл про меня, вообще, в тот вечер меня для него не существовало. Но к таким обидам мне пора было бы привыкнуть: ведь это повторяется регулярно на каждом вечере. После чая — танцы. Из кают-компания перенесли пианино и танцевали. Сереже и Нёне надоело сидеть, и они пошли ко мне в комнату играть в карты. Ко мне подходили почти все знакомые, кроме Чернитенко, Сиднева и Доманского. Андрюша все время сидел с м<ада>м Леммлейн, с ней же и танцевал, это опять была какая то открытая демонстрация. Вася танцевал с Завалишиными, ко мне даже не подходил. Вначале я не танцевала, а потом не удержалась. Заходила Мамочка и сидела недалеко от меня. В это время ко мне вдруг подсел Вася, как ни в чем не бывало, и даже пригласил меня на вальс, протанцевали мы немного и, отводя меня на место, не то по инерции, не то нарочно, поцеловал мне руку. Больше я его не видала. Под конец со мной был все время Коля Завалишин. Все-таки он единственный, кто ко мне относится хорошо и искренно. Как это ни грустно, но в этой роли является только Коля, а не один из тех, к кому я так относилась. Это были не танцы, а балаган, зато весело. От танцев и от крющона у меня кружилась голова. Пришла домой — у меня игра в карты, душно, накурено. Я села на завалинку. Меня позвал Папа-Коля и начал говорить, что как это я пустила к себе в комнату, когда у меня там было неубрано, и мы убрали при мальчиках и т.д. Мне было все равно, что он говорит. Как всегда, я уже жалела, что так балаганила. Пошла на гамак. Подходил ко мне Макухин, уже не совсем трезвый и все в чем-то извинялся, я так и не поняла, в чем. Пошла и завалилась спать. Чувствовала себя нехорошо. Проснулась около 9-ти с сознанием чего-то очень обидного и немножко глупого. Страшно не хотелось вставать, начинать день. Знала, что опять посыпятся упреки и еще хуже — расспросы. От четырех стаканов крющона весь день болела голова. Чувствовала себя нехорошо и хотелось спать. Страшно не хотелось идти на завтрашний вечер — вижу, что никому не нужна и мое отсутствие даже не будет заметно. Пойду только потому, что Сереже и Нёне это может быть действительно обидно. И зачем я так входила в их жизнь? Так старалась понять их? Кому это нужно? А все-таки через два дня все они уходят на эскадру. И как я ни злюсь, что ни говорю сама себе, мне очень грустно и тяжело, что Вася уедет. Ведь если говорить правду, так он мне дороже всех, вернее — он единственный, кто мне все еще дорог. Все мои увлечения после вчерашнего вечера

лопнули как мыльные пузыри. Чернитенко, Андрюша — все это такая мелочь по сравнению с Васей. Пусть последнее время мы стали чужды друг другу и нет у меня к нему прежнего чувства, мне даже не хочется сейчас видеть его. Я знаю, что кроме насмешки я ничего не услышу от него, мне грустно, что я его никогда не увижу, и если и увижу, так не таким. Да я и не хочу его больше видеть, даже писать ему не буду! И как я ни зла и ни обижена на него — я пишу и реву. А ему этого ничего совсем не нужно.

10 октября 1924. Пятница

Вчера был вечер. Днем Вася Чернитенко приходил приглашать. Сначала я сердилась на него за прошлый вечер, а потом так увлеклась его разговорами о Симферополе, что сама развеселилась. Одевалась тщательно, долго возилась с прической, ногтями и т.д. А все время было какое-то тревожное и неловкое состояние, а вдруг никто не зайдет за нами? Но Сережа с Нёней зашли. Пришли на форт, ночь лунная, хорошо, пошли сначала в гостиную, что они устроили у себя в курилке, кое-кто подошел. Чернитенко подносил дамам цветы, Мима бренчал на рояле. Потом позвали ужинать в другое помещение. Сели мы все вместе. Соседом моим был Сережа, визави — Мима, с другой стороны сидел Каськов и разговаривал с Папой-Колей о музыке. Дальше сидели Леммлейны, и рядом с Марией Васильевной я опять увидела Андрюшу. Он со мной не поздоровался, и я не замечала его. Все мальчишки были удивительно любезны, угощали наперерыв, всяких пирожков, печений и тортов была такая масса, что я просто взмолилась. Вдруг слышу над собой приветливый голос Васи: «Ирина Николаевна, здравствуйте!» Я невольно улыбнулась ему. Потом я опять потеряла его из виду. Был какой-то ликёр, и Сережа убедил меня выпить рюмку: «Ну, Ира, за одну заветную...». «А теперь за мою заветную», — предложила я. Теперь я знаю, что в прошлом году его «одной заветной» была я, тогда я об этом и не предполагала. Теперь это что-то уже совсем иное, наверно, такая же туманная расплывчатая мысль, как и у меня.

Чернитенко приглашает всех в танцевальный зал. Столовая понемножку опустела. Тут ко мне начал приставать Семенчук. Звал ^{идти} танцевать. Он был уже не совсем трезв, держался нахально, так близко наклонился ко мне, что касался лицом волос и заставлял меня почти совсем лечь на стол. Я уже начала говорить с ним в резком тоне, но Чернитенко, проходя мимо, сказал ему что-то и оттянул в сторону. До первого антракта я не танцевала, а потом пошла с Сережей погулять во дворе. Вскоре меня окружила целая ватага

гардемарин со стаканами грананина. Это очень вкусный напиток, но их было так много, и они так усиленно настаивали, что я скоро поняла опасность и хотела удрать. Но они меня не пускали, встали все посреди двора на колени: «Ну выпейте, хоть глоток, а после вас я выпью». Я подхватила Миму, и кое-как мы вырвались. Потом налетает Коля Овчаров: «Ирочка, вы на меня сердитесь?» — «За что?» — «Да вы знаете за что. Ирочка, не сердитесь, Ирочка, дайте поцеловать ручку!» — «Убирайтесь!» — «Уберусь, только дайте ручку поцеловать». В танцевальном зале опять приставал Семенчук. Мне стало как-то скучно и неприятно, я взяла Миму под руку, и мы вышли во двор. «Вам не нравится?» — «Нет, мне больше один человек не нравится». Он сразу понял. «Да, он страшный нахал, но я вас от него избавлю». И надо отдать ему справедливость, что весь вечер он был действительно рыцарем. Необыкновенно держал себя мичман Макухин. Как увидит меня, остановится: «Ирина Николаевна! Неужели это вы?» Дальше: «Ирина Николаевна, как я рад вас видеть в таком виде... и в добром здоровье». Потом говорит Мима: «Скажи Ирине Николаевне, что она прелестная и очаровательная барышня».

Танцевать я начала уже поздно. Усиленно приглашал Семенчук, но мне не хотелось с ним, и я отвечала коротко: «Я обещала вам тур вальса и все». Наконец заиграли вальс. Он подсказывает. Мима наклоняется к моему уху и шепчет: «Я вас выручу». Не успели мы сделать и одного тура, как подходит Мима и говорит: «Ирина Николаевна, вас Мария Владимировна зовет». Семенчук рассердился и закричал: «Нет! Я понимаю, в чем тут дело». Мы с Мимой убежали, а он еще потом долго дулся на меня. Мы гуляли по двору. В столовой кричали «ура», очевидно, пили. Выходит оттуда Коля Овчаров: «Ирочка, позвольте вас взять под ручку». — «Идите лучше спать». — «Ирочка, позвольте!» — «Идите, спокойной ночи!», и потащила Миму в зал. «Уже опять пьяные, пьют без перерыва», — усмехнулся Мима.

В антракте видала Васю с Мамочкой, а потом случайно увидела такую сцену: Вася стоял с бутылкой в поднятой руке, а в нескольких шагах от него — Леня Крючков, и он кричал ему страшно сердитым голосом: «Не подходи! Слышишь? Говорю тебе: не подходи!» Это не была шутка, нет, такой строгий и сердитый тон. Потом начал пить из бутылки. Леня, очевидно, задирает его и пустился бежать. Вася догнал его, замахнулся бутылкой и опять что-то сердито говорил ему. Мима усмехнулся: «Вот тоже целую неделю пьет без просыпу».

Под конец я много танцевала с Колей Завалишиным, и во время степа он сказал мне самые простые слова, от которых мне сразу

стало как-то хорошо и радостно. «Ирина, вы на меня сердитесь?» — «За что?» — «Ну, а вдруг за что-нибудь сердитесь?» — «Нет». — «И я нет, правда, хорошо. Ведь я уеду...»

Вася Чернитенко был очень вежлив и корректен, два раза приглашал меня, очень просто держался. Андрюша танцевал только с Марией Васильевной. В большом антракте мы опять ходили с Мимой. И вдруг страшно захотелось посмотреть, что сейчас делает Вася? Мы вернулись в зал и сели около Мамочки. Подошел Вася и начал с ней говорить. «А знаете, Мима, здесь душно, идемте на воздух». Это была маленькая демонстрация, и мне бы очень хотелось, чтобы он ее заметил.

Многие уже ушли, Мамочка тоже ушла, а меня убедили остаться. Под конец было очень весело, просто и непринужденно. Любомирский с Завалишиным танцевали «даурскую» «под м<ада>м Улазовскую», очень удачно, потом Семенчук сплясал гопака и т.д. Коля от меня не отходил. Коля, если уходил из оркестра, то подсаживался к Насоновым. Потом мы с Колей и Мимой пошли в гостиную. Вскоре туда пришла с компанией м<ада>м Леммлейн. Ближе всех к ней сидел Андрюша. Она держалась, как всегда с кадетами, очень развязно и вульгарно. Коля сказал тихо: «Знаете, она мне напоминает таких... их в городе много...» Я наблюдала за ней и Андрюшей и поняла, что он увлечен ею, совершенно серьезно и глубоко. Быть может, это не надолго, это чувственно, но он увлекся. Я даже не смогла сердиться на него, до того это мне стало просто и понятно. Было только обидно, что этот славный мальчик, прекрасно сложенный, с красивой походкой и некрасивым, но простым и открытым лицом, стал достоянием Марии Васильевны. Я почувствовала, что я ее ненавижу, мне кажется, что это именно та ненависть, которой только женщина может ненавидеть женщину.

Я пробыла до самого конца. Потом Коля с Мимой пошли меня провожать! Мамочка очень удивилась, что после всех этих историй с Завалишиным Коля провожал меня, а меня это несколько не удивило.

Пришла в четвертом часу возбужденная, слегка взволнованная.

11 октября 1924. Суббота

Думала и написала:

Мне не поднять головы,
Сердце сдавилось под столами.
Боже! Что сделали вы,
Мальчик с глазами зелеными!

Я не хочу укорять,
Я не замучу упреками,
Только тоску вспоминать
Буду ночами глубокими.

В муть моих сереньких дней
Кем вы, насмешливый, призваны?
Сколько бессонных ночей
Горькой тоскою пронизано!

Будут тянуться года
С тихими, душными стонами...
Будьте веселым всегда,
Мальчик с глазами зелеными!

14 октября 1924. Вторник

Сегодня восемь человек из окончивших уехали в Париж. В том числе — Нёня, Сережа Шмельц и Пава. Пава как-то далеко был от меня последнее время, и его мне не жалко. А тех двух — жалко. Едут они устраиваться на завод, впереди нет ничего. В этом отношении мне больше жалко Нёню, он как-то еще совсем мальчик и при этом еще такой худенький, слабенький. Днем они бодрились, были веселы, а на пристани — Вася Чернитенко рассказывал — Сережа Шмельц плакал, прощаясь с товарищами. А мне жалко себя: ведь все-таки уехали близкие мне, одни из тех немногих, которые у нас бывали, которых я ждала. Остальные завтра в два часа уходят на эскадру. Сегодня у нас весь вечер был Вася. Он очень расстроен, грустный, на эскадру ему не хочется, а уехать — денег нет. Он опять стал таким милым мальчиком, как и в прошлом году. Мы сегодня так славно, по-семейному, провели вечер, я думаю, что он этот вечер не скоро забудет. Приходила шумная компания, человек 6, прощаться. Среди них Андрюша Сиднев. Он был очень смущен, все прятался за спину Иванова, а Мамочку несколько раз называл Мария Васильевна. Его все поднимали на смех, и он еще больше конфузился.

Мне грустно, но я пока что не могу себе представить, что все уезжают.

15 сентября 1924. Среда

С утра — суматоха, сдача имущества, взволнованные лица. Около 12 пришел Вася и обедал у нас. Грустный и расстроенный. Потом пришел на приборку форта. Часа в 3 они (выпускники Морского корпуса. — *И.Н.*) должны были строем прийти в Сфаят. Папа-Коля

был на уроке, мы сидели с Мамочкой, потом пришла Елизавета Сергеевна, все жалели их и т.д. Меня раздражали эти разговоры, но я чувствовала, что сама страшно волнуясь. С пением они пришли в Сфаят, адмирал им сказал несколько прочувствованных слов, и они разбежались. К нам пришли Вася Чернитенко, Петрашевич и Тима. Васю назначали на «Корнилов», он говорит, что это самое лучшее. Но был сам не свой, молчал, какой-то задумчивый был. Потом они выстроились во фронт. Кое-кто из дам вышли их провожать. Они строем пошли по дороге. Лица у всех различны. Чернитенко улыбался, а Вася шел с опущенной головой и очень грустный. Пока они шли, шли по шоссе с пением «суженцов», мы убежали по сокращенкам и ждали их внизу. Там же ждал их «оркестр» новой 4-ой роты. Когда они проходили, заиграли марш. Елизавета Сергеевна, Тамара Андреевна и Мария Васильевна — плакали. Дембовский тоже плакал, и все старался надвинуть на глаза панаму. Почему-то было ужасно грустно провожать эту роту. Когда я увидела в строю Васю, он старался не смотреть в эту сторону, я чуть было сама не расплакалась. Кое-как с трудом удержала себя. Если бы он шел веселый, бравировал, острил — мне было бы неприятно, а то, что был такой грустный, — меня примирило со всем. Я поняла, что он привык к нам, любит всех нас, он опять мне стал близким-близким, а в то же время как-то легко и радостно.

17 октября 1924. Пятница

Вчера меня взволновал случайный разговор с Мамочкой на мимозовой дорожке о Васе. «А как у вас, так все и кончилось?» Я уже и не пыталась возражать. «Да, так просто и кончилось». — «И не было у вас никакого разговора?» — «Нет». — «Его очень подняло в моих глазах то, что он не надулся, не корчил из себя обиженного, а именно понял, по существу понял. Мне кажется, что он неловко себя чувствовал у нас в первое время; а теперь — ничего?» — «Ничего». Разговор зашел об Андрюше, сначала: «Знаешь, я теперь видеть не могу Марию Васильевну, мне так противно, что она, старая баба, так противно кокетничает с мальчишками». Разговор о Васе теперь мне не был так неприятен, как раньше. Я не знаю, что знает Мамочка из того, что было между нами, но, во всяком случае, она не знает главного. Она думает, что прекращение наших вечеров наедине нам было очень неприятно, тогда как мы оба вздохнули свободно. Ведь наши жуткие сцены молчания были в тягость нам обоим, а такие поцелуи и ласки были «от скуки» или вызывались сильным влечением — но только с моей стороны. Все дело в том, что я его любила, а он меня — нет, этого-то Мамочка

никак не учитывает. А положение, когда женщина вешается на шею мужчине, — всегда бывает очень глупым.

На камбузе остались работать четверо: Краковской, Головченко, Леньков и Семенов; Таутер остался при лазарете. С ним я завела дружбу и пока что — веселую. Отношения простые, сегодня, напр<имер>, мне нужно было идти в город, я прямо пошла к камбузникам и спросила, кто свободен, и попросила Володю пойти со мной. А вечером он меня позвал к себе играть в карты. Мы дурили и смеялись, как можно только в кругу молодежи и притом — живущей не в общем бараке.

19 октября 1924. Воскресенье

Все смотрю на белую дорогу,
Не могу поднять молящих глаз.
Пусть не раз он был моей тревогой
И меня обманывал не раз!

С каждым днем — все сумрачней и старше,
Не найду заветную тетрадь...
Верно мне, зеленоглазый мальчик,
Никогда счастливой не бывать.

Недавно прочла в «Новостях» мою «Балладу о двадцатом годе»; в печати выглядит недурно, но, как назло, в конце пропущено четыре строчки и закончено ни к селу ни к городу, страшно досадно.

Вчера получила М. Волошина «Демоны глухонемые» и «К синей звезде» Гумилева. Гумилев мне не понравился, другие сборники — лучше, а Волошин захватил.

Я не пишу стихов в синей тетрадке — уже три недели, и это мне неприятно.

Опять всю ночь я думала о Васе,
О мальчике с зелеными глазами,
Мотаясь на соломенном матрасе
Под штопольными простынями.

А он, на чьих губах всегда насмешка,
В чьей голове одни пустые бредни,
Ушел, совсем ушел, как сон последний,
Походкой твердой и поспешной.

На что ему моих стихов тревога?
А мне на что обидных шуток стрелы?
Но жду, все жду на выющейся дороге —
Фигуру в белом.

A mes amis*

Этот год мне украсил мальчик,
Веселый-дерзкий-зеленоглазый,
С каждым днем уходя все дальше
От моих веселых фантазий.
Был еще один — тоже Вася —
Черноглазый, ловкий и гибкий,
Тоже часть моих дней украсил
Зажигающей смех улыбкой.
Был один — на других непохожий,
С глазами правдивыми мальчик,
И всегда спокойный Сережа,
Мима, резкий, как детский мячик.
Еще — застенчивый и молчаливый,
Голубоглазый Андрюша,
Что вошел походкой красивой
В мою комнату и в мою душу.
Но — безумная и шальная —
В странной комнате с портретом Блока
Оставалась всегда одна я,
Как и теперь, когда те — далёко.

Нет, хороши стихи Гумилева, дивно хороши!

22 октября 1924. Среда

Сегодня отправила два письма, одно в редакцию «Эоса», другое — в «Студенческие годы». Послала кое-что из своих стихов и наиглупейшие препроводительные письма. А в конце концов поторопилась запечатать и все перепутала: то, что хотела послать в «Студенческие годы», отправила в «Эос». Вообще, что-то глупо. Но это — первый опыт, первые шаги в настоящей жизни.

Сейчас больше ничего не остается, как лечь спать. Вечером читала Джека Лондона «Мартин Иден», и эта вещь создала мне настроение, которое уже ничто не могло разрушить.

24 октября 1924. Пятница

Чем я хуже других? Неужели я так уродлива и не интересна? Почему около меня никого нет? Говорят, зависть — нехорошее

* «Моим друзьям» (фр.).

чувство, а я завидую. Всем завидую, кто не один, у кого есть близкий человек. А ведь я совсем, совсем одна. Все как-то шарахаются от меня, игнорируют, не замечают. Когда я была поменьше, мысли у меня были такие возвышенные, то о патриотизме вопила, то мировые вопросы решала, — это и по дневнику можно видеть. Как это и ни было глупо, во всяком случае, я не была мелочной. А теперь! Должно быть, я действительно так измельчала, омещанилась, что ни одна серьезная мысль не идет в голову. А Мамочка и до сих пор считает меня недюжинной натурой, думает, что я выше всех здесь. Может быть, это и правда? Нет, едва ли. Я сама стала такая же ординарная, как и все. Но, если я такая же, как и все, тогда почему же все так отшатываются от меня? Единственное, что меня удерживает от окончательного падения, — это мои стихи. Именно то, что я сама создаю.

Я пишу «падение», но разве я так думаю? Разве у меня есть какой-нибудь намек на «раскаяние» за историю с Васей? Разве я не хочу иметь этих переживаний?

27 октября 1924. Понедельник

В субботу к нам пришел Вася Чернитенко и пробыл сутки. На «Корнилове» они устроились очень хорошо, но все же он думает при первой возможности ехать на работы.

Сейчас была у камбузников. С тех пор мы не собирались ни разу. Назавтра уговорились, что они придут ко мне, с ними хоть село.

Взяла в библиотеке «Историю древней философии» Трубецкого. Хочу серьезно заняться философией. Сейчас собираюсь кончить Дёме письмо.

А хочется мне, чтобы Франция скорей признала большевиков!

30 октября 1924. Четверг

Франция признала большевиков. Вчера это было в Тунисской газете. Сегодня на кораблях в последний раз был спущен Андреевский флаг. Больше он не поднимется. Но днем все было еще спокойно. А вечером с «Корнилова» явился Скрипников с запиской от старшего офицера, где тот просит срочно дать переэкзаменовку, так как каждую минуту можно ждать ликвидации. Он пришел уже без погон. Говорят, что весь личный состав эскадры будет списан в лагерь в двух верстах от Фервилля. На эскадре паника. Начинается она и у нас. Настроение такое, как четыре года тому назад — в момент объявления крымской эвакуации. Нервное и тревожное. Что-то будет?

А Папа-Коля получил сегодня письмо от Постникова из «Архива русской эмиграции», где тот пишет, что вопрос о его назначении еще не решен и на днях будет снова поднят в министерстве.

До января-то мы, наверное, просуществуем, но что будет дальше?

2 ноября 1924. Воскресенье

Понемногу все утихомирилось. Говорят уже не о «признании», а о «выборах в Англии». В субботу был Петрашевич и говорит, что настроение на подлодках и миноносцах очень бодрое. Французы предлагают всем желающим бесплатный проезд до Франции, и штаб дает еще по сто франков. Если бы мне предложили такие условия, я бы, кажется, поехала. Да только, пожалуй, придется и без таких условий ехать. Я ничего не боюсь. Я совсем не рада, что опять все так тихо и спокойно. Только было началось что-то интересное и уже кончилось. Одно утешение, что весной уже наверняка конец.

Последнее время очень много работаю — чиню бушлаты.

9 ноября 1924. Воскресенье

Все гардемарины оделись в «штатское»: голландка навывпуск с поясом и с расстегнутым воротником, марсофлотские брюки с клошами, танки, а на голове капитанка, у всех вид апаша.

12 ноября 1924. Среда

Что было за эти дни?

Воскресенье. Вечером пришел Вася Чернитенко. Притащил с собой стул, который Грибков свёз с «Алексеева». Настоящий, хороший, обитый кожей стул. Нужно же было тащить его. Живет он уже в Сиди-Ахмед, бесплатный проезд до Бизерты, жить там как будто и ничего, но тоска темная. Собирается через неделю или через две уехать во Францию. В субботу же получили письмо от Антонины Ивановны, она уже в Довилле. Ее сын, Женя, предлагает в случае чего Папе-Коле помочь устроиться. Папа-Коля написал ему о Васе и просил помочь. Мне бы очень хотелось, чтобы он поехал в Довилль.

Понедельник. С утра позвала Васю в город. Было дело: в прошлый понедельник я снялась в фотографии Karbenty к Мамочкиным именинам. Обещал приготовить в субботу. Сказала дома, что «иду за пуговицами», а карточки не были готовы. Мы ни слова никому не сказали и пошли. Купила там еще себе плетёный портфель,

очень оригинальный, местный, экзотический. Бошкович и Любомирский приходили прощаться.

Вторник. Подарила Мамочке карточку и коробку пудры. После обеда мы вчетвером пошли в город. Сидели на вокзальной площади в кафе и пили всякую всячину. За соседним столиком сидел Беренс, командующий несуществующим флотом, и Тихменев. Жалкие какие-то оба... Потом пошли на пристань. Уезжало семь человек гардемаринов, в том числе Андрюша Сиднев. Он был далёк от нас в последнее время, сначала Мария Васильевна, потом Насонова. А тут вдруг мне стало грустно. Были трое, которых я выделила. К Чернитенко я скоро охладела, к Сидневу тоже, но так в последний момент мне стало горько и обидно. Я была ему совершенно не интересна, не то что Насонова. С одной стороны, это меня задевало, с другой, было досадно на себя. Потом вообще картина отъезда скверно действует на нервы. Я третий раз была на пристани, и каждый раз одно и то же чувство, скорее всего — зависть. Уехать хочется страшно, безумно! Когда мы ехали на извозчике домой — и я увидела на море яркие огни парохода — я чуть не расплакалась. Потом глупые мысли лезли в голову. Вот, думаю — было бы у меня 300 фр<анков>, поехала бы я в Париж, стала бы шататься по городу и у всех прохожих спрашивать, не нужно ли им горничную, прачку, няньку, что угодно! Это было бы интересно, по крайней мере, действительно, «начинаешь жизнь», а так...

18 ноября 1924. Вторник

Такая страшная тоска и такие непоправимо скучные дни, что я решила на решительное средство: буду писать поэму одиночества под названием: «Дни и ночи», хотя, может быть, и... Плана нет никакого. Буду писать о себе, но в третьем лице, а там — что Бог на душу положит.

Я теперь настолько расхандрилась, что эта хандра перешла уже в болезнь. Мамочка с Папой-Колей испугались и действительно смотрят на меня как на больную.

21 ноября 1924. Пятница

Опять давно не писала дневника. Как-то не до того было. Четыре, нет, пять вещей немножко вывели меня из колеи.

1) Шура Петрашевич. Мы были очень мало знакомы. Он стал бывать у нас уже гардемаринком. Вечером, накануне «шестого», мы возвращались из церкви, было очень темно, холодно и сыро. Мы шли компанией пожилых лиц, конечно. Потом вышло как-то само

собой, что Шура взял меня под руку и мы ушли вперед. Мы только шли под руку, инстинктивно прижимаясь друг к другу, т.е. шли по крутым и каменистым тропинкам, но эта чисто физическая близость действовала странно. Весь вечер мы просидели вдвоем у меня в комнате, хорошо поговорили о «теории и практике», мне было весело и нравилось задевать его. Я поняла, что за дорогу из Кебира превратилась для него в нечто иное. Мне это нравилось. На другой день мы сидели на диване под картой Северной Африки, невольно настолько близко, что я почти касалась его лица. И больше — ничего, только какие-то старые ощущения. В четверг я его не видела, а сегодня простилась с ним долгим и крепким рукопожатием. Завтра он уезжает в Бонн, без всякого места и друзей, имея сто франков в кармане, много смелости и какой-то надрывной, болезненной удалости. Он уже начинал увлекаться. Еще немного и я бы добилась от него того, что по какому-то недоразумению называют любовью. Да, этого нетрудно добиться!

2) «Шестое». Этот совершенно неуместный и несвоевременный праздник! Но, быть может, именно благодаря своей неуместности он прошел тихо и хорошо. Только скучно. Все гардемарины говорили, что это прямо похороны, а не праздник. Действительно, настроение не такое. Вечером был бал. Посланы автомобилем на «Георгий». Мне идти не хотелось, никого из знакомых не осталось, а сидеть в уголочке с Чеховичем меня совсем не прельщало. Я не пошла и легла спать. Под музыку хорошо спалось!

3) Накануне «шестого» я получила чек на 72 фр<анка> из «Последних новостей» и письмо из «Студенческих годов». Очень милое письмо. Оно у меня, ну, в общем — стихи «все же настолько милы и грамотны, что будут напечатаны вне очереди в следующем номере». Это, конечно, приятно, и теперь мне досадно, что там такие скверные стихи. А в «Новостях» напечатана «Россия». Я была против этого: идея, может быть, и хороша, а техника никуда не годится. Жаль, что мои лучшие стихи настолько автобиографичны и локальны, что не могут быть поняты вне Сфаята. А всякую дрянь шлешь — и печатают.

4) Сегодня проделывалась дверь в мою комнату, а наружная забилась наглухо. Моей автономии конец, да и не нужно ее теперь. Как странно: такой пустяк, как дверь, а будь она открыта год тому назад — все, вся моя жизнь была бы не та. Кто знает — лучше или хуже вышло? По-моему — всему свое время, и я рада, что зимой не было сообщения с той комнатой: иначе бы я никогда не выросла... А это событие естественно выбило меня из колеи. Такая пыль!

5) Во вторник Вася уезжает в Париж. Не терпится ему в своем Сиди-Ахмеде. Я его понимаю и одобряю. Грустно, больше уж по сентиментальности, а вообще все обстоит хорошо. Когда я впервые узнала об этом от Петрашевича, мне стало так тоскливо, потом успокоилась, решила проделать дверь и хоть в коллеж поступить, все равно! Весной встретимся в Париже. Вчера получила письмо от Сережи. Тяжело и трудно ему пока. Завтра в Бизерту приезжает комиссия от большевиков для осмотра флота. Об этом напишу завтра. По этому поводу у нас было много прений и волнений.

3 декабря 1924. Среда

Да, много произошло за это время, начиная с того, что я с самого прошлого понедельника пролежала в постели: у меня был грипп. Начала я захварывать еще в воскресенье, когда у нас был Вася Чернитенко. Мы все собирались идти его провожать. В понедельник днем он ушел. А вечером, когда я уже лежала с большой температурой, случайно была почта и пришло письмо из Довилля, где Столяров, не обещая окончательно найти работу, но обещал приложить все усилия. На пристани Папа-Коля передал ему это письмо, тот был очень доволен и благодарен и решил ехать в Довилль, если дорогой его не переубедят. Вот он и уехал. Тем временем в Сфаяте было много больных. Очень скверно было положение Анны Петровны Марковой. В среду вечером ее отвезли в госпиталь, и ночью она умерла. В пятницу хоронили.

В пятницу пришло из Бонна письмо и открытка от Шуры Петрашевича. Веселое и шалое, как он сам. Лежа, отвечала ему и Сереже. Еще новость: «Георгий» ликвидируют. Их предупредили, что, вероятнее всего, это будет через две недели, но чтобы они были всегда готовы эвакуироваться в 24 часа.

Со вчерашним транспортом уехали в Париж: Головченко, Леньков и Таутер. Скоро уедет в Тунис Мима. Не останется уже совсем никого. Положение Корпуса все еще неопределенно. По всей вероятности, просуществуем до апреля или до мая.

5 декабря 1924. Пятница

Умер Коля Платто. У него грипп перешел в воспаление легких. Умер тихо. Как ужасно, что умер молодой.

Мима уехал в Тунис. Последний.

Получено письмо от Васи из Довилля. Ничего определенного, у Столяровых еще не был. А в Париже все сидят без работы.

А у меня состояние такое, как будто моя очередь на кладбище.

Или я еще не совсем поправилась, или я схожу с ума, или просто не знаю что. Страшно, когда умирают в ранней молодости. Вообще, страшно, когда умирают. Хотя и Анна Петровна, и Коля для меня не умерли, а просто ушли, уехали. Как ни стыдно, а я рада, что болезнь избавила меня от похорон и панихид.

А из России все нет писем!

6 декабря 1924. Суббота

Не могу не пожаловаться на то, что у меня нет своей комнаты, что с тех пор как проломили дверь, кончилась моя самостоятельность. Ко мне в комнату заходят когда угодно, постоянно открыта занавеска и как-то неловко ее задергивать, а между тем я ничего не могу делать, когда знаю, что на меня смотрят, что каждую минуту могут войти и посмотреть, что я делаю. Раньше, бывало, Мамочка крикнет из той комнаты: «Что ты делаешь?» — ответишь: «Ничего» и конец, а теперь даже стихотворения нельзя написать, чтобы это не было известно. А уж читать свои стихи я могу только сейчас, когда там легли спать. Я считаю это некоторой слабостью и не могу, чтобы кто-нибудь застал меня за чтением моих стихов. Вообще, у меня хоть немного есть свой характер и свои привычки, и мне неприятно, когда каждый шаг будет контролироваться. Да, пусть так и уютнее, и теплее, но я не раз вспоминаю свою комнату, где было столько пережито.

8 декабря 1924. Понедельник

Мамочка больна. Теперь, слава Богу, лучше. Только, кажется, Папа-Коля захварывает.

А я хандрю, а Мамочку это страшно волнует.

13 декабря 1924. Суббота

Получила три письма: 1) От Сергея Сергеевича; 2) Открытка из редакции «Эос». Стихи будут напечатаны в №4, после Рождества; 3) От Наташи (Пашковской. — И.Н.). Слава Богу, все благополучно. Милая моя, славная Наташа! Она тоже начинает «печататься» и зачисляется во «Всероссийский союз поэтов и писателей». Она талантливее меня, и я буду рада, если она выдвинется.

Не могу чего-то писать. А какой в Наташиных стихах надрыв!

17 декабря 1924. Среда

Вчерашний день — есть что записать.

Во-первых, пришла я днем к Шурёнке Марковой. Девочка прихварывает. Ник<олая> Македоновича нет дома, а ей должно

быть страшно тоскливо, без мамы. Пошла к ней. У нее сидит Коля Завалишин и рисует ей бумажных кукол, сначала было весело, я всячески старалась развлечь Шурёнку, балагурила, шутила с Колей, потом Коля разошелся, начал по обыкновению дурить, перебирать все вещи, приставать с насмешками ко мне и Шуре. Шурёна рассердилась: «Я пойду и скажу Александре Михайловне», и вышла. Я сидела на кровати. Он подошел ко мне, взял меня за плечи, с перекошенным страшным лицом и блестящими глазами, повалил меня на кровать и начал целовать. Я пробовала сопротивляться — куда, ведь он сильнее меня. Мне казалось, что я могу его убить, но я только дала ему в физиономию. Не помню, как пришла Шурёнка и что потом было, я сознавала только, что меня оскорбили и оскорбили жестоко. Я сейчас же ушла и рассказала все Мамочке. Какое волнение поднялось дома, так и передать нельзя. Кончилось тем, что Мамочка вызвала Александру Михайловну и поговорила с ней, а Папа-Коля видел Колю. Тот не отпирался, был очень смущен: «Я... я не соображал». — «Ну, а что бы вы сказали на моем месте?» — «Я бы сказал, что я подлец!» — «Вот это я вам и говорю», и посоветовал ему написать мне письмо. На этом дело и кончилось. Но как странно: когда в прошлом году Сергей Сергеевич мне поцеловал руку, я не могла ему так ответить, а только страшно волновалась, и это волнение продолжалось несколько дней, а теперь после этой безобразной сцены я успокоилась гораздо скорее Мамочки. Как-то чувства притупляются, а может быть, и нравственность.

А вечером были в театре. Сюда приехал русский бродячий театр «Золотой Петушок». Ставили миниатюры, шаржи, очень изящно, ну, словом, — великолепно! Хорошие голоса, красивая постановка, стильно, изящные костюмы, ну — восторг! С громадным удовольствием пошла бы и сегодня, подбивала молодежь, да с этой публикой каши не сваришь, то «занят», то «некогда», то «дождь», то «посмотрим». Кажется, все-таки несколько гардемаринов собираются, я думаю, что Щуров мне скажет, а не скажет, так это будет свинство.

18 декабря 1924. Четверг

Вчера ходила со Щуровым в театр. Встретили там Васю Чернитенко, он тоже во второй раз. Сначала он влез на балкон с другой стороны, потом увидел нас, раскланялся и пришел на нашу сторону. С ним были два русских: один Касуленко, другого я не знаю; и жена этого другого, против ожидания, очень милая, молоденькая и веселая. Вася тоже был веселый, все звал меня остаться у него

ночевать, а не идти по дождю. Компанией я была вполне довольна, но каков же был мой ужас, когда за своей спиной я увидела самого Завалишина и Колю. Но все обошлось благополучно; мы до самого конца не узнали друг друга. Как только зажигали свет, я поворачивалась к нему спиной и начинала говорить с Васей.

Несколько номеров было превосходных. Больше всего мне понравились «Уличный певец», «Cadrille Russe»*, «Danse moderne»**, «Vous dansez, marquise»***. Два последних номера были удивительно изящны. «Русская кадрили» — парни и девки с припевами по-русски, лубочно и очень стильно. А «Уличный певец» сначала смешно, весь театр хохочет, а под конец, когда девочка в униженной позе, с молящими глазами протягивает руку с шапкой, шарманка затихает, старуха со стариком тоже протягивают руки и застывают живой картиной, весь театр замирает в каком-то оцепенении. Сильная картина. Выполнено художественно, и эта сцена прямо потрясла меня. Очень хорошо еще Ира Казим пела русского «Соловья».

От Васи все нет писем. Даже не писал — в Довилле он или вернулся в Париж. Я уже беспокоюсь, не случилось ли с ним чего. Он должен был писать, ведь последнее время он полюбил всех нас, а писать-то уж обещал. Володя тоже не пишет.

22 декабря 1924. Понедельник

С прошлой почтой было письмо от Васи. Он в Париже, живет в «Hôtel S^{te} Geneviève», где и все. Сидит без работы, что-то будто и наклеывается, но он сомневается. Столяров его устроить не мог в Довилле, так как он не знает языка. Что-то странно и не совсем понятно. Доволен хоть тем, что живет с товарищами.

С прошлой почтой получила письмо из Ростова от некой Валентины Александровны Абрамович. Она слышала обо мне от Наташи, у нее узнала адрес и написала весьма вычурное письмо. Ничего. Это с первоначалу так. Завтра отошлю ей ответ.

С той же почтой получила две открытки от Мимы. Мапочка чего-то недовольна: «Вихлястое какое-то письмо», «как-то и отвечать не хочется». Но письмо, как и все его письма; я ему ответила в таком же духе и тоже открыткой. Давно я ждала его письма. Он всегда так, и когда был кадетом: редко заходил, мало говорил, а как попадал в лазарет или в карцер, так прямо заваливал письмами. Я была уверена, что он напишет из Туниса.

И Миме, и Абрамович я ответила. Осталось только написать

* «Русская кадрили» (фр.).

** «Современный танец» (фр.).

*** «Потанцуем, маркиза» (фр.).

Васе. И не могу. Как-то не могу найти ту линию, которую можно было бы проводить в письмах. Что я ему напишу? Я никогда не ставлю себе этого вопроса, когда пишу, напр<имер>, Миме, даже Шуре Петрашевичу, а тут почему-то сильно затрудняюсь. Ну что я ему напишу? У нас давно уже не было темы для разговора. И никак не подберешь тут искусственного тона: он слишком сильно бросится в глаза, ведь мы знаем друг друга без масок.

25 декабря 1924. Четверг

Вот и написала во вторник вечером. Долго думала и написала прямо, что мне трудно писать ему, что у нас не было определенных отношений, и прямо поставила ему вопрос: что я для него? Девчонка, которую он так игнорировал в последнее время, или человек, к которому он может относиться с уважением. Представляю, как он будет реагировать: наморщится, выругается, поднимет брови и буркнет: «Вот же, действительно», это я тоже ему написала. Высказала вообще все, что ни за что не сказала бы. Потом долго колебалась, посылать или нет. Раздумывала и колебалась очень долго, до тех пор пока не отнесла письмо Леммлейну. Пока еще не жалею, но боюсь, что придется пожалеть. Весь день вчера по этому поводу было кислое настроение. Вечером немножко разошлось. Во-первых, получила письмо от Петрашевича, а во-вторых — опять после двух лет пошла на спевку.

Положение Корпуса до сих пор не выяснено, хоть, по-видимому, до весны мы просуществуем. Не знаю — радоваться или нет? Конечно, ехать зимой очень и очень скверно и безнадежно, но, с другой стороны, ждать еще пять месяцев — я не знаю, как их переживу. И так тихо идет время и ничем-то его не заполнишь. Ну, вот я опять расхандрилась. Когда с Папой-Колей ходила гулять — такая хорошая погода, тепло, ярко, солнышко, цветы и так хорошо и просто было на душе, а теперь, как услышала, что сейчас только 2½ часа, так все насмарку пошло. Боже, как безнадежно тянется время!

30 декабря 1924. Вторник

Сегодня годовщина того дня, когда все «началось». Мне хочется сказать словами Ахматовой:

«Я этот день люблю и праздную».

И в самом деле, я его люблю. Только с этого дня началось и другое: разлад в семье. Сегодня мы опять поссорились с Мамочкой, конечно, из-за пустяка, и опять я почувствовала, что становлюсь все дальше, все больше и больше чужой. Вася тут был ни при чем, а только толчком. Ну да это все равно. Итак, я этот день все еще люблю и по-своему праздную.

Написала сегодня одно глупейшее стихотворение и его вариант, из «нецензурных». Если бы они были настоящие, т.е. искренние, я бы написала их просто в дневнике, а так как они уж слишком вымышлены, то я долго не знала, куда их сунуть. Такой папки у меня еще не существует. Мотив такой: через полгода в Париже я встретилась с Васей и опять полюбила его (это мои глупые и вредные мысли). А сами стихи мне все-таки нравятся.

Бери меня, целуй, замучай!
Смотри в глаза, смотри смелей!
О, позабудь тот странный случай
Уже давно минувших дней.

Раздень меня, что хочешь делай!
Я для тебя добра и зла,
Я Душу вырвала, из тела,
Безумьем совесть залила.

Лишь полюби меня раздетой,
Униженной и смятой тут.
А после не глумись над этой,
Над самой лучшей из минут.

(Вариант)

Бери меня. Целуй. Замучай.
Истомой пряной напои.
Ты не забыл тот странный случай
И слёзы тихие мои?

Хочу греха. Тебя хочу я,
Ведь в жизни скучно и темно.
Душа в тоске и поцелуях
Уж явно просится на дно.

Люби меня. Дай муки грешной.
Любовь — жестокая борьба.
И вот опять скользит насмешка
На плотно сдавленных губах.

Зачем? Неужто терпкой мукой
Ты снова напоишь меня,
Что вечно помнила в разлуке
Неяркий свет седого дня.

1 января 1925. (Четверг. — И.Н.)

Встречали Новый Год втроем и, кажется, одни во всем Сфаяте.
У нас на этот раз был не традиционный глинтвейн, а бутылка

шампанского, и не сосиски, а свиные котлеты. Еле дотянули до двенадцати и скисли. Я хоть никогда не ложусь раньше, а тут, как назло, спать захотелось. Чокнулись, расцеловались, и почему-то сделалось страшно грустно. Невозможно грустно! Сегодня никакого праздничного настроения, хотя и говорю, что самый большой праздник в году — это Новый Год и день рожденья. Весь день проболталась без дела, и так и не собралась написать письмо Миме.

Папа-Коля хандрит. Новиков сегодня показал ему новый подбородник на скрипку, и он совсем расстроился, уж очень хочется ему купить скрипку. Я всячески уговариваю его съездить в Тунис и купить, Мамочка тоже, хотя, по-моему, она не совсем этому сочувствует. А я бы, кажется, не знаю от чего отказалась, только бы у Папы-Коли была скрипка. А он страшно хандрит. Пишет дневник, как сам говорит — «все о смерти», и только настраивает себя на такой лад. Ужасно мне жалко его. Ему страшнее думать о будущем, чем мне.

А пока я о будущем не думаю. Что будет, то — будет!

4 января 1925. Воскресенье

Поэтические ранги

1) Талантливый ребенок. Ребенок, который пишет стишки. Число таких поэтов бесконечно.

$$x = n.$$

2) Подающий надежды. Юноша, кое-кому читающий свои стихи.

$$x = n = a.$$

3) Начинающий поэт. Тот, чьи стихи появляются в журналах.

$$x = n - (a + b) = n - a - b.$$

4) Молодой поэт. Тот, кто выпустит первую книгу стихов.

$$x = n - (a + 2b) = n - a - 2b.$$

5) Поэт. Издавший вторую книгу стихов.

$$x = n - (a + 2b + c) = n - a - 2b - c.$$

Генералитет

1) *Известный поэт.* Чин достигается количеством книг и критикой.

$$y = n - (a + 2b + c).$$

2) *Большой поэт.* Чин дается часто после смерти. Достигается обилием критических статей и лекций.

$$y = n - 3(a + 2b + c).$$

3) *Мировой поэт*. Чин дается не ранее пятидесяти лет со дня смерти. Достигается толстыми фолиантами, переводами на иностранные языки и т.д.

$1 < y < 10$.

5 января 1925. Понедельник

В прошлую почту получила письмо от тети Нины, от Нины и Игоря. Такие хорошие, хорошие письма! Два дня отвечала. Нина выходит замуж за какого-то датчанина, как-то странно, не могу себе представить ее женщиной, женой. Не могу представить. Очень милое письмо от Игоря. Да все хорошие!

12 января 1925. Понедельник

Опять долго не писала. Постараюсь хоть приблизительно перебрать все то, что произошло за это время.

Рождество. В сочельник суэта, суматоха, все злые, а я больше всех. Для чего-то затеяна генеральная уборка, а у меня насморк, вечером петь надо и т.д. Кое-как этот несчастный день дотянулся до вечера. В 5 часов всенощная, потом получили на камбузе «харч» и начали украшать ёлочку. У нас была маленькая, но очень изящная ёлочка на столе. Пришел Дима Николаев, показывал свои фотографии, потом зажгли ёлочку. Делать было нечего, сидели и ели апельсины. Когда свечки догорели, зажгли опять лампы и настроение опять стало самым ультрабудничным. На первый день — еще хуже. Делать нечего, тоска тёмная, если бы у меня не было насморка, то с удовольствием бы начала стирку. Ужасно скучно прошел этот день. К Насоновым приехали гардемарины. У них хоть чего-то ждали, хоть этот приезд выделил 7-е января из числа других дней. Не знаю, завидую я им или нет? Я бы хотела, чтобы к нам приехали наши близкие, письма из Иркутска далеко перенесли мое воображение. Словно из какого-то далёкого странствия я опять вернулась домой.

В пятницу получили очень большую почту. Первое, за что я схватилась, это был журнал «Студенческие годы». Стихи напечатаны хорошо, красиво, опечаток нет, и не так-то уж они плохи по сравнению с другими. И я уже жалею, что послала туда такую, в сущности, ерунду. Поэтому будет большое свинство, если в «Своими путями» меня не примут. Ведь туда я послала все-таки лучшие стихи. Потом распечатала письмо от Дёмы. Тоже перенесло меня куда-то далеко. Потом получили письмо от Сергея Сергеевича (он женится), от Петрашевича, от Мимы открытку. Мамочка среди других — и от Антонины Ивановны, где та писала кое-что о Васе,

когда он был в Довилле. Я боялась получить письмо от Васи, он, по-видимому, тоже боится и не хочет отвечать на мое письмо, поэтому и не пишет совсем.

Глядя на журнал и на письма от родных и близких, я была счастлива, я чувствовала себя настоящим человеком, а не «сфаятской барышней». Я почувствовала в себе какую-то силу, мне захотелось сказать и сделать что-нибудь дерзкое по отношению к Сфаяту, просто плюнуть в него и сказать, что я не такая! И снова почувствовала, что я вернулась домой из дальних странствий. Может быть, действительно я вернулась в семью из своих ультраличных переживаний?

Ну ладно. В субботу была ёлка. Думала, что будет тоска тёмная, и не хотела идти. Но Мамочка уредила, что народу здорово мало. Пошла. Сразу же подцепила пятиротников и с ними просидела весь вечер. Взяла себя в руки и начала развлекать их и развешивать. Удалось, и время провели славно. Вначале скучно было, бегали вокруг ёлки, я воспользовалась тем, что нога болит, и сидела, избавила себя и других от такого удовольствия. Когда начались танцы, я все убеждала мальчиков танцевать. И уредила. Как они волновались перед танцами. Киташевский, напр<имер>, никак не решался пригласить меня, а когда пошла с Годацким, он очень растерялся и меня приглашал: «Годацкий — потом мне». Очень скучала Ирина Насонова, никого-то не было около нее, а она ведь привыкла к ухаживаниям. Я позвала ее к себе и заставляла Годацкого танцевать с ней.

Вчера я позвала этих же мальчишек идти за нарциссами. С нами ходил и Бимс. Прелестная собачонка, обыкновенно он меня боится и лает издали, а тут совсем привык и лизался. Он страшно устал, и мы его уже тащили на руках. А дома он, пока мы пили кофе, спал, как маленький ребенок. Ах, славный пёсик!

Вечером эти мальчишки позвали меня идти в кинематограф. Ходила вся пятая рота (8 человек), кроме Бориса Николаева. Тот, хоть и страшный любитель кино, но такой дикарь, что со мной не пошел.

Вечер.

Сейчас я расстроена. Даже не знаю точно — чем. Папа-Коля получил письмо от Васи, очень коротенькое, официальное. Это меня расстроило. Хотя я сегодня решила твердо наплевать на всех, но это меня расстроило. Сейчас перечитала кое-что из прошлогоднего дневника и опять разволновалась, почувствовала, что не вернулась

еще домой, в семью я не могу вернуться, слишком сильны еще старые образы.

Там, в той комнате, уже играют «разгонный», значит, много времени прошло с почты. А я только одно глупейшее письмо Дёме написала и больше ничего. Опять расхандрилась.

14 января 1925. Среда

В Корпусе встречали Новый Год. Была всенощная и обедня. В церковь я не пошла «принципиально» и очень собой довольна. А потом Мамочка пригласила всю пятую и седьмую роту к нам пить шоколад. Я поздравила Володю Доманского с именинником, кажется, я одна об этом вспомнила. Время провели славно.

Да. Еще одно событие из вчерашнего дня. Папа-Коля пошел на камбуз за ужином, поскользнулся на ватер-вейсе и так упал, что его донесли. «Вот, Николай Николаевич нечаянно упал», — так «доложил» Мика Матвеев. Так все благополучно, но страшно нервное состояние у него и голова болит. Одним словом — на положении больного.

Сегодня в два часа в кают-компании было общее поздравление. Ну об этом и говорить нечего.

Потом с несколькими пятиротниками мы ходили гулять в Кебир, лазали по укреплениям в сосновом леске, по камням и т.д. И мне вдруг стало ужасно жаль, что я уже не могу так лазать, что я «выросла», захотелось снова быть сорванцом-девчонкой, как в гимназии. И я была уже недалеко от того, чтобы самой сесть на ишака, но мне так нравится моя роль в Сфяте и так хочется выдержать ее до конца, что я поправила волосы и стала опять спокойной и холодной. Боже, что бы сказали бы гимназические подруги, если бы увидели меня в такой роли. А с другой стороны, что бы сказал Сфят, если бы я стала играть в «разбойников». Может быть, в будущем я еще вернусь к этим милым и веселым занятиям, а пока мне хочется твердо выдержать мою роль.

Вчера Мамочка затащила меня в кают-компанию. Были дамы и кое-кто из кадет. Мамочку просили мелодекламировать, а я всячески удерживала ее: такую ерунду, да еще с аккомпанементом Ел<изавета> Сергеевны, ведь это ронять и искусство, и себя. Тоска была темная и грустно. Начали танцевать. Я долго выдерживала роль, как и на елке, решила взять другую и начала веселить себя и других. Я танцевала и играла с таким азартом, что было весело. Теперь я довольна собой, и все-таки досадно. Мелкая деталь: танцевала с Володей Русианом. Славный мальчик, хороший ученик, страшный черносотенец. Вот все, что я о нем знаю. Знакома

с ним совсем мало, только кланяемся. И вот я почувствовала, что мне ничего не стоит им увлечься. Это я поняла из того, что охотнее всего танцевала с ним и во время игры искала глазами его, совершенно невольно. Это, конечно, настолько глупо и смешно, что и писать не стоит, мне только хочется заметить, как во мне натянута чувственная струна, как легко ее заставить дрожать и, главное, — как я хочу этого дрожания! Что поделаешь, любить хочу — но только не здесь! Здесь — ни за что! Хватит с меня. Здесь буду твердо и неуклонно играть свою роль.

15 января 1925. Четверг

Письмо от Наташи. Такое, что я ревела. Как будто я сама его писала. Все похоже. И какая я несчастная и маленькая.

21 января 1925. Среда

Опять давно не писала дневник и зря. Было что записать из своих мыслей и настроений. Мысли скверные, настроения — еще хуже. Из того, что я перечувствовала, скажу только о вчерашнем разговоре с Мамочкой. Мы пошли гулять и, как только дошли до каменоломни, около нее она начала говорить. Этого места я боюсь: все страшные разговоры начинались именно от этой каменоломни. Но разговор не был таким уж тяжелым, как я думала. Не о Васе, во всяком случае. Мамочка говорила: «Мы с Папой-Колей вчера ходили гулять и все время говорили о тебе». Это уже что-то обещает, однако я сказала как можно спокойнее: «Ну и что же?» — «Ну, Папа-Коля говорит, что ты страшная самка, что это во всем в тебе проявляется, что ты увлечешься первым, кто за тобой станет ухаживать». Мне стало как-то смутно. Это я-то самка, я, которая думала быть искренней и оригинальной?! Я, с моей ролью в Сфаяте, я — самка! Я, конечно, ничего не говорила, но про себя не могла не согласиться, так как я человек о себе довольно справедливый, что это так. Не думаю, чтобы я так уж была самкой по натуре, это просто возраст такой, но что сейчас во мне очень силен этот инстинкт, так это так. Мамочка говорит, что в ее время всячески старались это скрыть, а я не скрываю, только и всего, вся и разница. Первая мысль — не показывать стихотворение «Трепет». Я все-таки расстроилась и рассердилась, начала говорить глупости и чистейшую ерунду, только Мамочку до слез расстроила и сама расплакалась. Около мимоз мы примирились, к этому месту мы всегда примираемся, тут всегда крутой разговор преломляется в благоприятную сторону. А все-таки я и придя домой много ревела. Не хочу быть самкой — и только. А любви все-таки ведь я хочу. Но если я действительно найду в

жизни что-нибудь похожее на то, о чем писали в старых книгах, то и любви не надо, жизнь — ярка, широка и интересна. А все-таки я стою в каком-то тупике. Мамочка говорит, что так нельзя жить, как я живу, что нельзя дичиться людей, нужно со всеми, даже с дураками, разговаривать, чтобы выявить себя. Хорошо, согласна, но неужели за четыре каких-нибудь месяца бросать роль, которую я вела уже несколько лет? Или такая перемена в сущности не изменит роли? Не знаю. Но разговаривать тоже не буду. Скорее бы в Париж, там начну совсем-совсем новую жизнь.

Пока решила серьезно и усиленно заняться французским. Достала самоучитель Dessagnes'a и занимаюсь действительно много и только французским. Решила все остальное бросить и действительно бросила.

Вчера получила ответ из редакции «Своими путями». Конечно, жаль, что печатают только одно стихотворение, а не все, но это бы еще ничего, а вот зачем переделывают его? Это уже совершенно лишнее. Мне понравилось только, что редактирует его М.И.Цветаева. Я уже решила, и на этом только успокоилась, что какие бы ни были ее переделки, придерусь и напишу ей письмо. Это не страшно, потому что против моих возражений, возражений автора, все равно никаких аргументов не приведешь. И еще: говорят, что «если она не свободна от иногда весьма существенных недостатков формальных и стилистических...» Намек на критику. А вот из «Эоса» писали: «Благодарим за прекрасные стихи». А ведь в «Своими путями» послала лучшее, какая же, значит, дрянь все то, что печаталось раньше, да и вообще все, что я когда-либо печатала?!

Пишу карандашом, так как таким паршивым пером ничего не напишешь.

24 января 1925. Суббота

Папа-Коля ездил в Тунис и купил себе скрипку. Скрипка старая, с трещиной под грифом, но звук хороший. Доволен, как школьник. Все время играет. Я страшно рада за него. Мамочка потом говорила, что не может слышать скрипки, что в одной маленький комнатке нельзя так играть, что у нее даже зубы болят. На меня музыка действует по-другому: бьет по нервам. Я тоже просто слышать не могу, ухожу к себе и реву. Терпеть не могу себя в таком состоянии, когда плакать хочется.

А состояние скверное. Ужасно скверное. Кажется — из-за стихов. Хочется писать и ничего не получается. И последние мои стихи такая ерунда. И не бросать же? Как ни бросай теперь, все равно не бросишь. Совершенно разочаровалась в себе, перестала верить в

свои силы, а ведь были моменты, когда верила! Нет, не бывать мне поэтом.

Сегодня ровно четыре года, как мы приехали в Сфаят.

25 января 1925. Воскресенье

Татьянин День. Ходили праздновать к итальянцу, там пили мускат. Погода до сих пор стоит великолепная, было жарко в моем костюме.

Папа-Коля целые дни играет. Между прочим, мне хочется подобрать стихи к «Мазурке» Венявского. Как мазурка, она разбивается на строчки. В ней 8 строчек. Не помню, какой размер. Рифмы женские. Главная задача в том, чтобы передать словами мотив. Так как музыкального развития у меня нет и музыку я знаю скверно, то боюсь, что это мне не удастся. Хочу еще написать стихотворение «Собаки», посвященное милой сфаятской пятерке: Чарли, Ятьке, Рынде и Бимсу.

28 января 1925. Среда

Реву, реву и реву весь вечер. Как-то вдруг почувствовала себя жалкой, бесталанной, удивительно неинтересной и пустой.

На Масленице Папа-Коля устраивает концерт, сам будет участвовать, Таусон, Шульгин, Елизавета Сергеевна, даже Новикова хотят притянуть. Мамочку приглашают мелодекламировать; потом танцы и там опять не будет моего участия. Ничего никому я не могу дать. Как-то до сих пор мне казалось, что это только здесь так, что себя берегу для чего-то другого, будущего, а ведь и в будущем ничего не будет и нечего мне беречь. Пустоту берегу. Даже в Париж мне больше не хочется, все равно и там я буду на запятках. С «Мазуркой» билась-билась, и ничего не вышло. Это окончательно подорвало мою веру в себя и в мое будущее.

2 февраля 1925. Понедельник

В пятницу приехали в Сфаят Полетаевы. Я раньше думала, что познакомлюсь ближе с Нюрой, не будет так скучно. Нюра моих лет, миниатюрная, довольно изящная, лицо кукольное, хотя она вовсе не некрасива, как некоторые говорят. Видимо, мудрит с волосами и утопает в космах. Это некрасиво, но ей, вероятно, нравится. Одевается довольно безвкусно, ногти грязные. Держится довольно просто, хотя наивничает. По-моему, она глупенькая. Хороший алыт, мы теперь с ней вместе поем. За ней ухаживает Всеволод Новиков и, по-видимому, не без взаимности. Ну и пусть их шатаются! Мне до них обоих мало дела.

9 февраля 1925. Понедельник

Что произошло за это время? Кажется, ничего. Так же скучно, так же беспросветно.

Сейчас глаза болят от слез. Много плакала. Читала Мамочке последние стихи, в том числе и «Трепет». Она после долгих размышлений сказала: «Да... У тебя сейчас есть только одно желание, оно сильно обнаруживается в тебе». — «Ни одного!» — «Нет. Желание любви». Через несколько секунд я в слезах пришла в свою комнату. Мамочка всячески меня успокаивала, убеждала пить бром, нервничала сама, чуть на довела себя до истерики. О, стихи мои, горе мое! Все это правда, хотя немного уже и отсталая. И что-то могу еще желать? Стихи я люблю больше любви, а ведь больше я ничего и не знаю. Ведь жизнь, ту настоящую жизнь, о которой говорит Мамочка, я знаю только по книгам!

Господи, что будет, что будет дальше?

15 февраля 1925. Воскресенье. Сретение

Мамочка страшно беспокоится за мое здоровье. Сегодня, когда Бологовской был в Сфаяте, она пригласила его ко мне. Выслушав меня, тот сказал, что в легких все благополучно и всё, все мои недомогание — нервные. Прописал мне режим: рано вставать, обтираться холодной водой, больше гулять и найти постоянную работу. Что же, попробую с завтрашнего дня приняться за лечение. Нервы мои, действительно, сильно подгуляли. Это я сама вижу. Попробую завтра встать рано, буду еще больше гулять. Только вот Владимир Иванович хочет обязательно, чтобы я ходила не одна, а в веселой компании. Когда Мамочка сказала ему, что я хожу гулять с Петром Александровичем, он вздохнул: «Ну, уж тут никакой бром не поможет». Веселой компании мне все равно не найти. Кто — Нюра и Всеволод? — влюбленная пара. Щуров? — да ну их! Я предпочитаю пятерку наших собак, правда! Надо еще найти постоянное дело и притом «по сердцу». Что же? Я занимаюсь французским, даже беру уроки у Елизаветы Сергеевны, только, по-моему, из этого мало толку будет. Язык знает она немногим лучше меня, когда задает вопросы, так очень долго и путано составляет фразы и проходит больше точности грамматики, то, что должно усваиваться механически, как, напр<имер>, времена глаголов, она старается объяснить аналогией с русским и, конечно, неудачно. Ну да это все равно, это не мешает мне собой заниматься и читать. Кроме того, мне бы еще хотелось заняться латинским, одной, ведь если когда-нибудь я буду учиться, то латыни все равно не миновать. Думаю

начать все сначала. А так: какие же еще дела? Стирка, шитье белья, штопка, уборка — мало ли дела, но какого дела?

Еще одна важная вещь, о которой уже давно можно было бы написать: Петр Ефимович Косолапенко прислал нам письмо, он выхлопотал себе стипендию и учится в Генте, и он советует мне послать мои бумаги проф<ессору> Экку, с ходатайством о стипендии. Экку можно писать по-русски. Мамочка с Папой-Колей, конечно, жадно ухватились за эту идею. Послали мое свидетельство поручику Алмазову на «Георгий», тот должен сделать копию и засвидетельствовать у судьи. А тот, т.е. Алмазов, уже две недели тянет с этим делом. Теперь мое отношение к этому: мне не хочется. Поступить в университет — это, конечно, цель, но не с этой осени:

1) Я не знаю языка, значит все равно год пропадет даром. 2) Я сама еще не знаю, к чему меня тянет. За год жизни в Париже, посещая Народный Университет, вращаясь, может быть, среди молодежи, я бы с большей уверенностью и желанием выбрала факультет, а не по указке родителей. Почему историко-филологический, а то и прямо — исторический? Ведь это было решено с тех пор, как я себя помню. Меня готовили к этому с самого дня рождения, и если бы мы были в Харькове, если бы все было по-старому, то я бы и поступила на курсы на историко-филологический факультет и была бы искренно довольна своей работой. Теперь, ввиду моих «склонностей к литературе», история отошла на задний план. А я так серьезно затрудняюсь в выборе факультета, даже смешно. И вернее всего, что выберу этот самый «фамильный». И 3) Мне хочется пожить в Париже, работать на фабрике и т.д. Мне это интересно. Что поделаешь, если я такая глупая, но мне этого больше всего хочется. Я ничего не боюсь, я буду рада всему, даже лишениям. Когда адмирал говорит, что «весной в Россию поедem», что там что-то такое готовится, так я совсем не так радуюсь, как другие. В Париж хочу! Мне кажется, что я начинаю отвыкать от России, может быть, это не так, так как в сущности я кроме России ничего не видела, а Сфаят — это только часть России, я отвыкла и от самой территории, если можно так сказать, а не от русских.

Недавно пришло письмо от Васи. Он пишет, что Нёня Богдановский очень серьезно болен, у него воспаление легких, страшно я боюсь за него, невольно вспоминается Платто. Больше — я почти уверена, что его нет в живых. Мне страшно даже писать об этом.

Между прочим, Вася пишет, что с «самого уезда (?) ни одного письма не получал». Этому можно поверить, т.к. все наши парижские

адреса меняются неимоверно часто. Если он не врет — Бог даст, мое письмо не дошло, — я была бы так рада!

Сергей Сергеевич Девьер женился. Он уже давно писал об этом, и вот недавно женился окончательно. На все вопросы Мамочки и мои — русская она или француженка — не отвечает. Смешные были эти его письма ко мне: «Вы скажете: а как же Сфаят? Неужели все забыто?» «Да, это мои лучшие воспоминания, но жить прошлым так тяжело, я, наконец, решился». «Я не так просто решился на этот шаг» (цитирую приблизительно). Все ему казалось, что я его обвиняю, осуждаю, что мое письмо холодное, официальное — я разозлилась и послала ему ругательное письмо, не совсем ругательное, и вышло, что он получит его как раз в день свадьбы. Лучше, если бы он его не получил, уж очень оно резкое. Для такого-то дня. А странно мне представить, что он женат, имеет жену, любит ее (хотя после такого письма я в этом не совсем уверена), а я, может быть, встречу с ней... Как-то это странно. Ведь он бы ничего не имел против, иметь женой меня... Я рада, что он женился, по крайней мере в Париже я буду избавлена от того, что было здесь.

Если мне когда-нибудь и льстило, что он за мной ухаживает, так ведь это уже давно и забыто. И стало смешным. Боже мой, ведь и Вася забыт. А воспоминание о Лисневском мне прямо противно! Да и любила ли я когда-нибудь, не Лисневского, конечно, об этом чучеле и говорить нельзя, а Васю? Ну, я вскочила на своего конька, а надо спать; пожалуй, так режима не выдержу. Как-нибудь напишу о том, как я думаю о Париже. Мне как-то чудно писать об этом, но, с другой стороны, только такой откровенностью я и сделаю интересным мой дневник...

16 февраля 1925. Понедельник

Усиленная подготовка к «концерту». Спевки, сыгравки и т.д. Папа-Коля придумал такую штуку: мелодекламацию с цитрой. Выбрал одно из лучших стихотворений Ахматовой «Колыбельная» и подбирает мотив. И спрашивает Петра Александровича: «Ну вот кто там у вас хорошо читает?» — «Тыртов, Панкратович». — «Ну вот кто-нибудь из них и прочтет». Это Тыртов будет читать Ахматову? Своим чуть ли не басом «Колыбельную»? Мамочка говорит, что она бы взялась за это, а Папа-Коля убеждает, что это неудобно, что вечер «ученический». Неудобно! А Елизавету Сергеевну с Нюрой приглашают петь, Анну Брониславовну чуть не умоляют танцевать, а Ахматову давать Тыртову — что это — насмешка, шарж?!

Мне было вообще многое обидно. Я люблю Ахматову, и, конечно, я бы сама могла ее прочесть! Почему даже никому в голову не

пришло это? Меня никто, даже Папа-Коля, не считает за настоящего человека, не допускает мое даже самое маленькое участие. Словно так и хочет выставить меня совершенной идиоткой, ни на что не способной. Может быть, это и мелочно, но мне обидно. И не хочется показывать виду, что обидно, и реву потихоньку.

17 февраля 1925. Вторник

Почтовый день. Мамочке и мне письмо от Нёни, из госпиталя. Слава Богу, поправляется. Как я рада, что предчувствие не сбылось. Письмо от Лели. И хорошее, и плохое. Нытик она, еще хуже меня. Я еще не писала, что получила на прошлой неделе письмо от Абрамович. Очень хорошее письмо, простое, не вычурное, а такое жизнерадостное... Она права, все хорошо, и Париж, и фабрика, и Сфаят, — все это жизнь, а жизнь хороша.

Следую «режиму», т.е. встаю на полтора часа раньше: вместо одиннадцатого часа в полдевятого. «Дела» себе никакого не нашла, да и не найду до мая. Вчера утром занималась французским и даже латинским, а сегодня — злая и расстроенная. Правда, «Колыбельную» будет декламировать Мамочка (сейчас Папа-Коля бренчит на цитре), и я этому рада, но мое участие, значит, устраняется окончательно. А уж если я здесь, где всего-то полтора человека, не могу быть полезной, так что же думать о Париже!? Там-то меня совсем затрут. Мне еще вот что обидно, я только сейчас себя на этом поймала: «Колыбельная» — мое любимое стихотворение, лучше его нет, а Мамочка как-то не видит, не понимает, что оно самое лучшее, читает его не так, как я, не оттеняет, по-моему, и будет теперь за работой машинально повторять его, переверять слова, а ведь это молитва, больше молитвы. Мне просто «жалко». Сознаю, что это глупо, но мне «жалко». Конечно, она прочтет его хорошо, но лучше, если бы она его совсем не читала, ведь ей все равно — что. Жаль, что Папа-Коля уже написал аккомпанемент. Да, можно любить ревниво даже стихи!

19 февраля 1925. Четверг

День был замечательный, т.е. именно день сам по себе: прямо летний. И без того зима в этом году необыкновенная, а сегодня-то и совсем жарко было. Я даже в теннис играла. И уж чувствую, что теперь все остальное перестанет для меня существовать. Правда, нет Платто, нет Звенигородского, моих вечных компаньонов, но теннис — всегда теннис, а такая погода сама по себе поднимает настроение.

21 февраля 1925. Суббота

Мамочка пришла от Насоновых страшно взволнованная. «Никогда я больше туда не пойду!» Такая вещь: Мамочка дала Ел<изавете> Сергеевне номер газеты, где рассказ Минцлова «Тайна» (чуждый рассказ); и Сергей Александрович бил себя в грудь, говорил, что он христианин, что это гадость, подлость, «в воскресном номере», «соглашение с жидами», «все это ерунда». «Я христианин, я вас прошу не приносить в мой дом таких книг». Мамочка взволновалась, а по-моему, волноваться не стоит, если люди настолько глупы, что не отличают легенды от догмата, — так о чем же здесь говорить! Мне даже нравится, что все здесь такие идиоты, как-то бодрее чувствуешь себя. Теперь Сергей Александрович со мной страшно сух, напр<имер>, после всенощной предупредил Нюру, что завтра обедня в 10, а мне — ни слова. Мне это тоже нравится. Не будь я такой тихой — была бы известна не менее своего отца. Мне и то кажется, что я закушу удила и буду открыто плевать на всех.

Вчера Мамочка пришла от Насоновых тоже страшно взволнованная. Дело было так: она рассказывала о статье Демидова, о том, что русские дети в эмиграции забывают русский язык. На это Всеволод Новиков ей говорит: «А я своих детей так совсем не стану учить русскому языку, совсем это ни к чему». — «Так что же — отсюда вам один только шаг до подданства!» — «Конечно, как только уйду из Корпуса, сразу же приму подданство. Я это совершенно серьезно говорю. Все равно в Россию ни мы, ни наши дети не вернутся, и нужно нам забыть, что мы русские, и нужно это скрывать, иначе никуда не устроишься и т.д.» И это говорит один из тех дураков, которые носят погоны, говорит о дисциплине и воинской чести и собираются идти в Россию не то с Николаем Николаевичем, не то с Кириллом Владимировичем, где выгоднее. Кажется, будь это при мне и будь я немного взвинчена и возбуждена, я бы назвала его подлецом и сорвала бы с него погоны.

Елиз<авета> Сергеевна сейчас лежит, и мы с Наташей пели вдвоем. «Плавали», что подделаешь, а Сергей Александрович и Новиков все перемигивались и пересмеивались. Мне это неприятно, не хочется завтра идти. Все равно пойду, петь не буду и совсем лучше — я уйду из хора.

Вот черновик письма к Экку. Такие письма еще хуже писать, чем письма в редакцию.

Получила письмо от Нёни, Мамочка — от Васи. Написала письмо Наташа. Вот и все. И хочется спать. Писала про Насоновых и опять разозлилась. На днях опять, при Мамочке, Сергей Александрович орал на Петра Александровича, что тот не отдал

ему 2 фр<анка> 50 с<ентов>. Петр Александрович принес свою расходную книжку: «Нет, вы врете, вы заматываете» и т.д. Мамочка опять пришла сама не своя. Боже, что за люди!

7 марта 1925. Суббота

Сейчас я ни с того ни с сего задумалась о звездных пространствах и вспомнила космографию, и вспомнила в первый раз с очень теплым, хорошим чувством, словно родную: и толстую Димину тетрадь, и аккуратные чертежи и т.д. Сам Дима в белом, с перевязанными руками (он упал с велосипеда), а дверь раскрыта, и там — солнечные дали и вообще много-много солнца, и велосипед, и много хорошего. Ведь была весна.

10 марта 1925. Вторник

Сегодня получила письмо от Экка. Конечно, отказ. Это бы еще ничего, все равно без знания языка (да еще 1/3 курса читается по-фламандски) мне было бы трудно справиться с работой. Скверно то, что без знания латинского и греческого меня все равно никуда не примут. И что теперь делать — не знаю. Не могу предположить. Ничего не понимаю. Вообще у нас теперь так страшно говорят о Париже, что я стала бояться этих разговоров. Будущего бояться все — отчего же я его не боюсь?

Я себя не нашла. Я живу или собираюсь жить по указке. Я ничего не люблю, кроме стихов вплоть до самой косности их. Еще люблю природу, тоску и больше всего — солнце. Меня никуда не тянет. Я даже не могла выбрать факультета. Я не боюсь завода, а университета боялась бы. «Хочу» — по инерции и назло Сфаяту. Я ничего не хочу, кроме — путешествовать и изучать языки. У меня в жизни и в душе — ничего нет. Чем я могу заменить все это?

А что происходит кругом?

Монастырев, командир «Утки» и редактор «Морского сборника», принял французское подданство. И к этому все относится спокойно. Касауров и Булатов в Сфаксе украли велосипед и в Тунисе продали его. Крюковской работает *aide géomètre** около Загуана, проводит дорогу и берет с арабов взятки. Вообще много гадости делается на свете!

14 марта 1925. Суббота

Ужасно неприятно и глупо чувствовать себя везде последней; в самом деле: пою в хоре, почему, так это никому непонятно, а уйти

* Помощник топографа (фр.).

теперь никак не могу: Елиз<авета> Сергеевна «не пускает»; играю в теннис, скверно играю, всем со мной неприятно играть — опять последняя; на вечерах — нечего и говорить. Эх, одним словом, горькая моя доля!

Зачем эти сильные руки?..
Зачем целовать, не любя?
В те дни моей медленной муки
Я жадно хотела тебя.

И только одно не пойму я,
Одно не могу я простить:
Лукавые губы целуя —
Как мог ты меня не любить?

22 марта 1925. Воскресенье

Вот опять взялась за дневник. Давно не писала, да правду сказать, и нечего было писать. Вот последнее, вчерашнее, самое неприятное событие: кадеты застрелили Рынду. И глупо так: «А куда она денется? А куда ее щенков денем?» (у нее должны были быть щенки). Убить такую молодую, живую, веселую — дурачье! Просто кровожадность какая-то. Я даже во сне видела ее сегодня, мою милую Рындочку. Такая хорошая собака. Как вспомню, так сразу как-то неприятно все делается. Ну прямо не знаю, до чего мне ее жалко.

Больше, кажется, ничего и нет.

Сейчас я переписываю для библиотеки (для ликвидации) иностранный отдел каталога. С самой пятницы все пишу. Скучное дело и трудное, напр<имер>, английские книги. И, главное, какая досада еще: пишу №№ 396, 367 и т.д. Я уж думала, что переделать, переписать все надо, но Мамочка успокоила. И в этой работе я все какая-то «ненастоящая». Ну какая я переписчица с таким-то подчерком? Как-то неловко и деньги за это брать. Мне даже смешно, что я везде «ненастоящая»!

Вот какую бучу все подняли из-за «Тайны». А у Лескова, в «Соборях» есть такое место (когда Туберозов готовится к проповеди): «Разве Иуда не был прав с точки зрения “почивающих в законе”, когда он предал Учителя, преследуемого правителями?» (цитирую по памяти). Это толкование... забыла кого, вспомню — напишу. Так вот, 50 лет тому назад об этом можно было писать, а теперь — нет! Беда, когда делать людям нечего!

В последнем «Звене» довольно интересная статья Лозинского (забыла название) о грамматике в литературном языке. Я с ним вполне согласна, что никакие грамматические формы не могут быть постоянными, что язык растет. Я даже скажу больше: каждый

должен писать на своем жаргоне, не может быть никакого общего «литературного языка». Да!

А что написать про себя? Я достигла какого-то равновесия, очень неустойчивого и нервного. Так, как будто я закусил губу и креплюсь из последних сил. Тоски нет, да и ничего нет, словно меня и не существует. Думаю — о серых чулках, о фигуре, о ногтях, о чем угодно, а в глубину и не заглядываю: там ничего нет. Да так-то и легче. Проклинаю плохую погоду и жду солнышка. Я так люблю солнце и тепло, что, кажется, могу еще долго терпеть. Стихов не пишу, и это единственно, что мне грустно. А так все равно и не мучительно. Не знаю, надолго ли такое спокойствие?

31 марта 1925. Вторник

Так давно не писала, что как-то страшно и приниматься. Собираю, хоть в общих чертах, то, что произошло за это время.

Андрюша Сиднев женится. Так, по крайней мере, он писал Насоновым. Вот так штука! Ну, если только его жена с характером, то — бедный Андрюша! А вообще я теперь как-то так мало думаю о них всех, так от них отвыкла, что, право, если бы даже и Вася женился, я бы не поморщилась.

Папа-Коля устраивает на Пасху вечер. Поет с хором «Золотую рыбку», музыка его. Потом просил меня дать «Колыбельную» Ахматовой, «мотив в голове вертится», но я запротестовала: такую вещь петь хором, да еще кадетским! Да это еще почище, чем дать мелодекламировать Тыртову! Такого размера больше не было, подходящего. Я вышла из положения: сама написала. Еще Папа-Коля ко мне приставал: «Напиши “Стрелочка”, мы поставим». Общими усилиями вспомнили два куплета, а остальное дополнила моя фантазия. На сцене должно хорошо выйти.

Вот и все. А сегодня я плакала. Опять подступила тоска (я вышивала), так откинулась назад на подушку и плакала. Что-то опять расшаталось мое спокойствие.

Стихов давно не писала. Последнее — «Думка» — так в хоре (т.е. в музыке) его назвал Папа-Коля. По-моему, оно довольно удачно, хотя в нем мне приходилось обуздывать себя: и о себе не говорить много, и чтобы уж очень пессимистично не было и т.д. Больше ничего не писала, и это мне, как всегда, неприятно.

Погода опять плохая. Кажется, я даже не сомневаюсь, она и есть главная причина моего нервного состояния. И так-то уж недолго осталось побыть в Африке, а тут еще до сих пор летнего платья не надеваешь.

7 апреля 1925. Вторник

Вчера я познакомилась с одним человеком, который произвел на меня большое впечатление и понравился. Это — поручик Алмазов. Папа-Коля пишет статью для какого-то календаря о русских в Тунисе, и за сведениями обратился к нему, так как тот все время стоял близко к этому делу. Оказалось, что он симбирец, нашлись общие знакомые и т.д. Но это не то, что мне хочется сказать. Мне он понравился тем, как говорил о русских, о России и т.д. Пусть он немножко декламатор, иногда впадает в пафос, хотя и умеренный, но он был искренен. В первый раз я услышала здесь — человек горько кается, что уехал. «Мне дела нет до политики, оставьте вы меня в покое, дайте только жить в России». Он часто резок, его постоянное: «Ах, оставьте, пожалуйста!» Он много говорил о войне вообще и о войне гражданской (сам он в военные попал случайно). Нервничал, все время шагал по комнате, движения резки, мысли — также. Не могу передать, что он говорил, чем произвел на меня такое впечатление, просто я видела перед собой человека, непохожего ни на одного из здешних, горячего патриота «истинно русского». Сам он говорит, что он уже мертвый человек, что личной жизни у него уже давно нет, но чем-то сильным и здоровым несло от него, сейчас это очарование прошло. Я слышала о нем только один эпитет: «шалый». Не знаю, может быть, он и «шалый», но он честный и ни на кого не похож. Во всяком случае, таких людей немного, и он мне нравится.

14 апреля 1925. Вторник

Ну, с чего же начать? Прошла ровно неделя с тех пор, как я последний раз писала свой дневник. Что же произошло за эту неделю? Чуть ли не в среду такой случай был. Ходила в город за покупками, главным образом переменить шелк для вышивки. И дома, при пересчете денег оказалось, что не хватает, правда, какого-то пустяка, что-то вроде 1-40. Мапочка начала ворчать: «какое легкое отношение к деньгам», «терпеть не могу, когда теряют деньги» и т.д. Я обозлилась, сначала огрызалась, потом дикая мысль стрельнула мне в голову. Я надела шляпу и вышла. За мной выскочили, что-то говорили, но я твердо решила не оглядываться. Так дошла до города, зашла в «Au petit Paris»*, подошла к кассе и спросила, не забыла ли я здесь 1 <франк> 40 <сантимов>. Конечно, глаза выпучили. Этого и нужно было ожидать, но ведь не из-за этого же не-

* «В маленьком Париже» — название торгового центра (фр.).

счастливого франка я ходила! А цель была достигнута. Это мне напомнило несколько моментов из моего детства.

После этого — один день была хорошая погода, и я опять ходила в город. Дни коротаю вышиваньем. Странно даже, что я выбрала такой способ и с успехом пользуюсь им. Все бы было ничего, да вот опять погода невозможная, ветер, дождь, холодно. В хорошую погоду как-то легче, и ни о чем плохом думать не хочется, а думаешь все о летних платьях, а так и совсем думать не о чем. Мамочка больна, простудилась. Теперь легче, но все-таки плохо. Лежит такая бледная, неподвижная, страшная. Эх, солнышка бы! А тут и Пасха не за горами. И ничего праздничного нет. Написать разве на эту тему стихотворение?

В Вербную субботу опять был Алмазов.

Я взялась за костюмы для «Стрелочка», пригласила на помощь Нюру, и мы теперь с ней «разворачиваемся» на пару. Жаль, что не скоро нам достанут бумагу. Жаль — погода плохая, я бы сама пошла в город.

Сегодня получено письмо от тети Нины. Оказывается, они не получили наших последних писем с карточками. Такая досада! А таких писем уже не напишешь. Что же еще? Сегодня ждали в Корпус великую княгиню Марию Павловну. Говорили, что она была в Утике (там сейчас производятся интересные раскопки). Целый день все проходили в «параде», а она так и не приехала. Может быть, ее и вовсе в Африке нет. Тут что-то неладное.

Да, недавно видела Нину Кораблеву. Она приезжала к Нюре. В тот день я ходила в город и видела ее уже около фуры, когда она уезжала. Она сильно изменилась, приобрела «георгиевские» манеры, говорит на кадетском жаргоне (ее постоянное «Сева, заткнитесь!» вообще произвело на меня неприятное впечатление). Мне бы не хотелось с ней встречаться еще.

Ну, вот и все, что я могу выудить из своей головы, стихов не пишу — вот что скверно.

24 апреля 1925. Пятница

Последние дни каждый вечер все собиралась писать, да так и откладываю. Сейчас еще утро, т.е. период дня до 12. В это время я никогда не пишу дневника, но знаю, что если и сегодня буду откладывать до завтра, то совсем ничего не напишу. А записать мне кое-что хотелось бы. Сейчас уже и не то настроение, и не те мысли, но все равно буду записывать факты.

Последний раз я писала во вторник, на Страстной. Интересно там ничего не было, за исключением разве комедии с хором,

когда я в четверг не захотела петь, м<ада>м Зеленой из города стеснялась, а потом по инерции не пела до самой заутрени. В церковь ходила, но ни одной службы не достояла до конца: у меня была спешная работа к Пасхе: я вышивала Шурёнке юбку. Когда вечером в пятницу удирала из церкви, то там был Мима. Это меня обрадовало. Но о Миме буду говорить после.

В субботу, прежде всего, — хорошая погода. После дождей и холодов такое солнышко, что я надела летнее платье. Потом я пошла на спевку, и на спевке было так весело, так хорошо, что я потом делала костюмы для «Стрелочка» и все время напевала, что бывает очень и очень редко. Наконец вечер. Пошли в церковь как будто и с хорошим чувством, а на самой заутрени было так грустно, хоть плачь. Видела, что Мамочке стало плохо и она ушла. Забеспокоилась. Почти не пела. Елизавета Сергеевна, заметив мое состояние, просто брала меня за талию и подводила к нотам. Когда начали прикладываться к кресту, мне стало совсем грустно. Я почувствовала себя совсем одинокой. Все христосовались, все радостны, а я устоялась в одну точку и молчала. Меня все раздражало: и заискивание перед м<ада>м Зеленой, и «георгиевские» дамы, и все. Тут Ел<изавета> Серг<еевна> полуудивленно обратилась ко мне: «Да, Ирочка! Христос Воскресе!» И странно — это вдруг меня тронуло, чуть не до слёз. Почему? Глупо. Пришла домой и расплакалась, совсем не по-праздничному. В кают-компанию на разговение пошла, и настроение было такое, как в самые последние будни так не бывает. Потом пришли Минаев и Петр Александрович, кое-как рассмеялась, развеселилась. Да и причин для грусти не было.

Дальше — первый день. Погода — великолепная, жарко. Я нарочно не надела нового платья, оделась во все серое. Мима зашел за мной, и мы пошли гулять. Гуляли много, собирали цветы, нашли первые маки. Так как роскошная погода, то и настроение роскошное. Выставила у себя окно, сделала маленькую перестановку в комнате, словом, все было хорошо. Вечером кадеты экспромтом устроили танцульку. Всеволод Новиков и Дима Шульгин (фельдфебель 4 роты) зашли за мной, правда, когда танцы уже начались. Я пошла. Всеволод, конечно, сразу же от меня отстал, и я сидела с кем попало, больше всего с Колей Зальцгебером и Володей Доманским. Малыши ко мне вообще больше расположены и, может быть, и я к ним. Танцевала немного, больше всего с Шульгиным, один раз с Тыртовым и всё. Русиан опять задел меня. Здоровый он ухаживатель. И хуже всего, что и он начинает попадать в лапы Марии Васильевны. А она держалась безобразно. Среди танцев были вставочные номера: пел Всеволод Новиков какую-то

глупость, декламировал Макухин из К.Р. — «Наш полк». Потом этот паршивец Володя Доманский сказал: «Неизвестного автора стихотворение», которое заканчивалось чем-то вроде: «И сольются все напевы в громкий крик (или возглас) — Царя!» Потом пригласили Папу-Колю, и он играл на скрипке. В этот вечер (на каждом вечере должен был быть кто-нибудь) мне нравился Шульгин (и раздражал Русиан); когда, в самом конце, уже никого почти не осталось, он пригласил меня на вальс, я отказалась и тут же пошла с Вериге. Не потому ли я на него так сержусь, что он так «понравился» мне на Рождество и на теннисе?

Второй день — жарко, но скучно. Так скучно, что я принялась за стирку. Вечером — генеральная репетиция, я была. В «Недоросле» мне страшно понравился Стародум (Шульгин), страшно понравился. «Стрелочек» прошел весело, девицы были просто замечательны. Будет почти правдой, если я скажу, что на генеральной репетиции стрелок ранил также и мое сердце. (Стрелочек был Тыртов). Придя домой, я долго повторяла последнюю фразу: «Сердце ранил мне стрелок! Ах, стрелок! Да!» Ну, это всё те тепленькие, щекочущие микроскопические чувствования, которых уже не будет в Париже.

Третий день. Прежде всего — погода изменилась, захолодало. Потом — вечер. Большой съезд «георгиевских» дам, несколько автомобилей. Папа-Коля сейчас же после ужина пошел в зал, Мамочка тоже — помогать одеваться. Мы с Мимой сидели и ждали. Да, он влюблен.

С началом, конечно, опоздали и очень намного. Ну, ладно, вошли наконец, сели, полно народу, начинают. «Недоросль» прошел отлично. Потом — большой перерыв для подготовки к «Стрелочку». Гримировал один Котов, одевать пошли мы с Мамочкой. Нью-ру я не позвала, все равно она только всё путает. Может быть, это и неловко. За кулисами — ад. Оказывается, что то нет булавок, то — ниток, то еще чего-нибудь. Задержка вышла большая. Но зато «Стрелочек» прошел так роскошно, что лучше и представить нельзя. Публика прямо выла от восторга. Повторили. Дальше начался антракт, а буфет не был готов и публика не расходилась. Папа-Коля начал нервничать и так как не все успели разгримироваться, изменил программу. Сначала выпустил кадетов, потом сам играл с Таусоном. Во время этих номеров я сидела как на иголках и боялась, что скажу что-нибудь грубое: за мной сидела Мария Васильевна и начала полным голосом разговаривать с провизионным Новиковым. Неужели не могла помолчать, хотя бы просто из деликатности. После этих номеров к нам подходит Папа-Коля,

страшно взволнованный: «Маруся, дай ключ». Вид у него был такой, что я подумала, что случилось что-нибудь гадкое и неприятное. Здесь ведь всего можно ждать. Через минуту возвращается: «Ирина, поищи, пожалуйста, мою подушку». Мы с Мимой пошли искать. Конечно, ничего нет. А там в это время уже начинают «Думку», играют кларнеты. Я побежала туда. Входила как раз в то время, когда пели «Над Сфаятом вечер синий...», и слышу иронический голос Макухина: «Над Сфаятом? Гм!» Я нарочно на место не пошла, а дослушала в конце зала и сейчас же опять ушла. Когда начали петь «Золотую Рыбку», прибежала. Потом спели «Ваньку-Таньку», но без всякого подъёма. Свой сольный номер Папа-Коля выпустил совсем. Он был так расстроен, что мог все на свете бросить. И все из-за подушки! Он и меня расстроил так, что я плакала. И до сих пор не может успокоиться. Главное, что и он, и Мамочка подозревали, что просто публике захотелось скорее танцевать и это злой умысел. Здесь ведь всего можно ждать.

На танцах мы с Мамочкой не были. Я еще на прошлой танцульке окончательно решила, что уже больше не пойду. Мамочка не пошла и потому, что я не пошла, и еще по одной причине, которая только еще углубляет мою причину: она была поражена невниманием к Папе-Коле и ко мне. Ведь всё создал Папа-Коля, да и моего участия было достаточно. И ни один человек даже не подошел поблагодарить! Такое же невнимание было и по отношению к Елизавете Сергеевне, а уж сколько времени она уделила всем этим репетициям (у рояля).

Папа-Коля был там, я сидела в шезлонге и хныкала. Мима усиленно уговаривал меня идти, совершенно искренно, жалел, что не танцует сам. Мамочка тоже уговаривала. На это я сказала, что после каждого вечера давала себе слово больше не ходить, что у меня нет таких знакомых, с которыми я могла бы и потанцевать, и провести время, что мне всегда бывает скучно и т.д. Со всем этим Мамочка должна была согласиться: «Ну, вот приехали гардемаринки из Туниса». «Кто? Коля Завалишин?» Тут, не помню уже каким образом, выяснилось, что Мима что-то знает о том, что произошло что-то у меня с ним. Мамочка заинтересовалась: «Откуда вы знаете?» — «Он мне сам рассказывал в Тунисе». — «Что?» Он сначала отпирался: «Ну, что он поцеловал Ирину Николаевну». Подлец! Еще рассказывал об этом!

Мима был очень мил и внимателен ко мне во время своего приезда. Уехал он вчера с фуруй.

Я не ошиблась в расчетах: наше с Мамочкой отсутствие было в конце концов замечено в зале. Хотя и не скоро, все внимание было

поглощено приезжими. В четвертом часу Новиков и Шульгин пришли узнать, почему нас никого нет. Я тогда уже легла и была очень довольна.

Однако, действительно, наше отсутствие было замечено. На утро появились целые легенды. Говорили, что одна из «георгиевских» дам оскорбила Мамочку, потом даже определенно называли Мордвинову. А Мамочка ее и в лицо не знает. Вчера, уже после уроков, Шульгин и Оглоблинский зашли поблагодарить Папу-Колю. Обо мне не было и речи. Не знают, что ли, они, что самый эффектный номер почти целиком, в сущности, принадлежал мне: и слова, и постановка, и даже декорация. А «Думка»? Ну да Бог с ними! Не скажу, однако, чтобы я это забыла. Когда после окончания дамы будут им устраивать традиционный чай — не пойду.

26 апреля 1925. Воскресенье

Ничего за эти два дня не произошло. Дома все по-старому, только все разговоры о Париже. Вот еще какая задержка: иностранцам теперь запрещен въезд во Францию и нам не дают паспортов. Префект, адмирал Жиен, хлопочет о нас в министерстве и надеется, что все кончится хорошо. Кто знает. Может быть, еще и застрянем в Тунисии. Поживем — увидим.

И еще: Карцевский в последнем письме писал, что он уходит из гимназии, что освобождается вакансия и что он надеется, что Папа-Коля будет опять выбран и на этот раз утвержден. Я не верю. А у нас кто-нибудь, говоря о Париже, нет-нет да и обмолвится о Праге. Поживем — увидим.

28 апреля 1925. Вторник

Сегодня день радостных известий. Т.е. никаких «радостных известий», а просто какой-то нервной взвинченности.

Дело было так. Часов около пяти пошли мы гулять. Вдруг едет автомобиль с французским флагом, в нем адмирал Жиен с адъютантом (маленькая деталь: они по дороге обогнали Колю Оглоблинского, спросили: «В Сфаят?», и пригласили сесть в автомобиль, это любезно).

Мы страшно заинтересовались и все время, пока гуляли, только и говорили о том, какие новости мог привезти этот «Гиена» («Хитрит, как гиена и лисица», — говорит адмирал). Подходим к дому — из окна роты Годяцкий кричит: «Мария Владимировна, с пятого можете ехать!» И все радуются. Только и разговоров, во что уложить, да в чем ехать. У мальчишек и без того радостное настроение, я их понимаю, так уже не знаю — по какому поводу больше — они

всё «ура» кричали. А настроение нервное стало. Трехэтажные вздохи, да «как найдем комнату», да, главным образом, комната. Ведь через две недели! Сегодня мы смотрели, как уходил пароход, и думали: «А через две недели и мы на нем поедem». Когда-то (как будто и совсем недавно; как летит время, когда в нем ничего нет!) я высчитывала дни до 1-го мая, оставались месяцы, а тут вот — два дня. И через две недели этот блаженный, долгожданный день отъезда. Долгожданный — да, но блаженный ли? Разве мало здесь этих маленьких привычек и мыслишек, без которых так скучно будет в Париже. Разве плохо жить так, как я живу, стирать, вышивать, независимо держаться, по ночам думать или о Шульгине, или о Русиане, и даже не отвечать на поклоны, молиться доброму богу — солнцу и злему — ветру и, как сколопендра, вылезать на камни погреться. Может быть, это и опустишеничество, и слабость, не спорю. Но ведь это моя жизнь, мое настоящее.

Но довольно романтики.

Получила сегодня два письма от Мимы. Письма были бы мне приятны, если бы не одна вещь, и то после Мамочкиного мнения: он предлагает перейти на ты. Я смотрю, что это не имеет никакого значения, пусть будем на ты; большей близости я с ним не хочу, а это — пустая формальность. А Мамочка говорит: «Почему ему делаешь исключение. Этим ты делаешь его ближе». И вот не ближе. Я готова перейти на ты с кем угодно, ибо, по-моему, все это вздор и ерунда, буду осторожна с тем, кто мне близок.

1 мая 1925. Пятница

Ну так что же?

Общие дела таковы: адм<ирал> Жиен вызвал к себе адмирала и, как тот выразился, «взмылил» его за то, что 1-го так мало уезжают, и потребовал, чтобы торопились, а то после 19-го все лишаются не только бесплатного проезда, но и въезда во Францию. Адмирал приехал злой и потребовал, чтобы 12-го ехали все.

У нас по-прежнему нервное, нервное состояние. Сейчас Папа-Коля с Мамочкой сидят и ругаются: «Сколько, ты думаешь, нам будет стоит дорога?» — «800». — «А с чем же мы приедем?» и т.д. Сейчас спорят из-за носильщиков. Голос Мамочки: «Ты рассуждаешь, как какой-то миллиардер: там взять носильщика, там сдать на хранение, там заплатить в таможне». О, Боже!

Должно быть, сегодня будут «похороны алгебры». Сейчас кадеты ходят и собирают костюмы.

Хочу кончить «Балладу о ликвидации».

7 мая 1925. Четверг

Последний раз я писала 1 мая. Прошла неделя. Последний раз я писала тогда, когда Стась в последний раз играл отбой. Дальше, суббота. Всенощная. Приезжал о<тец> Михаловский. Почта: получила письмо из «Студенческих годов». После всенощной — общие проводы, т.е. собрались все жители Сфаята в кают-компаниях и провожали друг друга. Этот вечер кое-чем интересен. Я сидела в кругу молодежи, рядом с Всеволодом. А у него на завтра свадьба. Все немного подвыпили и Всеволод начал усиленно за мной ухаживать. Все смеялись и все старались помешать нашему разговору. А он говорил много: «Вы помните меня кадетом? Как я тогда вами увлекался» и т.д. «Я только не дал ходу, боялся. Ну, да теперь все равно. А как Нюра меня к вам ревновала, до последнего времени». Потом так говорил о Нюре: «Она очень милая, есть, конечно, недостатки, ну, глупенькая». Так и сказал. Мы прошли с ним по дороге. Если бы не знать, что назавтра его свадьба, можно было бы подумать, что он в меня влюблен. «Я так рад, что мог сегодня поговорить с вами, все вам сказать». — «А зачем?» — «Так мне хочется. У меня начинается новая жизнь, мне хочется, чтобы вы знали все прошлое. Теперь уж все равно»...

Как это далеко, как далеки теперь мысли и от Всеволода, и от того вечера!

Воскресенье. Торжественные обеды. Опять в последний раз. О<тец> Михаловский довольно хорошо говорил. Многие плакали, я тоже готова была заплакать. Грустно. Умирает Сфаят. И неприлично смеялась, когда Бибка вошел в церковь, и — прямо к причастию — и когда басы порывались «Христос воскрес» петь, да все не вовремя, я чуть не плакала, прикладываясь к кресту. И состояние, одним словом, было нервное.

После обедни «производство», потом парад офицеров, преподавателей и кадет. Да, мы перед этим снимались: сначала в таком составе, потом с дамами. Обед, словно на 6-е ноября. Мне это понравилось. В два часа — свадьба. Масса дам из города, пышно, нарядно. Нюра была в фате, очень хорошенькая. А после венчания, когда поздравляли молодых, в церкви, Всеволод со всеми перещеловался, со всеми решительно, и дамами, и барышнями. Очень это вышло занятно, а мило... После свадьбы они уехали в Тунис.

Днем приехал Мима. Моего письма он еще не получил, и мы были на вы. Раньше мне хотелось уделить много места и Миме, и нашим разговорам, и этим дням, а теперь это все так далеко!

Вечером была танцулька. Так как был Мима — я пошла. И много танцевала. Вообще было очень весело. Между прочим, танцевала с

Димой Шульгиным и не старалась скрывать, что мне это приятно. Когда был «вальс для дам», я на вопрос Мимы, почему не танцую, ответила, что хотела бы пригласить одного, да он все прячется. Меня сильно подмывало пригласить Шульгина, да я так и не решилась. А вообще было весело.

Понедельник. Прежде всего — мое рождение. Только никто об этом не вспомнил. Назавтра почти все кадеты уезжают. Суета, толчая. Сидим мы с Мимой на гамаке, приходит Шульгин: «Грустно будет расставаться с “батькой”». — «Кому?» — «Да вам». — «Почему же?» — «Да так». — «Ну а все-таки?» — «Вчера на вечере я все понял». — «Что поняли?» — «Ничего». — «Мима, Мима, вы догадались, я говорила о нем, но вы ошибаетесь в самом корне». — «Может быть». — «Ведь мы почти не знакомы». — «А разве надо быть обязательно коротко знакомыми?» — «Так только, *intéret**». Поганец Мима, зачем он это сказал? Я, действительно, уверила себя, что мне грустно расставаться с Шульгиным. И было грустно. И эта грусть придавала этим последним дням свой особый, нежный колорит.

Ходили с Мимой в город, покупать материи на платье. Много говорили, т.е. он говорил, о любви и браке. И я сказала ему, что он никогда не женится, а если и женится, то не будет счастлив, потому что у него нет правильного отношения к женщине, и не будет, если он действительно будет жить так, как говорит.

Вечером дамы устраивали «чай». Я собрала около себя пятую роту, и нам было весело. Потом — опять танцулька под разбитое пианино, т.к. другое уже продали и увезли. Народу было мало, и я со всей энергией взялась за дело, но скоро «выдохлась», осунулась, стало скучно вдруг сразу, и я ушла.

Вторник. С самого утра кадеты, т.е. гардемарины, приходили прощаться. И весело, и грустно. Нет, скверно. Последними пришли Шульгин, Кудашев и Русиан. Шульгин едет на юг Франции, а Русиан в Париж и обещал встретить. Правда, все они, парижане, обещали встретить, единственно могу поверить, что придет Володя Доманский.

Ходили в город провожать. Очень расстроен был Петр Александрович, даже плакал, прощаясь. А мальчишки веселы, кричали «ура». Вид у всех них приличный, в пиджаках и кепках на голове. Только Володя Доманский и Володя Русиан были в капитанках и выглядели апапами. Вернулись в Сфаят как с похорон. Необычайная тишина. Какое-то просто жуткое чувство наводят эти два совершенно теперь пустые барака. Такая тоска!

* Интерес (*фр.*).

Но все это теперь далеко. Я так только мельком записала, да и не то, что хотела. Вот, может быть, еще напишу «Балладу о ликвидации». А ведь осталось всего четыре дня (до отъезда. — И.Н.). И нет больше радости. А вот почему: получили сегодня письмо от Жуков, где они предлагают сдать нам две комнаты, очень дешево — 175 фр<анков>, но в Севре, а это черт знает, как далеко от Парижа. И главное — жить с Жуками. С Жуками! Для меня вся прелесть Парижа заключалась в том, чтобы порвать все с Сфаятом и начать новую жизнь с новыми людьми. А тут, на вот — с Жуками. Господи! Да что же это?

9 мая 1925. Суббота

Вот, может быть, в последний раз пишу в Сфаяте. Может быть, завтра уже уложим корзину, и тогда придется укладывать портфель. Сегодня уложили чемодан, завтра с утра пойдем с Папой-Колей на колодезь стирать, потом — прощальные визиты — слава Богу, немного их теперь. Послезавтра — укладываться окончательно и — в город. На кладбище зайти, потом к Елене Николаевне и Алекс<андре> Михайловне. А там и едем. Вот только погода — дрянь. Сыро, и вечером такой туман был, что дальше сосен ничего не видно. Жаль, мне бы хотелось уезжать в яркий солнечный день.

А я сейчас так полна мыслями об отъезде, что ни на чем другом мысли не сосредоточиваются: ни на Алмазове, ни на письмах Ми-мы. Скорее бы уж...

Метраж VIII

25 мая 1925 г. — 14 сентября 1926 г.

ПАРИЖ

25 мая 1925. Понедельник. *Sèvres**

Вот уже совершилось. Вторую неделю мы в «Париже». И что же? Доехали морем скверно. Да, уезжать как-то не было грустно, а, прощаясь с Бимсом, я чуть не заплакала. Ведь мне только его и жаль.

В Марселе мы все ждали половинного проезда от б<ывшего> русского консула, вышла старая канитель, в общем, мы целый день провели в русском лагере, потом плюнули на все и поехали. Что за ужас этот русский лагерь! Какое там сравнение с Надором! Не то что цветика, и травинки нет, маленькие хибарочки, Бог знает из чего сделанные, и пыль, пыль, пыль.

Да, поехали. И скверно начали, т.к., переходя пути, Мамочка упала на рельсы и разбила себе колено. Все мы нервничали, ругались, волновались и т.д. Ехали хорошо, я почувствовала себя в своей тарелке.

В Париж приехали в пятницу утром. Нас встретили: Александр Александрович Жук, Леня Крючков, Сережа Шмельц, Вася и Володя Доманский. С Gare de Lyon до Gare St-Lazare** ехали на такси, и я была несчастным человеком. Только любопытство удерживало меня от вскрикиваний. Особенно поразили меня велосипедисты, как это они еще ухитряются проползать в этой гуще!

Приехали в Севр. Ну, скверно начало. Все-таки Сфаят нас избаловал, я вот до сих пор не писала только потому, что нет в своей комнате своего стола. Сейчас никого нет дома, вот я и пишу. Эх!

* Севр — юго-западный пригород Парижа (фр.).

** Лионский вокзал, вокзал Сен-Лазар (фр.).

В первый же день мы с Папой-Колей поехали в редакцию «Новостей». Очень понравился мне Волков и Демидов, а Милюков произвел впечатление «генерала»; да и обращение с ним тоже как будто «под-генеральское».

На другой, кажется, день ходили все с Петром Александровичем на Place de la Concorde*. Сидели на площадке Тюльери и смотрели. Действительно, красивая и интересная площадь. Мамочка подобрала удачное выражение: «заводная игрушка», и теперь Папе-Коле хочется, чтобы я написала на эту строку стихотворение.

В воскресенье был Вася. Произвел на меня очень грустное впечатление: дошел до такой точки, что уже «ничего не хочется». Ой, как я боюсь до этого дойти!

Понедельник... да, мои именины. Ходили с Папой-Колей в книжный магазин Коварского. И совсем случайно я нашла №3-4 «Своими путями», где было мое стихотворение. Но Цветаева его так невозможно «поправила», что я расстроилась, разозлилась, а потом рассмеялась. Сегодня написала в редакцию довольно ругательное письмо.

Что же еще было? В среду были у Волковых. А все-таки это совсем не то, что я ждала.

Была два раза в Passage Bosquet**. Один раз — у Лидии Антоновны, другой раз — у Наташи. Встретила у Наташи Киру Тыртову, обещала прийти к ней.

Что же еще? Мамочка пошла сегодня в первый раз в мастерскую м<ада>м Демидовой. Очень ей не хотелось, и я ее понимаю. Жалко. Я все хотела поступить на завод, может быть, и поступлю еще, только очень меня отговаривают. Пока я буду брать вышиванье, говорят, что очень выгодно. Если лучше, чем в мастерской, то Мамочка будет вышивать, а я поступлю на завод. Все равно на какой. Я не боюсь, что плохо будет и в физическом и в моральном отношении. Мне надоело только сидеть без работы. Сегодня ездила с Марией Андреевной к мадам Гофман за вышиваньем, но там вышла какая-то задержка и работы пока нет. Настроение грустное, особенно по вечерам: читать нечего, делать нечего, писать негде, да и тоже нечего. Разве письма Миме? От него я уже получила здесь три письма, они мне очень приятны.

Вот и все, кажется. Поживем — увидим.

29 мая 1925. Пятница

Да, забыла записать самое главное: были в Лувре. Много там

* Площадь Согласия (фр.).

** Пассаж Боске (название магазина) (фр.).

интересного. Всего мы, конечно, не видали, да и нельзя там, в один раз, хотя бы и быстро, обойти все залы. Очень большое впечатление произвела на меня Венера Милосская. Идя туда, я думала: «Ерунда, что Венера и Джаконда должны мне больше всего понравиться», — а на самом деле так и было. Перед Венерой я бы могла просидеть часами, не отрывая глаз. Замечательное у нее лицо, особенно взгляд. Нельзя его передать словами: такой гордый, глубокий, смотрящий в себя и, в то же время, куда-то в пространство, и — грустный. У Джаконды хорошая улыбка.

Интересен отдел живописи в смысле историческом, жаль, что мы не дошли до современной. А чего стоят комнаты египетские и ассирийские! На одну Ассирию нужно бы потратить целый день, чтобы осмотреть детально.

Во вторник осматривали Cité*. Прежде всего, попали в Palais de Justice**, но я там чувствовала себя очень неловко, все мне казалось, что публике тут не полагается быть. Да и интересного там мало. Само по себе здание красивое. В Notre-Dame чувствуется древность. Одинакова интересна она (церковь. — *И.Н.*) и внутри и снаружи. Ну да об этом нечего говорить, все равно ничего нового не скажешь. Много было о красоте этой церкви сказано и написано. Что же прибавить? Повторяю: чувствуется древность. Сами стены говорят, что над ними работало несколько поколений. В башне темная узкая винтовая лестница, в 377 ступеней, ведет на балкон и на самый верх. По балкону можно было бы обойти все здание, но заперто. Химеры облакачиваются на перила и смотрят на город. Сторожиха показывала нам колокол, очень красивый у него звук: она проводила ключом по стенкам его. Очень интересно само по себе здание со всеми его контрофорсами и завитушками, не говоря уже о деталях.

Потом были в Ste-Chapelle при Palais de Justice. Там очень красиво. Стены сплошь, почти от самого пола и до потолка, состоят из цветных стекол. Какой-то дождь разноцветных огней. Жаль только, что убран алтарь, это несколько нарушает общее впечатление. Но все-таки красиво. У меня есть открытка, но не передает и сотой доли красоты всей капеллы. Наконец, пошли в Conciergerie*** при том же Palais de Justice, место, где каждый камень воскрешает Французскую революцию. В сущности говоря, это — Чека. Нас гид водил. Показывал, где помещались заключенные, где была стража.

* Остров Сите (центр Парижа) (*фр.*).

** Дворец Правосудия (*фр.*).

*** Консьежери (*фр.*).

Показывал комнату в стене, вернее клетку, где шли приготовления к казни: резали волосы и связывали руки. Дальше — коридор и дверь, через кот<орую> водили на казнь. Провел в камеру, где провела последние дни Мария Антуанетта; рядом — камера Робеспьера, а следующая — зала, где было последнее собрание жирондистов. Теперь она превращена в маленький музей. Под стеклянным колпаком стоит стул Марии Антуанетты, распятие, кот<орое> она целовала перед казнью, ее последняя записка, наколотая булавкой, ключи, замки от дверей тюрьмы и сами двери. Вдоль стен, под стеклом — документы: записки, письма, на стене — нож от гильотины. Все это производит громадное и страшное впечатление.

Вечер. Мамочка с Папой-Колей ушли к Девьерам, я осталась. Парижская погода так повлияла на мой ревматизм, что я опять не могу ходить и чуть не плачу от боли, когда ступаю. Только в Сфаяте у меня болела левая нога, а сейчас правая. Это очень досадно: завтра или послезавтра литературный вечер клуба молодых писателей, выступает Борис Зайцев, Тэффи и целый ряд молодых поэтов, о кот<орых> я и не слыхала. Вход свободный. Да и пора наконец мне начать действия и самой попасть в члены этого клуба. Да, попадешь, калеккой-то...

Сейчас написала письмо Миме. Почему Миме, а не Леле? Не знаю. И мне как будто даже неловко. Ведь не может же быть, чтобы Мима был мне ближе, чем Леля! Писала ему о том, что видела в Париже, о тех мыслях о чем-то вечном и нерушимом, кот<орые> возникли у меня на балконе Notre-Dame, о том, как далеко от нас те «новые люди», кот<орых> я думала встретить в Париже. Писала, что часто вспоминаю Сфаят; да, но не с «теплым чувством», а просто без всякого чувства; вспоминаю его дороги, горы, виды, сосны на фоне заката, игру в футбол, теннис и всегда — Бимса. Да, мысли у меня еще там, хотя после таких воспоминаний почти не бывает грустно.

30 мая 1925. Суббота

Очень все-таки мне хочется пойти на этот литературный вечер. Для этого целый день лежу, после лежания нога меньше болит. Да уж надоело только лежать!

Мамочка пошла сейчас с Папой-Колей по мастерским искать работы. Из мастерской м<ада>м Демидовой она ушла на другой же день, т.к. ей приходилось работать исключительно с француженками, и она ничего не понимала, что от нее требовалось. Я ее уговаривала тоже, думала, что скоро получу работу у мадам Гофман: та обещала дать телеграмму, да вот до сих пор все нет.

А на дворе сумрачно, небо в тучах и свет такой, как после захода солнца бывает. Дождь пошел. Ну, все пропало.

Наши вчера были у Девьеров и вернулись оба просто в восторг от его жены.

10 июня 1925. Среда

Хочется мне записать многое, начиная именно с прошлой субботы, потому что этот день был единственным, и иногда мне кажется, что его не было.

На вечер молодых поэтов мы с Папой-Колей пошли. Я там собрала всю свою храбрость и еще до начала вечера познакомилась с председателем и выразила желание поступить в Союз. «Это очень просто. Так. Вы пишете стихи?» — «Да». — «Выступали где-нибудь в печати?» — «В “Новостях”». — «Ваша фамилия?» — поинтересовался он. Я сказала — фамилия для него была незнакома. «Хорошо. Когда придет секретарь, я вас познакомлю с ним, и тогда...». Начался вечер. Сначала Б.Зайцев читал доклад о Блоке. Мне очень понравился его говор, такой красивый, ласковый. Потом выступала Тэффи. Сначала она произвела на меня самое неприятное впечатление: намалеванная, стриженная, рыжая баба. И когда она читала (сильно нараспев), т<ак> н<азываемые>, «серьезные» стихи, она мне тоже не нравилась, хотя некоторые строфы были хороши. Но когда она читала свои комические стихи, я пришла в восторг. И стихи сами по себе хороши, и читает она, действительно, прекрасно.

Было тесно, душно, помещение маленькое, но очень весело и просто. Во втором отделении начали выступать молодые поэты. «Выступали» они с места, т.к. пробраться к столу не было возможности. Председатель громко объявлял: «Сейчас будет читать свои стихи поэт такой-то». Ну и читают же они! Будто диакон на многолетии. Воят, а не читают. Я так ничего не поняла, ни одного слова. Воеет так какой-нибудь поэт, а потом просто человеческим голосом: «Все». Очень это комично выходило. Некоторые стихи были очень недурны, я думаю, многие бы выиграли, если бы их прочесть просто глазами.

Да, я забыла. Еще до спектакля ко мне подходит какой-то субъект. «Вы — Кнорринг?» — «Да». — «Я — Баранов», и, видя мой недоумевающий взгляд, добавляет: «гардемарин». Познакомились, пошел он к Папе-Коле.

Так вот — читают один за другим. Вдруг откуда-то раздается голос: «Господа! Здесь находится поэтесса Ирина Кнорринг». Председатель засуетился, ищет. Положение безвыходное. Стоит около

меня, и я сама пошла на помощь его розыскам. «У меня, — говорю, — ничего нет с собой, я не могу читать». — «А вы наизусть». За мной какие-то дамы сидели, просят, неловко. Я собралась с духом, встала и громко, отчетливо и просто прочла «Мысли вслух». Это было очень к моменту, и успех на мою долю выпал большой. Председатель просил прочесть еще, и я прочла «Портрет». Опять — не буду скромничать — те же шумные аплодисменты. Потом уже сам секретарь подошел ко мне с блокнотом и записал меня в Союз, подходили знакомиться; одним словом, я была центром внимания, мне казалось — я наконец попала куда следует, нашла то, о чем так долго думала в Сфаяте. Когда обратно мы ехали на метро, а затем от самого Лувра на трамвае мимо Concorde и выставки, я была — скажу без преувеличения — счастлива, говорила себе: началось. А теперь мне кажется — было ли это когда-нибудь?

В воскресенье мы ходили в Musée de Cluny*. Там много интересного. Я, было, дома хотела написать стихотворение, начала:

Ряд низких полутемных комнат,
Большая цепь, звено к звену.
Они средневековые помнят
И отражают старину.

Там есть что посмотреть, хотя б снаружи.

А что произошло за неделю? В воскресенье мы с Мамочкой получили от мадам Гофман работу — вышивать (киевским швом) рукава на пальто. Шва этого мы не знали, провозились долго и вышли плохо. В четверг я поехала отвозить. Вера Федоровна мне и говорит: «Вот что. Вам нужно научиться шить. Приходите завтра ко мне, я вас научу также и шелком вышивать, а так у вас работа не пойдет». Пошла в пятницу к ней (полтора часа езды), проработала у нее воротник, вышивала и шерстью, и шелком. Ничего. Наладилось. Потом дело повернулось так, что она хотела взять меня к себе в помощницы, у нее уже работала так одна барышня (но она и живет у нее). Сначала, говорит, пока вы учитесь, я вам буду мало платить, потом — больше. Вот вы приходите во вторник — мы тогда и сговоримся». Работы не дала — нет. И уж знаю, что ничего и в мастерской. Дома советуюсь — поступать к ней или на завод. Она симпатичная, у нее легко и просто, но вопрос, сколько все-таки я буду получать? И вопрос важный.

А к вечеру, несмотря на прекрасную летнюю погоду, у меня разболелась нога и так разболелась, что ночь я почти не спала, стонала,

* Музей Клюни (фр.).

даже плакала от боли. Мамочка вставала, делала мне массаж — на два часа облегчает, а потом опять. Я себя чувствовала такой жалкой, несчастной калекой, что мне и жить больше не хотелось. А еще на-завтра вечер поэтов, вечер, куда я войду уже членом. Мамочка де-лала мне массаж, и вечером, сильно хромая, я могла все-таки пой-ти. Мы все трое пошли. Мне было немножко жутко. Знакомых у меня еще нет, с кем я буду, что и как. Да, утром в «Новостях» я уз-нала, что среди других буду читать и я. Это меня тоже взволновало. Одно дело, когда читаешь экспромтом, и другое, когда стоишь в программе. Стала перебирать свои черновики и пришла к очень грустному выводу, что мне нечего читать. Они (стихи. — *И.Н.*) все — обо мне и о Сфаяте, нужно знать и меня, и Сфаят, а так они ровно ничего не дадут. Стало ясно, что так стихов не пишут, нужно ис-кать какие-то новые пути. Особенно горько я это поняла после ве-чера. Выбрала три-четыре стихотворения, взяла на всякий случай черновики и пошла. Папа-Коля меня убеждал «не сидеть только с нами»: «Чего тебе с нами! Ты с молодыми поэтами сиди». Как я во-шла, один из поэтов (фамилии не помню) подошел ко мне, потом я видела секретаря (кажется, Юниус); тот сначала не узнал меня, потом был очень любезен, посадил меня вперед, познакомил с Ге-оргием Ивановым. Доклад читал Георгий Адамович. Он сам мне понравился — нервный, видно, что поэзия для него то, чем он жи-вет. Доклад его мне также понравился, хотя не со всем я согласна. Но общий принцип, что поэзия должна стремиться к простоте, ме-ня обрадовал. Вообще со многим я должна была согласиться. Тема его доклада «Ошибки поэзии», и здорово рассекал нас, молодых поэтов. Пусть справедливо и интересно то, что он говорил, но чи-тать стихи после него не хотелось. Первым выступал Георгий Ива-нов. Ну и «молодой поэт», из компании Гумилева... Потом предсе-датель объявил меня. Настроение было сбито, но читать при-шлось. Я отклонила все выбранные дома стихи и прочла наизусть то, что пришло мне в голову после доклада, и вполне подтвердила слова Адамовича о молодых поэтах. Я прочла «Не широка моя до-рога». Похлопали. Председатель шепнул: «Еще что-нибудь». Ло-маться не хотелось, и я прочла «Неведомому другу» и совершенно разочарованная села на место. Вечер был скучнее прошлого, может быть, это мне так казалось. Меня расстроило не отсутствие на этот раз успеха; я знала, что прошлый раз было так только потому, что я выступала неожиданно, удачно было стихотворение, и потому еще, что среди бесконечных завываний раздался простой человеческий голос. А тут передо мной выступал только один Г.Иванов, который все-таки, как-никак, не мальчишка и не особенно завывал, да и я

сама читала скверно, вероятно потому, что мне не хотелось. Когда мы уходили, на лестнице меня обогнал какой-то господин: «Хорошо, хорошо, барышня. По первому продолжайте, а не по второму, второе плохо, не ломайтесь. Первое очень хорошо, по первому идите. Так и Адамович сказал». Я совсем расстроилась. Неужели же «Неведомому другу» — ломанье? То стихотворение, которое я считала хорошим, Адамович, повторивший в своем докладе все мои положения, — вдруг нашел ломаньем. Вот тебе и раз. Мне хочется познакомиться с Адамовичем и поговорить с ним, если он не будет держаться «генералом». Я в Париже только два стихотворения написала. Мне ясно теперь, что я стою в тупике, что нужно искать чего-то нового. Даст ли мне это «Союз молодых литераторов и поэтов в Париже»? Или придется опять ползать в темноте и из одного тупика лезть в другой? Страшно мне.

В воскресенье утром рано к нам пришел Илюша (я еще не писала, что он был у нас?), и мы отправились на экскурсию. Хотели пойти в Grand Palais*, где помещается музей живописи, но он теперь присоединен к выставке, и мы пошли оттуда в Лувр. Переходили Champs-Élysées**, Place de la Concorde, — Илюша был прямо в восторге. Мы с ним пошли в Лувр, а Папа-Коля с Мамочкой отправились на собрание Респ<убликанско>-Дем<ократического> Объединения. Я водила Илюшу по знакомым залам, потом пошли с ним в морской отдел и осмотрели те залы, где прошлый раз ничего не видели от усталости.

В понедельник был Нёня, вечером Сережа и Андрюша. Андрюша и не думал жениться (я это уже знала). Одно меня порадовало, что он сильно полевел.

Во вторник поехала к мадам Гофман. Проработала у нее весь день. Вышивала шелком уже тонкую работу. Хорошо, только медленно. Вечером она говорит: «Ну что же? Работы сейчас нет. Приходите в четверг, может, будет работа. Я уже заплачу тогда. Тогда поговорим, если хотите работать у меня». Работы нет, я это знала и решила поступить на «Houbigant»***, тем более что Алекс<андр> Алек<сандрович> был настолько любезен, что ездил к Дмитриеву и достал у него нам всем рекомендательное письмо к директору, а директор — его друг. Потому-то там столько русских и работает.

Вечером были в Сорбонне на празднике «Дня русской культуры». Ирина Энери, Могилевский и еще какой-то виолончелист

* Большой Дворец (фр.).

· ** Елисейские Поля (фр.).

*** Парфюмерная фабрика «Убиган» (фр.).

играли «Трио» Чайковского; пел Смирнов, замечательное сопрано — Ксения Бельмас. Вообще, выступали настоящие артисты. И столько новых чувств и волнений, какой-то легкости, чего-то хорошего, хорошего. Ну, на «поэтические» темы я писать не умею, вот проза.

Это было сегодня. Я собралась ехать на «Houbigant». Уже когда я уходила, Папа-Коля крикнул из окна, что он тоже пойдет. Пошли вместе. «Тебе-то зачем идти?» — «Во-первых, тебе помочь». — «Мне не надо». — «Ну, сам буду устраиваться, а потом просто не хочу дома сидеть». Вот она, правда-то. Да, это верно, что дома сейчас тяжело.

Приехали в Courbevoie*, сели на трамвай, доехали, дошли. Вошли во двор, я стучу к консьержке. Высовывается. «Puis-je voir m<onsieur> Chauvin?» — «Non»**. Когда я сказала про письмо, она сказала: «Montez»***, открыла его и велела написать адрес. Я настаивала, что мне нужно видеть директора. «Non. C'est défendu****». Письмо я передам сегодня, сейчас месье нет. Запишите ваш адрес». Я так и заплакала. Она сует мне бумажку, где по-русски написано, что лица, желающие поступить на завод, должны написать свой адрес и возраст. Я написала на дмитриевском письме, что будет — не знаю. Глупо, что расплакалась. Даже консьержка переменила свой суровый тон. «Pas de travail?»***** Да, нигде, нигде». Вернулась домой совсем убитая. Нельзя, конечно, так скоро падать духом, но что же делать? Как искать работу? Поеду завтра к Гофман; конечно, работы не будет. Я думала, что, может быть, трудно работать; но никогда не думала, что так трудно искать работу.

Господи, я могла бы написать еще несколько страниц, но вот уже пришел Папа-Коля из консерватории. По лицу вижу, что ничего и там не узнал; вернее, узнал то, что со скрипкой ему не устроиться.

Получила сегодня членский билет из Союза.

30 июня 1925. Вторник

Я уже забыла, на чем остановилась прошлый раз и когда это было. Помню, что уже после этого я поступила к м<ада>м Гофман и вот работаю у нее. Она сама очень симпатичная, но одно мне не-

* Курбева (пригород Парижа) (фр.).

** «Могу ли я увидеть месье Шовена?» — «Нет» (фр.).

*** Поднимитесь (фр.).

**** Нет. Это запрещено (фр.).

***** Нет работы? (фр.)

приятно: все-таки она меня эксплуатирует. Ведь за первую неделю я получила всего 35 франков. Не знаю, с этой или с прошлой буду получать 60. Не много, но ведь ничего другого нет. Иногда бывает работа и Мамочке. Одна неделя была такая, что каждый день я вставала в 6½ и ложилась в час или в два. Я брала еще работу у некой м<ада>м Масловой. Пошла к ней по объявлению. У нее — сумки, вышиванье тоже киевским швом, но только шелком. Я расхрабрилась и, посоветовавшись для очистки совести с Верой Федоровной, взяла. Работа спешная, приходилось засиживаться долго за полночь. Тут еще такая деталь: на меня очень хорошее впечатление произвела м<ада>м Маслова. Она очень участливо отнеслась ко мне, все расспрашивала, и я ей все откровенно рассказала, и где я работаю, и сколько получаю — об этом не нужно было бы говорить. Давая первую сумку, она мне сказала, что это какой-то особенный рисунок и она за него платит 30 фр<анков>, а при расчете дала 25. Мне было очень неприятно, но я убедила себя, что она просто забыла, что это особенный рисунок и т.д. И дома об этом не сказала. Слабость это, что ли? Вышила я у нее всего две сумки, последнюю мне помогала Мамочка, т.к. я одна не успела бы, и вышила плохо, так что мне пришлось вынести довольно неприятную сцену с самим Масловым: «Вот передаете работу. Вы знаете, что так можете совсем лишиться работы?» и т.д. Мне было очень горько, хотелось скорее уйти, а приходилось дошивать, т.к. не хватило ниток и подправлять Мамочкину работу. Вернулась я домой тогда в одиннадцатом часу. Ну да это все не важно, гораздо хуже, что работы больше нет. Обещала написать, когда будет, но для меня ясно, что она мне больше не даст.

То воскресенье из-за этой работы мы просидели дома.

Всего три раза я была с тех пор в Союзе молодых поэтов. Первый раз пошла с Нёней, убедила его, что он не разочаруется. И действительно, он не разочаровался, хохотал как дикий. Я только боялась, что он вслух захохочет. Познакомилась с Кобяковым и Кнутом. Меня просили читать, и я прочла: «С неразгаданным именем Блока». Успеха, конечно, никакого. В другой раз пошла с Папой-Колей. Вечер был посвящен Довиду Кнуту, который выпустил свой первый сборник. Некоторые стихи у него, действительно, хороши. Разговаривала с Туган-Барановским, в некоторых вопросах мы с ним сошлись. Приглядывалась и к поэтессам. Еще в тот раз, когда мы были с Нёней, выступали две: Елена Майер и Валентина Иегансон. Майер ломучка, и читает и пишет так, что непонятно. Совсем не понравилась. Зато очень понравилась Иегансон. Во-первых, сама по себе она славенькая, во-вторых — стихи

хорошие. Мне хотелось с ней познакомиться, но я не знала, как это сделать, и когда проходила мимо, она показалась мне очень сердитой. Да, как тогда, когда я ходила с Папой-Колей, я сказала Терапиано (председателю), что читать не буду. А когда он кончил весь список и сказал: «Может быть, кто-нибудь из присутствующих поэтов нас поддержит?», вдруг поднялся шепот: «Кнорринг, Кнорринг». Мне было и приятно, и неприятно. И очень приятно, и очень неприятно. Я прочла: «Я люблю прошлогодние думы» и «Меня гнетут пустые дни». Хлопали много, еще бы, если уж вызвали, так и хлопайте! Туган-Барановский мне говорил о том, что нужно бы организовать интимный кружок, посвященный исключительно критике, другой поэт — не знаю фамилии — спрашивал, отчего я не бываю в кафе La Bolée, где собираются поэты. Ясно, что или этот союз бездействен и не имеет никакого значения, или все они живут своей интимной жизнью, куда мне никак не попасть. И то, и другое, пожалуй, одинаково верно.

В последнюю субботу я пошла одна, Папа-Коля уже позже пришел из редакции. Я пришла рано, застала там только Терапиано и Монашева. Сидели, разговаривали. Потом познакомилась с Натальей Борисовой, вернее, не познакомилась, а поздоровалась. На ее месте я бы обратила на меня несколько больше внимания. Читать категорически отказалась, и на этот раз меня никто не подвел. А вечер был очень интересный. В первом отделении читал Владислав Ходасевич. Я в первый раз его видела и слышала, и даже вообще узнала его стихи. Некоторые очень хороши, но многие из них обладают одним общим недостатком — длиннотой. Когда я заметила об этом своему соседу, тому, чью фамилию не помню, он возразил, что «из них ничего не выкинешь, ничего нет лишнего». Это так, сделаны они хорошо, но все-таки было бы лучше, если бы они были короче. Вот этой-то ахматовской черты всем из теперешних поэтов и не хватает.

Уже после окончания, когда я одевалась, Монашев мне говорит: «Вы можете остаться на две минуты? С вами хочет познакомиться Иегансон?» Конечно, я осталась. Пока он ходил за ней, я стояла и думала, что нужно будет сказать, когда мы поздороваемся. Но слова нашлись у нее настолько простые и ясные, приветливые слова. Не помню их. Помню только, что мы уговорились встретиться на следующем вечере и тогда поговорить. И с тех пор мне очень хочется, чтобы скорее была суббота, я знаю, что буду не одна, что там будет человек, который меня ждет. И странно, мне хочется именно женщину. Кто знает, может быть, мы с ней будем друзьями? А ведь у меня уже пять лет не было подруги.

В позапрошлом воскресенье были в Люксембургском музее. Очень там мне понравилась скульптура; одна произвела на меня большое впечатление, а вот сейчас забыла — что. Живопись тоже красива, а в общем, я ведь ничего не понимаю ни в живописи, ни в скульптуре. Мне даже не хочется вслух говорить о том, что мне понравилось, мне всегда немножко страшно за мой вкус.

В прошлое воскресенье хотели пойти в музей восковых фигур, пришли туда около двенадцати, а оказалось, что он открыт с 1½. Поехали тогда в Musée des Invalides*. Там в капелле — на меня громадное впечатление произвела капелла Наполеона — камень с его могилы на Св. Елене, венок, гробница и маска его, мертвого. Особенно эта маска и произвела такое жуткое впечатление. В зале Наполеона под стеклом — его треуголка и, что меня особенно как-то тронуло, это — серый сюртук. И вдруг Наполеон стал для меня чем-то большим и близким. Трогательно близким. Вообще много интересного: знамена (в числе трофеев — русское знамя), картины, документы. А сама знаменитая могила Наполеона мне не особенно понравилась, но и не особенно разочаровала. Немного странно показалось, что он лежит, словно на дне бассейна, но не скажу, чтобы не понравилось. Но что сильно покорило, это цветной пол. По-моему, надо было только два цвета — черный и белый. Ну, можно еще красный гранит, но никак ни эти желтые и зеленые треугольники.

Еще за это время были у нас Девьеры. Кира Васильевна мне понравилась, только жаль, что она мажет губы. А как начали говорить о поэзии, так совсем интересно было.

На днях получила письмо от Наташи. Слава Богу. Мне казалось, что в Европе мы стали дальше, чем в Африке. Да, может быть, это так и есть. Нет писем от Лели. Зато Мима пишет чуть ли не каждый день. Ничего, пусть пишет. Seriously относиться к его письмам я не могу, а все-таки мне приятно.

12 июля 1925. Воскресенье

Вот наконец опять выбрала минутку для дневника. На чем я остановилась в прошлый раз? Это было уже почти две недели тому назад. Что же было за это время?

Опять получила работу от Масловой. В среду взяла работу у Галаниной, говорили, что выгоднее. Вышивание по коже. Проводилась я с этой работой до сегодняшнего дня, сломала две иголки,

* Музей Инвалидов (фр.).

намозолила пальцы, вечером отнесла и получила 25 фр<анков>. Боюсь, что не получу больше работы и у Масловой. У Гофман работаю по-прежнему. Теперь езжу к ней на поезде, она мне выхлопотала Carte de la semaine*. Это очень приятно: 1) дешево, 2) скорее и 3) приятно просто ехать на поезде, и 4) ближе до вокзала гораздо, чем до трамвая. Ну, и что же еще? Не о своей же работе писать!

В прошлую субботу был последний, открытый вечер всех поэтов. Иегансон не было. Читал Лев Шестов о Чехове. По правде сказать, я так устала, что форменным образом спала. Я не могу ничего передать из его доклада. Доклад затянулся. Во втором действии первым читал какой-то прибывший из Бельгии молодой поэт. Читал он поэму и такую большую, такую нагроможденную, что я ее и не слушала. Потом Терапиано назвал меня. Я было собиралась прочесть «Балладу о ликвидации», но тут решила сократить и прочла «В этот мир холодный и старый» и «За рассеянный взгляд в пространство». Мне хлопали больше всех, да и неудивительно: за краткость. После меня читал еще Кнут, и вечер закончился, т.к. было поздно. Предполагали устроить собрание сегодня, но я извещение не получала, должно быть ничего не вышло. Когда я уже собралась уходить, ко мне подошла молоденькая барышня и сказала, что ей нужно со мной поговорить, мы с ней сотрудничаем в одном журнале. Я сразу узнала ее: Галина Кузнецова. Говорила, что хорошо знает меня по моим стихам — «ведь это дневник». И ей писал обо мне, т.е. о моем письме, Неандер, которого она хорошо знает. Уговорились встретиться на следующем вечере. А когда он будет?..

А все-таки я там чужая, и долго еще буду чужой. А где я своя, нужная, «настоящая», употреблю опять сфаятское слово?

Париж уже с субботы принял праздничный вид. Всюду развешаны флаги, цветные фонарики, расставлены перед всеми барами столики, выстроена трибуна для оркестра, и — танцуют. Даже днем сегодня я видела несколько таких уличных дансингов.

Ну вот и все. Раньше хоть на нескольких листах писала, а сегодня и того не могла набрать. Стихов уже две недели не писала. Пишем — тоже. Ухожу из дому в 8 часов, прихожу в 7. Вечерами тоже работаю, самое меньшее — до двенадцати, а то и до 2½ приходилось. Где же тут писать?

Никого я не вижу, живу одна, и очень мне себя жалко. Париж сам по себе меня не разочаровал, а люди...

Два воскресенья подряд мы просидели дома.

* Недельная карта (фр.) (проездной билет).

17 июля 1925. Пятница

Как скоро время идет. А что было?

В понедельник вечером ходили в город в район Concorde. Смотрели на праздничный Париж, на цветные фонтаны на выставке, на иллюминированную Эйфелеву башню. А во вторник на Pigalle, на bête*, карусели и всякие такие штуки. Умеют французы веселиться, я давно так не смеялась. И вот — опять будни, и какие не-веселые. Писать не хочется.

2 августа 1925. Воскресенье

Опять давно не писала дневник. Теперь я знаю, что такое — нет времени, год тому назад для меня это было дико.

В прошлое, т.е. в позапрошрое, воскресенье были в Musée Carnavalet**, музей истории Парижа, очень интересно. Жаль только, что я тогда уже чувствовала себя плохо, пришла и слегла. Два дня не ходила на службу.

А в субботу, в прошлую, прихожу домой и застаю дома какое-то необычное настроение. Сначала я поняла, что что-то случилось. Оказывается, только что получено письмо из Houbigant, т.е. Chère amie***, меня и Мамочку, вызывают. Поэтому и настроение такое. Мамочка волновалась, из-за чего-то у нас возник спор, и все мы перессорились. Для меня сразу было очевидным, что мне не надо бросать мою работу, а работать на фабрике одной Мамочки — мне казалось как-то невозможно. Мне не хотелось поступать и казалось, что Мамочка думает, что я ловчу, что это эгоистично. Этого ничего, конечно, я вслух не сказала, а просто расплакалась. И потом — не люблю никаких колебаний. Порешили наконец на том, что на следующий день я поеду к Вере Федоровне и откровенно поговорю с ней.

Назавтра мы поехали в Версаль. Вся прелесть Версаля для меня пропала, я все думала о том, как я поеду на Marcadet**** и что я буду говорить. К несчастью (к счастью!), я ее (Веру Федоровну. — И.Н.) не застала дома. Я в отчаянии.

В понедельник рано утром поехала с Мамочкой на фабрику. Нас сразу повели в бюро и взяли бумаги. Я сказала, что сегодня не

* Праздник (фр.).

** Музей Карнавале (фр.).

*** Дорогая (фр.).

**** Улица Маркаде (фр.).

могу начать работу, т.к. должна заканчивать другую, и приду в четверг. Мамочка осталась. Очень мне было ее жалко.

Вера Федоровна мне решительно советовала остаться у нее и этим совсем меня успокоила.

Пришла домой. Рассказываю — что и как — Папе-Коле. У Мамочки работа кончается в 6. Начинаем ждать с половины 7-го. Мне В<ера> Ф<едоровна> дала рукав — работаю. 7 часов — нет. 7½ — нет. Наконец я уже больше не выдерживаю, бегу к трамваю. Нет. Жду. Нет. Возвращаюсь, совершенно убитая, домой. По дороге встречаю Папу-Колю: «Не пришла?» — «Нет». — «Иди к трамваю». А сама скорее на кровать и — реву. Прямо реву. Уже 9. И вдруг — был такой момент — я совершенно ясно почувствовала, что что-то случилось, что иначе невозможно, что если она даже и заехала не в ту сторону, то все равно должна была бы уже выбраться. Или представила себе, как она ищет метро и не может спросить... Наконец, не выдержала и зареванная пошла. Только вышла из калитки — слышу ее голос. Оказывается, занятия у них кончаются в 6, а по метро она, действительно, поплутала.

Назавтра я проводила ее до ворот и, если бы не проводила, так она бы проехала до следующей остановки.

А у Гофман была спешка, и я всю неделю приезжала часом раньше. А дома вышивала рукав. Заработала в эту неделю 100 фр<анков>, а Мамочка что-то совсем немного. Ей, бедной, приходится вставать в 5 часов, чтобы ехать поездом 5-55. Если она поедет со следующим (6-48), то опоздает на 5 минут. А так ей больше часа приходится ждать у запертых ворот.

Сегодня мы собирались опять ехать в Версаль, но мне надо к завтрашнему дню кончить рукав (уже другой), и я сказала, что не поеду. После долгих разговоров и слез даже Мамочка с Папой-Колей уехали. Наконец я осталась одна. Стала разбирать фотографии, взгрустнулось. Стала разбирать письма.

11 августа 1925. Вторник

Вот, совершенно случайно, села за дневник. Утром Папа-Коля будит меня: «Ирина, я немножко проспал». — «Сколько?» — «Четверть восьмого». Я встала, оделась, умылась, причесалась, напилась кофе, и только когда собралась уходить, то заметила, что не 8 часов, а 7. Досадно, так хотелось спать. Вот почему я и села за дневник.

Писать в сущности нечего, и перо плохое, не люблю я это. Жизнь все та же, пустая и бессодержательная. Иной раз я задаю себе вопрос: где было больше смысла — здесь или в Сфаяте? Там мне бы показался нелепым такой вопрос. Единственно, что по воскресеньям мы ходим осматривать что-нибудь. Это — интересно и это —

единственное, что я реально представляла себе оттуда. И когда меня спрашивали: «Чего вы ждете от Парижа?» — я сводила разговоры на то, что там музеи есть. И это меня не обмануло. Еще я говорила, что «там люди есть», и вот в этом-то ошиблась. Говоря это, я имела в виду Волковых и «вообще». И странно. Волков писал такие хорошие письма, так тепло отнесся к Папе-Коле, когда тот приезжал в Париж, и вот — были мы у них, и сразу все как-то переменялось. Даже Папа-Коля стал по-другому к нему относиться, и прежних дружественных писем уже не могло бы быть.

О Кире Васильевне Девьер я «там» думала мало и не так представляла себе ее. С ней бы мне хотелось познакомиться поближе. Но я ее видела всего один раз, живут они далеко, а свободны только вечера. Кажется, я поеду как-нибудь к ним прямо со службы. Застану ли только дома. Сергей Сергеевич теперь шоферствует, а когда приходит домой — не знаю.

Еще познакомилась здесь с Верой Георгиевной Лишиной. Познакомилась с ней в трамвае, оказалось, что она тоже брала работу у Масловой; потом каждый день ездили вместе в Париж. Она милая, хорошо ко мне относилась. Теперь она переехала в город, звала меня как-нибудь зайти к ней, в субботу или в воскресенье. Зайду.

Идти к Кольнер или Тыртовой мне не хочется. Наташа сильно изменилась и, по-моему, к худшему. Странная смесь барышни с девочкой. Любит резкие суждения, все у нее дуры, со страшным самомнением и эгоистка. Не нравится мне она.

Из гардемарин иногда кое-кто заходит. Они все тоже переменялись. Общего между нами уже ничего не осталось. Есть они, нет ли — мне все равно.

О тех людях, среди кот<орых> я провожу день, напишу вечером, когда куплю себе хороших перьев.

6 сентября 1925. Воскресенье

Пишу письма (в проекте), пишу статью о Ходасевиче (по крайней мере, только и думаю о ней), а вот о дневнике даже и не думаю. Почти месяц молчала. А почему? Было много работы. Мамочка уже давно бросила завод, я еще, кажется, об этом не писала. Вообще, что произошло за это время?

Были в Jardin des Plantes*, в Trocadéro** (очень интересный музей этнографии), в Musée Rodin*** и в <Musée des>Invalides.

* Ботанический сад (фр.).

** Трокадеро (фр.).

*** Музей Родена (фр.).

Сегодня ходили в Лувр. Последние два раза с нами ходил Дима Матвеев. Настроение сейчас у нас очень горькое: вчера получила письмо из Праги. Во второй раз уже Прага нас надувает. Я, кажется, даже не писала о том, что было в этом году.

1 октября 1925. Четверг

Так давно не писала, что даже заржавело перо, а ведь хотела опять по-сфаятски писать каждый день. Что-то не получается. И так давно ничего не записывала, что затрудняюсь даже, с чего начать.

Ну, начну с того, что поступила уже давно на курсы французского языка при Нар<одном> Университете. Там чувствую себя в своей тарелке. Очень весело. Познакомилась с Таней Рафаэль, моей ровесницей (она не в нашей группе), один раз даже была у нее. У них в семье какой-то патриархальный быт, и не пойму — очень ли мне это нравится или очень не нравится. Сама Таня поет, учится в консерватории, братья скрипачи. Вообще, кажется, талантливая семья. Ну, об этом после, если еще когда-нибудь там буду.

Интересного было вот что. Сначала нужно сказать, что я уже давно не работаю у Гофман, сначала это был отпуск, а теперь, как мне кажется, это будет уже навсегда. Ну да об этом после.

Так вот, в прошлую среду вечером, когда я была на французском, вдруг приехал Евгений Иванович Столяров. И зовет нас ехать к ним. И тут же рассказывает, что разводится с женой. На другой день он приехал уже при мне и решил этот вопрос в категорической форме. Я было взяла спешную работу на это время, но все это уладили, и в пятницу он заехал за нами на своем автомобиле. Дорога — это одна прелесть.

Антонина Ивановна мало изменилась, только постарела как-то, вышла (она не знала, что мы приедем), посмотрела и заплакала. Такая была встреча. Папа-Коля взял с собой скрипку и вечерами они играли. Пишу так бестолково и отрывисто потому, что совсем разучилась писать. Жена Ев<гения> Ив<ановича> Justine или, как ее зовут, Jou, мне очень понравилась. Ей 23 года, но можно дать и меньше. Я так до самого конца не могла себя убедить, что она — жена. Первый день мы с ней только улыбались друг другу, на второй день перекидывались словами за столом, а последний день уже разговаривали. Какое у нее самообладание! Такая драма, и хоть бы виду показала. И ведь для нее эта драма вдвойне, т.к. во Франции на разведенную жену смотрят как на проститутку, да и замуж она выйти не может, так как брак по католическому обряду не расторгим. Да и сама она значительно ушла

вперед по сравнению с довильским обществом, и тяжело ей туда вернуться. А Ев<гению> Ив<ановичу> не нравится некоторое ее мешчанство, ее узкий кругозор, и, чтобы расширить его, он ничего не делает. А ведь у нее есть желание и какое еще! А он влюблен в некую Катерину Владимировну, кот<орая> старше его на десять лет, и вот порывает с Жоу. Но любит ее. Теперь — о самом Ев<гении> Ив<ановиче>: не могу понять, очень ли мне он понравился, или очень не понравился. Даже не знаю, нравится или не нравится мне его деспотизм. Он страшный деспот, и как бояться его Антонина Ивановна и Жоу — это просто смешно. А с другой стороны, только такой сильный и даже деспотичный человек мог бы заставить меня теперь полюбить его (именно теперь). Как-то он садился в автомобиль, а я смотрела на него из окна и поймала себя на одной нехорошей мысли. Нехорошей потому, что сейчас мое самое большое желание — я говорю от чистого сердца, — чтобы он остался с Жоу.

Мы ходили гулять, в воскресенье он нас катал на автомобиле, а в понедельник вечером я так смеялась, как очень давно не смеялась. Он рассказывал анекдоты, а так как он в Харькове был на сцене, то все это выходило у него очень хорошо и весело. Папа-Коля и Ант<онина> Ив<ановна> жарили фокстроты. Ев<гений> Ив<анович> устроил из кастрюль джаз-банд, мы с Жоу изображали что-то вроде танцев; потом Жоу пела бретонские колыбельные песни; кончили тем, что я читала свои стихи. На Ев<гения> Ив<ановича> они произвели сильное впечатление, а может быть, он просто представлялся. Ну довольно, дошла уже до стихов и до успехов — довольно. 7-го Евгений Иванович обещал приехать, вероятно, привезет Антонину Ивановну и, может быть, и Жоу.

Стихов давно не писала, а это самое плохое.

23 октября 1925. Пятница

Так вот что было вчера.

Получила я из Союза повестку, что в четверг будет «экстроординарное» заседание в каком-то кафе на rue des Écoles. Сначала я обрадовалась: вот, думаю, наконец-то увижу их в другой обстановке; но, по мере приближения четверга, настроение падало. После лета был один вечер, и на нем все было по-прежнему. В самый четверг настроение совсем упало, и я даже вслух сказала, что «мне что-то не хочется идти». К тому же погода была плохая, но после некот<орых> колебаний я все-таки пошла. Но была беспокойна. Даже на St-Lazare в метро записала в записной книжке кое-что из того, что меня беспокоило. Я вполне поняла свое волнение и нежелание идти, чего, напр<имер>, не могла понять Мамочка, а Папа-

Коля даже сердился. А причина та, что я чувствую себя там совсем не в своей тарелке, я там совсем чужая, и в моем положении на вечерах есть что-то жалобное и унижительное, напоминающее Сфаят. Я задавала себе вопрос — почему? Если причина кроется во мне самой, в моем характере, застенчивости и неумении подходить к людям — так почему же в нашей группе на курсах французского мне так легко и просто? Почему с какой-нибудь Хайтович я могу найти общий язык, а с поэтами — нет. Жаль, что это не простые смертные, а поэты. Потом вот еще, может быть, в чем причина — я младше их всех по возрасту; пожалуй, всех, за исключением разве Борисовой. В кафе я никогда не бывала, и мне просто непривычно и немножко смешно с такими лицами, как Сидерский, Луцкий, Струве и др<угими> играть в Богему.

Да, так вот с такими мыслями я шла на вчерашнее собрание. Почему-то мне запомнился 32-й номер <дома>, а там никакого кафе и нет. Мне было просто досадно, что я не нашла. Я так бродила около получаса, все ждала, что, может быть, кого встречу из знакомых поэтов. Никого. Пошла уже домой, было досадно, но не то, что не попала на собрание, а то, что уж очень глупо — не найти кафе. Нет, больше: я нашла его. Я увидела на другой стороне Сидерского и повернула за ним. Я видела, как он вошел в кафе на углу. Посмотрела: №22. Тут только я сообразила, что, вероятно, перепутала номер. Осмотрела кафе и поняла: «тут». Мимоходом, как бы невзначай, заглянула в окно и во второй комнате за перегородкой увидела компанию. Я видела только одно лицо — веселое и смеющееся — лицо Терапиано. И вдруг с удивительной четкостью представила, как я туда войду, буду смущаться, сяду где-нибудь скромненько, и буду перебрасываться глупыми фразами с соседом, кот<орый> с любезным видом будет их выслушивать. И, не оглядываясь, быстрыми шагами, уже решительно, пошла в метро. На душе было горько. Я пробовала дразнить себя: «Боишься? Не смеешь?» и почти вслух добавляла: «А ну их к черту!»

Почти у самого метро встретила Юниуса, т.е. я думаю, что это и есть Юниус. Мы с ним не знакомы, но мне показалось, что он поздоровался. Почему-то эта встреча меня обрадовала; очевидно, он там скажет, что встретил меня; значит, там узнают, что я приезжала на собрание, что я не безразлична к ним; ну, пусть там поймут, что что-нибудь перепутала.

Чуть-чуть не опоздала на поезд, приехала домой, немножко не по себе. Нужно было представляться; что я не нашла, удивиться и выразить досаду, прочтя в повестке №22. Очевидно, я плохо все это

выполняла, т.к. Папа-Коля уж очень много охал и досадовал, и мне кажется, понял.

Ну а какой же из всего этого вывод? Трусость? Малодушие? Или просто болезненное самолюбие?

25 октября 1925. Воскресенье

Ну а вот, что было вчера.

Еду на собрание немножко в тревожном состоянии. В воротах встречаю Монашева, поднимаемся вместе. Народу мало, стоим, разговариваем. Подошел Мамченко, с ним поговорили. Потом подходит Терапиано: «Ну, что? Как дела»? да «Что написали?» Потом: «А вы не знакомы с моей женой?» — «Нет». — «Так позвольте я вас познакомлю». Подводит меня к дивану, где сидит Майер и худенькая брюнетка. «Вот, познакомьтесь: Ирина Николаевна Кнорринг, Ирина Николаевна Терапиано». Она не красивая, даже не хорошенькая, но, по-видимому, симпатичная, так, по крайней мере, мне показалось, хотя у меня было предубеждение против нее, т.к. она его жена. Майер тоже произвела на меня благоприятное впечатление, судя по ее стихам, я ее представляла совсем другой. Познакомилась еще с каким-то поэтом, кот<орый> говорил, что поэт, как всякий мастер, должен работать, т.е. по несколько часов в день писать стихи.

Провожая меня, Монашев рассказывал о том собрании, о том, за что Кобяков исключен из Союза.

Ну ничего я не могу писать сегодня. Что бы я ни делала, что бы ни начинала думать, мысли, самые глупые мысли возвращаются к одному и тому же, а перед глазами выплывает одно только лицо: то озабоченное, то веселое, и прелестная улыбка Юрия Константиновича.

1 ноября 1925. Воскресенье

Шили мы с Мамочкой, шили нашу последнюю работу и вот решили сделать получасовой перерыв. Она легла спать, а я — за дневник. Папа-Коля на заседании. Надо бы хоть что-нибудь передать из того, что за эту неделю произошло. Хотя, в сущности, ничего не произошло.

В понедельник, за обедом, Папа-Коля дает мне «Возрождение»: «Прочти». Читаю в хронике, что изд<ательство> «Птицелов» готовит к печати сборники Кобякова, Монашева и «Ирины Кнорринг. “Стихи”». Я поняла, от кого исходит заметка, т.к. за такие-то самочинные выступления Кобяков и был исключен из Союза. Не то чтобы рассердилась, а просто раздосадовалась, и больше

всего на то, что книга не выйдет. И еще на то, что после всей истории с Кобяковым не хотела очутиться на его стороне. Написала тотчас же Терапиано. Он успокоил, оказывается, в «Днях» тоже была такая же заметка, даже с именем Терапиано.

Что же дальше?

Папа-Коля усиленно уговаривал меня дать «Стрелочка» в «Гротеск». Я не хотела, и, помимо всего, у меня было на это свое основание: когда «Гротеск» открывался, в Союз были присланы именные приглашения, — не знаю, всем ли, думаю, что да, — но меня там не было. А Папа-Коля этого не знает, и уговаривал так настойчиво, что я наконец согласилась поговорить с Тэффи. Пошла в «Дом артиста». Еле нашла там несколько человек. Такие тоняги, и мордovorот устроили. Адреса Тэффи я так и не добилась, узнала только № телефона. Но один вид и обращение этих артистов сразу решили и уже окончательно, что никакой канители с моим бедным «Стрелочком» я поднимать не буду.

Сегодня послала в «Золотой Петушок» мое стихотворение, посвящ<енное> ему, написанное в прошлом году, и коротенькое письмо. Знаю, что Папа-Коля будет теперь уговаривать меня дать «Стрелочка» в «Петушок». Нет, никуда я не хочу.

Да, Адамович все-таки поместил мой «Вечер» в «Звене». Сегодня в «Новостях» было объявление. Я думала, он и тут к чему-нибудь придерется.

Ну, полчаса прошло, нужно кончать.

5 ноября 1925. Четверг

Написала большое письмо Дику. Написала большое письмо Леле. Начала писать дневник и сразу, как только раскрыла, поняла, что себя-то (так! — *И.Н.*) ничего и не напишу. Так всегда бывает. Не выходит у меня ничего с дневником, может быть, потому, что уж очень я его запускаю. Надо опять взять за правило писать по возможности чаще, ведь в конце концов всегда найдется, что отметить за прожитой день, на чем остановить свое внимание.

Очень сейчас плохо в материальном смысле, а в зависимости от него и в моральном. Дома только и слышишь: «Чем платить за квартиру?» да «Хорошо бы масла купить», или что-нибудь в этом роде. Вчера я отвезла Гофман последнюю работу. Просила зайти в пятницу — «может быть, что и будет». Да мало на это надежды.

Я бы ничего не имела против еще долго продолжать наш «режим», т.е. «суп и картошку». Голода я еще до сих пор не знаю и рада с ней (с Лелей. — *И.Н.*) о нем говорить, а вот есть много мелочей у бедности, кот<орые> просто жалобны. Разве не жалобно,

напр<имер>, что Папа-Коля в метро снимает шляпу, так как всю ее моль проела. А я тоже перчатки ношу только на улице, а в метро и в поезде снимаю, неловко как-то, когда все пальцы вылезают. Конечно, глупо этого стесняться, а все-таки стесняешься. Но нет, не это главное, а то, что нечего делать. Утром не хочется вставать, т.к. не знаешь, чем заполнить день. Сейчас я с ужасом думаю, что впереди еще целый вечер. Ляжешь спать, и опять мученье, опять бродят в голове самые тяжелые мысли. Я сказала «началось» и решила быть твердой. Если бы не грустные мысли, кот<орые> ничем нельзя отогнать, я бы даже высоко задрала голову, в бедности есть не только унижение, но и своеобразная красота.

Искать работу? Как? Где? Я такая беспомощная, я даже не знаю, как искать работу. Это немного смешно, но больше — грустно.

10 ноября 1925. Вторник

Господи, да что же это?

С самой пятницы я была больна. Не была на уроках, не была на вечере у поэтов. Дома. А что делать дома? Не знаю, что. Знаю только, что сегодня я дошла до того, что пошла в другую комнату и без мыслей, но и без слез, легла на кровать. Мамочка испугалась, что там холодно, и раскрыла дверь. Тогда я встала у стены так, чтобы меня не было видно, и заткнула уши, чтобы ничего не слышать. А разговор шел о том, что можно ли будет раскрывать окно, если заложить войлоком желобок между стеной и рамой. Во мне все так и кипело.

15 ноября 1925. Воскресенье

Эх, была не была! Послала своего «Стрелочка» в «Петушок». Ответ на стихотворение я получила от Долинова, говорит, что всем так понравилось, что кто-то присвоил его себе и просит меня прислать ему «копию». А я вместе с ним и другой сюрприз подсунула. Хороша, нечего сказать.

Получила наконец письмо от Наташи. Ей, бедной, очень тяжело. Владимир Николаевич разводится с Серафимой Павловной. Теперь, кажется, утихомирились, но все же... Ему, должно быть, уже за 50, а собирается жениться на двадцатилетней барышне. В таком возрасте ломать жизнь, да еще после всего пережитого, это уже что-то дикое.

А как подумаешь, как много людей несчастных, даже среди моих близких и родных. При этой мысли становится и страшно, и интересно.

17 ноября 1925. Вторник

Вчера получила письмо от Тани. Вот так неожиданность! Сегодня напишу ей. Вообще надо написать много писем: Тане (я стала писать по новой орфографии), Дику, Нине, Дёме. Наташе уже отправила. И вот ни в одном из этих писем я не могу высказать саму себя, написать хотя бы те бестолковые откровенные фразы, кот<орыми> переполнено мое письмо к Наташе. В самом деле, кому из этих четверых я могу написать о том, что я задыхаюсь в домашней атмосфере, что так истрепали нервы все эти ссоры и постоянные упреки. Да что говорить? Тошно мне.

19 ноября 1925. Четверг

Вся моя жизнь была суррогатом жизни.

С тех пор как я стала сознательно смотреть на мир, нигде и никогда я не была настоящим человеком. Чем оправдать мое существование? Во всем мире существует очень мало людей, которые меня любят, и еще меньше, кот<орые> меня не любят. Я больше люблю людей, чем люди меня любят. Это мое несчастье — привязанность к людям. Это семейная черта — от отца и деда. Моя смерть огорчит очень немногих. Но я никогда не умру по своей воле, даже тогда, когда не останется никого из этих немногих.

Боюсь я смерти? Нет. Потому что смерть — мгновение. А того, что будет после смерти? Уничтожения я не боюсь; я существую для очень немногих и исчезну только для них; уничтожения для самой себя не боюсь потому, что прежде всего уничтожится сознание. В загробную жизнь я не верю, в переселение душ тоже не верю, а если это так, так будет только интереснее. О смерти я никогда не думаю.

Больше всего я боюсь старости. А моя старость придет очень рано. Не потому, что меня жизнь состарит, а потому, что во мне сейчас уже живут старческие черви.

О настоящем я думаю мало. И себя в настоящем люблю только потому, что умею сказать о себе правду. Я не только не развиваюсь, но даже сильно поглупела. Отрешилась от всех прежних дум и вопросов и ничем их не заменила. Мне скоро будет двадцать лет, а у меня нет никаких устоев в жизни, никакой, даже самой примитивной, философии. Политика меня не интересует. Никакие вопросы не волнуют меня. Может быть, я даже ничего не люблю. Единственный мой новый плюс, приобретенный в последнее время, это то, что я стала сдержаннее и суше. Больше нет трагических жестов и патетических выкриков. Пафос сменился иронией.

Я стала еще больше жестокой. Нет, не то...

Я никого не сделала и не сделаю счастливым, а Мамочку уже сделала несчастной. Мну, комкаю и давлю ее жизнь.

Свою жизнь также комкаю и давлю. Мои жалобы и упреки только ко мне. Кого я могу винить в своем настоящем?

Иногда мне хочется сделать себе больно, жестоко посмеяться, написать жестокое и обидное для самой себя стихотворение...

Покаянное настроение? Нет, не то...

3 декабря 1925. Четверг

Решила опять по-старому, по-сфаятски, писать дневник. Право, это дело хорошее, особенно когда записываешь факты, а не философию.

Последний раз я писала что-то давно, и писала глупость. Перейду на другое. Тогда я была больна. Было очень скучно, и в субботу я, несмотря на отговаривания и протесты, все-таки решила пойти в Сорбонну на вторую лекцию Левинсона (по истории французской живописи XIX в.). Этот день мне запомнился. Я первый раз вышла. День удивительный. Воздух морозный, бодрый, все инеем покрыто. Настроение такое же бодрое. Один момент запечатлелся особенно ярко: когда поезд подъезжал уже совсем к Парижу, нас обгонял другой поезд, и — не знаю, как это сказать — это всеобщее движение, быстрое такое, соревнование двух поездов и яркий солнечный свет, бьющий в стекла, — все это меня как-то перевернуло. Я сама так же быстро стала доставать свой билет, выскочила из вагона еще на ходу и бегом побежала к Nord-Sud'y*. Хотелось движения. В Сорбонне меня ждало некоторое разочарование: лекции не было. Сначала я ничего не могла понять, потом наткнулась на одно объявление, гласившее, что à cause de...** (тут я одного слова не поняла) все русские лекции в субботу apres-midi*** отменяются. День был такой хороший, что я решила не залезать в метро на Odéon, а идти пешком, сколько смогу. Было холодно и сухо, я шла быстро, мне это напоминало хождение в гимназию. Я дошла до Concorde, и тут западал снег. Это был второй момент в этот день, кот<орый> особенно ярко запечатлелся у меня в памяти. Почему-то сопоставление строгого стиля Concorde, кот<орый> я видела только летом, с метущимся снегом, меня страшно обрадовало и развеселило.

* Север-Юг (фр.) — вероятно, так называли одну из веток подземки.

** По причине (чего-либо) (фр.).

*** Во второй половине дня (фр.).

Хотелось идти дальше. Но я боялась опоздать на поезд. Подумала и с грустью залезла в метро *Chambres des Députés**. Я утешала себя: «Авось, когда я поеду на поезде, снег еще не перестанет идти», но, увы, когда я вылезла на *St-Lazare*, от снега не осталось и следа.

В воскресенье опять ездила в город и опять свалила дурака. Прочла в газете, что в русской консерватории состоится концерт Чайковского (т.е. не самого Чайковского) со вступительным словом и очень интересными номерами. Заболела Мамочка, у меня была спешная работа от Гофман, и не было денег, но все-таки я пошла. Выехала рано, чтобы достать дешевые билеты. Приехала туда почти за час до начала. Спрашиваю консьержку — где продают билеты. Она сначала не поняла, потом посмотрела с удивлением: «Еще, — говорит, — рано, никого нет». Я пошла бродить по бульварам. В первый раз я видела эту часть Парижа вечером. А интересно. Сначала это меня занимало, а потом, очевидно, мой рассеянный вид, моя неторопливость и топтание вокруг одного квартала навели на вполне законные мысли одного искателя приключений, и он начал меня преследовать. Я старалась его не замечать, хотя немного и струсилa. Наконец в одном переулке он со мной поравнялся и что-то сказал мне, что? Я, к несчастью или к счастью, не поняла. Я буркнула ему что-то вроде «*Laissez-moi*»** и бросилась на другую сторону, причем чуть не попала под автомобиль. Очевидно, он понял, что с такой связываться вовсе не интересно, и отошел. В консерваторию я заходила несколько раз, и не было там не только консьержки, но и света. Публика тоже не съезжалась. Наконец в 8½, т.е. тогда, когда должно быть начало, меня взяло сомнение. На счастье у меня с собой была вырезка объявления, я подошла к фонарю и к ужасу прочла, что концерт состоится в воскресенье, 6-го декабря. Выругалась с досады и побежала к метро. Но даже досадно особенно не было, уж очень хороший был вечер. Дома Мамочка даже смеялась, и я подавно, а Папа-Коля расстроился и долго не мог успокоиться и все ворчал: «черт», «и как это» и «ах ты, батюшки!»

Пока бросаю, пойду посплю — устала. Вечером напишу еще страничку.

8 декабря 1925. Вторник

Вот только когда я могла продолжать. В двух словах расскажу то, что было, и перейду прямо к субботе. Дело в том, что я во вторник опять слегла, опять бронхит, а самое главное, болело ухо.

* Палаты депутатов (фр.).

** Оставьте меня в покое (фр.).

Страшно я промучилась ночь и день. Это я пишу для того, чтобы оправдать последнюю фразу на той странице: «устала, пойду посплю».

Перехожу к субботе. Была опять в Сорбонне на лекции Левинсона, а заодно прослушала и Карташева с Шестовым. И так меня заинтересовал и тот, и другой, что решила теперь обязательно их слушать. Пустое время просидела у Кольнер, а оттуда — к поэтам. Читал Б.Зайцев, как и первый раз. Для такого торжественного случая они сняли не обычные комнаты, а капеллу. Занятно, Ю.К. говорил: «Меня так и подмывает влезть на эту лестницу и начать душеспасительный псалом». А меня подмывало перепробовать все электрические кнопки. Настроение уж такое.

Дальше. Монашев сидел за кассой, т.к. тот старик заболел. Я села рядом, потом присоединился Ладинский. Ю.К. был страшно взволнован: и тем, что Зайцев не идет, и что публика не идет. Поэты тоже не шли. Не знаю — почему, но это совпало с каким-то *accident* ^{ом}* в метро. Первый вопрос ко мне Ю.К.: «Так метро вас не задержало?» К нам подсела еще одна молоденькая дама, с кот<орой> я знакома чуть ли не с первого дня, но ни имени ее, ни фамилии не знаю, назову ее Х. В ожидании Зайцева было немало курьезов, наконец он пришел более чем с часовым опозданием. Перед ним настежь раскрыли дверь. Он вошел, такой маленький и смущенный. Не знаю отчего, но настроение у меня было такое веселое, как никогда еще у поэтов. И чувствовала я себя как-то свободно и просто. Вечер можно, пожалуй, назвать скандальным, т.к. каждое выступление сопровождалось каким-нибудь недоразумением. Зайцев оскандалился тем, что опоздал. После перерыва читали мы. «Нас мало». Нек<оторых> участников нет. В перерыв Ю.К. подошел к нашей группе и все считал по пальцам: «раз, два, три, четыре», — ну вот, мол, и будет. При этом оказалось, что все поэты кашляют. Порядка выступления не было. Когда зал наполнился и Х потащила меня на первую скамейку, я вдруг страшно раскашлялась. Вдруг слышу голос Ю.К.: «Ирина Николаевна, вы будете?» Я сквозь кашель что-то ответила утвердительно и поднялась, когда он назвал меня официально «поэтесса Ирина Кнорринг». Я недоумевала, где же мне «выступать»? — за решеткой или перед ней? Как-то все нелепо было. Надо прибавить еще к этому, что было страшно холодно, и все сидели в пальто, в пальто и «выступали». Я прочла «Осень», «Я старости боюсь — не смерти» и «Нет больше слов о жизни новой». Т.к. все в этот вечер шло шиворот-

* Авария, несчастный случай (фр.).

навыорот, то были и аплодисменты. Как мне аплодировали — не знаю, но стихи имели успех, это я потом узнала, особенно второе.

После меня выступал Ладинский. Его выступление замечательно тем, что, заходя за решетку, он, такой долговязый, запутался в шнуре от лампы и Ю.К. бросился ему на помощь. Стихи читал, по сравнению с прежними, слабые.

Следующий: Монашев. Что он читал — не помню, т.к. вообще его стихов не помню, и слушала как-то рассеянно, как вдруг остановился... «забыл». Ему аплодировали.

Потом читал Ю.К. Да, нужно еще сказать, что все время он стоял за решеткой, немного в стороне от читающего, в пальто и с палочкой. Ужасно занятный. Читал он — то заложив руки в карманы и повесив палку на пуговицу, то скрестив их на груди. Читал — воодушевлялся — глаза блестели. Что-то есть в таких людях кроме смешного очень привлекательное. По контрасту, может быть. Мне понравилось первое его стихотворение. Он говорил, что скучает на современных балах, где все так мертво, и женщины не те, и... «на поединках мужчины не отстаивают честь», что ему с детства снились дуэли, поединки, клинки, направленные в грудь, и т.д. Очень верно он выразил себя. Х назвала его «Испанский гранд». А мне хочется ему ответить стихотворением же. Но и он оскандалился. Читал, читал, потом остановился, запутался. «Нет, у меня ничего не выходит. Сейчас будет читать свои переводы Сидерский». Замечательная у него мимика, недаром играет в кино.

20 декабря 1925. Воскресенье

Собралась писать опять только после вечера поэтов. Да, право, это самое интересное, если не единственное, за исключением лекций в Сорбонне. Итак, я начну с Denfert-Rochereau. Да и что там описывать, по порядку прямо к делу. А «дело» в том, что я имею успех, что я пишу хорошо, что я теперь уже не девочка, пишущая стихи, а более-менее настоящая поэтесса. Да, настоящая. Х мне вчера сообщила общее убеждение, что на конкурсе возьмут премию или Ладинский, или я. Может быть, это и комплемент, но в этом есть доля правды. Я и Ладинский, несомненно, две величины, несколько выделяющиеся на общем фоне, может быть, просто по форме, именно по той форме, которую предпочитает публика. Ну да ладно, что забегать вперед.

Вчера был вечер Ладинского. Он хороший поэт, и я рада, что давно выделила его и назвала хорошим поэтом. Его пятистопный ямб не утомляет, а длиннота стихов не вредит. Особенно хороши стихи о Московии. Я помню только некоторые строчки: «Турге-

невские девушки рыдают / И удаляются в монастыри», «И потому в глазах москвитянки / Такая..... теплота», «На пальцах вышивают плащаницы», «И полюбил я русскую рубашку» («я — иностранец...»), «... Что нет на всем подлунном мире / Такой прекрасной (великой) и большой страны». Все это взято из разных стихотворений. Они хороши.

Во втором отделении первой читала я. Прочла: «Еще мы говорим стихами», «Есть в жизни час — простой и яркий», «На всем лежит оцепененье». После второго стихотворения мне начали усиленно аплодировать, хотя хлопать полагается после окончания (хотя официально аплодисменты отменены, но этот номер не прошел), из чего я заключила, что стихотворение понравилось. Потом мне многие говорили короткое: «хорошо». После меня читал Луцкий на тему: «Господи, помоги мне стать поэтом». Потом Монашев. И наконец, когда читать было некому, т.к. поэты, стоящие в программе, «заболели», читал опять Сидерский. Без него бы пропали.

Х познакомила меня со своей родственницей-гимназисткой, та — еще с одной подругой и приятелями. Этой компанией, плюс еще Монашев, мы шли до Монпарнасса. Ужасно звали меня в Ротонду, но я, памятуя прошлый раз, когда чуть не опоздала на поезд, устояла. Говорили с Монашевым. Он хороший человек, хотя и мало интересный поэт. Говорила я ему о том, как тяжело жить в тупой, ограниченной среде, где не только не понимают стихов, но с какой-то озлобленностью относятся ко всему не материальному. Все-таки там, у поэтов, при всей моей отчужденности, все-таки отдыхаешь. Там хоть меня за человека считают, и даже считаются со мной.

Да, Сидерский просил меня приготовить ему два-три стихотворения для перевода. Надо приготовить к следующему разу.

Приехала домой бодрая и веселая. В перерыв между лекциями купила Папе-Коле гравюру «Букиниста» на последние пять франков, и это мне было очень приятно. Ведь вчера он был именинник. Была еще возбуждена после Denfert-Rochereau, поезд тянулся необычайно медленно, пришла домой со смехом. А через десять минут, когда ела разогретую котлету, чувствовала себя усталой, не хотелось говорить, я даже на вопросы не отвечала, а когда начались вопросы: «Было что-нибудь неприятное?», «Почему ты так устала?» да «Почему ты такая?» — я даже расплакалась. Все началось с того, что я пришла в Наташиной шляпке. Дело было в том, что Наташа сегодня идет на бал, ей купили платье, туфли; пальто она взяла у Лидии Антоновны, перчатки — у Ольги Антоновны, а вот подходящую шляпу нигде не могли достать. Я ей предложила свою. И ничего в этом поступке не вижу особенного. А Мамочка

пришла в ужас: «Ни за что бы не надела этого колпака, да еще идти к поэтам», — и ироническая улыбка. А утром, правда, уже утром я слышу разговор: «Когда теперь Наташа вернет шляпу, свинство». Хотя этого и не было сказано вчера, но я это понимала, и меня сразу обдало таким холодом, что не хочется ни говорить, ни слушать. Почему так всегда бывает дома?

Сегодня получила письмо от Наташи. А ответить — денег нет. О, эта ужасная материальная зависимость. Хотя впроголодь жить, только чтобы уже это было наверняка.

Наташа хвалит мои стихи. Господи, я ведь теперь только об этом и думаю. Нужно ли? Стоит ли? И я готова повторить за Луцким: «Господи, помоги мне стать поэтом!»

28 декабря 1925. Понедельник

В субботу было собрание поэтов в кафе, 22, rue des Écoles, в том самом... Я пошла. Да мне и хотелось идти. Собрание в 4 часа. Сначала пришла к Кольнер, оттуда отправилась туда. Пришла, народу мало. Встретила там Кузнецову, разговорилась с ней откровенно. Во многом мы с ней сошлись. Она говорит: «Вы здесь всех знаете?» Я почти никого. И как это... (Не дописано. — И.Н.)

2 января 1926. Суббота

Ну, словом, Кузнецова также скучала на их вечерах, как и я. И держится таким же чужаком. Мы с ней славно поговорили и уговорились, что я к ней приду во вторник в 5. А собрание? Перевыборы правления, вопрос о переименовании Союза, причем только я и Луцкий упрямо стояли за сокращение молодых поэтов. Но важно ли это теперь, когда все так далеко? После этого были другие события.

В воскресенье я отправила стихотворение «Клубится дым у печки круглой» на конкурс «Звена» под девизом: «Терпи, покуда терпится». В Союзе очень отрицательное отношение к этому конкурсу: «Своих проведут все равно». «Да мне бы стыдно было получить премию там». Хотя... я думаю, бросая такие фразы, в то же время они опускают конверты в почтовый ящик. Итак, я послала, а теперь — будь, что будет.

В понедельник отослала в «Новости» стихотворение «Рождество». Демидов обещал напечатать. Но уже столько раз повторял с озабоченным видом: «Хорошо, хорошо», — что я думала, что он не напечатает или забудет просто. Во вторник утром получаю письмо от Зайцева. Я послала ему два стихотворения для «Перезвонов», и он вызвал меня «потолковать». Пришла. И... Ну да глупо, как я

могу себя чувствовать у Зайцева? Говорили, т.е. вернее — он спрашивал, а я отвечала. Говорили и о Цветаевой, и о Союзе поэтов, и о Ладинском, и о Кнута, и о моих стихах. Он говорил, что издатель «Перезвонов» очень боится допускать молодых поэтов, но со временем, конечно, и они будут принимать участие; что мои стихи он принимает; что сначала будет напечатано только одно, а другое — впоследствии. А какое — мы оба так и не решили. Ему больше нравится «На всем лижит оцепененье». «Только почему Вега — кошачий глаз? По-моему, не похоже». — «Не знаю, почему. Так уж показалось (не хотела сказать откровенно: для рифмы), Борис Константинович, это до некоторой степени профессиональная тайна». В другом стихотворении сделал также несколько мелких указаний: «Почему: “ни бодрым запахом земли?”», «“И уж привычная мораль” — это плохо», «“И станет мир наивно скучным, совсем понятным и простым”, — у вас тут, как будто перо дрожит». Очень милый человек, но все-таки я была рада уйти. Прямо к Кузнецовой. У нее очень славно провела время. Она хорошая, хотя с сомнением. Интересная, красивая и симпатичная. Ей 25 лет, и она уже 7 лет замужем. Она удивилась, что мне только 19. «Я в 19 лет была еще такой бабешкой». Ну, о ней я когда-нибудь напишу потом. Дала она мне несколько книжечек стихов. Между прочим, в одной из них лежала вырезка из «Новостей» со стихотворением Есенина «Отговорила роща золотая». Не знаю, почему — я долго остановилась на нем. А наутро, чуть проснувшись, слышу, как Папа-Коля читает в газете о самоубийстве Есенина. Страшное впечатление произвело это на меня.

Ну а что же еще? Регулярно писать надо, а то всякая охота пропадает.

2 февраля 1926. Среда

(2 февраля 1926 г. был вторник. — И.Н.)

Ровно месяц, как я не писала. И даже не потому, что нечего было, а просто не было времени. Как раз последнее время было очень много спешной работы. Не могу даже целый месяц собраться ответить Леле. А записать есть что, конечно, из моей литературной «деятельности», если это не звучит слишком солидно.

Во-первых, «Студенческие годы». Сами же они просили у меня дать стихи для этого номера и не напечатали. А в объявлении стоит моя фамилия. Свинство, конечно. Вот уже второй журнал, с кот<орым> я успела поссориться.

Во-вторых, «Эос». Получаю через Волкова оттиск моих стихов, а в «Новостях» читаю объявление, что в скором времени выходит

4-й номер, и все мои стихи будут там напечатаны. Вот это уж скандал. Для своего времени это и хорошо было, а когда в 26-м году за подписью Ирины Кнорринг печатаются такие стихи! Бррр.

Дальше, конкурс «Звена». Против всякого ожидания мое стихотворение было напечатано в первом номере. А всего прислано 382. Теперь я удовлетворена. Больше мне ничего и не надо. Инкогнито я, конечно, уже не сохранила. В Сорбонне меня встречает Ладинский словами: «Ну, нашли ваше стихотворение?» Отпираться не стоило, да и не к чему. В Союзе Майер отозвала меня в сторону: «Ваше?»

Кстати, о Ладинском. Из Сорбонны он меня проводил до метро. До Odéon не успели наговориться, прошли до St-Germain. Он был такой близкий и хороший. Иногда он бывает таким, иногда мне даже казалось, что слишком, т.е. слишком близким; но его слова, когда мы прощались у решетки метро, теплы и хороши. Что он говорил, уже не помню; началось с конкурса, он говорил о моей молодости и о том, что я смогу сделать в будущем. Потом на вечере мы почти не сказали друг другу ни одного слова. Я была страшно одинока, почему-то в прошлый раз я это особенно остро почувствовала.

Теперь об этих вечерах. Скромничать нечего. Мне аплодировали больше всех, и я знаю, что мои стихи были лучшие. Я выступаю много и знаю, что в Союзе я активный и существенный член. И вот на этом самом последнем вечере, когда мне столько хлопали и когда мне вслед говорили: «Вот это Кнорринг», а знакомя со мной, прибавляли: «Столп нашего Союза» — в этот вечер я почти не проронила ни слова, а после окончания мне стало так грустно, что я почти бегом побежала к метро, одна наскоро простившись с теми, кого встретила у двери. Везде стояли группы, весело разговаривали, а мне нечего было говорить, и не о чем.

Кузнецова? Нет. Она взяла по отношению ко мне какой-то покровительственный тон, а это меня злит. Борисова? Милая девочка, которую все называют Наташей. Когда я встретила ее на улице и позвала ее в Сорбонну на лекцию Левинсона, она была очень милой и приветливой девочкой. Когда же через неделю мы встретились в Союзе, она говорила со мной тоном «своих» с «чужими». Я не хочу сказать, что это был какой-нибудь скверный тон, просто чувствовалось, что она дома, а я там не свой человек.

Ладинский? Ему все прощается за стихи.

Терапиано? Если он не глупый человек, то ему скучно со мной, потому что я всегда бессознательно ломаюсь при нем.

Монашев? Такой неинтересный, как и его стихи.

Майер? Вероятно, хорошая; впечатление о ней ничем не испорчено.

Да, кстати, видела наконец саму Марину Цветаеву. Она была у нас на предпоследнем вечере. Монашев, по-видимому, струсил, и по усиленной просьбе вместо него читала я.

Вот все, что могу сказать о Союзе.

Что-то еще хотела написать, да забыла. Ах, да. Сегодня заходила в «Новости», отнесла одно стихотворение. Демидов в понедельник говорил Папе-Коле: «А что же ваша дочь не дает больше стихов? Ведь я тогда исполнил ее просьбу — напечатал на русское Рождество». Конечно, к слову пришлось, а все-таки есть повод время от времени печатать. Да, на последнем вечере был Адамович. Слушал очень внимательно, когда я читала, высовывался из-за спины Ладинского. Аплодировал ли — не видела.

Ну, кажется, все об этом.

Теперь — французская группа. Хожу туда потому, что там весело. Со всеми хорошие отношения. Заходила даже к Софье Марковне Носолевич, и вместе были на вечере художников. Беляев оставлен в стороне — недалекий он все-таки человек. На первом плане теперь Аранович (артист был, по крайней мере, в московской студии). Он ухаживает одновременно за мной и Софьей Марковной; все это, конечно, не серьезно, а может быть, и серьезно. Полусерьезно. Мне-то в конце концов на все это наплевать, но если перевес возьмет Софья Марковна — мне будет не то что неприятно, а как-то не по себе. Так было на вечере художников.

Еще у нас интересная личность — М.П.Марковская. Маленькая, неуклюжая, старая, волосы подстрижены по-молодому, губы намазаны, в разрезе ворота — розовая рубашка вылезает, а чулки — я как-то видела — рваные-рваные. Особенно хороша она была на вечере в сильно декольтированном голубом платье без рукавов (сшито на плечах грубо, сама, наверно, стегала), а от плеча болтается на голубой ленточке лорнет: близорука страшно. (Фу, черт, стиль Андрея Белого). А когда она танцевала фокстрот! Увлекается, прыгает, сама маленькая. А человек хороший, добрая такая, только смешная, а потому — жалкая.

Рассказать уж об этом вечере? Было весело потому, что была своя компания. А так мне не понравилось. Концертное отделение не состоялось, была какая-то ерунда, вроде: «Сейчас такой-то будет петь сербские песни, прошу аплодировать». Неостроумно, выходит и невесело. Замечательно было одно выступление, я так и не поняла: серьезно это или шарж. Выходит на сцену старая дама, седые волосы на лоб спущены, шарф на шее подергивает, говорит тихо.

Начала так: «Я — Марья Валина (я не помню, что-то в этом роде), я мало известна в русских кругах, так как пишу по-французски. Я сотрудничаю в... (фр<анцузские> журналы). Некоторые мои стихи я перевела на русский и (имя) мне сказал, что они хорошо переведены, поэтому я буду читать по-русски и по-французски». И читала. Еще прибавила: «Я плохо читаю, писатель не декламатор». И читала. Об ее стихах ничего нельзя сказать, так, вероятно, писали гимназисты в половине прошлого века. Одним словом, их нельзя было принимать всерьез. А по-французски читала с таким произношением, что даже у меня уши трещали. Если это шарж, то его не поняла; если серьезно — то и говорить нечего. Кстати, сегодня я ее встретила в «Новостях», она сидела в приемной и говорила с одним из служащих. Я услышала фразу: «Ну так дайте мне газеты продавать, нет, серьезно!» Тоже жалкая. Страшное это чувство — в нем забываешь все, и прощаешь. Только как-то нехорошо прощаешь, самой стыдно.

Возвращаюсь к вечеру. Были танцы. В первый, а может быть и в последний раз, я видела в Париже танцы. Было много французов, и они придали вечеру своеобразный парижский колорит. Маленькие фигурки, подстриженные волосы, приподнятые плечи, короткие платьица, подведенные глаза и яркие губы — куклы, фарфоровые статуэтки. Им и Бог велел танцевать фокстрот, у них это стильно и даже, в своем роде, красиво. А когда наша русская тетка с грудью в три обхвата начинает изгибаться, топтаться на месте — то это смешно и безобразно. Особенность новых танцев: они не веселы (мысль не моя). Француженки танцуют серьезно, священнодействуют. Нет раскрасневшихся щек и сверкающих глаз. Нет веселья и нет красоты, но танцы не всегда служат веселью и эстетике, а такое прикосновение двух тел, такое тесное, что чувствуешь каждый изгиб тела, достигает своего. Бывает достаточно взять за руку выше кисти, чтобы ощутить дрожь «всего тела вдоль». Так-то, Марина!

10 февраля 1926. (Среда. — И.Н.)

Да, так вот.

Был в субботу вечер Марины Цветаевой. С какими мыслями я шла? Не знаю, не помню. Чувства уже двоились, это было уже после того вечера, когда я в первый раз увидела ее. Ее вид меня разочаровал, именно разочаровал, я представляла ее прежде всего — вульгарной, а этого-то в ней и нет. Но все-таки, идя на ее вечер, я могла ругать ее, бросать задорное «не люблю!». А теперь — язык не поворачивается. Что она со мной сделала, чем так поразила — даже и не знаю. Голосом? Чтением? Жизнерадостностью? Простотой своей? Всем этим, вероятно. Я хотя там же критиковала ее

стихи: «рифма плохая, расплывчато...»; но я все-таки чувствовала, что ее стихи задевают меня, как-то глубоко входят, даже не стихи, а отдельные строки, выражения. И голос, голос! И окончательно она обезоружила меня стихотворением, посвященным Ахматовой, строками: «Чернокосынька моя, чернокнижница!»

Я ушла какая-то совсем опустошенная. Словно она отняла у меня самое дорогое. Да, она отняла у меня веру в себя и в непоколебимость и правильность того, что я считала непоколебимо правильным.

И еще одно от субботы. Ладинский. Нарочно или ненаарочно, искренно или неискренно? Зачем он говорит такие слова обо мне? Нравлюсь я ему? Не думаю. Стихи мои любит? Совсем нет. Так что же заставляет его быть таким нежным, называть «девочкой», «Ириночкой»?

Все они, «молодые» поэты, считают меня ребенком, да так, пожалуй, и есть, по сравнению с другими. К моим стихам все они относятся очень иронически, а т.к. я пользуюсь успехом у публики, то они на этом играют и выпускают меня на каждом вечере. Нет, довольно. Пусть без меня обходятся, уже надоело. Вот!

После вечера Цветаевой целый день я себе места не находила; собралась с утра голову мыть, потом бросила и поехала в город. Зашла к Кольнер и такая там была, что даже напугала всех. Потом слонялась по городу. Не ждала я этого. А теперь — просто злая. На Цветаеву не могу злиться, так переношу злость на Ладинского, на Терапиано и на всех остальных.

Да, сегодня получила анонимное письмо, довольно хорошее, начинающееся стихотворением «полуграмотного рифмоплета». Много романтики, вроде Мимы. Дает адрес, подписывается «Кондратьев», оговариваясь, что это не его фамилия. Я это письмо прочла вслух. Оно произвело сенсацию. Сначала говорили, что все это хорошо и мило, потом ворчали «аноним», особенно часто вспоминала о нем Мамочка, и это мне стало неприятно. А само письмо не произвело на меня никакого впечатления. Не верю я ему, так же как не верила и Миме, так же как не верю и Ладинскому. Завтра должно быть в «Новостях» мое стихотворение.

А может быть, правы они все, Ладинские, Терапиано, Монашвы, когда считают меня ребенком, который балуется стихами. А? Не правы ли?

13 февраля 1926. Суббота

Недаром сегодня утром, едучи в поезде, и потом перед лекцией Шестова в сквере перед Ключни, я написала:

Это будет сегодня. Я в это верю.
Я не знаю, где и зачем,
Но сегодня скажу о моей потере,
О тревоге моих ночей.

Я не знаю, зачем, и кто в этом волен,
И когда этот час придет,
Но предчувствием счастья, обиды и боли
Иступленно кривится рот.

Это будет сегодня. Я знаю, верю.
Будет вечер суров и нем,
Я кому-то скажу о своей потере
И сама не пойму — зачем.

И недаром, когда в припадках хандры я с отчаянием думала об эротике, я представляла себе Pont Neuf* и именно статую Генриха IV. Если меня сейчас спросят, нравится ли мне сейчас Ладинский, я бы ответила (про себя): нет. А если бы спросили: хочу я его видеть? Я бы также про себя ответила: да. Там, у статуи Генриха IV, я почти боялась его, как когда-то Сергея Сергеевича, и хотела, как Васю. Тут далеко до какого бы то ни было увлечения, и зачем он... нет, не скажу. Зачем он вошел в мою жизнь? Вот что. Нет, отчего у меня не нашлось нужных слов, почему я не высмеяла его? Потому, что сама хочу эротики? Да, я в порыве тоски говорила: влюбить бы, что ли, положить бы пятно на совесть, да помучиться?! А тут — противно.

Ну, уж только другой раз я над ним поиздеваюсь. Заведу его на это же место и поцеловать себя дам, а потом — еле кланяться, победа будет моя. Надо сразу. А жизнь, нет — душа, как-то вдруг опустела. Все-таки как-то больно видеть в человеке не то, что хочешь в нем видеть. Эх, Антонин Петрович, как не вяжутся Ваши стихи с Вашими жестами. Неужели же Вы не можете видеть во мне — не ребенка, и вообще в женщине — человека?

16 февраля 1926. Вторник

Папа-Коля, прочтя мое последнее стихотворение, страшно расхандрился. На вопрос Мамочки, почему он такой, отвечал: «Да нет, ничего, так», а когда она вышла: «Ирина, когда ты это написала?» — «В субботу». — «А когда именно?» — «Перед лекцией Шестова». — «Ужасное стихотворение! Ужасное! Я просто в себя прийти не могу». Я уже понимала все. И опять между нами почувствовалась

* Новый Мост (фр.).

какая-то недоговоренность, что не обо всем можно говорить, и лучше не произносить имени Ладинского. Почему? Все идет так, как два года тому назад.

Вчера Папе-Коле нужно было ехать в город. Мне тоже. «Ирина, едем в 4?» — «Нет, мне рано», — а просто не хотела ехать вместе, я знала, для чего, и это меня пугало. О чем говорить? И все-таки вышло так, что Папа-Коля поехал тоже в 5. В вагоне сел рядом со мной, молчали. Я уже в недоумении думала: «Ну?» Наконец: «Ирина, мне хочется с тобой поговорить». — «Давай, поговорим». И он говорил тихо, волнуясь. «Мне кажется, что ты увлекаешься Ладинским. Мне так кажется, сопоставляя твои стихи с твоими рассказами. Это, конечно, вполне понятно и естественно. Было бы странно, если бы в эти годы ты не испытывала потребности любить. Но, Ирина, любовь часто смешивается с чувственностью. Когда я прочел твое последнее стихотворение — у меня просто ноги подкосились. Ирина, милая, будь осторожна. Люди такие подлые. Я ничего не хочу сказать дурного про Ладинского, я говорю вообще. А ты человек неуравновешенный. И ты неопытна в этих делах. Ты жила в таких условиях, где ты не могла почерпнуть таких знаний. И ты такая, что тебя легко покорить, что ли. Ведь берут не поперек, а начинают с ласковых слов. И странно: эти слова в продолжение ста лет одни и те же, и сколько на эту удочку попадается! Это вопрос простой, но к нему надо подходить строго. Просто и строго. Я за тебя боюсь, ну... просто голова закружится. Я боюсь, что ты один раз придешь и скажешь... ну, буду говорить грубо, что ты — женщина; я этого не переживу». Возражать было нечего. Разве это — не мои слова? «Теперешняя молодежь скверная, Ирина. Мне кажется, что в этом отношении Вася был чище их, просто потому, что был еще мальчик, сам ничего не знал». При имени Васи я тихо улыбнулась. Воспоминание о нем даже не было неприятно. «Так ты говоришь, что не увлекаешься Ладинским?» — «Нет». — «А он тобой?» — «Это уже скорее». А потом: «Он говорил, что любит тебя?» Он мог это говорить?! Да и не любит он меня совсем.

И сейчас я пишу и плачу. Дома никого нет. Мне невыносимо грустно. Оттого ли, что я не люблю Ладинского? Оттого ли, что между нами все-таки есть что-то? Ведь нельзя же сказать, что между нами ничего не было: разве он мне не целовал руку? Разве он не коснулся головой моего плеча, там, на Pont Neuf, я даже не обратила на это особого внимания; разве... — и чем больше я вспоминаю подробности наших встреч, тем темнее и грубее представляется мне Ладинский. Какое уже тут увлечение! И все-таки мне жаль, что он не смог остаться мне просто «знакомым», он интересный человек, много читал, всем интересуется. И это был единственный человек,

с кот<орым> я встречалась, и единственный, который со мной не скучал (т.е., может быть, и не скучал потому, что «ухаживал»). Мне только себя жалко, свою молодость.

19 февраля 1926. Пятница

Сначала неудачи: мое стихотворение до сих пор не напечатано в «Новостях». Наверно, уже и не будет напечатано. «Перезвоны» утешили, напечатали: «Я старости боюсь, не смерти», только зачем надо было озаглавливать первой строчкой? Кто их просил? А номера мне так и не прислали, это Папа-Коля в библиотеке видел.

И у поэтов все нет и нет ничего — ни вечеров, ни собраний, ни альманахов. И работы нет.

Да, в среду я взяла и пошла к Масловой. Она очень участливо отнеслась ко мне, я даже не ждала, и, несмотря на то что у нее свой кадр работниц, обещала прислать пневматичку. Одно только мне тут неприятно, что я сказала, будто мадам Лишина направила меня к ней. Это и правда, но только это было два месяца тому назад. Надо будет завтра заехать к Лишиной.

Еще собираюсь поступить в Институт социальных и политических наук — открывается такой. Что меня толкает? История и политика? Просто желание чему-нибудь учиться? Пустота жизни? Не знаю. Но заниматься собираюсь серьезно и принесу в жертву этому и группу французского, и вечера поэтов.

24 февраля 1926. Среда

Постараюсь восстановить все, что было с субботы.

Суббота. Иду в Сорбонну, читаю на ходу. Вдруг: «Ирина Николаевна», — Терапиано. Заговорились. Он говорил о вечере, посвященном Есенину, кот<орый> будет в субботу, о том-другом. В результате я на полчаса опоздала на лекцию. Решила не ходить совсем и пошла к Лишиной. Оказывается, она там уже и не живет давно, узнала новый адрес. Прослониалась до самой лекции Шестова. Там опять встретилась с тем молодым художником, кот<орый> на «Дне декабристов» подошел ко мне и просил написать одно стихотворение. На этой лекции мы встречаемся. Я ему еще одно стихотворение написала, а прошлый раз он все просил еще написать, говорит, что очень любит мои стихи. Встретила Ладинского. Он меня проводил до метро; а потом уговорил пойти в кафе, и целый час мы там просидели. Он мне читал стихи, говорили о поэтах, о журналах и так было хорошо, что и уходить не хотелось.

Воскресенье. Вечером были на концерте русской консерватории, посвященном Чайковскому. Никогда еще ни один концерт не

производил на меня такого впечатления. Особенно «Трио» Чайковского в исполнении Рахманова, Могилевского и Раи Гарбузовой. Был момент, уже в третьей части, каждый нерв во мне задрожал, и я боялась, что буду кричать или плакать. И так было до последнего аккорда (хотя заканчивается как раз не аккордом). Рая Гарбузова мне очень понравилась — девочка с белым бантом, и совершенно не ломается, когда играет, выражение такое серьезное, по-детски оттопыриваются губы, и совсем уже детский жест — вытирает руку о бок платья. Играет хорошо, и это не мое мнение, а знатоков; говорят, что Белоусов не достигает такой виртуозности. Хорошо, как никогда, играл Могилевский.

Понедельник. Еще на той неделе Демидов спрашивал Папу-Колю: «А почему ваша поэтесса не дает нам больше стихов?» — «Зачем она вам будет давать, если вы ее не печатаете?» — «Как? Ведь прошлое стихотворение очень скоро было напечатано?» — «Да совсем оно напечатано не было». — «Не может быть». — «Да уж верно». — «Нет, я вас уверяю, что оно было, я вам сейчас докажу». И начал по одному номеру все газеты перелистывать, до самого «Рождества». «Да, действительно. Тут какое-то недоразумение. Тогда вы, пожалуйста, принесите два стихотворения». В понедельник Папа-Коля отнес и «В Россию». Последнее на него (на Демидова. — *И.Н.*) произвело большое впечатление. Первое — «Переplesки южных морей» — отнес сейчас же сдавать в набор. И тут вышло недоразумение: требуется заглавие. Поляков (метронпаж) не пропускает. Нельзя. Крупный разговор вышел у Папы-Коли с Демидовым, решили, что я сама приду говорить. Я обозлилась и решила ругаться.

Вторник. Пошла в «Новости». У дверей встречаюсь с Демидовым. Он с одной стороны подходит, я — с другой. Берет меня за обе руки: «Заглавие!» — «Не могу». — «Надо». — «Нельзя!» — «Ну, потолкуем». Пошли в кабинет. Начали толковать. «Ну разве уже нельзя без заглавия?» — «Нельзя. У нас даже “трех звездочек” нет». — «Так назовите просто: стихотворение». — «Нет, нельзя. Павел Николаевич тоже говорит, что нельзя». — «Ну, тогда уж назовите первой строчкой». — «А вот Павел Николаевич два раза прочел и предполагает назвать: “Я не помню”, — так, кажется, у вас третья строфа начинается...» Я задумалась, это, пожалуй, неплохо. Пробовала еще доказывать, что такие стихи озаглавливать нельзя, но, видя, что спорить бесполезно, а стихотворение уже набирается, согласилась. «Ну, вот я очень рад, что мы на этом сошлись. А уж в следующий раз, пожалуйста, сами придумайте. И, пожалуйста, давайте еще; у нас еще есть одно ваше «В Россию», оно тоже принято, а потом

все-таки еще дайте. Я знаю, что вы на нас сердитесь, но знаете, я был убежден...» Расстались друзьями.

У Поволоцкого видела «Перезвоны». Напечатано хорошо, опечаток нет. Дома меня уговаривают пойти к Зайцеву и выяснить насчет авторского номера. А мне что-то не хочется к нему идти.

Да, еще вчера сделала важное дело: послала стихи в «Благонамеренный». Тоже не хотелось мне этого делать, и думаю, что сделала глупость. Пока что мне везло, стихи печатались везде, куда я их посылала (только не тогда и не там, куда меня просили прислать), и боюсь, что на благонамеренном фронте потерплю поражение. Просила ответить.

10 марта 1926. Среда

Мое стихотворение, написанное в субботу, заканчивается словами:

С меня довольно неудач
Последней, глупенькой недели.

Для комментария придется вернуться к позапрошлой неделе. Дело в том, что Каннабих (секретарь Народного Университета) устроил меня в мастерскую Моравских в качестве *brodeuse**. С первого же дня я почувствовала, что долго там не пробуду. О том, как я плакала в поезде после первого дня, и о том вообще, что было в этой мастерской, говорить не стоит: мелко и грустно. Я дома не все говорила.

Так вот — прямо к той субботе. Выхлопотала себе *semaine anglaise***, пошла на лекцию Левинсона. Ее не было, пошла к Кольнер, все, одним словом, как полагается. На лекции Шестова встретила художника, кот<орого> зовут Лев Александрович, и Ладинского. (Лекция была очень интересная). Потом пошла с Ладинским в *Café de la Sorbonne* — все как полагается. Может быть, об этом писать не стоит, но эти мелочи, эти встречи, разговоры придают особый колорит. Оттуда пошла на собрание профессоров и студентов будущего Института социальных наук. Хорошее помещение. Новое здание *École communale****, в самой глубине Латинского квартала. Собрание интересное, так и хотелось скорее начать занятия. Но пока еще занятия не начались, пока я не вошла, не

* Вышивальщица (фр.).

** Английская неделя (неделя с двумя выходными днями) (фр.).

*** Коммунальная школа (фр.).

прикоснулась близко к этому делу — я ничего не буду писать ни о публике, ни о собрании, ни о своих планах и надеждах.

Еле досидела до перерыва, записалась и бегом помчалась на Denfert-Rochereau, на Есенинский вечер. Пришла около десяти часов. Читает «артист» Тихомиров. Вечер в капелле. Влетаю — за кассой сидит один Монашев, мы как-то очень обрадовались друг другу, он мне даже руку поцеловал. По-товарищески разговорились, даже не хотелось идти в зал. Пошли наконец. Тихомиров читал, по моему, безобразно. Я терпеть не могу вообще «чтения с выражением», а особенно с таким пафосом, с замиранием; и еще привирал вдобавок, например, вместо «За неверие в благодать» читал: «За неверие и благодать». А сами стихи были замечательно хороши, я слушала как зачарованная. Нет, вру. Я не могла даже слушать как следует. Я очень устала, а первая стадия усталости — необычайная веселость. Особенно это сказалось во втором отделении. В перерыве я сказала Монашеву, что читать не буду, он пробовал убеждать, но, видя, что на этот раз я не сдамся, переговорил с Терапиано и гарантировал мне «свободу». Я осталась сидеть в самом конце, со мной был Лев Александрович. Он начинает мной увлекаться, и это мне приятно. Первым выступал Осоргин, читал письмо из Москвы, одно стихотворение из неизвестных и сказал очень хорошо и умно несколько слов о Есенине. А как я себя вела — стыдно вспомнить. Я сидела около двери, она не закрывалась, все ходили, шум с улицы мешал; наконец Л.А. заставил ее стулом, и когда кто-то вышел, чуть этот стул не грохнулся. Глупо все, но я расхохоталась как безумная, упала головой на скамейку и закрыла лицо. Л.А. этого не забудет. Этот вечер нас сблизил. Читали Монашев (против ожидания — второе довольно хорошее), Луцкий (прекрасные) и Ладинский. Терапиано: «Четвертый поэт, стоящий в программе, читать не может», — и опять Тихомиров. Ушла — усталая, веселая и довольная, больше всего — тем, что не читала.

Воскресенье — очень хорошее стихотворение Ю.Терапиано в «Днях». Ах, да, еще суббота. Говорили по поводу моего «Я не помню». Лучше всех сказал Мамченко: «Мне очень понравилось ваше стихотворение. Так вот, мне “Рождество” понравилось, за “Рождество” я тогда, на толстовском утре в Сорбонне вашу маму без очереди пустил. И за это я вас очень благодарю. Серьезно. Я вас раньше не любил, а вот это... Я вам за это стихотворение когда-нибудь жизнь спасу!..»

Итак, воскресенье — стихотворение Терапиано «Смерть друга», хорошее. Понедельник — ничего. Возобновились уроки французского. Вторник — ничего. Среда — прихожу домой: две открытки.

От Зайцева и от Шаховского. Зайцева я просила прислать «Перезвон», — говорит, чтобы обратилась к некоему Аптекману и что он уже давно сообщил мой адрес. А Шаховской пишет, что в №2 «не осталось ни одного уголка», поэтому «Цветаевой» придется заменить. И еще, редакторская манера: «а не находите ли вы, что в последней строчке лучше бы...» Тьфу! Ни один редактор без этого не может. Оба эти письма меня одинаково расстроили.

Четверг. Ушла от Моравских. Т.е., вернее, меня «ушли». Мне кажется, я понимаю, в чем тут дело. Лидия Николаевна Брискорн была приглашена Моравской на несколько часов в день (она работает дома) показывать вышивальщицам эту работу. Она очень придиралась ко мне, а потом вдруг, когда Моравская вошла, вызвала ее в другую комнату, и сейчас же меня перевели на другую работу, а вечером я ушла. Может быть, она не хотела работать со мной, потому что я знаю ее прошлое? Продолжение сфаятских интриг.

В утешение было напечатано «В Россию», но и то, как безобразно, не на хорошем месте.

Пятница. Неприятного, кажется, ничего.

Суббота. Результаты «конкурса». Мне этот конкурс целую ночь снился! Хорошо, что я последнее время была занята не тем, и вспомнила о нем только накануне. С замиранием сердца смотрела «Звено», и — премия: Резников и Гингер. Это бы еще ничего. Это всегда можно объяснить, что дело не совсем чисто (да оно и верно), но факта не изменить: стихотворение, самое, на мой взгляд, плохое, кот<орое> кончалось: «И странною думой я занят: / Плывет он (корабль) в... даль. / И он никуда не пристанет. / И к нам возвратится едва ль» и «Помолясь смиренно Богу, / Попроси прощенья» — получило 15—20 голосов, а мое — в числе других пяти — «меньше десяти!» Присуждение премии меня рассмешило, а моя неудача, скандальная, огорчила, хотя меня сильно утешило, что и Кузнецова попала в эту категорию, и то стихотворение, кот<орое> мне больше всего понравилось. У нас, неудачников, есть крупный козырь: сама Цветаева, не знаю для каких целей, посылала стихотворение на конкурс, и оно даже не было напечатано. Она сама об этом говорила, и даже в присутствии Адамовича и Мочульского.

Так, немножко неловко. Приезжаю прямо на лекцию Шестова. Ладинский, как будто подсмеивается, хотя тут же добавляет: «Ну, конечно, все это ничего не значит». Лев Александрович просит написать ему стихотворение: «Ведь вы мне обещали?» — «Да у меня нет!» Кончилось тем, что мы втроем пришли в кафе Сорбонны, где я и написала ему это стихотворение. (Еще одна неудача субботы — письмо от Аптекмана: номера сейчас у него нет, а насчет

гонорара — «не было распоряжения из Риги»). Ладинский говорил: «Спрашиваю у Адамовича: “Чье стихотворение будет в следующем номере ‘Звена’ ”. “Не то, — говорит, — Галины Кузнецовой, не то Ирины Кнорринг”». Скажите на милость, не различает. Теперь нас будут на одну доску ставить.

Соблазнила Л.А. в концерт консерватории — музыка Прокофьева, Черепнина и Стравинского. Там мы встретились. Концерт очень интересный и, кажется, мои неудачи кончились. Довольно.

В субботу Папа-Коля отнес «Цветаевой» в «Новости». Демидов поморщился (не любит он ее), но обещал напечатать скоро. «Вероятно, в четверг». А вчера Папа-Коля видел листок на столе Милюкова, значит, завтра не будет. Ну, я завтра кончу писать. Мне хочется написать о романсах Стравинского.

13 марта 1926. Суббота

Ну, постараюсь быть последовательной и написать все то, что хотела. Итак, романсы Стравинского. Я их слышала 3, на слова Ахматовой: «Солнце комнату наполнило», «Настоящую нежность не спутаешь» и «Память о солнце в сердце слабеет». Оригинальная вещь: тогда как декламация совсем пережила себя, когда (и я думаю, что это не только мое мнение) стихи читаются или однотонно, или по одному какому-нибудь мотиву, с паузами в тех местах, где указывает ритм, а не слова; в музыке происходит как раз обратное: в романсах Стравинского каждая музыкальная фраза точно совпадает с фразой словесной. Получается точный перевод каждого слова на звуки, вот все, что я хотела сказать. И получается ерунда: с одной стороны, такая «декламативность» недопустима, а с другой — оригинально, свежо, хорошо.

Четверг. Ничего. Стихотворения, конечно, не было.

Пятница. Лекция Гофмана. У него всегда слушателей было полтора человека, а вчера — я одна. Глупое положение. Я сидела на одной скамейке, он — на другой. «Так вы скажите, что вам интереснее?» — «Да, это очень интересно!» — «А что вы знаете?» Господи, да ведь я ничего не знала. «Духовные стихи знаете?» — «Да». — «Какие? Что, вот, по-вашему, в этом замечательно? А какое здесь влияние? А какое впечатление на вас произвел Державин? Что вы его знаете? А не находите вы в нем сходство с современными поэтами? Ну, с Мандельштамом? А как вы думаете, что более позднего происхождения — “Сорок калик” или стихотворение об Иосифе? Почему?» Господи! Провалиться бы куда...

Суббота. Лекция Шестова. Встреча с Л.А. и Ладинским. После лекции Л.А. писала стихотворение и немножко задержалась в

аудитории. Ладинский ушел. Вероятно, подумал, что лишний. И это мне очень жаль. Очень обидно и неприятно. Ну, да Бог с ним.

Л.А. проводил до метро и позвал завтра ехать в парк Buttes Chaumont*. Согласилась — отчего же нет? Условились, когда и где встретиться. Когда-нибудь я приглашу его к себе. Почему же нет? Все как будто очень просто, однако вот сейчас уже около десяти, а я все еще не сказала об этом. Почему? Потому что это вызовет разговоры? Подозрения? Как-то невольно хочется оттянуть этот момент.

Дома настроение хмурое. Отношения натянутые. Сегодня утром поссорились. Целую неделю задыхаешься, ждешь субботы. А вот и суббота сегодня как-то ничего не дала.

А я поймала себя на странном желании: видеть Ладинского. Видеть его сейчас около себя, чувствовать его теплый взгляд, слышать его голос. Мне очень неприятно, если он подумал, что я умышленно задержалась в Сорбонне.

19 марта 1926. Пятница

За эту неделю, а именно во вторник, произошло событие, кот<орое> следует отметить. В стихах это так:

Там мне запомнился кричащий голос,
Дым папирос и колкие слова...
и т.д.

А вот — в прозе: была на собрании Цеха Поэтов в кафе La Volée. Само по себе кафе это довольно интересное, само хорошо для игры в Богему. На улице ко мне какой-то субъект приставать начал, а то бы я, может быть, и не решилась сразу войти туда. Ну, словом, Богема. Пришла рано. Из наших — одна Борисова, других никого не знаю. Потом собрались. Председателем был Адамович. «У нас, — говорит, — установлен обычай читать против солнца. Ну так давайте начинать». И стали читать все подряд. Первым сидел Андреев, прочел три сонета. Начались обсуждения, говорили вообще о сонетах, о Кармен (тема Андреева), но, в общем, говорили мало. Следующая — я. Я пришла в ужас! Я, говорю, гостя. «Нет, как же, вы должны читать». Отвертеться не удалось, читать совсем не хотелось, начала нервничать. Ладинский рядом сидит, подбадривает. «Хорошо, — говорю, — я прочту коротенькое». И прочла: «Тогда цвели кудрявые каштаны». «Может быть, вы еще что-нибудь прочтете», — спрашивает Адамович. Отказываюсь. «Ну, кто хочет

* Парк Бют-Шомон (фр.).

сказать по поводу прочитанного?» Минута молчания. Наконец выступает Сосинский: «Очень трудно что-нибудь сказать по поводу всего только восьми строчек и притом — таких неимоверно скверных...» Вступается Оцуп: «Почему — скверных?» — «Потому что в них пустота, они ничего не говорят и вообще все стихи, кот<орые> я читал за подписью Ирины Кнорринг, все это скверно и бессодержательно. Разве это может называться стихами?» Вступился Браславский: «А я этого не скажу. Стихотворение, во всяком случае, грамотное, и мне оно нравится». — «Оно вам много говорит?» — «Нет, не в этом дело. В нем очень удачно подобраны слова. К сожалению, оно очень короткое, это эскиз, один только мазок». — «Избитые выражения: “высоко поднятая голова” — что это?» — «А может быть, “высоко поднятая голова” менее затаскано, чем “сморкающиеся крыши”. Я вообще люблю стихи Кнорринг, в них есть что-то здоровое». Спорили много и многие; и кто говорил, и что говорил, я не помню. «Наивно», «Влияние Ахматовой», «Так можно было в девятнадцатом веке писать», «Надсон», «Гимназические стихи, так в первом классе пишут», «Бессодержательны». Кое-кто заступался и нек<оторые> довольно остроумно: «Вы говорите, что оно не закончено? Да, конечно. Может быть, это есть признание в своем бессилии, а, может быть, это очень интересная и смелая попытка оборвать почти на полуслове». — «Стихи Кнорринг не бьют на эффект, тем-то они и хороши!» — «Они хорошо написаны. Где в них недостатки?» — «Вы говорите — наивно. А я думал, что Кнорринг все-таки живет в 26-ом году, после эпохи футуризма, и мне кажется, что эта наивность — умышленная». — «Надсон». Кто-то предложил «обратить внимание на возраст», чем вызвал реплику Адамовича: «Это нас не может интересовать». Что-то в похвалу мне пыталась сказать Борисова. Начал Ладинский: «А не находите ли вы, что в этом стихотворении есть чистота?» Голос Сосинского: «Чистое поле». Андреев: «Может быть, это относится к личности автора?» — «Не будем касаться личности автора», и споры, споры. Наконец резюме Адамовича: «Все, говорящие в защиту Кнорринг, обращают внимание на одно — что в нем (в стихотворении. — *И.Н.*) нет недостатков. Действительно, в нем почти не к чему придаться. Но также нечего сказать в защиту его. Стихи, конечно, наивные, ученические, но в общем...» Однако ни одно стихотворение не вызвало столько прений, как мои восемь строчек...

21 марта 1926. Воскресенье

Вчера была у Кузнецовой. Был там Ладинский, и мы устроили нечто вроде того, что было в Volée. Но больше теоретически.

Ладинский показывал свой альбом со снимками Египта, пили чай. О стихах говорили мало и бестолково. Ругали меня. Вчера было напечатано в «Новостях» мое «Цветаевой», и на меня оба напустились: «Нельзя так часто печатать». — «Зачем давать лишние козыри вашим противникам». — «Это не стихотворение, а дневник в рифмах». — «Провинциализм». Особенно их раздражало: «И ажан куда-то не пустил». Ведь в Берлине, например, этого не поймут; не должны же везде знать, что полицейских в Париже зовут ажанами. Это, конечно, глупо, но защититься я не сумела. Вообще ругали так, особенно Ладинский, что у меня просто руки опустились.

Это мне сейчас более всего неприятно. Я как-то совершенно не думаю о том, что сижу без работы, что нет денег, и даже о том (что «видно!»), что сквозь туфлю на носке розовеет чулок, а чулки рвутся на коленях, как наклонишься. Все это меня может огорчить на несколько минут, а больше всего и постоянно мне больно и тяжело, что я не поэт и что Ладинский смотрит на меня как на ребенка. И я в первый раз с самых, кажется, младенческих лет говорю: «вырасти бы скорей!»

Написала стихотворение «Мне так запомнился кричащий голос» — о Volée, и послала его Адамовичу для «Звена». Конечно, не напечатают. Оно дерзко и вызывающе; но ни Ладинский, ни Кузнецова его не поняли. И опять ужасно чувствую себя одинокой. Сегодня ночью даже плакала, не знаю, отчего: оттого ли, что не могу сделаться настоящим поэтом или оттого, что одна.

24 марта 1926. Среда

Так, тихо и бесшумно, без колебаний и ненужных размышлений, без авансов и далеко забегающих вперед фантазирования, произошло в моей жизни большое событие, которое повлечет за собой переломы и перемены: я стала студенткой Института социальных и политических наук.

31 марта 1926. Среда

Что же было, что так хочется писать?

Суббота. Последняя лекция Шестова. Смотрела на него почти восторженно, а что говорил, и не слышала. Встреча с Хирьяковым. Полчаса в кафе с Ладинским. Часа полтора у Кольнер. И вечер поэтов. Писать об этом вечере трудно, не описывать же все по порядку. Ну, попробую. Прихожу около девяти. Вечер в капелле (читает Шмелев). За кассой сидит Сидерский, рядом Борисова. «Ну, как живете?» Села рядом. «Вы сегодня читаете?» А я себя плохо чувствовала, даже раздумывала долго — идти или нет, а читать мне

вообще не хотелось. «Нет, — говорю, — я не могу!» — «Почему?» — «Да вот...» — «А вы говорили с Терапиано?» — «А он здесь?» — «Да, в капелле». Пошла искать Терапиано. В капелле сидят две пары, одну не знаю, другая Терапиано и Майер. «Юрий Константинович, я сегодня читать не буду». — «Как, почему?» — «Да вот...» — «Ну, так как же? Все отказываются». — «Ну, уж как-нибудь». — «Я тоже не читаю». Ну, тут уж я: «Как так?..» Ю.К. волнуется: «Десятый час, а публики нет. А вдруг сейчас Шмелев придет? Скандал. Ирина Николаевна, давайте убежим!» Нервничал очень. Вышла в вестибюль. Никого знакомых нет. Жарко стало. Вышла во двор. Там — Майер и Борисова стоят, подзывают меня, угощают папирсой. «Не курю». — «Да вы попробуйте, это какие-то особенные, Наташа пробует». Закурила. Стоим, разговариваем. Выходит Терапиано, подходит к нам. «Ирина Николаевна, кто вас выучил курить?» — «Да никто не выучил, все тухнет». — «И хорошо, что тухнет. Бросьте, правда. Совсем это нехорошо. Женщине не идет курить, бросьте!» Папироса, по-моему, скверная, горькая; все-таки выкуриваю почти до конца. Раскашлялась только. Каждого входящего в комнату Терапиано встречает словами, в сторону: «Вот еще один чудачок на наш вечер», «Умирает Союз», «Да, рассыпается», «Ну, ничего, что-нибудь новое возникнет». Даже Терапиано, который столько говорил о своей активности, говорит: «Бездействует Союз, всех гнать надо, начиная от председателя и кончая секретарем». Остальные с ним согласились. Публика не собиралась. Мы, т.е. я, Борисова и Майер, успели пойти в бистро выпить кофе, прийти, сбегать с Майер обратно в бистро за свертком, который она забыла. Шмелев пришел. Народу мало, но все-таки зал не пустой.

Приходит Луцкий, садится рядом со мной. «Очень хорошее это ваше стихотворение “Цветаевой”, очень хорошее». — «Да ну? А меня за него столько ругали!» — «Нет, прекрасное стихотворение, особенно последние две строчки: “Или тот вчерашний женский голос / Слишком много отнял у меня”».

Шмелев начинает читать. Ну дальше и писать не могу.

На обратном пути разговор с Мамченко. «Слышал, что в Цехе вы попали в переплет?» — «Да, вообще меня теперь все ругают!» — «Нет, не теперь. Это вас вначале ругали, это правда, и очень даже, а теперь хвалить начали. У вас было несколько очень хороших стихотворений, так вот вас и стали хвалить». — «Ну, так раньше до меня ничего не доходило, я и не знала, а теперь вот...» Пошли на метро Notre-Dame-des-Champs, один квартал дальше Ротонды. Шла компания, мы с Мамченко зашли вперед. Говорили об Африке. Он эвакуировался на «Алексееве» и жил в Тунисе. Очень тепло

и он вспоминает Африку; так нашлось о чем поговорить. Вообще он славный, а сначала как мне не нравился.

На вечере подошла ко мне Кузнецова. Познакомила с мужем. Оба усиленно приглашали заходить. А что-то мне кажется, что мы с ней скоро поссоримся. Чего она кокетничает с Ладинским? Я помню, когда я в первый раз была у нее, мы говорили о наших поэтах, и всех ругала, и там я сказала, что считаю хорошим поэтом Ладинского. Она подняла брови: «Ладинский? Да, ничего. Тоже — не определившийся, не нашел себя». А на прошлом вечере после его выступления: «Меня возмущает, какая публика глупая, ничего не понимает. Разве можно одинаково аплодировать Ладинскому и Луцкому? Не могут отличить хорошее от скверного!»

А Ладинский обязан своим успехом до некоторой степени мне: я первая сказала, что он хороший поэт.

10 апреля 1926. Суббота

С этой работой совершенно не принадлежишь себе. Кажется, нет и не может быть такой минуты, чтобы я не думала об этих костюмах, туловищах, туфлях. И нет минуты, когда мне нечего было бы делать. И сколько времени не могу собраться ответить Наташе.

Начну опять с субботы, хотя прошлая суббота не так уж была замечательна. Получаю повестку: явиться в Volée на закрытое заседание Союза. Прихожу — полтора человека. Собрание не состоялось. Однако просидели часов до одиннадцати. Были — по порядку: Кнут, Сидерский, Терапиано, Монашев, Луцкий, Ладинский и я. Говорили об «Ухвате». Затем — у меня с собой была «Беседа» — читали стихи Ходасевича и Берберовой. В первый раз я увидела, как Ладинский пришел в восторг: так ему понравилось, что пчела вниз головой летит в цветок, — даже спички на пол полетели. Потом начали петь русские песни, у Луцкого и Ладинского недурные голоса, Терапиано мне по рукам гадал — одним словом: литературное собрание. А англичане-туристы заглядывали к нам, читали имена на стене (из них мне знаком только Поль Верлен) и с любопытством осматривали нашу компанию. Но это все между прочим.

В понедельник в помещении Союза редакция «Версты» устраивала доклад-диспут на тему: «Кульг смерти в русской литературе». Диспут обещал быть очень интересным. Доклад читал кн<язь> Святополк-Мирский, а на прения были приглашены Адамович, Бунин, Гиппиус, Ходасевич, Цветаева и т.д. Доклад был очень скучный и глупый. Такой глупый, что Ходасевич на прения даже не остался, и выступали только три молодых человека. Интересного было то, что Кузнецова познакомила меня с Туринцевым. Стихов его

я не знаю, а о нем много слышала. Теперь он переехал из Праги в Париж. После диспута мы вчетвером (еще один знакомый Г.Н.) сидели в бистро. Туринцев мне очень понравился. Во-первых, он не ломучка; во-вторых, и хоть он и очень левый, но во вкусах мы с ним сходимся; и, в-третьих, он действительно чувствует, понимает поэзию. Так понимает и чувствует, что я готова была прийти в восторг. Это именно и есть тот человек, тот поэт, кот<орого> я так хотела. Ко мне он относится не иронически-снисходительно, как все; видно, что и мои стихи ему интересны. Вспоминал, между прочим, о том, как Цветаева «исправляла» мое стихотворение. «Я помню то Ваше письмо — язвительное такое. Ну, это только Марина может». Я с ним надеюсь встретиться в субботу, у нас предполагается какой-то большой вечер (прощальный, я думаю), вероятно, он будет. Приглашу его к себе или уговорюсь встретиться у Кузнецовой. Мне интересны его стихи и даже хочется поговорить о моих. Незамечание и снисходительность наших меня уже злит. Сначала смешила, а теперь уже злит. Иной раз просто руки опускаются. Последняя ставка на Туринцева. Это он про меня сказал, что из меня выйдет женский поэт. А я уцепилась за это и руками и зубами!

В четверг было напечатано в «Новостях» «Март». Стихотворение скверное, и вообще бы его не следовало печатать. А сегодня — в «Звене». И странно, я так хотела, чтобы это стихотворение было напечатано, а сегодня мне это было даже неприятно. Я так мельком просмотрела его, что даже не заметила, что нет даты. То, что меня совершенно игнорируют не только наши, но сошки и покрупнее, меня иногда приводит в такое состояние, что выть хочется. А то так, наоборот, радуется. И нравится делать назло. Ведь злит же, и многих, что меня так часто печатают в «Новостях». Воображаю, как они отнеслись к тому, что меня приняли в «Звено» — заветная и (почему-то) недоступная мечта каждого. И мне это нравится. Не потому, чтобы я объясняла эти удачи качеством моих стихов (особенно эти — дрянь!), а просто мне нравится вызывать злость, а за ней и зависть. И мне нравится, что мои стихи есть в «Перезвонах», в «Благонамеренном» (если Шаховской не надуется), а вот в «Дни» и в «Волю России», где все молодые поэты нашли пристанище, я стихов не дам.

И на вечерах выступать не буду.

20 апреля 1926. Вторник

Какой пустяк может так портить мое великолепное настроение. Так портить, что я даже собралась об этом написать. Дело вот в чем: вчера вечером, идя на лекцию, я нашла в нашем почтовом

ящике открытку на имя m<ada>me Hodassevitch. Адрес был много раз перечеркнут. Каким образом она попала сюда? Я торопилась, так что даже не посмотрела на штемпеля. Очень она меня заинтериговала. А сегодня ее уже нигде нет. Куда она делась? Это не так интересно, как досадно. Почему? Хороший был предлог познакомиться? Или совершенно бескорыстно задрожала во мне жилка Шерлока Холмса?

22 апреля 1926. Четверг

Вот есть свободные полчаса, а что написать, когда написать-то хочется так много. Буду кратка, как в записываньях лекций.

Начались занятия — вот уже полторы недели — в Институте. Вошла туда с головой. Слушаю не только обязательные курсы, но и все специальные. Познакомились. Вижу живых людей. Кажется, крепко становлюсь на этот путь, хотя вчера вслух даже вырвалось, что не своей дорогой иду. Стихов за это время не писала, одно только.

В субботу был большой (в проекте) вечер-концерт у поэтов. Неудачный. Я была злая, что меня опять поместили, и хотела ругаться. Но к вечеру настроение поднялось. Мне переделали синее платье, причесалась. Говорят, была очень интересная. Читать пришлось два раза. Читала спокойно, поэтому — хорошо. Чувствовала себя тоже очень хорошо. А после — разочарование: вот и кончилось. Запомнился только Ладинский, его — в воротах: «Ириночка!» И так это как-то хорошо было и ласково, и таким он был близким, что я все время с субботы думаю о нем. Работаю как вол у Уриных. Сейчас одеваю кукол, каждый день таскаю громадные картонки, так что руки болят. Два раза езжу в город. Дорогой занимаюсь французским. Думать — нет времени. Засыпая, усталая, думаю о Ладинском.

2 мая 1926. Воскресенье. Пасха

Что мне надо записать из тех событий, кот<орые> произошли? Что меня волнует? О да, это я знаю, что меня волнует. Но нужно ли об этом писать? Когда надо писать и о другом. Ну вот.

В пятницу было студенческое собрание. В это же время было собрание и у поэтов. Меня, к великому горю, выбрали секретарем, и к поэтам я не попала. Было очень жаль. Не так интересовало то, до чего они договаривались, как хотелось видеть Ладинского. И сказать-то ему нечего, а видеть просто необходимо было... Шемахин, сосед мой, сказал, что Ладинский будет в Ротонде и что он туда едет. Собралась было идти в Ротонду, да поздно было. Написала

записочку — вот, мол, очень интересно узнать, что было на собрании, и вообще хочется вас видеть, приходите на этих днях. Пришел на другой день часа в четыре, в пять. Если бы не пришел, не простила бы. Много у меня вылилось в той пустой записочке. Сначала посидели у нас, потом пошли в парк. А как передашь то, что было в парке? Разговоры? Настроение? Не знаю, любит ли он меня, — во всяком случае, если и любит, то не так, как бы мне хотелось. А меня, кажется, понимает лучше, чем я сама. Откровенной быть я не могла, и не хотела. Было ясно, что в наших отношениях мы зашли слишком далеко. То, что было вчера — начались полуобъятия (без поцелуев), — конечно, не порок, но и не со всякими бывает, не всякому позволишь. Помню момент: он держал мою руку, и вдруг я ясно почувствовала, что это рука его — «родная». И еще: мы шли назад, очень расстроенные оба — и весенним воздухом, и разговором; я говорю: «Да скажите что-нибудь». Он взял меня под руку, и мы шли молча, прижавшись друг к другу.

Это добром не кончится. Выхода три: или я выйду за него замуж, или буду его любовницей, или очень мучительно подавлю в себе способность любить. Может быть, правда, и еще выход: полюблю кого-нибудь, и меня он полюбит. Интересно.

А пока нужно чаще его видеть. Мы не улавливались, но он решил уже, что будет ходить в Институт на лекции Данилова.

Сейчас я перечла страницы дневника, посвященные Ладинскому. Странно: вчера я сказала ему, что в дружбу не верю. А как я хочу этой дружбы!

15 мая 1926. Суббота

Ладинский обо мне: «Кнорринг хороший человек, очень милая девочка, но стихи ее меня не волнуют». Сообщил Монашев.

1 июня 1926. Вторник

Состояние — и физическое и моральное — к черту! Хуже всего то, что не пишу стихов, и не хочется как-то, не тянет. А как сейчас взяла в руки тетрадку, перелистала, так вдруг жалко стало, и не знаю — чего, заплакала даже.

Еще плохо, что погода плохая.

И еще — но это даже по совести не могу и плохим-то назвать — здоровье. Манухин нашел у меня туберкулез, но еще не в легких даже, а около, в каких-то железах. И нашел, что нужно лечиться. Лечит меня своим способом — лучами X, вчера в первый раз была на сеансе. Питаюсь теперь как на убой. И в этом есть плохая сторона: 1) потолстею, 2) закисну, сидючи дома, и 3) надо бросить

все необязательные курсы. Уриных своих я тоже бросила. Мамочка поступила с сегод<няшнего> дня в кукольную мастерскую, тут же в Севре.

Вот наши новости.

Стихов не пишу до некот<орой> степени потому, что надоели мне поэты. Такое у меня против них всех раздражение. Куда интереснее и милее наша студенческая публика. Сегодня, напр<имер>, опять собрание Цеха Поэтов, а я не пойду, хотя поэзия меня все еще интересует, а как представишь, что там опять увидишь их всех — всякая охота пропадает.

Студенты лучше. Я там скоро освоилась, скоро сошлась со многими. Студенты — не сверхчеловеки, и друг к другу относятся не снисходительно-покровительственно. И я там другая, и лекциями начала вправду увлекаться, особенно курсами Гурвича, Шацкого, Вышеславцева. Во всем этом есть какой-то задор, какое-то «назло!» Я вообще подметила в себе эту новую черту — высоко задранная голова и напускное, явно напускное равнодушие. И еще дерзость, вызов постоянный.

3 июня 1926. Четверг

Вот и время есть, и дома нет никого, а писать не хочется. Ничего как-то. Пустота во всем. И чего мне хочется, чего мне еще надо? Письмо бы получить, письмо бы! От Лели, от Наташи, еще от кого-нибудь. Неужели уж так-таки я никому на свете не интересна?! Да, кстати. Недавно был Сережа Шмельц и говорил про Дика Крюковского, тот проворовался в Тунисе, как-то дело уладил, «его простили», потом еще что-то украл в русской семье, где жил, и удрал в Грецию. По дороге, на корабле его поймали. Больше ничего не известно.

Ну а Ладинский? Думаю ли я о нем? Нет, почти нет. С тех пор, т.е. с той прогулки, я видела его два раза, мельком на вечерах, и последний раз рассердилась на него. Во-первых, он меня подвел. Я не должна была читать, а читать некому. Опоздала, но Терапиано видел меня, спрашивает вслух: «Вы будете читать?» — «Нет», — говорю. А Ладинский: «Будет, будет. Ирина Николаевна сейчас будет». В конце концов, пришлось. И еще: меня просили дать стихи для «Воли России». Я дала «Донну Анну». Парижская редакция «В<оли> Р<оссии>» — Гингер, Кнут и Ладинский. Ладинский меня спрашивает: «Вы сколько стихотворений дали?» — «Одно». — «Напрасно, дайте еще». — «Зачем?» — «А то одно большинством голосов может не пройти. А из двух выбрали бы». — «Не пройдет — и не надо». — «Как хотите, я вам по-дружески говорю, не официально». — «Благодарю вас, но другого я не дам». Сам же будет говорить против.

Но это «литературное» столкновение, личных у нас не было. А все-таки хорошо, что так просто и безбольно, не как я думала, он вышел из моих мыслей, из моей жизни.

10 июня 1926. Четверг

Пока никого нет дома, буду писать. Да и писать-то я разучилась. Последний раз писала в четверг. До воскресенья не было ничего. Воскресенье: «Чашка чая» Фр<анко>-Рус<ского> Института, студентов и профессоров. Мы, т.е. я, Лиля Герст, Шлиомович, Карпов, Палей, уговорились встретиться у метро. Прихожу — они сидят в кафе. Посидели, выпили пива и пошли в «исторический» «Прокоп». Кое-кто там уже был. Собрание было веселое. Мы своей компанией, только Лилю от нас отсадили. Я стала настойчиво требовать к нам Вышеславцева. Староста как-то это устроил. И он пересел к нам. Я была счастлива. Одно было неприятно, что меня после речей попросили читать стихи. Это было совсем не нужным, и я даже стала ломаться. Прочла старое: «Вечер был такой пустой». Хлопали, просили прочесть еще, но я уже не читала. Дальше все было хорошо. Кричали, галдели, играли на рояле, показывали фокусы, начали танцевать, но оказалось, что, кроме меня, никто не танцует, да и вообще дам было мало. Было все же само по себе весело. Из профессоров под конец остались только Вышеславцев и Гурвич с женой. Жена у него очень славная. Я за ними все время следила, и когда они собрались потихоньку уйти, я подмигнула Лиле, и мы выскочили на лестницу, устроили баррикады из стульев и не пустили. Лиля завладела Гурвичем, я — Вышеславцевым. Он мне говорит: «Я останусь, если вы будете читать». — «Хорошо, буду». И читала «В метро». Гурвич еще раз пыривался уйти, но я заметила его движение, опять подмигнула Лиле, и опять мы его не пустили. Без Лили я бы не обошлась. Она и создавала мне настроение, мою веселость.

Потом я, Лиля и Карпов поехали к Гофман за шерстью. Никого не застали. Сейчас же вернулись и пошли в Сорбонну на «День русской культуры». Наши студенты были распорядителями, и нас Шемахин провел через задний ход в еще пустой зал. Мы очень проголодались. Карпов купил хлеба и колбасы, и мы, расположившись как дома, слегка закрыв наши продукты газетой, принялись закусывать. И в Сорбонне мы собрались своей компанией, поэтому опять — галдеж, шум. Молодо и весело. А не будь Лили, я бы не была такой.

В понедельник второй сеанс у Манухина. Он огорчен, я похудела на целое кило. Если в следующий раз так будет, нельзя про-

должать лечение. Дома по этому поводу драма. Надо не ходить на лекции. Я проплакала всю ночь и весь вторник. Сидеть дома? Не видеть нашу студенческую компанию? Не посещать Вышеславцева? Не идти на концерт в Trocadéro во вторник? Кончилось тем, что я в концерт пошла и в среду — на лекцию. А теперь до воскресенья, до «Руслана и Людмилы».

Мне казалось невероятным, после того как я вошла в эту жизнь, опять остаться одной, дома, как на необитаемом острове. Если бы мы жили в Париже и у меня была своя комната! А Вышеславцев! Только я начала думать о нем, может быть, даже увлекаться, хват — вчера его последняя лекция. До осени. После лекции я, за мной Лилия, а за ней весь «левый картель» сбежали вниз и спрашивали его о пособиях, о том, чтобы он нам темы на каникулы дал. Он был, по видимому, очень доволен. Да и правда, самый интересный курс.

Наташа меня спрашивает в письме: «А говоря между нами, там, т.е. в Институте, не бываешь ли ты тоже с “неискренней улыбкой?”» Пожалуй, она права. Но пусть улыбка неискренняя, она все-таки улыбка. Что в душе я одинока, с этим я уже примирилась. У меня не будет, по крайней мере, внешнего одиночества.

26 июня 1926. Суббота

Да, я вошла в эту жизнь и вошла с головой. Но очень ли хороша она? У нас образовалась веселая компания. Из Института мы идем вместе. По дороге хулиганим, кричим, идем цепью, на St-Michel, на нас прохожие оборачиваются. Часто заходим в кафе — ведем себя также, развязно и глупо. Наши бабушки пришли бы в ужас. А может быть, и не только бабушки. Потому-то мне и не хочется, чтобы Мамочка знала эту компанию: доходит, напр<имер>, до того, что вчера, прощаясь у решетки метро, я со всеми перецеловалась. Не могу, однако, считать это большим грехом.

А и во мне самой происходит что-то новое, до сих пор неиспытанное. Я не влюблена, нет! Но мне нравится один студент, Сергей Николаевич Карпов. Он очень дружен с Лилей, а это мне не нравилось. Но когда я поняла (может быть, и ошибаюсь, но я так поняла), что они жених и невеста, я искренно порадовалась. Мне только стало грустно. Ведь у меня нет ни одного близкого человека! И как это люди могут находить друг друга. Давно ли Лилия знакома с Карповым, а уже невеста; а если и не невеста, то, во всяком случае, она видит в нем друга. А я? Я даже стихов не пишу. И, как мне кажется, все куда-то падаю, падаю, падаю...

Может быть, все это не больше, как туберкулез и реакция на лечение? Ничего не хочется. Вчера насмеялась, нахулиганилась,

а сегодня уже ничего не хочется, и ничего не жаль. Лень что-нибудь не только делать, но и думать. Слышишь разговор — надо бы ответить, возразить, и — сил нет, молчишь. Надо заниматься, переписывать лекции и — тоже сил нет.

16 июля 1926. Пятница

Если я когда-нибудь буду невестой, я, наверно, буду испытывать то же, что весь день вчера. Что это — не знаю, но что-то хорошее-хорошее.

14-го мы «брали Бастилию». Было очень весело, писать же об этом подробно не стоит, да и нет времени. А вообще бы мне хотелось как-нибудь остановиться здесь подробнее на нашей компании и наших отношениях. 14-го я с Аристовым пила на брудершафт, а потом трогательно расцеловались. Да, если бы я год назад увидела себя такой, не поверила бы. И вот именно этот брудершафт оставил такое хорошее воспоминание. Господи, если бы и он испытывал такое же хорошее чувство! Их трое, кот<орые> мне нравятся: Лева Шлиомович, Сергей Николаевич Карпов и Костя Аристов.

Я стою на опасном переломе. Куда же все это повернется?

17 июля 1926. Суббота

Вчера идем мы из кафе после лекции Милюкова, подходит ко мне Шемахин, берет под руку, отходим вперед. «Ира, я, так «теоретически» скажем... если бы я сделал тебе предложение, ты отказала бы?» — «Ты давно об этом думал?» — «Да, очень давно. Давно к этому пришел...» — «Не будем об этом говорить». — «Откажешь?»

30 июля 1926. Пятница

За это время произошло много хорошего и мало плохого.

1) В какой-то вторник была в Орéга с Костей, на «Китеже». Был еще Лева с Лилей. О том, как это было хорошо, писать нечего.

2) В прошлую субботу уговорились встретиться с Карповым в городе и поехать к нам. Условились, что будем откровенны. И это было очень хорошо. Мы долго сидели в парке и так хорошо говорили, что не хотелось уходить. Оттягивали каждую минуту. А вечером пришел еще Костя.

3) В среду была последняя лекция Милюкова. Опять, конечно, долго сидели в «нашем кафе» на rue des Écobes. Ну, тут уж я буду писать глупости.

Ну а что дома? Дома ссора и разговоры о том, почему я ходила в

Орега за счет Аристов, почему не плачу за себя в кафе и т.д. А мне это неприятно. Ведь знаю же я, что делаю, с кем иду. Вообще, мне бы хотелось большей свободы. Хотелось бы, только без драм, по-хорошему, переехать с осени в город. Найти бы комнатуху в Латинском квартале, работать где-нибудь, хотя бы и на заводе, вечером заниматься. Кажется, буду писать на эту тему стихотворение.

3 августа 1926. Вторник

Что было вчера.

Занесла работу Гофман, пошаталась по rue de Rivoli и, как уговаривались, пошла к Лева за тетрадкой. Туда должна была прийти вся «банда». На двери висит записочка, что он занят, быть не может, просит войти и быть как дома. Нашла ключ, вошла. От нечего делать стала убирать у него на столе, потом на другом столе, потом мыть кастрюли, и за этим занятием меня застал Белый, потом Карпов. Лева тоже пришел, он был на конгрессе (очевидно — сионистском) и очень сердился, что мы не пошли все вместе обедать. Ждали Лилю. Пришел Монашев, и позже всех — Шемахин; и еще, как оказалось, в 9 обещал быть Аристов. Это досадно. А Монашев пришел и говорит: «Ирина, пойдем к Ладинскому». — «К Ладинскому? Зачем?» — «А он очень просил, чтобы ты у него была сегодня, у него будут Антипов и Флорианский». — «Ага! Отлично. Идем!» Захотелось познакомиться с Антиповым и вообще увидаться с Ладинским. Пообедали в «Золотом Петушке» и отправились. Он был один, те двое так и не пришли. Какое впечатление от этого визита? Да самое грустное. А.П. остался таким же, но уж очень изменилась я, а может быть, это казалось потому, что был третий. Но мне и не хотелось остаться с ним вдвоем. Нет, может быть, и хотелось; хотелось еще раз услышать: «Ириночка!»; может быть сказать ему что-нибудь с тем, чтобы больше не встречаться. Да мы и так-то, пожалуй, не скоро встретимся. А когда заговорили о стихах, о журналах, — сразу поднялось то тайное, что всегда было в наших отношениях, то нехорошее и нечистое, что вообще доминирует в кругу поэтов. Огульная руготня, зависть, мелкое честолюбие, самолюбование, интриги. И опять мне захотелось как можно резче сепарироваться от этого круга. Ушла бы с удовольствием из «Союза молодых поэтов», да не ладно как-то выходить из Союза, кот<орый> бездействует; особенно теперь, да еще без всякого повода. А вот тут организовано новое издательство «Новый Дом», куда входят Н.Берберова, Д.Кнут. В.Фохт и Ю.Терапиано. Будут выпускать ежемесячник. Так если они мне предложат сотрудничать в нем — откажусь. Не хочу иметь с ними никакого дела. Выйдет то же, что с «Волей России».

11 августа 1926. Среда

Как-то сложно писать о том, что было, о внешних фактах, еще труднее — о фактах внутренних, кот<орые> почти и не заметны. Из внешних фактов что же? Банкет, разговор с Мамочкой, гости, и суббота, и воскресенье, а там опять новая серая страница.

Банкет Института. Очень хорошо и весело. И официальная часть, и неофициальная. Ну просто — лучше некуда, и не хотелось уходить. А остаться ночевать — не предупредила Мамочку. Нельзя. Несколько раз порывалась уходить, все возвращалась, обещали доставить к последнему поезду. Шумной оравой бродили, искали такси. Так же шумно доехали. Настроение было такое, что хотели было все ехать в Севр и прогулять ночь напролет, да Лиля запротестовала. А жаль. Поехал один Монашев, как я не протестовала. Жалко стало: «Ну, поезжай!» Вздыхал всю дорогу, смотрел влюбленными глазами, я еле отвечала на вопросы. Вот — суббота.

Воскресенье. С утра — крупный разговор с Мамочкой: «Мне было очень непонятно, когда я узнала, что ты с Монашевым на “ты”. До такой степени унижать себя! Мне просто жалко тебя. Сегодня — “ты”, завтра — по плечу похлопает, потом дальше!» Я обиделась, ушла в свою комнату и молчала, сказала, что так меня еще никто не оскорблял, что она видит меня черт знает в каком виде, и потом долго редела и не могла успокоиться. По-видимому, Мамочка сама поняла, что наговорила лишнего, начала смягчать: «Ну да, если не с одним Монашевым, это другое дело...» Но я даже успокоиться не могла. И как раз вышло так, что все они трое через несколько часов приехали ко мне. И очень понравились Мамочке, т.е. Аристов и Шемахин. Долго мы потом говорили с ней, какие они славные; и уж нельзя сказать про них, что пошляки; и наши отношения нравятся и т.д. Может быть, это было последствием этого разговора, а может быть, и так, что именно последствием этого посещения было то, что Мамочка молчаливо взяла свои слова обратно. Как бы то ни было, но это очень хорошо.

Мы вчетвером ходили в парк, потом они сидели вечер у нас. Следствием этого дня было то, что я стала много думать о Косте, что он мне стал очень близок и дорог.

20 августа 1926. Пятница

То воскресенье было замечательно. Весь день у меня была веселая компания, гуляли в парке, вечером валялись на траве у нас в саду, а ночью бродили по городу из одного бистро в другое. Вытащить меня стоило нескольких усилий и даже слез... Вообще, было

хорошо, я довольна. Только Шемахин заболел, у нас ему все нездоровилось, так что, когда пошли в сад, его уложили на мою кровать, и он спал. Потом мы все оравой провожали его домой. Было хорошо, только Костя был злой — ему не хотелось ехать: 1) он уже вторую ночь гуляет, а завтра — пикник; 2) боялся за меня, шел все время с Левой, оставил меня на попечении Монашева; 3) ревновал к Шемахину. Это, наконец, и меня разозлило, и во вторую половину ночи я была злая. Прошли пешком от place d'Italie почти до Grandes Boulevards*. Интересно. Видели апашей**, настоящих, живых, а не кукольных, кот<орых> я делаю. Вообще, занято. В кафе (3-ем по счету) все осовели, раскисли, проголодались и пили кофе с сэндвичами. Вина я так и не пила, боялась, что совсем усну. Часам к 5-ти разошлись. А когда в 5 вышли из кафе, настроение резко переменялось. Светало. Париж просыпался. Шныряли почтальоны. Закрывались ночные кабачки. Оживление около Halles***. А на Сене такая поэзия, что мне и не передать. На темной-темной воде отражаются мосты. Мы с Костей забежали вперед, оба были довольны, неудачные часы в кафе сгладились впечатлениями утра. Я уверена, что это утро я никогда не забуду. На St-Michel в только что открытом кафе пили кофе со свежими круасанами, разгорелся политический спор между Левой и Карповым. Просидели до 7-ми, и когда открыли Люксембургский сад, пошли туда. Новая красота. Яркое солнце, яркие цвета, фонтаны... В 8 разъехались. Ехать домой мне не хотелось. А дома как-то все обошлось благополучно. Не совсем: возвращаясь, я взвесилась — 62,100 <кг>, т.е. на 600 <гр> меньше, чем неделю назад. Я сказала, что аптека закрыта. Ой, мне даже самой как-то страшно стало.

С самого вторника жду Костю. Он чудит, боится, что мешает дома, хотел даже совсем не приходить эту неделю. Я уж его всячески старалась убедить, что не только не мешает, но и необходим. Мне, по крайней мере.

23 августа 1926. Понедельник

То, что было вчера.

Все, что надо: парк, луна, вечер, поцелуи. Иногда мне кажется, что все это гадко, что я его не люблю, но тогда зачем бы все это. Он искренен, и я несколько раз повторяла ему, что верю ему. Больше, чем самой себе. Вероятно — люблю, во всяком случае,

* Большие бульвары (фр.).

** Представители индейского племени «апахи» (позднее так во Франции называли деклассированных элементов).

*** Чрево Парижа (фр.).

мне страшно подумать, что я могу его потерять. Не знаю, что будет дальше. Вчера, когда мы так сидели, был момент, когда мне показалось, что моей любви и всему хорошему чувству последнего времени наступил конец. Недаром я сказала:

Эту легкость, эту боль и веру,
Господи, спаси и сохрани!

Чувствовала, что это дорогое легко утратить. Я сказала вслух: «Вот и конец». — «Почему конец?» — «Тебе кажется — нет?» — «Только начало». — «Дай Бог!»

Что будет дальше? «Полная любовь», — как сказал Костя. Я говорила, что боюсь. «Чего?» — «И тебя, и себя, и жизни, и любви». Он только крепче обнял меня и поцеловал... «Милая, славная девочка!» «Что ты сделаешь с этой славной девочкой?» — «Ничего страшного...»

Господи, неужто же правда — у меня начинается новая жизнь?

30 августа 1926. Понедельник

В семье происходит такое, что надо в корне изменить всю жизнь. Вчерашнее утро осталось в памяти, как какой-то кошмар. Слезы, истерические выкрики. Из-за чего началось — даже и не знаю. С того, что я собралась ехать в город, а накануне не рассказала о том, где была, что видела, с кем говорила и т.д. Все это было спрошено в такой форме, что я рассердилась и сказала, что «не обязана отдавать отчет». — «Нет, обязана!» — «Ах, так?! Тогда я ничего не скажу!» Мамочка уже не владела собой. «Пока ты живешь с нами, ты обязана!» — «В таком случае я не буду жить с вами». А тут еще на беду телятины купила больше, чем надо («заставь дурака Богу молиться...»). «Она с ума сошла! Где-то витает, где ее мысли?» Я выскочила из дому как угорелая и решила до ночи не возвращаться. Накануне я уговорила с Карповым встретиться в церкви, и потом предполагали ехать ко мне. Аристов тоже хотел быть в церкви. Встретила их обоих. И Аврамовых — обоих. Во втором часу пошли посидели в кафе, посадили Аврамовых на трамвай, а сами поехали на метро к «Julien»'у обедать. Оттуда пошли на rue de Vaugonne, и Карпов отправился на собрание РДО.

Мы с Костей остались одни. Ели виноград. Потом он лег, я сначала под села к нему на кровать, а потом отставила тарелку с виноградом и легла рядом. Как-то устала, и настроение было нервное, и спать даже хотелось. «Ира, отчего ты не даешься душой?» — «Не умею. Не умею быть откровенной, Костя». — «Физически ты скорее даешься, а душой нет. Тебе иногда бывает очень тяжело, ты

все переживаешь в себе, мне очень хочется тебе помочь...» Я была откровенна. Он спрашивал меня обо всем, и я ему все рассказала; все, начиная от Васи, — Ладинский и т.д. Потом мы обнимались и целовались. Это было прототипом того, что будет... «Костя, ты говоришь, что ты продумываешь каждый шаг, что у тебя есть чувство ответственности за все». — «Да, но не могу же я продумать каждый поцелуй?» — «Ты все-таки шалый». — «Ишак», — добавляет он. Потом опять переходим на серьезный тон. «Ира, мне кажется, что ты думаешь обо мне лучше, чем я есть на самом деле?» — «Для чего ты это говоришь? Разве это может изменить что-нибудь?» — «Мне кажется, что я не стою тебя». Ему хотелось, чтобы я прочла стихи, и я прочла последнее:

Все отдала я за твою любовь.
Неужто — мало?

Он ничего не ответил, а только крепко-крепко поцеловал. Потом я уснула. Проснулась, когда пришел Карпов. «Вот это хорошо, это по-студенчески! Милые мои, теперь проснитесь, умойтесь хорошенько, да пойдем обедать!» В это время еще пришел Шемахин, на улице познакомил с приятелем, они пошли в кафе просто, а мы — ужинать. В кафе было довольно-таки скучно. Не было Лили. Пришел еще Юлин, ненадолго Палей, был Ладинский, рано ушел. А мы пошли пешком на St-Lazare. Шли с Шемахиным, он мне говорил дикости про Монашева, что тот ему говорил, что он был накануне самоубийства, но тут приехала в Париж я, и он остался жив. Что он живет только для меня. Что если я умру или выйду замуж, он покончит с собой. «Мне его жаль!» — сказала я. «Он собирается делать тебе предложение».

Мне бы хотелось писать... сейчас... очень и очень много, — о том, что дома, и о том, что я собираюсь делать. Но надо делать «апашей». Теперь, и больше, чем когда бы то ни было, мне хочется работать, чтобы не сидеть на чужой шее.

Господи, что-то будет? С Папой-Колей мы говорим спокойно. Мамочку еще не видела. Костя далеко, и я его не позову, и ему будет здесь неприятно.

31 августа 1926. Вторник

Вчера ездила в Тургеневскую библиотеку на avenue l'Observatoire, видела accident: автомобиль раздавил велосипедиста. Я видела только, как велосипед был уже под колесами, а человек летел. Вероятно, смертный случай. Совсем в нескольких шагах от меня. Я отвернулась и быстро пошла в другую сторону. Слышала поли-

дейские гудки, видела потом, как собиралась толпа. Как коршуны на падаль.

Из библиотеки пошла на rue de Lanneau занести Леве книгу. Застала Сергея Николаевича. Хороший он человек и прекрасный товарищ!

Дома была Антонина Ивановна. Встреча с Мамочкой произошла не с глазу на глаз. Встретились сухо. Почти не разговаривали. С Папой-Колей отношения хорошие. Вечером Мамочка мельком бросила мне: «С Папой-Колей вчера такая истерика была». Я ничего не ответила.

Вот оно, начинается — страшное в жизни.

Ночью не спала. Голова болела и чувствовала страшную слабость. Голова болит и сегодня. Работаю с трудом. Неужели опять туберкулез. А может быть — нервное?

Хочу скорее ответить Леле. Вообще — писать письма. И заниматься. Ведь Леля еще ничего не знает.

14 сентября 1926. Вторник

То, что было за эти две недели.

Дома — мир и благоденствие. Помирились на третий день. Все хорошо.

Доклад Милюкова, интересно поведение большевиков и возвращенцев.

Потом — прогулка в Булонском лесу.

В прошлый четверг написала большое, на трех листах, письмо Косте. Чувствовала, что ускоряю роковую развязку, и писала все-таки. Ответ должна была получить в понедельник, а в воскресенье пришел он сам. Ходили опять по Brancas'у (пропуск трех слов. — *И.Н.*) опять осталось в душе такое хорошее и теплое чувство. Наутро — его письмо, тоже такое же хорошее и чуткое. А в 3 часа свидание в Люксембургском саду. И — такое неудовлетворение, такая боль. Мы не до чего не договорились, не поссорились и не стали ближе. Был момент, когда он дома сказал: «Ну, я вижу, у Вас дело погано». — «Значит, надо расходиться». «Надо быть определеннее». — «Чего же еще?» — «Нужно разобраться в своих чувствах». Я виню во всем себя одну — за нерешительность, за неуверенность, за нетерпеливость. Его я могу упрекнуть только за то, что он не хочет брать на себя руководящую роль, все взваливает на меня и меня же спрашивает, что будет дальше. Но все-таки кое до чего мы договорились, стало ясно, что я буду его. Я сказала ему, что согласна. Будет ли это миг или долгие годы — не знаю. Подождем, когда он вернется из Ниццы (едет с оперой на 2 недели, поет в хоре,

кот<орым> управляет брат). Он торопился на спевку, я его проводила до метро. Шли и не разговаривали. И мне казалось, что мы уже расстаемся навсегда. Выпили «Порто» за нашу будущую встречу и на лестнице метро простились. Грустно было страшно и досадно за себя. Слез я уж не сдерживала. Пошла по <place du> Notre-Dame, к St-Jaques, сама не зная куда. Сердце сжималось. И вдруг мысль: напишу ему письмо, сейчас же, как все так горячо чувствуется; досказать ему то, что не было досказано в саду. Бумага, карандаш у меня были, села на скамейку и написала. Писала о том, что мне страшно его потерять, но еще страшнее потерять его уважение. И, послав, начала стихотворение, пока только четыре строчки:

Принимаю все твои упреки.
Все, что будет, — будет хорошо.
Только б ты не сделался далеким,
Из моей бы жизни не ушел!

Да, на той неделе был Карпов. Мы поговорили по душам, и я ему рассказала про свою любовь. Вот верный друг — товарищ!

«Глубокая мысль моей души...»

С. 7. «Зачем меня девочкой глупой...» — Из стихотворения «Россия! Печальное слово...»

Россия! Печальное слово,
Потерянное навсегда
В скитаньях напрасно суровых,
В пустых и ненужных годах.

Туда — никогда не поеду,
А жить без нее не могу.
И снова настойчивым бредом
Сверлит в разъяренном мозгу:

— Зачем меня девочкой глупой
От страшной, родимой земли,
От голода, тюрем и трупов
В двадцатом году увезли!

Париж, 1933

(Впервые: Простор, 1962, №6, июнь, с. 44.)

С. 9. *Бабушка Ирины Кнорринг, Евгения, и ее младшая сестра Ольга...* — См. Розентрер Е.К. и Розентрер О.К.

С. 9. *Вдова остается с пятью дочерями...* — Сохранилось прошение о назначении пенсии «вдове коммерческого советника, преподавателя Феодосийской мужской гимназии» В.А.Щепетильникова, после смерти которого 19 апреля 1887 г. «при матери остались дети: Надежда 10 лет, Нина 9 лет, Мария 5 лет, Елена 3 лет, Вера 1 год» (архив Софиевых-Кнорринг). В датировке документа — 1893 г. — допущена явная ошибка (т.к. годы рождения сестер известны) — случайная или намеренная. После смерти мужа Е.К. вышла замуж за статского советника Голеницкого. Дату второго замужества установить не удалось (не позднее 1904 года): в указанном выше архиве хранится бумага от 14 октября 1904 г. о разрешении на брак М.В.Щепетильниковой и Н.Н.Кнорринга, выданная «женой статского советника Евгенией Карловной Голеницкой (по первому мужу Щепетильниковой)».

С. 18. *Н.М.Могилянский [...] так характеризует картину «сегодняшнего» момента...* — Подробнее см.: *Могилянский Н.* Франция — русским студентам // ПН*, №796, 23 ноября 1922, с. 2.

С. 18. *Сотрудник О.К.* — Organization of counterspionage (англ.). — Военно-морская разведывательная белогвардейская организация, тесно связанная в своей деятельности с британской разведкой. Создана в мае 1919 г. по приказу А.В.Колчака (по другой версии — в мае 1918 г. по инициативе секретаря русского посольства в Англии В.Д.Набокова). Руководил О.К. старший лейтенант А.А.Абаза. Под его руководством составлялись периодические сводки о

* ПН — здесь и далее парижская газета «Последние новости».

положении в советской России и рассылались кругу лиц, среди которых был и военно-морской агент (атташе) во Франции, капитан I ранга В.И.Дмитриев. Изначально О.К. финансировалась правительством А.В.Колчака. Закончила существование в 1922 г. (подробнее см.: *Пилкин В.К.* В Белой борьбе на Северо-Западе, с. 445).

С. 19. *Сохранилась копия свидетельства...* — Копия свидетельства о среднем образовании И.Н.Кнорринг хранится в архиве Библиотеки-фонда «Русское Зарубежье» (ф. 13, оп. 2, ед. хр. №3769, л. 3—3 об.)

С. 21. *Николай Николаевич работает в Тургеневской библиотеке...* — Русская библиотека, основанная И.С.Тургеневым (и Г.А.Лопатиным) в 1875 г.

С. 24. *«Принципиально отказался вступать в какой бы то ни было контакт с “молодыми”...»* — *Софиев Ю.* Разрозненные страницы, с. 103.

С. 24. *«За период с 1929 по 1932 год [...]»* — Цит. по: *Софиев Ю.* Разрозненные страницы, с. 108.

С. 26. *К.Бальмонт высказал мнение...* — Цит. по: *Кнорринг Н.Н.* Книга о моей дочери, с. 36.

С. 29. *...именное приглашение, нарисованное для Ирины председателем «Обезьяньей палаты».* — Подобные автографированные билеты с наклеенными картинками были известны почему-то под названием «верблюжьи». 31 марта 1933 г. в зале парижского отеля «Лютетия» состоялся вечер А.М.Ремизова. В первом отделении писатель прочитал свои еще не изданные рассказы и повесть «Учитель музыки», во втором — читал из Лескова, Писемского и Гоголя. Были представлены рисунки Ремизова к произведениям этих писателей и его рукописные иллюстрированные альбомы. Еще в дореволюционной России А.М.Ремизов придумал шутовской тайный орден — «Обезьянью Вольную и Великую Палату» (Обезволпал). Манифест же Палаты, пародирующий советские декреты, был опубликован им в 1919 г. В нем заявлялось решительное «нет» «гнусному человечьему лицемерию», клеймились собратья-обезьяны, оказавшиеся «в рабьем присяде». «Орденского знака Обезьяньей Палаты» была удостоена Анна Ахматова и другие — великие и малые — «собратья-обезьяны». Эту игру А.М.Ремизов продолжал и в годы эмиграции, будучи «канцеляриусом» Палаты. Художник и мастер каллиграфии, он оформлял различного характера писания (в том числе и вполне серьезного) своим друзьям, а также и «недругам» (например чиновникам); устраивал розыгрыши, присваивал титулы и т.д.

С. 29. *«Говоря о детских годах Ирины [...]»* — Цит. по: *Кнорринг Н.Н.* Книга о моей дочери, с. 4.

С. 31. *«Пристрастие мое к Шопену...»* — *Цветаева М.* Собр. соч., т. 7, с. 342.

С. 31. *...«Чертов мост» М.Алданова.* — Рецензия Г.В.Адамовича ««Чертов мост» М.Алданова» (*Адамович Г.В.* Литературные беседы, кн. 1, с. 391).

С. 31. *«Что весь соблазн и все богатства Креза...»* — Из стихотворения О.Э.Мандельштама «Осенний сумрак — ржавое железо...» (1910).

С. 31. *Прости, что я жила скорбя...* — Из стихотворения А.Ахматовой «Широк и желт вечерний свет...» (1915).

С. 34. *...«всё это больше походило на игру [...]»* — *Софиев И.* Монпарнасские сны // «Тебе»: Жизнеописание и творчество И.Ю.Софиева, с. 35.

С. 35. *Игорь Софиев помнит...* — Софиев И. Болезнь матери // «Тебе»: Жизнеописание и творчество И.Ю.Софиева, с. 66—67.

С. 36. ...автора «Розы Иерихона»... — Стихи И.Кнорринг. Впервые: ПН, 1931, 15 октября, №3858, с. 3.

С. 37. *Игорь Софиев с женой и сыном...* — Речь идет о первой жене Игоря О.Л.Вышневецкой и сыне Алексее Вышневецком.

С. 37. *Анна Андреевна дала лишь отзыв в несколько строк...* — Дан текст автографа (точнее, авторизованной машинописи) Анны Ахматовой из архива Софиевых-Кнорринг. В журнале «Простор» (1962, №6, июнь, с. 43) дата и место иные: «24 марта 1962. Ленинград»).

Тетрадь I 1917

С. 43. *Все, на чем печать непоправимого, / Белый лебедь в этой песне слил!* (Бальмонт) — Строки из стихотворения К.Бальмонта «Лебедь» (1895).

С. 43. *Соня сегодня за Тигриком не поехала...* — Не удалось выяснить, о ком идет речь.

С. 43. *Мелодекламация...* — Чтение стихов под музыку; в дореволюционной России так называли декламацию в сопровождении фортепьяно; популярный жанр салонных и домашних концертов, активным пропагандистом которого был Г.А.Лишин. Мелодекламировали и знаменитые артисты драмы.

С. 44. «*Дочь солнца*». — Сказка И.Кнорринг. Далее (вплоть до 1923 г.) ранние, не опубликованные сочинения И.Кнорринг даны без комментариев.

С. 47. *Я и Таня Г<ливенко> — герль-скауты.* — Скаутизм в России существовал с 1909 г. Его основателем стал капитан Олег Иванович Пантюхов. Прочитав книгу основателя движения скаутов-разведчиков в Великобритании, генерал-майора Баден-Пауэлла «Scouting for boys» («Разведка для мальчиков»), переведенную на русский язык по приказу Императора Николая II, высоко оценившего идеи скаутизма, Пантюхов высоко оценил основу движения — патриотизм, любовь к родной земле, к Богу, к ближнему, к природе, развитие самостоятельности и т.д., — придав движению русский колорит, дополнив традициями, песнями, играми и т.д. В 1915 г. руководитель киевского скаутского отряда А.К.Анохин создал первый в России отряд герль-скаутов (девочек-разведчиц). На страницах журнала «Вокруг света» (редактор В.А.Попов) начал печататься скаутский листок «Будь готов!» Движение развивалось быстро и успешно. Скаутизм был официально запрещен в СССР в 1923 г., с появлением пионерской организации юных ленинцев, созданной по его образу и подобию, сохранив тот же патриотический лозунг «Будь готов!». О.И.Пантюхов возглавил работу Национальной Организации Русских Скаутов (НОРС) в эмиграции.

С. 47. «*Скажи мне, ветка Палестины...*» — Строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «Ветка Палестины» (1837).

С. 48. *Жеребятниково. [...] Помню Владимира Федоровича, Марию Владимировну, Тоню, Лялю...* — Речь идет о семье Каврайских и их симбирском

имении Жеребятниково, где Кнорринги проводили летние месяцы в 1914–1916 гг.

С. 48. *Хохлик...* — В русском фольклоре хохликами называют домашних духов, помощников домового.

С. 50. *Я, Т<аня> и Л<еля>...* — Речь идет о Татьяне Гливенко и Леле Хворостанской.

С. 52. *Пишем мы под псевдонимами «Ундина» и «Русалка»...* — Ундина — героиня одноименной повести Фридриха де ла Мотт Фуке (в России известна благодаря стихотворному переложению В.А.Жуковского), Русалка — героиня одноименной поэмы А.С.Пушкина. И.Кнорринг («Ундина») и Т.Гливенко («Русалка»), присвоив себе псевдонимы, ввели их в свою игру (встречаются в тексте Дневников как имена персонажей).

1918

С. 56. *...могу писать в дневнике по своим правилам и порядкам.* — Сочинения Ирины — («Цайято, сын Зара Гама», «Сиротская доля», «Праздник у Феи» и др.), также стихи («Царица», «Светлячок», «Русалка» и др.) написаны каждое на отдельном листе, имеют характер набросков, есть пропуск слов. Даны без комментариев.

С. 59. *Таня — ландыш в лесу...* — Здесь и далее (на протяжении всего Дневника), при отсутствии дополн. комментария, речь идет о Татьяне Гливенко, дружба с которой прошла через всю недолгую жизнь И.Кнорринг.

С. 61. *На память от Тани Г<ливенко> [...] Твоя Т<аня>.* — Запись сделана рукой Тани Гливенко.

С. 61. *А я не забуду Кадеточку...* — В этом прозвище Ирины слышны отголоски семейных традиций: М.В.Кнорринг была членом Кадетской партии. Н.Н.Кнорринг, не будучи членом партии, придерживался либеральных, демократических взглядов; к этому располагали и личные привязанности: он был дружен с лидером кадет П.Н.Милоковым. В доме Кноррингов постоянно звучали разговоры о политике, судя по их пересказу в Дневнике Ирины (хотя, по утверждению отца, родители всячески «оберегали» дочь).

С. 61. *«Пасхальный звон».* — Стихи И.Кнорринг.

С. 62. *«Секрет»* (журнал). — Инициатором рукописного журнала «Секрет» (не обнаружен) была И.Кнорринг. В Дневнике присутствуют материалы, предназначенные для журнала (черновики), представляющие собой синтез фантазии и реалий (приведены без комментариев). Персонажи — сказочные или имеют прообразами подруг Ирины.

С. 63. *Сотрудников нас — трое...* — Речь идет об Ирине Кнорринг, Татьяне Гливенко и Леле Хворостанской, их «литературные псевдонимы», соответственно, Ундина, Русалка, Зарема.

С. 69. *...среди Дёмы и Наташи...* — Речь идет о кузенах И.Кнорринг — брате и сестре Шмариновых (их матери — Мария и Елена Щепетильниковы — были родными сестрами).

С. 70. *Дядя Алеша* — Шмаринов Алексей Яковлевич.

С. 70. *В этой церкви рисовал [...] Врубель. Он когда нарисовал картины, сошел с ума и кончил жизнь в больнице, при церкви...* — В 1882–1885 гг., работая в мастерской Адриана Прахова, Врубель участвовал в реставрации росписей Кирилловской церкви и выполнил несколько новых композиций: первую свою монументальную работу «Сошествие Святого Духа на апостолов» (расположена на хорах Кирилловской церкви), «Богородица с младенцем» и др. К этому периоду относятся его эскизы росписей Владимирского собора в Киеве (1887 г.). В 1902 г., когда появляются первые признаки душевной болезни, Врубель вновь посещает Кирилловскую обитель (во время пребывания в Киеве у него умирает сын, портрет которого он незадолго до того выполняет). Изучая свои росписи, он заметил: «Вот, в сущности, то, к чему я должен был бы вернуться». Однако «киевский» период относится к раннему творчеству Врубеля. Закончил же свои дни художник в московской клинике для душевнобольных (под наблюдением доктора Ф.А.Усольцева) и в Кирилловской церкви (находящейся, действительно, на территории больницы для умалишенных), будучи больным, уже не работал.

С. 71. *Они дразнятся, что там написано Ирина и Володя!* — Речь идет о Володе Шварце.

С. 72. *«Спиридонушкино царство»*. — Сказка И.Кнорринг.

С. 73. *«Лето»*. — Рассказ автобиографичен.

С. 73. *В Киев, к тете на дачу [...] Я должна была увидеть двоюродных брата и сестру...* — Речь идет о Елене Владимировне Шмариновой и ее детях — Дёме и Наташе.

С. 74. *«Люблю тебя, заката луч прощальный...»* — Стихи И.Кнорринг.

С. 76. *«Приступ»*. — Изложение И.Кнорринг фрагмента повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка».

С. 77. *...ученица [...] Гимназии учителей и родителей*. — Речь идет о Гимназии «Общества Второй группы преподавателей в Харькове», директором которой был Н.Н.Кнорринг.

С. 78. *«Ванька»*. — Изложение И.Кнорринг фрагмента рассказа А.П.Чехова «Ванька Жуков».

С. 79. *«Ваня»*. — Рассказ И.Кнорринг.

С. 79. *«Ключ счастья»*. — Рассказ И.Кнорринг.

С. 83. 1. *Наташа.., Таня, 2. Ключ счастья [...]* — Перечислены темы стихов и рассказов, как уже написанных, так и планируемых.

С. 84. *«Галля. Повесть»*. — Сочинение И.Кнорринг (продолжение в другой тетради, не завершено).

С. 85. *Туда перепису и «Галло»*. — Речь идет о рассказе «Ключ счастья», главный персонаж которого — Галло.

1919

С. 86 *...рыть окопы под Люботиным*. — В районе Люботина (30 км от Харькова) руководство Красной армии планировало задержать продвижение австро-германских войск, чтобы успеть эвакуировать из Харькова в Самару оборудование заводов оборонного характера.

С. 87. *Я пошла в гимназию по старому времени.* — Григорианский календарь («новый стиль») был введен в советской России с 14 февраля 1918 г. Однако на территории Украины и Крыма, где в 1919—1920 гг. власть несколько раз переходила из рук Советов к Добровольческой армии и обратно, действовал то старый, то новый стиль, в зависимости от местной власти (меняется он и в Дневнике И.Кнорринг). Поэтому далее дневниковые записи данного периода (как и многие хроники периода гражданской войны) имеют двойную датировку.

С. 88. *В Германии убили двух главных большевиков...* — Речь идет об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург.

С. 89. *Дорогая Валя...* — Запись обращена к Вале Бондаревой, покинувшей Харьков.

С. 90. *Переписан конец «Дворянского Гнезда» Тургенева со слов «Говорят, Лаврецкий посетил...»* — Подобные задания по словесности (копирование) практиковались в гимназиях как способ прочтения и осмысления материала. Приведем записанные строки тургеневского романа, заставившие И.Кнорринг написать о нем в своем Дневнике и, несомненно, повлиявшие на нее: «Говорят, Лаврецкий посетил тот отдаленный монастырь, куда скрылась Лиза, — увидел ее. Перебираясь с клироса на клирос, она прошла близко мимо него, прошла ровной, торопливо-смирненной походкой монахини — и не взглянула на него; только ресницы обращенного к нему глаза чуть-чуть дрогнули, только еще ниже наклонила она свое исхудалое лицо — и пальцы сжатых рук, перевитые четками, еще крепче прижались друг к другу. Что подумали, что почувствовали оба? Кто узнает? Кто скажет? Есть такие мгновения в жизни, такие чувства... На них можно только указать — и пройти мимо.

С. 91. *Получили из Елшанки письмо. В доме тети Нины живет пастух [...]* *Тетя Нина в Сибири...* — Речь идет о судьбе Н.Б.Кнорринг (о членах ее семьи см. Аннотированный указатель имен во II томе).

С. 92. *Чернилами на память!..* — Запись сделана рукой Н.Пашковской.

С. 92. *«Союз Четырех»* — Ирина Кнорринг, Таня Гливенко, Леля Хворостанская и Наташа Пашковская.

С. 96. *Добровольцы в Мерефе.* — Мерефа — пригород Харькова.

С. 97. *На Metropol взвился настоящий русский флаг, бело-сине-красный. — «Очень обрадовались национальному флагу. Большевики выбросили лозунг — «Интернационал» — с красными флагами, и вот тогда нам всем казалось, что уже нет России, а есть какой-то «Интернационал», —* поясняет артистка Дина Кирова, игравшая в 1919—1920 гг. в «Театре Синельникова» в Харькове. Она характеризует обстановку в городе и поведение людей в контексте множественной смены власти (см. книгу: *Кирова Д. Мой путь служения Театру*, с. 175—190).

С. 98. *Добровольцы опять ввели старый стиль...* — Летом 1919 г., когда при поддержке Добровольческой армии к власти пришло Краевое правительство, был введен старый стиль.

С. 99. *Папе-Коле надо ехать [...] в Славянск...* — Здесь и далее поездки Н.Н.Кнорринг связаны с его просветительской деятельностью как сотрудника Харьковского учебного округа.

С. 100. *«Ангел слетел над покровом...»* — Запись сделана рукой Н.Гераскиной.

С. 100. *...три друга: Дневник, Эмилия и стихи.* — Эмилия — имя куклы.

С. 101. *Святые Горы*. — Историко-краеведческий музей-заповедник «Святые Горы» (веками намоленная земля, центром ее является Свято-Успенский Святогорский монастырь).

С. 102. *...разучивала Чайковского. «Осеннюю песнь»*. — «Осенняя песнь» П.И.Чайковского из цикла «Времена года».

С. 106. *17-го ноября бежали*. — И.Кнорринг не раз возвращается к этой дате — дню бегства из Харькова, позднее напишет стихи: «17 ноября 1919 года» (опубликованы: *Кнорринг И.* Очертания смутного Крыма, с. 122).

С. 106. *Устроились здесь у одних знакомых*. — Речь идет о семье профессора С.М.Максимовича.

С. 106. *Вчера была у Наташи, она живет в Нахичевани...* — Речь идет о Наташе Пашковской.

С. 108. *Ростов эвакуируется. Красные взяли Миллерово...* — К этому времени командование Красной армии провело всеобщую мобилизацию шахтеров, что позволило отстоять Миллерово и др. города Донецкого угольного бассейна.

1920

С. 111. *Приехал [...] один человек из Округа...* — Речь идет о Харьковском учебном округе, в составе которого эвакуировались Кнорринги (т.е. приехал коллега Н.Н.Кнорринга, харьковский педагог).

С. 111. *...мое имя — мир...* — Имя «Ирина» в переводе с греческого означает «мир».

С. 111. *...фото — свет...* — Фото (photos) в переводе с греческого означает «свет».

С. 112. *Моська от такого ответа растаяла бы...* — Речь идет о В.А.Медведевой.

С. 112. *...ушли на репетицию хора к «Татьяниному дню»...* — «Татьянин день» — традиционный праздник русских студентов, отмечается 25 января, т.к. в этот день (12 января по ст. ст.) 1755 г. Императрица Елизавета Петровна подписала указ об учреждении Московского университета.

С. 113. *«Как ты можешь влюбляться в портрет?»* — Речь идет о портрете адмирала А.В.Колчака.

С. 114. *Приехали знакомые Папы-Коли и пока остановились у нас в комнате*. — Речь идет о супругах Давидовых.

С. 116. *С юга (наступают. — И.Н.) зеленые...* — «Зеленые» — крестьянские повстанческие отряды; боролись, с одной стороны, против продразверстки на территориях, контролируемых Советами, с другой — против возврата помещичьего землевладения на территориях белых правительств.

С. 117. *...характеристику Афанасия Ивановича, Пульхерии Ивановны и Плюшкина...* — Герои повести Н.В.Гоголя «Мертвые души».

С. 117. *...Пушкина «Путешествие в Эрзерум»*. — Проза А.С.Пушкина «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» (1835).

С. 122. *Картина из нашей жизни...* — В качестве персонажей жанровой сценки изображены соседи Кноррингов по «общежитию» (по Греческому училищу):

Мария Владимировна (М.В.), Папа-Коля (П.-К.) и супруги Давидовы – Дмитрий Михайлович (Д.М.) и Софья Степановна (С.С.).

С. 124. *У нас здесь есть один панический инженер...* – Не удалось выяснить, о ком идет речь.

С. 128. *...о скорой ликвидации черных...* – «Черные» – анархисты, флаг которых имел черный цвет.

С. 128. *Опять кошмар, опять новый стиль...* – Однако в Дневнике И.Кнорринг придерживается по-прежнему старого стиля (согласно соответствию дням недели).

С. 128. *«И жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, – / Такая пустая и глупая шутка»...* – Строки из стихотворения М.Ю.Лермонтова «И скучно, и грустно, и некому руку подать» (1840).

С. 129. *«Хвала тебе, о смерть всесильная»...* – Стихи И.Кнорринг. Опубликовано: Кнорринг И. Очертания смутного Крыма, с. 124.

С. 130. *...принялась за чтение Оливера Твиста...* – Роман Чарльза Диккенса «Оливер Твист».

С. 133. *...инженерша с Асей...* – Жена и дочь «панического инженера» (не удалось выяснить, о ком идет речь).

С. 136. *У меня горе, страшное, ужасное горе...* – Речь идет о расстреле 7 февраля 1920 г. адмирала А.В.Колчака; он был расстрелян «по решению большевистского Иркутского Военревкома» (точнее, по приказу Ленина) близ Знаменского монастыря, на льду реки Ушаковки, в месте ее впадения в Ангару.

С. 139. *...дует «Моряк»...* – Название южного ветра.

С. 139. *«И бури немощному вою / С какой-то радостью внимал»...* – Строки из поэмы А.С.Пушкина «Кавказский пленник».

С. 145. *Встретили Гutowских (с Чайковской, 10)...* – Речь идет о Харьковских знакомых Кноррингов с улицы Чайковского.

С. 146. *Вчера были в Музее древностей, в кургане...* – Работа керченского Музея Древностей не прекращалась и в годы гражданской войны. Напомним, что Керчь находится на месте Пантикапеи, одной из многих колоний, основанных греками в середине VII в. до н.э. на северном побережье Черного моря. Вскоре Пантикапея превратилась в центр Боспорского царства. Археологические раскопки, ведущиеся на курганах – древних городищах и могильниках, сопровождаются исследованием древних письменных материалов. Все это не могло не восхитить и оставить равнодушным Н.Н.Кнорринга, историка по образованию, он вспоминает: «В Керчи мы пробыли страстную неделю [...] Ходили на раскопки курганов, побывали в местном очень интересном музее, директором которого был К.Э.Гриневи́ч, мой знакомый еще по Харькову. Там я познакомился с проф<ессором> Довнар-Запольским, который тоже был на беженском положении и жил в квартире директора музея. Для меня эти встречи были очень приятны – я еще тогда был близок к науке» (Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 22).

С. 149. *...поймал несколько «блондинок»...* – Так называли вшей.

С. 151. *Квартира каких-то знакомых Папы-Коли...* – Речь идет о семье Забниных (Зябниных). Н.Н.Кнорринг комментирует так: «Несколько дней

я пробегал по городу в поисках какого-нибудь угла и наконец на Бетлинговской ул<ище> нашел что-то вроде курятника, где можно было хоть как-нибудь устроиться. Ирина даже могла спать в доме, в комнате хозяйской родственницы» (Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 23).

С. 152. *Не бегаю в ОСВАГ за сведениями...* — Информация о положении на фронтах, а также постановления и приказы вывешивались на щитах в помещении ОСВАГа (Осведомительно-Агитационное отделение Добармии, руководил ОСВАГом С.С.Чахотин).

С. 153. *...мысли витают далекие, в холодной Сибири...* — Речь идет о членах семьи Нины Владимировны Кнорринг (об их судьбах см. в Указателе имен во II томе).

С. 154. *Мы были на кладбище, на бабушкиной могиле.* — Речь идет о матери М.В.Кнорринг — Евгении Карловне Розентрер (в первом браке Щепетильниковой).

С. 156. *«Мне больше некого любить...»* — Строка стихотворения И.Кнорринг (не закончено).

С. 159. *Мамочка пошла на свою временную службу...* — Речь идет о работе М.В.Кнорринг в Отделе народного образования, где она разбирала архив Харьковского учебного округа.

С. 159. *Папа-Коля — в редакцию...* — Н.Н.Кнорринг был секретарем газеты «Земля», органа Ген. штаба армии Врангеля.

С. 160. *Сибирь, этот грустный край, погубивший двух [...] любимых людей.* — Речь идет о кузене Ирины — Игоре Кнорринге, и об адмирале А.В.Колчаке.

С. 161. *...вся Великая Россия занята Совдепией, где первенствуют евреи.* — И.Кнорринг имеет в виду национальный состав (в процентном отношении) органов советской власти — ЦК РКП(б), Совета народных комиссаров, Наркомата по делам армии и флота, Наркомата иностранных дел, Наркомата внутренних дел, Наркомата юстиции, Наркомата образования, Коллегии ВЧК и др.

С. 164. *Центро-Страх* — прозвище Пиневица.

С. 164. *Харьковская пропаганда...* — Харьковское отделение Отдела пропаганды Особого совещания при Главнокомандующем ВСЮР (его архив также разбирала М.В.Кнорринг).

С. 164. *«Ужасный век, ужасные сердца!»* — Заключительные строки драматической сцены А.С.Пушкина «Скупой рыцарь» (1830), позднее вошла в «Маленькие трагедии».

ТЕТРАДЬ II

С. 165. *«Я тот, чей взор надежду губит...»* — Эпиграфом даны строки из поэмы М.Ю.Лермонтова «Демон».

С. 167. *«Превосходительный тесть».* — Одноактная комедия А.Морозова.

С. 167. *Великолепно играл самого «тестя».* — Фамилия артиста в тексте отсутствует.

С. 167. *Марадудина говорила юмористические рассказы [...] кажется, свои...* — Сведений о том, что М.Марадудина писала рассказы, не обнаружено.

По всей видимости, это были рассказы А.Т.Аверченко, в моноспектаклях которого она много участвовала.

С. 168. *«Фараоновы коровы»*. — Библия повествует: одному из египетских фараонов приснился странный сон: он увидел семь тучных коров и семь тощих. Тощие коровы съели тучных, но от этого ничуть не потолстели. Иосиф так растолковал вещий сон: семь лет в Египте будет урожай, а следующие семь — голод (Быт 41: 1-4). «Фараоновы тощие коровы» стали символом людей, которым ничто не идет впрок, а также — положения, не исправимого ни при какой затрате средств и усилий.

С. 170. *«Свадьба Кречинского»*. — Драматическая трилогия А.В.Сухова-Кобылина.

С. 170. *Старшие воспитанники кадетского корпуса ушли с генералом <Бредовым>, а младшие оставлены на произвол судьбы...* — Речь идет о воспитанниках Одесского к.к., эвакуированного в Сербию.

С. 171. *Была на «Шалунье»...* — Оперетта К.М.Цирере «Шалунья» из репертуара московского Театра Е.В.Потопчиной).

С. 174. *Тетя-Леля (где-то она теперь?)...* — Речь идет о Елене Владимировне Шмариновой (урожденной Щепетильниковой).

С. 177. *...в Лазаревском саду на далекой аллее, над Салгиром*. — Речь идет о реке Салгир, протекающей через Симферополь, вдоль городского сада.

С. 180. *...разговоры с Забниным: Крым... навсегда... устраиваться...* — Характер разговоров понятен; добавим, что отец братьев Забниных (Зябниных) был священником, впоследствии репрессирован (см. Указатель имен во II томе).

С. 181. *Отец Лизы — коммунист, командующий юго-западным фронтом...* — Речь идет о генерале А.И.Егорове и его дочери.

С. 182. *Одни и те же лица [...] Таня и Вера. Часто вижу Ксаню*. — Речь идет о Тани Гливенко, Вере Кузнецовой и Ксении Пугачевой.

С. 184. *«Граф Люксембург»*. — Оперетта Ф.Легара.

С. 184. *«Король веселится»*. — Оперетта Р.Нельсона.

С. 184. *«Лишь жить в самом себе умей...»* — Из стихотворения Ф.И.Тютчева «Silentium» (1830).

С. 185. *Вот она, моя дача-тюрьма!* — Речь идет о новом жилье по адресу: Семинарский переулок, дом № 4. Владелец дома был пан Раковский; квартиру, временно занятую Кноррингами, снимал профессор А.Н.Деревицкий (декан историко-филологического факультета Таврического университета в 1918—1920 гг.) Уезжая с семьей на дачу, на Южный берег Крыма, он предоставил ее Кноррингам.

С. 187. *«Сверчок на печи»*. — Спектакль по пьесе Ч.Диккенса.

С. 188. *Ходили на «второй ставок»...* — Ставком называли место около водоема, где ставят сети (ставки).

С. 189. *Древняя история очень интересна, но... не по учебнику и не для экзамена*. — Н.Н.Кнорринг, историк по образованию, передал дочери любовь к истории. И в беженской жизни он открывал возможность для самообразования, высоко оценив уровень академической жизни в Симферополе в годы

гражданской войны, где он был избран членом «Таврического общества истории, археологии и этнографии» при Таврическом университете, прочел доклад о Екатерининской Комиссии 1767 г., написал несколько работ по истории. «До сих пор я вспоминаю с удовольствием это время, проведенное мною в радужной и гостеприимной академической среде» (*Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери*, с. 23).

С. 190. *К Чурилину приходит жена.* — Речь идет о второй жене Тихона Чурилина — художнице Б.И. Корвин-Каменской.

С. 197. *...будто бы Иван Иванович расстрелян, Лидия Ивановна вроде как сумасшедшая стала, Валерку не видела. Таню видела странной...* — Речь идет о семье Гливенков.

С. 199. *Таня (фамилию я не помню)...* — Речь идет о Тане Титовой.

С. 201. *Вот лето и прошло...* — И.Кнорринг, с печалью вспоминая начало учебного года в любимом Харькове, в этот день пишет стихотворение «Песня узника»: «Завтра казнь. Так просто и бесстрастно / В мир иной душа перелетит...» (опубликовано: *Кнорринг И. «Очертания смутного Крыма»*, с. 125).

С. 203. *Начала я писать повесть «Беженцы»...* — И.Кнорринг завершит повесть в 1933 г., дав ей название «Двадцатый год». Повесть построена, по большей части, на материалах Дневника.

С. 203. *«На агитпоезде»...* — В составе «агитпоезда» Ирина с матерью покинула Харьков. Из повести И.Кнорринг «Двадцатый год»: «Это было 17 ноября ст<арого> ст<ия> 1919 г. Вдруг раздался стук в дверь. В соседней комнате послышались шаги и голоса, тревожные и взволнованные. «Белгород взят, — сказал твердый и уверенный голос, — вы должны ехать, иначе вы только свяжете Николая Николаевича. Вот вам два билета на агитпоезд и уезжайте. Поезд уходит через три часа». Послышались робкие протесты мамочки. «Вы упустите момент, — повторил тот же голос. — Николай Николаевич один успеет выехать, а с вами это будет уже невозможно. Решайтесь, пока не поздно»» (Цит. по книге: *Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери*, с. 12–13).

С. 204. *...провозгласил императором Михаила...* — Речь идет о Великом князе Михаиле Михайловиче (см. Указатель имен во II томе).

С. 207. *...приходили Дунаевские...* — Дружба Кноррингов с семьей композитора И.О. Дунаевского началась в Харькове (Н.Н.Кнорринг имел музыкальное образование, играл на скрипке). Дунаевский учился в Харьковском музыкальном училище по классу скрипки и композиции; затем поступил в Харьковскую консерваторию, окончил ее в 1919 г. (одновременно являясь студентом юридического факультета Харьковского университета). К этому времени относятся его первые сочинения — фортепианные пьесы, романсы, квартеты. По окончании консерватории работал концертмейстером, руководил музыкальной частью в Харьковском драматическом театре.

С. 208. *...я с моими друзьями Шаповаловыми собралась бежать на войну...* — Речь идет о семье Владимира Шаповалова, преподавателя гимназии. И.Кнорринг запечатлела этот эпизод в рассказе «Как я начала писать стихи» (не опубликован): когда в 1914 г. в Харькове появились первые раненые, при общем патриотическом подъеме Ирина со своими друзьями — Ликой, Леной и Алешей Шаповаловыми — не хотела оставаться в стороне, они собрались на войну, чтобы «выкрасть немецкие планы». Копили и прятали продукты на дорогу. Чтобы иметь немного денег, Алеша рисовал картинки, а Ирина снабжала их

стихами. Рисунки продавали родителям Шаповаловых по пятаку за штуку — «на нужды войны». То были первые стихи Ирины.

С. 209. *Мамочка начала служить.* — М.В.Кнорринг работала в Харьковском учебном округе.

С. 210. *Таня теперь жила далеко от меня, в гимназии.* — Таня Гливенко жила в помещении при гимназии, директором которой был ее отец, И.И.Гливенко.

С. 214. *Эвакуируемся во Францию...* — Место эвакуации Черноморского флота до последнего момента было не известно беженцам.

С. 214. *...американские склады Красного Креста...* — Речь идет о складах с гуманитарной помощью от Американского Красного Креста (American Red Cross — ARC).

С. 216. *Принцезы острова.* — Группа из девяти островов в Мраморном море (принадлежат Турции).

С. 216. *В Тулон [...] в Бизерту, [...] в Катарро...* — Портовые города Франции (Тулон), Туниса (Бизерта) и Югославии (Катарро).

С. 219. *Утром приехали в Наварин.* — Наварин (ныне Пилос) — город-порт на юго-западном берегу п-ва Пелопоннес; место встречи кораблей Русской эскадры — малогабаритных, идущих по Коринфскому каналу, с кораблями, огИБающими полуостров.

С. 221. *Александрова [...] племянница Деникина.* — У А.И.Деникина и его жены не было родных братьев и сестер.

С. 223. *...на юте — романы, на баке — пьянство...* — Ютом называется кают-компания для офицерского состава; баком — место отдыха матросов.

С. 223 *...в каютах — «регистрация беженцев»* — ловля вшей.

С. 223. *«Корнилов»* — крейсер «Генерал Корнилов» (командир — капитан I ранга В.А.Потапьев).

С. 224. *«На берег радостный выносит / Мою ладью девятый вал...»* — Строки из романа в стихах А.С.Пушкина «Евгений Онегин» (глава «Путешествия Онегина»).

С. 224. *...попадем на «Якута»...* — Канонерская лодка «Якут» (командир — капитан I ранга М.А.Китицын).

С. 226. *...завтра переезжаем на «Кронштадт»!* — Транспортная мастерская «Кронштадт» (командир — капитан I ранга К.В.Мордвинов).

С. 227. *На спардеке уже веселились взрослые.* — Спардек — верхняя легкая палуба.

С. 228. *...ставилась пьеса «Иванов Павел».* — Пьеса В.М.Дорошевича.

Тетрадь III—IV

1921

С. 233. *...ходили в другой русский лагерь. Там живут [...] Завалишины и Воробьевы...* — Речь идет о лагере в Saint-Jean (Сен-Жан), расположенном на окраине Бизерты.

С. 234. *Папа-Коля опять в городе, играет в кинематографе...* — Н.Н.Кнорринг подрабатывал игрой на скрипке перед началом сеанса.

С. 235. *Прочла книгу Слащева...* — Речь идет о книге: *Слащев Я.А.* Белый Крым (1920).

С. 238. *...никаких событий, за исключением ухода 8-ой роты...* — Речь может идти о переводе восьмой роты, сформированной из малышей, из Сфаята, где они жили с родителями, в общее помещение Морского корпуса — в Джебель-Кебир.

С. 239. *Наташа Кольнер.* — Дружба с Н.Кольнер (в замужестве Грабарь) продолжится и во Франции. Ей посвящено стихотворение «Спасибо, друг...»

Спасибо, друг; за то, что вижу снова
К тебе доверие, и ласку, и покой,
За первое приветливое слово,
За первый взгляд, невинный и простой.
Зато, что здесь, к печальной, одинокой,
Среди унынья, пошлости и зла,
В чужой толпе, бесчувственной, далекой,
Ты первая несмело подошла.
За первый миг навеянного счастья,
За тихий миг, несмелый и живой,
За все участие, робкое участие
Со всей наивной, детской простотой.

12.V.1921. Сфаят

(Цит. по книге: Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 34.)

С. 239. *Церковь на форту, в каком-то каземате, маленькая, но очень уютная.* — Церковь Морского корпуса, названная в честь небесного покровителя корпуса — Святителя Павла Исповедника (корпусная церковь), была устроена отцом Георгием Спасским действительно в одном из пещерных казематов, на горе Джебель-Кебир (там же располагались и помещения Корпуса). Это была первая русская православная церковь в Бизерте.

С. 239. *...из Дамского комитета — яйца, шоколад и молоко.* — Дамский комитет Морского корпуса в Бизерте, возглавляемый женой директора Корпуса, Г.Я.Герасимовой, занимался распределением гуманитарной помощи — посылок от ARC, а также «сладких» подарков, поступающих от местных жителей.

С. 240. *Есть, правда, у меня друг — Наташа...* — Здесь и далее речь идет о Наташе Кольнер.

С. 242. *М<ада>м Тихомирова и Кольнер...* — В.П.Тихомирова и О.А.Кольнер — члены Дамского комитета.

С. 244. *Сербия, институт...* — Речь идет о Харьковском женском институте (Институте благородных девиц) императрицы Марии Федоровны, основанном в 1812 г. В конце 1919 г. институт эвакуировался в Югославию, где продолжал действовать под руководством М.А.Неклюдовой вплоть до 1932 г.

С. 244. *Рапорт написал в стихах...* — Текст «Рапорта» Н.Н.Кнорринга:

Среди тропической зимы
И северного лета

В одном и том же ходим мы, —
И плоть весьма согрета.
Чтобы последствий избежать,
Предупредивши драмы
(Нельзя же нагишом гулять:
И в Африке есть дамы!),
Прошу в цейхауз* приказать,
Сей избежав картины,
Мне на штаны и блузу дать
Побольше парусины.

(Цит. по книге: Кнорринг Н.Н. Сфаят, с. 43.)

С. 245. *Тащиться по такой жаре 6 километров...* — Монастырь Сионской Божьей Матери, в котором жила на пансионе Ирина, находился в Бизерте.

С. 248. *Зубрила историю Версинжеторикса.* — Версинжеторикс — французской национальный герой (полководец, дипломат, объединивший под своим началом галльские племена в I веке до н.э., бросивший вызов правителю Великого Рима — Цезарю).

С. 250. *Nador.* — Русский лагерь, расположенный на горе Надор (район г. Монастир, восточное побережье Туниса).

С. 250. *«Кронштадт» стоит под желтым флагом [...] Там чума...* — Транспорт «Кронштадт», возглавляемый капитаном I ранга К.В.Мордвиновым, был увезен в Марсель французскими властями под предлогом предотвращения эпидемии чумы, обнаруженной будто бы у нескольких матросов «Кронштадта». Таким образом Русская эскадра лишилась целой фабрики, коей являлся «Кронштадт». Н.Н.Кнорринг задается вопросом: почему не были запущены огромные мастерские «Кронштадта», прекрасно оборудованные, имеющие большой запас материала. А квалифицированные кадры для мастерских готовил сам Морской корпус. Он задается и другим вопросом: почему, при наличии некоторых средств и организаций (государственных, общественных, профессиональных), не удалось выкупить небольшой клочок земли в Бизерте и построить «Русский дом» для неимущих русских беженцев? И констатирует: «Не все ладилось на эскадре» (Кнорринг Н.Н. Сфаят, с. 104). В том же ключе высказывается адмирал В.К.Пилкин в письме к Н.Н.Юденичу от 16 января 1921 г.: «Базили уступил французам весь коммерческий (и военный) флот, внося во врангелевское предложение “редакционные изменения”, а теперь, по слухам, будет директором пароходного общества с каким-то фантастическим окладом» (Пилкин В.К. В Белой борьбе на Северо-Западе, с. 470).

С. 252. *Сиска уехала в Тунис...* — Здесь и далее речь идет о городе Тунисе, столице Туниса (названия их совпадают).

С. 253. *Там была Соллогуб [...] «А меня муж прислал к вам...»* — Речь идет о капитане II ранга В.В.Соллогубе и его жене М.А.Соллогуб.

С. 257. *В Париже есть какой-то русский университет...* — Речь идет о Русском народном университете, открытом в Париже в 1921 г. по инициативе Русской академической группы, с целью дать русской молодежи гуманитарные

* Цейхауз (нем.) — воинский склад для хранения обмундирования, снаряжения и продовольствия.

знания. С докладами на исторические темы выступал в Университете и Н.Н.Кнорринг после приезда в Париж.

С. 257. *В Сербии — Харьковский институт.* — См. коммент. к с. 244 (26 мая 1921).

С. 258. *Наташины именины, к ней пришла тетя с сыновьями Мостиком и двухлетним Володькой [...] Лялин папа...* — Речь идет о тетке Наташи Кольнер со стороны матери — Лидии Антоновне Ирмановой, о ее сыновьях (Мостике и Володе) и об отце Ляли (Ольги) Воробьевой — А.А.Воробьеве.

С. 264. *...пою в хоре. У нас теперь новый регент...* — Речь идет о смешанном хоре Сфаята и регенте Ф.Ф.Соколове.

С. 264. *...села читать на «дачке».* — Так Кнорринги называли созданное ими в Сфаяте, и полюбившееся им, место отдыха: недалеко от дома, у обрыва над маслинной рощей, среди деревьев повесили гамак, поставили столик и скамью. «На дачке» они проводили «изумительные летние вечера перед закатом солнца». «Я как сейчас вижу, как Ирина с матерью, обнявшись, как две сестры, уходили на прогулку и возвращались усталые, но тихие и умиротворенные» (Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 34).

С. 264. *15 декабря (ст<арого>ст<ия>) за всеобщей была панихида по Николаю II.* — Панихида по случаю тезоименитства убиенного императора Николая II (дня Святителя Николая, архиепископа Мир Ликийских, Чудотворца).

1922

С. 265. *Готовлюсь к спектаклю с 3-ей ротой...* — Любительские спектакли в Сфаяте ставил художественно-литературный кружок Морского корпуса. В них участвовали военные и штатские: преподаватели, кадеты, гардемарины и «красавицы Сфаята». Руководила кружком Г.Я.Герасимова.

С. 265. *Молодой мичман, по прозвищу «Катя»...* — Не удалось выяснить, о ком идет речь.

С. 266. *Одна приятная новость: у нас новый регент (бывший кок)* — см. коммент. к с. 264 (4 декабря 1921).

С. 268. *Придет из мастерской с брюками в руках и с сантиметром на шее...* — Речь идет о пошивочной мастерской, производящей одежду для преподавателей и кадет Морского корпуса, в которой работали мать и дочь Кнорринги. Руководила мастерской Г.Я.Герасимова.

С. 268. *Получена телеграмма от Меркулова: он предлагает Корпусу ехать во Владивосток...* — Начиная с апреля 1920 г., когда была создана Дальневосточная республика, объединившая Забайкальскую, Амурскую, Сахалинскую, Приморскую и Камчатскую области, на Дальнем Востоке шла непрерывная борьба Народно-революционной армии с белогвардейскими частями, а также с армией Японии. «Богатый домовладелец» Владивостока Н.Д.Меркулов, совместно со своим братом, земским деятелем С.Д.Меркуловым, при поддержке Японского правительства, организовал 26 мая 1921 г. переворот во Владивостоке, став во главе правительства.

С. 268. *«Владивосток пал».* — 25 октября 1921 г. войска Народно-революционной армии вошли во Владивосток. Было объявлено об установлении на

территории Дальнего Востока советской власти и о вхождении Дальневосточной республики в состав РСФСР.

С. 269. *Завтра уезжает в Прагу часть студентов, а также и первая рота гардемаринов...* — Примерно за год до этого момента Союз русских студентов в Тунисе начал проводить анкетирование «недоучившихся» студентов. В частности, в Морском корпусе были выделены специальные «классы», где молодых людей «подтягивали» по математике, физике, гуманитарным дисциплинам. В начале 1922 г. в Бизерту прибыли представители Русской учебной коллегии из Праги У.Жиляев и Л.Художиллов, составившие вместе с местными педагогами аттестационные комиссии. В период с 4 по 11 марта 1922 г. в Тунисе прошла серия отборочных коллоквиумов. В результате в Прагу для продолжения учебы выехали 40 студентов (*Крезе Л., Милославский П.* Русские студенты в Тунисской области, с. 2). Согласно отчетному письму секретаря Бизертинского отделения Союза русских студентов в Тунисе А.П.Келлера: коллегия «захватила с собой первую группу студентов и гардемаринов в количестве 75 человек» (БФРЗ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. № 918). Из чего следует, что кроме студентов уехали 35 гардемаринов, абитуриентов.

С. 269. *Летом уехала его любимая внучка...* — Речь идет о Татьяне Куфтиной.

С. 270. *...пришли в баню «восьмушки»...* — Помещение бани было приспособлено под офицерскую столовую (столовой частью Морского корпуса руководил полковник А.Ф.Калецкий). «Восьмушки» — бывшие воспитанники 8-ой роты.

С. 270. *...все три адмирала...* — Адмиралы А.М.Герасимов, М.А.Беренс и А.И.Тихменев.

С. 270. *Сербия принимает две тысячи русских эмигрантов из Тунисии...* — Данные о количестве русских беженцев, прибывших в Сербию с этой волной, значительно разнятся в разных источниках. Ю.Софиев вспоминает: «С первого дня моего пребывания в Дубровнике я обратил внимание на то, что на улицах города постоянно встречались молодые люди в русской гардемариновской форме» (*Софиев Ю.* Разрозненные страницы, с. 46).

С. 271. *...два Николая Николаевича...* — Речь идет о Н.Н.Александрове и Н.Н.Кнорринге.

С. 271. *Е.Г.Александрова [...] уезжает к дочери в Лион.* — Речь идет о Тане Гран, ее старшей дочери от первого брака.

С. 273. *...все ушли наверх...* — Т.е. на гору Джебель Кебир, где находились помещения Морского корпуса.

С. 275. *После обеда кроила шапки...* — Речь идет о работе Ирины в пошивочной мастерской.

С. 275. *Срок я себе ставлю на один год...* — Обещание Ирины, данное самой себе: ежедневно вести Дневник.

С. 276. *...забежишь за Таней и за Лелей...* — Подружки по Харькову — Таня Гливенко и Леля Хворостанская.

С. 277. *Завтра приезжает президент. Непременно пойду с Папой-Колей в город...* — Речь идет о приезде президента Франции Мильерана в Бизерту (в тексте Бизерта часто названа «городом»).

С. 278. ...из Фервилля в Бизерту. — Фервилль — местечко близ Бизерты, где находился Военно-морской госпиталь.

С. 284. *Маруся много рассказывала о французской жизни...* — М. Завалиши-на служила гувернанткой во французской семье.

С. 285. ...к своим ученикам на «Моряк» — По очереди одна из рот Морского корпуса уходила в плавание на учебном судне «Моряк», которым командовал старший лейтенант Максимович.

С. 285. *Завтра 9 мая (Никола)...* — Речь идет о празднике перенесения мощей Святого Николая Чудотворца. (Указан старый стиль, по которому соблюдают церковные праздники.)

С. 285. *Сегодня о. Георгий приехал из Парижа...* — В Париже о. Г. Спасский прочел доклад «о жизни в Бизерте, о братствах, устроенных им на кораблях и в Морском кадетском корпусе. Отец Георгий — благочинный; кроме него там 6 священников» (Ковалевский П.Е. Дневники: 1918—1922, с. 398). О. Г.Спасский рассказывал и о скандале на лекции Н.Н.Кнорринга (высказав свою точку зрения), что следует из дневниковой записи П.Е.Ковалевского (от 2/15 июня 1922 г.): «Пишу сочинение о моральном достоинстве басней Лафонтена и о религиозных воззрениях Толстого и Руссо. Все возмущены Н.Н.Кноррингом (преподаватель в Морском корпусе в Бизерте), который на своей лекции неприлично отзывался об императоре Александре I. Вся публика, состоящая, главным образом, из кадет, покинула зал» (там же, с. 410).

С. 287. ...*враги* по лекции... — Речь идет о публичной лекции Н.Н.Кнорринга на тему «Сто лет назад», состоявшейся 26 марта 1922 г.

С. 287. *Скоро уезжает и инспектор...* — Н.Н.Александров.

С. 289. *Папа-Коля [...] пошел переписывать на машинке какую-то работу...* — Н.Н.Кнорринг сотрудничал в парижской газете «Последние новости». Речь идет о статье «Великий соблазн» (ПН, 1922, 15 июня, №662, с. 2), написанной в связи с тем, что 12 мая 1922 г. патриарх Тихон сложил свои полномочия — в тяжелейшее для Русской Православной Церкви время. «На чем будет строиться их оправдание в истории», — вопрошает в заключение Н.Н.Кнорринг, имея в виду Патриарха Тихона и его оппонентов. В одном из следующих номеров была опубликована статья И.Демидова «“Национальный соблазн” (ответ на статью Н.Н.Кнорринга “Великий соблазн”)» (ПН, 1922, 21 июня, №667, с. 2). По мнению И.Демидова, Н.Н.Кнорринг «до конца, без остатка развенчивает патриарха Тихона» перед лицом истории; в то время, как «западно-европеец умеет даже в мелких людишках создавать для потомства крупные национальные образы».

С. 289. ...*со второй частью Саводника...* — Речь идет об учебнике для гимназий В.Ф.Саводника «Очерки по истории русской литературы XIX века» (1906).

С. 291. *У нас долго сидели Федя и Юра.* — Ф.Бондалетов и Ю.Шингарев.

С. 292. ...*читала книгу фон Дрейдера...* — Речь идет о книге В.Фон-Дрейера «Крестный путь во имя родины: Двухлетняя война красного Севера с белым Югом: 1918—1920» (Берлин, 1921).

С. 295. ...*зубодерки будут в Сфаяте.* — Речь идет о зубных врачах Е.Н.Хомиченко и С.И.Запольской.

С. 296. *Читала сонеты Бальмонта...* — Речь идет о новой книге К.Д.Бальмонта «Марево» (Париж: Франко-русская печать, 1922).

С. 297. «*La Russie rouge*» (фр.). — Фильм «Красная Россия» («Россия») был создан «Обществом распространения русской национальной и патриотической литературы» (Белград, <1921>) и показан в разных странах русского рассеяния. Фильм был смонтирован из фрагментов киносъемок, имел протяженность 2500 метров, демонстрировался на ручном проекторе со скоростью 16 кадров в секунду. По замыслу авторов, немой фильм сопровождала музыка П.И.Чайковского, Ф.Шопена... Фильм был задуман, «чтобы оживить коллективное представление о России», и призван, несмотря на его минорный тон, провести идею Зарубежной России как единственного оплота русской цивилизации, помочь русским эмигрантам обрести внутреннюю силу, необходимую для адаптации к новым условиям жизни (подробнее см.: *Йованович М.* Русская эмиграция на Балканах, с. 383–385).

С. 298. *Молебен о Патриархе Тихоне, об освобождении его...* — Патриарх Тихон был арестован и заключен под стражу в Донском монастыре 19 мая 1922 г. в связи с процессом по «Делу 54-х»: о 54-х священнослужителях и мирянах, оказавших сопротивление при изъятии церковных ценностей из московских храмов (слушание процесса было показательным, проходило с 26 апреля по 7 мая 1922 г. в Политехническом музее в Москве). 5 мая Патриарх был допрошен в Московском трибунале по этому делу, признан виновным и приговорен к трем годам тюрьмы (находился под стражей в Донском монастыре до момента своей кончины). Его также заставили подписать ряд документов: об отречении от мятежных священников и об упразднении Синода Русской Православной Церкви за рубежом, возглавляемого митрополитом Киевским Антонием (Храповицким). Последней каплей, заставившей советские власти взять под контроль деятельность Патриарха, было заявление, принятое Синодом на Карловацком съезде: Карловацкий съезд (Русский Всеаграничный Собор) Синода Русской Православной Церкви за рубежом, прошедший в Сремских Карловцах (Югославия) осенью 1921 г. под руководством митрополита Антония, принял «Послание Всеаграничного Церковного Собора чадам Русской Православной Церкви, в рассеянии и изгнании сущим», о восстановлении в России монархии с царем из дома Романовых («Новое время», Белград, 1921, № 184, 3 декабря).

С. 298. *Послание Церковного собора за границей.* — Речь идет об обращении Синода Русской Православной Церкви за рубежом к Генуэзской мирной конференции (10 апреля–12 мая 1922 г.) — «Послание Мировой Конференции от имени Русского Всеаграничного Церковного Собора» («Новое время», Белград, 1922, №254, 1 марта). Послание было осуждено митрополитом Евлогией как носящее политический характер, чуждый интересам Русской Православной Церкви (подробнее о церковном расколе см.: «Путь моей жизни»: Воспоминания Митрополита Евлогия (Георгиевского). — М., 1994, с. 362–365).

С. 299. *Один наш знакомый в Харькове застрелился...* — Не удалось выяснить, о ком идет речь.

С. 303. *...написал Н.Н.Александров в «Монархическом листке»...* — Газету

«Монархический листок» начал издавать в Тунисе А.Н.Павлов. Выехав в 1921 г. в Германию, продолжил издание.

С. 303. *Я его кормлю из рук.* — Этот эпизод — о «девушке в русой косе» с голубыми глазами, дарившей птицам «печальную улыбку», а потом сядившуюся к столу, чтобы написать «еще одно стихотворение в свою тетрадь», — запечатлел Владимир Берг в главе «Картинки Сфаята» (*Берг фон В.* Последние гардемарины, с. 86–87).

С. 303. *Учебник знаменитый, «Скотт и Брей»...* — Речь идет о книге: «Практический английский учебник» / Сост. В.В.Скотт и Ф.В.Брей (1913).

С. 304. *...панихида по царской семье...* — Император Николай II и члены его семьи, а также близкие им лица были расстреляны в подвале Ипатьевского дома в Екатеринбурге в ночь 16/17 июля 1918 г. по приказу председателя Совета Народных Комиссаров Ленина. Тела отвезены в лес, сожжены, останки брошены в шахту.

Тетрадь V

С. 308. *...писал б<ывший> гардемарин 1-ой роты (Петров или Попов)...* — Речь идет о выпускнике Первой («Владивостокской») роты, корабельном гардемарине Александре Петрове.

С. 309. *...читала вслух Ветлугина «Третья Россия»...* — Книга стихов А.Ветлугина «Третья Россия» (Париж, изд-во «Франко-русская печать», 1922).

С. 310. *...память первой морской победы при Петре Великом...* — Речь идет о победе Русского флота под командованием Петра I над шведами «у мыса Гангут» (полуостров на Юго-Западе Финляндии) в 1714 г.

С. 312. *...уезжало очень много русских, с эскадры и из Корпуса, даже из Туниса...* — В Шерекке располагался русский лагерь, Эскадра — в Джебель-Кебире, Корпус — в Сфаяте, в г. Тунисе проживали штатские служащие эскадры, священнослужители, семьи моряков.

С. 312. *Претор* — высшее должностное лицо. Здесь: церемонейстер.

С. 313. *...все дети и юноши школьного возраста будут приняты бесплатно на полный пансион в Париж или куда-то в Бельгию в русские гимназии...* — Речь может идти об открытии в 1920 г. Русской средней школы в Париже (изначально были созданы курсы для подготовки русской молодежи к экзаменам на аттестат зрелости, их организатором был педагог С.Г.Попич, а занятия проходили в здании Российского посольства). Учредителем гимназии стало «Общество помощи детям русских беженцев» под председательством М.А.Маклакова, педагоги — В.П.Недачин (первый директор гимназии Б.А.Дуров (его преемник), С.Г.Попич и др.

С. 315. *...идти за рожками...* — Рожки («царьградские стручки») — плоды рожкового дерева, из семейства бобовых. В медицинских целях используется как отхаркивающее средство при кашле.

С. 324. *<Письмо> от одного знакомого из Праги...* — Как следует из последующих записей, речь идет о С.И.Карцевском, преподавателе Русской гимназии Земгора в Праге.

С. 327. *Пошли в столовый барак и играли в сидячие игры...* — Столовый барак в Сфаяте имел многоцелевое назначение: там проходили праздники, собрания, церковные богослужения. В.А.Герасимов, сын адмирала А.М.Герасимова, по заданию начальника строевой части ген. А.Е.Завалишина (назначен после отъезда М.А.Китицына) разрисовал столовый барак картинами «из жизни флота от Петра Великого до наших времен» (*Берг В.* «Последние гардемарины», с. 108). В.А.Герасимов, желая получить художественное образование, окончив Художественную академию в Антверпене, в 1923 г. подавал заявление в Федоровский комитет с просьбой назначить ему студенческую стипендию. Однако по ряду причин (в т.ч. из-за тяжелой болезни матери) выехать из Туниса ему не удалось.

С. 330. *...гардемарин Цветков пробовал застрелиться из винтовки [...] Это было накануне экзамена по девиации. Говорят, боялся...* — Кто из братьев Цветковых боялся технического экзамена («девиации» (фр.) — отклонение — компаса, корабля) и стрелялся — сказать трудно. В октябре-ноябре 1922 г. в Бизерте сразу трое Цветковых сдавали выпускные экзамены в Морском корпусе — Сергей Иванович (1897—1941), Михаил Иванович (1902—1953, Париж); а также Николай Иванович (ок. 1894 г. — 1976, Ментона, Франция) — литератор и художник, будущий архитектор (окончил Высшую Техническую школу) и священник, настоятель храма Русского дома в Ментоне (юг Франции).

С. 330. *Папа-Коля написал стихотворение, посвященное адмиралу. Читал его Имшенецкий...* — По версии В.Берга, подробно описавшего чествование адмирала, Н.Н.Кнорринг сам читал свои стихи (*Берг В.* «Последние гардемарины», с. 106—107).

С. 331. *Сонет я написала...* — Текст сонета «a la Бальмонт» не обнаружен.

С. 332. *Письма [...] Лелино, с приписками Нины Павловны, Елизаветы Павловны и Гали...* — Речь идет о семье Хворостанских. Текст писем неизвестен.

С. 336. *Забот выше головы: в воскресенье — 6-ое...* — Парад по случаю дня основания Морского корпуса был приурочен ко дню Святителя Павла Исповедника (6 ноября по ст. ст.).

С. 338. *Читаю Пьера Бенуа «Атлантиду».* — В 1922 г. «колонияльный» роман «Атлантида» (1920) фр. писателя П.Бенуа, детские годы которого прошли в Тунисе и Алжире, был переведен на русский язык и издан как в Советской России, так и за рубежом: *Бенуа П.* Атлантида (пер. с фр. А.Н.Горлина, предисл. А.Левинсона). — Петроград: «Всемирная литература», 1922; *Бенуа П.* Атлантида (пер. с фр. И. де Шевильи). — Берлин: К-во Ефрон, <1922>. И.Кнорринг читала, видимо, берлинское издание.

С. 338. *«Звезды, звезды, / Расскажите причину грусти!»* — Из стихотворения А.Блока «Ночь. Город утомился...» (1906).

С. 338. *Три тома стихотворений Блока.* — Речь идет о трех первых томах Собрания сочинений А.Блока (в 5-ти томах), одновременно выпущенных берлинскими издательствами «Эпоха» и «Алконост» (1923).

1923

С. 340. *Школы Морского Корпуса официально уже не существует. Есть des orphelins...* — С ноября 1924 г. русское воспитательное заведение, руководимое адмиралом Герасимовым, называлось «Сиротский дом» (Maison des orphelins).

С. 340. ...*слащевщина*... — И.Кнорринг имеет в виду «белого генерала» Я.А.Слащева, возвратившегося в Россию; послужившего прообразом генерала Хлудова в пьесе С.Булгакова «Бег» (см. его биографию в Указателе имен во II томе).

С. 343. *Читала последний том Игоря Северянина*... — Речь идет, видимо, о книге: *Северянин И.* Падучая стремнина: Роман в 2-х ч. Том XVII. — Берлин: Изд. О.Кирхнер и Ко, 1922.

С. 343. *Прочла Бориса Зайцева «Дальний край»*. — Роман Б.Зайцева «Дальний край» (1912) вышел отдельной книгой в 1915 г.

С. 343. *У них и в среде той молодежи*... — Т.е. в советской России, в среде советской молодежи, о которой пишет из Харькова Леля Хворостанская.

С. 344. *Сыплются у них винтовки и карцеры*... — Т.е. штрафные наряды в виде стояния на часах («под винтовкой») и пребывания в карцере.

С. 345. *Канонерная лодка «Грозный»... Два мичмана... потопили ее*. — Командир «Грозного» старший лейтенант фон Вирен. Речь идет о мичманах Непокойчицком и Рымше, затопивших лодку в ночь с 26 на 27 декабря 1923 г. Мичманы были посажены в Бизертинскую тюрьму, где Непокойчицкий покончил с собой (*Панова М.* Русские в Тунисе: Судьба эмигрантов «первой волны». — М.: РГГУ, 2008, с. 72).

С. 345. *Ферривиль* — местечко (форт) недалеко от Бизерты, где расположен морской госпиталь.

С. 345. ...*продавали «Добычу»*... — Подводная лодка «Добыча» командир капитан II ранга Н.А.Краснопольский.

С. 346. *Едет себе с баками*... — Т.е. со служащими бака (парома).

С. 346. *Голланка* — рубаша из фланели или парусины.

С. 348. *Погоны с позументом*. — Позумент — специальные нашивки на погонах в виде тесьмы или бахромы, принятые в небольшом войсковом подразделении (в данном случае — в роте).

С. 352. ...*я видела моего мальчика таким спокойным*... — Речь идет о Николае Лисневском.

С. 354. *Письмо от Вавы*... — Речь идет о Вере (Ваве) Кузнецовой.

Тетрадь VI

С. 358. *«Пойми — уменьем умирать душа облагорожена»*... — Из поэтического цикла А.Блока «Заклятие огнем и мраком» (VII, 1907).

С. 358. *«Опаленным, сметенным, сожженным дотла — / Хвала!»* — Из стихотворения А.Блока «Гимн» (1904).

С. 361. ...*читал брошюру «Русская школа за рубежом»*... — Речь идет о журнале «Русская школа за рубежом», первый номер которого вышел в преддверии I съезда деятелей средней и низшей русской школы за границей, проходившего 1–7 апреля 1923 г. в Земуне (Югославия) под предс. В.В.Зеньковского. Точнее, речь идет о статье князя П.Д.Долгорукова «Русская беженская школа» — текст доклада, прочитанного им на съезде русских академических организаций в Праге в октябре 1922 г. (опубл.: «Русская школа за рубежом», Прага,

1923, № 1, с. 63–82). В результате работы съезда было создано Объединение русских учительских организаций за границей и Педагогическое бюро по делам средней и низшей русской школы за границей (Русское педагогическое бюро). Итоги работы съезда были опубликованы в статье А.Л.Бема «Съезд деятелей средней и низшей русской школы за границей» («Русская школа за рубежом», Прага, 1923, №2–3, с. 12–31). С 1923 г. начал выходить также Бюллетень Педагогического бюро по делам средней и низшей русской школы за границей» (Прага, 1923–1927 гг.)

С. 362. *Письмо тети Нины* — это целая драма, я не буду писать его содержание, ведь оно тут... — Письмо не обнаружено. О судьбе членов семьи Н.Б.Кнорринг см. в указателе имен.

С. 363. *Сборник стихов Анны Ахматовой «Белая стая»*... — Вероятно, речь идет о последнем издании: *Ахматова Анна. Белая стая: Стихотворения. 3-е изд. Пг., «Алконост», 1922.*

С. 363. *Хожу гулять с Шурёнкой или Ириной*... — Речь идет о А.Марковой и И.Насоновой.

С. 364. *Вчера умерла адмиральша*... — Жена адмирала А.М.Герасимова — Глафира Яковлевна.

С. 366. *«Шишковцы»*... — Последователи А.С.Шишкова, писателя и поэта, автора религиозных од, выступающего за архаический стих, сторонника гражданского стиля, ставящего задачей поэта — умение смешивать высокий славянский слог и просторечивый российский.

С. 368. *В бывшей комнате Запольских*... — Речь идет о семье Дмитрия Владимировича Запольского, старшего лейтенанта, воспитателя Морского корпуса.

С. 368. *Умер от чахотки Хаджи-Мед Бирамов* — А.А.Ширинская вспоминает, что «иноверца» хоронили со всеми полагающимися военными почестями, к великому удивлению местного арабского населения (*Ширинская А.А. Бизерта: Последняя стоянка*).

С. 369. *Николаева, Крюковского и Медведева исключить из Корпуса*... — Речь идет о кадетах — Диме Николаеве, Дике Крюковском и (?)Медведеве.

С. 369. *Скоро приедут на каникулы Леля с Наташей*... — Леля Насонова и Наташа Кольнер продолжали учиться в Бизерте в монастырском пансионе.

С. 370. *Взять Платонова и — зубрить*... — Речь идет об учебнике С.Ф.Платонова «Очерки по истории смуты Московского государства в 16-17 вв.», выдержавшем в 1909–1917 гг. более 10 изданий.

С. 374. *...были традиционные «похороны алгебры»*. — Театрализованная церемония, проходившая в 4-ой роте Морского корпуса по случаю окончания годичных экзаменов. В каждой роте была своя песня, свой ритуал. Так, во 2-ой роте кадеты хоронили Дневник болезни госпожи Астрономии («Наутигаль Альманах»), который они тщательно вели всё время подготовки к экзамену.

С. 377. *...в русском кооперативе... русскую столовую*... — Русский кооператив, включающий в себя бюро по трудоустройству и столовую, был создан весной 1921 г. в Медине (центре г. Туниса), недалеко от Porte de France, на rue El Raved. По субботам там проходили музыкальные вечера. В 1922 г. на базе кооператива был создан «Русский клуб» (*Панова М. Русские в Тунисе: Судьба эмигрантов «первой волны»* — М.: РГГУ, 2008, с. 212).

С. 377. *Бельведер* — название лесопарка, расположенного на холме близ г. Туниса (заметим, что в Тунисе много названий, в том числе географических, не только имеющих французское происхождение, но являющихся их двойниками).

С. 377. ...*в Бардо. Там громадный музей. Лучшее, что было найдено в Карфагене и в окрестностях, находится там...* — Музей Бардо, расположенный в уникальном дворце (известном своей мозаикой), бывшей правительственной резиденции, обладает и самым крупным собранием древностей в Тунисе. Карфаген — столица Карфагенской державы, основанной в 814 году до н.э.

С. 380. *Вчера Папа-Коля уехал в Париж. [...] он кому-то собирался показывать мои стихи...* — Стихи были показаны редактору «Последних новостей» П.Н.Милюкову.

С. 381. *Он (Н. Лисневский. — И.Н.) открыто встал на сторону «Звена»...* — Морской кружок «Звено» был организован в Бизерте в январе 1922 г. бывшими гардемаринами Морского училища во Владивостоке с целью объединения военных моряков-эмигрантов; в том же году члены кружка разъехались по разным странам (из них 40 человек были направлены в Чехию). Н.Лисневскому, в которого И.Кнорринг была романтически влюблена, она посвятила стихи.

Проходили года за большими, как волны годами.
В окнах девичьей спальни покорно погасли огни.
Призрак легкого счастья растаял с наивными снами,
И тяжелая радость наполнила трудные дни.
Я уже не найду той скамейки под темной сиренью,
Ни весеннего леса, ни светлых, внимательных глаз.
Но не знаю зачем, — отчего, — по чьему наущенью, —
Я в Страстную Субботу всегда вспоминаю о Вас.

1933

(Цит. по книге: *Кнорринг И.* Окна на Север: Вторая книга стихов. Париж, 1939, с. 23. В данном издании допущена опечатка в посвящении: вместо «А.Л.» должно быть «Н.Л.» — Николаю Лисневскому.)

С. 382. *Два стихотворения он отобрал и поместит в «Звене».* — Журнал «Звено» (1923—1928) был задуман как литературное приложение к газете «Последние новости», его название отражало намерение редакторов — П.Н.Милюкова и М.М.Винавера — преодолеть разрыв между русской культурной традицией и младшим поколением эмигрантов. С появлением в журнале рубрики Г.Адамовича «Литературные беседы» (в 1925 г.) журнал обрел новое лицо, став еженедельным; рецензенты сравнивали его «с утренней чашечкой хорошего кофе».

С. 382. ...*в статье Адамовича «Поэты в Петербурге»...* — Г.Адамович писал: «С Ахматовой происходит “обыкновенная история”. Она с каждым днем теряет свою популярность, — вернее, она делается все известнее, но в ее слове нет былого очарования и былой остроты. Это тоже удел поэта, — и пушкинский удел. В Ахматовой любишь не ее голос — напряженный, трудный, сухой, — а ее манеру. Теперь нет больше “перчаток с левой руки”, и поклонники разочарованы. Есть, впрочем, для их утешения несметное количество девиц, подобранных эти ахматовские обноски» (*Адамович Г.* Поэты в Петербурге // *Звено*, 1923, 10 сентября, №32, с. 2).

С. 383. *Уехал все-таки регент...* — Речь идет о Ф.Ф.Соколове.

С. 383. ...*через неделю (уезжают. — И.Н.) Берги...* — Речь идет о семье Владимира Владимировича Берга, его жене З.Берг и двух сыновьях. Старший сын,

В.Берг (1903 г.р.), в 1920 г. окончил Севастопольское реальное училище и поступил санитаром в лазарет Морского корпуса в Севастополе, эвакуировался с ним в Бизерту; в 1922 г. окончил французский математический колледж в Бизерте, прослушал курс в литературном колледже, младший сын Бергов (ок. 1909 г.р.) учился в 10-ой роте Морского корпуса.

С. 383. «Мне в тридцать пятом номере “Звена”... — Стихи, написанные И.Кнорринг по случаю первой публикации ее стихов (Звено, 1923, №35, с. 2):

Терцины

Есть в лунном вечере черта,
Когда кончается земное
И расцветает чернота.

* * *

Есть где-то грань в полдневном зное,
Когда обычное гнетет,
И рвутся мысли в роковое.

* * *

То — сон зовет, то — звук цветет.

Страница из дневника

Я растеряла жемчуг дней,
Меня сковала непогода.
Огонь горит в душе моей,
Но нет, но нет ему исхода...

Здесь для меня забавы нет,
Я рвусь в заоблачные дали...
А на руке моей — браслет,
Как символ рабства и печали...

С. 389. *Идет спешная работа к 6-му...* — См. коммент. к с. 336 (17 ноября 1922).

С. 391. *...читали вслух [...] Нарезного «Бурсак».* — Роман В.Т.Нарежного «Бурсак. Малороссийская повесть» (М., 1824) был встречен критикой «сочувственно» и не раз переиздавался. «Русский оригинальный роман есть необыкновенное явление в нашей словесности, несмотря на то что у нас около полутора тысячи романов [...] большая часть переводы; русских же, оригинальных [...] едва наберется сто [...] Жалеть о том бесполезно! Утешимся надеждою на будущее: может быть, и у нас появятся свои Фильдинги, Лафонтены и Скотты — а до того времени предлагаем любителям чтения новый роман [...] Ручаемся, что многие прочтут его с удовольствием», — писал журнал «Благонамеренный». Век спустя, Д.А.Шаховской, организуя новый журнал, объясняет выбор названия журнала — «Благонамеренный» — желанием подчеркнуть связь русской культуры в изгнании со своими корнями.

С. 391. *...сестра (Томашевского. — И.Н.) [...] высылала ему из Франции денег на отъезд, а он их носил к итальянцу...* — Т.е. пропывал: «итальянец» держал маленький кабачок по дороге в Бизерту.

С. 392. *Жребий.* — Не ясно, о чем идет речь.

С. 394. *Получила письмо от Наташи...* — Речь идет о Наташе Пашковской.

С. 403. *Днем занимаюсь Законом...* — Речь идет о подготовке к экзамену по Закону Божьему.

С. 403. *Дедушка...* — Прозвище А.Н.Куфтина, в указанной выше сказке проведен в образе Полковника Контрокурова.

С. 404. *...над «Петербургом» А.Белого отвлеклась...* — Роман Андрея Белого «Петербург» (1913–1914). Первое издание — 1916 г., доработанное — 1922 г.

С. 407. *Я читала Гарина («Из семейной хроники») [...] И Карташев, и все они...* — Речь идет об Артемии Карташове и его приятелях-гимназистах — героях автобиографических повестей Н.Гарина (Н.Г.Михайловского) «Детство Темы» (1892), «Гимназисты» (1893), «Студенты» (1895), «Инженеры» (1907), имеющих общий подзаголовок «Из семейной хроники».

С. 409. *Взяла еще неразрезанный томик Сологуба...* — Речь идет о повести Ф.Сологуба «Барышня Лиза» (М., Берлин, «Геликон», 1923).

С. 411. *Карцевский советует Папе-Коле подать прошение в русскую гимназию...* — Речь идет о Русской реформированной реальной гимназии в Праге, открытой Земгором (Российский земско-городской комитет помощи российским гражданам за границей) в сентябре 1922 г. Приват-доцент С.И.Карцевский преподавал в гимназии русский язык и литературу. Н.Н.Кнорринг рассчитывал получить в гимназии место преподавателя истории (там предполагала учиться и Ирина); его кандидатура была утверждена Земгором, но переезд в Прагу не состоялся из-за сложностей с предоставлением виз. В 1924 г., когда гимназия переехала в новое здание, количество учеников увеличилось до 200 человек.

С. 415. *Занимаюсь с Димой Матвеевым по космографии...* — Одно из стихотворений И.Кнорринг, навеянных космографией, посвящено Вадиму (Диме) Матвееву:

Вселенная

В.Матвееву

Небесный свод — к земле склоненный плат,
Грозящий мир тысячеглазый,
В немую гладь ничей пытливый взгляд
Еще не проникал ни разу.
Глухая даль, где каждая звезда —
Великий мир, предвечный и нетленный,
И мы — песчинки — падаем туда,
В пасть ненасытную Вселенной.
И только мысль меня одна мирит,
Что все великое от века и до века —
Пространство, вечность, времена, миры —
Живут в сознание человека.

9. IV. 1924. *Сфаят*

(Цит. по книге: Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 33.)

С. 425. *«Но клянусь тебе ангельским садом...»* — Из стихотворения «А ты думал — я тоже такая...» (1921) в книге: Ахматова Анна. «Anno Domini»: Стихотворения. Кн. 3. 2-е изд., доп. Пг.: Петрополист; Алконост, 1923.

Тетрадь VII

- С. 428. ...получила от Бальмонта книгу «Где мой дом?»... — Речь идет о книге: Бальмонт К. Где мой дом: Очерки (1920–1923). — Прага: Пламя, 1924.
- С. 431. Оба Васи... — В. Доманский и В. Чернитенко.
- С. 432. «Три имени сплелись в моем мозгу / [...] Василий, / Еще Василий и Андрей...» — В своих стихах (и далее в записях) И. Кнорринг говорит о Васе Доманском, в которого была влюблена (называя его только по имени), и о друзьях-кадетах — Васе Чернитенко и Андрюше Сидневе.
- С. 432. Коля и Вася... — Речь идет о Николае Овчарове и Василии Доманском.
- С. 435. ...две книжки Саводника... — Речь идет об учебнике В. Ф. Саводника «Очерки по истории русской литературы XIX века» в двух книгах (1914).
- С. 437. Маруся [...] Ольга Владимировна, Ляля, Мила... — Речь идет о семье Завалишиных.
- С. 438. Кандидатура Папы-Коли утверждена Земгором... — См. коммент. к с. 410–411 (7 марта 1924).
- С. 439. Рассказ Тьеры «Западня»... — Опубликовано: ИР, 1924, №2, с. 9–11. Рассказ посвящен девочке-подростку Шарлотте Жакэн, нарушающей шаг за шагом заповеди — «не укради», «не убий»; ее первому опыту общения с мужчиной, кончающемуся трагически.
- С. 441. ...с баковым нарядом... — Т.е. с нарядом по охране и обслуживанию бака (парома).
- С. 444. Номер «Illustration». — Французский литературно-художественный иллюстрированный журнал «L'Illustration» (основан в 1840-х гг.). Журнал имеет богатые культурные традиции: в нем печатались произведения И. С. Тургенева, переводы на фр. язык (впервые) повести «Капитанская дочка» А. С. Пушкина и др.
- С. 444. К нам заходили Вася с Андрюшей... — Речь идет о В. Чернитенко и А. Сидневе.
- С. 447. Женя был дома... — Речь идет о сыне генерал-майора А. Е. Завалишина.
- С. 448. На черчение им не удалось достать темы... — Черчение и рисование в Морском корпусе преподавал В. А. Герасимов.
- С. 457. ...в «Новостях» мою «Балладу о двадцатом годе»... — ПН, 1924, 12 октября, №1370, с. 3.
- С. 457. Получила М. Волошина «Демоны глухонемые»... — Волошин М. Демоны глухонемые. Обложка Ив. Пуни, 2-е изд. — Берлин, К-во писателей в Берлине, 1923.
- С. 457. «К синей звезде» Гумилева. — Гумилев Н. К синей звезде: Неизданные стихи 1918 г. — Берлин, Петрополис, 1923.
- С. 458. В редакцию «Эоса»... — Журнал «Эос», двухмесячник юной русской мысли. Редактор-издатель Л. Гончаров (Болгария).
- С. 458. «Студенческие годы». — Ежемесячный литературно-художествен-

ный и научно-публицистический журнал (Прага, 1922–1925). Издание Союза русских студентов в Чехословакии, затем – ОРЭСО.

С. 459. *Взяла в библиотеке «Историю древней философии» Трубецкого...* — Речь идет о книге: Трубецкой С.Н. История древней философии: Курс лекций — М., 1892.

С. 460. *Письмо от Постникова из «Архива русской эмиграции»...* — Речь может идти о ходатайстве С.П.Постникова, директора пражского «Русского исторического архива за границей» (основан в 1923 г.) за Н.Н.Кнорринга, сотрудника того же архива.

С. 460. *Французы предлагают всем желающим бесплатный проезд до Франции, и штаб дает еще по сто франков.* — И.Кнорринг желаемое выдает за действительное.

С. 460. *Письмо от Антонины Ивановны, она уже в Довилле. Ее сын, Женья...* — Речь идет о семье Наумовых, уехавших во Францию.

С. 461. *...буду писать поэму [...] «Дни и ночи»...* — Рукопись поэмы не обнаружена.

С. 462. *«Шестое». Этот совершенно неуместный и несвоевременный праздник!* — 6 ноября (по ст. ст.) — день Св. Николая Исповедника, день основания корпуса.

С. 462. *В «Новостях» напечатана «Россия».* — ПН, 1924, 16 ноября, № 1400, с. 2.

Россия

Россия — плетень да крапива,
Ромашка и клевер душистый,
Над озером вечер сонливый,
Стволы тополей серебристых.

Россия — дрожащие тени,
И воздух прозрачный и ясный,
Шуршание листьев осенних,
Коричневых, желтых и красных.

Россия — гамаши и боты,
Гимназии светлое зданье,
Оснеженных улиц полеты
И окон замерзших сверканье.

Россия — базары и цены,
У лавок голодные люди,
Тревожные крики сирены,
Растущие залпы орудий.

Россия — глубокие стоны,
От пышных дворцов до подвалов,
Тревожные цепи вагонов
У душных и темных вокзалов.

Россия — тоска, разговоры,
О барских усадьбах, салазках...

С. 463. *Комиссия от большевиков для осмотра флота.* — Советские власти потребовали вернуть Российский Императорский флот в Советскую Россию. Французский адмирал Эйсельманс, отказавшийся это сделать, вынужден был подать в отставку (Б/а. «Передача флота большевикам» // ИР, 1924, № 9, 15 декабря, с. 7). Автор другой статьи, «отставляя в сторону моральную оценку этих событий», пытается оценить, какое значение будет иметь «неожиданное увеличение красного флота» (*Шумский К.* Советский флот на Черном море // Там же, с. 6). В результате переговоров и обследования судов транспортировка их была признана нерентабельной (в основном суда пошли на запчасти и металлолом).

С. 465. *Русский бродячий театр «Золотой Петушок»...* — Театр был основан А.И.Долиновым в 1923 г.

С. 466. *От Васи все нет писем [...] Володя тоже не пишет...* — Речь идет о братьях Доманских.

1925

С. 470. *Журнал «Студенческие годы». Стихи напечатаны...* — Студенческие годы, 1924, № 6 (17), с. 14—15. Опубликовано стихи:

Вечер

Тень упала на белые стены,
Косяком уползла в потолок...
Завтра синее платье надену,
Руки спрячу под теплый платок.

Знаю, будет неряшливо платье
И растрепаны пряди волос.
Все равно: в этом сером Сфаяте
Только холод, туман и хаос.

Дождь стучит в черепичную крышу,
Я не слушать его не могу.
В круглом зеркале завтра увижу
Очертанья неискренних губ.

Тень от полки, где свалены книги,
Чернотой неподвижной легла.
Знаю, силен мой образ двуликий
Разделенной души пополам.

Молча день наступающий встречу,
Буду ждать перед этим окном,
Если надо — веселые речи
Разбросаю, не помня о чем.

А потом, как всегда, одиноко,
В непонятной тоске, не дыша,
Над испытанным томиком Блока
Человеческой станет душа.

Вечер бросит небрежные блики
В зачарованную пустоту,
И проснется мой образ двуликий
В соловьином, звенящем саду.

* * *

Бьются звенящие градинки
В красную крышу.
В сердце чуть видные ссадинки
Ноют всё глуше и тише.

Еле заметная трещина,
След одинокого горя...
Светлая радость обещана
Где-то за морем.

Стертый, затерянный, маленький
Путь мой я сделаю сказкой...
Падают звонкие градинки
В бешеной пляске...

Терцины

Ты говоришь — не опошляй души.
Сама душа, ведь пошлая, трепещет.
А разум ждет в тоскующей тиши.

На сердце холод жуткий и зловещий.
И как не слушать шепота земли?
На свете есть диковинные вещи.

Ползут в морском тумане корабли.
Зачем теперь на них смотреть украдкой,
Когда в душе все струны порвались?

Ты говоришь: там холодно и гадко.
Пусть так. Но это — темный храм.
Лампадами горят мои загадки.

Все чувства и мечты хранятся там.
Пусть нет сокровищ там. Без содроганья
Его ключей я никому не дам.

А я молчу. Хочу великой дани
С земли, с травы, с деревьев и с камней,
Где цвел мой взгляд наивного незнанья.

Да, хорошо не знать! Души моей
Тогда бы яд не разделил так быстро.
Но как не знать тоску весенних дней.

Прильнуть к земле, холодной и душистой.

Бедуинка

Как будто на пестрой картинке
Далеких, сказочных стран
Красавицы бедуинки
Отточенный, гибкий стан.

Из древних легенд и преданий,
Из песен степей и гор
Возникли синие ткани
И пламенный, дикий взор.

Как в статуе древней богини,
В ней дышит величье и мощь.
В ней слышится зной пустыни
И темная, душная ночь.

Над ней — колдовства и обманы,
Дрожанье ночного костра,
И звон, и грохот тимпана
Под темным сводом шатра.

И вся она — сон без названия
У серых стволов маслин.
Глухой Атлантиды преданье,
Лукавый мираж пустынь.

Блестящи на ней браслеты,
И взгляд величав и дик,
Как кованые силуэты
Из ветхозаветных книг.

Хедди

(арабский мальчик)

Кусочек природы, как ветер, как птица,
Подвижный, как пламя высоких костров,
Веселый, как день, никого не боится,
В какие-то тряпки одетый пестро.

Приветлив, как солнце, беспечный ребенок,
Задорен и весел смеющийся взгляд.
Ослаблены зубы, а голос так звонок,
Как писк воробьев, как трещанье цикад.

Как будто сошел он с рекламы летучей,
Как будто бы создан из этой земли;
Сродни ему змеи, и кактус колючий,
И белые камни в мохнатой пыли.

Простой и беспечный, как юные годы,
От мыслей и фраз бесконечно далек,
Он — часть этой яркой и дикой природы,
Колючих растений нелепый цветок.

Возможно ли счастье
В тревоге летучей,
В дыхании весны?
Душа — силуэт у стены —
Порвалась, как туча,
На части.

Возможны ли светлые миги
Здесь, в комнате странной,
В просторном гробу?
Я здесь истязую судьбу.
Лежат на столе деревянном
Все новые книги.

И кажется — света не будет.
Как жалки стихов моих трели,
Ушедшие сны.
А там, в аромате весны,
Проходят без смысла, без цели
Угрюмые люди.

Дрожащему сердцу не верю,
Не жду сокровенного чуда,
Тоске не пытаюсь помочь.
Дождливая ночь,
Безумие, юность и удаля —
За хлопнувшей дверью.

Бизерта <1924>

С. 474. *Самоучитель Dessagnes'a...* — Речь идет о неоднократно переиздававшемся учебнике: *Dessagnes P. Le français pour les étrangers. Méthode directe* («Французский для иностранцев»).

С. 474. ...«Своими путями» [...] печатают только одно стихотворение... — «Забывать нас стали там, в России» («Своими путями», №3/4, 1925, с. 11). Обращено к Тане Гливенко.

Забывать нас стали там, в России,
После стольких незабвенных лет.
Даже письма вовсе не такие,
Даже нежности в них больше нет.

Скоро пятая весна настанет,
Весны здесь так бледны и мертвы...
Отчего ты мне не пишешь, Таня
Из своей оснеженной Москвы?

И когда в октябрьский дождь и ветер
Я вернусь к друзьям далеких дней, —
Ведь никто, никто меня не встретит
У закрытых наглухо дверей.

14 ноября 1924

С. 477. *Выхлопотал себе стипендию и учится в Генте...* — В бельгийском городе Генте (Gend) в Политехническом институте училась большая группа русских студентов, обратившихся в Федоровский комитет за помощью. Подробнее см.: Федоров М.М. Русская молодежь в высшей школе за границей: Деятельность ЦК по обеспечению высшего образования русскому юношеству за границей: 1922/1923 — 1931/1932 учебные годы. — Париж, 1933.

С. 477. *...послать мои бумаги проф<ессору> Экку...* — Профессор А.А.Экк в то время возглавлял кафедру истории России в Генте (Бельгия), а также принимал участие в организации русских учебных учреждений в Париже.

С. 480. *Рассказ Минцлова «Тайна».* — Опубликовано: ПН, 1925, 8 февраля, №1470, с. 2.

С. 480. *...о статье Демидова...* — Речь идет о статье: Демидов И.П. По поводу рассказа С.Минцлова «Тайна» (ПН, 1925, 18 февраля, № 1478, с. 2). Рассказ имел резонанс в кругах русской эмиграции. См. также: Мережковский Д.С. Вокруг «Тайны» С.Р.Минцлова (ПН, 1925, 26 февраля, № 1485); Одиннадцать Праведников. Вокруг «Тайны» С.Минцлова (ПН, 1925, 22 февраля, №1482); И.Д.<емидов> О С.Р.Минцлове (ПН, 1925, 13 декабря, №2822, с. 3). Из воспоминаний митрополита Евлогия: «Когда в “Последних Новостях” появился рассказ Минцлова “Тайна”, в котором разработана тема об Иуде-предателе в Евангельской трагедии, небезызвестная в богословии, в Церковном совете (Храма Св. Александра-Невского в Париже. — И.Н.) поднялась буря, и члена Совета, бывшего члена Государственной думы (кадета) И.П.Демидова, помощника редактора “Последних Новостей”, исключили как левого из состава Совета большинством голосов против одного — д-ра И.И.Манухина, выступившего с особым мнением в защиту Демидова и вскоре из протеста покинувшего Приходской совет. Мои усилия поднять в Совете интерес к более интенсивной церковноприходской жизни, к запросам церковного народа ни к чему не привели. В заседаниях обсуждали бесплодные вопросы. [...] Сколько речей, пикировок, жарких прений по поводу мелочей! Вскоре я убедился, что в отношении духовной организации церковного народа на Совет рассчитывать нечего» («Путь моей жизни», с. 376).

С. 480. *...собираются идти в Россию не то с Николаем Николаевичем, не то с Кириллом Владимировичем...* — Речь идет о двух великих князьях, претендентах на Российский престол.

С. 480. *Вот черновик письма к Экку.* — Черновик не обнаружен. Но в деле И.Н.Софиевой (БФРЗ, ф. 13, оп. 2, ед. хр. 3769) хранится «Заявление», в графе, «где находились и чем занимались с тех пор, как покинули Россию», она пишет: «[...] В 1925 г. приехала в Париж, работала (вышивание, куклы). В 1926 г. поступила в Институт. В 1927 г. заболела диабетом и бросила работу. Продолжаю учиться» (там же, л. 1). Добавим, что Ирина занималась работой (вышивание, шитье, вязание) до конца своих дней, т.к. зарплаты мужа даже на скромную жизнь не хватало.

С. 481. *Монастырев [...] редактор «Морского сборника»...* — Бизертинский «Морской сборник» — первый русский зарубежный морской журнал — выходил в 1921—1923 гг. тиражом несколько сот экземпляров. Основателем и редактором его стал командир подлодки «Утка», капитан II ранга Нестор Александров

вич Монастырев. Тираж изготавливался в литографии Морского корпуса, находившейся в форте Джебель Кебир. Всего вышло 26 номеров журнала, представляющих чрезвычайный интерес, т.к. многие материалы, связанные с историей Русской эскадры, сохранились лишь на его страницах: документы о гражданской войне, статьи по военно-морской теории и технике, статьи политического характера, стихи и проза русских изгнанников и, конечно, хроника жизни Русской эскадры (см. «Бизертинский “Морской сборник” 1921–1923: Указатель статей. Биографии авторов» / Сост. В.В.Лобыцын. – М.: Российский Фонд Культуры, 2000).

С. 482. ...у Лескова, в «Соборях» есть такое место... – Фрагмент из главы XXI звучит так: «Иуда-предатель с точки зрения “слепо почивающих» в законе” не заслуживает ли награды, ибо он “соблюл закон”, предав учителя, преследуемого правителями? (Иннокентий Херсонесский и его толкование)».

С. 483. «...мы поставим» (пьесе И.Кнорринг «Стрелочек». – И.Н.). – После смерти Г.Я.Герасимовой, руководительницы Художественно-литературного кружка Морского корпуса в Сфаяте, инициативу по руководству кружком взял в свои руки Н.Н.Кнорринг.

С. 485. ...в Утике [...] производятся интересные раскопки... – Утика, одна из первых финикийских колоний, основанная в 1101 г. до н.э.; находится на полпути между Бизертой и Тунисом. До наших дней уцелели остатки римских жилых домов, амфитеатра, терм, цистерн и акведука.

С. 490. Хочу кончить «Балладу о ликвидации»... – Баллада посвящена будням Морского корпуса в Бизерте и его «ликвидации». Опубликован лишь ее фрагмент (см.: Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 41–42).

С. 491. Бибка – кличка собаки.

Тетрадь VIII

С. 494. Вторую неделю мы в «Париже»... – Париж дан в кавычках, т.к. Кнорринги остановились в парижском пригороде – Севре, на вилле Жакобсона.

С. 494. ...ждали половинного проезда от б<ывшего> русского консула... – Т.е. билета в половину стоимости, который обещал предоставить русским, приехавшим из Туниса, бывший Военно-морской агент (атташе) капитан II ранга В.И.Дмитриев.

С. 495. Мы с Папой-Колей поехали в редакцию «Новостей»... – Из воспоминаний Н.Н.Кнорринга: «Я поехал в “Последние новости” и взял с собою Ирину, чтобы представить ее как “сотрудницу” в редакции. Там я застал П.Н.Милокова, И.П.Демидова, Н.К.Волкова. [...] Все приняли мою Ирину очень приветливо и радушно. [...] П.Н. как-то бросил: “Приводите вашу барышню, если она не особенно дикая”. П.Н., по-видимому, сразу подметил у Ирины черту феноменальной застенчивости, которую она, вместе с большой долей пессимизма, получила от меня по наследству (Кнорринг Н.Н. Книга о моей дочери, с. 44).

С. 495. ... «заводная игрушка»... – Сказано о детской карусели, установленной на Площади Согласия.

С. 498. Вечер молодых поэтов... – Речь идет о вечере Клуба молодых литераторов (еще не оформленного в Союз), состоявшемся 31 мая 1925 г. На нем выступили поэты В.Андреев, Н.Беляев, Д.Кобяков, Д.Кнут, Ю.Терапиано и

Б.Поплавский. Председателем организации был Ю.К.Терапиано. Добавим, что в конце 1931 г. ее название было изменено (12 декабря 1931 г. состоялось экстренное и последнее собрание *Союза*, он был реорганизован и переименован в Объединение русских писателей и поэтов, собрания которого проходили в Париже вплоть до начала войны).

С. 498. *Б.Зайцев читал доклад о Блоке...* — Доклад Б.К.Зайцева о А.Блоке назывался «Побежденный».

С. 499. *Прочла «Мысли вслух» [...] «Портрет»...* — Это первые стихи И.Кнорринг, прочитанные с трибуны.

Мысли вслух

Ахматова сказала раз:
«Мир больше не чудесен!».
Уже теперь никто из нас
Не станет слушать песен.
И день настал, и пробил час,
И мир покрыла плесень.
И Гиппиус в статье своей
С тоской твердит в газете,
Что все поэты наших дней —
Сплюшь — бездарь или дети,
Что больше нет больших людей,
Нет красоты на свете...
Скребутся мыши. Ночь молчит,
Плывет в тоске бессвязной.
Несмелый огонек свечи
В углу дрожит неясно...
О, злое сердце, не стучи:
Жизнь больше не прекрасна!

(Опубликовано: *Кнорринг Н.Н.* Книга о моей дочери, с. 45.)

Портрет

Старая, как мир, старушка
День-деньской с утра ворчит.
Косо смотрит на игрушки,
На веселые лучи.
Звонкий шум ей режет ухо,
Яркий свет глаза слепит.
Смотрит холодно и сухо,
Неохотно говорит.
Надоел ей мир лукавый,
Опостылела земля.
Ноют хрупкие суставы,
Кости старые болят.
Лишь порой сверкнет, как знамя,
Как неотвратимый бред,
Что за хмурыми плечами
Только восемнадцать лет.

Но сильны, сильны отравы,
Вечно стар ленивый взгляд.
Ах, болят, болят суставы,
Кости старые болят.

8.01.1925

(Опубликовано: *Кнорринг И.* После всего: Третья книга стихов. — Париж, 1949, с. 12.)

С. 499. «Ряд низких полутемных комнат»... — Стихотворение не дописано.

С. 500. *Георгий Адамович [...] Тема его доклада «Ошибки поэзии».* — В данном случае неточность И.Кнорринг грозит искажением литературной позиции Г.Адамовича: тема его доклада, прочитанного 6 июня на заседании *Союза*, звучала: «Обман в поэзии».

С. 500. *Георгий Иванов. Ну и «молодой поэт», из компании Гумилева...* — Автор обыгрывает тот факт, что Г.Иванов (участник «Цеха поэтов», основанного *Н.Гумилевым*) вовсе не является молодым поэтом, чтобы выступать на собрании *Союза молодых поэтов и писателей* в Париже. Недавно прибыв в Париж, И.Кнорринг еще не знает, что в работе *Союза* принимают участие — в роли наставников — и признанные мастера слова.

С. 500. «*Не широка моя дорога...*» — Опубликовано: *Кнорринг Н.Н.* Книга о моей дочери, 2003, с. 38—39.

Мы — забытые следы
Чьей-то глубины.

А.Блок

Не широка моя дорога,
Затерянная в пыльной мгле...
Да что ж? Я не одна. Нас много,
Чужих, живущих на земле.

Нам жизнь свою прославить нечем,
Мы — отраженные лучи,
Апостолы или предтечи
Каких-то сильных величин.

Нас неудачи отовсюду
Заточат в грязь, швырнут в сугроб.
Нас современники забудут,
При жизни заколотят в гроб.

Мы будет по углам таиться,
Униженно простершись ниц...
Лишь отражением зарницы
Сверкнем на белизне страниц.

И, гордые чужим успехом,
Стихами жалобно звеня,
Мы будем в жизни только эхом
В дали рокошущего дня.

23 февраля 1924. *Сфаят*

С. 500. «Неведомому другу»... — «Мой странный друг, неведомый и дальний» («Неведомому другу»). Опубликовано: *Кнорринг Н.Н.* Книга о моей дочери, с. 47.

<Неведомому другу>

Мой странный друг, неведомый и дальний,
Как мне тебя узнать, как мне тебя найти?
Ты мне предсказан думою печальной,
Мы встретимся на вьющемся пути.

Обещанный бессолнечными днями,
Загаданный печалью без конца,
Ты мне сверкнул зелеными глазами
Случайного, веселого лица.

Прости за то, что самой нежной лаской
Весенних снов и песен был не ты.
Прости, прости, что под веселой маской
Мне часто чудились твои черты.

С. 501. *Собрание Респ<убликанско>-Дем<ократического> Объединения...* — РДО было основано в 1924 г., неформальным лидером его был П.Н.Милюков. Собрания проходили в Библиотеке-читальне РДО по адресу: 18, rue de Varenne.

С. 501. *В Сорбонне на празднике «Дня русской культуры»...* — «День русской культуры», приуроченный к дню рождения А.С.Пушкина, решено было отмечать начиная с 1924 г.: 12 июня 1924 г. по случаю 125-летия А.С.Пушкина в Праге состоялось торжественное собрание. Инициатором «дней» стал А.Л.Бем. Вскоре этот праздник, являющий собой «смотр» достижений русской культуры за рубежом, стал ежегодным и традиционным — во всех странах русского рассеяния. Во Франции постоянным организатором праздников был Комитет по организации Дня русской культуры во Франции под председательством В.А.Маклакова, в который входили Русская академическая группа в Париже, Русский академический союз, Русский народный университет и др. организации. 9 июня 1925 г. в Сорбонне по случаю праздника состоялось торжественное собрание, на котором с речами выступили профессор Оман, А.В.Карташев, Н.К.Кульман, Б.К.Зайцев.

С. 503. *Вечер был посвящен Довиду Кнуту, который выпустил свой первый сборник...* — Речь идет о книге: *Кнут Довид*. Моих тысячелетий (Париж: Птицелов, 1925). Согласно анонсу в программе вечера 20 июня: слово Ю.Терапиано о поэзии Довида Кнута, хоровое чтение стихов Довида Кнута, а также — выступление поэтов и «Героический марш» (опыт голосовой инструментовки) в постановке И.М.Сидерского.

С. 504. *В кафе La Volée, где собираются поэты...* — См. коммент. к с. 536 (19 марта 1926).

С. 504. *Читал Владислав Ходасевич...* — В.Ф.Ходасевич выступал в Союзе 27 июня 1925 г.

С. 506. *Читал Лев Шестов о Чехове...* — На вечере Союза 4 июля 1925 г. Шестов читал свою прозу «Творчество из ничего (Антон Чехов)».

С. 506. *...прибывший из Бельгии молодой поэт. Читал он поэму и такую большую, такую нагроможденную...* — Судя по характеристике, речь идет об участнике брюссельской литературной группы «Единорог», авторе мистерий и фантазий Леониде Страховском (псевдоним Л. Чацкий), студенте Лувенского университета, будущем докторе истории, авторе множества трудов.

С. 506. *Мы с ней (с Г.Н.Кузнецовой. — И.Н.) сотрудничаем в одном журнале..* — Речь идет о «Звене».

С. 506. *Париж уже с субботы принял праздничный вид...* — Речь идет о празднике «День взятия Бастилии» (14 июля 1789 г.), ознаменовавшем начало Великой Французской революции.

С. 510. *Рафаэль [...] талантливая семья...* — Глава семьи — музыкант, дирижер, руководитель оркестра П.А.Рафаэль. Дети: Павел и Илья — скрипачи, дочь Татьяна — певица.

С. 511. *Заседание в каком-то кафе на rue des Écoles.* — Импровизированные встречи молодых поэтов проходили в кафе по адресу 22, rue des Écoles, близ центрального здания Сорбонны, где слушали лекции большинство членов Союза, молодых русских эмигрантов.

С. 513. *Папа-Коля на заседании...* — Речь идет о диспуте, посвященном подготовке к Российскому Зарубежному съезду (состоялся в Париже в апреле 1926 г.). Диспут прошел 1 ноября 1925 г. в зале Hermel (42, rue Hermel), на нем выступили П.Н.Милюков, А.А.Пиленко и др.

С. 513—514. *Изд<ательство> «Птицелов» готовит к печати сборники Кобякова, Монашева и «Ирины Кнорринг. “Стихи”» [...] В «Днях» [...] такая же заметка, даже с именем Терапиано...* — Из всех анонсируемых книг — в т.ч., Ю.Терапиано «Пепел» (Дни, 1925, 20 октября, №831, с. 4) издательством «Птицелов» (владелец Д.Кобяков) была выпущена лишь одна: *Кобяков Д. Вешняк: Ритмический цикл* (Париж, 1926).

С. 514. *«Гротеск»* — название антрепризы Тэффи, в которой угадывается жанр будущих спектаклей. Создана на базе открывшегося «Дома артиста» (см. ниже).

С. 514. *«Дом артиста»...* — Открытие «Дома артиста» в Париже состоялось 8 октября 1925 г. по адресу: 70, rue de l'Assomption. Председателем предприятия стал Д.А.Смирнов, главным режиссером — Н.П.Асланов, зав. литературной частью — Н.А.Тэффи и П.П.Потемкин, директором — Н.Я.Золотарев, зав. музыкальной частью — К.Константинов. Оформлением Дома занимался Ю.П.Анненков. В «Доме артиста» проходили скетчи, концерты, выставки, торжества.

С. 514. *Тоняги...* — От «тон», «стиль» (современное: стилиаги).

С. 514. *...мордоворот устроили...* — Т.е. отвернулись.

С. 514. *Мое стихотворение, посвящ<енное> ему (театру «Золотой Петушок». — И.Н.)...* — Стихотворение «Золотому Петушку» («В лапотках, с веселой пляской...») не опубликовано.

С. 514. *«Вечер» в «Звене»...* — Стихотворение И.Кнорринг напечатано в журнале «Звено», 1925, №140, 5 октября.

С. 515. *Письмо от Наташи [...] Владимир Николаевич разводится с Серафимой Павловной...* — Речь идет о семье Пашковских.

С. 516. *Надо написать много писем: Тане [...], Дику, Нине, Дёме. Наташе уже отправила...* — Речь идет о Тане Гливенко, Дике Крюковском, Нине Кнорринг (Шмидт), Дёме Шмаринове, Наташе Пашковской.

С. 516. *Фамильная черта — от отца и деда...* — Т.е. от Николая Николаевича и Якова Николаевича Кноррингов.

С. 517. *...в Сорбонну на вторую лекцию Левинсона (по истории французской живописи XIX в.)...* — Речь идет о цикле лекций А.Я.Левинсона на Русском историко-филологическом отделении (факультете) при Сорбонне (читал по субботам). Русские отделения были открыты в Парижском университете в 1921 г.

С. 519. *В Сорбонне [...] прослушала и Карташева с Шестовым...* — На Русском историко-филол. отделении Сорбонны (см. выше) по субботам читали курсы лекций: А.В.Карташев «История христианства в России», Л.И.Шестов «Русская и европейская философская мысль».

С. 519. *Читал Б.Зайцев...* — 5 декабря 1925 г. на собрании Союза Б.Зайцев читал свой новый рассказ «Алексей, Божий человек».

С. 519. *Тот старик заболел...* — Не удалось выяснить, о ком идет речь.

С. 519. *Молоденькая дама [...] назову ее Х...* — Не удалось выяснить, о ком идет речь. Среди «молоденьких дам», участвовавших в 1925 г. в собраниях Союза, чьи имена отсутствуют в Дневнике — Н.Васильчикова, Е.Калабина, С.Красавина, О.Мими-Вноровская, Е.Рузская, Е.Таубер, Т.Штильман.

С. 520. *Замечательная у него (у Ю.К.Терапиано. — И.Н.) мимика, недаром играет в кино...* — Терапиано писал критические заметки о кино. Сведений о том, что он «играл в кино», не обнаружено.

С. 520. *Начну с Denfert-Rochereau...* — Адрес помещения, которое снимал Союз молодых поэтов и писателей в Париже: 79, rue Denfert-Rochereau. Очередные собрания или многолюдные вечера Союза проходили то в малом зале, то в капелле, расположенной в том же здании.

С. 520. *...на конкурсе возьмут премию...* — Речь идет о конкурсе на лучшее стихотворение, объявленном газетой (в 1926 г. — журнал) «Звено» осенью 1925 г. Это был второй конкурс «Звена», первый (на лучший рассказ) был объявлен в начале 1925 г. Подобные конкурсы способствовали привлечению в газету молодых авторов, повышению ее рейтинга.

С. 520. *Вечер Ладинского...* — 19 декабря на вечере Союза А.Ладинский читал «Стихи о Московии» (1-3), «Аргонавты» и «Декабрьские стихи» (вошли в книгу: «Черное и голубое», Париж, Изд-во «Современные Записки», 1931).

«И потому в глазах москвитянки / Такая голубая теплота». — Точнее: «Вот почему в глазах москвитянок / Волнует голубая теплота» («Стихи о Московии» (2) // «Черное и голубое», с. 13).

«И полюбил я русскую рубашку». — Точнее: «Как полюбил я русские рубашки / За чаем разговоры про народ...» («Стихи о Московии» (2) // «Черное и голубое», с. 13).

«Что нет на всем подлунном мире / Такой прекрасной и большой страны». —

Точнее: «Что больше нет нигде в подлунном мире / Такой прекрасной и большой страны» («Стихи о Московии» (3) // «Черное и голубое», с. 14).

«На пяльцах вышивают плащаницы». — Речь идет, видимо, о стихотворении «В каких слезах ты землю покидала» («Черное и голубое», с. 38).

С. 521. *Звали меня в Ротонду...* — Кафе La Rotonde (105, boulevard du Montparnasse) известно как место встречи артистов, художников, писателей. В нем проходили часто встречи членов Союза.

С. 521. *Я пришла в Наташиной шляпке [...] Наташа сегодня идет на бал...* — Речь идет о Наташе Кольнер.

С. 522. *Сегодня получила письмо от Наташи...* — Речь идет о Наташе Пашковской.

С. 522. *Собрание поэтов в кафе, 22, rue des Écoles, в том самом.* — См. коммент. к с. 511. (23 октября 1925).

1926

С. 522. *Пере выборы правления, вопрос о переименовании Союза...* — Председателем Союза был вновь избран Ю.К.Терапиано. «Переименован» Союз (в «Объединение писателей и поэтов») будет лишь в 1931 г., после его реорганизации.

С. 522 «*Клубится дым у печки круглой...*» — Опубликовано в журнале «Звено», 1926, № 1, 31 января.

Клубится дым у печки круглой,
Кипит на керосинке чай,
Смотрю на все глазами куклы, —
Ты этих глаз не замечай!
Все так же ветер в парке стонет,
Все та же ночь со всех сторон.
А на стене, на красном фоне —
Верблюды, и бедуины, и слон.
Ведь все равно, какой печалью
Душа прибита глубоко.
Я чашки приготовлю к чаю,
Достану хлеб и молоко.
И мельком в зеркале увижу,
Как платье синее мелькнет,
Как взгляд рассеян и принижен,
И нервно перекошен рот.

С. 522. *Отослала в «Новости» стихотворение «Рождество»...* — Опубликовано: ПН, 1926, 7 января, №1751, с. 3.

Рождество

Я помню,
Как в ночь летели звездные огни,
Как в ночь летели сдавленные стоны
И путали оснеженные дни
Тревожные сцепления вагонов.

Как страшен был заплыванный вокзал
И целый день визжали паровозы,
И взрослый страх беспомощно качал
Мои еще младенческие грезы
Под шум колес...

Я помню,
Как отражались яркие огни
В зеркальной глади темного канала,
Как в душных трюмах увядали дни,
И как луна кровавая вставала
За темным силуэтом корабля.
Как становились вечностью минуты,
А в них одно желание: «Земля!»
Последнее, — от бака и до юта.
Земля... Но чья?..

Я помню,
Как билось пламя восковых свечей
У алтаря в холодном каземате;
И кровь в висках стучала горячей
В тот страшный год позора и проклятья;
Как дикий веер в плаче изнемог,
И на дворе рыдали звуки горна,
И расплывались линии дорог
В холодной мгле, бесформенной и черной,
И падал дождь...

24 — XII — 1925

С. 522. ...для «Перезвонов»... — Литературно-художественный иллюстрированный журнал «Перезвоны» (Рига, 1925–1929, №1–43) под редакцией С.А.Белоцветова.

С. 523. *Вырезка из «Новостей» со стихотворением Есенина «Отговорила роща золотая»*... — В «Новостях» (ПН, 1925, 31 декабря, №1745, с. 3) была опубликована статья М.Осоргина под названием «“Отговорила роща золотая” (памяти Сергея Есенина)». Газеты сообщали о «самоубийстве», совершенном поэтом в приступе депрессии в ночь с 27 на 28 декабря 1925 г. в Ленинграде, в номере гостиницы «Англетер».

С. 523. «Эос» [...] *оттиск моих стихов*... — Опубликовано: «Эос», 1926, №4, с. 20–25.

Сонеты

I

Я не умею говорить слова,
Звучащие одними лишь словами.
Я говорю мгновенными стихами,
Когда в огне пылает голова.

Мне слух не ранит острая молва,
Упрек не тронет грязными руками.

А восемнадцать лет — как ураган, как пламя, —
Вступили наконец в свои права.

И если кто-нибудь войдет ко мне,
И взглянет мне в глаза улыбкой ясной, —
Он не таким уйдет назад. Напрасно

Он будет думать о своей весне.
Я так беспомощно, так безучастно
Томлюсь в каком-то жутком полусне.

II

Молчание мне сказку рассказало,
Мне что-то нашептала тишина.
Ведь для меня здесь веяла весна.
Я прежде этого не понимала.

Ведь для меня немая гладь канала,
Веселый воздух, утро, тишина
И на песок приникшая волна.
Мне этого казалось слишком мало.

А дома, жарким солнцем разогрета,
Весь день не говорила я ни с кем.
Сидела в темноте, не зажигая света.

Потом я стала думать о тоске.
И вот теперь — как ветер на песке —
Весь вечер буду рисовать сонеты.

26 — V — 24

Вчера

В душе поднималась досада
За тихий потерянный вечер,
За то, что в томительной скуке
Уходят беззвучные дни.

Казалось, что солнца не надо,
Не надо закутывать плечи,
Сжимая распухшие руки,
В зрачках зажимая огни,

Смеяться задорно и смело
И тихо, как будто случайно,
Веселое, звонкое имя
Бросать, осторожно дразня...

Но все отошло, надоело...
Но сердце темно и печально...
И мучает вечер пустыми
Мечтами сгоревшего дня...

Мечтала над томиком Блока,
Стихи наизусть повторяя.

А после опять пробегала
Знакомые строки письма.

И где-то далеко-далеко
Проснулась тревога глухая,
И снова душа тосковала
Под гордым безверьем ума.

А там, за стеной, говорили,
Чтоб я приходила — кричали,
И как-то была я не рада
Звнящему ямбу стихов.

Дрожали вечерние были,
Неровно, мертво и печально.
В душе закипала досада
На холод растроченных слов.

4 — II — 24

Она

Такой скупающей и молчаливой
Ведет ее судьба.
Она — мучительно самолюбива
И жалобна слаба.

Проходят дни туманной вереницей,
И плачет в них тоска.
По вечерам над белою страницей
Дрожит ее рука.

В ее глазах — бессмысленно и скучно,
Душа ее — мертва.
Быть может, потому так однозвучны
Всегда ее слова.

С гримасою развенчанной царицы
Беспомощно живет.
А что порой в душе ее творится —
Никто не разберет.

Глядит на все с неискренним презреньем,
С беспомощной душой.
Вот почему с таким ожесточеньем
Смеется над собой.

Пусть говорит, что ей во всем удача,
Что в жизни нет «нельзя»,
Ведь часто по утрам красны от плача
Бесслезные глаза.

Ведь жизнь одна. Ведь юность хочет дани,
И... некуда идти.

И даже нет лукавых оправданий
Бесцельного пути.

21 – VIII – 24

* * *

В тот час, когда опять увижу море
И грязный пароход,
Когда сверкнет надежда в робком взоре,
И якорь поползет,

В тот час, когда тяжелый трап поднимут,
И просверлит свисток,
И проскользнет, уж не возвратно, мимо
Весь белый городок,

И над рулем, журча, заплещет ровно
Зеленая вода, —
Я все прошу, я все прошу любовно,
Как прежде — никогда.

И, пробегаая взглядом крест костела,
Бак и маяк большой, —
Я снова стану девочкой веселой
С нетронутой душой.

11 – VII – 24

* * *

А с каждым вторником Сфаят пустеет.
Прощаются, спешат на пароход.
Два-три лица серьезней и грустнее, —
И снова время тихое плывет.

Есть где-то мир, и все идут вперед...
И только, ничего не понимая,
Зачем-то — сильная и молодая —
Ненужным дням я потеряла счет.

5 – VIII – 24

* * *

У богомольных есть красная лампадка,
В углу притаились образа Пречистой.
Дрожа, горит огонек лучистый.
Придут из церкви — распивают чай.

У домовитых во всем порядок.
На окнах — белые занавески.
В вазочках цветы, и ветер резкий
Их касается невзначай.

У вечно-мудрых есть страшные загадки,
Есть толстые книги и мудрые фразы.
У вечно-дерзких есть восторг экстаза,
Заменяющий светлый рай.

У меня нет красной лампадки,
У меня нет белой занавески,

Нет писаний мудрых и веских,
А комната у меня — сарай.

У меня есть синяя тетрадка,
У меня есть белые книги,
У меня зато есть пестрые миги
И неистовый месяц — май.

17 — V — 24

Мамочке...

Смотри на закатные полосы,
На землю в красной пыли,
Смотри, как колеблет волосы
Ветер чужой земли.

Как сосны вершинами хвойными
Колышат вихри лучей.
Смотри, как лучи беспокойные
Горят на твоём плече.

В недвижимом, седеющем воздухе
Закат разлил красноту.
Смотри, как арабы на осликах
В закатную даль идут.

Смотри, как маслины дуплистые
Не могут ветвей поднять,
Как искрится золотистая
Волос твоих светлая прядь.

И небо пурпурно-красное
Горит на краю земли,
И что-то хорошее, ясное
Клубится в красной пыли.

28 — X — 23

Тунис, Бизерта, Сфаят

С. 524. Конкурс «Звена». [...] всего прислано 382 <стихотворения>... — Г.Адамович указывает цифру 322. В двух номерах «Звена» (31 января и 7 февраля) было опубликовано 12 стихотворений, отобранных жюри и предложенных на суд читателей. Голосовали (в пользу того или иного опубликованного стихотворения) лишь подписчики «Звена».

С. 525. *Французская группа...* — Т.е. группа (в другой записи — курсы) по изучению французского языка при Русском народном университете.

С. 526. ...«Всего тела вдоль». Так-то, Марина! — И.Кнорринг имеет в виду строки Марины Цветаевой: «Я любовь узнаю по боли / Всего тела вдоль» («Приметы», 1924).

С. 526. *Вечер Марины Цветаевой...* — На вечере, состоявшемся 6 февраля 1926 г., М.Цветаева читала стихи, посвященные Добровольцам, Дону, Галлиполи, включенные ею в книгу «Лебединый Стан» (первое издание: «Лебединый Стан»: Стихи 1917–1921 гг. / Подготовил к печати Г.П.Струве. Вступ. ст.

Ю.П.Иваска. — Мюнхен, 1957). Это был первый вечер М.Цветаевой во Франции и единственный, прошедший в *Союзе*. Уже в феврале 1927 г. Цветаева, занятая поисками помещения для своего ежегодного поэтического вечера, пишет: «С Союзом молодых, по сведениям, выйти не может, — они в руках у враждебной (СТАРШЕЙ) группы» (*Цветаева М. Собр. соч.*, т. 7, с. 103). С писателями «старшей» группы отношения окончательно испортились после опубликования прозы Цветаевой «Поэт о критике» с приложением «Цветник» («Благонамеренный», Брюссель, 1926, №2, март-апрель, с. 94—136), высмеивающей главного персонажа «старшей» группы — Г.В.Адамовича.

С. 527. «Чернокосынька моя, чернокнижница!» — Из стихотворения М.Цветаевой «Ахматовой» («Кем полосынька твоя / Нынче выжнется?») (1921).

С. 530. «Перезвоны» [...] напечатали: «Я старости боюсь, не смерти»... — «Перезвоны», 1926, №13 (5), февраль, с. 360.

Я старости боюсь, не смерти

Я старости боюсь, не смерти.
Той медленной, как бред, поры,
Когда озлобленное сердце
Устанет от пустой игры.

Когда в волненьях жизни грубой
Ум станет властен над душой
И мудрость перекосит губы
Усмешкой медленной и злой.

Когда тревога впечатлений
Сухой души не опалит
Ни очертаньем лунной тени,
Ни бодрым запахом земли.

Когда вопросов гулкий ропот,
Ошибки, грезы и печаль
Заменит равнодушный опыт
И уж привычная мораль.

Когда года смотреть научат
На все с надменной высоты.
И станет мир наивно скучным,
Совсем понятным и простым.

И жизнь польется без ошибки,
Без впечатлений и тревог..
Лишь в снисходительной улыбке —
Чуть уловимый холодок.

Париж, 24.XI.1925

С. 530. ...прислать пневматичку... — От рпеу (фр.) — пневматическая почта, пневматик-телеграмма.

С. 530. *Собираюсь поступить в Институт социальных и политических наук...* — Франко-русский институт социальных и политических наук (часто называемый: Франко-русский институт) был организован по инициативе Русской академической группы в Париже в 1926 г., председателем Института стал социолог Гастон Жез, председателем совета профессоров — П.Н.Милюков. Институт давал знания, необходимые для поступления в докторат и защиты диссертации в Сорбонне. Торжественное собрание по случаю открытия Института состоялось в Сорбонне 28 марта 1926 г. Занятия в Институте начались 15 апреля.

С. 530. *О вечере, посвященном Есенину...* — В Париже состоялось два вечера памяти поэта: 14 января — в Союзе русских художников в Париже, где И.Зданевич сделал доклад «Сон Есенина»; 27 февраля 1926 г. — в Союзе молодых поэтов и писателей (о котором ниже повествует Ирина).

С. 530. *Встретилась с тем молодым художником...* — Речь идет о Л.А.Чистовском.

С. 530. *На «Дне декабристов»...* — Речь идет о торжестве, состоявшемся 27 декабря в Сорбонне по случаю 100-летия декабрьского восстания. В торжестве, организованном Русской академической группой, участвовали русские и французские деятели науки и культуры.

С. 530. *На концерте [...] посвященном Чайковскому...* — Перед концертом слово о творчестве композитора произнес князь С.М.Волконский.

С. 532. *У Поволоцкого видела «Перезвоны»...* — Речь идет о книжном магазине «Я.Поволоцкий и Ко» (13, rue Vopararte), там же находилось «Русское издательство Я.Поволоцкого и Ко».

С. 532. *Собрание профессоров и студентов будущего Института социальных наук...* — На одном из таких собраний (27 февраля 1926 г.) было организовано «Общество студентов Франко-русского института социальных и политических наук», под эгидой которого проходили встречи, вечера, акции взаимопомощи, описываемые И.Кнорринг.

С. 532. *Новое здание École communale, в самой глубине Латинского квартала...* — Франко-русский институт располагался в Коммунальной школе по адресу: 96, boulevard Raspail.

С. 533. *«За неверие в благодать»...* — Из стихотворения С.Есенина «Мне осталась одна забава» (1923).

С. 533. *Стихотворение Ю.Терапиано в «Днях» [...] «Смерть друга»...* — «Дни», 1926, 28 февраля, № 942, с. 3.

Смерть друга

В пустыне странствовать —
По россыпям песка,
По вызолоченным солнцем травам;
Встречать зарю упругим колокольцем,
Ночью
Увидеть в книге звезд желанный знак —

Такие-странствия
Ведут к покою.
Белый,
Покрытый пылью,
Я видел лик твой,
Мой любимый друг,
Когда лежал ты на ковре в пустыне,
И к горизонту —
Солнце уходило,
А позади нас — оставались — степь,
Пустой шатер,
Два раненых верблюда
И тот прозрачный
И тяжелый воздух,
В котором
Коршуны вились над телом.

Покой тебе да будет в этом мире,
Песок — твоим последним нежным ложем,
А слезы тех, которые любили,
Вспоминаньем
Хаазали-друга,
Скончавшегося
На пути
В Багдад.

С. 533. *Говорили по поводу моего «Я не помню»...* — ПН, 1926, 25 февраля, № 1800, с. 3.

Я не помню...

Переplesки южных морей,
Перепевы северных выюг —
Все смешалось в душе моей
И слилось в безысходный круг.

На снегу широких долин
У меня мимозы цветут.
А моя голубая полынь
Одинакова там и тут.

Я не помню, в каком краю
Так зловеще-красив закат.
Я не знаю, что больше люблю —
Треск лягушек или цикад.

Я не помню, когда и где
Голубела гора вдали,
И зачем на тихой воде
Золотые кувшинки цвели.

И остались в душе моей
Недопетой песней без слов
Перезвоны далеких церквей,
Пересветы арабских костров.

С. 533. *На толстовском утре в Сорбонне...* — Речь идет об утреннике, посвященном памяти писателя графа А.К.Толстого (по случаю 50-летия со дня кончины).

С. 534. *Шаховской пишет, что [...] «Цветаевой» придется заменить...* — Речь идет о втором номере журнала «Благонамеренный», для которого И.Кнорринг послала Д.А.Шаховскому стихотворение «Цветаевой», написанное ею под впечатлением от поэтического вечера.

Цветаевой

Целый день по улицам слонялась.
Падал дождь, закруживая пыль.
Не пойму, как я жива осталась,
Не попала под автомобиль.
На безлюдных, темных перекрестках
Озиралась, выбившись из сил.
Бил в лицо мне дождь и ветер хлесткий,
И ажан куда-то не пустил.
Я не знаю — сердце ли боролось,
Рифмами и ямбами звеня?
Или тот вчерашний женский голос
Слишком много отнял у меня?

<7 февраля 1926>

С. 534. *Было напечатано «В Россию»...* — ПН, 1926, 4 марта, № 1807, с. 3.

В Россию

Я туда не скоро возвращусь.
Ты скажи: что эти годы значат?
Изменилась ли шальная Русь
Или прежнюю кликушей плачет?

Так же ли подсолнухи лушит,
В хороводах пестрой юбкой пляшет, —
Вековыми соснами шумит,
Ветряными мельницами машет?

Край, который мыслью не объять,
Край, который мне и вспомнить нечем.
Там меня рождала в столах мать,
Там у гроба мне поставят свечи.

Ирина Кнорринг. 27 — I — <19>26

С. 534. *...сама Цветаева [...] посылала стихотворение на конкурс, и оно даже не было напечатано...* — Речь идет о прошедшем конкурсе «Звена» и о стихотворении М.Цветаевой «Старинное благоговенье» (впервые: «Благонамеренный», № 2, март-апрель, 1926, с. 21). В жюри конкурса входили Г.Адамович, К.Мочульский и З.Гиппиус. «В полном тройственном согласии, — пишет Г.Адамович, — мы забраковали, как совсем негодное, стихотворение Цветае-

вой» (цитируется по: Литературная энциклопедия русского зарубежья. 1918–1940: Периодика и литературные центры, с. 160).

С. 535. *Концерт консерватории...* — В концерте, состоявшемся в Русской консерватории 6 марта 1926 г., участвовал Александр Черепнин. Вступительное слово о русской музыке сказал музыкальный критик Б.Ф.Шлецер.

С. 535. *Какое впечатление на вас произвел Державин? [...] Стихотворение об Иосифе...* — Речь идет о стихотворении О.Мандельштама «Отравлен хлеб, и воздух выпит...» (1913). Размерность и парадность его стихов ассоциируются с Державинским стилем («молодым Державиным» назвала его М.И.Цветаева).

С. 535. «Сорок калик» — духовный стих, включенный в сборник «Древние русские стихотворения» (Москва, 1804).

С. 536. *...на собрании Цеха Поэтов в кафе La Bolée...* — «Цех поэтов» (1911–1914) — литературный кружок, организованный Н.С.Гумилевым в СПб. В 1920 г. был вновь организован по инициативе И.А.Бунина с целью объединения русских поэтов во Франции, устройства публичных выступлений, издания журнала и т.д. Открытые собрания «Цеха» с чтением и обсуждением стихов проходили регулярно, начиная с 1923 г., в кафе La Bolée, что в переводе — «Чаша» (по адресу 25, rue de l'Hirondelle). Собрания были представительны и многолюдны. Их популярности в немалой степени способствовало удобство расположения кафе, находившегося в Латинском квартале, недалеко от кафе Ротонда; а главное — его история: овальный зал со сводчатым потолком; на выбеленных стенах, около входа красуются надписи, сообщающие о том, что на этих же самых деревянных скамьях и за этими же столами в свое время заседали Франсуа Вийон, Поль Верлен, Артур Рембо и др. (Терапиано Ю. Встречи, с. 83).

С. 536. «Тогда цвели кудрявые каштаны»... — Собр. соч. И.Кнорринг, тетрадь №3 (архив Софиевых-Кноррингов):

Тогда цвели кудрявые каштаны,
Тогда цвели над выставкой огни,
И дымкою весеннего тумана
Окутывались солнечные дни.

Я к вам пришла с наивными стихами.
Я к вам пришла, как входят в дом чужой,
С доверчиво раскрытыми глазами,
С высоко поднятою головой.

7 марта 1926

С. 538. *Напечатано в «Новостях» мое «Цветаевой»...* — ПН, 1926, №1824, 21 марта, с. 2.

С. 538. *Вечер в капелле (читает Шмелев) [...] Терапиано...* — На вечере Союза, состоявшемся 27 марта 1926 г., Шмелев прочел свой новый рассказ, Терапиано — цикл «Египет».

С. 540. *...Кузнецова. Познакомила с мужем...* — Речь идет о Г.Н.Кузнецовой и Д.М.Петрове.

С. 540. *Говорили об «Ухвате»...* — Художественно-сатирический журнал под редакцией Д.Кобякова и А.Шема (1926, Париж, «Птицелов», №№1–6; возобновлен в 1928 г. под ред. Д.Кобякова). Первый номер журнала вышел накануне — 31 марта 1926 г.

С. 540. «Беседа» — читали стихи Ходасевича и Берберовой... — Журнал литературы и науки «Беседа» (1923—1925, Берлин, №1—6/7), издавался при участии Б.Ф.Адлера, А.Белого, Ф.А.Брауна, М.Горького, В.Ф.Ходасевича. В №1 (1923, май) были опубликованы «Зимние стихи» В.Ходасевича (I—IV, 1923, Сааров) (с. 7—10) и Н.Берберовой «Зимние дороги», «Хозяин клонит липовую ветку...», «Небо розово...», «Берлин» (с. 132—137).

С. 540. Доклад-диспут на тему: «Культ смерти в русской литературе»... — Тема доклада, устроенного 5 апреля 1926 г. редакцией журнала «Версты» в помещении Союза, звучала так: «Культура смерти в русской предреволюционной литературе». Вот один из отзывов: «У нас был очень любопытный доклад князя Святополк-Мирского [...] Были Бунин, Алданов, С.Яблоновский, много — кто (говорю о старых или правых), но никто не принял вызова, после 1 часа просто покинули зал. Походило на бегство» (из письма М.И.Цветаевой к В.Ф.Булгакову от 8 апреля 1926 г. // *Цветаева М. Собр. соч.*, т. 7, с. 12).

С. 541. Было напечатано в «Новостях» «Март»... — ПН, 1926, 8 апреля, №1842, с. 3.

Март

...А там нарциссы отцвели
В долине за Джебель-Кебиром,
И пахнет весело и сыро
От свежевспаханной земли.

Уже рассеялся туман,
Прошла пора дождя и ветра,
И четко виден Загуан
За девяносто километров.

И девственную белизной
Под небом, будто море — синим
Белеет в зелени густой
Цветок венчальный апельсина.

Шуршит трава, басит пчела,
А скоро зацветут мимозы
У той тропинки под откосом...
Тропинка, верно, заросла...

Париж, 20 — III — <19>26

С. 542. Большой (в проекте) вечер-концерт у поэтов... — «В проекте» 17 апреля на вечере Союза в литературном отделении должны были выступить: Д.Монашев, И.Кнорринг, С.Луцкий, А.Ладинский, Д.Кнут и М.Цветаева. А также планировалось концертное отделение с участием А.Н.Черепнина и квартета Н.Н.Кедрова.

С. 544. ...начала увлекаться [...] курсами Гурвича, Шацкого, Вышеславцева... — Курсы читали: Г.Д.Гурвич «История политических учений в новое время», Б.Е.Шацкий «Сравнительное конституционное право», Б.П.Вышеславцев «Право и нравственность». Расписание было составлено таким образом, что в

день читали два курса (каждый — по два академических часа), курс читался еженедельно.

С. 544. *«Воля России»* — журнал политики и культуры. Прага, 1922–1932. Редакторы В.И.Лебедев, М.Л.Слоним, Е.А.Сталинский (с 1924), В.В.Сухолин. Издатель Е.Е.Лазарев.

С. 545. *...пошли в «исторический» «Прокон»*... — Ресторан Procope (13, rue de l'Ancienne-Comédie) — одно из самых старых кафе в Париже. В 1920-е годы там проходили встречи русских эмигрантов (различного характера): читали циклы лекций о России, собирался «Русский очаг» и др.

С. 545. *Пошли в Сорбонну на «День русской культуры»*... — 6 июня по случаю «Дня русской культуры» состоялось торжественное заседание, посвященное памяти А.С.Пушкина. С речами выступили: В.А.Маклаков «Праздник культуры», Д.С.Мережковский «Пушкин с нами», П.Н.Милюков «Пушкин и Чаадаев». Организаторы торжества: Союз русских писателей и журналистов во Франции, Комитет помощи писателям и ученым, Русский академический союз и Русский народный университет.

С. 546. *Концерт в Trocadéro*... — 8 июня по случаю «Дня русской культуры» в Трокадеро устраивалось торжественное собрание и концерт русских артистов. В программе — «произведения лучших русских писателей, поэтов, композиторов».

С. 546. *До воскресенья, до «Руслана и Людмилы»*... — 13 июня по случаю «Дня русской культуры» — Пушкинского праздника, в зале Гаво (Gaveau) состоялось концертное исполнение оперы «Руслан и Людмила» (по одноименной поэме Пушкина, музыка Глинки) с участием артистов оперы А.Александровича, А.Яковлевой, Е.Германовой и К.Кайданова и балерины О.Преображенской.

С. 547. *14-го мы «брали Бастилию»*... — Т.е. праздновали «День взятия Бастилии».

С. 547. *Была в Opéra... на «Китеже»*... — 6 июля 1926 г. в Гранд-Опера впервые в Париже была представлена в концертном исполнении опера Н.А.Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже». Партии исполняли: К.Держинская, Е.Садовень, М.Гонич, А.Антонович, Г.Дубровский, К.Запорожец, К.Кайданов. Дирижер Эмиль Купер.

С. 548. *...вся «банда»*... — Речь идет о сокурсниках И.Кнорринг по Франко-русскому институту. Кроме уже названных И.Кнорринг персонажей, к «банде» относятся Лида Старова, братья Май (представлены в фотоматериале, не вошедшем в книгу из-за низкого качества).

С. 548. *...он был на конгрессе (очевидно — сионистском)*... — Речь может идти о собрании, организованном в рамках подготовки к XV Сионистскому конгрессу (проходил в Базеле в 1927 г.).

С. 548. *Захотелось познакомиться с Антиповым*... — Н.А.Антипов — соредaktor журнала «Своими путями», в который И.Кнорринг посылала свои стихи. Н.А.Антипов и А.А.Воеводин (также соредaktor этого журнала) — бывшие «Узники Бизерты», получившие студенческую стипендию в Чехии.

С. 548. *Пообедали в «Золотом Петушке»...* — Ресторан «Золотой петушок» (13, rue Malebranche).

С. 548. *Издательство «Новый Дом», куда входят Н.Берберова, Д.Кнут, В.Фохт и Ю.Терапиано...* — Речь идет о литературном журнале «Новый дом» (Париж, 1926-1927, №№1-3) под редакцией Н.Берберовой, Д.Кнута, Ю.Терапиано и В.Фохта (с №3 — Д.Кнут, Ю.Терапиано, В.Фохт).

С. 552. *Ездила в Тургеневскую библиотеку на avenue l'Observatoire* — Тургеневская библиотека в 1917-1937 гг. располагалась близ авеню Обсерватуар по адресу: 9, avenue Val-de-Grâce.

С. 553. *Доклад Милюкова...* — 5 сентября в РДО П.Н.Милюков выступил с докладом «Новый фазис советской склоки».

С. 553. *Поведение [...] возвращенцев...* — «Возвращенцы», т.е. члены *Союза* возвращения на родину. *Союз* был образован в 1925 г., но к 1932 г. был координально преобразован, полностью перейдя под контроль Советского Полпредства. Секретарем *Союза* был Е.В.Ларин (он же Климов). С 1937 г., в связи с переходом Ларина на работу в Советский павильон Всемирной выставки в Париже, — А.А.Тверетинов. *Союз* был закамуфлирован под культурную организацию, рядовые его члены не подозревали о целях и задачах *Союза*. Мероприятия *Союза* проходили в Латинском квартале, в арендованном помещении по адресу: 12, rue de Buci, на 2-ом этаже: семинары, лекции, спевки хорового кружка, репетиции театральной студии. Главным агитационным оружием был показ советских фильмов.

Содержание

<i>Невзорова И.М. «Глубокая мысль моей души»</i>	7
Кнорринг И.Н. Повесть из собственной жизни: Дневник	
ТЕТРАДЬ I	
26 августа 1917 г. — 30 апреля 1920 г.	43
ТЕТРАДЬ II	
1 (14) мая 1920 г. — 21 января / 3 февраля 1921 г.	165
ТЕТРАДЬ III—IV	
7 (20) февраля 1921 г. — 18 июля 1922 г.	233
ТЕТРАДЬ V	
23 июля 1922 г. — 24 апреля 1923 г.	305
ТЕТРАДЬ VI	
25 апреля 1923 г. — 10 мая 1924 г.	358
ТЕТРАДЬ VII	
11 мая 1924 г. — 9 мая 1925 г.	426
ТЕТРАДЬ VIII	
25 мая 1925 г. — 14 сентября 1926 г.	494
<i>Комментарии</i>	555

Серия «Символы времени»

Кнорринг Ирина Николаевна

**ПОВЕСТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ:
Дневник. Том 1**

На обложке: акварель Михаила Босса
«Немецкая колония на Волге»

На титуле: рисунок Алексея Невзорова

Редактор *О. Булаева*
Компьютерная верстка *Т. Носова*

Подписано в печать 30.11.2008. Формат 84х108/32
Печать офсетная. Гарнитура «NewtonС»
Усл.-печ. л. 31,92. Тираж 2000 экз. Заказ № 180

Издательство «АГРАФ»
e-mail: agraf.ltd@ru.net
<http://www.website.ru/agraf>
т./ф. (495) 926-25-48
т. (495) 926-25-46
т. (495) 926-25-47

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных материалов в ОАО «Дом печати—ВЯТКА».
610033, г. Киров, ул. Московская, 122.
Факс: (8332) 25-58-83, 53-53-80
<http://www.gipp.kirov.ru>
e-mail: pto@gipp.kirov.ru

Ирина Бек-Софиева (Кнорринг) унаследовала от родителей внутреннюю собранность, внешнее спокойствие, умение терпеть и молчать; успела впитать и увезти в изгнание русскую речь, главный ключ к океану русской культуры. Но ей было свойственно то, что отличает поэта от не-поэта: сила сердечного трепета и желание воплотить его в слове; тем самым задержать время и воскресить его через века... Ее Дневник не просто свидетельство тех далеких событий, это — живая душа Ирины Кнорринг, вобравшая в себя запахи и вкус эпохи. После его прочтения вновь хочется открыть ее стихи, полные тайной грусти и величия.